Д. И. ПИСАРЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ»

Д. И. ПИСАРЕВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

Избранные статьи

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ»
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ АН СССР
ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР

Составление, подготовка текста,
предисловие и комментарии
А. И. ВОЛОДИНА

На фронтисписе: Д. И. Писарев. 1865 г.

П $\frac{0301000000-\text{Без объявл.}}{080(02)-89}$ **Без объявл.—89. Подписное**

«И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НИГИЛИЗМОМ?»

1

Место рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840—1868) — отцовское имение Знаменское Елецкого уезда Орловской губернии: *пролетарий умственного труда* — по «социальному положению», будущий «коновод нигилистов», как окрестила Писарева охранительная литература, по происхождению своему был *дворянином.*

Мальчиком, в конце 1851 г., Писарев покинул родительский дом. Проживая у родственников, он закончил в 1856 г. 3-ю петербургскую гимназию. С 1856 по 1861 г. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Еще будучи студентом, начал печататься. Первую громкую известность Писареву принесла статья «Схоластика XIX века». С предельной резкостью сформулировал он в ней положения, названные им «ultimatum'ом нашего лагеря»: «Прикосновения критики боится только то, что гнило <...> Живая идея, как свежий цветок от дождя, крепнет и разрастается, выдерживая пробу скептицизма <...> Каждое поколение разрушает миросозерцание предыдущего поколения <...> стремление к истине, поступательное движение всегда лучше обладания ею уже потому, что последнее есть самообольщение, а первое — действительный факт <...> что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть»[1]. Слова эти впервые появились в сентябрьской книжке журнала «Русское слово» за 1861 г. В этом журнале, вплоть до его закрытия (1866), Писарев в основном и печатал свои статьи. Печатался он в нем и тогда, когда находился — 4 года 4 месяца и 18 дней — в заключении в Петропавловской крепости. Крепость была расплатой за статью-прокламацию, возвещавшую о скором крахе существующего в России политического режима: «Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа <...> Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть <...> То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы»[2]. Выпущенный в ноябре 1866 г. из тюрьмы по амнистии,

---

[1] Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1955. С. 133—135.
[2] Там же. Т. 2. М., 1955. С. 126.

Писарев создает ряд первоклассных работ. Некоторые из них публикуются в «Деле» Г. Е. Благосветлова, другие — в некрасовских «Отечественных записках». Правда, стиль Писарева уже не так вызывающе ярок, его статьи не столь дерзки и задиристы, как прежде. Говорили о духовном утомлении критика. Скорее, напротив — происходило сосредоточение ранее столь широко, фейерверком разбрасывавшейся мысли, ее углубление: Писарев вступал, несомненно, в какой-то новый этап идейной эволюции.

...Ему не было и двадцати восьми, когда он погиб. «Еще одно несчастье постигло нашу маленькую фалангу <...>,— писал, откликаясь на известия о его кончине, А. И. Герцен.— Писарев, язвительный критик, порой склонный к преувеличениям, всегда исполненный остроумия, благородства и энергии, утонул во время купанья. Несмотря на свою молодость, он много страдал <...> Неужели так необходимо, чтобы смерть всякий раз отнимала человека передовых взглядов у живых людей — для примирения его с массой ленивцев и лежебок?»[1]

Охранка боялась, как бы похороны Писарева не переросли в антиправительственную демонстрацию. По донесению одного из агентов, за гробом критика — по пути на Волково кладбище — «шествовал весь нигилистический синклит»[2]...

2

Споры о «литературном значении» Д. И. Писарева начались сразу после его смерти. Демократический публицист П. А. Гайдебуров, выступая над раскрытой могилой Писарева, обвинил издателя его сочинений Ф. Ф. Павленкова в непонимании истинной роли критика. В этом столкновении — как бы завязка острых, длящихся по сей день споров о сути и содержании творчества Писарева, о месте его в истории русской культуры и общественной мысли.

Пожалуй, больше всего шуму произвели статьи о Пушкине. У многих так и отложилось в памяти: «А-а! Писарев... Это который Пушкина ниспровергал...» (И сегодня некоторые литературные снобы ничего кроме этого о Писареве не знают, да и знать не хотят.) Во всем же остальном, что касается оценок идейного наследия Писарева, согласие никогда не было достигнуто.

Революционер! — утверждали одни.— Нет, политический реформатор, «постепеновец»! — возражали другие.— Демократ! — Ни в какой степени: мнящий себя аристократом духа проповедник буржуазно-интеллигентского индивидуализма! — Социалист! — Напротив, идеолог «культурного капитализма»! — Блестящий, глубокий мыслитель! — Какое там: грубый эмпирик-утилитарист, противник философии, разрушитель эстетики!..

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XX. Кн. I. М., 1960. С. 377.
[2] Подробнее о жизни Писарева см.: Коротков Ю. Н. Писарев. М., 1976.

Эти и подобные им разноречивые отзывы, в различных вариантах и сочетаниях, можно легко обнаружить в обширной литературе о Писареве. В каждой работе обычно свой подход, своя особая оценка Писарева и — почти обязательно — зубодробительные выпады по адресу понимающих и оценивающих его иначе. Не напомнить ли, к примеру, как в конце 20-х — начале 30-х гг. В. Я. Кирпотин жестоко расправлялся с «немарксизмом» В. Ф. Переверзева и Б. П. Козьмина и как некоторое время спустя уже иные авторы не менее резко отзывались о кирпотинских характеристиках мировоззрения Писарева? Или как всего лишь двадцать лет назад, в 1969 г., В. А. Цыбенко, считающий Д. И. Писарева выразителем интересов пролетариата и сторонником рабочей демократии, язвительно клеймил неугодных ему «доктринеров», которые никак не желают признать Писарева «сознательным диалектиком»?

Многое в этой разноречивости характеристик Писарева-мыслителя — от того, каким хотел бы видеть его тот или иной автор. Но, безусловно, глубинная причина такой, явно смущающей «рядового» читателя, разноголосицы мнений — в действительной сложности, внутренней противоречивости творчества Писарева.

Писарев был прежде всего публицистом. Это означает: мысль его постоянно находилась в движении. Характер идейной эволюции Писарева, ее интенсивность и общая направленность, ее формы и деформации определялись в последнем счете развитием самой социально-экономической и политической жизни шестидесятых годов прошлого века. Не говоря уже о событиях в Западной Европе и Северной Америке, отметим: в российском обществе совершался сдвиг к капитализму, однако осуществлялся он главным образом в виде реформ, проводимых «сверху» феодально-самодержавным государством. Буржуазным реформатором оказывался сам царь, находившийся в органическом единении, но с тем вместе и в столь же закономерной конфронтации с бюрократической камарильей.

Это коренное противоречие российской действительности того времени, предопределявшее острейший характер борьбы идей «эпохи реформ», находило отражение в творчестве всякого публициста, к какому бы направлению он ни принадлежал.

Исключительная сложность отличает и содержание работ Писарева, которому была присуща обостренная чуткость к мало-мальски значимым событиям общественной жизни и их отражению в литературе.

3

Писарев был революционером. Точнее сказать, революционным просветителем, причем той поры, когда революционное слово в России начинало превращаться в революционное дело. Писарев был непримиримым врагом самодержавно-крепостнического режима, освящающей его идеологии — *в этом смысле он был нигилистом.* Ему принадлежит одна из первых прокламаций, возвещавших насильственную ликвидацию царизма.

В 1861—1862 гг. он страстно мечтал о революции, считал ее вполне реальной и близкой.

Но *революционеры бывают разными.* Писарев не относился к тем, кому свойствен фанатизм. Он явился одним из первых русских революционеров, осознавших после краха надежд на крестьянскую революцию, после 1861—1863 гг., что, несмотря на отдельные бунты, народные массы России так и не пробудились от векового сна к исторической деятельности. Удалось Писареву увидеть и то, что потенциальные вожди революции, олицетворяемые тургеневским Базаровым, еще не вполне выработались, часто говорят и делают «капитальные глупости»[1].

Что же делать в таких условиях? Неужели продолжать звать Русь «к топору»? Нет, отвечает Писарев, такой призыв — действие «на авось», не что иное, как политический авантюризм, который, по общему правилу, обернется лишь ненужным кровопролитием и усилением реакции. Другое дело, если массы сами поднимутся на борьбу. Но и тогда «новые люди», Рахметовы — а в их подготовке только и может пока состоять революционное дело — должны стремиться не к разжиганию мстительных, разрушительных страстей, а к достижению положительных результатов революции возможно меньшею кровью. Таким был главный завет Писарева-революционера[2]...

Писарев был демократом, к любому из вопросов подходившим с позиции «голодных и раздетых». Непримиримый противник приспособленчества, Писарев испытывал жгучую ненависть к соглашателям в политике, его бесил уход от острых жизненных проблем в «цеховую науку» и «чистое искусство» — *и в этом смысле он был нигилистом.* Совпадая по основной направленности с выступлениями публицистов «Современника» и «Колокола», творчество Писарева всего нагляднее выражало именно критическую сторону демократической идеологии, столь импонирующую радикальному разночинству. И здесь Писарев подчас действительно доходил до крайности, отрицая значение тех выдающихся произведений духовной культуры, которые прямо и непосредственно не удовлетворяли, с его точки зрения, запросам широких народных масс.

Но ведь, как известно, *демократизм бывает разный.* Бывает и вульгарный демократизм, зовущий к коленопреклонению перед народом, к идеализации его. Таким демократом Писарев не был; ему претили воззрения современных ему «почвенников» и славянофилов, не желавших отличать разум народа от его предрассудков, не думавших всерьез о необходимости радикальных преобразований в самом бытии трудящихся масс, — преобразований, направленных на то, чтобы они наконец-то перестали быть «массами» и обрели человеческие условия жизни и деятельности.

---

[1] См.: Д. И. Писарев. Соч. Т. 2. С. 25.

[2] См. об этом: Володин А. Раскольников и Каракозов (К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь») // Новый мир. 1969. № 11.

Писарев был социалистом. Он был убежден: самой природе человека, на протяжении тысячелетий искажаемой «элементом присвоения», т. е. эксплуатацией, соответствуют такие порядки, в которых воплотится человеческая солидарность и «общедоступное счастье»; рабство упало, феодализм упал, «упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала»[1].

Но ведь и *социализм бывает разный.* Будучи социалистом, Писарев, однако, не приемлет такого понимания равенства, при котором человек остается лишь пассивной частичкой сообщества, муравьем, подчиненным общим законам муравейника. Для Писарева будущая «общечеловеческая солидарность» предполагает и осуществляет развитие каждой человеческой личности, развертывание ее свободы. Установление общества ассоциированных самодеятельных производителей требует материальных и духовных предпосылок: развития машинного производства, грамотного, рационально воспитанного работника, свободного от религиозной веры и духовной опеки. Социализм Писарева был лишен народнических черт. Он не верил ни в исконную социалистичность мужика, ни в спасительную роль сельской общины, ни в возможность скорой социалистической революции в России. Острие его критической мысли было направлено не только против апологетов существующего и разного рода политических соглашателей, но и против иллюзий собственного — революционного, демократического, социалистического — лагеря.

4

В литературе о Писареве-мыслителе предпринимались неоднократные попытки показать эпигонский характер проповедуемых им философских взглядов, их идейную зависимость от работ иных философов — будь то Л. Бюхнер или О. Конт, И. Бентам или Н. Г. Чернышевский. И всякий раз эти попытки оказывались в конечном счете неудачными: взгляды Писарева не совпадали с предлагаемой «шкалой ценностей», не укладывались ни в одну философскую систему его времени. Отсюда некоторые авторы делали заключение о крайней непоследовательности Писарева в понимании и трактовке философии, с чем связывали его «ошибки» и просчеты мировоззренческого и методологического характера.

Насчет непоследовательности Писарева — в том смысле, что *он не следует ни одному из известных философов* — придется согласиться. Заметим, однако, что эта непоследовательность выражала *последовательное антидоктринерство,* принципиальное неприятие ни одного из существующих философских учений в качестве абсолютной истины (хотя у всякого непредубежденного читателя сочинений Писарева не возникнет и тени сомнения в его атеизме и общематериалистической убежденности). Согласимся и с тем, что Писарев многого не понял (или понял превратно)

---

[1] Писарев Д. И. Соч. Т. 2. С. 308.

в предшествовавшей и современной ему философии, узко подойдя, скажем, к Платону или Гегелю, а из русских — к И. Киреевскому, и, напротив, переоценил менее значащие — с уровня теперешних представлений — фигуры в философии, вроде того же Бюхнера. Согласимся, наконец, с тем, что Писарев зачастую слишком торопливо писал свои статьи, бросаясь от темы к теме, от одной области знаний к другой, не был склонен к продолжительным и систематичным размышлениям над философскими проблемами. «Я решительно не могу, да и не хочу сделаться настолько рабом какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нее от своих личных интересов и страстей», — признавался он Н. В. Шелгунову[1].

Но, согласившись со всем, с чем можно и нужно согласиться, попробуем все же *читать Писарева внимательно и непредвзято.* Ибо, как заметил однажды он сам: «Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать»[2].

Внимательное чтение Писарева не может не поставить нас перед вопросом о смысле неоднократных демонстраций им отрицательного отношения к философии вообще и, с другой стороны, его упорного нежелания называть философами близких ему по духу мыслителей, в частности французских просветителей XVIII века. «...На самом деле, — утверждает Писарев, — они нисколько не философы, а просто умные и талантливые литераторы, превосходно понявшие или угадавшие потребности своего времени. Какой же, например, философ сам Вольтер? В чем состоит его философская система? Если бы кто-нибудь задал ему этот вопрос, он наверное отделался бы от этого вопроса какой-нибудь шуткой и остался бы совершенно правым, потому что его задача состояла совсем не в том, чтобы сооружать системы, а в том, чтобы с утра до вечера, в течение пятидесяти лет вести убийственную партизанскую войну против всех средневековых заблуждений и несправедливостей. Но философом его все-таки называть не годится»[3]. Из этих слов Писарева и значительного ряда подобных высказываний видно, что, по его представлению, обязательным атрибутом философствования является умозрительность, что всякая философия есть в сущности то, что ранее носило название «метафизика», что в круг собственно философского мышления входят рассуждения о сущности и первоначалах мира. Но в таком качестве философия, по Писареву, бесполезна для науки и тем более — для жизни. Писарев, таким образом, видит и констатирует конец философии в старом смысле этого слова. Он вполне мог бы сказать о себе словами Л. Фейербаха: «...Никакой философии! — такова моя философия»[4]. По убеждению Писарева, человек не должен обладать ка-

---

[1] Сочинения Н. В. Шелгунова. СПб., 1895, т. II, С. 686—687.

[2] Писарев Д. И. Соч. Т. 4. М., 1956. С. 195.

[3] Сочинения Д. И. Писарева. Полное собрание в шести томах. Издание Ф. Павленкова. Т. V. СПб., 1894. Стлб. 462—463.

[4] Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1955. С. 268.

ким-то еще особым «миросозерцанием», формируемым именно философией, ему вполне достаточно для жизни тех знаний, которые дает ему наука. Можно, конечно, усмотреть в такой позиции влияние позитивизма (действительно имевшее место при трактовке Писаревым ряда более конкретных проблем). Можно. Но стоит ли?..

Внимательное чтение Писарева позволяет обнаружить и довольно интересный — даже с точки зрения сегодняшнего дня — анализ им узловых философско-исторических проблем, например: отношения природы и общества; взаимодействия в истории материального и идеального (и конкретнее — экономического, социального, политического, религиозного, нравственного, научного); структуры и динамики общественного сознания (выделим здесь вывод Писарева о том, что одни и те же идеи имеют различный смысл и разную социальную силу и направленность — в зависимости от того, являются ли они достоянием культурной элиты, проповедуются ли они просвещенными кругами общества или проникли в сознание широких масс), и ряда других.

5

Особо скажем о проблеме человека, — не только потому, что она является своего рода центром философско-социальных размышлений Писарева, но и потому, что зачастую его антропологическая концепция, иначе — теория «разумного эгоизма», квалифицируется как индивидуализм и утилитаризм.

Слов нет, некоторые выражения Писарева дают повод для подобных обвинений. Но — лишь повод, и только для представителей «обвиняющего направления» в историографии. Мы почему-то все никак не научимся разглядывать за фразой, термином, самоназванием, «вывеской» (которые иногда преследуют цель эпатировать читателей — и только) — существо дела, содержание отстаиваемых идей. За многочисленными прокламациями Писарева о разумном эгоизме, индивидуализме, утилитаризме и т. п. пора бы уже увидеть его бескомпромиссную борьбу против того, что все привычнее ныне называется «отчуждением человека», борьбу против «опекунства» над человеческой личностью, в каких бы формах оно ни выступало — в виде ли явного насилия или как различного рода «дрессировки». Фронт этой борьбы включал в себя как отвержение политического, государственного деспотизма (будь то античная тирания или изощренная парламентская демократия), так и протест против духовного подавления личности, практикуемого с первых шагов развития человечества и находящего выражение в прочной зависимости индивида от многообразных религиозных верований, моральных кодексов, политических догматов, идеологических постулатов и т. п.

Писарев подчеркивал предельную античеловечность того социально-политического и духовного устройства, которое называется теократией: в условиях теократии («сверхоригинальным» вариантом которой в XX веке явился сталинский «государственный социализм» с его «куль-

том личности») народ, массы доводятся до такого состояния, что у них нет сил даже на восстание, да и потребности в революционном протесте они не испытывают. Именно поэтому Писарев однозначно негативно оценил попытку Конта предложить будущему человечеству «новое» социальное устройство с новым папой во главе.

И дело тут не в «сциентизме» Писарева, который усматривают у него некоторые историки философии, не в крайностях его рационализма,— дело в осознании им громадной мощи и инерции народных верований. Опыт нашего столетия подтвердил обоснованность тревог Писарева...

Во всяком случае, освобождение человека, по Писареву, включает в себя и развитие в нем умения ходить без помочей и не поддаваться дрессировке новых берейторов. До тех пор, пока люди не научатся действовать — во всех жизненных сферах — самостоятельно, они останутся несвободными. И никакой альтруизм, никакая благотворительность и филантропия, никакое «опекунство» тут не помогут.

Примерно так же дело обстоит и с проблемой народа: до сих пор в истории он исправлял «должность кошки, вытаскивающей из горячей золы каштаны для прожорливой мартышки» [1]. И потому позиция истинного демократа — не в идеализации существующих форм народной жизни, не в романтизации проявлений его стихийного протеста, которые ни к чему хорошему — для самого народа — не приводили, а в развитии народного сознания, его самосознания. В этом, по Писареву, задача, стоящая перед мыслящими реалистами. И важнее ее ничего нет.

А. И. Володин.

---

[1] Сочинения Д. И. Писарева... Издание Ф. Павленкова. Т. V Стлб. 429.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

Избранные статьи

БЕДНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ

(«Наука и литература в России при Петре Великом». Исследование П. Пекарского)

I

Исследование г. Пекарского еще не находится в руках публики в полном своем составе; в продажу поступил только первый том, заключающий в себе с лишком 500 страниц текста; второй том, который, вероятно, будет такого же объема, выдет осенью [1]. Над этим исследованием г. Пекарский трудился несколько лет. В 1855 году был напечатан в IV томе «Известий Академии наук по II отделению» план этого ученого труда. С 1855 до половины 1859 года г. Пекарский работал в публичной библиотеке; затем с половины 1859 года он группировал собранные материалы и готовил их к печати, и вот, наконец, в начале 1862 года читающая публика может воспользоваться плодами многолетних и усидчивых трудов. Приступая к оценке книги г. Пекарского, я счел необходимым прежде всего описать ее размеры и привести ее формулярный список; к каким бы результатам меня ни привел разбор этого исследования, во всяком случае надо прежде всего отдать должную дань уважения тому количеству добросовестного труда, которое положено в эти сотни убористо напечатанных страниц. Сколько хламу надо было перерыть, сколько скуки перенести, сколько самоотвержения потратить для того, чтобы составить эту книгу! Поэтому, принимая в соображение путь узкий и прискорбный, по которому г. Пекарский шел к своей светлой цели, я от всей души порадовался за автора, прочтя на обертке его книги: «Удостоено от Академии наук полной демидовской премии». Вероятно, автор предвидел, что это приятное известие обрадует всех добрых людей, которым попадется в руки его исследование; предвидя

это и желая на первых же порах доставить своим читателям приятное ощущение, г. Пекарский так и напечатал это на обертке; я говорю это собственно для тех неисправимых скептиков, которые, усматривая во всяком деле дурные умыслы, подумают, что эти слова на обертке поставлены ради тщеславия или для того, чтобы зарекомендовать заранее книгу нашей слишком доверчивой и мало читающей публике. Неисправимые скептики глубоко ошибутся в своих коварных предположениях: г. Пекарский решительно неспособен придавать особенно высокое значение приговору Академии, он знает очень хорошо, что только суд публики в самом обширном смысле должен быть дорог для писателя, добросовестно служащего своей идее; он знает также, что наша Академия не пользуется особенным сочувствием публики и что теперь даже неакадемические авторитеты меркнут и бледнеют перед беспощадным сомнением. Г. Пекарский известен публике как сотрудник «Современника», следовательно, все эти вещи он твердо знает; повторяю, что слова: «Удостоено от Академии наук полной демидовской премии» помещены на обертке с самым добрым намерением, единственно для того, чтобы порадовать публику хорошим известием. Эти слова ободряют меня, рецензента, приступающего к оценке книги; я рассуждаю так: если г. Пекарский уже получил за свою работу значительное и почетное вознаграждение, то, по всей вероятности, он не огорчится теми замечаниями, которые мне, может быть, придется сделать в этой статье. Г. Пекарский уже знает, что почтенное собрание русских ученых уже увенчало его труд многоценными лаврами. Что же значат после такого решительного торжества беглые и поверхностные замечания скромного журналиста?

Зоил бранит — поэт не *ропчет,*

сказал сам г. Полонский, заканчивая четвертую главу своего «Свежего предания»[2]; а уж если г. Полонский, которому в последнее время действительно насолили зоилы, обещает не роптать даже в случае брани, то тем более есть надежда, что г. Пекарский с величественным равнодушием пропустит мимо ушей мои легкие замечания.

Замечания мои будут действительно очень легки и немногочисленны. Я замечу только, что книга г. Пекарского дает очень много фактов и очень мало выводов; если у меня спросят, что такое это замечание, похвала

или порицание, то я скажу, что принять его в ту или в другую сторону совершенно зависит от г. Пекарского. Если бы такое суждение произнес над исследованием почтенный академик, тогда малейшее сомнение сделалось бы невозможным. Обилие фактов, нужных или ненужных, годных или негодных, на языке цеховых ученых называется основательностью исследования, а отсутствие выводов на том же языке называется осторожностью и благоразумием. Что же касается до меня, то я скажу прямо, что книга г. Пекарского при другой, более живой обработке могла бы быть втрое короче и по крайней мере вдвое занимательнее. Первый том состоит из пятнадцати глав; вторая, третья, четвертая, пятая и седьмая представляют много интересного; затем можно найти некоторые характерные подробности в одиннадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой; все остальное сухо и бесплодно; самый любознательный читатель, раскрывающий книгу с добросовестным желанием научиться чему-нибудь дельному, должен будет употребить в дело геройские усилия, чтобы не оставить чтения на этих безнадежно скучных местах. Надо сказать правду, что весь героизм этих усилий будет потрачен даром, потому что те немногие и мелкие крупицы, которые можно вынести из утомительного чтения, решительно не могут вознаградить читателя за потраченное время и за испытанную скуку. С восьмой главы начинается библиография: г. Пекарский с величайшею тщательностью описывает нам внешний вид разных петровских учебников и приводит из этих душеспасительных книг длиннейшие цитаты; тут мы узнаем, например, что первый букварь в Москве вышел в 1634 году, «трудами и тщанием Василья Федорова Бурцева и прочих сработников»; потом мы узнаем, что в 1637 году напечатано второе издание этого букваря, потом в 1664 году — еще букварь, потом в том же году — букварь в Киеве, потом в 1671 году — еще букварь Львовского братства, и так далее, история о букварях тянется на пятнадцать страниц; затем начинается история о грамматиках, потом об арифметиках, о календарях, о географиях; читая эти страницы, можно подумать, что петровская Россия вся сидела в огромной классной комнате и что введение тех или других учебных руководств составляло самую живую, единственную и интересную сторону общественной и умственной жизни. Статистика букварей, стоившая, по всей вероятности, г. Пекарскому многих трудов, могла бы

при известных условиях привести к кое-каким результатам. Например, один и тот же букварь Василия Бурцева напечатан двумя изданиями в течение трех лет. Если бы г. Пекарский мог знать, в каком количестве экземпляров было напечатано первое издание, то, узнавши, сколько букварей разошлось в течение трех лет, он мог бы приблизительно рассчитать, как велик был запрос на грамотность в первой половине XVII столетия. Но ведь делать такие расчеты надо очень осторожно; вместе с букварем Бурцева могли быть и действительно были в обращении другие буквари, вышедшие раньше, не в Москве, а хоть бы, например, в Вильне; кроме того, во многих семействах дети могли учиться не по букварям, а просто по псалтири или по какой-нибудь другой священной книжке, как это действительно делалось.

Наконец, г. Пекарскому даже неизвестно то количество экземпляров, в котором печатались эти буквари; стало быть, даже голая цифра, определяющая число учащихся грамоте, не может быть выведена из библиографического перечня учебников. В этом перечне помещено довольно подробное описание каждого отдельного букваря, каждой грамматики и арифметики. Характерного в этих описаниях найдется очень немного. Следующий замысловатый панегирик розге, бичу и жезлу представляет, быть может, самое любопытное место в этой монографии о букварях:

Розга ум вострит, память возбуждает
    и волю злую в благу прелагает:
Учит Господу Богу ся молити
    и рано в церковь на службу ходити,
Бич возбраняет скверно глаголати
    и дел лукавых юным соделати,
Жезл ленивые к делу побуждает,
    рождших слушати во всем научает.

Как ни игрив этот педагогический мадригал, однако, надо сказать правду, даже в нем читатель находит мало характерного; что в школах секли в XVII столетии — это всем известно; что учение и мучение в то время были синонимами — это тоже не ново; мы всё еще помним, отчасти по собственному опыту, отчасти по свежим преданиям, которым верится без малейшего труда, что розга являлась естественным посредником и живою органическою связью между учителем и учеником. Следовательно, какая же это характерная черта для изображения русско-

го воспитания в XVII столетии; даже воспевание педагогических орудий в стихах не составляет исключительной принадлежности нашей старины. Не дальше как с месяц тому назад в «Северной пчеле» была напечатана заметка о стихотворении одного ксендза, который в розге, или, как он ее называет, в *«розочке»* видит истинный и верный путь к добродетельной жизни и к вечному блаженству. А Витгенштейн! А Юркевич с его энергическими мотивами жизни![3] Нет, решительно те черты эпохи, которые г. Пекарский откапывает в заброшенных петровских и допетровских азбуках, живым живут в XIX столетии; стало быть, или пора истории еще не настала для петровской эпохи, или надо искать исторических материалов не там, где их ищет г. Пекарский. Это второе предположение несомненно верно. Искать черты быта и народного характера в книжонках, по которым учились грамоте и счету разные ребята и школьники,— это такая идея, на которую может напасть только отчаянный библиоман; думать, что значительная часть идей и стремлений, одушевлявших во время óно живых людей, может прилипнуть к школьным руководствам, составлявшимся разными трудолюбивыми тупицами,— это, воля ваша, очень оригинально. Но ведь дело-то в том и есть, что большая часть наших ученых вовсе не задает себе вопроса о конечной цели своих трудов. Один пишет о какой-нибудь черниговской гривне[4], другой о том, как писалась буква *юс* в рукописях XIII века, третий о значении слова *изгой* или еще что-нибудь в таком же нравоучительном роде. Если бы вы спросили у этих добровольных мучеников, к чему же они стремятся, из чего они бьются, чем оправдывают и объясняют свою многострадальческую и пребесполезную деятельность, знаете ли вы, что они ответили бы вам на один из подобных вопросов? Самые задорные ответили бы вам, что вы профан и невежда, что если вы не признаете пользы и необходимости археологических, филологических, палеографических и разных других разысканий, одаренных очень звучными названиями, то с вами и говорить не стоит о предметах, недоступных вашему ограниченному пониманию. Другие, более смиренные на вид, ответят скромно, что они собирают материалы для будущего здания русской истории, что они, безвестные труженики, работают для грядущих поколений, которые будут пожинать плоды их усилий. Этот приличный ответ в сущности не что иное, как довольно ловкая увертка, ко-

торая действительно обманывает многих доверчивых слушателей и читателей. Представьте себе, что кто-нибудь хочет построить каменный дом и купил себе для этого землю, место; у этого NN есть много знакомых, сочувствующих его предприятию и желающих, чтобы роскошное здание, как можно скорее и успешнее, было воздвигнуто на приготовленном месте; и вот все эти знакомые начинают тащить на место предполагающейся постройки всякий хлам, все, что им попадается под руку: один волочет старую подошву, другой — разбитую склянку, третий — мешок гнилого картофеля, четвертый — растрепанный экземпляр какого-нибудь сочинения Эккартсгаузена[5].

— Что вы делаете? — спросит у этих людей посторонний и беспристрастный зритель.

— Да вот, батюшка,— скажут ему усердные носильщики,— собираем материалы для будущего здания.

Конечно, беспристрастный зритель захохочет.

— Помилуйте,— скажет он,— за что же вы разоряете хозяина? Ведь ему придется нанимать несколько подвод, чтобы вывезти с своего участка всю ту рухлядь, которую вы набросали. Разве вы не знаете, из чего строятся каменные дома? Разве вы не понимаете, что битое стекло и гнилой картофель ни при каких условиях не превращаются ни в кирпич, ни в камень, ни в известку? Неужели у вас и на это не хватает мозга и соображения? Правду же говорил об вас Чернышевский, что вы очень несообразительны[6].

Обидятся или не обидятся этими словами собиратели хлама,— до этого мне нет никакого дела. Смысл моей нехитрой басни, кажется, ясен. Дело все в том, что собирать материалы без разбору, без критики, без смысла — значит затруднять задачу будущего зодчего, будущего таланта, который должен окинуть орлиным взором всю вереницу прошедших событий, увидать между ними действительную связь и набросать широкими штрихами великую картину, полную живого смысла, блещущую яркими красками исторической правды. Что за облегчение для будущего историка, если вы перепечатаете ему в своем исследовании половину изданных в России букварей и часословов? Что за облегчение, если вы ему представите в хронологическом порядке все изменения, которые в течение веков испытала в своем начертании буква *юс* или *кси*? Что за облегчение, если вы пересчитаете, сколько раз слово *прѣ* (паруса) встречается в летописях или в переводе Би-

блии? Если вы трудолюбивый исследователь и не признаете за собою способности созидать здание, т. е. ярко изображать или стройно группировать и сообщать факты, то собирайте их с толком, умейте различать, что камень, что дерево, а что просто навоз. Ведь в этом-то и состоит единственно возможное разделение труда в деле научного исследования. Ведь нельзя же возводить в драгоценные исторические материалы *пробы пера* какого-нибудь человека, хотя бы этот человек был величайший гений нашей планеты и хоть бы он жил лет за тысячу до нашего времени. Пробы пера все-таки останутся пробами пера, и вы из них не выжмете ничего путного; бумага и пергамент не вино; они не становятся лучше и занимательнее от времени.

Зиждущий талант будущего историка потратится на расчищение места, если скромные исследователи по-прежнему будут усыпать его архивною пылью. Дело исследователей — обсудить, что годится, что не годится, и потом представить в своем исследовании совокупность всего годного; дело талантливого историка — взять это годное и из этих очищенных материалов вылепить живые фигуры и осмысленные барельефы; первый сортирует, отвеивает зерна от мякины, второй творит из данного материала. Что касается до наших русских ученых, то большая часть из них не годится ни в историки, ни даже в собиратели материалов. Сырье остается сырьем; характерные факты ставятся рядом с самыми бесцветными; занимательные подробности рядом с такими обстоятельствами, которые можно было бы забыть с величайшим удобством. Слабость мысли, раболепное уважение к старине потому только, что она старина; умиление над прошедшим потому только, что оно прошло; бесцельная погоня за мелким фактом, не имеющим ни малейшего исторического смысла; бессознательная перепечатка рукописей и документов потому только, что они написаны старинным почерком, — вот какими свойствами и действиями отличается большая часть наших тружеников. Смеяться над такою наукою и над такими учеными можно именно из любви к истинной, плодотворной и живой науке. Этой сухой и дряхлой официальной науке, над которою, по моему мнению, может и должен смеяться всякий живой и энергический человек, этой самой науке, прозябающей в разных умственных оранжереях, г. Пекарский принес обильную дань в своем исследовании. Сотрудник

«Современника», умеющий иногда отзываться живыми статьями на запросы времени[7], перерыл все петровские буквари и учебники, описал их заглавные картинки, изучил их шрифт, перепечатал из них многое множество скучных цитат, потом заключил всю эту неорганическую компиляцию под одну обертку и с торжеством написал на этой обертке: «Удостоено от Академии наук полной демидовской премии». Ну, и слава богу! Отдавая должную дань официальной науке, той науке, которая гордо объявляет, что она сама себе цель и что ей до общества и до жизни нет дела, г. Пекарский доказал очень наглядным примером, что порода ученых переливателей из пустого в порожнее переведется у нас очень не скоро и что петровский период искусственного насаждения наук в России продолжается до наших времен и, может быть, будет продолжаться еще для наших детей и внуков.

II

Впрочем, бог с ними, и с официальною наукою, и с демидовскою премиею, и с счастливым триумфатором, г. Пекарским! Взглянем лучше на ту эпоху, которою занимался наш исследователь; будем брать факты из его же книги, а рассуждать о них будем по-своему, т. е. не так, как рассуждают ученые, а так, как рассуждают простые люди, не лишенные здравого смысла.

Теперь, кажется, спор между славянофилами и западниками о значении Петра в истории нашего просвещения, оставаясь нерешенным, затих и заглох, потому что самые литературные партии, красовавшиеся под этими двумя фирмами, успели выродиться и преобразиться. Теперь уже никто серьезно не советует возвратиться к временам боярства, и вследствие этого уже никто серьезно не полемизирует с боярским элементом. Слышатся кое-где фразы о народности, о почве[8]; эпитет *русский* ни к селу ни к городу привязывается к словам: жизнь, мысль, ум, развитие; но те господа, которые сочиняют подобные фразы и употребляют всуе многознаменательный эпитет, сами как-то не верят тому, что говорят, и на самом деле придают своим словам очень мало значения. Фразы и вывески год от году теряют свою обаятельную прелесть; прежде достаточно было сказать: «матушка Русь православная», или заговорить о народной подоплеке, или противопоста-

вить «русскую цельность духа» европейскому рационализму, для того чтобы прослыть не только патриотом, но даже опасным человеком. Теперь уже не то. Теперь вы можете кричать на всех перекрестках, что вы прогрессист, либерал, демократ, и вам немногие поверят на слово, и вас немногие будут слушать или читать, если под звучными вашими словами нет оригинальных мыслей, если под вашими фразами не кроются глубоко продуманные убеждения. Наши теперешние литературные партии теперь не выкидывают ярких флагов, не тащат насильно читателей ни на восток, ни на запад, не стараются прыгнуть ни в XVI столетие, ни в XXII-е; они живут во времени и в пространстве, они следят за жизнью и комментируют одни и те же явления и смотрят на них или по крайней мере стараются смотреть на них не с китайской, не с французской, не с английской, а просто с человеческой, с своей личной точки зрения. Вот, говорят одни, это распоряжение хорошо, потому что оно облегчает судьбу такого-то сословия. Нет, возражают другие, такое-то распоряжение нехорошо, потому что оно недостаточно облегчает и обеспечивает участь заинтересованного класса. Являются доказательства с той и с другой стороны. Доказательства эти берутся из живого быта, из чистой действительности. Спорят большею частью о том, удобно или неудобно новое бытовое условие, а не о том, соответствует или не соответствует оно прежнему историческому ходу развития, и не о том, согласно ли оно с выводами чистой умозрительной логики. Вера в непогрешимость чистой логики и в разумность истории оказывается подорванною; эту веру задавили настоятельные потребности жизни; мы увидали, что жизнь наша устроена очень плохо, так плохо, что если бы нарочно выдумывать, то нельзя было бы изобрести чего-нибудь более неудобного; между тем мы видели и знали, что решительно ни один человек, имевший влияние на устройство нашего быта, не делал нам умышленного зла; всякий хотел сделать получше, всякий мудрил над жизнью, всякий вертел по-своему ее огромный калейдоскоп, и от этого отдельные камешки и стеклышки складывались в невероятно уродливые фигуры, теснили друг друга, без нужды сшибались и сталкивались между собою, то приходили в хаотическое движение, то вдруг останавливались и замирали в самом неестественном положении. Всякий мудритель над жизнью, как более или менее крупный Петр Иванович Бобчинский, хо-

тел заявить о себе почтеннейшей публике и часто заявлял такою же оригинальною шуткою, посредством которой Эрострат вошел во всемирную историю. Если перебрать жизнь и действия всех великих и больших исторических деятелей, то найдется очень немного таких людей, с которых можно было бы снять упрек в мудрении над жизнью. В этом мудрении над жизнью и заключается темное пятно их жизни и деятельности. Личная логика этих деятелей расходилась с потребностями людей и времени; эти настоящие, законные потребности заявляли свое существование сопротивлением, иногда тупым и инертным, как сопротивление наших староверов, иногда деятельным и блестящим, как сопротивление нидерландских патриотов против распоряжений Филиппа II, желавшего насильно ввести своих подданных в царство небесное[9] Тогда личная логика мудрителя, опираясь на его личную волю и на его материальные средства, вступала в отчаянную борьбу с естественными силами непонятой им жизни; борьба была более или менее упорна, смотря по тому, насколько была крупна личность деятеля и насколько были развиты силы сопротивления и отпора. В конце концов непонятая и насильственно ломаемая жизнь всегда одерживала победу уже потому, что она переживала своего противника; во всей всемирной истории мы не видим ни одного примера, чтобы личная воля одного человека, отрешенная от естественных потребностей народа и эпохи, основала какое-нибудь прочное государственное или социальное здание, какое-нибудь долговечное учреждение, какое-нибудь живучее бытие. Возьмите, например, историю всех монархий, составившихся завоеваниями одного человека; все они, начиная от монархии Александра Македонского и кончая империею Наполеона I, не переживали своих основателей и, насильственно сколоченные из разнородных кусков и верешков, мгновенно разлагались на свои составные части. Припомните историю отвлеченных законодательных теорий, которые втискивались в жизнь народа по воле отдельного лица; что делалось с этими теориями? Их выкидывал народ из своей жизни, или он их проглатывал и переработывал так, что голая теория становилась неузнаваемою. Припомните, далее, историю религиозных преследований — этого грубейшего проявления личного произвола: вы увидите, что эти преследования не упрочивали господства того культа, во имя которого они воздвигались; Джордано Бру-

но, Савонарола, Ян Гус не остановились перед кострами, а за ними пошли тысячи людей, которые затоптали, заплевали эти костры и разметали по свету безобразные головни и погасшие угли. Все эти примеры, однако, вовсе не доказывают, что мудрение над жизнью, производимое историческими деятелями по тем или другим побуждениям и соображениям, остается безвредным и не ведет за собою важных последствий. Дело только в том, что последствия никогда не бывают такие, каких желает сам деятель. Если бы Филипп II не ввел инквизицию в Нидерланды, то, вероятно, Нидерланды долго не оторвались бы от испанских владений; стало быть, Филипп II имел влияние на судьбу Нидерландов, только влияние это было очевидно не то, которое он желал иметь; ему хотелось утвердить католицизм — он ввел инквизицию, и вдруг это непогрешимое средство подействовало совершенно навыворот: вместе с католицизмом оно опрокинуло в Нидерландах господство Испании; личная логика оказалась несостоятельною; историческая действительность перехитрила все тонкие расчеты Филиппа II.

Владея известною материальною силою, задавшись известною идеею, деятель вступает в борьбу с тою или другою стороною современной ему жизни; эта борьба, конечно, изменяет состояние сопротивляющейся силы; всякое гонение изменяет положение гонимого класса народа или религиозного общества; во время гонения преследуемые идеи доводятся до своего последнего, крайнего выражения. Гонение порождает мучеников; мученичество вызывает сочувствие; сочувствие, закравшееся в сердца целых тысяч людей, выражается в более или менее сильном протесте против гонителей; словом, напор личной логики и личной воли вызывает реакцию, и дальнейшее историческое движение, дальнейшее направление жизни определяется совокупным действием этих двух сил, из которых сила личной логики и воли всегда оказывается слабейшею.

Реформаторская попытка, предпринятая историческим деятелем, напрягает, таким образом, силу тех начал, которые заключаются в обработываемом материале. Кроме того, эта же реформаторская попытка изменяет самое расположение этих начал; перепутывая и переламывая существующий порядок, нарушая заведенный ход обыденной жизни, борьба между личною логикою и народною волею изменяет самые условия жизни, но изменяет их

обыкновенно не настолько и не так, насколько и как того желает сам деятель. Ревностный католик, германский император Фердинанд II начал Тридцатилетнюю войну с полным желанием искоренить или по крайней мере стеснить протестантизм, насколько это было возможно[10]. Вместе с тем он имел в виду войною упрочить преобладание своей династии и неограниченное господство императора как в Германии вообще, так в наследственных своих землях в особенности. Он хотел переломать по-своему весь строй общественных отношений и религиозных понятий; на самом же деле ему удалось только разрушить тот порядок вещей, который он застал при вступлении своем на престол.

Протестантизм не погиб, а абсолютизм германского императора не разросся и не окреп, но, во всяком случае, Германия после Вестфальского мира была уже не та, какою мы ее видели раньше битвы при Белой горе[11]. Многие вопросы жизни, едва поставленные в начале Тридцатилетней войны, успели определиться и подвинуться к своему разрешению; территориальные отношения перепутались; Швеция и Франция благодаря военным действиям приобрели небывалое до того времени влияние на дела Германии; католики-французы, сражаясь рядом с немцами-протестантами, убедили Европу в том, что религиозные войны начинают делаться анахронизмом и что умные государственные люди руководствуются в своих действиях чисто политическими расчетами. Все эти последствия Тридцатилетней войны вовсе не были похожи на то, чего желал и ожидал император Фердинанд. Таким образом, мы видим, что крупный исторический деятель имел несомненное влияние на развитие событий, но что это влияние, переработанное силою обстоятельств, было вовсе не сознательное и вовсе не соответствовало ни его личным соображениям, ни его личным желаниям. Крупная личность вовсе не управляет ходом событий; она сама, как ингредиент, входит в процесс исторической жизни; ее действия переработываются известными условиями и обстоятельствами, образуют с этими условиями и обстоятельствами разные комбинации и компликации, вовсе не зависящие от ее личной воли. Алхимики хотели найти философский камень и жизненный эликсир, а вместо того обогатили естественные науки разными открытиями, о которых они и не думали. Колумб хотел проехать в

Восточную Индию, а вместо того открыл новую часть света, о которой он не имел понятия.

Область неизвестного, непредвиденного и случайного еще так велика, мы еще так мало знаем и внешнюю природу и самих себя, что даже в частной жизни наши смелые замыслы и последовательные теории постоянно разбиваются в прах то об внешние обстоятельства, то об нашу собственную психическую натуру. Кто из нас не знает, например, что ревность — чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение, пусть его разлюбит женщина, к которой он глубоко привязан! Что же выдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя своими теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненно-гуманной философии?

Нет, помилуйте! Этот непобедимый диалектик, этот вдохновенный философ полезет на стены и наделает таких глупостей, на которые, может быть, не решился бы самый дюжинный смертный. «Чужую беду я руками разведу, а к своей беде и ума не приложу»,— говорит русская пословица. Ну, вот видите ли, ведь исторические деятели такие же люди, как и мы; у них такая же плоть и кровь, такой же разлад между мозговыми выкладками и физическими ощущениями, такое же несогласие между мыслью и делом. Если сумма их умственных и нервных сил больше нашей, то зато и круг действий шире, и ошибки заметнее, и падения опаснее. Если нам трудно и даже невозможно расположить собственную жизнь по той программе, которую совершенно одобряет наш разум, то тем более историческому деятелю, т. е. человеку, стоящему на заметной ступеньке, совершенно невозможно сделать так, чтобы несколько тысяч или миллионов людей завели бы между собою именно такие отношения, какие он считает разумными и нормальными. Физический маятник ни при каких условиях не будет двигаться совершенно так, как математический; тяжесть, трение, сопротивление воздуха, свойства металла введут в движение физического маятника такие условия и ограничения, каких нет и не может быть в отвлеченной алгебраической формуле. Так точно бывает с каждым теоретическим проектом, когда дело идет о том, чтобы привести его в действие; то, что в голо-

ве прожектёра складно и последовательно, то, что на бумаге ясно, легко и просто, то может не пойти в ход от какого-нибудь ничтожного столкновения с плотью и кровью жизни, то может расстроиться от какого-нибудь маленького, непредусмотренного обстоятельства. Кто же решится утверждать, что он знает жизнь и что для него жизнь не представляет вереницы случайностей, сбивающих с толку самого тонкого психолога, самого опытного дипломата? Драгоценнейший результат исторической жизни человечества, драгоценнейший плод изучения этой жизни состоит, быть может, именно в том, что мы потеряли веру в нашу личную логику, приложенную к предусматриванию или предустроению событий. Ты будь себе хоть семи пядей во лбу, думаем и говорим мы теперь, обращаясь к историческим деятелям, а ты событий не создашь и даже не предскажешь. В древности верили в существование разных Солонов и Ликургов; верили, что законы каждого государства составлены каким-нибудь очень мудрым мудрецом, который сказал, что должно быть так и эдак, и которому все граждане поверили на слово. В древности даже исторические мудрецы, оставившие нам вполне достоверные сочинения, воображали себе, что они могут основать идеальные государства и осчастливить человечество, заставив его жить в пределах данной программы. С падением Греции и Рима не погибла претензия умных людей распоряжаться жизнью, мыслями и поступками своих ближних; утописты, т. е. люди, изображавшие идеальный порядок вещей и пытавшиеся осуществить свои фантазии на деле, являлись во всевозможных богословских, философских и экономических школах; может быть, они не перевелись и до сих пор, но зато рядом с ними явились и такие люди, которые, не возражая против частностей их проектов, говорят просто и решительно: «Это построение чистого разума, это теоретическое сооружение, следовательно, оно не приложимо к жизни. Жизнь не терпит произвольных ампутаций и механических склеиваний; кто хочет коверкать на свой лад живую действительность, тот этим самым желанием обнаруживает полное непонимание жизни и полную неспособность действовать на нее благотворно». Это заявление полного и решительного недоверия к непогрешимости личной логики составляет протест мужающего человечества против опеки разных гениев, мудрецов и великих людей. Без этого протеста обыкновенным людям

нельзя было бы жить на свете; их постоянно охраняли и предостерегали бы от увлечений разные мудрецы; их постоянно просвещали бы против их воли разные гении; им постоянно благодетельствовали бы, не спрашивая их согласия, разные исполины филантропии; а ведь непрошеные предостережения, просвещения и благодеяния все равно что не в пору гость — хуже татарина. Самое драгоценное достояние человека — его личная независимость, его свобода постоянно приносилась бы в жертву разным обширным и возвышенным целям, созревающим в разных великих и высоких головах; нам, простым смертным, пришлось бы отказаться от всякой самодеятельности; за нас думали, чувствовали и жили бы разные герои, мудрецы и гении; может быть, в нашей жизни водворилось бы вследствие этого небывалое благочиние; может быть, явилась бы невиданная и неслыханная гармония, но во всяком случае нам, отдельным атомам, букашкам и моськам, было бы скучно и тяжело среди этого размеренного, рассчитанного, чинного и симметричного хозяйства жизни. К счастью или к несчастью (смотря по вкусам читателя), стремление к личной независимости с каждым десятилетием глубже и глубже проникает в сознание людей; необходимость личной полноправности сознается шире, полнее и определеннее; увеличивающееся сознание этой необходимости составляет даже главное основание того процесса, который называется в истории развитием или усовершенствованием человечества. Чем развитее нация, тем полнее самостоятельность отдельной личности, и в то же время тем безопаснее одна личность от посягательств другой. Пользоваться личною свободою и в то же время не вредить другому и не нарушать его личной свободы — вот то положение, в которое всевозможные законодательства и общественные учреждения стараются поставить отдельную личность. Чем ближе подходят существующие общества людей к этому желанному положению, тем незначительнее становится влияние людей, склонных мудрить над жизнью и ломать ее по своей прихоти или по своим более или менее мудрым соображениям. В цивилизованной нации, в которой каждый отдельный гражданин считает себя полноправным лицом и знает, где кончается свобода и где начинается нахальный произвол, в такой нации, говорю я, возможны или постепенные изменения в нравах и идеях, изменения, происходящие от смены поколений и от естественного движения жизни,

или крупные перевороты, соответствующие той или другой неудовлетворенной потребности целого сословия, целой массы людей. По идее одного мыслителя, по воле одного гения, как бы ни был умен этот мыслитель, как бы ни был силен этот гений, не сделается никакого ощутительного изменения ни в жизни, ни в понятиях, ни в стремлениях. Когда мыслят, когда живут полною человеческою жизнью целые тысячи или миллионы разумных существ, тогда, конечно, единичная мысль и единичная воля тонут и исчезают в общих проявлениях великой народной мысли, великой народной воли. Когда существенный характер общества заключается не в инерции, а в самодеятельности, когда каждый устраивает себе жизнь по-своему и составляет себе о ней свои более или менее своеобразные и самостоятельные понятия, тогда ваши идеи, высказанные публично или напечатанные, принимаются не иначе, как после многосторонней и строгой критической проверки. В обществе мыслящих людей самый красноречивый оратор, самый вдохновенный мыслитель найдет себе мало слепо верующих адептов. Выслушав такого оратора или мыслителя, каждый отдельный человек скажет про себя: ты, друг любезный, очень умен, но это нисколько не отнимает у меня возможности и потребности взвешивать твои слова и разбирать, насколько они дельны и справедливы. Словом, слепой фанатизм, увлекающий многоголовую толпу за тем человеком, который умышленно или нечаянно успел поразить ее воображение, возможен только при таком состоянии общества, которое уже миновалось для большей части образованных европейских наций или по крайней мере для действительно образованных слоев этих народов.

Если в этих образованных нациях трудно или невозможно увлечь за собою толпу, действуя только на ее воображение, то тем более трудно или невозможно повести эту толпу за собою насильно. В Африке, в какой-нибудь империи негров-ашантиев[12], властелин, имеющий под своим начальством преданное войско, может, пожалуй, по своему благоусмотрению изменять у жителей моды, обычаи, образ жизни; он может насильно дать им новую религию, новые законы, новые увеселения. Не составив себе ясного понятия о своих чисто человеческих правах, бедные ашантии покорятся, привыкнут, может быть, к новым, искусственным порядкам и даже, может быть, согласятся быть в руках своего властелина послушными

орудиями для дрессирования своих упорных или непонятливых соотечественников. В образованном обществе, конечно, немыслима даже подобная попытка. Самый сумасшедший из римских цезарей, какой-нибудь Кай Калигула, Коммод или Гелиогабал, не пытался произвольно перестроить социальные отношения, установленные обычаи, существующие законы. В новейшее время самое легкое посягательство отдельного лица на такие права, которые общество привыкло считать своею неотъемлемою и законною собственностью, вело за собою самые резкие и решительные перевороты. Достаточно назвать Карла I и Иакова II английских, Карла X и Людовика-Филиппа французских. Эти четыре имени напомнят читателю четыре многознаменательные исторические эпизода[13] Из этих эпизодов так легко вывести нравоучение басни, что я предоставлю этот труд другим, а сам приступлю, наконец, к личности и деятельности Петра.

III

Когда западники спорили с славянофилами о реформе Петра, тогда первые доказывали, что она была в высшей степени полезна, а вторые утверждали, что она извратила русскую жизнь и нанесла к нам целые груды иноземной лжи. Западники говорили, что с реформы Петра начинается история России, а что предыдущие столетия не что иное, как печальное и мрачное введение; славянофилы божились, напротив того, что с Петра начинается вавилонское пленение русской мысли, египетская работа, заданная нам Западом. Мне кажется, нельзя согласиться ни с западниками, ни с славянофилами. Западников можно было озадачить одним очень простым вопросом: в чем же вы, господа, можно у них спросить, видите проявление исторической жизни в России после Петра? Какое же существенное различие между Россиею Алексея Михайловича и Россиею Екатерины I? В чем изменилась судьба народа? И какое дело народу до того, что в Петербурге ученые немцы собирают монстры и раритеты, что приказы переименованы в коллегии и что шведский король разбит под Полтавою? Обращаясь к славянофилам, можно сказать: помилуйте, господа, о чем вы горюете? Если иноземная ложь действительно подавила нашу народную правду, то, значит, эта ложь хоть и ложь, а все-таки была

сильнее хваленой вашей правды. Если эта победа лжи над правдою есть явление временное, происходящее от временного ослабления этой правды, тогда ждите ее усиления и не вините Петра в том, что он будто бы задавил это живое начало. Да и что за правда? Где она? В какой это прелюбезной черте старорусской жизни вы ее видите? В боярщине, в унижении женщины, в холопстве, в батогах, в постничестве и юродстве? Если это правда, то во всяком случае правда относительная. Иному она нравится, а иному и даром не нужна. Расходясь с западниками и славянофилами, я в то же время схожусь и с теми и с другими на некоторых существенно важных пунктах. С западниками я разделяю их стремление к европейской жизни, с славянофилами — их отвращение против цивилизаторов à la Паншин[14] или, что то же самое, à la Петр Великий. Европейская жизнь хороша, спору нет, — не хорошо только то, что мы до сих пор созерцаем ее в заманчивой, но отдаленной перспективе. Любя европейскую жизнь, мы не должны и не можем обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра; мы должны помнить, что ничто не вредит истинному прогрессу так сильно, как сладенький оптимизм, принимающий декорации за живую действительность, удовлетворяющийся фразами и жестами, питающийся дешевыми надеждами и не решающийся называть вещи их настоящими именами. Постепенное очищение нашего сознания от этого тупого оптимизма составляет самую живую и интересную сторону в развитии наших литературных идей. С каждым десятилетием мы начинаем смелее и беспощаднее относиться к самим себе, к тем проявлениям нашей жизни, которые так недавно возбуждали в нас патриотическую гордость. Мы трезвеем с изумительною быстротою и перестаем бояться тех неприятных ощущений, которые может доставить нам созерцание неподкрашенной действительности. Давно ли Полевой писал свою «Парашу-сибирячку»? Давно ли Загоскин восхищал патриотическую публику произведениями вроде «Юрия Милославского» или «Рославлева»? Давно ли Пушкин взывал к клеветникам России, давно ли он пел Петру переслащенные панегирики в «Полтаве» и в «Медном всаднике»? Давно ли даже Гоголь в конце первой части «Мертвых душ» сравнивал Россию с могучею тройкою, от которой сторонятся народы, перед которой чуть ли не

с благоговением расступаются европейские державы? Возьмите, наконец, Белинского, этого неподкупного критика, этого трезвого мыслителя. Просмотрите его статью о Петре, писанную в 1841 году[15] Что это за восторги, что за восклицания, что за риторические фигуры вместо тонкого анализа и последовательной аргументации! Надо сказать правду, в последнее время наши умственные и нравственные требования поднялись гораздо выше. Теперь даже г. Пекарский, которого по таланту, конечно, смешно и сравнивать с Белинским, не обнаружит в отношении к Петру того ребячески-слепого благоговения, которое в начале сороковых годов одолело нашего знаменитого критика. Созрели ли мы или не созрели, это такой вопрос, которого разрешение надо предоставить г. Е. Ламанскому или г. Погодину[16], но достоверно то, что мы почувствовали и начали сознавать нашу незрелость, мы стали строги и требовательны к самим себе, мы вооружились против себя и против других оружием насмешки и презрения, юмор и желчь проникли насквозь нашу литературу и заразили собою самых незлобивых наших поэтов,— вот что хорошо, вот на что мы можем надеяться, потому что, как говорит Базаров[17], кто сердится на свою болезнь, тот наверное победит ее. Итак, мы любим европеизм, но, именно из любви к нему, стремимся к настоящему европеизму и не удовлетворяемся остроумными затеями Петра Алексеевича.

С славянофилами мы сходимся, как я уже заметил, в их отвращении к цивилизаторам, насильно благодетельствующим человечеству. Мы бы желали, чтобы народ развивался сам по себе, чтобы он собственным ощущением сознавал свои потребности и собственным умом приискал средства для их удовлетворения. Мы в этом случае не восстаем против подражательности, если только народ собственным процессом мысли доходит до сознания необходимости позаимствоваться у соседей тем или другим изобретением или учреждением. Мы не желаем только, чтобы над жизнью народа проделывали те или другие фокусы; если бы теперь в России жили два человека, из которых один захотел бы силою вводить заключение женщины в терема, а другой вздумал бы силою же вводить гражданские браки, то меня прежде всего возмутило бы не направление той или другой реформы, а ее насильственность, т. е. способ ее проведения в жизнь. Но, придавая таким образом важное значение самостоятельному развитию на-

родной жизни и народной мысли, мы не желаем утешать себя звучным падением слов; мы не думаем, чтобы мыслящий историк мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни, мы не думаем, чтобы он нашел в ней что-нибудь, кроме жалкого, подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе как в будущем, впереди, в неизвестной, заманчивой, голубой дали. Следовательно, славянофильское отрицание действий Петра во имя допетровского порядка вещей оказывается несостоятельным, хотя это отрицание основано на очень законном и понятном отношении славянофилов к тем бытовым формам, которые выработались у нас в XVIII и в половине XIX века. Сухой бюрократизм этих бытовых форм тяготел над ними свинцовою тяжестью, и они видели, что этот бюрократизм ведет свое происхождение из заморского Запада и постоянно указывает на свою непосредственную связь с действиями Петра. Недовольные настоящим, несправедливо негодуя против заморского Запада, славянофилы обратились к тому гонимому, отверженному прошедшему, которое наши официальные историки отнесли под рубрику русских древностей. Желая вычитать из летописей привлекательные черты этого умышленно забытого прошедшего, славянофилы успели это сделать; в каждой книге, в каждой рукописи всегда можно прочесть именно то, что желаешь, и, таким образом, многие из наших патриотов по предвзятой идее влюбились в наше прошедшее, доказали себе, что оно хорошо, и зажмурили глаза, чтобы не видеть его гнойных ран и кровавых болячек. Накидываясь на Петра за то, что он нарушил гармонию этого прошедшего, славянофилы не сообразили того, что один человек не может изменить строй народной жизни, если эта жизнь действительно построена на крепких и разумных основах, сознанных и любимых самим народом. Если Петр действительно опрокинул что-нибудь, то он опрокинул только то, что было слабо и гнило, только то, что повалилось бы само собою.

Мы видим, таким образом, что и славянофилы и западники преувеличивают значение деятельности Петра; одни видят в нем исказителя народной жизни, дру-

гие — какого-то Сампсона, разрушившего стену, отделявшую Россию от Европы. Метафорам с той и с другой стороны нет конца, потому что только метафорами можно до некоторой степени закрасить нелепость того или другого положения. Деятельность Петра вовсе не так плодотворна историческими последствиями, как это кажется его восторженным поклонникам и ожесточенным врагам. Жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась бы в своих отправлениях, если бы, например, Шакловитому удалось убить молодого Петра[18]. Конечно, очень может быть, что у нас не было бы столицы на берегах Невы и, следовательно, не было бы ни кунсткамеры с раритетами, ни академии наук, ни даже исследования г. Пекарского, удостоенного полной демидовской премии. Все это очень возможно, но скажите по совести, положа руку на сердце, какое дело русскому народу до всех этих общеполезных учреждений? Многие ли из этих семидесяти миллионов знают о их существовании? Вот манифест 19 февраля 1861 года — дело совсем другое; об нем через полгода знала вся Россия, и мужики повеселели на всем протяжении земли

От хладных финских скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая[19]

Этот манифест — историческое событие, эпоха для жизни России. Но кто же, кроме г. Устрялова, решится считать эпохою закладку Петербурга, или учреждение академии, или основание потешных рот?

А между тем нельзя не заметить, что многосторонняя, кипучая деятельность Петра представляет собою оригинальное и характерное явление. Эта деятельность важна и замечательна, как барометрическое указание; она доказывает нам, как глубоко спал русский народ, как бессилен был против этого богатырского сна тот шум, который производил Петр, и как непробудно продолжал спать этот народ во время деятельности своего властелина и после ее окончания. Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли по-прежнему, — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем. Верно только одно: если он проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности; мы его не разбудим воплями и воззваниями, не разбудим любовью и ласками, как не разбудил Петр Алексеевич ни казнями стрельцов, ни изданиями голландской типографии Тессинга[20]

IV

К. С. Аксаков в своей статье о богатырях времен великого князя Владимира[21] приводит очень характерный рассказ о столкновении Ильи Муромца с каким-то неведомым богатырем необъятной силы.

Создав богатыря страшной силы,— говорит Аксаков,— народная фантазия не остановилась на этом. Она создает еще богатыря — необъятную громаду и необъятную силу: его не держит земля; на всей земле нашел он одну только гору, которая может выносить его страшную тяжесть, и лежит на ней неподвижный. Прослышал о богатыре Илья Муромец и идет с ним померять силы; он отыскивает его и видит, что на горе лежит другая гора — это богатырь. Илья Муромец, не робея, выступает на бой, вынимает меч и вонзает в ногу богатырю.— Никак я зацепился за камушек,— говорит богатырь. Илья Муромец наносит второй удар, сильнее первого.— Видно, я задел за прутик,— говорит богатырь и, обернувшись, прибавляет: — это ты, Илья Муромец; слышал я о тебе: ты всех сильнее между людьми,— ступай и будь там силен. А со мною нечего тебе мерять силы; видишь, какой я урод; меня и земля не держит; я и сам своей силе не рад.

Борьба между волею Петра и естественною силою обстоятельств в тогдашней России напоминает собою этот своеобразный эпизод из богатырской жизни Ильи Муромца. Подобно Илье Муромцу, Петр чувствовал себя сильнее всех своих современников; силы его ума и воли были необыкновенны; положение его совершенно исключительно; все его приказания исполнялись буквально; все нарушители его воли подвергались жестокому наказанию; сопротивление было невозможно и немыслимо; даже недостаток усердия в повиновении считался преступлением; словом, все единичные воли без борьбы склонялись перед волею Петра, и Петр, как сказочный богатырь Илья Муромец, не находил себе соперников и противников между живыми людьми.

Но почти всегда случается так, что претензии превышают сумму наличных сил; это бывает даже тогда, когда наличных сил очень много; могучий гений почти всегда бывает одержим таким беспокойным стремлением к деятельности, которое заставляет его предпринимать невыполнимые задачи, сталкиваться с неодолимыми препятствиями и горьким опытом убеждаться в том, что всякой человеческой силе есть мера и границы.

Решившись создать русскую цивилизацию, решившись превратить в европейцев те миллионы своих подданных,

которые еще не обнаруживали ни малейшего желания и не чувствовали ни малейшей потребности изменить свой стародавний быт, Петр, очевидно, вступил в борьбу уже не с единичною волею, и даже не с массою единичных воль, а просто с стихийною силою, с природою, с физическими законами вещества. Переделать целое поколение своих современников и устранить влияние этого поколения на подрастающую молодежь значило создать для целой обширной страны новую, искусственную атмосферу жизни. Выполнить такого рода задачу было так же невозможно, как, например, изменить в России климат, или поворотить назад все течение Волги, или сровнять с землею Уральский хребет. Принимаясь за свое невыполнимое дело, наш Илья Муромец XVIII века вступал в борьбу с таким богатырем, который даже по своей огромности не мог чувствовать его ударов, который даже не давал себе труда сопротивляться его усилиям. Да и к чему было сопротивление, когда усилия сами собою разбивались об естественные препятствия, об очевидную невозможность?

Цивилизаторские попытки Петра прошли мимо русского народа; ни одна из них не прохватила вглубь, потому что ни одна из них не была вызвана живою потребностью самого народа. Вместе с Петром двигались и хлопотали по его приказанию сотни военных и гражданских чиновников; по команде этих чиновников трудились и утомлялись тысячи простых работников, облеченных в сермяжные кафтаны и в форменные мундиры. Чиновники Петра до некоторой степени понимали некоторые из его желаний; работники, исполнявшие приказания чиновников, уже ровно ничего не понимали; общая мысль правительства была ясна и понятна только самому Петру; спускаясь по бюрократической лестнице рангов и должностей, дробясь, изменяясь и искажаясь в различных инстанциях, свет этой мысли быстро слабел по мере того, как он удалялся от своего источника; уже второстепенные чиновники едва видели этот свет, а низшие исполнители были совершенно слепы и работали во мраке. За низшею инстанциею исполнителей начинался народ, который уже ровно ничего не знал о действиях и намерениях правительства; по правде сказать, он и не старался узнавать; ему нечем было интересоваться; только увеличение денежных налогов или естественных повинностей напоминало ему порою о существовании центральной власти; на что шли собираемые деньги, куда тратились живые силы, выхваты-

ваемые из его среды, об этом было бесполезно спрашивать. На что бы они ни шли, куда бы они ни тратились, ясно было одно — они исчезали, а ощутительного улучшения быта не замечалось.

Колоссальный богатырь нашей сказки разговаривает с Ильею Муромцем и, как мы видели, принимает его удары сначала за действие маленького камушка, потом за столкновение с прутиком. Богатырь, с которым имел дело Петр, по всей вероятности был громаднее сказочного богатыря: он ничего не говорил Петру и совсем не замечал его усиленных ударов. Приближенные Петра любили и боялись своего властелина; раскольники боялись и ненавидели его, но вся масса народа, та масса, мимо которой шли и до сих пор идут все исторические события и перевороты, не чувствовала к нему ни любви, ни ненависти, ни боязни. Ее занимали неизбежные, вседневные заботы о пропитании; каждый день приносил с собою свои труды и хлопоты, свои невымышленные опасения и горести, свою нескончаемую борьбу за право жить. Мужику было не до политики и не до Петра, когда ему надо было сегодня пахать, завтра двоить, послезавтра сеять и во все это время ладить то с барином, то с бурмистром, то с каким-нибудь приказным, то с своею собственною горемычною семьею. Мужику показались бы барскими затеями и прихотями все прогрессивные распоряжения Петра, но, к счастью или к несчастью, мужик об них не знал и решительно не интересовался ими; чтобы дать мужику возможность интересоваться распоряжениями правительства, надо было хоть немного облегчить тот страшный гнет материальных забот, лишений и стеснений, который обременяет собою низшее сословие даже в самых образованных государствах Европы и который в странах, еще не успевших освободиться от рабства или от крепостного права, парализует в низшем сословии всякую самодеятельность мысли, всякую энергию воли и поступков, всякое решительное стремление к лучшему порядку вещей. Надо было стряхнуть с русского мужика его отчаянную апатию — эту вынужденную апатию безнадежности, которая так неминуемо и неизбежно вытекала из безвыходности положения. Стряхнуть эту роковую апатию, — которую многие совершенно ошибочно принимают за физиологическую черту русского народного характера, — мог только или сам народ, или такой смелый преобразователь, который, находясь в положении Петра I, решился

бы коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нашего простонародья. Петра, конечно, нельзя упрекнуть в недостатке смелости и энергии; если бы он понял необходимость радикальных бытовых реформ, если бы он убедился в том, что истинное просвещение может пустить глубоко корни только в такой стране, в которой все граждане пользуются естественными человеческими правами,— тогда, конечно, он не побоялся бы ожесточенного сопротивления бояр и не отступил бы от упорной борьбы с рабовладельческим порядком вещей. Но чтобы увидеть корень зла, причину застоя и неподвижности, Петру было необходимо стать выше своего века и посмотреть на задачу просвещения не так, как смотрели на нее короли, подобные Людовику XIV, и ученые, подобные Лейбницу и французским академикам.

В предыдущей статье[22] я выразил ту мысль, что личная инициатива крупного исторического деятеля почти никогда не имеет решительного, определяющего влияния на развитие исторических событий. Эта мысль подтверждается примером Петра. Читатель, быть может, возразит мне, что если бы Петр уничтожил крепостное право, тогда, вероятно, весь ход исторических событий в России XVIII века сложился бы иначе, и в наше время Россия находилась бы уже не в той фазе развития, в которой мы ее застали. Это возражение действительно довольно важно, тем более что нет таких исторических фактов, которые доказывали бы, что у Петра недостало бы сил или энергии для совершения такого переворота. Если бы Петр решился распорядиться таким образом и если бы он нашел под руками необходимые силы и средства, тогда, значит, за чем же дело стало? — Только за мыслью. А что, если бы явилась эта мысль? — Вот тут-то и оказывается слабая сторона того возражения, которое может представить читатель. Разве же мысль является когда-нибудь случайно? Разве же она сваливается с неба? — Вы без надобности не повернете головы, не шевельнете пальцем; каждое движение ваше непременно вызывается или внутреннею потребностью, или внешним впечатлением; каждое усилие вашего мозга является только ответом на какой-нибудь запрос, поставленный вам обстоятельствами жизни.— Чтобы напасть на мысль об уничтожении крепостного права, мало быть гениальным человеком; надо еще жить в такое время, когда вопрос поставлен на виду, когда слышатся голоса за и против, когда, следовательно, важность этого

очередного вопроса бросается в глаза даже такому человеку, который еще не знает, на чьей стороне логика и справедливость.

Гениальные мыслители древности, Платон и Аристотель, строят свои социальные здания на рабстве и сходятся в своих идеях с каким-нибудь негодяем Фиц-Гугом[23], которого в наше время можно назвать мыслителем только в насмешку. Эти же самые гениальные мыслители порою городят такую чепуху об астрономии, о димиурге[24], о мироздании, которая заставит улыбнуться недоучившегося гимназиста. Точно так же можно себе представить, что Архимед или Эвклид знали меньше математических истин, чем сколько знает их теперь какой-нибудь нехитрый преподаватель высшей алгебры в среднем учебном заведении. Если взять пример еще более наглядный, то легко будет себе представить, что какой-нибудь карлик без особенного труда победит самого сильного и неустрашимого из паладинов Карла Великого, если только этому карлику будет дано оружие нашего времени, а паладину будут предоставлены палица, меч и копье. — Конечно, из всех этих примеров ни один здравомыслящий человек не выведет того заключения, что недоучившийся гимназист умнее Платона и Аристотеля, что нехитрый преподаватель талантливее Архимеда и Эвклида или что карлик сильнее паладина. Общим выводом из всех этих примеров будет только та очень известная, но между тем часто забываемая мысль, что отдельный человек во всей своей деятельности, во всех свойствах и особенностях своей личности зависит от окружающих обстоятельств, от количества и качества идей, находящихся в обращении между его современниками и выработанных его предками. Теперь ясно, почему Петр не мог уничтожить в России рабства, несмотря на колоссальную силу своего ума и своей энергии; ясно, почему он даже не мог подумать о таком распоряжении, которое теперь кажется нам естественным, необходимым и, во всяком случае, вовсе неудивительным. [— Я говорил уже, что влияние исторического деятеля всегда ограничено обстоятельствами места и времени; эта зависимость отдельной личности от обстановки и от общей жизни всего народа и эпохи всего рельефнее выражается в том, что даже самый процесс мысли в голове очень умного человека вполне обусловливается теми впечатлениями, которые воспринимает последний. Становясь на свои ноги, начиная жить своим

умом, каждый человек уже приносит с собою, во-первых, известный темперамент, во-вторых, известный запас тех или других впечатлений. Формирующийся ум этого человека, как орудие, принимается переработывать данный материал, состоящий из самых разнообразных ингредиентов; тут есть и частички собственного опыта и мысли других людей; кое-что в этой груде разнородных материалов возбуждает сочувствие; иное шевелит пытливость ума; иное вызывает негодование и отвращение; работая над этим пестрым материалом, самое орудие натачивается или зазубривается, полируется или покрывается ржавчиною, смотря по свойствам тех веществ, с которыми оно приходит в соприкосновение. Ум человека, да и весь человек вообще получает тот или иной склад, ту или иную физиономию, и получает их притом независимо от своей собственной воли; с тех пор как существует мир, ни один смертный не сделал себя по своему произволу фанатиком или скептиком, идеалистом или материалистом, верующим католиком или неверующим рационалистом. Наверное можно также сказать, что ни один человек не рождается ни скептиком, ни фанатиком, ни католиком, ни буддистом. Вероятно, однако, можно предположить, что уже в новорожденном ребенке есть основы будущего темперамента, точно так же как в его теле есть задатки будущего роста. Как ни кормите молодого карлика, как ни развивайте его силы гимнастикою, вы не сделаете из него атлета, точно так же как не превратите простого котенка в леопарда. Как есть от природы люди малорослые, так точно есть от природы люди малоумные; как ни учите, как ни развивайте такого человека, вы никогда не успеете придать его уму ту живость и плодовитость, которую вы часто замечаете в совершенно необработанных самородках. Точно так же есть от природы люди, одаренные сильным воображением, или отличающиеся критическим складом ума, или, наконец, способные легко поддаваться впечатлениям минуты. Словом, умственная почва с своим богатством или с своею бедностью, с своими свойствами и предрасположениями дается от природы. Так, например, не подлежит сомнению существование врожденных наклонностей к живописи, к математике, к изучению языков и т. д.]

Если вы владеете каким-нибудь участком земли и посеяли на нем какие-нибудь семена, то, конечно, урожай в значительной степени будет зависеть от климатических

условий, от дождя, от солнечной теплоты, от направления ветра и т. п. Но если вы имеете какое-нибудь понятие об агрономии, то вы, конечно, знаете, что, кроме климатических условий, существуют еще и другие обстоятельства, имеющие самое важное влияние на успешное прозябание посеянных зерен. Свойства самой почвы могут содействовать или препятствовать урожаю. Каждый деревенский хозяин скажет вам, что такой-то грунт любит картофель, а такую-то землю — пшеница, а такое-то удобрение — мак. Конечно, может случиться, что от засухи погибнет хлеб, посеянный на отлично удобренной земле, и притом именно на таком грунте, который при благоприятных условиях совершенно соответствует его потребностям; может точно так же произойти и то, что при достаточной поливке более тощая и менее удобная почва даст более обильный урожай, но подобные случайности вовсе не доказывают, чтобы урожай не зависел от химического состава почвы; они доказывают только, что урожай зависит не от одной почвы, а вместе с тем и от других влияний и обстоятельств.

Эта агрономическая притча прилагается вполне к деятельности человека. Почва — сам человек, семена — тот материал, который он переработывает; урожай — плоды его деятельности; климатические условия — те внешние обстоятельства, которые содействуют или препятствуют успешному ходу развития и работы; химические свойства почвы — естественный склад и естественная, прирожденная сила ума. — Очевидно, в притче остается незанятым только одно место — это место хозяина участка, место того *вы,* к которому я обратился в начале моей агрономической экскурсии. Конечно, очень многие мыслители утверждают, что это место занято, что это *вы* действительно существует, но из этого нельзя вывести никакого положительного заключения, потому что нет той нелепости, за которую с пеною у рта не спорила бы какая-нибудь школа мыслителей. Те господа, о которых я упомянул сейчас, пишут даже целые объемистые трактаты по истории и по философии, чтобы доказать, что картофель, овес, мак и прочая благодать всегда попадают именно на ту почву, на которую им следует попасть. Когда же они встречаются в истории человечества с такими фактами, которые прямо доказывают, что овес попал туда, куда следовало попасть пшенице, тогда они стараются поддержать свою колеблющуюся теорию следующим рассуждением:

конечно,— говорят они,— в этом месте овес попал не туда, куда следует, но это случилось неспроста; тут видна великая идея; тут кроется благое предначертание; тут надо было доказать, что самые крупные овсяные зерна не могут прорасти в песке.— Помилуйте,— ответит читатель,— да из-за того, чтобы доказать такую очевидную истину, не стоило тратить овес и время.— Но мыслитель, задавшийся идеею доказать разумность и целесообразность исторических событий, закусит удила и, конечно, не обратит внимания на возражение читателя.— Мы, с своей стороны, не будем обращать внимания на натянутые доводы подобных псевдомыслителей и пойдем дальше по пути нашего рассуждения.

Конечно, никто не вздумает обвинять человека за то, что он родился с теми или другими чертами лица, с тем или другим устройством черепа, с тою или другою организациею мозга.— Новорожденный попадает под непосредственное влияние нянек, родителей, кормилиц; его кормят тою или другою пищею, ему рассказывают те или другие сказки, его наказывают и награждают, ласкают или секут по тем или другим обычаям, капризам или педагогическим теориям. Ко всем этим условиям, из которых слагается жизнь и характер, подрастающий ребенок поневоле относится совершенно пассивно; он физически слаб, он неопытен, он бессилен мыслью, и потому все окружающие мнут его, как жидкую глину, мнут и руками, и розгами, и благонамеренными советами, и изнеживающими ласками. Но от времени и от действия воздуха глина твердеет; усилия людей, вылепливающих на этой глине разные узоры, мало-помалу перестают увенчиваться вожделенным успехом; ребенок нечувствительно и незаметно превратился в человека и начал обнаруживать свои наклонности, свои мысли, свою волю. Педагоги замечают, что пассивное повиновение сменилось рассуждениями, возражениями, сопротивлением. Сначала они борются с этими проявлениями личной самостоятельности, но потом привыкают к ним, мирятся с ними как с существующим фактом и, наконец, говорят: наш Вася или Петя вырос; он теперь сам понимает, что делает, он теперь своим умом живет. Когда человеку выдан таким образом патент совершеннолетия, тогда знакомые и незнакомые начинают взыскивать с него как с взрослого. К его поступкам прилагается более строгая мерка; даже закон смотрит на совершеннолетнего иначе, не так, как на ребенка или

отрока. Всякое лыко ставится в строку: начинается вменяемость. Но позвольте же спросить, господа судьи, образующие своими приговорами общественное мнение, как же вы проведете границу между тем временем, когда молодой человек зависит от родителей и наставников, и тем временем, когда он зависит только от самого себя? Если даже вам удастся провести эту границу, то как же вы сумеете разрушить связь между теми двумя эпохами жизни, которые вам удалось разграничить? — Положим, что предмету ваших наблюдений минуло сегодня двадцать один год; положим, что родители и опекуны вручают ему все его имение и объявляют его полноправным и независимым гражданином. Что же вы думаете? Разве он в самом деле независим? Разве он может по своему произволу выбрать себе род занятий и образ жизни? Разве нынешний день не обусловливается для него вчерашним? Разве его вкусы, наклонности и желания не подготовлены заранее предыдущею, зависимою жизнью? — Человека доводят на помочах до известного возраста и потом ему говорят: ступай, ты свободен, ты сам отвечаешь за каждый свой поступок. — Помилуйте, да где же он свободен, когда он сам не что иное, как продукт разных внешних и посторонних влияний? Где же он свободен, когда он извне получил направляющий толчок! — Если его природные способности испорчены и извращены, справедливо ли взыскивать с него за то, что он сделает грязный поступок? Если его голова набита хорошими сентенциями, которых он не успел переварить, справедливо ли осуждать его за то, что он не сумеет руководствоваться этими сентенциями в жизни? Если его изнежила и расслабила любящая мать, справедливо ли презирать его за то, что он опускает крылышки при малейшей неудаче? Если его забил и ожесточил суровый отец, справедливо ли ненавидеть его за то, что он туго сближается с людьми и порою обнаруживает к ним неосновательное недоверие? Каждый из нас, слабых смертных, попадает в жизнь, как молодой щенок, которого на глубоком месте реки выбросили из лодки: ну, выплывай, — кричат нам с лодки; — выплывешь — молодец будешь, не выплывешь — сам виноват. Ступай ко дну! Туда и дорога! — При этом надо заметить, что у многих из этих щенят перекалечены или перевязаны лапы; иные окормлены тяжелою пищею; иные заморены голодом до истощения сил. А глубокой реке до всех этих подробностей нет никакого дела; вода, как не-

одолимая стихийная сила, покроет своим синим уровнем и правого, и виноватого, и связанного, и больного, и вообще всякого, кто не умеет барахтаться именно так, как следует. Вода не умеет рассуждать, это и не ее дело; но те господа, которые, сидя в лодке, смотрят на захлебывающихся щенят, те могли бы, я думаю, понять и обсудить их положение; они могли бы заметить, что ни один из них не тонет по злонамеренности и что все погибают или по глупости, или по слабости, или по неповоротливости.— И в жизни точно так же никто не падает нарочно, из любви к падению, а падают потому, что нет достаточной физической, или умственной, или так называемой нравственной силы. А откуда же ее взять, коль ее нет? И как же не упасть, когда нет сил держаться на ногах?

История — та же жизнь, только жизнь, отошедшая назад, жизнь, превратившаяся в неподвижную картину, которую можно спокойно рассматривать и изучать. Бросая беглый взгляд на эту картину, мы замечаем, что на ней изображены на первом плане разные большие люди, меняющие костюмы, позы и взаимные отношения, управляющие другими людьми, выслушивающие их донесения и раздающие им разнородные приказания. Этих больших людей можно назвать общим именем исторических деятелей. При беглом взгляде на историческую картину можно подумать, что весь интерес ее заключается именно в позах и жестах этих больших людей; можно подумать, что они своими личными достоинствами или пороками украшают или искажают всю картину, что они разливают вокруг себя свет или мрак, добро или зло, радость или горе. Но всмотритесь в картину попристальнее, и вы увидите, что эти большие люди, эти так называемые деятели просто образчики известной эпохи, просто безответные игрушки событий, безвинные жертвы случайностей и переворотов, которые толкают их вперед и выносят их наверх, бог знает как и бог знает для чего. Всмотритесь в картину событий, говорю я вам, и вы перестанете восхищаться добродетелями Тита и негодовать перед злодействами Домициана. Вы увидите, что во всей жизни человечества нет ни одного светлого десятилетия; вы увидите везде борьбу, везде страдания, везде насилие и перестанете дивиться тому, что среди этого дикого хаоса возникают и формируются нравственные уроды изумительного безобразия. Свыкнувшись с уродливыми явлениями, вы начнете относиться чрезвычайно скептически как к титанам

добродетели, так и к титанам порока. Вы перестанете верить в их титанизм, вы будете принимать этот титанизм за оптический обман, за результат исторической перспективы, вы начнете разлагать титана на его составные элементы, и вы, наконец, увидите, что в титане нет ничего необыкновенного; кое-что приврано историками, кое-что неверно понято и недостаточно освещено, а на поверку выходит, что титан просто человек, каких много, и что титанизм его зависит вовсе не от колоссальности его страстей или способностей, а просто от исключительности его случайного положения, от односторонности его развития, от общего настроения умов в данную минуту.— Смешно припомнить, какими ужасными красками расписывают, например, римских императоров разные русские и заграничные Кайдановы и Смарагдовы[25]. Сколько эпитетов, сколько риторского жара и сколько пороха, потраченного на ветер! — Как достается, например, бедному Калигуле, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается просто несчастным больным, нуждающимся в уходе и в лечении. Попробуйте дать любому из субъектов, содержащихся в психиатрической лечебнице, такой круг действий, каким пользовался Калигула,— и вы увидите точно такие же гадости и нелепости. Вся штука в том, что уже теперь подобный случай невозможен; Георг III английский потерял всякую власть с той самой минуты, когда приближенные его заметили его умственное расстройство[26]; а при Калигуле было иначе; Калигулу никто не решался взять под опеку даже тогда, когда он произвел свою лошадь в сенаторы, а между тем каждый из приближенных старался эксплуатировать в свою пользу капризы и сумасбродства властелина; в случае неудачи этот же приближенный попадал в руки палача, а на его место становился другой искатель счастья, который точно так же подольщался и старался примениться к характеру болезни, чтобы обратить эту болезнь в обильный источник щедрот для себя и для своих близких. Калигула приказывал построить себе храм и становился в позы Юпитера Олимпийского: этому никто не удивлялся, и разные города из далекой Азии присылали в Рим почетных послов, добиваясь чести поставить у себя алтари новому доморощенному божеству.— Ну, что же вы скажете? Где же корень того зла, которое делал Калигула, потом Нерон, потом Домициан? В характере ли этих отдельных личностей или в том хаотическом состоянии умов, кото-

рым отличается эпоха падения язычества? Разве один человек может мучить десятки миллионов людей, если эти десятки миллионов не хотят, чтобы их мучили? А если десятки миллионов соглашаются быть пассивным орудием в руках полоумного Калигулы, то Калигула-то, собственно говоря, ни в чем не виноват; не он, так другой, не другой, так третий; зло заключается не в том человеке, который его делает, а в том настроении умов, которое его допускает и терпит. Если вы сами развесите уши и позволите бить и обирать себя, то на такое занятие всегда найдутся охотники; природа человека гибка и изменчива; бóльшая часть получает свою физиономию от обстоятельств; обстоятельства делают их хорошими людьми или негодяями; получая от обстоятельств направляющий толчок, люди вносят только в избираемую деятельность ту дозу энергии, умственной силы и изворотливости, которую они получили при рождении вместе с чертами лица и устройством черепа.

За какое бы дело ни принялся Петр I, он во всяком случае не остался бы в ряду посредственностей. Живой ум и железная воля заявили бы себя и в военном деле, и в ученом труде, и в техническом занятии или производстве. Если бы Петр был простым работником на какой-нибудь фабрике, то его, наверное, уважали бы товарищи, им дорожил бы хозяин, и он, может быть, выдумал бы какую-нибудь новую машину. Попал ли бы он во всемирную историю — это, конечно, неизвестно. Много светлых голов затирает темная, трудовая жизнь, и много жалких посредственностей оставляют свое имя в истории по праву рождения и по стечению случайных обстоятельств. Способности и силы Петра составляют его полную неотъемлемую собственность; что же касается до его деятельности, то она зависит преимущественно от его исторической костюмировки, от декораций и освещения. Он стоит на подмостках времени и места, он окружен послушными исполнителями, за ним стоит великий, безответный народ; он один думает, действует, управляет событиями, а все, что его окружает, то оттеняет только его деятельное могущество своею официальною безгласностью, своим пассивным повиновением. — Как величие Петра зависит преимущественно от случайных особенностей его положения, так точно и несостоятельность его исторической деятельности должна быть отнесена на счет условий времени и места. В России, в начале XVIII столе-

тия, сын царя Алексея Михайловича не мог действовать иначе; за то, что он сделал, он лично не заслуживает ни признательности, ни осуждения; сочувствовать ему мы не можем, обвинять его мы не вправе, потому что на плеча одного человека, хотя бы этот человек был исполин, нельзя наваливать ответственность за ошибки целой эпохи или за безгласность целого народа.

Живые силы народов до сих пор играли в исторических событиях самую второстепенную роль; менялись лица, менялись политические формы, разрушались и созидались государства, и все это большею частью проходило мимо народа, не нарушая и не изменяя ни междучеловеческих, ни междусословных, ни экономических отношений. Конечно, какой-нибудь немецкий барон XIX века уже теперь не то, чем был его предок в XIV столетии; конечно, теперешний бюргер стоит к этому барону не в тех отношениях, в каких стоял средневековый бюргер к средневековому феодалу; конечно, и барон и бюргер, оба смотрят теперь не так на простого крестьянина, как смотрели на него во времена Тридцатилетней войны, но все эти перемены, которых существенная важность, конечно, не подлежит сомнению, произошли не на поле сражения, не на вселенском соборе, не на имперском сейме, не при смерти того или другого политического деятеля, не при вступлении на престол той или другой династии. Эти перемены совершились в области человеческого сознания, в той области, где живут и действуют мыслители и художники; внешние события, изменения политических форм, войны и союзы, революции и подвиги исторических деятелей имели на эти перемены значительное влияние; но точно так же подчиняли их своему влиянию землетрясения, наводнения, моровые язвы и неурожаи; жизнь изменялась постоянно под влиянием разных случайностей, но источник и законы этой жизни лежали вне стихийных сил и случайных событий. Подрастающие поколения воспринимали самые разнородные впечатления, зависевшие от внешних событий, происходивших перед их глазами; они чувствовали себя счастливыми или несчастными, порабощенными или свободными, сытыми или голодными; но весь запас опыта и знания, собранный их отцами и дедами, переходил к этим подрастающим поколениям, вызывал деятельность их мысли, формировал их взгляд на жизнь и обусловливал собою их отношения к религии, к правительству, к обществу, к сословиям

и к отдельной человеческой личности. В эту внутреннюю историю человечества входили как ингредиенты всякого рода внешние события; эти события производили известного рода впечатление; ряд впечатлений вызывал идею; идея вырабатывалась, видоизменялась, доходила до полной ясности выражения и потом в свою очередь порождала события.

Например, возьмем изобретение пороха, сокрушившее аристократизм военного сословия. Первое сражение, в котором новое оружие показало бесполезность физической силы, тяжелого вооружения и даже *личной* храбрости, конечно, не опрокинуло преобладания рыцарства. Ряд таких сражений породил тип солдата и отодвинул тип рыцаря в область прошедшего; низшие сословия почувствовали свою численную силу и увидали, что перед мушкетною пулею все равны — и рыцарь, и оруженосец, и простой мужик. То обстоятельство, что низшее сословие подняло голову, повело за собою неисчислимые последствия и изменило весь ход всемирной истории.— Мы видим на этом отдельном примере, что не факт, не случайное событие действует на изменение человеческого сознания; на него действует целая цепь однозначащих фактов, на него действует смысл и направление фактов. А откуда же берется смысл и направление фактов? Опять-таки из того же сознания. Стало быть, сознание видоизменяется само собою и зависит только от самого себя; другими словами, человеческая природа развивается совершенно самостоятельно и на пути своего развития постоянно, хотя иногда медленно, разрушает все препятствия.

Например, мы видим, что по анатомическому и физиологическому сложению все люди индоевропейской расы равны между собою, как животные одной породы; мы видим также, что образ жизни, степень материального обеспечения, умственного развития и личной независимости кладут между этими равными по природе людьми такие грани, которые отдельному человеку кажутся неразрушимыми.— Всматриваясь в общее направление исторических событий, мы видим далее, что эти грани слабеют и постепенно сглаживаются; стало быть, физический закон равенства между отдельными экземплярами одной породы постепенно подходит к своему осуществлению во вседневной жизни.— Но такого рода основные законы и существенные свойства человеческой природы выясня-

ются медленно; людям приходится переживать много горя и делать много ошибок, чтобы доходить до понимания отдельных требований своей природы. Все осуществившиеся политические системы и большая часть неосуществившихся социальных утопий — не что иное, как ряд практических или теоретических ошибок, из которых вытекло или могло вытечь для человеческой личности много действительного горя. В истории мы видим на первом плане постоянно не удающиеся попытки создать что-нибудь прочное, способное постоянно удовлетворять потребностям человека. Эти попытки предпринимаются отдельными личностями; побуждения, которыми руководствуются эти личности, большею частью мелки, узки и своекорыстны; всякий заметный деятель строит себе какую-то Хеопсову пирамиду и оплачивает издержки постройки по́том и кровью подвластных людей; жизнь простого человека истрачивается на борьбу с нуждою, с притеснениями, с монополиями и монополистами; как бы ни была велика вера этого незаметного страдальца в возможность и в неизбежность лучшего будущего, во всяком случае эта вера не может служить ему утешением и поддержкою; он знает, что это лучшее будущее настанет для отдаленных потомков, что он, страдалец, его не увидит, что человечество со временем окончательно поумнеет и устроит свое житье-бытье очень удобно, но что до тех пор миллионы людей поплатятся за историческое движение жизнью, здоровьем и силами.

До конца XVIII столетия во всемирной истории стоит на первом плане судьба государства, той внешней политической формы, которой видоизменения часто не имеют ничего общего с народной жизнью. Жизнь народа идет в тени; на нее никто не обращает внимания; великими людьми считаются полководцы, умевшие залить кровью несколько тысяч квадратных миль, министры и дипломаты, умевшие оттягать у соседей несколько сел и городов, администраторы, выдумавшие какой-нибудь замысловатый налог, короли, говорившие с полным основанием: l'état c'est moi![27] — Когда эти великие люди давали себе труд бросить милостивый взор на жизнь простых смертных, тогда они обыкновенно находили, что все в этой жизни нелепо, все не на своем месте, все никуда не годится; они уверяли себя в том, что им предстоит задача все перестроить и усовершенствовать, и принимались за работу с непрошеным усердием и с полною уверенностью

в успехе. Одним декретом они изменяли религию, другим декретом изгоняли взяточничество, третьим — выписывали из-за границы просвещение; великие люди не ошибались в том, что все было нелепо в жизни простых смертных; ошибки их начинались только тогда, когда они принимались отыскивать причины господствующей нелепости и пытались найти против нее лекарство; они не понимали того, что бóльшая часть житейских нелепостей происходит именно от того, что вся жизнь отдельного человека сдавлена и спутана в своих проявлениях в угоду отвлеченного понятия государства, именно от того, что всякий отдельный человек бывает прежде всего чиновником, солдатом, учителем, купцом, министром, а собственно человеком бывает только в досужие минуты, в свободное от служебных обязанностей время. Этого великие люди, постоянно состоявшие на действительной службе, не понимали; им все казалось, что в жизни простых смертных мало порядка, мало однообразия и систематичности; они всё хотели нарядить в тот форменный мундир, который был им по вкусу; Филипп II хотел превратить своих подданных в монашествующих католиков, Людовик XIV, — в блестящих камерлакеев, а Петр I — в голландских шкиперов.

Личные наклонности и способности простых смертных, осыпаемых неизреченными благодеяниями, не могли приниматься в соображение. Посудите сами: разве способен какой-нибудь неотесанный болван из нидерландских гезов, или из овернских крестьян, или из русских мужиков рассуждать о том, что ему полезно, какой род занятий ему нравится, какая религия ему приходится по душе? Если эти неотесанные болваны осмеливаются возражать против благодетельных распоряжений великих людей, то они, конечно, делают это по грубому невежеству, по крайнему тупоумию или по злонамеренному упорству; их надо вразумить, их надо обтесать, их надо осчастливить во что бы то ни стало. За средствами дело не станет: у Филиппа II на то есть инквизиция; у Людовика XIV — драгонады[28], Бастилия и lettres de cachet[29]; у Петра I есть дубинка и кнут. И вот такими-то средствами пробавлялись с тех пор, как мир стоит, все великие люди, осыпавшие толпу простых смертных грудами своих благодеяний и озарявшие целое столетие блеском своего имени и своих подвигов. Только в конце XVIII века простые смертные заявили, наконец, довольно громко, что

им надоели как благодеяния, так и педагогические средства, при помощи которых проводились в их жизнь эти великие и богатые милости. Со времени этого заявления история европейского Запада оживилась и получила новый характер; великие люди сделались поосторожнее в замыслах и поразборчивее в средствах, а простые смертные начали думать, что, чего доброго, можно жить и своим умом. Мы имеем неосторожность думать, что эти простые смертные вовсе не так сильно ошибаются, как это может показаться с первого взгляда. Нам кажется, что жить своим умом по меньшей мере приятно, и потому те периоды всемирной истории, во время которых благодетели человечества никому не позволяли жить своим умом, наводят на нас тоску и досаду. Великие люди, реформировавшие жизнь простых смертных с высоты своего умственного или какого-либо другого величия, по нашему крайнему разумению, кажутся нам все в равной мере достойными неодобрения; одни из этих великих людей были очень умны, другие — замечательно бестолковы, но это обстоятельство нисколько не уменьшает их родового сходства; они все насиловали природу человека, они все вели связанных людей к какой-нибудь мечтательной цели, они все играли людьми, как шашками; следовательно, ни один из них не уважал человеческой личности, следовательно, ни один из них не окажется невиновным перед судом истории; все поголовно могут быть названы врагами человечества; но там, где виноваты все, там никто не виноват в отдельности; порок целого типа не может быть поставлен в вину неделимому[30]. Говоря о Петре, мы лично против него не можем иметь неприязни; но на всей деятельности Петра лежит та печать [проклятия и отвержения], которая тяготеет над личностями и деятельностями Людовика XI, Филиппа II, кардинала Ришелье, Меттерниха и разных других господ, не сходных между собою ни по размеру способностей, ни по масштабу деятельности, ни по образу мыслей, но при всем том имевших один общий, вечный пароль — вражду против личной свободы и умственной инициативы отдельного человека. Все, что сделал Петр, [то оказалось бесплодным, потому что все это было делом его личной прихоти, все это было барскою фантазиею,][31] все это вводилось и учреждалось помимо воли тех людей, для которых это все, по-видимому, предназначалось.

Как распоряжался Петр на поприще государственной администрации, этого мы не будем рассматривать; в этой области, как известно, произволу его не было никаких границ. В книге г. Пекарского мы встречаемся с Петром как с просветителем России; мы, следовательно, имеем случай взглянуть на самую блестящую часть его исторической ореолы. Тут нет ни пыток, ни казней, ни ссылок, ни даже исторической дубинки; тут ведется список, и притом список очень подробный, бескровным благодеяниям, доставшимся нашему отечеству из рук великого деятеля. Эти бескровные благодеяния в своем роде очень замечательны; в совокупности своей они доказывают, что можно быть гениальным человеком и в то же время не иметь самого элементарного понятия о тех необходимых условиях, без которых немыслима разумная человеческая деятельность.

Весь ряд отвлеченных рассуждений, которыми до сих пор была набита моя статья, клонился к тому, чтобы определить наши отношения к личностям, подобным Петру Великому. Я доказал или по крайней мере старался доказать следующие идеи.

1) Деятельность всех так называемых великих людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевелила и не пробуждала народного сознания.

2) Деятельность великих людей была ограничена тем кругом идей, который был в их время достоянием общего сознания.

[3) Деятельность великих людей была чисто пассивна, потому что сами они, как и все люди вообще, продукт известных условий, не зависящих от их свободного выбора.

4) Деятельность великих людей была постоянно вредна, потому что претензии этих господ постоянно превышали их силы.][32]

Эти идеи применяются вполне к деятельности Петра. Я беру теперь книгу г. Пекарского, извлекаю из нее некоторые характерные факты и рассматриваю их с той точки зрения, которая установлена предыдущими рассуждениями.

V

«Бывши в Лейдене,— пишет г. Пекарский,— Петр не преминул посетить другую медицинскую знаменитость того времени, доктора Бергавена, и осматривал также анатомический театр. Сохранилось известие, что там царь долго оставался перед трупом, у которого мускулы были

раскрыты для насыщения их терпентином. Петр, заметив при том отвращение в некоторых из своих русских спутников, заставлял их разрывать мускулы трупа зубами» (стр. 10). Вот, видите ли, великому человеку любопытно смотреть на обнаженные мускулы трупа, а простым смертным этот вид кажется неприятным; надо же проучить простых смертных, имеющих дерзость находить не по вкусу то, что нравится великому человеку; вот великий человек и заставляет их зубами разрывать мускулы трупа; должно сознаться, что это средство побеждать неразумное отвращение настолько же изящно, насколько оно действительно. Наверное, спутники Петра, испытавшие на себе это отеческое вразумление, после этого случая входили в анатомические театры без малейшего отвращения и смотрели на трупы с чувством живой любознательности. Если бы даже случилось, что некоторые из них заразились от прикосновения гнилых соков к нежным тканям рта, то и это беда небольшая — тем действительнее будет урок, данный остальным присутствующим; они, наверное, поймут, что простому смертному нельзя иметь собственного вкуса, что главная и единственная обязанность простого смертного — смотреть в глаза великому человеку, отражать на своей физиономии его настроение и с надлежащим подобострастием любоваться теми предметами, которые обратили на себя его благосклонное внимание. На анекдоте, приведенном в книге г. Пекарского, не стоило бы останавливаться, если бы в этом анекдоте не выражались самым рельефным образом типические черты благодетельных преобразований великого Петра. Кому были нужны эти преобразования? Кто к ним стремился? Чьи страдания облегчились ими? Чье благосостояние увеличилось путем этих преобразований? Если бы подобные вопросы могли дойти теперь до слуха Петра, они, наверное, показались бы ему совершенно непонятными, и, наверное, наш гордый самодержец не дал бы себе труда отвечать на них что бы то ни было. Мне кажется, те историки и публицисты, которые говорят, что все преобразования Петра клонились ко благу русского народа, повторяют фразу, лишенную внутреннего содержания, или, что то же, переносят на эпоху и на личность Петра такие понятия, которые возникли гораздо позднее и, кроме того, не в той сфере, в которой вращаются деятели, подобные Петру. Петр формировал себе исполнителей, как в былое время богатый помещик, отдавая

в учение дворовых мальчишек, формировал себе полный штат поваров, сапожников, портных, столяров, кузнецов и шорников.— Только обширная и разносторонняя деятельность могла удовлетворять энергическую природу Петра; только громкая, европейская известность могла польстить его громадному честолюбию. Петру необходимо было постоянно над чем-нибудь работать и постоянно чем-нибудь обращать на себя внимание современников; как человек умный, Петр мог удовлетворять этим потребностям своей природы, не делая таких нелепых эксцентричностей, в какие пускались не только в древности римские императоры, но даже в XVIII веке разные немецкие князья и князьки, одержимые бесом тщеславия и надувавшиеся, как лягушки, в подражание жирному волу, Людовику XIV. Благодаря своему замечательному уму, он, человек, не имевший во всю свою жизнь никакой цели, кроме удовлетворения крупным прихотям своей крупной личности, успел прослыть великим патриотом, благодетелем своего народа и основателем русского просвещения. Действительно, нельзя не отдать Петру Алексеевичу полной дани уважения: немногим удается так ловко подкупить в свою пользу суд истории.

Бывши в Голландии, Петр дал Яну Тессингу привилегию печатать и присылать в Россию русские книги. В грамоте встречается следующее место: «и видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу, царского величества, премногую милость и жалованье в печатании тех чертежей и книг, показать нам, великому государю, нашему царскому величеству, службу свою и прилежное радение, чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему, великого государя, нашего царского величества, превысокому имени и всему нашему российскому царствию меж европейскими монархи к цветущей, наивящей похвале, и ко общей народной пользе и прибытку, и ко обучению всяких художеств и ведению, а пониженья б нашего царского величества превысокой чести и государства наших в славе в тех чертежах и книгах не было»... Не правда ли, господа читатели, надо быть самым злонамеренным человеком и неисправимым скептиком, чтобы по прочтении этого места грамоты хоть на одну минуту усомниться в чистоте и самоотвержении того патриотизма, который одушевлял нашего венценосного прогрессиста. Правда, сказано, что книги и чертежи должны быть напечатаны «к славе нашему, великого государя, нашего царского величества, пре-

высокому имени» и к «цветущей, наивящей похвале нашему царствию», но вслед за тем словами «к общенародной пользе и прибытку» выражена истинно трогательная заботливость о благосостоянии простых смертных. Та же трогательная заботливость проглядывает в предостережении не печатать в тех чертежах и книгах никакого «пониженья». Петр хотел воспитывать свой народ и, подобно всем добродетельным педагогам, понимал, что есть много таких вещей, которые детям не по возрасту, которые могут (говоря высоким слогом) нарушить первобытное спокойствие их мысли и осквернить девственную чистоту их розового миросозерцания.

Трогательная заботливость Петра вполне оправдывается неразвитостью его подданных; вот что пишет о русском народе один из современников нашего преобразователя: «Притом же москвитяне, как и вам это известно, нисколько тем не интересуются; они все делают по принуждению и в угоду царю, а умри он — прощай наука!» Эти простые слова современника, смотревшего на предприятие Тессинга с чисто коммерческой стороны, подтверждают высказанную мною идею о том, что деятельность великих людей поверхностна и непрочна в своих результатах; эти слова бросают также яркую полосу света на характер петровских преобразований; в основе этих преобразований лежит каприз или по меньшей мере доктрина; исполнительными средствами являются насилие и принуждение.

[Опять педагогическая картина: ребенку не хочется учиться, а честолюбивому папеньке или усердному преподавателю хочется, чтобы ребенок учился; честолюбивая маменька желает похвастаться перед соседкою знаниями и прилежанием своего сына; а усердный преподаватель вычитал из своих книжек, что его воспитаннику пора жить умственною жизнью и находить удовольствие в изучении букваря. Стоит ли обращать внимание на волю неразумного ребенка? Конечно, нет. Заупрямится — можно поставить на колени, потом высечь. И прекрасно: вам и розги в руки, честолюбивая маменька и усердные преподаватели!]

Много ли сделали голландские издания для «общей народной пользы и прибытка» — положительно неизвестно, но «о славе превысокому имени» и о «цветущей похвале царствию» радели всеми силами своей изобретательности как Тессинг, так и преемник его, Копиевский. Вот,

например, описание реки Москвы: «Она паче всех рек прославися зело и именем Мосоха, праотца российского, и пресветлейшим престолом пресветлейшего и великого монарха». Далее: «Зде удивитеся! приидите все боящиеся, приидите и видите дела Божия, яко Господь огради люди свои на восток от запада и от полуденныя страны тремя великими и славными реками; даде Господь Бог и пастыря единого всем, возлюбленного помазанника своего, пресветлейшего и великого государя, его же величество вознесе даже до небесе с высокого на высочайший степень, паче всех царей земных». По прочтении этого места нам оставалось только пожалеть, что книжных дел мастер, Копиевский, не писал стихов; наш великий Державин, думал я, который

истину царям с улыбкой говорил[33],

имел бы себе в этом господине достойного предшественника; теперь, продолжал я размышлять, Копиевский может только служить предтечею историографов: Карамзина, Устрялова, и Рафаила Зотова[34], и... ну, да всех не перечтешь. Но не успел я перевернуть две страницы в исследований г. Пекарского (которое, сказать правду, читается очень медленно), как мне пришлось взять назад свое опрометчивое сожаление. Оказалось, что Копиевский преуспел во всех отраслях заказной литературы. Для «цветущей и наивящей славы превысокого имени» он вдохновил себя лирическим жаром и описал взятие Азова «стихами поетыцкими», которые, вероятно, в свое время приводили русских читателей в благоговейное недоумение. Чтобы превознести победу русских, привилегированный составитель книг воспевает сице могущество побежденной Турции:

Страшно было еже впасть азийского змия
  В руце, яко и сама европейская выя
Жестокия ярости его убояся;
  Сетоваша все страны в едину сходяся,
Советоваша купно, но не премогоша,
  Злочестивые силы зело превзыдоша
Нощная же луна их нача помрачати
  И всю подсолнечную тьмою наполняти.
Новомесячников лунных много сотвори,
  Благочестие и любовь, веру разори
Православную: вместо ж ее Махомета
  Неверие приведе мрачная планета.

Вот какою поэзиею Петр угощал своих неразумных подданных, но подданные, по крайней тупости и загрубелости, не умели восхищаться «поетыцкими» красотами. Выше мы видели образчик той науки, которую, по приказанию Петра, фабриковали в Голландии; наука эта, несмотря на очевидную свою привлекательность, также не проникала русского ума; еще выше мы видели, каким образом Петр в лейденском анатомическом театре развивал в молодых россиянах наклонность к реальному образованию; эти усилия Петра, несмотря на свою несомненную энергичность, также оставались безуспешными; Петр везде встречал скрытое равнодушие или даже глубокое, затаенное отвращение к «поетыцким стихам», к науке Копиевского и к реальному образованию лейденского анатомического театра. Он имел дело с варварами, и эти варвары без его просвещенного влияния непременно погрязли бы в тине пороков и во мраке невежества; будь на месте Петра другой деятель, менее крупных размеров, он непременно махнул бы рукою на нелепых варваров и предоставил бы этих неблагодарных людей их печальной участи.

Но Петр был великодушен до конца; видя безуспешность своих собственных усилий, он стал просить советов у знающих людей; махнуть рукою на варваров он никак не решался, несмотря на то, что варварам до смерти хотелось, чтобы их оставили в покое. — Петр услышал, что есть в Германии немец Лейбниц, человек, которого все считают чрезвычайно умным и который знает все, что доступно уму человеческому; Петру захотелось посмотреть на этого диковинного человека; он повидался с ним в Торгау, произвел его в тайные советники, положил ему жалованье в 1000 рейхсталеров и начал советоваться с ним, как бы обтесать русских варваров и насадить в России древо познания. Лейбниц был человек ловкий, придворный и политичный; и философская система его была так устроена, что она должна была нравиться великим людям; и сам он умел держать себя с надлежащею приятностью в высоких сферах; и манеры, и мягкие речи, и направление советов — все показывало в Лейбнице, что он человек бывалый, полированный, вполне достойный чина тайного советника и звания камергера или церемониймейстера. Петру, умевшему угадывать истинное достоинство людей, это придворное светило германского ученого мира очень понравилось с первого взгляда. Вероятно, он подумал про себя, что было бы очень приятно завести

у себя в Петербурге своего доморощенного Лейбница, и неоцененные плоды истинного просвещения, вероятно, в эту минуту показались ему еще неоцененнее. Если Петр оценил Лейбница, то Лейбниц с своей стороны, конечно, разгадал Петра с первых двух слов. Он тотчас распознал слабую струну, обворожил венценосного собеседника картинами будущей русской цивилизации, которая ему, Петру, будет обязана своим происхождением, и в несколько свиданий совершенно упрочил за собою и пожалованный чин и положенное жалованье. Когда Петр уехал в Россию, тогда Лейбниц стал писать к нему письма; эти письма, которые Лейбниц, конечно, выдавал за плоды долговременных и глубоких размышлений, наполнены советами, как ввести в Россию просвещение; Лейбницу было очень приятно получать ежегодно по 1000 талеров, но, чтобы оставить за собою это жалованье, надо было хоть для виду хлопотать об русской цивилизации; иначе Петр, не любивший тунеядцев, мог прекратить выдачу денег; и вот Лейбниц напоминает о своем существовании и письмами своими показывает вид, что он принимает к сердцу горькую участь русских варваров, погибающих в бездне невежества.— Для спасения несчастного народа он считает нужным произвести в разных местах России магнитные наблюдения, разыскать — соединен ли американский материк с азиатским, устроить сообщения с Китаем и меняться с ним не только товарами, но также знаниями и искусствами; собрать и сохранить памятники греческой церкви, составить словари языков инородцев; учредить девять правительственных коллегий, «внутреннее устройство которых похоже на механизм часов, где колеса взаимно друг друга приводят в движение»; навербовать за границею побольше ученых; одних забрать в Россию, других оставить на месте, чтобы они, получая жалованье, сообщали известия о том, что происходит в ученом мире; построить кабинеты, лаборатории и обсерватории, развести ботанические сады, библиотеки и музеи и набить последние инструментами, моделями, медалями и древностями; учредить академии, университеты и школы в Петербурге, в Киеве, в Москве и в Астрахани.

В истории сношений Петра с Лейбницем всего удивительнее то, что умный человек, подобный Петру, поддавался такому наглому шарлатанству и платил деньги за такие полезные советы. Этот странный факт можно объяснить или тем, что для Петра общая идея просвещения

расплывалась в какие-то привлекательные, но совершенно неопределенные образы, или же тем, что он платил Лейбницу деньги и поддерживал с ним сношения просто из тщеславия, для пущей важности. Легко может быть, что тут действовали в одно и то же время обе причины; иначе я не умею себе объяснить, каким образом Петр мог принимать за чистую монету советы Лейбница — производить магнитные наблюдения, вывозить из Китая знания, собирать памятники и составлять словари для того, чтобы вызвать к жизни или пробудить от усыпления умственные силы русского народа. [Тут вся штука в том, что Петру было так же мало дела до русского народа и до его умственных сил, как и самому Лейбницу.] Ученый немец, очевидно, хотел только удержать за собою жалованье, а гениальный преобразователь хотел только обставить самого себя на европейский манер, хотел, чтобы у него было так, как у знатных господ бывает. Там заведены академии — и у нас давай заводить академии; там музеи — и у нас музеи; там ученые — и у нас пускай будут ученые; если нельзя найти ученых в России, надо из-за границы выписать; если ученым, выписанным из-за границы, нечем заниматься собственно в России, если их сочинения, напечатанные на русском языке, не найдут себе ни покупателей, ни читателей — и это не беда. Пусть занимаются в Петербурге тем же, чем занимались в Берлине, или в Марбурге, или в Гейдельберге, пусть печатают свои сочинения на французском, или на немецком, или на латинском языке, пусть печатают хоть на санскритском, дело не в сочинениях и тем более не во влиянии этих сочинений на русское общество: дело именно в том, что они будут жить в Петербурге, состоять на русской службе и составлять из себя русскую академию. Дело не в действии, а в декорациях. Вот чем Петр отдавал дань своему тщеславному, мишурному веку; он был бережлив в своем образе жизни, он жил в тесных комнатах, носил потертое платье, пил простую анисовую водку и в то же время заводил бесполезнейшую академию и платил шарлатану Лейбницу такое жалованье, на которое можно было сшить десять роскошных костюмов. [Вы скажете, может быть: тот помещик, который разоряется на библиотеку, во всяком случае, обнаруживает большее развитие ума и вкуса, чем тот, который садит деньги на псовую охоту; а я вам на это скажу, что нельзя произносить суждения, не вглядевшись в дело: если помещик, разоряющийся на

библиотеку, страстный охотник до чтения, тогда ему и книги в руки; но если он заводит библиотеку для-ради важности, тогда он оказывается глупее того, который разоряется на псарню. Последний действует по живому влечению, а первый просто поступает как обезьяна. В том и в другом случае не мешает спросить: чьи они тратят деньги? Если свои, тогда и толковать не об чем.]

VI

Немцы, которых Петр старался залучить к себе, чтобы сделать из них придворные украшения, понимали слабость преобразователя к умственному блеску и, стараясь эксплуатировать эту страстишку, ломили неслыханные цены. Агенты Петра долго ухаживали за Христианом Вольфом, за тем самым, который, как известно, был впоследствии учителем Ломоносова. Они всё приглашали его в Петербург, а Вольф все отнекивался и, наконец, порадовал их следующим ответом: он потребовал по 2000 рублей ежегодного жалованья, обещал прослужить в России пять лет и, по истечении этого срока, желал получить единовременно сумму в 20000 рублей. «Это немного,— продолжает он, говоря об этих условиях в письме к Блументросту,— если принять во внимание, что́ король Альфонс пожаловал еврею Газану за составление Альфонсовых астрономических таблиц, Александр Великий — Аристотелю за сочинение «Historiae animalium»[35] и покойный король Людовик Великий — Винцентию Вивиани, математику великого герцога флорентийского, за восстановление утраченной книги из высшей геометрии. Не говоря об огромных суммах, полученных Аристотелем от Александра Великого, всем известно, что еврей Газан имел от Альфонса 400 тысяч дукатов, а Вивиани от Людовика Великого такую сумму, на которую он выстроил во Флоренции огромный палаццо, выгравированный при его геометрической книге. Что же все сделанное этими людьми в сравнении с осуществлением исполинского замысла его императорского величества? Для того требуется муж опытный во всех философских и математических науках. В бозе почивший прусский король пожаловал Лейбницу гораздо более, нежели сколько я требую, за то, что он заботился заочно о Берлинской академии». «Исполинский замысел его императорского величества», о котором гово-

рит Вольф, состоял просто в том, чтобы основать в Петербурге академию. Вольф, очевидно, называет этот замысел исполинским с тою же целью, с какою он выписывает исторические примеры, замечательные по своей назидательности. Ему хочется выторговать себе выгодные условия, и потому он преувеличивает трудность задачи, выставляет на вид черты похвальной щедрости. Можно себе представить, во сколько обошлась бы нам наша бесценная академия, если бы действительно за блеск имени пришлось платить по 20000 рублей. К счастью, должно сознаться, что умственное тщеславие не вполне ослепляло Петра; он позволял себе платить по 1000 талеров Лейбницу ни за что ни про что, но когда дело шло о такой сумме, какую требовал Вольф, тогда преобразователь наш становился внимательнее и недоверчивее. Блументрост не решился даже сразу доложить Петру о притязаниях немецкого философа и отвечал Вольфу с некоторым оттенком иронии: «что касается до 20 тысяч рублей, то если мы даже предположим, что наш всемилостивейший монарх превосходит Александра Великого, Альфонса и Людовика Великого в великодушии и любви к искусствам и наукам, а ваше высокородие по своей учености и услугам, оказанным ученому миру вашими мудрыми сочинениями, выше Аристотеля, Газана и Вивиани, все-таки это такая сумма, о которой императору следует представить с осмотрительностью». Из этого письма Блументроста мы видим, что Петру действительно очень хотелось прослыть великодушным покровителем человеческой мудрости, но, во-первых, [как неукротимый деспот,] он хотел, чтобы эта мудрость стала к нему в зависимые отношения льстивого клиента, во-вторых, как русский человек, любящий выгадать и выторговать, он хотел нанять мудрецов подешевле. Петр был плохой меценат; кроме того, он не знал или не хотел знать, что меценаты вообще вредят развитию науки, что честные деятели мысли бегут от их покровительства и что продажные ученые окончательно развращаются под их влиянием.

Профессор анатомии Рюйш сообщил Петру Великому открытый им способ бальзамировать трупы, с тем чтобы Петр хранил его в тайне. «Однако,— говорит г. Пекарский,— царь передал секрет Лаврентию Блументросту, тот Шумахеру, который, в видах подслужиться лейб-медику Ригеру, рассказал ему о способе Рюйша. Ригер, покинув Россию, распубликовал его в «Notitia rerum naturali-

um»[36], статья «Animal»[37].— Кажется, этот анекдот не требует комментария, и, кажется, истолковать это событие в пользу нашего преобразователя не сумеют самые неисправимые его поклонники.

Бывши в Копенгагене, Петр получил там для своей кунсткамеры половину окаменелого хлеба и деревянную обувь, которую носили лапландцы. «Взамен их царь просил хранить в Копенгагенском музее русские лапти». Нельзя не улыбнуться этому ребяческому желанию великого человека; ему захотелось русскими лаптями заявить в одном из европейских музеев о существовании своего государства. Благодаря этому желанию русские лапти попали на почетное место, среди разных монстров и раритетов.

Вот выписка из указа о доставлении в кунсткамеру со всех концов России уродов, редкостей и пр. «Того ради паки сей указ подновляется, дабы конечно такие, как человечьи, так скотские, звериные и птичьи уроды, приносили в каждом городе к комендантам своим, и им за то будет давана плата; а именно: за человеческую — по 10 р., за скотскую и звериную по 5, а за птичью по 3 р. за мертвых. А за живые: за человеческую по 100 р., за скотскую и звериную по 15 р., за птичью по 7 р. А ежели очень чудное, то дадут и более; буде же с малою отменою перед обыкновенным, то меньше. Еще же и сие прилагается: что ежели у нарочитых родятся и для стыда не захотят принести, и на то такой способ: чтоб те неповинны были сказывать, кто принесет, а коменданты неповинны их спрашивать — чье? Но приняв, деньги тотчас дав, отпустить. А ежели кто против сего будет таить, на таких возвещать; а кто обличен будет, на том штрафу брать вдесятеро против платежа за оные и те деньги отдавать изветчикам». Великий преобразователь находил нужным поощрять доносчиков для того, чтобы наполнять кунсткамеру монстрами и раритетами; должно сознаться, что здесь очень мелкая цель оправдывала очень некрасивые средства; впрочем, наверное, найдутся у нас такие историки, которые признают это распоряжение не только извинительным, но даже полезным, премудрым и необходимым. Таков был дух времени, скажут они, таков характер народа! Вероятно, г. Щебальский, открывший, как известно, ту великую психологическую истину, что донос в характере русского народа[38], основал свои наблюдения на документах, подобных вышеприведенному указу. Вероятно, он

принял распоряжение Петра Алексеевича за проявление русского народного характера; если это действительно так случилось, то можно себе представить, что сближение между великими деятелями и простыми смертными не всегда бывает выгодно и приятно для последних. Если бы мы судили обо всех испанцах по Филиппу II, обо всех итальянцах по Фердинанду Неаполитанскому, обо всех англичанах по Генриху VIII, то, вероятно, испанцы, итальянцы и англичане почувствовали бы себя глубоко и притом несправедливо оскорбленными[39].— Указ Петра произвел свое действие; с разных концов России потянулись в Петербург живые и мертвые уроды; если бы за нравственное и умственное уродство определена была премия, тогда бы, вероятно, количество прибывающих субъектов было еще значительнее,— тогда, может быть, пришлось бы содержать при кунсткамере и Никиту Зотова, и Кесаря Ромодановского, и Шумахера, и даже самого Александра Даниловича Меншикова. Из денежных отчетов кунсткамеры от 1719 до 1723 годов видно, что при ней содержались живые монструмы Яков, Степан и Фома; на каждого из них выходило по рублю в месяц. В Заиконоспасской академии, во время Ломоносова, отпускалось на каждого ученика по алтыну в день, следовательно, по 90 копеек в месяц. Живые монструмы получали больше; следовательно, при великом основателе просвещения в России живым уродам было удобнее жить на свете, чем молодым студентам.

Радея о процветании наук, искусств и уродов в России, Петр Великий заботился также о том, чтобы просвещенная Европа восхищалась не только русскими лаптями, поставленными в Копенгагене, но также учеными учреждениями, возникавшими в юном Петербурге. Петр держал на жаловании писателей, обязанных прославлять распоряжения русского правительства. Главным литературным агентом Петра был барон Гюйссен. Немецкий журнал «Europäische Fama» помещал на своих страницах благорасположенные статьи, которые, по словам г. Пекарского, «приемами своими и стилем напоминают «Le Nord»[40], современный бельгийский журнал.— В книге г. Пекарского подробно рассказана полемика между Нейгебауэром и Гюйссеном. Нейгебауэр был наставником Алексея Петровича, но не ужился в России и, уехавши за границу, издал брошюру, в которой описал самым беспощадным образом грязные стороны новорожденной цивилизации.

Гюйссен написал и издал опровержение; Нейгебауэр отвечал новою брошюрою, и тем дело кончилось. Полемика эта касается некоторых любопытных фактов и особенностей русских нравов.

Нейгебауэр говорит в своей брошюре, что иностранцы, приглашаемые в Россию, не находят в этой стране ни одного из тех удобств, которыми их стараются заманить. Им обещают большое жалованье, и не платят денег; им обещают чины и почет — а на поверку выходит, что их бесчестят, бьют батогами, награждают пощечинами, шпицрутенами и ударами кнута. Нейгебауэр приводит множество примеров. Вот некоторые из наиболее типичных.

Маиора Кирхена царь в Архангельске, перед полком, в присутствии голландских и английских купцов, также морских офицеров, назвал е... м... (Hurren Sohn) и, плюнув ему в глаза, выхватил у него шпагу и бросил к ногам, говоря: «ты, е... м.., хочешь быть маиором, а не стоишь быть мушкетером». И это за то, что Кирхен, прослужив целый год маиором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому. — Капитан Лудвиг, прибыв волонтером к осаде Нотебурга — а таким волонтерам царь обещал по 300 рублей и маиорский чин, — потерял потом маиорское жалование и 100 рублей и получил от царского величества собственноручную пощечину во время входа в Москву за то, что он, для правильнейшего расположения орудий, положил в одну яму дерево, которому царь хотел дать иное назначение. — 1700 года генерал и посланник польский, барон Ланге, был пожалован от царя собственноручно ударами и пр. и пр. за то, что он не дозволял над собою шутить царскому любимцу, некоему пирожнику (Bäckerjungen), по имени Александру Даниловичу Меншенкопфу (Menschenkopff). — Полковник Штрасберг наказан воеводою города, где он стоял в гарнизоне, батогами единственно потому, что не хотел действовать вопреки царского указа. — Капитан Форбус был наказан шпицрутенами из шомполов, а перед тем генерал из русских, переломив собственноручно его шпагу и сказав: «теперь я хочу тебя ошельмовать», дал ему пощечину.

Вот какие сведения сообщает Нейгебауэр о батогах:

Батогами называются небольшие жидкие палки длиною с аршин. Их берут служители в руки и садятся на голову и ноги раздетого человека и бьют его палками до тех пор, пока двадцать или тридцать из них не изломаются; потом наказываемого переворачивают и бьют по животу, наконец по бедрам и икрам.

Бóльшая часть обличений Нейгебауэра грешит своею голословностью; в каждом из них есть что-нибудь необъясненное и недосказанное. Так, например, в рассказе о маиоре Кирхене мы не видим, почему Петр хотел передать его место русскому офицеру; не видим также, каким

образом Кирхен отстаивал свои права; бранные слова, произнесенные при этом случае царем, остаются голым фактом, не находящимся в связи с предшествующими событиями и не вытекающим ни из поведения Кирхена, ни из положения самого Петра. Рассказы о капитане Лудвиге, о бароне Ланге, о полковнике Штрасберге и о капитане Форбусе точно так же дают нам одни голые, ничем не объясненные факты. К этой особенности обличительной брошюры Нейгебауэра было бы не трудно придраться; но барон Гюйссен, принявший на себя обязанность защищать честь русского правительства перед общественным мнением Европы, заблагорассудил не заметить этого недостатка обличительной брошюры; он, вероятно, боялся, чтобы Нейгебауэр, задетый за живое обвинением в голословности и бездоказательности, не привел в подкрепление своих рассказов такие факты и аргументы, которые зажали бы рот официальному адвокату России. Вместо того чтобы требовать от Нейгебауэра доказательств и дальнейших разъяснений, Гюйссен в своем возражении просто старается покрепче обругать автора обличительной брошюры и превознести громкими похвалами те важные лица, которые пострадали от язвительных рассказов и замечаний памфлетиста. Отстаивая Меншикова, Гюйссен решается даже придумать для него небывалую генеалогию; он утверждает, что Меншиков происходит из хорошей дворянской фамилии на Литве и что отец его был обер-офицером Семеновского полка. Потом он говорит, что римский император, во уважение к блестящим качествам Меншикова, по собственному побуждению возвел его в достоинство имперского князя. Конечно, в наше время ни один порядочный человек не поставит Меншикову в вину его плебейское происхождение, но сочинение произвольной генеалогии дает нам возможность судить как об авторской честности Гюйссена, так и о высоте нравственных требований тех людей, по приказанию которых этот паразит пускался в литературную деятельность. Из отзывов Гюйссена о Меншикове мы можем также составить себе понятие о том, насколько можно доверять остальным возражениям этого нанятого литератора против Нейгебауэра. Впрочем, большая часть возражений до такой степени слабы и нелепы сами по себе, что им нельзя было бы поверить даже в том случае, если бы мы не имели никаких данных против литературной честности автора. Вот, например, каким образом Гюйссен стара-

ется парализировать описание батогов, приведенное выше из брошюры Нейгебауэра. «Батоги, кнут и другие наказания,— пишет полемизирующий барон,— так подробно и обстоятельно описаны им, что можно думать, что автор часто имел все это перед глазами и увеселял свои нежные чувства подобными спектаклями. По всей справедливости можно пожелать таковых наказаний, как заслуженную награду, всем пасквилянтам, особенно же тем из них, которые нападают грубым образом на коронованных особ, на власть и честь их верных министров, что сделано в настоящей постыдной брошюре».— Это место может показаться очень остроумным и игривым, но самые пристрастные читатели будут принуждены согласиться, что рассказ Нейгебауэра о наказаниях батогами остается не опровергнутым. Отрицать батоги не решается сам Гюйссен, решившийся отрицать плебейское происхождение Меншикова; не решается он, конечно, не из уважения к истине, а, вероятно, потому, что отрицать батоги значило бы восставать против господствовавших обычаев и учреждений; отрицать батоги значило бы находить их применение предосудительным; такого рода дерзкий образ мыслей мог не понравиться великому Петру; не желая рисковать своею благородною спиною, барон Гюйссен предпочел обойти вопрос о действительном существовании батогов в России и обрушиться всею тяжестью своего негодующего остроумия на пасквилянтов; такой полемический оборот был, конечно, удобнее и безопаснее. Я считаю бесполезным долее останавливаться на полемике Гюйссена с Нейгебауэром; приведенные мною отрывки показывают ясно, каким образом Петр пользовался содействием печатной гласности и насколько он был разборчив в выборе орудий и средств.

VII

Личные отношения Петра к несчастному Алексею Петровичу дают некоторые материалы для оценки общих воззрений царя на просвещение и на отношения науки к жизни. «Одною из важнейших причин,— говорит г. Пекарский,— неудовольствия его на сына, царевича Алексея Петровича, было нерасположение последнего к военным приемам и дисциплине, что ясно высказано в письмах царя при деле об осуждении царевича» (стр. 122).

В «Europäische Fama» в официально хвалебной статье о воспитании Алексея Петровича встречается следующий пассаж: «Его царское величество старается, чтобы московский принц, единственный сын его, шел по его стопам и мог бы славу российской монархии вознести на ту степень, на которую достославный родитель намерен поставить посредством недавних побед своих над турками, татарами и другими неприятелями. Царевич не только русским, но и иностранцам известен под именем пресветлейшего солдата» (стр. 137). Надо отдать справедливость составителю этой панегирической статьи; своею наивною похвалою он сильнее всякого памфлетиста насолил Петру во мнении мыслящего потомства. Титул «пресветлейшего солдата», приданный Алексею Петровичу льстецами русского правительства, дает нам самое рельефное понятие о том, чего требовал Петр от своего сына и во имя чего он насилием и наказаниями ломал естественные наклонности молодого человека. Мистические стремления Алексея, его пристрастие к старине, его юношеские пороки — все объясняется военною форменностью воспитания, все объясняется тем глубоким отвращением к [солдатизму] [41], которое развил в нем Петр, старавшийся насильно приохотить сына к ружейным приемам и к военному артикулу. Мы видели, какими средствами Петр развивал в молодых русских любовь к анатомии; вероятно, такие же средства были пущены в ход для того, чтобы действительно превратить Алексея в пресветлейшего солдата. Не знаю, превратились ли русские посетители лейденского анатомического театра в ревностных медиков, но достоверно известно, к чести Алексея, то, что его природа не подчинилась воле великого родителя и разбилась в неравной борьбе.

В той же статье «Europäische Fama» встречается следующее любопытное место об Алексее: «Его холерико-сангвинический темперамент дает ему нужные силы, и пресветлейший родитель с строгою заботливостью запретил ослаблять или портить нежным воспитанием его юность: поэтому его сиятельство, князь Меншиков, согласно родительской воле, обходится с ним без всякой излишней лести, и часто можно видеть, что царевич за обедом встает с своего места и становится позади родительского кресла, чтобы тем выказать сыновнее почтение, а его величество всякий раз ему приказывает садиться». Надо подивиться бестолковости тех людей, которых русское правительство

облекало в звание официальных хвалителей. Скажите на милость, какое отношение имеют заботы Петра об укреплении сил молодого Алексея к той нелепой застольной комедии, о которой «Europäische Fama» рассказывает с очевидными усилиями найти ее похвальною! Если Алексей действительно становился за кресла Петра, то с какой же стати публиковать об этом в газетах? — Приведенный факт показывает нам образчик той субординации, в которой Петр старался держать всех окружающих, начиная с членов собственного семейства. Сохранив этот факт для потомства, панегиристы Петра оказали ему медвежью услугу; впрочем, иначе и быть не могло; панегиристы и продажные писатели все таковы, потому что люди умные и даровитые, способные существовать честным трудом мысли, не торгуют своим пером и не принимают на себя унизительной обязанности хвалить и порицать против убеждения.

Инструкция, данная Толстому при его отправлении в заграничное путешествие в 1697 году, показывает, чтó именно Петр считал достойным изучения и полезным для молодых русских, отправляемых в погоню за просвещением. Эта инструкция заключает в себе следующие параграфы или «статьи последующие учению»: «1) Знать чертежи или карты, компасы и прочие признаки морские. 2) Владеть судном, как в бою, так и в простом шествии, и знать все снасти и инструменты, к тому принадлежащие: паруса, веревки, а на каторгах и на иных судах весла и пр. 3) Сколь возможно искать того, чтобы быть на море во время боя, а кому и не случится, и то с прилежанием того искать, как в то время поступать; однакож видевшим и не видевшим бои от начальников морских взять на то свидетельствованные листы за руками их и за печатьми, что они в том деле достойны службы своея. 4) Ежели кто похощет впредь получить милость бóльшую, по возвращении своем, то к сим вышеписанным повелениям и учению научился бы знать, как делать те суды, на которых они искушение свое примут». Текст этой инструкции показывает нам ясно, что специально техническая сторона европейского образования всего сильнее привлекала Петра; ему хотелось иметь у себя дома хороших кораблестроителей, хороших моряков, солдатов, землемеров, чертежников и т. п. Умственное развитие человека оставалось на самом заднем плане. Петр инстинктивно понимал, что развитые люди редко бывают хорошими испол-

нителями чужой воли, и потому его административные соображения вовсе не требовали того, чтобы молодые русские путешественники вглядывались в житье-бытье европейских народов и выносили из своих наблюдений материалы для критики своего домашнего порядка вещей. А между тем нельзя зажимать глаза и уши молодым людям, отправляющимся за границу. Нельзя было требовать, чтобы они видели только чертежи, веревки, компасы, паруса и каторги.

Они видели много такого, что никогда не попалось бы им на глаза в России; они видели и рассуждали про себя, хотя многое из виденного проходило перед их неприготовленным вниманием, не оставляя по себе никакого прочного впечатления. Находились такие путешественники, которые на все смотрели с невозмутимым бесстрастием; но зато были и такие, которые выражали даже в полуофициальных своих заметках сочувствие к тем или другим явлениям иноземной жизни. Вот, например, выписка из описания путешествия графа Матвеева: «В том государстве лучше всех основание есть, что не властвует там зависть; к тому же король сам веселится о том состоянии честных своих подданных, и никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какова озлобления или нанесть обиду. Всякий из вельмож смотреть себя должен и свою отправлять должность, не вступая до того, в чем надлежит державе королевской. Ни король, кроме общих податей, хотя самодержавный государь, никаких насилований не может, особливо же ни с кого взять ничего, разве по самой вине, свидетельствованной против его особы в погрешении смертном, по истине, рассужденной от парламента; тогда уже по праву народному, не указом королевским, конфискации или описи пожитки его подлежать будут. Принцы же и вельможи ни малой причины до народа не имеют и в народные дела не вмешиваются, и от того никакую тесноту собою чинить николи никому не могут. Смертный закон имеют о взятках народных и о нападках на него».

Это говорится о Франции времен Людовика XIV; если эта страна до такой степени нравилась Матвееву, то можно себе представить, что требования были очень умеренны и что, насмотревшись на петровскую Россию, можно было легко помириться со всяким иным порядком вещей, как бы ни был сам по себе некрасив и неудобен этот

иной порядок. Можно также себе представить, что деятельность нашего преобразователя во многих отношениях потеряла бы свой характер размашистой произвольности, если бы симпатии Матвеева нашли себе отголосок в тогдашнем русском обществе. Если бы между молодыми людьми, посылавшимися за границу для изучения разных рукоделий, нашлось много умных голов, способных понимать различие между своим и иноземным, тогда, вероятно, Петру сделалось бы вовсе не так легко помыкать силами, способностями, убеждениями и наклонностями своих подданных. Сомневаюсь, чтобы Петр почувствовал особенную радость, замечая это пробуждение русской мысли. Но бедная русская мысль спала очень крепко, и ее отдельные разрозненные проявления, растрачиваясь в неравной, но не бесплодной борьбе, глохли и замирали, как слабый стон, вырывающийся из наболевшей груди.

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА

I

История человечества представляет нам бесконечное разнообразие лиц и событий, идей и стремлений, политических систем и нравственных переворотов. Под этим разнообразием форм кроются и медленно развиваются две основные потребности человека, две такие потребности, без удовлетворения которых человек не мог бы ни улучшать свое материальное и интеллектуальное положение, ни даже поддерживать бренное существование личности и породы. Первая из этих потребностей заключается в том, что человек, подобно всем другим животным, должен предохранять свое тело от разрушительных влияний окружающей природы; ему надо принимать пищу для того, чтобы вознаграждать неизбежную убыль своего организма; надо покрывать тело, чтобы сохранять в нем необходимое количество животной теплоты; надо оберегать это тело от слишком быстрых перемен температуры и от вредного действия сырости, зноя и холода; словом, человеку необходимо завоевать себе на земле квартиру, стол, одежду и разные другие материальные обеспечения жизни. Но эта первая потребность может быть удовлетворена только с тем непременным условием, чтобы так или иначе удовлетворялась другая потребность, также чрезвычайно важная, хотя и не так резко бросающаяся в глаза. Эта вторая потребность состоит в том, что человек должен сближаться с человеком, помогать ему в его предприятиях и в свою очередь находить в нем естественного помощника и союзника. Две основные потребности человека удовлетворялись в различной степени в течение тех тысячелетий, о которых сохранились летописи или предания; чем полнее удовлетворялись они, тем удобнее жилось человеку; чем сильнее, напротив того, увлекались люди посторонними целями и искусственными интереса-

ми, тем мрачнее и тягостнее становилась участь огромного трудящегося большинства.

Летописи и легенды наполнены рассказами о великих подвигах завоевателей. На равнинах Египта возвышаются до сих пор колоссальные пирамиды. В первом случае мы видим, что густые массы людей встречаются с другими густыми массами таких же людей и что естественные союзники и помощники истребляют друг друга с особенным удовольствием. Во втором случае мы видим, что люди борются с внешнею природою и побеждают страшные трудности и препятствия для того, чтобы обтесать и сложить кучу камней, которая не дает им ни пищи, ни одежды, ни жилища.

В том и в другом случае деятельность людей, очевидно, идет вразрез с их основными потребностями; но, несмотря на то, эти самые потребности, основанные на великих и незыблемых законах природы, дают себя чувствовать тем самым людям, которые действуют им наперекор. Во-первых, идея завоевателя и идея строителя пирамиды осуществляются не иначе, как при содействии многих людей, соединяющих свои усилия для достижения одной общей цели. Стало быть, потребность человека сближаться с другим человеком остается в полной силе. Во-вторых, воины завоевателя и каменщики строителя, не имея возможности добывать себе пищу собственным трудом, должны получать пищу, добытую другими людьми. Таким образом, другая потребность человека, потребность бороться с окружающею природою и оспаривать у ней те материалы, которые необходимы для поддержания жизни, остается точно так же в полной силе. Ни военный гений Александра Македонского, ни суровая воля египетского фараона Хеопса не могут ни на одно мгновение приостановить действие великих законов природы. Цели того и другого, составляющие их личную собственность, достигаются только в том случае, если соблюдаются законы природы; но так как эти цели сами по себе лежат вне естественных потребностей человека, то преследование и достижение этих и подобных целей несет с собой неизбежное историческое возмездие. Здоровые силы людей, отвлеченные от тех занятий, которые доставляют им пищу, одежду и другие удобства жизни,— силы, употребленные на разорение чужих земель или на сооружение бесполезных громад, оказываются потерянными в общей экономии человечества. Сооружение, произведенное эти-

ми силами, бесплодно; разорение не вознаграждается никаким положительным благом; работники, которые должны кормить воина и каменщика, трудятся много и получают лично для себя мало. Воины и каменщики с своей стороны получают только необходимое. Стало быть, все работают до изнеможения, все сближаются между собою без собственного желания, все едят плохо, одеваются грязно и с каждым годом становятся беднее и тупее.

Целые ряды неопровержимых исторических фактов доказывают нам самым наглядным образом, что войны всегда оказывали гибельное влияние на победителей и побежденных; наружное могущество завоевательной державы покупалось ценою внутренней бедности, ценою страданий и невежества народа-завоевателя; это могущество, основанное на неестественном напряжении сил, продолжалось обыкновенно недолго и оканчивалось таким падением, которое было тем глубже и тем полнее, чем значительнее было сделанное напряжение и, следовательно, чем величественнее было мимолетное проявление могущества. Что касается до пирамид, то будет достаточно сказать, что они воздвигались трудами рабов и что жизнь этих рабов расточалась так же щедро, как расточался их дешевый труд.

Различные видоизменения войны и различные проявления рабства наполняют собою все страницы всемирной истории. Переход от одного вида войны к другому и от одной формы рабства к другой называется благозвучным именем исторического прогресса. И война и рабство существуют до наших времен; война до сих пор называется своим настоящим именем, а рабство в большей части образованных государств скрывается под другими формами и названиями, менее оскорбительными для просвещенных и сострадательных глаз и ушей. Отчего произошли на свет война и рабство и отчего они благоденствуют до наших времен — это такие вопросы, которые не приходится решать между прочим; поэтому для нашей цели будет достаточно обратить внимание читателя на то, что историческое развитие человечества, находящееся до сих пор под влиянием войны и рабства, никогда не удовлетворяло вполне тем двум основным потребностям, от которых зависит счастье и совершенствование отдельных личностей и целых народов. Разные посторонние влияния постоянно мешали человеку посвятить все свои силы мирной и последовательной борьбе с окружающею при-

родою; эти влияния, происходившие от неправильных отношений человека к человеку, самым фактом своего происхождения и существования не позволяли людям сближаться между собою так, чтобы во всякое время находить друг в друге помощников, сотрудников и союзников. Эти посторонние влияния, не имеющие ничего общего с законами природы, очень многочисленны и разнообразны в каждом из новейших обществ. Их так много и они так перепутаны между собой, что совершенно закрывают от глаз исследователя действительную природу человека и настоящий смысл его необходимой борьбы с предметами и силами окружающего мира.

Находясь в таком положении, исследователь должен поступить так, как поступает естествоиспытатель, заметивший, что изучаемое им явление подвергается влиянию нескольких сил, действующих по различным направлениям. Естествоиспытатель устраняет все посторонние влияния и наблюдает явление в его непосредственной чистоте; потом он дает в своем опыте место одному из действовавших прежде влияний и замечает видоизменения, совершающиеся в предмете исследования; затем изучаются поодиночке второе, третье влияние и так далее, до последнего; и таким образом получается, наконец, общий вывод, в котором каждому влиянию отводится принадлежащее ему место. Конечно, естествоиспытатель имеет перед историком то огромное преимущество, что он может брать в руки предмет своего исследования и доказывать непосредственным опытом свои положения; он может действительно изолировать изучаемое явление, между тем как историк принужден во всех подобных случаях ограничиваться рассуждениями, гипотезами и теоретическими выкладками[1] Но как ни плохи орудия историка в сравнении с теми сложными снарядами, которыми располагает натуралист, как ни гадательны выводы первого в сравнении с положительными знаниями последнего, все-таки желание человека узнать что-нибудь о прошедшей жизни своей породы или обсудить как-нибудь существующие бытовые формы так сильно, что оно всегда заставляет его забывать о несовершенстве орудий и о шаткости получаемых выводов.

Я уверен, что мои читатели интересуются общечеловеческими вопросами, и потому надеюсь, что они без особенного неудовольствия прочтут следующие очерки, излагающие идеи известного американского мыслителя Кэри

(Carey)[2] о значении и историческом развитии человеческого труда. Чтобы не запутаться в существующих бытовых формах, составляющих более или менее патологические явления, чтобы не принять этих явлений за естественные отправления здоровой жизни, мы начнем с чисто теоретических рассуждений, а потом уже, принимая в соображение одно влияние за другим, доберемся постепенно до действительных фактов и до таких величественных хронических болезней, какова, например, колониальная политика, мануфактурная система и экономическая доктрина просвещенной и могущественной Англии.

II

Исследования геологов над различными формациями земной коры и над остатками органических тел, превратившихся в окаменелости, доказывают неопровержимым образом, что человек появился на земле в позднейший период ее образования. Тысячи и, может быть, миллионы лет прошли над нашею планетою, прежде чем органическая жизнь достигла того разнообразия, той сложности и того совершенства, которые проявляются в высших породах млекопитающих, т. е. в обезьянах и в человеке. Целые геологические периоды отошли в вечность; целые могучие виды растительности отжили свое время и, умирая, залегли под позднейшую почву громадными пластами каменного угля; своеобразные породы животных, господствовавших в первобытных лесах и в недосягаемых пучинах морей, уничтожились, оставив после себя несколько костей или даже просто отпечатки лап на мягких известковых породах; неисчислимые миллионы микроскопических моллюсков образовали из крошечных обломков своих раковин целые толстые слои меловых формаций; море несколько раз переменило свой бассейн; вулканические поднятия земной коры взломали наслоения почвы, выдвинули высокие и длинные цепи гор и создали скалистые острова среди необозримых равнин океана; на развалинах многих исчезнувших первобытных миров появились новые формы растительности; вместо древовидных хвощей и папоротников каменноугольной эпохи возникли известные нам породы лиственных и хвойных деревьев; климаты обозначились явственно, и могучие деревья девственных лесов захватили сырую почву, согрева-

смую отвесными лучами тропического солнца; за безобразными ящерами и крылатыми драконами, за колоссальными и неуклюжими мастодонтами и динотериями последовали разнообразные породы травоядных и плотоядных животных, составляющих в настоящее время наши стада или изощряющих искусство и храбрость наших охотников. Планета наша пришла в то положение, в котором она находится до наших времен, и эта планета сделалась, наконец, жилищем человека. Насколько этот первобытный человек был похож на нас складом тела, чертами лица, силою и подвижностью ума — этого, конечно, не может разъяснить нам никакое исследование. Мы можем только предполагать, что человек прожил на земле много столетий, прежде нежели у него составились какие-нибудь исторические предания; даже язык и мифология, — эти первые проявления чувства и мысли, — не могли явиться готовыми и должны были, подобно всем произведениям природы, развиваться и совершенствоваться мало-помалу. Дурно владея орудием слова, плохо справляясь с впечатлениями внешнего мира, с трудом передавая их другому и с трудом понимая бессвязные звуки и неопределенные желания этого другого, первобытный человек был, вероятно, очень несчастным существом, если только мы позволим себе предположить, что он по устройству своего тела был похож на своих потомков. Будущий властелин природы, прямой предок какого-нибудь Ньютона или Линнея был самым жалким рабом всех окружающих его предметов: у него не было ни естественного оружия, ни естественной защиты от суровой атмосферы, ни даже такого желудка, который мог бы переваривать траву и листья. Он мог совершенно справедливо завидовать и могучему медведю, и покрытому шерстью барану, и пережевывающему буйволу. Что́ он перенес, сколько страданий ему пришлось испытать от голода, от холода, от других животных, начиная с хищных зверей и кончая лесными муравьями и москитами, сколько поколений измыкали свою жизнь в тупом страхе и бессильном отчаянии — это все такие вопросы, на которые откажется отвечать самое смелое воображение самого великого поэта. Слабым отблеском этих доисторических или даже домифических страданий можно признать мрачный и кровожадный характер всех первобытных религий и богослужений. Человеческие жертвы, приносившиеся для умилостивления грозных и всегда разгневанных сил

природы, являются, очевидно, зловещим воспоминанием о неравной и мучительной борьбе, перенесенной теми поколениями, среди которых медленно, с напряжением и с болью вырабатывались первые начатки языка и первые очерки религиозных представлений.

Между тем эта природа, так безжалостно терзавшая своего новорожденного младшего сына, была та самая мать-природа, которая доставляет нам в избытке все необходимое, та самая природа, которая дает нам все средства к наслаждению и которая вдобавок настраивает лиры наших сладкогласных поэтов. Чего же недоставало первобытному человеку? Недоставало безделицы. Во-первых, знания этой природы. Во-вторых, уменья сближаться с подобным себе человеком и находить себе в нем естественного союзника. На каждом пути первый шаг обыкновенно оказывается самым трудным. Первое усилие изобретательного ума, проявившееся в том, что человек вооружился какою-нибудь деревянною дубиною или попробовал на каком-нибудь бревне переплыть через небольшой ручей, было, может быть, самым удивительным подвигом человечества, самым верным и блестящим предзнаменованием будущей великой судьбы нашей породы. Первая попытка к сближению человека с человеком, попытка, выразившаяся каким-нибудь безобразным мычанием, подергиванием лицевых мускулов и беспокойным движением руки, была, по всей вероятности, важнее и плодотворнее по своим последствиям, чем самые удивительные и сложные комбинации позднейших создателей римского права. Первые успехи людей в практическом ознакомлении с силами и законами природы и в создавании языка как могучего и незаменимого орудия сближения между собою были, конечно, медленны и вялы; но зато каждый последующий шаг совершался легче и быстрее предыдущего. Первые, полумифические предания, открывающие собою историю каждого народа, застают людей уже на очень высокой степени умственного развития и материального благосостояния. Язык уже создан совершенно и применяется уже к таким целям, которые не имеют ничего общего с грубыми потребностями животной жизни. На языке этом существуют уже песни, космогонические мифы и героические эпопеи. Человек живет охотою и скотоводством; он уже не боится диких зверей; он сам отыскивает и преследует их; у него есть оружие; ему удалось покорить себе некоторые породы животных и обра-

тить их в прочную собственность. Наконец, он делает то же самое с растениями; возникает первобытное земледелие, которое даже в самом грубом виде предполагает очень обширные знания сил и законов природы; чтобы сделаться земледельцем, человеку надобно, во-первых, узнать, что зерна известных растений заключают в себе питательное вещество; во-вторых, надо узнать, что зерна, положенные в землю, производят новые растения; в-третьих, надо узнать, на какой земле эти зерна могут дать росток; далее, надо узнать, в какое время года их сеять и когда убирать. Все эти сведения приобретаются только опытом и составляют ряд удивительных открытий, перед которыми бледнеют паровые машины и электрические телеграфы, составляющие славу и гордость нашего века.

Мы не знаем настоящей цены этим открытиям, потому что они с незапамятных времен составляют общее достояние масс; но если мы перенесемся воображением к тем векам отдаленной древности, в которых открытия эти были сделаны, если мы представим себе, как беден был тогдашний человек опытами, знаниями и, следовательно, мыслями, то подобные открытия покажутся нам почти необъяснимыми чудесами и во всяком случае чисто героическими подвигами младенческого ума первобытного человека. Такие подвиги могут быть воспроизведены только в фантастической сказке или в эпической поэме. На этом основании я принужден в этих очерках брать человека и его отношения к природе уже в том моменте развития, когда первые труднейшие и величайшие открытия сделаны. Я всегда буду, таким образом, предполагать, что язык как орудие сближения уже создан, что приручение домашних животных уже совершено и что первые, важнейшие начатки земледелия уже отысканы наблюдательным умом древнего человека.

III

Между охотниками, пастухами и земледельцами первобытной эпохи часто происходят раздоры и драки. Эти зародыши будущих войн выдвигают вперед микроскопических Цезарей и Наполеонов и вносят в быт первобытных людей такой элемент, который не имеет ничего общего с последовательным и правильным развитием труда.

Чтобы устранить из нашего исследования этот посторонний элемент, мы должны изолировать одного из древних земледельцев и поставить его в исключительное положение. Мы желаем знать, что *должно было бы* произойти, если бы никакие посторонние препятствия не отвлекали человека от мирных и плодотворных побед над различными силами окружающей его природы. Для этого мы допустим предположение, что мужчина и женщина, владеющие языком, умеющие приручать некоторые породы животных и усвоившие себе элементарные сведения по земледелию, попали вместе на необитаемый остров, богатый всеми дарами девственной природы. Остров велик, плодородной земли много, и поселенцы могут завладеть беспрепятственно теми местами, которые покажутся им особенно привольными. К сожалению, эти привольные места, лежащие в долинах, по берегам рек и ручьев, покрыты самою роскошною растительностью; в одном из этих мест обилие сырости образовало трясину, в другом — глубокий чернозем порос колоссальным строевым лесом. Если бы поселенец мог прорыть канал для отвода воды или вырубить вековые деревья, то осушенная и очищенная почва вознаграждала бы его за труд обильным урожаем. Но такой труд превышает физические силы отдельного человека. У этого человека нет таких орудий, которые необходимы для подобных работ. Употребление металлов еще неизвестно нашему Робинзону. Он убивает зверя дубиною, сдирает с него кожу острою раковиною, режет его мясо на части острым кремнем. Тот же кремень помогает ему заострить палку; заостренный конец палки обжигается на легком огне, и обожженный кол дает земледельцу возможность вырывать в рыхлой земле те мелкие ямки, в которые он бросает хлебные зерна. Кусок острого кремня, привязанный ремнем или лыком к палке, образует топор. Этим топором можно переломить сухую хворостину; им можно, пожалуй, ушибить зверя или врага, но им, конечно, невозможно, срубить большое дерево, точно так же как невозможно обожженным колом вырыть канал. Чтобы расчистить одну десятину плодородной земли, поселенцу необходимо вырубить и стащить с места десятки, а может быть, и сотни больших деревьев, потом надо вырыть пни и освободить почву от множества валежника, от повалившихся и гниющих бревен; если бы поселенец осмелился взяться за такую работу, то отчаянная храбрость его ни в каком случае не увенчалась бы

успехом; могучая растительность стала бы преследовать его по пятам, заглушила бы его посевы и принудила бы его постоянно возобновлять одну и ту же бесплодную работу.

Очевидно, стало быть, что первая попытка нашего колониста срубить первобытным топором колоссальное дерево покажет ему всю неразрешимость подобной задачи; спертый и сырой воздух, наполняющий собою мрачные своды девственного леса, даст ему почувствовать неприятное ощущение лихорадочного озноба, и колонист поневоле пойдет искать для поселения такого места, на котором роскошная растительность не отнимала бы у него теплых и живительных лучей солнца и не мешала бы созреванию его скудных посевов. Он найдет такое место на темени какого-нибудь холма; там почва беднее, чем в долине, и эта бедность составляет в глазах колониста достоинство, потому что она помешала лесным исполинам укорениться на этой площадке. С легким кустарником и с сорными травами, покрывающими вершину холма, поселенец кое-как справляется; обожженный кол делает свое дело, площадка покрывается тощими колосьями, и хлеб родится на первый раз сам-друг; успех не блестящий, но прожить кое-как можно, если, не ограничиваясь земледелием, заниматься ловлею птиц, охотою и собиранием лесных плодов. Конечно, богатая почва долин могла бы родить сам-двадцать, но так как эта почва оказалась недоступною, то нашему Робинзону приходится смотреть на нее, как «пери молодая» смотрела на потерянный рай[3].

Впрочем, мы не должны думать, чтобы Робинзон чувствовал особенную нежность к богатой почве. Драгоценные свойства этой почвы выражаются покуда во враждебном для него развитии сырости и лесной растительности, а Робинзон как плохой агроном и плохой мыслитель, по всей вероятности, не воображает себе, что со временем эта самая почва будет давать его потомкам обильную жатву. Считая развитие своих собственных сил вполне нормальным и не пускаясь в теорию исторического прогресса, он, конечно, не может себе представить, что его потомки будут обладать такими силами и такими тайнами природы, которые сделают их полными властителями окружающего мира. Не предвидя великого будущего, Робинзон повинуется физической необходимости, поселяется на сухом холме, и хлеб родится у него сам-друг.

Между тем семейство Робинзона увеличивается; подрастающие дети помогают отцу и матери в тех работах, которые не превышают детских сил; потребности поселения становятся значительнее, но вместе с тем возрастают и силы; число умов увеличивается с увеличением числа рабочих рук; и отец, и мать, и дети наталкиваются на разные явления природы, обмениваются между собою опытами и наблюдениями и, при содействии этих нехитрых опытов, улучшают понемногу свое материальное положение. Увеличение населения имеет, конечно, свои дурные стороны; пяти человекам труднее жить в мире, чем двоим; на острове могут повториться те же раздоры и драки, для избежания которых мы принуждены были увести Робинзона с женою в тихое пристанище. Но чтобы подобные пассажи не путали наших теоретических выкладок, мы предположим раз навсегда, что на нашем острове царствует мир и спокойствие и что каждый из поселенцев пользуется плодами своего труда, не захватывая в свою пользу труда слабейшего соседа.

Я очень хорошо знаю, что подобное предположение не имеет под собою исторической почвы,— на самом деле так не бывает ни на островах, ни на материках, но я напомню читателю, что мы изучаем труд человека и выводим те следствия, которые должны были бы получиться, если бы к элементу труда не примешивались разные неблагообразности. Мы ставим человека лицом к лицу с природою и спрашиваем: кто должен победить? Человек или природа? Это вопрос простой, и, чтобы не усложнять его до поры до времени, мы должны постоянно отстранять всякие столкновения человека с человеком. Итак, мы предполагаем, что колонисты наши плодятся и множатся и что целые столетия проходят над тихим пристанищем, принося с собою увеличение потребностей и рабочих сил, но не возбуждая в людях тех низких страстей, которые заставляют их истреблять и грабить друг друга. При таких условиях благосостояние поселенцев должно постоянно увеличиваться, и я постараюсь убедить в этом читателя целым рядом самых правдоподобных рассуждений.

На острове есть горы, а в горах лежат жилы разных металлов. Эти жилы для Робинзона были мертвым капиталом, но какой-нибудь нечаянный случай открывает его потомкам способ извлекать из них огромные выгоды. Открытия в древности производились не так, как они произ-

водятся в наше время, когда существуют ученые исследователи и практические технологи. В наше время ищут и находят, а в древности на открытия натыкались случайно; стало быть, в древности для произведения открытия были необходимы два элемента: счастливый случай и сметливый глаз человека, способного извлечь из данного случая пользу. Число этих двух элементов, конечно, увеличивается с увеличением населения. Чем больше людей, тем больше отдельных случаев; чем больше людей, тем больше сметливых глаз и сообразительных умов. Чего не случится с одним, то может случиться с другим; чего не доглядит другой, то подметит третий; чего не сообразит третий, то осилит умом четвертый. Так или иначе, первый кусок медной руды попал случайно в огонь, и получилась какая-то красная масса, которая, конечно, очень изумила и, как новинка, обрадовала колонистов. Кому-нибудь пришло в голову испытать крепость нового тела; оказалось, что оно с удобством может заменить кремень и жженое дерево; земледельческие орудия значительно усовершенствовались; явилась возможность глубже взрывать землю и с меньшим трудом рубить небольшие деревья; поля колонистов расширились, и урожаи сделались обильнее, во-первых, от этого расширения, во-вторых, от улучшений в обработке земли. Ободренные этим успехом, колонисты, уже не дожидаясь нового случая, пробуют действие огня над разными кусками земли и камня. После многих бесплодных попыток они натыкаются на оловянную руду; пробуют смешать олово с медью; смесь оказывается крепче чистой меди и производит новое усовершенствование орудий; с увеличением материала улучшается, вероятно, и форма инструментов, потому что работники, разумеется, соображаются с указаниями возрастающего опыта.

Наконец добираются и до железа; может быть, железная руда попадалась и раньше, но ею не умели пользоваться прежние колонисты; не было ни той опытности, ни тех орудий, которые необходимы для добывания и ковки железа; теперь же, когда есть люди, привыкшие обращаться с медью и с оловом, когда есть медные лопаты и медные молотки,—теперь и железная руда должна уступить усилиям человека, и вот новый металл снова производит благодетельный переворот во всех отраслях

производства. Каждый успех является, таким образом, переходною ступенью к дальнейшим, и притом более важным успехам. Железными орудиями колонисты взрывают землю так глубоко, что добираются до слоев другого состава; под песчаным грунтом они находят мергель, под глинистою почвою — известковую землю. Смешение двух слоев между собою значительно увеличивает производительность земли. Хлебопашцы замечают это и придумывают такие орудия, которые дают им возможность пахать гораздо глубже, чем пахали их предки. Обожженный кол давно уже заменился заступом; теперь заступ в свою очередь уступает место сохе и плугу; эти новые орудия по своей тяжести изнурительны для человека, и ему приходит в голову воспользоваться силами вола или лошади. Это новое усовершенствование значительно ускоряет работу, которая вместе с тем становится легче для человека и плодотворнее по своим результатам. Времени и мускульной силы тратится меньше, а пищи получается больше. Теперь можно без особенной опасности предпринять нашествие на те части острова, в которых, при жизни старого Робинзона, деспотически господствовала могучая лесная растительность. Теперь людей много, у каждого есть в руках железный топор, и за каждым следуют вьючные животные, которые немедленно выволокут срубленные деревья, гниющие бревна и кучи валежника. Пользуясь услугами вьючных животных, поселенцы замечают, что этим животным легче тащить такие тела, которые катятся по земле, чем такие, которые производят сильное трение. Идя путем постепенных усовершенствований, они доходят до изобретения телеги, значительно сберегающей силу вола или лошади. Владея железными орудиями и перевозочными средствами, потомки Робинзона, во-первых, успевают расчистить и распахать некоторые части тучной почвы, лежащей по берегам рек и ручьев, и, во-вторых, получают возможность воспользоваться срубленными большими деревьями для различных построек. Тучная почва дает обильный урожай, а крепкие бревенчатые срубы доставляют множество удобств и выгод. Жилище родоначальника колонии было похоже на логовище медведя; Робинзон принужден был довольствоваться простою пещерою, где ему приходилось сидеть в темноте или задыхаться от дыма, когда холод заставлял его разво-

дить огонь. Через несколько времени ему удалось вместе с сыновьями сплести из хвороста шалаш, служивший плохою защитою от дождя, ветра, холода и зноя; потом он воспользовался теми бревнами и сучьями, которые валялись в лесу, и сгородил из них с большим трудом очень безобразную и неудобную хижину, в которой было что-то подобное двери, но в которой нельзя было найти ни окна, ни дымовой трубы. Темнота, дым и грязь продолжали преследовать семью колонистов. Открытие металлов было во всех отношениях поворотным пунктом в их образе жизни. Явилась возможность рубить большие деревья и распиливать их на доски; возникло уменье выкатывать из каменной горы большие глыбы и обтесывать их так, чтобы они могли держаться одна на другой; при ближайшем знакомстве с свойствами различных пластов земли поселенцы заметили, что глина очень легко принимает в жидком виде всевозможные формы и потом твердеет, подвергаясь действию солнечных лучей. В избе, построенной из бревен, является тогда дощатый пол, окно, затворяющееся досками, и печка, сложенная из камня и смазанная глиною. Здоровье поселенцев значительно улучшается, потому что им не приходится страдать ни от дыму, ни от холода, ни от грязного земляного пола; кроме того, оказывается значительный выигрыш времени, потому что представляется возможность работать в избе, в которой перестает царствовать вечная темнота.

Позаботившись о себе, поселенцы заботятся о своем домашнем и рабочем скоте. В былое время свиньи, быки и овцы жили у них под открытым небом и круглый год находились на подножном корму; в холодное время года пещера колониста превращалась в Ноев ковчег, потому что все животные загонялись в это первобытное жилище и там согревали друг друга собственною теплотою. Когда процесс строения значительно облегчился улучшением орудий, когда вместе с увеличением сил произошло усложнение потребностей и вкусов, тогда непосредственная близость самых полезных животных потеряла в глазах колонистов всякую прелесть. Люди и животные разлучились, к обоюдной выгоде тех и других. Появились скотные дворы и закутки; уход за скотом улучшился; количество добываемого молока и мяса увеличилось, и порода скота стала заметно совершенствоваться.

IV

Столетия прошли над Тихим Пристанищем нашего Робинзона; в его размножившемся потомстве живут уже одни темные предания о тех далеких временах, когда родоначальник их поселился на острове; молодому поколению кажутся уже совершенно неправдоподобными рассказы о лишениях и страданиях, выдержанных первыми поселенцами. В самом деле, трудно поверить. Их было только двое; в их распоряжении находился целый остров, обширный и богатый, а между тем они часто терпели нужду и с трудом спасались от голодной смерти. Теперь колонисты считаются тысячами, остров не увеличился в объеме ни на один вершок, а между тем все хорошо одеты и живут припеваючи. Ясно, что такая благодетельная перемена произошла именно потому, что их теперь много и что эти многие являются прямыми и законными наследниками всей массы векового опыта, набранного предками и купленного дорогою ценою прошедших трудов и страданий. Каждое последующее поколение оказывается многозначительнее предыдущего, живет богаче и придумывает новые технические улучшения, которые позволяют ему добывать больше пищи и одежды с меньшим напряжением мускулов и с меньшею тратою времени. Открывается возможность пользоваться для промышленных целей великими естественными силами воды, ветра и, наконец, пара. В былое время хлебные зерна растирались между двумя камнями, приводимыми в движение руками человека. Эта работа была утомительна, и мука получалась плохая, потому что многие зерна оставались полураздавленными. Вслед за тем было найдено средство заменить труд человека трудом лошади или вола. Работа пошла быстрее, и мука улучшилась. Потом, когда практическая механика сделала значительные успехи, превращение зерен в муку было поручено воде и ветру, таким работникам, которые не требуют пищи и которых могущество неизмеримо велико в сравнении с ограниченными и быстро устающими силами человека, лошади и вола. Таким образом произошло громадное сбережение труда и времени, а между тем количество превращаемого продукта значительно увеличилось, и в такой же степени повысилось его качество.

То же самое произошло в тех отраслях производства, которые относятся к приготовлению одежды. Одежда Ро-

бинзона состояла из звериной кожи, наброшенной на плеча. Так как первобытному поселенцу редко случалось убивать такого большого зверя, которого шкура могла бы служить для человека достаточною защитою от воздуха, то, конечно, одежда считалась большою редкостью и очень неудовлетворительно исполняла свое назначение. Редкость больших шкур навела на мысль связывать ремешками маленькие шкурки; когда у Робинзона развелись домашние животные, то, конечно, добывание шкур значительно облегчилось; вместо связывания шкур явилось сшивание; вместо иголки употреблялась какая-нибудь острая кость, а вместо ниток — тонкие ремешки, тонкие жилья или струны, скрученные из кишечной кожи. Счастливая мысль сучить нитки из животной шерсти и растительных волокон повела за собою многочисленные улучшения; возникло прядильное искусство, из которого в свою очередь развилось производство тканей. Затем явились механические усовершенствования орудий; простое веретено заменилось самопрялкою, и первобытный ткацкий станок испытал значительные превращения. Наконец, сила пара, приложенная к этой отрасли производства, довела выработывание тканей до изумительной легкости и быстроты.

Мы знаем, что все эти открытия и усовершенствования были произведены в действительности, но мы можем, кроме того, доказать, что они неизбежно должны были быть произведены. В них нет ничего случайного, и они нисколько не зависят от личных свойств тех людей, которые сделали их достоянием человечества. Мы считаем этих людей благодетелями нашей породы и чувствуем к ним признательность по тому же самому свойству нашей натуры, по которому мы кидаемся на шею к человеку, сообщающему нам очень радостное известие. На самом же деле свойства вещества, подмеченные изобретателем, так же мало зависят от его воли, как мало зависит счастливое событие от человека, передающего радостное известие. Эти свойства вещества только потому оставались неизвестными, что большинство людей задавлено механическою работою, а меньшинство жуирует, или занимается пустяками, или изобретает средство еще больше обременить большинство. Поэтому наблюдать и размышлять, трудиться и осмыслять свой труд могут только немногие единицы; эти единицы одарены сильным умом, но их так мало не оттого, что на известную полосу земли отпускается такое количество ума, а оттого, что отпуска-

емое количество расходуется самым нерасчетливым образом. Умные и полезные люди составляют редкие исключения, между тем как они должны были бы составлять правило.

Я не намерен отнимать у великих гениев ни одного вершка их роста, но с полным убеждением выражаю ту мысль, что они стоят так неизмеримо высоко над уровнем человечества только потому, что неблагоприятные обстоятельства довели этот общий уровень до неестественно низкой степени. Великая, богатая и могучая природа человека, совершившая в своем славном младенчестве столько героических умственных подвигов в деле завоевания внешней природы, истощается и уродуется именно теми условиями жизни, которые представляют жалкие и пагубные уклонения от великого дела производительного и постоянно расширяющегося труда. Нам часто случается слышать панегирики замечательным открытиям нашего века; конечно, хорошо, что открытия эти сделаны; но удивляться тут нечему; скорее следовало бы подивиться тому, что они сделаны так поздно, тому, что мы до сих пор так мало знаем природу, тому, что земледелие, известное человеку с незапамятных времен, только в последнее тридцатилетие, в немногих уголках Европы, начало пользоваться указаниями осмысленного опыта. Если бы Шекспир не написал «Отелло» или «Макбета», то, конечно, трагедии «Отелло» и «Макбет» не существовали бы, но те чувства и страсти человеческой природы, которые разоблачают нам эти трагедии, несомненно были бы известны людям как из жизни, так и из других литературных произведений, и притом были бы известны так же хорошо, как они известны нам теперь. Шекспир придал этим чувствам и страстям только индивидуальную форму. Но машина или закон природы не могут иметь индивидуальной формы. Из двух различных машин, построенных для одной и той же цели, одна непременно будет удобнее другой и, следовательно, вытеснит из употребления другую. Из двух различных объяснений явления природы одно будет непременно ложным и, следовательно, рано или поздно будет отвергнуто. В деле изучения и завоевания природы нет места личному произволу; тут нельзя изобретать, надо только наблюдать и понимать, пользоваться от века существующими силами и разгадывать от века существующую связь причин и следствий. Открытие есть встреча между вечным явлением и вечным умом челове-

чества. Встреча эта неизбежна, но она может совершиться раньше или позднее, смотря по тому, много или мало отдельных человеческих умов стоят на известной высоте развития и предаются плодотворному делу труда и наблюдения. Если бы Уатт не открыл двигательную силу пара, то ее непременно открыл бы кто-нибудь другой, потому что эта сила существовала в доисторические времена и будет существовать на нашей планете до тех пор, пока не иссякнет последняя лужа воды и не уничтожится последний луч теплорода. Эту силу открыли в XVIII столетии, а не раньше, только потому, что чем дальше мы будем забираться в древность, тем сильнее будут проявляться элементы, враждебные труду, и, следовательно, тем реже будут становиться шансы для счастливых и плодотворных встреч между явлением природы и наблюдательным умом человека.

Мы в нашей гипотезе устранили с Тихого Пристанища все элементы, враждебные труду и ассоциации; поэтому мы имеем полное право утверждать, что на острове Робинзона весь ход неизбежных открытий и совершенствований будет несравненно быстрее, чем где-либо в действительности. Чтобы историческим фактом доказать читателю неизбежность главных практических открытий и независимость их от отдельных личностей, я напомню ему только ту известную истину, что китайцы совершенно самостоятельным путем дошли почти до всех технических усовершенствований, которыми гордится теперь европейская цивилизация. Если мы предположим, что Тихое Пристанище продолжало жить до наших времен своею мирною и разумною жизнью, то мы совершенно последовательно принуждены будем допустить, что жителям счастливого острова известны такие свойства природы и такие технические комбинации, о которых не имеет понятия ни одна из передовых стран Европы. Мы, конечно, знаем, что мы далеко еще не достигли пределов естествознания, но этого мало: мы теперь не можем и не имеем права сказать, что этому знанию существуют какие-нибудь пределы; мы не имеем также права утверждать, что силы природы когда-нибудь могут быть исчерпаны или истощены. Напротив, оглядываясь назад на поприще, пройденное человечеством, и потом видя впереди необозримую и беспредельную даль, мы имеем полное основание думать, что наша порода вечно могла бы с каждым поколением становиться могущественнее, богаче,

умнее и счастливее, если бы только не мешали этому развитию бесконечные и разнообразные междоусобные распри, поглощающие и истощающие лучшую и значительнейшую часть великих и прекрасных способностей человеческого тела и человеческого ума. Природа человека всегда была так же способна к беспредельному развитию, как природа, окружающая человека, всегда была способна к бесконечному разнообразию видоизменений и комбинаций; но человек не мог сразу понять ни себя, ни природу; он и до сих пор понимает неверно и неполно как самого себя, так и те бытовые условия, при которых деятельность его может быть плодотворна, развитие — быстро и успешно, и счастье — по возможности совершенно. Из этого неполного и неверного понимания, как из вечно открытого ящика Пандоры, сыпятся и льются роковые ошибки, и только в этих ошибках заключаются причины всякой бедности и всяких страданий.

V

Многие причины заставляли Робинзона довольствоваться теми скудными жатвами, которые давали ему участки тощей и сухой почвы, лежавшей по вершинам холмов. Тучная почва долин была занята вековым лесом, которого одинокий и несведущий колонист не мог вырубить; она была покрыта болотами, которых он не мог осушить. Кроме того, Робинзон не умел пахать ту почву, которая была ему по силам; минеральные частицы различных слоев не смешивались между собою; песок и мергель, суглинок и известь оставались несоединенными, и вследствие этого земля развертывала только самую незначительную долю своих производительных сил. Скот Робинзона бродил по воле, и помет его пропадал даром, тем более что первобытный агроном, по всей вероятности, не знал его драгоценных свойств. Все эти причины бедности были постепенно устранены, когда население увеличилось и обогатилось опытными знаниями. Рубка лесов и осушение болот посредством каналов открыли позднейшим колонистам путь в роскошные долины; вместе с тем усовершенствование земледельческих орудий и введение рационального скотоводства дало им возможность распахать и удобрить те участки сухой почвы, которые их предки царапали обожженными кольями. Пере-

ход от бедной почвы к богатой совершился, таким образом, с увеличением числа рабочих рук и с улучшением средств обработки. Такой переход сам по себе в высшей степени правдоподобен, но нам нет надобности считать его только правдоподобным; мы можем подтвердить его всеми действительными фактами заселений, совершавшихся на глазах истории.

Колонизация Северо-американских штатов была произведена так недавно, что каждый шаг поселенцев на новом материке может быть указан как в исторических свидетельствах, так и на самой почве. Первая английская колония Плимут была основана в штате Массачусете, на песчаной прибрежной почве. Весь Массачусет отличается топким грунтом, но пуритане, селившиеся на скалистых холмах, выбирали самые бедные части этого тощего грунта. В штате Нью-Йорке старая железная дорога идет по возвышенностям, на которых лежат деревни и местечки первых поселенцев; напротив того, новая железная дорога прямою линиею прорезывает богатейшие долины штата, которые до сих пор остаются неосушенными и невозделанными. Плодороднейшие земли Пенсильвании долгое время считались совершенно неудобными, потому что сырой и болотистый воздух преследовал поселенцев периодическими лихорадками. В Нью-Джерси квакеры основали свои первые поселения на песчаных холмах, поросших жидкими сосновыми рощами, а потомки их оставили эти места, когда им удалось вырубить дубовые леса, покрывавшие тучный грунт, и осушить те низменности, на которых рос белый кедр. В штате Охайо пятьдесят лет тому назад сухие земли холмов были гораздо дороже долин и речных берегов, на которых никто не хотел селиться; по берегам Сускеганны целые сотни акров передавались из рук в руки за 1 доллар или даже за кружку водки; теперь эти земли возвысились в цене, а холмы, напротив того, оставлены и заброшены. В Уисконсине богатейшая земля штата называлась «мокрыми лугами» и составляла ужас первых поселенцев; теперь эти «мокрые луга» высушены без всяких гидравлических сооружений: их просто каждый год косили и вытравливали рогатым скотом; солнце и воздух вытянули излишек воды, и земледелец получил возможность воспользоваться толстейшими слоями превосходного чернозема. По берегам реки Миссисипи, ниже того места, где она принимает в себя реку Охайо, лежат миллионы акров богатейшей почвы, кото-

рая до сих пор остается нетронутою и сохраняет зловещее название трясины (Swamp). Эта обширная местность покрыта лесом и камышами и наполнена целыми озерами стоячей и гниющей воды, которая, содействуя развитию разнообразной растительности, заражает воздух самыми вредными миазмами. Разлития Миссисипи затопляют в обе стороны огромные полосы земли и, увеличивая ее плодородие осадками ила, поддерживают тот избыток сырости, который отражает завоевательные попытки самых смелых колонистов. Трясина только тогда перестанет быть трясиною, когда большие каналы спустят громадные лужи стоячей воды и когда высокие плотины положат предел разрушительным шалостям реки. Подобные сооружения могут быть выполнены только многочисленным и предприимчивым населением. Они далеко превышали силы местных плантаторов, считающих рабство и земледельческую рутину краеугольными камнями своего личного и общественного благосостояния. На этом основании в трясине господствуют исключительно охотники, рыбаки и дровосеки — люди бедные, полудикие, привыкшие к ежедневным опасностям и не боящиеся ни лесных зверей, ни болотных испарений. По течению рек Миссури, Кентукки, Теннесси и Красной мы постоянно замечаем однородные явления: чем гуще население, чем значительнее накопление богатства, тем ближе подступают земледельцы к береговым низменностям; чем реже и беднее становится население, тем исключительнее сосредоточивается хлебопашество на тощей почве сухих холмов, отодвигаясь далее и далее от течения рек. В обеих Каролинах, в Джорджии, в Флориде и Элебаме[4] миллионы акров великолепнейших лугов и лесов остаются неосушенными и нерасчищенными, между тем как плантаторы этих штатов вытягивают последние соки из своих тощих земель.

Земледельцы, отправляющиеся искать счастья на дальнем западе, постоянно основывают свои первые поселения на холмах, несмотря на то, что у них есть отличные стальные топоры и заступы. Хорошие орудия очень полезны, но такие громадные предприятия, как расчищение девственных лесов и осушение обширных болот, могут быть выполнены только соответственным количеством рабочих рук, и поэтому решение подобных задач всегда предоставляется более или менее отдаленному будущему. Всякая попытка нарушить этот основной закон и начать

обработку прямо с тучных участков земли неизбежно ведет за собою неудачи и народные бедствия; посевы гниют на корне, колонисты мрут от лихорадок, и возникающее поселение погибает, задавленное непомерными силами девственной природы. Много таких примеров представляет история французских колоний в Луизиане и в Кайенне и первых английских поселений в Виргинии и в Каролине.

В Мексике обработываются песчаные земли Потози и Закатекаса, лишенные естественного орошения и часто подвергающиеся губительным засухам; между тем остаются невозделанными и незаселенными берега рек и Мексиканского залива, покрытые богатейшею тропическою растительностью и производящие сами собою хлопчатую бумагу и индиго, маис и сахарный тростник. Возвышенности Тласкалы и сухая почва Юкатана обработаны, а плодородные земли Табаско и Гондураса нетронуты. Скалистые острова Караибского моря, Монсеррат, С.-Лучия и С.-Винцент заселены, а Порто-Рико и Тринидад, самые плодородные из этих островов, остаются почти в первобытном состоянии. На Панамском перешейке развертывается вся изумительная сила американской природы; дожди продолжаются сплошь по семи месяцев, и лесная растительность развивается так быстро, что линия Панамской железной дороги заросла бы лесом в один год, если бы на ней не производились постоянные расчистки. Конечно, как и следовало ожидать, Панамский перешеек по обе стороны рельсов представляет нетронутую глушь.

В Южной Америке повторяется тот же общий закон в самых обширных размерах. Во времена Пизарро существовала цивилизация только в гористом и сухом Перу, составляющем крутой склон Кордильеров к Восточному океану. Перу орошается небольшими и быстрыми реками, которые, не застаиваясь в своем течении, не могут образовать болотистых разливов. Кроме того, пассатные ветры, насыщенные водяными парами, задерживаются вершинами Кордильеров, и облака, гонимые этими ветрами, проливают свой дождь, не достигая плоских возвышенностей Перу и Боливии. От этого происходят засухи и неурожаи, и, однако, несмотря на эти неудобства, гражданственность сосредоточилась именно в Перу. Бразилия, лежащая к востоку от Перу, орошается величайшими реками в мире и может производить в беспредельном изобилии сахар, кофе, табак, пряности, красильные вещест-

ва и все, чего только человек может потребовать от тропической природы. Луга ее покрыты стадами буйволов и диких лошадей; драгоценные металлы лежат почти на самой поверхности земли. Кажется, людям стоило бы только прийти и овладеть всеми этими сокровищами, а между тем весь неизмеримый бассейн Амазонской реки и ее громадных притоков до сих пор представляется сплошным девственным лесом. Ту же самую противоположность мы видим южнее, сравнивая гористую и населенную береговую полосу Чили с обширною, плодородною и почти нетронутою долиною Ла-Платы.

VI

В Англии с незапамятных времен были обработаны земли Корнваллиса, известные по своей сухости; почти каждый холм в этой стране представляет следы древних поселений. Теперь эти места считаются худшими землями и обыкновенно оставляются под выгоном. Во времена первых норманнских королей южный Ланкашир был покрыт болотами, в которых едва не увязло победоносное войско Вильгельма Завоевателя. Теперь на этих самых местах созревают богатые жатвы и пасутся стада породистого рогатого скота. Во времена Плантагенетов в Англии было множество лесов, в которых водились кабаны и волки; теперь на месте этих лесов мы находим пахотные земли, далеко превосходящие своим плодородием те участки, которые возделывались в древности и в средние века. В Шотландии следы древнего земледелия находятся на горах; теперешним жителям кажется до такой степени неправдоподобным возделывание таких местностей людьми, что они называют эти следы пашнями эльфов. В средние века житницею Шотландии называлась тощая полоса земли, к которой хлебопашцы наших времен чувствуют весьма незначительное уважение. Напротив того, лучшие теперешние фермы Шотландии лежат на бывших болотах времен Елизаветы и Марии Стюарт. В средние века Оркнейские острова имели очень важное значение, которое совершенно утратилось теперь. Они были однажды заложены какому-то норвежскому королю в обеспечение такой значительной денежной суммы, за которую их теперь нельзя было бы продать, если бы даже покупателю вместе с верховным господством

предоставлялось право собственности над землею. Оркнейские острова могли быть так дороги только потому, что лучшие земли оставались недоступными для земледельцев. Теперь обитатели этих островов живут очень бедно, но мы не имеем основания думать, что уровень их благосостояния понизился со времени средних веков. Что считалось богатством тогда, то покажется бедностью теперь, точно так же как богатство дикаря для цивилизованного человека может быть крайнею степенью нищеты.

В Галлии времен Юлия Цезаря сильнейшие племена галлов: арверны, эдуи и секваны,— жили по склонам Альпийских гор. В их землях возникли богатые торговые города, а в настоящее время эти самые земли лишены дорог, и путник, попавший в эту глушь, принужден перебираться через горные потоки по переброшенным бревнам, а еще чаще по камням, положенным в воду в некотором расстоянии друг от друга. В таком положении находится территория «le Morvan», занимающая до полутораста квадратных лье и представляющая местами сохранившиеся следы отличных военных дорог. Вообще остатки древней цивилизации находятся именно в самых диких и бедных захолустьях современной Франции: в Бретани, в Оверни, в Лимузене, в Севенских горах и на склонах Альпов. Все значительные города, известные в истории Капетингов, Людовика Святого, Филиппа-Августа,— Шалон, Сен-Кантен, Суассон, Реймс, Труа, Нанси, Орлеан, Бурж, Дижон, Вьеннь, Ним, Тулуза, Кагор — все построены на высоких местностях, недалеко от истоков больших рек или на возвышенностях, составляющих водоразделы. Многие из лучших земель Франции до сих пор не обработаны, и «Journal des Economistes» в 1855 г. обращает внимание правительства на необходимость осушить болотистые местности.

В Бельгии тощие земли Лимбурга и Люксембурга обработывались с незапамятных времен, а тучная Фландрия до седьмого столетия нашей эры оставалась пустынею. В Голландии первенство между отдельными провинциями принадлежало узкой и песчаной полосе земли, лежавшей между Утрехтом и морем. Эта провинция называлась Голландиею, и преобладание ее достаточно выражается уже в том обстоятельстве, что она дала свое имя всей стране.

Предания скандинавского племени выводят обитателей Скандинавского полуострова с юга и указывают их

первобытную родину на берегах Дона. Мы видим, таким образом, что целый народ уходит с богатой почвы южной России, не останавливается на тучных равнинах средней и северной Германии, отыскивает себе за морем новую отчизну и на этой бедной земле выбирает себе для поселений самые гористые и тощие местности. Это последнее обстоятельство доказывается тем, что следы древнейших жилищ в Скандинавии, как и в Шотландии, находятся на возвышенностях.

Славянские племена, заселившие Россию, в песнях своих вспоминают о южном происхождении своем с берегов Дуная. Первые проявления гражданственности в нашем отечестве находим мы на берегах Волхова и Ильменя, в суровом климате, на тощей почве. Киев является преимущественно военною стоянкою князей; народная жизнь уходит на север и северо-восток, держится в Новгороде и Пскове, проявляется в Суздале и Владимире, производит колонизацию Вятки и разбрасывается по берегам Белого моря. В настоящее время северные части России, за исключением тех крайних оконечностей, в которых холод губит всякую растительность, оказываются более населенными и лучше возделанными, чем роскошные степи Новороссийского края. По верному замечанию Тенгоборского[5], Псковская губерния занимает девятое место по относительному количеству пахотной земли и в этом отношении стоит гораздо выше губерний Подольской, Саратовской и Волынской, которые, конечно, далеко превосходят ее плодородием почвы.

В нынешней Венгрии сподвижники Аттилы основали свои первые поселения на песчаной равнине, лежащей между Тиссою и Дунаем; потомки их до сих пор держатся на этих бесплодных местах, оставляя необработанными и неосушенными богатые земли, простирающиеся за Тиссою.

В Италии Самнитские холмы и высокая Этрурия были уже обработаны, а Веии и Альба-Лонга[6] считались уже могущественными городами, когда при низовьях Тибра еще не возникало бедное поселение товарищей Ромула. Возвышенности Цизальпинской Галлии[7] были заняты в древности, а лагуны адриатического прибрежья, на которых стоит Венеция, заселены только в начале средних веков. В Корсике хижины жителей разбросаны по горам, а почва долин, способная производить табак, сахарный тростник, хлопчатник и даже индиго, лежит нетронутая.

То же самое мы видим в Сардинии, на Балеарских островах и в Сицилии.

В Древней Греции обработка земли началась в гористой Аркадии и в сухой Аттике гораздо раньше, чем в тучной Виотии[8] Фокеяне, локры и этолийцы теснились на скалистых возвышенностях, между тем как рядом с ними лежали слабо заселенные богатые равнины Фессалии и Фракии.

Египетская цивилизация возникает в верхних частях Нила, и первою столицею ее являются Фивы; оттуда она спускается вниз по течению, к Мемфису, и, наконец, уже гораздо позднее захватывает плодородную дельту Нила, на которой построена Александрия.

Столица Абиссинии лежит на высоте 8000 футов над поверхностью моря, а долины не заселены.

В Ост-Индии дельты Инда и Ганга покрыты непроходимыми лесами, и почти все долины больших рек остаются в первобытном состоянии, а между тем по склонам гор туземцы выбиваются из сил, чтобы добыть себе в день горсть рису или в месяц две рупии заработной платы. На Цейлоне и на Яве жители боятся и тщательно обходят тучную почву долин, в которых рядом с могучею растительностью развиваются губительные миазмы.

Вся эта груда набросанных фактов, взятых из всех частей света, под всеми широтами, из настоящего и из прошедшего, у народов, стоящих на самых различных ступенях умственного и общественного развития, самым блестящим образом доказывает с разных сторон непреложность одного общего закона. Человек постоянно переходит от худшего к лучшему, от бедной почвы к богатой, точно так же как он переходит от острой раковины к железному и стальному ножу, от обожженного кола к плугу, от пещеры к каменному дому, от лука к штуцеру, от звериной кожи к сукну и бархату. Для того чтобы переход этот совершался, необходимо только предоставить свободу естественным отправлениям человеческого организма. Человеку вместе со всеми другими животными свойственно стремление размножаться, и мы видим действительно, что размножение людей составляет непременное условие всякого прогресса. Человеку свойственно искать сближения с другими людьми, и оказывается на самом деле, что только соединенные человеческие силы могут успешно бороться с природою. Человеку свойственно искать себе материальных удобств, и мы за-

мечаем везде и всегда, что чем усерднее он их ищет, т. е. чем сильнее он работает мозгом и мускулами, тем быстрее улучшается его положение. Каждая потребность человека может найти себе удовлетворение, и чем полнее она будет удовлетворяться, тем больше будет оказываться средств удовлетворять ей в будущем. Но из этого никак не следует выводить то лестное заключение, что потребности человека действительно удовлетворяются всегда и везде. На земном шаре существует множество различных организмов, которые все могут жить и развиваться в свойственной им обстановке; но каждый из этих организмов может быть искусственно поставлен в такое положение, при котором он или зачахнет, или разрушится. Положите рыбу на берег, бросьте птицу в воду, заприте в одно стойло лошадь, а в другое кошку и положите перед первою пуд сырого мяса, а перед второй меру овса, и вы увидите, что четыре организма будут разрушены — первые очень быстро, последние довольно медленно. Если бы нашелся такой проказник, который мог бы перетасовать таким образом все существующие организмы, то в короткое время весь земной шар покрылся бы трупами, чего нельзя было бы приписать простому действию законов природы, потому что комбинации, производящие такой поразительный coup de théâtre[9], составляют только игривое проявление единичной воли.

Разрушить произвольным вмешательством всю органическую жизнь на земном шаре невозможно, но повредить в какой-нибудь отдельной стране правильному развитию человеческого труда вовсе не трудно: для этого не требуется даже злонамеренности,— одно незнание производит искусственные комбинации в междучеловеческих и общественных отношениях; при таких комбинациях удовлетворение многих человеческих потребностей становится невозможным, и самое существование таких потребностей делается источником страданий и приводит к погибели, точно так же как потребность дышать губит птицу, погруженную в воду, или потребность принимать пищу — кошку, находящуюся tête-à-tête[10] с мерою овса. Очевидно, что тут виновата не потребность, а уродливая комбинация. Каждая из европейских наций прошла через множество подобных комбинаций, но натура человека так крепка и эластична и естественное течение событий настолько сильнее ошибочных расчетов и произвольных распоряжений, что, несмотря на все исторические несча-

стия, мы все-таки замечаем в передовых странах Европы постоянное возрастание народонаселения, постоянное улучшение технических приемов и вследствие того постоянное стремление к переходу от тощей почвы к более плодородной. Но в некоторых землях враждебные влияния были до такой степени сильны, что они превозмогали действие естественных стремлений человека: народонаселение убывало, материальное довольство уменьшалось, техническая ловкость и изобретательность терялась, и человек покидал богатую почву, чтобы снова добывать себе скудное пропитание на тощих и сухих землях. Войны, порабощение труда и разные видоизменения административного произвола составляют главные причины таких печальных явлений. Так опустели Греция и Италия в последние годы римской республики и во время империи. Так пустеет теперь Турция, заключающая в себе плодороднейшие земли Европы и Азии и между тем населенная таким народом, который едва успевает предохранять себя от голодной смерти. Богатая Буюкдерская долина, расстилающаяся у самых ворот Константинополя, не обработывается, так что в столицу привозится хлеб с холмов, лежащих за сорок и за пятьдесят миль. Земли, орошаемые нижним течением Дуная, давали богатые жатвы во времена римского владычества, а теперь на них пасутся малочисленные стада свиней, которых пастухи находятся в самом жалком положении. Такие же картины запущения попадаются путешественнику в Малой Азии, в Сирии, по берегам Тигра и Евфрата — в тех местах, где процветала греческая цивилизация, и там, где земля кипела молоком и медом. Все это произведено отчасти военными опустошениями былых времен, отчасти такою системою управления, которая не обеспечивает ни личности, ни собственности, отчасти тем обстоятельством, что Турция, как чисто земледельческое государство, вывозит постоянно свои сырые продукты на далекие рынки, постоянно истощает свою почву и, следовательно, проживая таким образом свой капитал, с каждым годом становится беднее и слабее.

Южные, рабовладельческие штаты Америки находятся почти в таком же положении. Вся нижняя Виргиния покрыта развалинами оставленных плантаторских домов; поля заброшены и поросли вереском и кустарником; хозяева принуждены искать новых земель, и так как расчистка и осушение богатой почвы им не по силам, то они,

естественным образом, разработывают сухие вершины холмов. Здесь этот упадок земледелия произведен двумя причинами, тесно связанными между собою: постоянным вывозом сырых продуктов, истощающим землю, и рабством, обусловливающим собою хозяйственную рутину. Сырые продукты вывозились в Англию оттого, что не было мануфактур на месте, а мануфактур не было оттого, что не было предприимчивости, а предприимчивость немыслима в такой стране, где большинство жителей работает из-под палки, а меньшинство без малейшего труда проживает доходы. Следовательно, рабство и истощение почвы образуют такой заколдованный круг, из которого южные штаты никак не умеют вырваться.

VII

Если бы нельзя было осязательно доказать, что земледелие возникает на возвышенностях и уже впоследствии спускается в долины, то идея о возможности прогресса, составляющая краеугольный камень разумного миросозерцания, в научном отношении могла бы занять место рядом с теориями старух о близости светопреставления. На первый взгляд такое положение кажется нелепым, но первое впечатление здесь, как и во многих других случаях, оказывается ошибочным. Тучная почва всегда находится в долинах и низменностях, потому что каждый ливень смывает с высоких мест частицы почвы и несет их мутными потоками дождевой воды в низкие места, где эти частицы осаждаются по естественному действию тяжести. Если бы первобытные поселенцы могли разработать тучную почву и если бы размножающееся потомство этих поселенцев было принуждено мало-помалу распахивать тощие земли, то, очевидно, труд последних с каждым годом стал бы получать более скудное вознаграждение; чем больше нарождалось бы людей, тем дальше пришлось бы земледельцам забираться на сухие холмы; ценою постоянно возрастающих усилий пришлось бы добывать постоянно уменьшающееся количество пищи и других сырых материалов. При таком положении дел всякое приращение народонаселения было бы злом, потому что оно вело бы за собою постоянно увеличение бедности. Некогда было бы придумывать технические усовершенствования, потому что все время жителей уходило бы на заботы о куске

хлеба, и все эти заботы все-таки не могли бы предохранить их от частых посещений голода; кроме того, всякие технические усовершенствования были бы бесполезны, если бы не увеличивалось количество сырых материалов, которое в конце концов всегда служит настоящим мерилом богатства. О прогрессе нечего было бы и думать; нищета, голод, заразительные болезни составляли бы естественную судьбу человечества и поражали бы каждое последующее поколение сильнее, чем предыдущее; перед такою перспективою самый неукротимый идеалист сложит оружие и сознается, что о нравственном и умственном совершенствовании приходится отложить попечение.

Существует, однако, целая школа ученых мужей, которые, не считая себя неукротимыми идеалистами, полагают, что есть возможность помирить идею прогресса с враждебным воззрением на возрастание народонаселения. Дело идет о многочисленных последователях слишком знаменитых учителей Мальтуса и Рикардо. Теория Мальтуса состоит, как известно, в том, что люди плодятся в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16, 32), в то самое время как предметы, употребляющиеся в пищу, размножаются в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5, 6). Через такую неравномерность размножения происходит для людей недостаток пищи, нищета, голод, болезни — одним словом, все те бедствия, от которых страдает гарнизон осажденной крепости. По мнению Мальтуса, Англия уже дошла до такого бедственного положения, и причины пауперизма и развивающихся из него страданий и преступлений заключаются именно в излишке народонаселения. Идеи Рикардо относятся к заселению земли. Он утверждает, что первые поселенцы захватили лучшие земли, потому что они имели полную свободу выбора; последующим поколениям пришлось довольствоваться тем, что осталось, или платить наследникам первых собственников известное количество продукта за пользование лучшими, уже захваченными землями. Так объясняется происхождение поземельной ренты. Обе теории составлены в рабочем кабинете, за письменным столом, за которым можно составить какие угодно проекты, выкладки, комбинации и доктрины. Обе теории носят на себе печать тех счастливых времен, когда можно было тасовать и раскладывать в голове и на бумаге разные мысли о природе и человеке, не обращая никакого внимания ни

на законы и явления природы, ни на свидетельства истории и ежедневного опыта.

В подобных выкладках и человек и природа являются только как отвлеченные понятия и показывают исследователю только ту, часто даже несуществующую сторону, которую ему угодно принимать в соображение. Рикардо говорит, что первые поселенцы, *конечно,* выбрали лучшую землю. Тут, очевидно, берутся отвлеченные поселенцы и отвлеченная земля. В «лучшей земле» принимается в соображение только та сторона, что она может давать много хлеба. В «первых поселенцах» берется в расчет только то свойство, что они имеют глаза и могут сделать выбор. Но что лучшая земля, именно потому, что она лучшая, должна была непременно зарасти лесом или покрыться лужами стоячей воды, об этом Рикардо не думает. Что первый поселенец, именно потому, что он первый, должен был располагать очень плохими орудиями и очень слабыми техническими сведениями, этого Рикардо также не соображает. Между тем мы видели, что именно эти непризнанные свойства земли и человека везде мешали одинокому колонисту захватить те участки, которые могли давать ему обильные урожаи. Мы видели также, насколько исторические факты находятся в согласии с идеями Рикардо, который, очевидно, дошел до своих заключений только потому, что соблазнился внешнею логичностью своих кабинетных соображений. Оригинально также то обстоятельство, что существование поземельной ренты в Англии, в которой землевладельцы ведут свои права от норманнских завоевателей и феодальных баронов, приводится в связь с каким-то идеальным заселением земли.

Такие логические и исторические salto mortale [11] неизбежны в тех случаях, когда писатель, насилуя свою совесть и закрывая глаза и уши, старается во что бы то ни стало узаконить и оправдать некрасивые явления современной действительности. Гадания Мальтуса о размножении людей вытекают из того же мутного источника и, подобно рассуждениям Рикардо, не имеют ни малейшего научного основания. Так называемый Мальтусов закон много раз подвергался разрушительной критике мыслителей, имеющих здравые понятия об условиях народного благосостояния. Года три тому назад общая несостоятельность и отдельные промахи этой теории были доказаны очень основательно Чернышевским в его примечаниях

и дополнениях к переводу политической экономии Милля[12]. Не желая повторять приводимых там аргументов, я обрисую здесь только мертвящий взгляд Мальтуса и его последователей на жизнь природы и на деятельность человека.

Земля и ее производительные силы представляются Мальтусу сундуком, наполненным деньгами: если, рассуждает он, пять человек разделят между собою эти деньги, то каждому достанется одна пятая; если десять человек разделят их, то каждому достанется вдвое меньше, чем в первом случае, если двадцать — вчетверо меньше и т. д. Из этого очевидно следует заключение, что чем меньше будет людей, предъявляющих свои притязания на деньги, тем богаче будут те, которые разделят содержание сундука. Мальтус допускает, правда, что производительные силы земли могут увеличиваться, но и сумма денег может увеличиться, если ее положат в банк. Мальтус вычисляет возрастание в количестве продуктов так же определительно, как можно было бы высчитать проценты с известного денежного капитала. Разумеется, в сочинениях Мальтуса не встречается сравнения земли с сундуком, но везде выражается стремление смотреть на производительные силы природы как на мертвую массу, которую можно измерить футами и свесить фунтами. В человеческом труде он также видит механическое приложение мускульной силы и совершенно забывает деятельность мозга, постоянно одерживающую победы над физической природою и постоянно открывающую в ней новые свойства.

Такой взгляд в отношении к природе радикально неверен, а в отношении к человеку совершенно односторонен и, следовательно, также несостоятелен. Вся жизнь природы на нашей планете представляется мыслящему наблюдателю вечным круговращением, не останавливающимся ни на одну миллионную долю секунды. В это круговращение вовлечены и атмосфера, и вода, и минеральные частицы, и все организмы, от инфузории до кита и от плесени до человека. Растения составляют свои корни, стебли, листья, цветы и плоды из минеральных частиц и из углекислоты, поглощаемой ими из атмосферного воздуха. Эту углекислоту они разлагают и, удерживая углерод, выбрасывают назад кислород посредством выдыхания. Кроме того, они поглощают воду из почвы, а водяные пары из воздуха. Растения служат посредствующим

звеном между газами атмосферы и минеральным составом земной коры, с одной стороны, и травоядными животными организмами, с другой стороны. Травоядные животные нуждаются в пище; для поддержания жизни им необходимы именно те элементы, которые заключаются частью в атмосферном воздухе, частью в минералах; крахмал и клейковина растительных веществ состоят преимущественно: первый — из водорода, кислорода и углерода, вторая — из тех же трех элементов с прибавкою четвертого, азота. Но травоядное животное может питаться крахмалом и клейковиною, а четырьмя названными газами питаться не может. Ему необходимо, чтобы составные элементы его пищи были приведены растением именно в ту форму, в какой они могут быть восприняты и усвоены его организмом. Работа, которую растение производит для травоядного, совершается потом травоядным для плотоядного. Растение питается газами и минералами, коза съедает растение, козу съедает волк; потом волк издыхает и снова возвращает земле все составные части, которые были взяты им напрокат и которыми тотчас же может питаться новое растение. И волк, и коза, и прежнее растение при жизни своей постоянно отдавали в общую экономию природы большую часть поглощаемой материи; растение постоянно выделяло кислород, а коза и волк выдыхали углекислоту; растение однолетнее, съеденное в цвете лет козою, не могло непосредственно отдать земле своих твердых составных частей, но многолетнее растение каждый год роняет листья; коза и волк постоянно выделяли твердые вещества в испражнениях и в виде выпадающих волос. Все это опять попадало в общий круговорот.

Человек, конечно, участвует в этом круговороте так же невольно и так же бессознательно, как коза и волк; но этим роль его не ограничивается. Он поглощает и выделяет известные количества материи, но, кроме того, он еще сознательным вмешательством своим ускоряет и направляет некоторые струйки кругового течения. Такое вмешательство начинается на самых низших ступенях умственного и общественного развития. Человек разводит огонь, и уже это простейшее действие ускоряет круговорот в одном крошечном уголке нашей планеты. Дерево в этом случае быстро разлагается на свои составные части; дым уносится ветром и вступает тотчас же в разные комбинации, а зола остается на земле и втягивается также

и общее движение. Все это произошло бы и в том случае, если бы сожженные сучья спокойно сгнили от сырого воздуха, но произошло бы гораздо медленнее; стало быть, влияние человека выразилось в ускорении движения. Я считаю это специфическим влиянием человека, потому что ближайшее к человеку животное, обезьяна, не умеет не только развести, но даже поддержать огонь. Когда человек занимается скотоводством и заботится о доставлении корма своим коровам, он очевидно ускоряет круговращение и сам пользуется результатами этого ускорения. Корова сама отыскивала себе пищу, но не так скоро или не столько, сколько нужно, или не такого качества. Вмешательство человека производит здесь ускорение круговращения, которое выражается в том, что корова жиреет и дает больше молока. Но если бы корова зимою стала искать себе пищи, она бы не нашла ее; круговращение продолжалось бы своим чередом, значительная часть тканей коровы была бы вовлечена в это вечное круговращение, и корова околела бы. Здесь уже вмешательство человека, доставляющего корове пищу, не только ускоряет, но и направляет струйку кругообращения так, как того требуют человеческие выгоды и соображения. Занимаясь земледелием, человек постоянно ускоряет круговращение; он старается на известном пространстве земли собрать все условия, содействующие быстрому превращению минеральных частиц и газов в различные части известных растений; для этого он проводит борозды по земле, кладет на эту землю разлагающиеся вещества, бросает семена, покрывает их слоем земли, и, конечно, всякий посторонний зритель отличит с первого взгляда ниву, обработанную и засеянную человеком, от участка земли, на котором из случайно попавших хлебных зерен выросли кое-где колосья. Круговращение на обработанной ниве усилено и направлено сообразно с выгодами человека, и человек пользуется плодами своего вмешательства.

Человек не может прибавить ни одного атома к массе существующей материи, но в этом он и не нуждается. Для него важны формы, которые принимает на себя материя, и комбинации, в которые вступают между собою простые элементы; а создавать и разрушать формы и комбинации значит именно ускорять и направлять круговращение. На это у человека есть множество средств, и число этих средств постоянно увеличивается, потому что человек постоянно узнает новые свойства и тайны природы.

Что же касается до сырого материала, из которого человеку приходится лепить необходимые ему комбинации, то количество его неизмеримо велико. Одним из важнейших материалов мы должны признать атмосферный воздух и плавающие в нем газы; воздуха у нас достаточно; над землею лежит слой атмосферы в семьдесят верст толщиною; другой важный материал заключается в различных минералах, — тоже недостатка не предвидится: вся земная кора к нашим услугам, а толщина этой коры, по мнению одних геологов, заключает в себе *пятьдесят*, а по мнению других — *двести* миль; третий материал — вода; воды довольно: все океаны, моря, реки, вместе взятые, могут покрыть всю сушу; если разровнять все горы и долины материков и побросать массы твердой земли в самые глубокие места морей, так, чтобы выровнялись все неровности морского дна, то образуется на земном шаре сплошная масса воды в 1100 футов глубины.

Надо припомнить, кроме того, что ни одна песчинка, ни одна капля воды, ни один атом газа не пропадает, не отрывается от земного шара, не улетучивается в мировое пространство. Громадный капитал, из которого не теряется ни одна полушка, конечно, должен быть признан неистребимым капиталом. А пока существуют газы, минералы и вода, до тех пор совершенно обеспечено существование растений, следовательно, и травоядным нечего бояться, следовательно, и плотоядные и человек не останутся внакладе. На земле теперь существует бесчисленное множество растений, но их число может еще увеличиться в бесконечное число раз, потому что на созидание растений пущена в оборот только крайне незначительная часть всего капитала, состоящего из совокупности всех газов, минералов и вод. Растения действительно завоевывают мало-помалу такие места, которые прежде состояли из голого камня. Процесс такого завоевания описан у Шлейдена в его книге «Die Pflanze»[13] На вершине Брокена, на голом граните, открыто микроскопическое растение, которое невооруженному глазу представляется в виде тончайших красноватых пылинок; если потереть кусок гранита, поросший миллионами растений, то они издают фиалковый запах; это растение питается исключительно дождевыми каплями, растворившими в себе аммониак и углекислоту. Оно готовит почву для более крупных лишаев темного цвета, называемых стигийским и фолунским; за лишаями идут мхи, потом дерн, трава, можжевельник

и, наконец, сосна. А под этими растениями гранит уже не тот, что был прежде; он разрыхляется, разлагается и втягивается мало-помалу в круговращение. Что на брокенском граните делает сама природа, то делает на полях своих человек, когда он взрывает плугом глубокие слои почвы и втягивает в круговорот мергель, лежавший мертвым капиталом под песком, или известь, лежавшую таким же образом под глиною. Чем больше миллионов людей работает плугом на полях, тем большее количество мергеля и извести вовлекается в круговое течение; чем больше десятков тысяч людей работает в кузницах и на фабриках, тем больше хороших орудий и хорошей одежды получают предыдущие миллионы; чем больше сотен людей работает в химических лабораториях, тем больше открывается новых средств втягивать в круговорот массы мертвого капитала. Не Либих, не Берцелиус, не Дэви, не Лавуазье создали химию; ее создали умственные и материальные потребности масс, реальное и практическое направление нашего времени; умные люди были и в средние века, но они писали теологические трактаты или картины; это было очень похвально, но от этого не прибавилось на земле ни одного зерна хлеба. Когда население разрослось, когда люди плотнее сдвинулись между собой, когда начался живой обмен мыслей, тогда массы почувствовали свои потребности и выдвинули вперед своих гениальных детей, которые сделались детьми-работниками в великой мастерской природы, а не праздными вздыхателями в храмах науки и искусства. Такое движение не могло бы произойти без возрастания народонаселения. Только в одном случае вмешательство человека ослабляет производительные силы природы; это происходит тогда, когда человек вывозит сырые продукты земли на далекие рынки и, таким образом, постоянно отнимая у земли известные составные части, не возвращает ей взамен никакого удобрения. А такой образ действий возможен только в тех местах, где мало людей и где вследствие этого нет промышленного движения. Если бы было много людей, явилась бы по необходимости предприимчивость, выросли бы фабрики, сырые продукты стали бы переработываться и поглощаться на месте, остатки переработанных продуктов давали бы богатое удобрение, и почва, вместо того чтобы истощаться, постоянно становилась бы плодороднее.

Выходит, стало быть, как раз противное тому, что утверждал Мальтус. Бедность происходит от малолюдства; если же бедность существует иногда вместе с многолюдством, то в таком случае надо искать причин бедности в ненормальной организации труда, а никак не в многолюдстве. Многолюдство есть обилие сил; если что-нибудь мешает приложению этих сил, то виновато, конечно, препятствие, а не существование сил. Исторические факты доказывают самым наглядным образом, что люди вовсе не размножаются быстрее, чем предметы пищи. Во Франции в 1760 г. было 21 000 000 жителей и на каждого человека по 450 литров различного хлеба; в 1840 г. жителей было 34 000 000, а хлеба приходилось на каждого по 541 литру; да кроме того были введены в употребление картофель и различные овощи, которые в 1760 г. не были известны в народном хозяйстве; картофеля и овощей получалось в 1840 г. по 291 литру на человека; стало быть, всего питательного продукта добывалось на человека по 832 литра. Число жителей увеличилось только на 60 процентов, а количество пищи утроилось, так что Мальтус и его закон на этот случай оказались непригодными. Надобно притом заметить, что Франция вовсе не похожа на образцовую ферму и что ее земледелие чрезвычайно далеко даже от той степени совершенства, которая возможна при теперешнем состоянии агрономической науки, а агрономическая наука, в свою очередь, далеко еще не воспользовалась всеми указаниями и открытиями современной химии, а химия опять-таки вовсе не находится в законченном состоянии; множество вопросов решается, множество стоит на очереди, и бесчисленное множество вопросов еще не поставлено, потому что к ним и подойти невозможно при теперешних средствах науки. Следовательно, в настоящее время делать какие-нибудь выводы о производительных силах природы и о будущих успехах человека — значило бы только обнаруживать ту близорукость и заносчивость, которые всегда свойственны самолюбивому невежеству.

Любопытно заметить в заключение этой длинной главы, что школа Мальтуса не отказывается от возможности прогресса. Последователи Мальтуса полагают, что люди должны только употреблять в отношении к себе моральное стеснение (moral restraint) и воздерживаться от излишнего деторождения. Рикардо думает, что рабочие должны получать такую плату, которая позволила бы им

существовать не размножаясь и не уменьшаясь. Милль, тот самый Джон-Стюарт Милль, которого так уважают все наши разноцветные публицисты, говорит, что многочисленное семейство пролетария должно возбуждать в нас к отцу этого семейства такое же отвращение и презрение, какое возбудило бы безобразное пьянство. Ратуя за женщину и доказывая необходимость женского труда, Милль особенно напирает на то соображение, что труд в значительной степени отвлечет женщину от деторождения. Наконец, в своей знаменитой книге «О свободе» («On liberty») Милль признает за государством право запрещать, по своему благоусмотрению, браки между людьми необеспеченных классов. Тут уж не знаешь, чем больше восхищаться: гуманностью ли или дальновидностью подобной идеи. Я посмотрю на нее с точки зрения дальновидности. Ну, прекрасно: государство запретило браки; тогда начинают рождаться дети вне брака у таких родителей, которым детей иметь не позволяется; чтобы быть последовательным, государство назначает за незаконные рождения уголовные наказания; тогда начинаются вытравливания зародышей и детоубийства; государство казнит преступников и преступниц. Так или иначе задушевное желание Милля исполнено: возрастание населения приостановлено. Кто потрусливее, тот воздержится посредством «moral restraint», а кто построптивее, того обуздает палач. Казни будут происходить каждый день, но что за беда? Великая цель достигнута, и прогресс человечества обеспечен. Я удивляюсь только, как это Миллю не пришло в голову подать государству следующий мудрый совет: пусть государство само назначает, сколько новорожденных младенцев мужского пола могут со временем пользоваться своими половыми способностями; затем, пусть остальные будут лишены этих антипрогрессивных способностей. При теперешнем состоянии хирургии такое лишение может быть совершено без малейшей опасности для жизни, и малютки вырастут, сохраняя на всю жизнь превосходный сопрано и не жалея о своей утрате. При таком образе действий государство всегда может сохранить контроль над размножением людей, а лорды и капиталисты, в пользу которых конфискуются половые способности пролетариев, могут с полною беспечностью наслаждаться своими замками, виллами, парками, миллионами, законными супругами и балетными танцовщицами.

VIII

Одинокий поселенец находился на своем богатом острове в положении Тантала; деревья девственного леса были усыпаны птицами, которые могли доставить ему превосходное жаркое; из чащи выскакивали поминутно зайцы и дикие козы, от которых не отказался бы самый разборчивый гастроном; в прозрачной воде реки шевелились форели, лещи, щуки и разные другие очень аппетитные рыбы. Задача состояла только в том, чтобы взять в руки все эти летающие, бегающие и плавающие кушанья. Но именно в руки-то они и не давались; Робинзону приходилось пробавляться дикими плодами и с сокрушением размышлять о прелестях мясного и рыбного стола. Если ему удавалось, после долгих попыток и разочарований, убить метко пущенным камнем какого-нибудь кролика, то, конечно, он очень дорожил добычею; он придавал ей тем более ценности, чем значительнее были побежденные им препятствия. Чтобы набрать себе плодов, Робинзону надобно было ходить по лесу и взлезать на деревья в продолжение нескольких часов; чтобы убить камнем кролика, ему надобно было ходить, осматривать, подкарауливать, прицеливаться и промахиваться в продолжение нескольких дней. Понятно, что он дорожил убитым кроликом больше, чем несколькими десятками бананов или кокосовых орехов. Но Робинзон — человек догадливый: он придумывает устроить себе лук, и опыт убеждает его, что заостренные деревянные стрелы летят дальше и достигают цели вернее, чем камень, брошенный рукою. Кролики и птицы начинают делаться его добычею чаще, чем прежде; добывание животной пищи значительно облегчено, между тем как за бананами и за кокосовыми орехами по-прежнему приходится бродить по лесу и взлезать на деревья в продолжение нескольких часов. В прейскуранте Робинзона совершается переворот: кролики, сравнительно с плодами, дешевеют, а плоды, сравнительно с кроликами, становятся дороже. Когда Робинзон действовал камнем, он готов был дать за кролика сорок штук плодов; теперь, владея луком, он уже не даст больше тридцати. Но у него родилось неистовое желание отведать рыбы; за хорошего леща он с удовольствием дал бы две пары кроликов или сто двадцать штук плодов; изобретательность опять выручает его из затруднения; заостренная кость, тонкая жила и деревянная палка образуют перво-

бытную удочку; является рыба, и колонист наш скоро замечает, что поймать рыбу вовсе не так трудно, как ему казалось; ценность рыбы понижается, хороший лещ уравнивается в правах с кроликом, а потом, когда устройство удочки совершенствуется, то лещ даже становится ниже кролика. Но все эти передвижения на прейскуранте Робинзона клонятся к постоянному возвышению одной ценности, с которою Робинзон сознательно или бессознательно сравнивает все блага и удобства своей одинокой жизни. Это — ценность человеческого труда. С каждым новым изобретением или улучшением труд Робинзона становится более производительным. Вооруженный луком и удочкой, Робинзон в один день застрелит больше дичи и наловит больше рыбы, чем он прежде мог бы застрелить или наловить в неделю. Дичь и рыба подешевели, а труд вздорожал.

Так и должно быть. Всякая новая машина, всякое новое приложение к делу двигательных сил природы должны возвышать ценность человеческого труда, т. е. делать его более производительным и, следовательно, улучшать материальное и всякое другое положение трудящегося человека. Если в действительности выходит наоборот, если машины часто отбивают у работника хлеб или увеличивают его порабощение, то в этом, конечно, не следует винить изобретение. Изобретение само по себе хорошо; не хорошо то, что горсть людей конфискует это изобретение в свою пользу и превращает его в оружие для той глухой постоянной войны, которая ведется в обществе между почивающим на лаврах капиталистом и надрывающимся от работы пролетарием. Эта конфискация, эта война составляют, разумеется, болезненные уклонения от чистой природы труда, и поэтому рассмотрение и оценка этих явлений не относятся покуда к нашему предмету.

Робинзон на своем острове ни с кем не ведет войны и ни от кого не терпит обиды. Ценность его труда постоянно увеличивается, а ценность продуктов и составленных запасов так же постоянно уменьшается. Первый лук стоил Робинзону много труда; трудно было убить кролика; следовательно, трудно было достать ту жилку, из которой надо было сделать тетиву; когда первый лук устроен, то стреляние кроликов стало легче, стало быть, и добывание жил облегчилось; второй лук стоил меньше труда, чем первый, следовательно, и первый лук понизился в цене,

если только Робинзон не дорожил им как историческою реликвиею.

Так точно бывает и в действительной жизни. Каменный уголь облегчает добывание железа и понижает его ценность; увеличившееся количество подешевевших железных орудий облегчает добывание каменного угля и, следовательно, также понижает ценность последнего. Оказывается, что каменный уголь сам понизил свою ценность, точно так же как первый лук Робинзона сам себя понизил в цене. При всех этих понижениях возвышается ценность человеческого труда и увеличивается могущество человека над окружающею природою. Ценность предмета определяется, таким образом, не тем количеством труда, которое было употреблено на его произведение, а тем, которое необходимо употребить для его воспроизведения. Если вы пятьдесят лет тому назад купили штуку сукна, то, как бы она хорошо ни сохранилась, вы никак не получите за нее тех денег, которые вы заплатили сами. В фабрикации сукна произведено много усовершенствований, понизивших цену этого продукта, и вы в самом лучшем случае можете получить за ваш товар только ту цену, по которой продается теперь сукно того же достоинства. Капитал Робинзона, состоящий в его удочке, в луке, челноке, топоре, хижине и разной грубой утвари, постоянно понижается в цене, но Робинзон от этого не беднеет, потому что он трудится, потому что труд его становится производительнее и потому что именно успешность и производительность его труда ведет за собою технические улучшения, понижающие ценность всех прежних накоплений. Лук, требовавший целых суток работы, может быть сделан в два часа; челнок, который прежде надо было долбить полгода, может быть сделан в два месяца; хижина, которую надо было городить целый год, может быть выстроена в четыре месяца.

Все эти перемены очевидно выгодны и приятны для Робинзона; он вырос, он стал сильнее, он покорил себе до некоторой степени природу, и потому его прежние подвиги кажутся ему незначительными и легкими, точно так же как взрослому человеку кажутся чрезвычайно простыми те самые арифметические задачи, которые приводили его в отчаяние в детстве. Но положим, что у Робинзона есть сосед, у которого был челнок в то время, когда у Робинзона челнока не было; сосед позволяет Робинзону пользоваться челноком и требует взамен три четверти то-

го количества рыбы, которое будет поймано при помощи челнока. Робинзон по необходимости соглашается и выполняет заключенное условие, а сосед между тем предается сладостному far niente[14] и питается трудами деятельного рыболова. Но Робинзон с свойственною ему сметливостью находит возможность кое-как выдолбить полусгнившее бревно; этот новый челнок плох, но на воде держится; на нем ездить очень неудобно, но Робинзон предпочитает пользоваться плохим челноком, чем платить за прокат хорошего три четверти своей добычи. Соседу приходится или сбавить цену, или расстаться с любезным бездействием. Сосед выбирает первое, и Робинзон платит за челнок уже не три четверти, а половину улова. Затем следует новое ухищрение Робинзона, и новая уступка со стороны соседа. Наконец Робинзону удается сделать точь-в-точь такой челнок, какой есть у соседа; тогда Робинзон привозит обратно челнок, взятый напрокат, и дружелюбно раскланивается с своим соседом, которому поневоле приходится от «беспечального созерцания» перейти к презренным заботам действительности. Капитал, дававший ему доход, растаял у него в руках. Каждое изобретение Робинзона, уменьшавшее крепостную зависимость последнего, было тяжелым ударом для благосостояния праздного обладателя челнока.

Тот факт, который представлен здесь в простейшем виде, повторяется в действительной жизни в самых больших размерах и с самыми разнообразными усложнениями. Труд постоянно стремится выбиться из-под контроля и господства капитала в тех землях, в которых человеческий ум не находится в бездействии. Рабочая плата постоянно растет, несмотря на все усилия капиталистов держать ее на самом узком уровне. В XIV столетии работник получал в неделю 7½ пенсов (около 11 копеек), а теперь он заработывает в тот же срок от 12 до 15 шиллингов (от 3 р. 60 к. сер<ебром> до 4 р. 50 к. с<еребром>). Драгоценные металлы, сравнительно с трудом, подешевели, таким образом, в 30—40 раз, и могущество обладателя денег над пролетарием уменьшилось в значительной степени. В XIV столетии, когда работник получал по 11 копеек в неделю, обладатель одного фунта серебра мог за пользование этим количеством металла брать с своего должника очень большие проценты, потому что приобрести фунт серебра в собственность можно было только полуторагодовым трудом; теперь никто не даст в Англии та-

ких процентов, потому что фунт серебра заработывается в две недели с небольшим. В настоящее время проценты очень высоки в самых бедных и чисто земледельческих странах, в которых труд дешев и работник находится в положении вьючного животного; по мере того как мы переходим в те земли, в которых существуют разнообразные приложения человеческого труда, мы замечаем, что труд становится дороже, человек самостоятельнее, возможность накопления значительнее, капиталы всякого рода обильнее и, следовательно, проценты ниже. Трудящееся большинство выигрывает от каждого уменьшения в могуществе капитала, и теряют только те паразиты, которые, живя процентами, поглощают произведения чужого труда. Эти люди всегда хлопочут о том, чтобы поработить труд, и потому об их волнениях и неудачах здравомыслящему человеку сокрушаться не следует.

IX

Оставляя в стороне Робинзона и его остров, читатель может в собственном своем кабинете, не вставая с места, отдать себе полный и ясный отчет в том, с какими предметами он связывает идею ценности. Он увидит прежде всего, что он окружен атмосферным воздухом, который для него необходим и которому он, однако, не придает никакой ценности. Днем он не придает никакой ценности солнечному свету, который, однако, чрезвычайно важен как для здоровья читателя, так и для его занятий. Летом теплота кабинета также не имеет никакой ценности. Но освещение комнаты посредством свечей, ламп или газа имеет ценность; отопление комнаты посредством дров или каменного угля также имеет свою очень определенную ценность, а между тем искусственное освещение хуже солнечного света, и натопленная комната составляет плохую замену теплого летнего воздуха.

Читатель поймет без труда, почему он придает ценность искусственному освещению и отоплению и не придает никакой ценности воздуху, солнечному свету и летней теплоте. Потому, ответит он сам себе, что воздух, свет и теплота доставляются природою в неограниченном количестве, в том самом виде, в котором мы ими пользуемся, и на то самое место, на котором мы в них нуждаемся. Если бы воздух не проникал в какой-нибудь тоннель,

го его надо было бы накачивать туда, и тогда за труд накачивания пришлось бы платить, и воздух получил бы ценность. Если солнечный свет не проникает в глубокую шахту, то в ней приходится работать с фонарями, и тогда свет даже во время дня имеет ценность. В монастыре св. Бернарда, на высоте 14 тысяч туазов[15], приходится топить камины круглый год, потому что природа даже во время лета не доставляет туда достаточного количества теплоты. Там теплота всегда имеет ценность. Рассудив таким образом, читатель решит немедленно, что он придает ценность дровам и свечам потому, что их приготовление и доставление на место стоит труда. Природа дает даром деревья и торф, из которого делаются парафиновые свечи; но дерево надо срубить, а торф надо добыть; потом срубленное дерево надо разрубить на мелкие части, а над торфом надо произвести разные химические и механические операции. Наконец, готовые дрова и готовые свечи надо перевести на место потребления. На перемену формы и на перемещение употреблен человеческий труд: за этот самый труд и придается известному предмету его ценность. Но необходимое количество человеческого труда изменяется, и это изменение выражается в изменении ценности. Читатель сидит на кресле, перед письменным столом, на котором лежат книги и письменные принадлежности. Чернила, стальные перья и бумага куплены неделю тому назад; с тех пор в фабрикации этих предметов не могло произойти усовершенствований, и новый комплект этих вещей стоил бы такого же количества труда и, следовательно, такой же суммы денег, какая заплачена за вещи моего читателя. Но мебель куплена лет десять тому назад; с тех пор столярное производство облегчилось и улучшилось введением новых приемов и инструментов; ценность кресла и письменного стола понизилась, потому что теперь можно сработать такие же вещи с меньшею тратою труда и времени; может быть, в денежном отношении кресла и письменные столы не подешевели, может быть, они даже вздорожали, но ценность предметов должна измеряться не деньгами, а трудом; если десять лет тому назад письменный стол делался одним работником в продолжение десяти дней и если теперь также один работник может сделать такой же стол в восемь дней, то ценность стола понизилась. Но если десять лет тому назад работник получал в день 70 к. с<еребром>, а теперь получает 90 к. с<еребром>, то стол,

сработанный десять лет тому назад, стоил 7 р. сер<ебром>, а стол такого же достоинства теперь будет стоить 7 р. 20 к. с<еребром>. Это значит, что труд возвысился в цене, как сравнительно с столами, так и сравнительно с деньгами, т. е. с драгоценными металлами; при этом ценность последних понизилась сильнее, чем ценность первых.

Если читатель, сидящий за своим письменным столом, сам человек трудящийся, то для него такая перемена выгодна и приятна. Он платит дороже прежнего столяру, портному и сапожнику, но зато и сам получает за свой труд большее количество денег и удобств. Если же мой читатель живет процентами с капитала, тогда, конечно, возрастающие претензии всякой чернорабочей сволочи должны казаться ему высоко безнравственными; но в этом случае он сам виноват: вольно же ему полагаться на мертвую кучу денег, вместо того чтобы искать себе опоры в живых силах собственных мускулов и собственного мозга. Рассматривая свои книги, читатель замечает, что каждая из них представляет сумму нескольких сложных операций. Прежде всего он видит умственный труд автора, затем перед ним рисуются фабрикация бумаги, добывание металла, из которого отливается шрифт, отливка шрифта, работа наборщиков, отпечатание набранных полос, корректура, брошюрование листов и переплетная работа. Облегчение какой-нибудь одной из этих операций отражается на ценности книги. Чем больше операций и чем они сложнее, тем больше оснований предполагать, что общая ценность продукта должна быстро понижаться, потому что тем больше есть шансов для отдельных технических усовершенствований. Химик открывает такой состав, которым удешевляется беление бумаги; ценность бумаги понижается, и вместе с этим понижается ценность книги. Железная дорога уменьшает издержки на перевозку тряпок, идущих на фабрикацию бумаги,— опять понижение. Применение пара к выделке бумаги дает фабриканту возможность производить стопы бумаги в то время, в которое прежде он производил только дести[16]. Пар применяется к отливанию шрифта; пар приводит в движение скоропечатную машину и оттискивает тысячи листов в час, между тем как машина, приводившаяся в действие руками, оттискивала в час только сотни листов. Читатель может себе представить, как совокупность таких колоссальных усовершенствований дол-

жна отразиться на ценности окончательного продукта, т. е. книги. Экземпляр сочинений Шекспира или Мильтона лет пятьдесят тому назад изображал собою неделю человеческого труда, а теперь он может быть воспроизведен работою одного дня.

Читатель встречает здесь имена английских писателей потому, что Англии и Америке принадлежит пальма первенства в деле технических усовершенствований всякого рода. Если читатель перенесет вопрос на русскую почву, то он, конечно, увидит, что мы ничего не усовершенствовали самостоятельно, даже мало переняли у передовых народов; следовательно, ценность русских книг в последнее полустолетие понизилась не так значительно.

Из всех размышлений, предпринятых читателем в его кабинете, он может вывести то плодотворное заключение, что ценность каждого из окружающих его предметов равняется тому количеству труда, которое необходимо для его воспроизведения. Это необходимое количество труда уменьшается с каждым усовершенствованием в производстве, и, следовательно, ценность всех продуктов стремится к постоянному понижению, которое совершается быстро или медленно, смотря по тому, быстро или медленно совершенствуются различные отрасли производительного труда. Читатель увидит, что результаты, добытые им в кабинете, остаются в полной силе, как бы мы ни расширяли поле нашего исследования и в каких бы сложных комбинациях ни представлялся нам вопрос о ценности различных угодий и предметов. Ценность обработанной земли подчиняется тому же общему закону. Земля сама по себе не имеет никакой ценности, точно так же как воздух, солнечный свет, теплота, электричество, ветер и всякие другие силы природы. Если бы кому-нибудь принадлежали миллионы десятин земли в Скалистых горах Северной Америки, в девственных лесах Бразилии или в пустынных равнинах нашей Сибири, то этот счастливый собственник не мог бы получить с своей земли ни копейки дохода. Между тем в Англии или во Франции каждый квадратный аршин земли имеет свою ценность и может приносить доход, несмотря на то, что по качеству английская или французская земля гораздо хуже бразильской. Вся разница между Англиею и Бразилиею заключается в том, что в Англии с незапамятных времен потрачено многими десятками поколений неизмеримое количество труда и что весь труд этот положен в землю,

как в огромную сберегательную кассу. Труд человека вырубил леса, осушил болота, насыпал плотины, провел дороги, основал деревни и города, построил школы, больницы, запасные магазины, превратил деревья в корабли и сделал тысячи других операций, вследствие которых дикая пустыня сделалась жилищем многочисленного и деятельного народа. Если бы вдруг можно было отнять от Англии всю массу потраченного на нее человеческого труда, если бы в одно мгновение ее можно было превратить в Англию доисторических времен, то наверное девять десятых ее жителей погибли бы в самом непродолжительном времени, а остальная десятая часть с ужасом бежала бы на континент. Англия опустела бы, и земля тотчас же потеряла бы всякую ценность; тотчас началась бы, конечно, новая колонизация из Франции и Германии, и земля быстро стала бы приобретать ценность благодаря тому обстоятельству, что много человеческого труда потрачено на земли, лежащие недалеко от Англии, и что населенность этих земель и промышленная деятельность народов чрезвычайно облегчает труд разработки и расчистки новой почвы.

Населенность земель и промышленная деятельность народов нашего времени составляет также прямое следствие этого огромного количества труда, которое было положено в землю всеми предыдущими поколениями. Земля не могла бы быть густо населена, если бы труд человека не сделал ее предварительно обитаемою; а если бы на известном пространстве земли не сосредоточилось значительное число людей, то никогда не могла бы развиться промышленность. Грубый труд полудикого пахаря лежит в основании всех чудес европейской цивилизации. Этот же самый труд, которого значительная доля скрывается в доисторической древности, составляет единственную причину ценности земли. Богатый и могущественный землевладелец Англии является прямым и, по мнению юристов, законным наследником вооруженного варвара, пришедшего в мирную землю и конфисковавшего в свою пользу личный труд англосаксов и труд многих веков, составлявших наследственное достояние беззащитных поселян. Вооруженный варвар, или, иначе, рыцарь и барон, отнял у поселян трудовое наследие предков и личную свободу; он был в одно и то же время похитителем собственности и рабовладельцем. Теперешний английский пэр, филантроп и аболиционист, обязан всем своим богат-

ством и могуществом тем самым поступкам своего славного предка, которые он, пэр, с добродетельным ужасом назвал бы позорными преступлениями.

Часто повторявшиеся исторические опыты доказывают неопровержимым образом, что колоссальное территориальное богатство может быть основано только на похищении чужого труда и на порабощении работника. В XVII и в XVIII столетиях было много примеров, что люди богатые и влиятельные получали в подарок или за ничтожную сумму огромные пространства земли в нынешних Американских штатах. Они деятельно принимались за разработку земель, нанимали поселенцев, тратили много денег, хлопотали сами, и в результате оказывалось, что они разорялись вконец. Такой случай произошел с Уильямом Пенном, с герцогом Иоркским, с Робертом Моррисом и с Голландскою поземельною компаниею[17] Наемный труд чрезвычайно дорог в обработке новой земли, а рабский труд особенно убыточен потому, что невольники мрут в большом количестве от работ в лесах и болотах. Для заселения новой земли не годится ни наемный работник, ни раб; только вольный колонист, предприимчивый и самостоятельный, трудящийся для себя, завоевывающий новую землю для своего семейства и потомства, имеющий полную возможность идти направо или налево, не спрашиваясь ни у кого и не давая никому отчета,— только такой колонист может положить прочное основание будущему богатству и цветущему поселению. Такие колонисты в древности заселили и начали обработывать Англию; а потомки этих колонистов были обобраны и порабощены предками нынешних пэров, точно так же как русские были порабощены татарами Батыя, которым они в продолжение двух столетий платили дань.

Из всего этого следует, что не захват земли, а захват человеческого труда составляет богатство современной плутократии. Вся ценность земли, как и всякой другой вещи, заключается только в труде человека.

X

Труд есть борьба человека с природою; в борьбе «то сей, то оный на бок гнется»[18]; когда побеждает природа, мы называем труд неудачным; когда побеждает человек, мы говорим, что труд удачен; победы бывают более или

менее полные, и, сообразно с этим, труд бывает совершенно или несовершенно удачным. На одну совершенную удачу обыкновенно приходится несколько несовершенных удач и несколько совершенных неудач. Так как совершенная удача случается сравнительно редко, то мы говорим, что для достижения такой удачи надо преодолеть сильное сопротивление природы.

Конечно, все эти выражения: «борьба с природою», «сопротивление природы», при ближайшем рассмотрении, оказываются простыми метафорами. Природа вовсе не борется с нами и не старается злоумышленным сопротивлением разрушить наши замыслы и повредить нашим интересам. Наши неудачи или неполные удачи просто происходят от нашего неуменья и неполного знания причин и следствий; но отчего бы они ни происходили, они несомненно существуют и оказывают свое влияние на ценность предметов, производимых трудом. Стекольщик кладет в горн большое количество сырого материала, который должен превратиться в листовое стекло; после окончания разных операций несколько десятков листов оказываются готовыми. Материал для всех листов был один, работник тоже один, количество работы одинаковое, между тем четыре листа вышли совершенно гладкие, одиннадцать листов — с едва заметными неровностями, десятка три — с порядочными крапинами, а остальной лист — весь в пузырях, так что никуда не годится. Это произошло, разумеется, оттого, что для первых листов случайно стеклись такие благоприятные обстоятельства, которые работник, по недостатку уменья, не мог обратить в общее правило для всего количества продукта. Поэтому он сортирует изготовленные листы, и ценность первого сорта считается выше второго, который в свою очередь ценится выше третьего и т. д.

Различие в ценностях происходит от различия в сопротивлении природы. Стекло первого сорта может образоваться при исключительно благоприятных условиях, которые встречаются редко, и оттого это стекло дорого; чтобы приготовить один такой лист, надо испортить на неудачные попытки больше десятка. Конный заводчик воспитывает с одинаковым старанием сотню жеребят, но из этой сотни, может быть, сформируется только два замечательные скакуна, потом штук пятнадцать отличных верховых и упряжных лошадей, потом штук тридцать порядочных лошадей, а затем остальные окажутся дря-

нью. Причины те же самые, какие мы видели в фабрикации стекла,— именно, неполное знание естественных свойств предмета и, следовательно, неполное уменье пользоваться благоприятными условиями и устранять расстроивающие влияния. Цена различным лошадям будет, конечно, чрезвычайно различная. Замечательный скакун должен будет по возможности наверстывать труд, потраченный на него самого и на менее удачные экземпляры, представляющие собою неосуществившиеся стремления заводчика. Тамберлик получает за свой зимний сезон в Петербурге такую значительную сумму денег, что каждая ария его может быть рассчитана на рубли и копейки. Положим, что какой-нибудь прожектер вздумал сформировать нового Тамберлика, с тем чтобы он пел в его пользу. Такое предприятие имеет какие-нибудь шансы успеха только в том случае, если предприимчивый оригинал займется физическим и музыкальным воспитанием целых сотен или тысяч детей, подающих надежды. Некоторые из этих детей умрут, другие потеряют голос, третьи окажутся лишенными слуха, четвертые обнаружат непроходимую тупость, бóльшая часть сделаются хорошими людьми, но плохими певцами. Наконец, если и выдрессируется новый Тамберлик, то он, наверное, не окупит издержек и трудов, убитых на его воспитание и на неудавшиеся попытки. Тогда предприимчивый воспитатель увидит, что Тамберлик ценится так дорого потому, что надо победить множество препятствий, прежде нежели можно будет воспроизвести другой подобный голос. А препятствия все-таки состоят в незнании тех физиологических, гигиенических, климатических и всяких других данных, которых совокупность необходима для образования превосходной музыкальной организации.

Мы до сих пор ходим ощупью во всех отраслях нашей деятельности; все, что выходит у нас хорошего, принимается нами как подарок судьбы, как счастливая случайность, как исключение, стоящее рядом с сотнею уродливостей, которые считаются нами за настоящее правило. Поэтому первый сорт везде дорог — и на стеклянной фабрике, и на конном заводе, и в музыкальной школе. Это доказывает нам, что полное знание природы, полное могущество над нею и, следовательно, полное счастье человека лежат еще далеко впереди нас, но это вовсе не доказывает того, чтобы знание наше имело перед собой неодолимые преграды и чтобы в природе заключались та-

кие тайны, которые навсегда останутся недоступными пытливому уму человека. В наше время никто не удивился бы такому усовершенствованию в фабрикации стекла, вследствие которого весь сырой материал, положенный в горн, стал бы превращаться в стекло первого сорта. Даже значительное усовершенствование в коннозаводстве, дающее возможность удвоить или утроить число ежегодно формирующихся превосходных скакунов или ломовиков, не показалось бы нам невероятным, несмотря на то, что здесь мы имеем дело с органическою жизнью в одном из самых сложных ее проявлений. Если бы мы могли по произволу улучшать склад наших домашних животных, если бы посредством тщательного ухода и измененных условий питания мы могли сообщить простому русскому жеребенку превосходные качества арабской лошади, то мы, конечно, очень близко подошли бы к той чрезвычайно важной задаче, чтобы путем различных физических влияний сообщать развивающемуся человеческому организму возможно большее количество мускульной и мозговой силы. Уже Платон мечтал о средствах производить великих людей; для его времени такая цель была совершенно фантастична, потому что не была намечена даже та дорога, которая может к ней привести; в наше время эта цель все еще остается недостижимою, но мы знаем уже тот путь исследования, который, наверное, рано или поздно приведет к решению самых сложных вопросов органической жизни.

К сожалению, между теоретическим знанием и практическим приложением лежит до сих пор, на всех отраслях нашей деятельности, глубокая и широкая бездна. Теоретическая гигиена давно твердит людям, что для их организма необходимы чистый воздух, свет, теплота, свежая и обильная пища, а между тем все эти советы гигиены звучат горькою насмешкою для каждого, кто сколько-нибудь знаком с бытовыми условиями огромного большинства. Большие города, грязные переулки и дворы, темнота, сырость, голод, холод, разлагающаяся пища, гниющая вода — все это существует в огромных размерах и нимало не смущается предписаниями гигиенической науки. К довершению нелепости находятся люди, которые все эти явления оправдывают как неизбежные следствия неизменных естественных законов. «Вольно ж *им* плодиться, как свиньям,— говорит мальтузианец Милль,— *они*

сами виноваты, и нам, людям приличным, не следует становиться между прегрешением и наказанием».

Весь исторический ход событий, породивший такое повсеместное практическое порицание гигиены, представляется каждому мыслящему человеку обидным и бесконечно долгим недоразумением, перевешивающим в значительной степени то благодетельное влияние, которое должны были бы оказать на судьбу нашей породы великие открытия естествознания. Можно было бы, глядя на продолжающиеся исторические недоразумения, усомниться в силе этих открытий, усомниться в их приложимости к вседневной жизни всех людей, можно было бы принять эти открытия за новое видоизменение монополий и привилегий, если бы неподкупный дух анализа, пробужденный естественными науками, не проник в исследование существующих форм общественной и экономической жизни. Та минута, в которую плодами этого исследования можно будет поделиться со всем человечеством, откроет собою новую эру справедливости, физического здоровья и материального благосостояния. Препятствий много, минута эта далека. Но к приближению этой минуты направлены все усилия всех честных работников мысли на земном шаре; нет тех препятствий, которых не победила бы, рано или поздно, энергия мысли и сила честного убеждения; нет тех испытаний, которые бы испугали людей, сознающих в себе естественных депутатов и защитников своей породы,— и потому славное будущее человечества не может погибнуть. Знание есть сила, и против этой силы не устоят самые окаменелые заблуждения, как не устояла против нее инерция окружающей нас природы.

Всякая победа человека над инерциею природы увеличивает пользу окружающей нас материи и уменьшает ценность предметов нашего потребления. Пользою предметов измеряется сила человека над природой; поэтому польза увеличивается, когда люди сближаются между собой. Ценностью предметов измеряется, напротив того, сила природы над человеком; поэтому ценность уменьшается при сближении людей между собою. Одинокому поселенцу приходится бегать за водой к реке за несколько сот шагов, так что каждое ведро воды стоит значительного количества труда. Когда число поселенцев увеличивается, то им удается вырыть колодец возле самых домов; ценность воды уменьшается, но польза ее увеличивается, по-

тому что ее употребляют в домашнем быту чаще и в большем количестве. Потом поселенцы ставят над колодцем насос, который еще облегчает добывание воды и, уменьшая ее ценность, снова увеличивает ее пользу. Наконец, когда силы поселения оказываются уже очень значительными, вода проводится в дома, после чего каждому из жителей стоит только отвернуть кран, чтобы добыть себе целые бочки воды. Ценность падает, таким образом, до самой низкой степени, а польза увеличивается до самых больших размеров. Этот простой пример, в котором нет ни натяжки, ни произвольной гипотезы, показывает нам, что ценность и польза предметов находится всегда в обратном отношении между собою. Кроме того, этот пример подтверждает еще раз ту истину, что дружное соединение человеческих сил распространяет свое благотворное влияние на все мелкие подробности вседневной жизни.

XI

Положим, что буря выбрасывает обломки корабля на такой остров, которого еще не посещали европейские мореплаватели; дикие островитяне осматривают эти обломки и находят, в числе других вещей, несколько ружей, запас неподмоченного пороха, несколько фунтов пуль и дроби и большое количество пистолетов. Для людей, живущих охотою, чрезвычайно выгодно заменить луки и стрелы хорошими ружьями, но дикари, наверное, не поймут важного значения своей находки и останутся при своем прежнем, варварском оружии. Для них ружья не составляют богатства, потому что они не умеют ими пользоваться. Если бы к ним перенесли все паровые машины Англии или Американских штатов и если бы земля их заключала в себе мощные пласты каменного угля и неистощимые жилы железной руды, то и тогда они не сумели бы сделать себе ни одного ножа и по-прежнему продолжали бы резать кожу и мясо животных острыми раковинами и кремнями. У них недостает знаний для того, чтобы обращаться как следует с паровой машиной или с ружьем. Они даже не подозревают, чтобы в природе существовала возможность тех явлений и сложных комбинаций, которые известны каждому фабричному работнику в Англии или в Америке. В тех пределах, до которых

успели развиться знания дикарей, они воспользуются и паровою машиной и ружьем. Первую они, вероятно, разломают на части, чтобы из этих частей сделать себе разную домашнюю утварь; второе будет обращено в дубинку, которую дикарь будет брать в руки за дуло, чтобы поражать своего врага прикладом. Это своеобразное употребление паровой машины и ружья обнаруживает в дикарях опытное знание самых элементарных свойств материи: видно, что они умеют пользоваться емкостью, твердостью, тяжестью, клинообразною или остроконечною формою и другими наглядными свойствами окружающих предметов. Благодаря этим слабым знаниям они могли извлечь очень незначительную пользу из тех снарядов, из которых сведущий европеец извлекает большое количество важных житейских удобств.

Всякий читатель согласится, что большое количество житейских удобств может быть названо богатством и что европеец, пользующийся ружьем как огнестрельным оружием, богаче дикаря, употребляющего точно такое же ружье как дубину. В руках первого ружье развертывает все свои производительные силы, между тем как у последнего все специфические свойства ружья остаются мертвым капиталом. Причины таких различных результатов заключаются в различии знаний, следовательно, надо согласиться с тем, что знание составляет важнейший элемент богатства. Но знание не такой предмет, который человек мог бы найти готовым на какой-нибудь горе или в какой-нибудь пещере. Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта, а так как жизнь отдельного человека очень коротка и круг его зрения очень ограничен по своему пространству, то он никогда не выбился бы из-под гнета невежества и бедности, если бы, сходясь с другими людьми, он не выслушивал от них и не обращал бы в свою пользу собранных ими опытов и наблюдений. Сближение с людьми составляет для человека самое могущественное средство умственного развития; в обществе человек мыслит быстрее, чем в одиночестве, и мысли каждого отдельного лица находят себе поверку в опыте других и средство к испытанию и применению в советах и в содействии слушателей. На этом основании всякая мера, уменьшающая расстояние между отдельными людьми или уничтожающая препятствия, лежащие на пути их сближения, или увеличивающая потребность лю-

дей сближаться между собою,— всякая подобная мера, говорю я, увеличивает скорость в обращении идей, распространяет знания и производит увеличение богатства.

Люди всего больше расположены сближаться между собою тогда, когда они занимаются различными промыслами и могут меняться между собой продуктами своего труда. Земледелец не пойдет к соседу-земледельцу, потому что он знает, что у него и у соседа одни и те же излишки и одни и те же потребности. Сосед не возьмет у него хлеба, потому что у соседа своего хлеба слишком много, и сосед не даст ему рубашки, потому что сосед сам хочет приобрести себе полотна или бумажной материи. Чтобы сбыть лишний воз зернового хлеба и приобрести несколько аршин полотна или сукна, пару сапогов или новую косу, земледелец принужден отправиться в ближайший город, за несколько десятков верст, по дурной и гористой дороге. Это препятствие, находящееся между производителем-земледельцем и потребителем-ремесленником и заключающееся в далеком расстоянии и в дурной дороге, ведет за собой много невыгод. Целый день земледельца будет потрачен непроизводительно, т. е. не увеличит количества продукта; вместе с трудом земледельца пропадет и труд лошади, которая повезет хлеб в город и телегу из города. Помет лошади, падающий на дорогу, потерян; кроме того, земледелец, не имеющий под рукою близкого сбыта, принужден обсевать свои поля только такими сортами хлеба, которые, при наименьшей громоздкости, продаются по наиболее дорогой цене. Он не может возить в город картофель или сено, потому что продажная цена этих продуктов не окупит издержек и трудов перевозки. Это обстоятельство вредит успешному ходу его хозяйства, не позволяет ему вести рациональный севооборот и заставляет его истощать свои поля постоянными посевами ржи, пшеницы, овса и других зерновых хлебов. Положим теперь, что через владения нашего земледельца пролегла железная дорога, ведущая к тому городу, в который прежде приходилось ездить по разным трясинам и буеракам; теперь продукты отправляются на продажу в вагонах, а то количество лошадиного и человеческого труда, которое тратилось на бесплодные прогулки по дурной проселочной дороге, посвящается улучшению земли; помет весь идет на удобрение земли, и количество земледельческих продуктов увеличивается. Тогда земледелец нанимает большее число работников, чтобы

еще более расширить круг своих действий. Является необходимость построить новые амбары и скотные дворы; плотник, замечая запрос на свой труд, поселяется рядом с земледельцем; сапожник, получая с фермы частые заказы, приближается к своим заказчикам; мельник ставит мельницу на ближайшей речке, потому что предвидит себе работу. Прежде надо было ездить к плотнику за тесом и за рамами, к сапожнику за обувью, к мельнику с зерном и от мельника с мукою; на все эти прогулки в общей сложности тратилось большое количество труда и помета; теперь все это терявшееся количество сохраняется и увеличивает плодородие земли: хлеба добывается гораздо больше прежнего, и притягательная сила процветающего местечка постоянно увеличивается; приходит ткач, чтобы на месте превращать лен и пеньку в полотно; затем устроивается сукновальня, избавляющая фермера от необходимости возить в город шерсть своих овец. Затем являются портной, кузнец, колесник, шорник, пивовар и другие рабочие. Сблизившись между собою, все эти различные ремесленники ежедневно доставляют друг другу значительные выгоды, как производители и как потребители; все они могут постоянно заниматься своими работами, не имея надобности бегать по дорогам ни за покупателями, ни за продавцами. Сапожнику стоит перейти через улицу, чтобы купить у ткача полотна; ткачу стоит сделать несколько шагов, чтобы достать у мельника муки; и сапожник и ткач знают также, что их соседи сами придут к ним за теми продуктами, которые они вырабатывают. Что же касается до земледельца, то он находится в самом цветущем положении; каждый кусок земли приносит ему пользу и доход; хлеб, говядина, баранина, масло, яйца, домашняя птица, сыр — все это находит себе сбыт, и все это дешево, потому что продается на месте, и все это, кроме денег, дает удобрение, которое постоянно возвышает производительную силу земли.

Нравственные следствия такого сближения разнородных людей и промыслов также очень значительны. Каждое отдельное ремесло знакомит человека с особенными свойствами того или другого сырого материала; каждое из них дает человеку особенные орудия и научает его особенным приемам; каждое изощряет в человеке ту или другую способность и направляет его природную наблюдательность на ту или другую сторону обыденных явлений. Всякий знает, что у земледельца есть свои особенные

метеорологические приметы, что пастухам известны многие интересные свойства в характере домашних животных, что мельники по необходимости приобретают практические сведения по части механики и гидростатики. Когда множество различных ремесленников живут между собою рядом и находятся друг с другом в ежедневных сношениях, то они невольно и бессознательно сообщают друг другу большое количество заметок и сведений, которые возбуждают любознательность, нарушают неподвижность ума и расширяют круг понятий и воззрений. Особенно важны нравственные следствия такого сближения для подрастающих детей. Где земледелие составляет единственный промысел всего населения, там не может быть и речи о личных наклонностях или способностях молодых членов общества. К чему бы ни был расположен мальчик, каковы бы ни были его природные дарования, он все-таки должен непременно браться за соху, потому что вне сохи нет спасения от нищеты. Когда же, напротив того, десятки различных ремесленников живут на пространстве одной квадратной версты, тогда самые прихотливые вкусы и самые разносторонние способности могут и должны находить себе удовлетворение. Кто расположен к сидячей жизни и к кропотливой работе, тот пойдет в учение к портному или к сапожнику; у кого верный глаз и сильная рука, тот сделается плотником; кто владеет тем же хорошим глазомером при меньшей физической силе, тот займется столярною работой; кто любит работать на открытом воздухе, тот посвятит свои силы садоводству или огородничеству; всякому откроется возможность заниматься своим делом с охотою, по свободному влечению, а не вследствие горькой необходимости. Индивидуальные силы, наклонности и способности заявят свое существование, и это обстоятельство, во-первых, возвысит нравственное состояние людей и, во-вторых, увеличит количество и улучшит качество продуктов, понизит их цены посредством усовершенствований в производстве, усилит, таким образом, их сбыт и возвысит общее благосостояние производителей и потребителей.

Наконец, разнообразие промыслов благодетельно тем, что оно уменьшает зависимость простого работника от хозяина или мастера и увеличивает в первом чувство собственного достоинства, принуждая в то же время второго уважать человеческую личность своего подчиненного. Где все пашут землю, там личность работника не существует;

там человек, идущий за сохою, по свойствам своего труда очень мало отличается от лошади или от вола, на которых он покрикивает и помахивает кнутом. Хозяин не дорожит умом и ловкостью своего батрака; он совершенно основательно рассуждает, что за сохою сумеет ходить и круглый дурак; поэтому он и помыкает своими работниками, как ему угодно, и гоняет их с двора, когда они начинают пускаться в рассуждения. Заменить выгнанного работника вовсе не трудно, потому что особенных достоинств и способностей от кандидата на такое место не требуется. В ремесленной деятельности вопрос ставится совершенно иначе. Хозяин дорожит человеком и смышленым работником, потому что его не скоро заменишь. В чисто земледельческом быту принималась в расчет только животная сила человека; при ремесленной работе, напротив того, сила мускулов обыкновенно отходит на второй план, а всего больше обращается внимание на искусство, на знание дела, на сообразительность. В ремесле впервые проявляется и признается элемент личного таланта. Этот элемент эмансипирует и возвышает ремесленника и смягчает в отношении к нему хозяина, которого личный интерес зависит от ума и технической ловкости рабочего.

В истории средних веков встречается такой факт, который совершенно подтверждает собою предыдущие рассуждения. Первые признаки самостоятельности в отношении к феодалам проявляются между ремесленниками; они образуют коммуны и возмущаются против епископов и баронов; из них составляется знаменитый tiers-état[19], а в это время земледельцы еще несут на себе всю тяжесть барщины и разных произвольных поборов.

Из всего, что было сказано о жизни разросшегося местечка, мы можем заметить, что сближение людей между собою, распространение знаний, увеличение богатства и нравственное освобождение личности зависят преимущественно от разнообразия занятий и, при существовании этого последнего условия, естественным образом развиваются одно из другого.

Для того чтобы в каждой отдельной местности какой-нибудь страны проявлялось то разнообразие занятий, из которого вытекают деятельность, знание, богатство и свобода, необходимо существование множества местных центров притяжения. Если в какой-нибудь земле один огромный город стягивает в себе бóльшую часть

промышленных сил страны, то жители находятся в зависимости от этого общего центра; они принуждены возить свои продукты на этот далекий рынок и на этом же рынке покупать те фабричные изделия, которые необходимы им для домашнего обихода. Ни один из жителей не решается устроить какое-нибудь промышленное заведение вне большого центра, потому что не может рассчитывать на сбыт; разбросанное население поневоле занимается исключительно земледелием и истощает свою почву постоянным вывозом сырых произведений, которые потребляются на далеком рынке и, следовательно, не дают обратно никакого удобрения. Между тем в большом центре заводятся всякие гадости; туда бежит все, что голодно, в надежде найти работу и находит чаще всего крайнюю степень нужды, совершенное нравственное падение и преждевременную смерть от изнурения, от гнилой пищи или от вынужденного разврата; туда бежит и едет все, что честолюбиво, в надежде найти блеск и повышение и чаще всего находит развращающую школу низкопоклонства и ничем не вознаграждаемого насилования совести; туда же, в обетованную землю всякой роскоши, несутся все люди, стремящиеся пожить на чужой счет, начиная от бесконечного числа разных просителей, искателей и кончая легионом шулеров и уличных мошенников. Первые большею частью питаются надеждами и нравственными подзатыльниками, но зато вторые, как люди, избравшие благую часть, обыкновенно находят себе обильную ловлю рыбы в мутной воде этих колоссальных клоак нашей великой цивилизации. Таким образом, страна, имеющая один большой центр притяжения, представляет очень неутешительную картину; провинции постоянно беднеют и истощаются; жители тупеют от однообразного и неблагодарного труда, а в центре собирается вся дрянь страны, вся испорченная кровь, весь гной ее бедности, вся квинтэссенция ее разврата и нравственной низости, ее страданий и преступлений; но так как эта миазматическая смесь подергивается всегда тонкою пленкою мишурного золота, то дальновидные теоретики находят обыкновенно, что все обстоит благополучно, или утверждают, что вся беда происходит от недостатка нравственного самовоздержания (moral restraint) со стороны рабочего человека и его супруги.

XII

Когда Робинзон жил один на своем острове, то ему надо было ходить на охоту, собирать плоды, ловить рыбу, сносить все эти запасы в свою пещеру, варить или жарить их, готовить себе одежду из шкур, таскать из леса дрова для отопления жилища, сооружать и чистить охотничьи и рыболовные инструменты. Все это и, может быть, много других занятий лежало на нем одном, потому что у него не было союзника и помощника. Когда он отправлялся в лес за добычею, то запасы, набранные накануне, оставались без присмотра и могли быть съедены крысами или унесены каким-нибудь более крупным животным; когда он был на охоте, пища не приготовлялась ко времени его возвращения и одежда, которую он начал шить до своего ухода, оставалась недоконченною. Когда он готовил пищу или дошивал одежду, время, удобное для ловли рыбы, могло быть пропущено. Словом, Робинзон постоянно принужден был переходить от одного дела к другому, причем, конечно, много труда и времени терялось на эти беспрестанные переходы; все занятия, по необходимости, шли плохо, потому что они сталкивались между собою и ежеминутно мешали друг другу. Каждая работа делалась урывками, и ни в одной не было того постоянного и последовательного движения, которое необходимо для достижения выгодных результатов. Если у Робинзона была жена, то уже все работы должны были идти гораздо успешнее: пока мистер Робинзон бродил по лесу за дичью или плавал по реке за рыбою, домашний очаг охранялся бдительным оком мистрис Робинзон, которая, кроме того, в это же время варила или жарила мясо, чистила набранные накануне плоды, потрошила наловленную рыбу или шила одежду; работы не прерывались так часто, как во время холостой жизни Робинзона, и вследствие этого в этих работах замечалось больше порядка и от них получалось большее количество продукта. Между Робинзоном и его женою происходили постоянные обмены услуг к обоюдной выгоде[20] обеих сторон. Когда подросли дети, то быстрота в обмене услуг значительно увеличилась. Один из членов семейства охотился за дичью, другой ловил рыбу, третий чинил охотничьи инструменты, четвертый варил кушанье, пятый шил одежду, шестой копал землю, так что все отрасли работ одновременно и дружно подвигались вперед; потом продукты этих работ обмени-

вались один на другой; когда вся семья садилась обедать, тут излишек дичи одного обменивался на излишек рыбы другого; тут съестные припасы, добытые одним, оплачивали труды других, посвящавших свои силы на приготовление кушанья, на шитье одежды, на сооружение луков, челноков и удочек. Этот обмен был выгоден для каждого, потому что вследствие такого обмена каждый пользовался разнообразным столом, каждый был одет, каждый, кому надо было охотиться или ловить рыбу, был снабжен необходимыми инструментами. Труд каждого был гораздо производительнее, чем труд одинокого колониста, потому что каждый посвящал своему занятию все свое время и все свое внимание, не кидаясь от одной работы к другой и не развлекаясь посторонними заботами и соображениями.

Эта небольшая семья колонистов служит прототипом общества; в ней, как и в самом многолюдном обществе, происходит разделение труда и обмен услуг; эти два явления заключают в себе источник всех благодетельных действий, которые существование общества производит на материальное и нравственное положение отдельного человека. Чем многолюднее общество, тем значительнее может быть разделение труда[21], тем деятельнее, умнее, богаче и свободнее может становиться человек, тем сильнее должны понижаться ценности предметов и тем сильнее должна возвышаться их польза.

Так *может* быть и так *должно* быть, но так не бывает в действительности, потому что люди, кроме разделения труда и обмена услуг, всегда вносят в каждое зарождающееся общество элемент присвоения чужого труда. Этого ядовитого зерна достаточно, чтобы отравить все блага общественной жизни и породить все междоусобные распри, которые составляют историю и в которых до наших времен истощаются физические и умственные силы людей. Начинается с того, что муж бьет свою жену и побоями принуждает ее работать, в то время как сам он лежит на спине и греется на солнце. Таким образом нарушается естественное разделение труда и свободный обмен услуг. Мужчина берет себе большее количество продуктов и меньшее количество труда; для установления равновесия в обмене он отпускает женщине несколько ударов кулаком по лицу или палкой по спине, и равновесие действительно восстановляется, потому что возражения женщины умолкают после получения подобной мо-

неты,— и обмен услуг продолжается, несмотря на явное нарушение справедливости. Как муж присвоил себе значительное количество труда жены, так родители присвоивают себе значительное количество труда детей; братья поступают точно так же в отношении к сестрам, и старший брат в отношении к младшему; потом, когда дети становятся взрослыми людьми, а родители — дряхлыми стариками, то первые эксплуатируют последних и, наконец, измучив их до крайности непосильными работами, предоставляют им полную свободу умереть с голода.

Войны и порабощение начинаются, таким образом, в самом семействе и, начавшись однажды, не останавливаются ни на одну минуту; каждый из членов семейства бывает постоянно то победителем, то побежденным, то рабовладельцем, преподающим осязательные внушения слабейшему родственнику, то рабом, испытывающим убедительность таких же наставлений со стороны сильнейшего. Значительная доля труда и изобретательности, большое количество физической силы и нравственной энергии тратятся на постоянно повторяющиеся натиски и отпоры, на завоевательные попытки и на отражение таких попыток. При борьбе с природою человек никогда не встречает сознательного сопротивления своему сознательному нападению; при борьбе человека с человеком коса находит на камень: насилие встречается с насилием, хитрость отражается хитростью, суровая воля рабовладельца натыкается на пассивное, но сознательное упорство раба. Борьба затягивается, усложняется и принимает на себя бесконечное разнообразие видоизменений. Семейство оказывается для первобытного человека превосходною школою безнравственности. Из этой школы он выносит очень основательные сведения по части естественного гладиаторства и самородного макиавеллизма; за пределами семейства он встречается с воспитанниками других учебных заведений, в которых преподавались те же элементарные науки, с некоторыми изменениями и дополнениями в программе и в плане. Встретившиеся юноши начинают пробовать друг над другом силу и убедительность своих научных аргументов и стратегических приемов. Пределы диспутов расширяются; первобытные силлогизмы совершенствуются и усложняются. Война, политика, рабство, эксплуатация, воровство и грабеж — все эти различные видоизменения одного общего начала приводятся в стройные и красивые системы. Человеческий ум развертывает-

ся во всем своем величии и блеске и производит в этом направлении такие же превосходные усовершенствования, какими являются в области производительного труда паровые машины и приложение химии к земледелию. Не рискуя ошибиться, можно даже сказать, что элемент присвоения развился гораздо быстрее, чем элементы труда и обмена услуг; этот первый элемент достиг полнейшего совершенства и успел уже просочиться в практическое применение тех открытий, которые подарило человечеству естествознание, составляющее одно из важнейших и плодотворнейших проявлений элемента труда. Элемент присвоения преобладает во всех существующих обществах, везде и всегда искажает природу человека и во всех бедствиях частной и общественной жизни является единственной причиной страданий и преступлений.

Дойдя до этого элемента и указавши читателю, я уже вышел из области гипотез и теоретических выкладок и стою теперь на пороге истории, на почве действительных фактов. Здесь я считаю удобным остановиться на несколько минут, оглянуться назад и в сжатом очерке напомнить читателю добытые нами результаты, составляющие в своей совокупности физиологическую часть истории труда. Мы видели, что человек был слаб и беден, пока он оставался одиноким; силы природы, окружавшие человека, не приносили ему почти никакой пользы, а все удобства жизни, начиная от самой грубой пищи, имели в его глазах самую значительную ценность; когда число людей увеличилось, тогда люди стали помогать друг другу и совокупными силами успели одержать над природою много важных побед; каждая такая победа увеличивала пользу сырого материала и уменьшала ценность предметов потребления. Каждая победа человека над природой давала ему в руки новые орудия и, таким образом, прокладывала ему путь к новым и более важным победам. Начавши обработку земли на сухих холмах, человек спускался в тучные долины, когда увеличившееся число людей и усовершенствование орудий давали ему возможность вырубить леса и осушить болота, покрывавшие плодородную почву. Овладевши тучною землею, человек становится богатым; в основании его богатства лежало знание, дававшее ему господство над природой; знание приобретается и развивается вследствие частых и разнообразных сношений людей между собою. Сношения эти завязываются и поддерживаются разнообразием занятий; раз-

нообразие занятий возможно только в том случае, когда существует множество небольших, тесных центров притяжения. Эти тесные центры образуются сами собою в тех местах, в которых общественные аномалии не парализируют естественного развития человеческого труда. Общественные аномалии всякого рода выросли из элемента присвоения чужого труда, а этот враждебный элемент возник в доисторические времена в семейном быту и из него раскинул свои ветви по всем отраслям человеческой деятельности.

Вот беглый перечень тех мыслей, которые были изложены на предыдущих страницах. Совокупность этих мыслей указывает на ту великую и светлую участь, которая должна составлять естественное достояние людей; участь эта не имеет ничего общего с теми мрачными явлениями, которые наполняют всемирную историю и обращают на себя внимание современного наблюдателя. Люди сбились с настоящего пути, исказили свою природу и до сих пор продолжают мучить друг друга. Факты эти очень достоверны и тем более печальны. Но эти факты не дают нам права думать, чтобы светлое будущее было недостижимо. Надо помнить, что люди потратили много тысячелетий на то, чтобы ознакомиться с природой; надо помнить, что они до сих пор не знают ее вполне, и надо помнить, кроме того, что человек есть самое сложное явление природы, всего менее доступное непосредственному наблюдению и почти совершенно недоступное опыту. Очень естественно, что величайшее число ошибок, теоретических и практических, относится именно к человеку как самому сложному, самому неизвестному и в то же время самому интересному предмету во всей природе. Очень естественно, что астрономия и химия уже в настоящее время вышли из тумана произвольных гаданий, между тем как общественные и экономические доктрины до сих пор представляют очень близкое сходство с отжившими призраками астрологии, алхимии, магии и теософии. Очень вероятно, что и эти кабалистические доктрины сложатся когда-нибудь в чисто научные формы и со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно. Со временем многое переменится, — но мы с вами, читатель, до этого не доживем, и потому нам приходится ублажать себя тем

высоко бесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепости существующего.

«— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью»[22].

XIII

Когда человеку хочется есть и когда он видит у себя под рукою приготовленный запас пищи, то в нем тотчас рождается влечение взять эту пищу в руки и отправить ее к себе в рот. Это влечение разделяют с человеком все животные, с тою только разницею, что они в подобных случаях обходятся без пособия рук. Можно было бы подумать, что это действие над пищею совершается машинально или инстинктивно, т. е. вообще без посредствующего процесса мысли. Но, во-первых, такие слова, как «машинально», «инстинктивно», сами по себе ровно ничего не объясняют, а во-вторых, есть и прямые опыты, доказывающие, что деятельность мозга обусловливает собою даже эти простейшие поступки: голуби и куры, у которых французский физиолог Флуранс снимал передние полушария головного мозга, глотали пищу только в том случае, когда ее клали им в рот и проталкивали до горлового отверстия; когда же их оставляли в покое, то они умирали с голода среди целых куч хлебных зерен. Итак, мы с полным основанием можем сказать, что человек захватывает приготовленный запас пищи вследствие размышления. Конечно, размышление это в высшей степени просто, потому что, как мы уже видели, все животные размышляют точно так же. Но именно по своей простоте это размышление, доступное всем людям без исключения, оказывало и до сих пор оказывает на судьбу нашей породы такое могущественное влияние, каким не пользуются ни чистейшие нравственные истины, ни величайшие научные открытия. Из этого размышления развилось все, что составляет красоту и гордость нашей цивилизации, и все, что составляет ее позор и страдальческий крест.

Запас пищи, найденный человеком, мог быть приготовлен природою или другим человеком; захват пищи в первом случае является зародышем труда, а во втором он оказывается присвоением чужого труда и кладет основание борьбе между людьми и порабощению одного че-

ловека другим. В жизни нашей породы встречались несчетное число раз оба эти случая, и из них развивались все их неизбежные последствия. Человек, присвоивший себе пищу, приготовленную природою, старался устроить так, чтобы природа дала ему новый запас, и эти старания постепенно превращали охотника в пастуха, потом в земледельца; эти же старания рядом с земледельцем создавали кузнецов, портных, ткачей и всех других ремесленников, вооружающих человека рабочими инструментами, снабжающих его одеждою, устроивающих его жилище и доставляющих ему на счет окружающей природы все возможные удобства жизни. Из этих же стараний развились искусство и наука, увеличивающие силу человека над природою, расширяющие его ум, приготовляющие ему бесконечное разнообразие наслаждений и доставляющие ему возможность уважать самого себя и, анализируя себя и других, сознательно прощать и любить заблуждающихся людей, так дорого платящих за свои заблуждения. Между тем второй случай — захват пищи, приготовленной человеком, — повторялся ежедневно, и следствия, неизбежно вытекающие из него, развивались гораздо быстрее, чем те благодетельные явления, в основании которых лежал чистый труд, не политый слезами и не пропитанный человеческою кровью.

Эта несоразмерность развития существует и, быть может, даже увеличивается в наше время. Всемирная история до сих пор принуждена заниматься исключительно политическою жизнью людей, потому что действительно факты политической жизни совершенно заслоняют собою те проявления мысли, энергии и творчества, которые происходят в лабораториях, в мастерских, на полях, везде, где человек подмечает тайны природы или вводит в процесс производства те естественные силы, которые уже исследованы и обузданы. Историю интересуют преимущественно органическое развитие государственных форм, последовательная смена систем, существенные изменения в законодательстве и в международных отношениях, пробуждение в массах политического смысла и национального чувства.

Кажется, набросанная мною рамка достаточно широка; я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных историков увидел в подобном определении задач истории признаки неуважения к науке или попытку исказить и унизить ее настоящее значение. Между тем не трудно заме-

тить, что элемент присвоения составляет единственный предмет изысканий историка. В этом нисколько не виноват историк, потому что такова действительная жизнь, которую исследователь не имеет права украшать и разглаживать. Государственные формы, политический смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения, т. е. все эти вещи или произошли от присвоения, или возникли как отпор присвоению. Государства, все без исключения, порождены элементом присвоения; прошу читателя не видеть в этой мысли ничего безнравственного и не искать в ней никакого лукавства; я вовсе не хочу сказать, чтобы все основатели государств были люди буйные и одержимые жадностью к чужой собственности; если такие наклонности и существовали у некоторых викингов, конунгов, шейков[23] и других эмбриологических властителей, то это обстоятельство вовсе не может быть возведено в правило. Многие государства возникали потому, что жителям известной земли необходимо было сгруппироваться для отражения нападающих врагов. В других случаях государство основывалось потому, что жителям необходимо было существование такой власти, которая разбирала бы их ссоры и своим вмешательством отвращала бы кровопролития. При таких условиях основание государства было благодеянием, но люди нуждались в этом благодеянии только потому, что заезжали в чужую личность и захватывали чужой труд. Нападавшие враги и ссорившиеся единоплеменники, по всей вероятности, должны быть признаны людьми, следовательно, то зло, в отпор которому возникло государство, заключалось все-таки в попытках одних людей попользоваться трудом других. Не было ни одного государства, которое было бы основано с тою целью, чтобы отражать зверей или общими силами граждан разработывать землю, следовательно, элемент присвоения так же необходим для развития политических учреждений, как частица дрожжей необходима для того, чтобы произвести в хлебном тесте брожение. Политическое развитие, сообщающее присвоению правильную форму, составляет очень полезное лекарство, но всякий знает, что лекарство есть горькое следствие болезни.

Национальное чувство, к которому каждый благомыслящий человек должен питать глубокое уважение, составляет прямое следствие того недоверия и антагонизма, которые водворились между отдельными группами лю-

дей вследствие взаимных обид и нападений, клонившихся все-таки к присвоению труда и его продуктов. Национальное чувство просыпается тогда, когда нации приходится защищать себя от порабощения; так было у нас в эпоху Минина и в 1812 году; так было в Испании во время войн ее с Наполеоном, в Германии — во время ее поголовного восстания в 1813 году, во Франции — при революционной борьбе ее с европейскими коалициями, в Италии — с самого начала нынешнего столетия, в Греции, возмутившейся против турецкого господства... Везде это национальное чувство делало чудеса и вызывало к жизни народ, находившийся в самом бедственном положении, но везде это чувство возбуждалось предшествовавшими страданиями или угрожавшими опасностями; везде проявление этого чувства сопровождалось очень тягостными пожертвованиями, которые были необходимы, но все-таки оставляли после себя глубокие следы в материальном благосостоянии народа.

Эти соображения приводят к тому неотразимому заключению, что элемент присвоения остается чрезвычайно вредным даже в тех случаях, когда он, возбуждая против себя энергический отпор, приводит в движение самые возвышенные и благородные страсти человеческой природы. Поэты и сентиментальные историки, имеющие страстное влечение ко всему грандиозному, могут с особенным восхищением останавливаться на тех исторических эпохах, в которых целый народ поднимался, как один человек; поэтам свойственно видеть в каждом явлении его красоту и картинность; им свойственно принимать отдельных людей за мелкие камешки огромной мозаики; но человек, не одаренный от природы таким пылким эстетическим чувством, человек, неспособный, подобно художнику Нерону, зажечь Рим, чтобы получить понятие о разрушении Трои[24], такой человек видит величайшее доказательство силы зла в том обстоятельстве, что даже проявление лучших сил и страстей целого народа всегда бывает похоже на страшную конвульсию больного организма и почти всегда ведет за собою упадок сил и значительное увеличение индивидуальных страданий и общественных тягостей. В истории трудно отыскать хоть один такой факт, в котором энергия народа, его героические усилия, его жертвы, приносимые трудом и кровью, произвели бы в его образе жизни действительное улучшение, соответствующее подобным затратам.

Везде и всегда народ поднимался, как один человек, против одного из проявлений несправедливости и присвоения; а в это время десятки и сотни проявлений того же элемента продолжали процветать и, пользуясь общею суматохою, пускали глубже свои корни в живые силы народа и истощали их больше прежнего. Поэтому все великие эпохи дали до сих пор людям несколько пламенных стихотворений, несколько красноречивых страниц в истории, да, кроме того, приращение налогов и то чувство утомления, которое всегда следует за напряжением сил. Все эти мысли, конечно, вовсе не относятся к России, потому что в отношении к ней я нахожу удобным соблюдать то правило вежливости, по которому о присутствующих не говорят.

XIV

Элемент присвоения, конечно, составляет зло; можно сказать больше: он составляет источник и причину всякого зла, а между тем этот ядовитый элемент, этот Ариман человеческой природы[25], сам вытекает из совершенно безвредного свойства нашего ума, и притом из такого свойства, которое мы никак не сумели бы устранить, если бы нам была предоставлена возможность переделать по нашему благоусмотрению все физические и интеллектуальные способности человека. Это свойство состоит в том, что ум наш всегда начинает свою деятельность с самых простых процессов мысли и уже потом, укрепляясь и совершенствуясь, переходит к более сложным процессам, соображает вероятия и отдаленные последствия, рассматривает и обсуживает явления с разных сторон и точек зрения. У всякого животного есть потребности и желания, имеющие связь отчасти с сохранением жизни неделимого, отчасти с поддержанием жизни породы. Мозговые силы животного посвящаются исключительно изысканию средств, ведущих к удовлетворению этих потребностей и желаний. Руководствуясь своими внешними чувствами — зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, — животное соображает, идти ли ему направо или налево, грозит ли ему опасность или ждет его наслаждение. Животное руководствуется, конечно, иезуитскою нравственностью; цель всегда оправдывает в его глазах средства, и в выборе средств животное обнаруживает,

кроме неразборчивости, крайнюю односторонность и близорукость соображения, в чем оно далеко превышает иезуитов. Рыба хватается за червяка, не обращая внимания на крючок, в котором заключается весь смысл трагического эпизода; мышь развязно вбегает в мышеловку, руководясь запахом мяса, и не дает себе труда заметить, что в общем виде снаряда есть что-то странное и зловещее. Так действуют животные, и почти так действуют дети и дикари. Океанийские островитяне, приезжая на европейские корабли, обыкновенно начинают с изумительною ловкостью воровать все, что приходится им по душе. Их за это бьют очень больно веревками, но, конечно, это их не унимает. Нельзя сказать, чтоб воровство было у них принятым обычаем или чтобы оно составляло их болезненную мономанию; нельзя себе представить, чтобы они переносили с совершенным равнодушием удары веревками; их поступки объясняются всего удовлетворительнее крайнею простотою тех умственных отправлений, на которые способен их мозг. Дикарь рассуждает так: я вижу блестящую пуговицу, она мне нравится, следовательно... тут рассуждение обрывается, потому что дело сделано, пуговица очутилась в руках нашего мыслителя, и тут начинается новый ряд соображений, клонящийся к тому, чтобы спрятать приобретенное имущество и напустить на свою физиономию выражение полнейшей невинности. Процесс мысли, разрешившийся в приобретении пуговицы, совершился с быстротою молнии; дикарь схватил понравившуюся ему вещь с такою же непосредственною жадностью, с какою рыба хватает червяка. Преимущество дикаря над рыбою ограничивается в этом случае тем, что дикарь в одно мгновение успевает принять некоторые предосторожности, которые всегда останутся недоступными самой гениальной рыбе. Сходство же дикаря с рыбою состоит в том, что и тот и другая не способны ни на минуту усомниться в выгодности своего предприятия и отнестись к нему критически; желание возникло и тотчас удовлетворяется с большею или меньшею степенью искусства, проворства и осторожности. Что будет потом — об этом дикарь потом и подумает, потому что в его голове не удерживается сложный ряд мыслей, в котором причины связывались бы с следствиями.

Если мы разберем значение нашего национального «авось», то заметим в нем несомненное родственное сходство с умозрениями океанийца. Действия на авось не име-

ют ничего общего ни с мужеством героя, ни с сознательным риском смелого спекулятора; в них просто выражается неуменье и нежеланье додумать до конца, неспособность ума к сложным выкладкам и леность мысли, ведущая за собою необходимость оставлять в тумане те следствия, которыми непременно должен закончиться данный поступок[26]. Строгая общественная нравственность, заключающаяся в том, что каждая отдельная личность сознательно несет ответственность за свой образ действий и отдает себе и другим отчет в каждом своем поступке,— такая нравственность совершенно немыслима в такой среде, в которой «авось» составляет основание практической философии. Нравственность людей вовсе не зависит от хороших качеств их сердца или их натуры, от обилия добродетели и от отсутствия пороков. Все подобные слова не имеют никакого осязательного смысла. Нравственность того или другого общества зависит исключительно от того, насколько члены этого общества сознательно понимают свои собственные выгоды. Красть невыгодно, потому что если я обокрал удачно сегодня, то меня так же удачно могут обокрасть завтра, не говоря уже о том, что я могу попасться и получить более или менее серьезную неприятность. По тем же причинам невыгодно убивать; точно так же невыгодны и всякие другие посягательства на личность и собственность ближних и дальних. Если бы все члены общества прониклись сознанием этой невыгодности, то преступления были бы немыслимы, и вся непроизводительная трата сил на совершение, преследование, предотвращение и наказание преступлений сделалась бы излишнею и перестала бы существовать. Но проникнуться таким спасительным сознанием не может ни дикарь, ни любитель слова «авось», ни пролетарий, которого мысль постоянно направлена на борьбу с голодом. Чтобы быть нравственным человеком, необходимо быть до известной степени мыслящим человеком, а способность мыслить крепнет и развивается только тогда, когда личность успевает вырваться из-под гнета материальной необходимости.

Человек не получает от природы ничего готового ни вне себя, ни внутри себя; ему самому надо устроить себе оружие, рабочие снаряды, одежду, жилище и даже ту землю, в которую он бросает семена; точно так же ему самому надо укрепить свои мускулы посредством упражнения и развернуть силы своего мозга также посредством

упражнения. Пока дикарь доберется до хороших орудий, ему приходится пробавляться плохими; целые поколения действуют каменными топорами, потом другие поколения работают медными, и так идет дело в продолжение целых столетий. Точно так же дикарю приходится изворачиваться в жизни работою плохо развитого мозга, и весь домашний и общественный быт дикаря складывается сообразно с несовершенными отправлениями недоразвитого органа мысли. Всякое усовершенствование мозга дает себя чувствовать и в улучшении орудий, и в увеличении богатства, и в возвышении общественной нравственности. Но мозг совершенствуется чрезвычайно медленно, потому что вся жизнь дикаря проходит в постоянной заботе о пропитании и вся наличная мозговая сила тратится на приискание мелких средств, ведущих к мелким целям. Тут некогда припоминать и обобщать опыты, и потому знание увеличивается и круг мыслей расширяется только тогда, когда опыт бьет в глаза и насильно втирается в сознание. Это детство человеческого ума не только неизбежно, но даже совершенно необходимо. Если бы первобытному человеку был вложен в голову совершенно развитой мозг, то, вероятно, этот мозг был бы почти таким же мертвым капиталом, каким было бы ружье в руках дикаря, совершенно не знакомого с его употреблением. Мы способны пользоваться только тем, что мы сами выработали. Если человек своими трудами приобрел себе тысячу рублей, то они пойдут ему впрок, потому что, приобретая рубли, он приобретал, кроме того, уменье обращаться с ними. Но если вы подарите десять тысяч такому человеку, который не умел приобрести ни копейки, то легко может случиться, что ваш подарок будет разбросан на пустяки или заперт в сундук. Точно так же развитой мозг, доставшийся человеку как милостыня природы, мог быть растрачен на мелочи или мог погрузиться в сонное блаженство, за которым непременно последовала бы вялость и расслабление. Все, что живет в природе, растет и развивается, подвергаясь в своем развитии болезням, опасностям и тяжкой борьбе за существование. Ум человека, как самое сложное явление в природе, подвергается в большей степени, чем что-либо другое, этому общему закону всего существующего. Присвоение чужого труда, вражда между людьми и все ужасы варварства вытекают прямо из тех простейших процессов мысли, которые одни доступны младенческому уму дикаря. Все эти мрач-

ные явления составляют неизбежную детскую болезнь нашей породы, но детство и его болезни не должны продолжаться вечно, и потому в наше время следует по крайней мере отдавать себе отчет в том, какие именно условия удерживают различные группы людей в состоянии младенчества и превращают временные болячки в постоянные открытые фонтанели[27], из которых сочатся страдания для одних и доходы для других.

XV

Грубое присвоение, заключавшееся в грабеже и сопровождавшееся убийствами, так естественно вытекает из слабости мысли у дикарей и из недостаточного количества пищи, добываемого плохими орудиями первобытных людей, что не стоит останавливаться на объяснении этого явления. Несколько удачных набегов, несколько безнаказанных убийств приохочивали дикаря к таким занятиям, развивали в нем дух молодечества, возвышали его в глазах единоплеменников и собирали вокруг него шайку людей, искавших добычи и называвших ее славою. Так формировалось зерно военного сословия; оно скоро начинало чувствовать презрение к тем жалким людям, которые пашут землю и пасут стада; потом жалкие люди порабощались; их заставляли платить дань, и когда это взимание известной части продукта приводилось в правильную форму, тогда группа людей, отмеченная каким-нибудь общим названием, вступала в историческую жизнь под предводительством поработивших ее воинов.

Рядом с этим простейшим присвоением идет с незапамятных времен другой вид присвоения, более сложный. Рядом с откровенным грабежом развивается торговля, которую многие ученые до сих пор считают величайшею благодетельницею человеческого рода. Люди всегда нуждались и до сих пор нуждаются во взаимном обмене услуг и продуктов; один производит хлеб, другой выделывает ткани; если первый даст второму излишек своего хлеба и возьмет у него взамен излишек его тканей, то положение обоих значительно улучшится, потому что оба будут сыты и одеты. Этот обмен услуг производится очень легко и удобно, если земледелец и ткач живут между собою в близком соседстве; но если они живут в разных землях и если между их землями лежат горы,

реки, пустыни и моря, то прямой обмен становится невозможным; тогда является услужливый джентльмен, который ткачу привозит хлеб, а земледельцу ткани; земледелец и ткач — оба очень рады, потому что продукты эти им необходимы, а добрый джентльмен еще более рад тому, что ему удалось услужить таким достойным людям. Но услужливость и добродушие джентльмена обходятся очень дорого и ткачу и земледельцу. Ткач получает очень мало хлеба, а земледелец очень мало тканей; ткач за малое количество хлеба отдает все свои ткани, а земледелец за малое количество тканей отдает весь хлеб, который он может сберечь от своего личного потребления. Ткач сидит впроголодь, а земледелец оказывается полуодетым; зато добрый джентльмен питается изысканными кушаньями и одевается с утонченным изяществом; в его руках остается весь хлеб, который не доходит до ткача, и все ткани, которых не получает земледелец; эти излишки продуктов он везет к таким людям, которые производят табак или пряности; тут опять происходит та же история: джентльмен берет у них как можно больше табаку и дает им как можно меньше хлеба и тканей; потом он едет с табаком в такое место, где добывают меха, и опять берет очень много мехов и дает очень мало табаку. Таким образом, услужливый джентльмен прогуливается по разным землям, осыпает своими благодеяниями жителей всех географических широт и долгот и, не увеличивая ни на один золотник количества их продуктов, оставляет у себя в руках столько хлеба, тканей, мехов, табаку и других удобств, сколько можно оттягать у производителей и потребителей. Конечно, эти удобства остаются в руках торговца не в первоначальном своем виде; они превращаются в более удобную форму золотых и серебряных монет, но сущность дела от этого не изменяется. Интересы торговца идут постоянно вразрез с выгодами и потребностями всех тех людей, с которыми он приходит в соприкосновение. Ткач и земледелец могут обменивать между собою свои продукты так, что рабочий день ткача будет отдаваться за рабочий день земледельца, и для обоих такой обмен будет выгоден, потому что оба хлопочут не о том, чтобы увеличить общую сумму своего продукта, а только о том, чтобы изменить его форму. Но между ткачом и земледельцем появляется посредник, у которого нет никакого продукта; он берется перевезти хлеб в такое место, где производятся ткани, и обещает

возвратиться к земледельцу с грузом тканей, соответствующим взятому грузу хлеба. Очевидно, что и ткачу и земледельцу выгодно, чтобы на перевозку истратилось как можно меньше продукта, но торговцу-перевозчику выгодно, напротив того, чтобы перевозка обошлась ткачу и земледельцу как можно дороже, потому что вся сумма продукта, поглощенная перевозкою, идет в его пользу. Поэтому ткач и земледелец желают оба, чтобы обмен между ними совершался как можно легче, чтобы расстояние между ними сокращалось и чтобы число и величина препятствий становились как можно меньше; ткач и земледелец стараются сблизиться между собою и завязать непосредственные сношения. Купец, напротив того, желает, чтобы производитель и потребитель были как можно дальше друг от друга, чтобы непосредственные сношения между ними были совершенно невозможны, чтобы препятствия, лежащие между ними, были или, еще лучше, казались обеим сторонам чрезвычайно значительными.

Там, где между производителем и потребителем нет препятствий, там не нужно посредника, там роль купца равняется нулю. Когда увеличиваются расстояния и препятствия, тогда возрастают важность и барыши купца, который, наконец, совершенно порабощает и производителя и потребителя. Первому он назначает произвольно малую цену; со второго берет произвольно большое количество денег, продукта или труда; оба, производитель и потребитель, доходят до крайней степени нищеты и зависимости, а богатеет и усиливается только их общий благодетель, услужливый джентльмен, не производящий ничего и совершающий постоянно прогулки от ткачей к землевладельцам, от землевладельцев к меховщикам, от меховщиков к плантаторам пряностей и т. д.

Обмен услуг и продуктов составляет ту общую цель, к которой стремятся все люди; торговля есть дорога, ведущая к этой цели; чем эта дорога прямее и короче, тем выгоднее для производителя и потребителя; чем она длиннее и запутаннее, тем выгоднее для торговца, стоящего между производителем и потребителем. Купить дешево и продать дорого — вот то золотое правило, которое всегда руководило торговцами, а это правило может быть выполнено в самых роскошных размерах тогда, когда производитель и потребитель не знают друг друга и не имеют возможности условиться между собою насчет цены и достоинства продуктов. Прямая выгода торговца

побуждает его мешать сношениям производителя с потребителем и держать того и другого в состоянии невежества и такой нищеты, которая принуждала бы их отдавать весь свой труд или все продукты труда за кусок хлеба или за лоскут ткани, брошенный им сердобольным торговцем.

Средства мешать сношениям людей между собою и поддерживать между ними невежество и бедность очень незамысловаты; они были известны всем торговцам древнего мира и в существенных чертах своих остались неизменными до наших времен. Морская торговля и морской разбой постоянно помогали друг другу; финикияне, малоазийскйе греки и жители островов Архипелага с одинаковым успехом занимались и тем и другим. Когда в каком-нибудь поселении проявлялось желание жителей удовлетворять своим потребностям без помощи торговцев, когда зарождались первые начатки разнообразия занятий и когда, таким образом, ткач пытался поселиться рядом с земледельцем,— тогда, конечно, торговцы старались немедленно искоренить такие предосудительные стремления. К мятежному поселению приставала сильная флотилия; с кораблей сходили вооруженные люди; местечко разорялось; часть его жителей погибала в свалке, а кто оставался в живых и не успевал укрыться в какую-нибудь трущобу, тот обращался в товар и продавался в рабство в таком месте, где за рабов давали хорошую цену. После такого разгрома оставшиеся жители выползали из своих убежищ и, конечно, принуждены были употреблять все свои силы на добывание пищи; о ремесленных занятиях нечего было и думать; людей оставалось слишком мало, да и все заведения вместе с орудиями производства были истреблены разгневанными торговцами. Разумеется, зависимость оставшихся жителей от соседних воинов и торговцев становилась совершенно безответною, и всякое стремление к промышленной самостоятельности затихало на многие десятки лет.

Сила торговцев состояла преимущественно в том, что в их руках была монополия перевозочных средств; они были владельцами кораблей и мореплавателями, они знали торговые пути, они умели обходить подводные камни и выбирать для своих путешествий благоприятное время года; если дело шло о сухопутной торговле, то им были известны свойства земель и нравы жителей, мимо которых лежал путь их караванов; они знали, как проходить

через песчаные пустыни и где отыскивать в них оазисы и источники воды, они держали стада верблюдов, приученных ко всем тягостям походной жизни; и, наконец, как сухопутные, так и морские торговцы знали в совершенстве, в каких краях господствует изобилие или недостаток в тех или других произведениях, т. е., другими словами, на каком рынке можно купить какой-нибудь предмет дешево или продать его за дорогую цену. Все эти знания и преимущества оберегались торговцами самым ревностным образом: торговые пути финикиян и карфагенян считались государственною тайною, и путешественники этих наций распространяли умышленно самые нелепые сказки о тех далеких землях, которые они посещали. Если у какого-нибудь соседнего племени заводились корабли, то купцы, видя в них будущих конкурентов, при первой возможности захватывали их в плен или пускали их ко дну; иногда тем и кончалось дело, а иногда обиженное племя затевало войну, после которой победители становились властителями моря и на несколько времени избавлялись от всякого соперничества. С воинами, не пускавшимися в торговые предприятия, купцы жили в самых дружеских отношениях; воины были самыми лучшими покупателями; они сбывали купцам захваченных пленников и ту часть добычи, которая не была удобна для их личного потребления; тем же путем уходила значительная часть той дани, которую воины собирали натурою с порабощенных земледельцев и со всей трудящейся массы; купцы давали им взамен предметы роскоши, привезенные из далеких земель; за эти предметы воины давали очень хорошие цены и находили такие покупки чрезвычайно выгодными, потому что продукты, которыми они расплачивались, были произведены работою простых смертных и не стоили самим героям ни малейшего личного труда. Доброе согласие между воинами и купцами всею своею тяжестью лежало на плечах трудящегося большинства; чем туже набивался кошелек торговца и чем чаще появлялись затейливые кушанья на столе воина или пестрые ткани в его одежде, тем сильнее голодал земледелец, тем грубее становились его орудия и тем полнее делалось его порабощение.

Древняя история представляет много примеров таких зачинавшихся цивилизаций, которые сначала были приостановлены войною и торговлею, а потом погибли без следа под грудою благодеяний, насыпанных на развитие

народа щедрыми руками купцов и героев. Война и торговля, как два главные вида присвоения, возникают чрезвычайно рано в каждом образующемся обществе людей; история не может проследить их происхождения, потому что она везде находит их уже существующими; история каждого народа начинается даже обыкновенно с каких-нибудь сказочных преданий о военных подвигах и о приобретении богатой добычи. Так как добыча эта, наверное, куда-нибудь сбывалась и на что-нибудь обменивалась, то, очевидно, война и торговля относятся к разряду таких фактов, которые, подобно языку, мифологии и варварским начаткам земледелия, зарождаются в глухие времена неопределимой древности. Война и торговля совершенно доступны дикарям, находящимся на очень низкой степени умственного развития. Для войны требуется физическая сила, из которой естественным образом развивается самонадеянность и отвага; а для торговли необходима хитрость, т. е. уменье прикладывать мелкие средства к достижению мелких целей. Для войны не требуется никаких знаний, а при торговле принимаются в расчет только такие знания, которые легко усвоиваются дикарем и не нуждаются в исследовании и в анализирующем труде мысли. Торговцу надо помнить дороги и подводные камни, надо применяться к обычаям иностранцев и знать по нескольку слов из их языков, надо соображать, куда везти купленный товар и что брать за него в обмен. Все эти сведения, при ограниченном объеме торговых операций, приобретаются очень легко, путем простого навыка, без содействия тех сложных процессов мысли, к которым неспособен мозг первобытного человека.

XVI

Могущество торговца и его господства над первобытным обществом основано преимущественно на том обстоятельстве, что он один владеет перевозочными средствами. Когда число людей увеличивается и население становится гуще, тогда власти торгового сословия наносится первый значительный удар; между деревнями, местечками и городами проводятся дороги, которые дают каждому из жителей возможность нести и везти свои продукты на различные рынки. Когда не было дорог, тогда каждый

производитель поневоле принужден был продавать свои произведения на месте странствующему купцу, у которого были лодки и корабли для речной и морской перевозки или верблюды, волы, ослы и мулы для перевозки через горы, луговые степи и песчаные пустыни. Чем лучше становятся дороги, тем доступнее делается перевозка каждому из производителей; шоссейные дороги покрываются целыми обозами сельских продуктов, а когда шоссе, в свою очередь, сменяется железною дорогою, тогда длинные ряды вагонов почти совершенно уничтожают расстояние между производителем и потребителем, так что купец, назначавший в былое время свои цены с диктаторским самовластием, превращается теперь в скромного комиссионера, получающего за свой труд определенный процент. Во время владычества купца, при отсутствии путей сообщения, значительное количество человеческого труда тратилось на перемещение продуктов. Целые легионы разных погонщиков и ямщиков проводили всю свою жизнь в странствовании по горам и пустыням; к этому же классу людей следует отнести лодочников, бурлаков и матросов; все они не производили ни одного зерна, и пропитание их целиком ложилось на земледельцев. Всякое улучшение дорог клонится к уменьшению этой непроизводительной траты труда: на шоссе тройка лошадей может свезти тот груз, который на простой дороге свезут пять лошадей, следовательно, как количество лошадей, так и количество людей, трудящихся при перевозке, уменьшается почти наполовину при переходе с простой дороги на шоссе. Паровозы сгоняют с дороги всех лошадей и почти всех людей; так точно поступают речные пароходы с бурлаками и морские пароходы с матросами купеческих судов; в экономии оказывается огромная масса лошадиного и человеческого труда, и эта экономия на первый раз производит тягостный застой рабочей силы, потому что люди, привыкшие к известному роду занятий, не знают, куда пристроить себя; но застой этот не может быть продолжителен, потому что никогда и нигде еще земледелие не доходило до такой степени совершенства, при которой приложение новых рабочих сил к земле было бы делом излишним. Мы теперь даже не знаем, может ли быть достигнуто такое положение; вероятнее то, что производительные силы земли могут увеличиваться безгранично и что каждое новое приложение труда к обработке земли будет всегда вознаграждаться со-

ответственным приращением продукта. Если даже производительные силы земли имеют пределы, то пределы эти далеко не достигнуты, и для нас, с ближайшим нашим потомством, недостижимы; следовательно, во всяком случае экономия труда по теории должна быть признана выгодною; если же мы видим иногда в истории и в жизни, что устранение людей от производительных занятий ведет за собою множество индивидуальных страданий, то мы должны искать причины этих страданий не в развитии путей сообщения, а в тех обстоятельствах, которые предшествовали этому развитию.

Преобладание военного и торгового элемента всегда и везде мешает разнообразию занятий, затрудняет сношения и сближение между людьми, делает невозможным прямой обмен продуктов и быстрое обращение мыслей и, таким образом, удерживает массы на самом низком уровне промышленного и умственного развития. Каждая отдельная личность в этой массе порабощена, затерта произволом и задавлена утомительным однообразием неблагодарного труда. Такая личность не знает ни своих сил и способностей, ни тех отраслей деятельности, к которым могут быть применены эти способности. Для такой личности каждая важная перемена, даже самая благодетельная, составляет истинное несчастие, потому что застает ее всегда врасплох и всегда повергает ее в безвыходное недоумение. Приложение рабочим силам всегда найдется, но чтобы искать, необходима сметливость и предприимчивость, а эти свойства не существуют, потому что они систематически истреблялись всею совокупностью обстоятельств, развившихся из элемента присвоения в далеком историческом и доисторическом прошедшем. Само собою разумеется, что эта совокупность неблагоприятных обстоятельств не могла произойти от развития путей сообщения, которое, напротив того, составляет первый шаг к освобождению человеческой личности и к возвышению благосостояния трудящихся масс. Сначала пути сообщения облегчают перевозку, но потом они мало-помалу избавляют производителя от необходимости перевозить продукты.

Эта последняя мысль может показаться парадоксальною, но нетрудно убедиться в том, что она не заключает в себе ни малейшей натяжки. Всякое усовершенствование в путях сообщения передает, как мы видели, в руки производителей часть барышей, достававшихся прежде посредникам, т. е. торговому классу. Когда купец становил-

ся богатым, то он употреблял свое богатство или на расширение торговых операций, или на удовлетворение тем прихотям, которые естественным образом возникают у обеспеченного человека. В первом случае господство купца над производителями, потребителями и мелкими торговцами становилось тем неотразимее, чем большее количество капитала пускалось в обращение. В увеличении этого господства не было, конечно, ничего утешительного ни для целого общества, ни для трудящейся массы. Во втором случае купец тратил свое богатство в больших торговых и промышленных центрах страны; через это увеличивалась притягательная сила этих центров, которые и без того высасывали из провинций лучшие соки их продуктов; кроме того, такая трата богатства поощряла производство предметов роскоши, а это производство несовременно и вредно в том обществе, в котором большинство членов нуждаются в самом необходимом. Положение дел совершенно изменяется, когда огромный барыш купца разделяется между производителями так, что каждый из них получает небольшой излишек. Этот излишек тратится непременно или на то, что необходимо для личного потребления, или на улучшение орудий производства.

У нас есть в обществе недоверчивые читатели, которые, считая себя практическими людьми, немедленно поразят мою аргументацию словами: «Мужик пропьет! Чем больше получит, тем больше в кабаке оставит!» Как ни сильно звучит в этих словах *практическая* нота, тем не менее приходится признать возражение недоверчивых читателей совершенно неосновательным. И статистические таблицы, и наблюдения всевозможных путешественников, и доклады разных специальных комиссий доказывают самым положительным образом, что пьянство и всякое безобразие развивается всего сильнее в бедных странах и в беднейших классах. Люди пьют с голоду, что имеет и физиологическое и экономическое основание. Чарка водки дешевле хорошего куска мяса, а между тем алкоголь уменьшает количество выдыхаемой углекислоты и, замедляя таким образом перегорание органических тканей, дает работнику возможность поддерживать свои силы меньшим количеством пищи.

Устраняя таким образом возражение отечественных практиков, производящих свои глубокомысленные наблюдения на пространстве десяти квадратных верст, я по-

вторяю, что излишек, достающийся производителям, будет истрачен ими — или на пищу, платье и жилище, или на рабочие инструменты. В том и в другом случае общество получает прямую выгоду. Когда производитель сыт, одет и живет в сухом, теплом и светлом помещении, тогда он работает больше, охотнее и успешнее. Здоровье его улучшается; средняя продолжительность жизни увеличивается, способность размножения становится сильнее, и общество растет и богатеет; вместе с многолюдством является разнообразие занятий, развивающее предприимчивость и изобретательность; движение идей усиливается вместе с обменом продуктов, и общество во всех своих слоях с каждым годом становится богаче, деятельнее и счастливее. То же самое происходит в том случае, когда производитель затрачивает свой излишек на улучшение орудий, потому что за улучшением орудий, конечно, следует приращение продукта, которое ведет за собою новое улучшение и таким образом подает сигнал к постоянно ускоряющемуся движению вперед. Движение это совершается тем скорее, чем меньше труда и времени тратится на перевозку, а я сказал уже выше, что улучшение путей сообщения не только облегчает перевозку, но даже постепенно устраняет ее необходимость.

Вот как это делается: когда производители увеличивают количество своих закупок и заказов, то такое увеличение очень скоро замечается фабрикантами и ремесленниками; производителей так много, что если каждый из них прибавит только по пяти копеек к своим ежемесячным расходам, то эта прибавка составит уже заметный расчет для их поставщиков. Поставщик, постоянно получающий много заказов из одного места, постарается, конечно, приблизиться к этому месту, рассчитывая совершенно основательно, что заказов будет тем больше, чем меньше будут препятствия, заключающиеся в расстоянии и в перевозке. Когда к кузнецу, живущему в городе, постоянно приводят для ковки по десяти лошадей в день из большого села, лежащего верст за пятнадцать от городской заставы, то кузнец может совершенно основательно предположить, что в этом селе куют лошадей только те мужики, у которых есть надобность побывать в городе; кто победнее, кто бережет каждый час времени, тот оставит свою лошадь некованою, а между тем и этот мужик подковал бы свою лошадь, если бы кузнец жил в селе; далее, кузнец соображает, что у него в городе много конкурентов и что го-

родской работы на всех не хватает; тогда он переселяется на лоно сельской природы, к великому удовольствию мужиков и к великой пользе всех лошадиных ног. Так точно рассуждает и поступает плотник, которого часто требуют с топором в село для сооружения изб, амбаров, скотных дворов и всяких других хозяйственных построек. Пока мужики ходили в лаптях, сапожнику нечего было делать в селе, и те богатые крестьяне, которые могли позволять себе эту роскошь, принуждены были покупать сапоги в городе; когда выгодный сбыт сельских продуктов помимо благодетельных купцов дал возможность всем мужикам обуваться по-человечески, тогда в селе появился свой сапожник. Чем богаче становятся крестьяне, тем больше заводится в их селе ремесленных и торговых заведений; образуется местный центр, удовлетворяющий всем потребностям местных жителей; крестьянин кормит ремесленника и сбывает таким образом свой хлеб, а ремесленник одевает и обувает крестьянина и сбывает таким образом свой труд. Сырые продукты, получающиеся на месте, переработываются, потребляются и возвращаются земле в виде разнообразного удобрения. Крестьянину незачем ехать в город ни для продажи, ни для покупки, стало быть, его производство увеличивается всем тем количеством труда и времени, которое прежде тратилось на разъезды. Но если мы припомним первоначальную причину этого сбережения, то мы увидим, что она заключается в том улучшении путей сообщения, которое избавило крестьянина от тиранической власти купца и увеличило заработок первого, уменьшив хищные барыши последнего.

XVII

Пути сообщения приносят обществу значительнейшую долю пользы в том случае, когда они содействуют образованию и развитию мелких местных центров; эти местные центры противодействуют притягательной силе больших центров и распространяют во всей стране то разнообразие занятий, которое прежде сосредоточивалось исключительно в главных городах. Чтобы достигнуть этой цели, пути сообщения должны быть пролагаемы и улучшаемы именно так и именно там, где и как того требуют выгоды производителей и потребителей. Надобно, чтобы произ-

водитель прямо с своего поля или гумна мог везти хлеб на ближайший рынок по такой дороге, на которой, по крайней мере, не вязли бы по ступицу колеса телеги и не надрывались бы животы лошадей; необходимо, следовательно, чтобы пути сообщения устраивались и улучшались прежде всего между отдельными деревнями и между деревнею и ближайшим городом; необходимо, чтобы облегчалась та часть перевозки, которая падает прямо на одного производителя.

Бо́льшая часть экономистов рассуждает иначе. Они очень мало заботятся о движении продуктов и о разнообразии занятий в самом обществе; все внимание их устремлено на торговлю общества с другими обществами; сравнительное богатство различных государств определяется, по их мнению, теми количествами продуктов, которые вывозятся за границу или ввозятся из-за границы; чем сильнее вывоз перевешивает ввоз, тем радостнее бьются патриотические сердца экономистов. Рассуждая таким образом и питая самую нежную привязанность к барышам купца, эти мыслители заботятся исключительно о таких путях сообщения, которые связывают между собою бо́льшие центры, или о таких, которые соединяют большой центр с приморским пунктом, отпускающим продукт за границу. Эти пути приносят самую существенную выгоду торговцам и не доставляют никакой выгоды производителям; продукт, свезенный в один из центров, сосредоточился уже в руках купцов, следовательно, перевозка этого продукта в другой центр или в приморский пункт составляет заботу торговцев, и облегчение этой перевозки ведет за собою только увеличение купеческих барышей и расширение торговых операций. В это самое время производители, которым приходится возить продукт из своих деревень в ближайшие города, за пятьдесят или шестьдесят верст, по-прежнему калечат своих лошадей и ломают свои телеги, так что тяжелая часть перевозки по-прежнему лежит на производителях, между тем как она снята с торговцев. Но, конечно, экономисты, принадлежащие, по-видимому, к той школе эстетиков, которая признавала только высокое и прекрасное, не снисходят до рассмотрения низких предметов серой производительской жизни. Статистика не отмечает числа испорченных мужицких лошадей и поломанных колес, и поэтому экономисты соболезнуют только о тех возвышенных трудностях, с которыми приходится бороться купеческим капи-

талам, обращенным на заграничную торговлю; а между тем недурно было бы помнить, что благосостояние всего общества зависит гораздо больше от числа сытых людей и здоровых лошадей, работающих в поле, чем от числа рублей, долларов или фунтов стерлингов, составляющих годовой барыш того или другого первоклассного негоцианта. Поэтому экономистам и всем другим людям, болеющим душою об общественном благе, вовсе не мешало бы от времени до времени переносить свое просвещенное внимание с великих и прекрасных линий железных дорог на низкие и пошлые предметы, называющиеся в просторечии грязными проселками. В них-то именно и заключается вся сила путей сообщения, та сила, по крайней мере, которая может накормить и одеть мужика, научить его уму-разуму и сделать его зажиточным и полезным человеком.

Дороги, реки и каналы страны могут быть названы кровеносными сосудами, в которых обращаются питательные соки общественного организма; все люди, правильно понимающие действительные интересы общества, должны желать, чтобы эти питательные соки обращались как можно равномернее и быстрее, чтобы они не застаивались ни в каком месте кровеносной системы, чтобы нигде не происходило приливов и чтобы ни одна часть страны не страдала малокровием. Любители общественного блага, заграничной торговли и купеческих барышей находят, напротив того, что о быстроте и равномерности внутреннего обращения заботиться не стоит. Они полагают, что счастье страны будет совершенно обеспечено, если окажется возможность вскрыть одну из больших артерий и затем постоянно отсылать за море бочки вытекающей крови. Чем больше можно будет отослать этой крови и чем быстрее она будет притягиваться к ране и вытекать наружу, тем богаче и могущественнее будет становиться весь организм общества. Это сравнение употреблено здесь вовсе не для красоты слога. Не трудно будет доказать, что оно буквально верно. Панегиристы заграничной торговли советуют тем странам, в которых мало развита мануфактурная деятельность, вывозить сырые продукты и обменивать их на иностранные сукна, шелковые и бумажные материи, стальные орудия и всякие другие фабричные произведения. Так делается теперь во многих странах, но панегиристы доказывают, что так и всегда должно делаться, потому что некоторые государства дол-

жны быть чисто земледельческими, а другие — промышленными; затем дело считается решенным в теории, и все усилия направляются к тому, чтобы на практике усилить вывоз сырых произведений из тех стран, которым велено быть чисто земледельческими.

Но тут представляется маленькое затруднение. Земля родит хорошо в продолжение нескольких лет, а потом становится скупою, и чем дальше, тем хуже, так что даже оставление земли под паром не поправляет дела. Тогда истощенный участок покидается, и вместо него разработывается полоса новой земли; это разработывание сопряжено с значительными трудностями и только на ограниченный промежуток времени поправляет положение земледельца, потому что новая земля также истощается и начинает отказывать в урожаях. Снова является необходимость распахивать новь, и так продолжается до тех пор, пока не окажется, что вся земля выпахана и истощена. А потом? Потом человеку приходится бежать куда-нибудь вдаль, искать опять новых земель, как бегут американские земледельцы на запад с таких земель, которые только пятьдесят лет тому назад были заселены. Но ведь и запад не бесконечен; придется когда-нибудь добежать до Великого океана и поворотить назад, на опустошенную глушь, поросшую бурьяном и сорными травами. Вывозить сырой продукт — все равно, что срезывать верхние слои земли и отправлять их за море; срезавши несколько слоев, человек находит, что больше нечего резать, потому что он дошел уже до того грунта, который не дает ему пищи и, следовательно, для продажи за границу также не годится. Нельзя не согласиться с тем, что такой образ действий в народном хозяйстве совершенно соответствует вытягиванию крови из животного организма. Всякому деревенскому свинопасу известно, что земля родит хлеб хорошо тогда, когда ее удобряют; а удобрение есть тот же сырой продукт, прошедший через желудки людей и животных и возвращающийся в землю. Если продукт отправить за границу, то с удобрением приходится проститься. Те хозяева, которые держат скот для удобрения и в то же время отправляют целые обозы зернового хлеба на далекие рынки, утешают себя сладкими, но обманчивыми мечтами. Земля их медленно истощается. Чтобы сохранять и увеличивать свою производительную силу, земля должна получать обратно в виде удобрения весь сырой продукт, снятый с нее при уборке хлеба. Если мы будем

давать ей только часть этого продукта, то она будет становиться беднее, хотя, конечно, не так быстро, как в том случае, когда бы мы не возвращали ей ничего. Цветущее земледелие существует только в тех странах, в которых весь сырой продукт переработывается и съедается на месте, а это возможно только в тех частях земли, в которых разнообразие занятий и развитие промышленности позволяет людям сдвигаться в тесные группы и устроивать множество мелких центров. Земледелие идет хорошо в Англии, еще лучше в Бельгии и в Северной Германии, т. е. именно в тех странах, в которых всего сильнее развита мануфактурная деятельность. Земледелие идет плохо в России, в Турции, в южных штатах Америки, т. е. именно в тех странах, которые обречены учеными людьми на исключительно земледельческую роль.

Из этого следует заключение, что чисто земледельческая страна, с успехом занимающаяся земледелием, есть чистейший миф. Создание этого мифа, стоящего рядом с законами Мальтуса и Рикардо, делает величайшую честь блестящей фантазии ученых изобретателей, но к явлениям и фактам действительности этот миф относится точно так же, как относятся к ним Оберон и Титания[28]. В действительности есть земли, производящие в изобилии хлеб и ткани, сырые продукты и фабричные изделия, и есть другие земли, которые не производят ничего, кроме сырья, но зато и сырья производят мало. На этих последних землях вовсе не лежит какая-нибудь печать отвержения; они могут также завести у себя мануфактуры, оживить свое население разнообразием занятий и устроить множество мелких центров производства и потребления. Когда они сделают это, тогда и сырье будет рождаться у них в большем количестве, а пока они будут слушать мудрых экономистов и гнаться только за усилением вывоза, до тех пор им придется только дивиться тому, как это чисто земледельческая страна не может завести у себя порядочного земледелия; чем сильнее и продолжительнее будет упорство в этом направлении, тем полнее будет истощение земли и тем ужаснее будут нищета, невежество и порабощение жителей.

Из всего, что было говорено выше, следует, что пути сообщения полезны тогда, когда пробуждают местную жизнь и содействуют образованию мелких центров. Но путями сообщения может овладеть торговый элемент или какая-нибудь другая сила, развивающаяся из того же

общего начала присвоения,— и тогда пути сообщения, проложенные не там, где следует, могут только ускорить движение общества к истощению земли, к подавлению всякой внутренней промышленности и к порабощению жителей, обреченных на вечное однообразие труда и на безвыходную зависимость от наглого произвола торговцев и от беспрерывных колебаний цен на далеких рынках.

XVIII

Чтобы передвигать или перевозить с места на место сырой материал, человеку надо знать только величину и вес его, то есть такие свойства, которые определяются простым свидетельством чувств. Чтобы производить в этом материале механические или химические изменения, необходимо иметь более подробные и специальные сведения о свойствах материи. Поэтому уменье перерабатывать сырой материал развивается в человеческих обществах уже тогда, когда существуют перевозочные средства и пути сообщения. В самом грубом быте дикарей проявляется уже способность изменять форму материи, но эти зародыши ремесленной деятельности относятся к высшим видам развитой промышленности точно так же, как начатки варварского земледелия относятся к подвигам научной агрономии. Дикарь умеет добыть себе огня трением двух кусков дерева; он умеет изжарить кусок мяса или сварить пойманную рыбу; он умеет превратить палку в лук и заострить оконечность твердого кремня; но все эти операции скользят по поверхности материи, производят в ней незначительные изменения и доставляют дикарю очень ограниченную власть над окружающею природою. Дикарь убивает зверя тяжелым камнем, но он не знает, что в этом самом камне заключается железная руда и что из этой руды можно сделать топор, которым очень удобно можно будет убивать зверей и рубить деревья. Поваливши зверя, дикарь сдирает с него шкуру и набрасывает ее себе на плеча, но он опять-таки не знает, что шерсть, покрывающая шкуру, может быть переработана в такую материю, которая гораздо удобнее самой шкуры может служить одеждою. Кроме того, дикарь не знает, что шкуру можно выделать и превратить в кожу, которая доставит очень удобную обувь.

Таким образом, звериная кожа, способная дать дикарю суконный плащ и сапоги, дает ему только какую-то неуклюжую и неудобную накидку. Силы природы остаются под спудом, потому что у дикаря нет тех сведений о свойствах материи, которые необходимы для того, чтобы вызвать эти силы к целесообразной деятельности. Те немногие и незначительные изменения, которым дикарь умеет подвергать сырой материал, требуют от дикаря больших усилий и дают ему ничтожные результаты; много времени и труда уходит на перемещение материи и так же много на перемены формы, так что на самое важное дело человека, на обработывание и улучшение земли, единственного источника всякого богатства, дикарь может употреблять очень мало времени и физических усилий.

Улучшение перевозочных средств уменьшает трудности передвижения, а улучшение механических и химических процессов производства точно так же уменьшает трудности превращения. Вся масса сберегаемой силы должна тогда обращаться на землю, и это увеличение в средствах обработки должно вести за собою соответствующее приращение в количестве сырого продукта. На мельнице вода, ветер или пар превращают зерно в муку и выполняют таким образом ту работу, которую прежде должны были совершать тысячи человеческих рук или сотни лошадиных сил; в это время освобожденные люди и лошади могут прилагать свой труд более производительным образом, увеличивая количество того зерна, которое должно быть превращаемо в муку. Приложение паровой силы к прядильной машине и к усовершенствованному ткацкому станку дает возможность шести женщинам превращать в ткань такое количество шерсти, которое сто лет тому назад, в тот же промежуток времени, требовало для своей переработки усиленного труда нескольких сот мужчин; эти освободившиеся работники могут посвятить свои силы тщательному уходу за скотом, могут улучшить породу овец обильным и отборным кормом и могут таким образом значительно увеличить то количество шерсти, которое должно быть превращаемо в ткань.

Усовершенствование механических и химических процессов, сберегающее ту рабочую силу, которая должна была употребляться на переработку материала, ведет за собою, кроме того, сбережение в той массе сил, которая

тратилась на перемещение. Положим, что страна производит хлеб и железную руду; если она будет отправлять за границу то и другое, то на перевозку этого сырья потребуется много повозок, вагонов или кораблей, потому что хлеб и руда занимают много места и представляют, сравнительно с своею ценностью, очень громоздкий и тяжелый груз. Но если хлебом кормить дома работников, которые будут превращать руду в полосное или листовое железо, то этот новый продукт может быть отправлен на меньшем количестве повозок, между тем как ценность его будет соответствовать ценности руды, сложенной с ценностью съеденного хлеба. Если листовое и полосное железо будет превращено внутри страны в стальные ножи, то ценность этих ножей будет также соответствовать ценности употребленного железа, сложенной с ценностью того хлеба, который съедят новые работники, а для перевозки ножей потребуется еще меньше повозок, чем сколько требовалось для перевозки листового и полосного железа.

Если мы подумаем теперь, сколько повозок надо было бы употребить для вывоза железной руды и всего хлеба, съеденного всеми работниками, и если мы сравним это количество с тем, которое потребуется для вывоза ножей, сделанных из той же массы руды, то мы увидим, что первое количество по крайней мере в двадцать раз больше второго. Это докажет нам, что всякая переработка сырого продукта на месте сберегает огромную массу сил, которые иначе пришлось бы издержать на перевозку. Руда и хлеб комбинируются между собою и сжимаются в форму ножей, которые можно везти на край света. Точно так же шерсть и хлеб сжимаются в форму сукна, хлопок и хлеб — в форму кисеи, лен и хлеб — в форму полотна или кружева, и при всех этих операциях постоянно сберегается значительное количество перевозочной силы; а так как всякая трата труда на перевозку сама по себе непроизводительна, то всякое сбережение в этом деле приносит обществу чистую выгоду.

Эти соображения составляют также довольно увесистый аргумент против мечтателей, превозносящих вывоз сырья и прелести исключительного земледелия. В Великобритании все паровые машины, вместе взятые, заменяют собою ручной труд шестисот миллионов людей, и бóльшая часть этих машин употребляется на сжимание хлеба и шерсти в сукно, хлеба и хлопка в разные ткани,

хлеба, угля и руды в стальные орудия; можно себе представить, сколько человеческой силы сберегается для земледелия и для изучения свойств природы; если далеко не вся масса сбереженной силы употребляется производительно, то в этом виноваты уродливые условия английского землевладения и распределения имуществ, то есть такие обстоятельства, которые завещаны настоящей эпохе теми мрачными временами, когда элемент присвоения не встречал себе никакой задерживающей плотины.

XIX

Чем сильнее развивается в каком-нибудь обществе способность переработывать сырой материал на месте, тем большее количество даров природы находит себе полезное употребление. Одинокий поселенец всегда беден и, кроме того, по необходимости расточителен. Чтобы расчистить себе несколько акров или десятин земли, он часто сжигает сотни деревьев; этот обычай до сих пор существует в наших северных губерниях и в американских поселениях на далеком западе; зола сожженных деревьев идет на удобрение земли, между тем как в заселенной и промышленной земле все составные части дерева нашли бы себе полезное приложение: ствол превратился бы в доски, кора пошла бы на дубление кожи, и даже тонкие ветки нашли бы себе душеспасительное педагогическое применение. В бедном поселении изношенные тряпки выбрасываются, а в промышленном городе они идут на выделку бумаги; гвозди, выскакивающие на улицах из подков лошадей, превращаются в ружейные стволы; медные опилки употребляются на приготовление краски, обрезки кожи — на производство клея, кости мертвых животных — на очистку сахара; из уличных нечистот добывается аммониак, составляющий одну из составных частей нашатырного спирта. Словом, в больших и промышленных городах не теряется почти ни одна частица материи; здесь деятельность и изобретательность людей повторяет в меньших размерах то вечное круговращение вещества, которое составляет собою жизнь природы. Разнообразие занятий дает возможность каждому отдельному человеку проявить свои индивидуальные способности в соответствующей им форме деятельности, и это же самое разнообразие занятий позволяет одной отрасли

промышленности извлекать пользу из тех, по-видимому, негодных остатков и обрезков, которые выбрасываются ремесленниками другой отрасли. Таким образом, сильно развитое уменье производить механические и химические изменения в форме вещества распределяет самым выгодным образом как человеческие силы, так и частицы сырого материала.

Те земли, в которых мануфактурная промышленность доведена до высокой степени совершенства, несут, конечно, свою долю страданий, произведенных элементом присвоения, но положение этих земель, по всей справедливости, может быть названо счастливым, если мы сравним его с участью тех стран, в которых свирепствует исключительное земледелие. Как ни тяжела жизнь английского или бельгийского пролетария, она все-таки показалась бы легкою негру, работающему на сахарных плантациях Ямайки или разводящему хлопок в Каролине. В чисто земледельческих южных штатах силы человека тратятся самым нерасчетливым образом, и рабство держится в них именно потому, что отсутствие разнообразия в занятиях лишает работника всякой возможности применять к производству силы своего мозга. Человек делает то, что мог бы делать вол, но так как самый глупый человек умнее самого умного вола и так как самый сильный человек слабее самого слабого вола, то, очевидно, заменять рабочий скот людьми чрезвычайно невыгодно, потому что значительнейшая доля человеческой силы (мозг) остается незанятою и теряется даром, между тем как призывается к деятельности та часть человеческого организма (мускулы), которая в человеке слабее, чем в каждом из вьючных животных. Плантатор, распоряжающийся таким образом с своими неграми, похож на охотника, который легавую собаку пустил бы в погоню за зайцем, а борзую заставил бы отыскивать дичь. Было бы неосновательно думать, что плантаторы чувствуют особенную нежность к рабству и к такой методе земледелия, которая истощает почву; они сами попали в заколдованный круг; тираническое господство английской торговли поддерживало у них исключительное земледелие; исключительное земледелие, как и всякое однообразие занятий, мешало ассоциации человеческих сил и тесному группированию населения; разбросанность населения не позволяла людям побеждать те препятствия, которые встречают земледельца на богатой почве долин и речных берегов; необходимость ограничи-

ваться обработкою тощей земли холмов поддерживала бедность; бедность мешала усовершенствованию орудий; плохие орудия укрепляли рутину земледельческих приемов; рутинные приемы вели к отупению работника; тупой работник мог очень легко быть заменен рабом; а когда рабство пустило свои корни, тогда потерялась всякая возможность освободиться от торгового ига Англии и завести свои мануфактуры. Вызванное к жизни бедностью и рутиною, рабство, в свою очередь, сделалось самым твердым оплотом рутины и бедности; заколдованный круг оказался таким образом замкнутым, и он может быть разбит только таким событием, которое, как теперешняя американская война[29], не зависит ни от плантаторов, ни от их негров, ни от торговых оптиматов[30] Англии.

Где нерасчетливо тратится высший вид материи, заключающийся в человеческих силах, там тратится так же нерасчетливо низший вид материи, состоящий в разнообразных сырых продуктах почвы. Во всех исключительно земледельческих странах природа каждый год формирует и каждый год разрушает огромное количество такого материала, который при надлежащей обработке мог бы доставить человеку множество разнородных удобств жизни. В южных штатах стебли хлопчатника сжигаются на плантациях, между тем как в них заключаются превосходные волокна, из которых можно было бы сработать отличные ткани. Семена этого растения могли бы дать большое количество масла, но об нем никто не заботится. Бананы, кроме плодов, могут давать с каждого акра от девяти до двенадцати тысяч фунтов волокна, которое годится на всякое производство, начиная от выделки канатов и кончая фабрикациею тончайшей кисеи; и никто этим не пользуется в такой стране, в которой рабочий класс ходит почти в первобытной наготе. Почва плантаций истощается до последних пределов тупым упорством распорядителей, добывающих постоянно один и тот же продукт: хлопок, или сахарный тростник, или рис, или кофе; а в это самое время оставляются без всякого внимания сотни деревьев, кустарников и трав, которые природа производит даром и которые дают или волокна, годные для пряжи, или превосходные красильные вещества. Рутина ничего не видит и портит все, что попадается ей в руки; а рутина совершенно неизбежна в чисто земледельческих странах,

потому что предприимчивость вызывается только разнообразием занятий.

Развитие механических и химических процессов, превращающих сырой материал в предмет, годный для потребления, или в орудие, облегчающее дальнейшее производство, составляет для общества важнейший шаг вперед — к богатству, к свободе и к мирному наслаждению разумною трудовою жизнью. Человеческая личность развилась всего роскошнее и выбилась из-под средневекового гнета феодалов всего полнее именно в тех странах, в которых развернулась разнообразная ремесленная деятельность. Эпоха освобождения и возвышения человеческого достоинства совпадает везде с эпохою пробуждения технической изобретательности и предприимчивости. Человек, начинающий чувствовать себя властелином природы, не может оставаться рабом другого человека. Но элемент присвоения, отравивший торговлю и извращающий в свою пользу пути сообщения, не может и в этом случае оставаться в бездействии. Когда сделано какое-нибудь открытие, то близорукие люди стараются прежде всего не о том, чтобы обратить это открытие против инертного сопротивления природы, а о том, чтобы сделать из него оружие против тех людей, которым оно неизвестно или недоступно. Положим, что в одной земле открыта возможность прилагать силу пара к производству тканей; эта земля родит лен; сделанное открытие даст средства производить огромное количество полотна, употребляя на эту работу малое количество труда; стало быть, труд сберегается и может быть приложен к дальнейшему усовершенствованию в разведении льна. Кроме того, жители страны становятся богаче, потому что каждый из них вместо одной рубашки может приобрести себе дюжину. Так *должно* быть, но *бывает* совсем не так. Люди, разжившиеся торговлею, тотчас заводят себе новые машины, а те люди, которые не могут завести машин, принуждены покупать полотно почти по той цене, по которой оно продавалось до изобретения и применения паровых двигателей. Прежде в стране было множество ткачей, работавших на ручных станках, в свою собственную пользу; теперь обладатели машин совершенно отбивают у них работу; они, обладатели машин, понижают цену полотна как раз настолько, насколько нужно, чтобы убить мелкую промышленность, но совсем не настолько, насколько они, без убытка

себе, могли бы понизить цену вследствие облегчений, произведенных новым открытием.

Таким образом, роковой удар, нанесенный мелким производителям, вовсе не уравновешивается тою ничтожною пользою, которую получают потребители. Вся выгода валится в карман посредника, стоящего между производителем, т. е. поденщиком, работающим на фабрике, и потребителем, т. е. человеком, покупающим полотно. Если бы человеческий труд в данной стране распределялся по различным отраслям производства совершенно расчетливо, так, чтобы не терялись ни время, ни способности работников, тогда, конечно, ткачи, принужденные оставить свои ручные станки, могли бы тотчас приняться за земледелие и обогатить страну приращением сырого продукта. Но в действительности бывает сплошь и рядом так, что одни работники голодают от недостатка работы, между тем как несколько других отраслей промышленности в той же стране могли бы много выиграть, если бы привлекли к себе большее количество рабочих рук. Ланкаширские работники сидят без дела вследствие недостатка хлопка[31] и терпят крайнюю степень нужды, а между тем земля Англии все еще далеко не так хорошо обработана, как того требует современное положение агрономической науки. А происходит такая неурядица оттого, что и мануфактурист и землевладелец стараются извлечь свои барыши и ренты не из природы, а из тощих кошельков потребителей и из того куска хлеба, который они бросают производителю. Об увеличении количества и об улучшении качества продукта заботятся очень немногие капиталисты, а возвысить цену своих произведений и понизить задельную плату работников стараются все. Но кошельки покупателей могут быть истощены, и желудки работников также только до известной степени способны переносить лишения; между тем богатство и силы природы совершенно неистощимы. Кто борется с природою, тот обогащает и самого себя и всех окружающих людей; кто обирает людей дозволенными или недозволенными средствами, тот разливает вокруг себя бедность и страдание, которые непременно, рано или поздно, тем или другим путем доберутся и до него самого.

Если внутри каждой промышленной страны происходит постоянная борьба между перепутанными интересами различных людей, содействующих производству, то, конечно, та же бесплодная и гибельная борьба, в боль-

ших размерах и с бо́льшим ожесточением, разыгрывается во всех международных промышленных сношениях. Та страна, в которой открыто средство ткать полотно паровыми машинами, будет употреблять все усилия, чтобы помешать другой стране, производящей шелк, в применении новых машин к выделке атласа, тафты и других материй. Между тем обеим странам было бы положительно выгодно, если бы в одной производилось как можно больше полотна, а в другой как можно больше шелковых тканей. Обмен между обеими землями усилился бы, и жители обеих земель могли бы пользоваться в изобилии бельем и шелковым платьем. Но международною торговлею и фабричною промышленностью управляют не жители, а капиталисты, которые, по своему неведению, воображают себе, что им нет никакого дела до общего уровня народного благосостояния. Неведение капиталистов внушает им своеобразные расчеты и предвзятые идеи, которым эти джентльмены служат с непоколебимым постоянством и иногда с изумительным самоотвержением. Капиталисты, затратившие свои капиталы на сооружение фабрик, воображают себе, что им необходимо перерабатывать на своих фабриках весь сырой продукт, получающийся с полей, лесов, стад и рудников всего мира. Пусть обитатели всего земного шара занимаются земледелием, скотоводством и добыванием руды; пусть все это сырье везут к нам, в наш маленький уголок; за все это мы сами будем давать такую цену, какую захотим; потом мы сами все это переработаем на наших фабриках, нашими неизмеримо-могущественными машинами, и, наконец, пусть обитатели всего земного шара покупают у нас все, что им нужно для одежды, все, что им нужно для украшения и комфорта, все, что им нужно для работы, начиная от железного гвоздя и кончая паровым локомотивом. Чем меньше будет фабрик и чем больше они будут централизованы, тем бесконтрольнее будет наше господство над миром. Мы всем и всему будем назначать цены; от нас будет зависеть и плантатор, разводящий хлопок, и работник, нанимающийся на нашу фабрику, и всякий человек, желающий купить платье или орудие. Захотим помиловать — помилуем; захотим без хлеба оставить — оставим; все это будет в наших руках, и власти нашей не будет предела. Вот чего желают, вот о чем по крайней мере мечтают все[32] капиталисты; эти золотые грезы понемногу осуществляются; Англия, классическая

страна капитала, действительно держит в крепостной зависимости производителей многих плодородных и обширных земель. Ирландия, Португалия, Турция, Ост-Индия, Вест-Индия, южные штаты, Бразилия продают ей свои сырые продукты и покупают у нее каждый лоскут материи и каждый обделанный кусок железа по той цене, которую ей заблагорассудится назначить. Внутри самой Англии тысячи рабочих рук находятся в полном распоряжении капиталистов; тысячи желудков, соответствующих этим рукам, ожидают от них манны небесной и, по желанию тех же капиталистов, могут быть поражены всеми язвами египетскими. Мечта таких капиталистов была бы совершенно осуществлена, и блаженство этих столпов отечества было бы безоблачно, если бы только им удалось подорвать все фабрики, существующие во Франции, в Бельгии, в Германии и в других странах, не пожелавших ограничиваться поставкою сырья в Англию. К этой-то цели и направляются усилия всех[33] капиталистов всех наций. Подорвать иностранных соперников и отбить у них выгодный рынок — это считается подвигом просвещенного патриотизма, хотя от этого подвига не выигрывает никто, кроме капиталистов. Они понижают цены на свои произведения, работают себе в убыток, несут огромные потери, а потом, подорвавши иностранную промышленность, опять возвышают цены и с избытком вознаграждают себя за пожертвования, положенные на алтарь отечественной славы. Вся тяжесть этих патриотических операций обрушивается, конечно, на работников, которым никогда не удается полакомиться их сладкими последствиями. Когда фабрика работает себе в убыток, тогда хозяин понижает задельную плату, а когда фабрика приносит двойные барыши, тогда хозяин радуется и кладет деньги в карман.

Вся эта система вечной войны между трудом и капиталом описана очень ярко в следующей речи, произнесенной несколько лет тому назад в Бредфорде, в Йоркшире, по поводу выборов:

«Эта система основана на иностранной конкуренции. Теперь я утверждаю, что принцип «покупай дешево, продавай дорого», сталкиваясь с иностранным соперничеством, ведет к разорению рабочих и мелких торговцев. Почему? Труд есть творец всякого богатства. Человек должен трудиться, прежде чем будет выращено одно зерно или соткан один ярд материи. Но в этой стране работни-

ку негде работать на себя. Труд отдается внаем, труд покупается и продается на рынке; следовательно, так как труд создает всякое богатство, то труд должен быть куплен прежде всего. «Покупай дешево, покупай дешево!» Труд куплен на самом дешевом рынке. Тогда начинается другая история: «Продавай дорого, продавай дорого!» Продавай — что? Продукт труда. Кому? Иностранцу — ай! и самому работнику. Так как труд несамостоятелен, то работник не принимает участия в выгодах, добытых его же усилиями. Покупай дешево, продавай дорого! Как вам это нравится? Покупай дешево, продавай дорого! Покупай труд работника дешево и продавай этому же самому работнику продукты его же собственного труда дорого. Таким образом, каждая сделка между нанимателем и наемником оказывается со стороны первого рассчитанным обманом. Труду приходится терпеть постоянную потерю, для того чтобы капитал мог разрастаться от вечного надувательства. Но на этом система не останавливается. Приходится выдержать иностранное соперничество, т. е., другими словами, мы должны разорить торговлю других стран, как разорили труд нашей собственной страны. Как тут быть? Страна, платящая большие налоги, должна подорвать такую, которая платит малые налоги. Конкуренция за границею постоянно увеличивается, стало быть, дешевизна должна также увеличиваться. Надо, стало быть, чтобы задельная плата в Англии постоянно понижалась. А как устроить ее понижение? Излишком рабочей силы. А чем они производят излишек рабочей силы? Монополией земли, которая гонит на фабрику больше рук, чем сколько их требуется; монополией машин, которые выбрасывают эти руки на улицу; женским трудом, который прогоняет мужчину от станка; детским трудом, который, в свою очередь, прогоняет женщину. Тогда, наступив ногою на всю эту живую кучу излишка, они придавливают ее каблуком и кричат: «Голодная смерть! Кто хочет работать? Лучше похлебка, чем совсем ничего!» И измученная толпа жадно хватается за их условия. Такова эта система в отношении к работнику. Но как действует она на вас, избиратели? Какое влияние производит она на домашнюю торговлю, на лавочника, на сбор в пользу бедных и на другие налоги? Каждому возрастанию конкуренции за границею должно соответствовать увеличение дешевизны дома. Дешевизна труда увеличивается вследствие излишка рабочих рук, а этот излишек получается посредством

усиления машин. Я спрашиваю еще раз: как это действует на вас? Вот этот манчестерский либерал устроивает новую машину и за ненадобностью выбрасывает триста человек из фабрик на улицы. Лавочники! Триста покупателей убавилось. Плательщики! Триста бедных прибыло. Но заметьте! На этом зло не останавливается. Эти триста человек понижают задельную плату тех людей, которые остаются за работою. Хозяин говорит: «Теперь я убавляю вам плату». Люди упираются. Тогда он прибавляет: «Вы видите этих триста человек, которые только что ушли отсюда? Вы можете поменяться с ними местами, если хотите; они прибегут сюда на каких угодно условиях, потому что им приходится голодать». Люди чувствуют это и покоряются. Ах вы, манчестерский либерал! Фарисей из политиков! Эти люди слушают — добрался ли я до вас? Но зло и тут не останавливается. Люди, потерявшие работу, ищут себе занятий в других отраслях промышленности и везде понижают задельную плату своим появлением».

Из приведенного отрывка ясно, что усовершенствования в химических и механических процессах переработки очень часто приносят массе общества значительный вред, потому что эти усовершенствования всегда монополизируются теми самыми людьми, которые конфисковали в свою пользу все удобства и наслаждения жизни. Увеличивая могущество одних и бессилие других, открытия и изобретения увеличивают неравенство и порабощение. Если бы такое положение вещей не носило в самом себе зародыша разрушения, если бы можно было думать, что оно прочно и устойчиво, тогда надо было бы сознаться, что каждое наше открытие, улучшающее оружие монополистов, есть новое бедствие, обрушивающееся на нашу породу. Теперь всеми сделанными открытиями пользуется ничтожное меньшинство, но только очень близорукие мыслители могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала.

XX

Ремесленники и фабричные работники посредством разных химических и механических процессов изменяют форму того сырого материала, который так или иначе

производит земля. В большей части случаев человек до сих пор делает очень мало для увеличения производительных сил земли. Роль земледельца почти везде ограничивается тем, что он приводит землю в соприкосновение с семенами и потом, через несколько месяцев, берет себе то, что выросло на ниве. Сколько сырого материала произведет земля и какого качества будет этот материал — это такие вопросы, на которые земледелец не сумеет дать определенного ответа. Мельник знает, сколько пудов муки выйдет из четверти зернового хлеба, и ткач знает, сколько аршин полотна он может выткать из данного количества пряжи, но земледелец, бросивший свои зерна в землю, находится скорее в положении игрока, взявшего лотерейный билет, чем в положении ремесленника, способного высчитать будущие результаты своего труда. Что даст земля, что даст погода — то и возьмет земледелец; успех его труда зависит от стечения многих благоприятных условий; успеху этому могут повредить множество случайных препятствий; зерно, положенное в землю, должно испытать не один видоизменяющий процесс, а целый ряд таких процессов, и этот длинный ряд видоизменений должен тянуться в продолжение нескольких месяцев. Чтобы управлять этими процессами, совершающимися в таинственных лабораториях природы, земледельцу необходимо обладать множеством сложных знаний, а так как до сих пор земледелие повсеместно находится в руках людей очень бедных и совершенно невежественных, то, разумеется, все процессы, относящиеся к созиданию сырых материалов, совершаются как придется, по воле прихотливой судьбы и коварных стихий.

Земледелие зарождается в самой глубокой древности, в то время, когда фабричная промышленность совершенно не существует; но, зародившись так рано, земледелие останавливается на очень низкой степени развития и начинает совершенствоваться только тогда, когда между людьми существует уже привычка к общественной жизни, значительное разнообразие занятий и деятельное движение идей. Торговля, пути сообщения, многочисленные и разнородные фабрики должны познакомить человека со многими прекрасными результатами разумного труда и ассоциации и со многими печальными явлениями присвоения и раздора, прежде нежели появится мысль о рациональном земледелии. Исцарапать землю заступом или плугом и засыпать борозды хлебными зернами может всякий дикарь,

и мы действительно видим, что этими работами занимаются такие люди, которые отличаются от дикарей только платежом денежных или натуральных повинностей. Но чтобы довести шансы неурожаев до самой незначительной величины, чтобы обратить азартную игру земледелия в верное ремесло, чтобы развернуть и вызвать к деятельности скрытые силы земли, — человеку необходимо знать особенности различных слоев земной коры, химические свойства составных частей почвы, условия жизни растительного организма, нравы насекомых, которые могут вредить посеву, признаки, по которым можно судить об атмосферических изменениях, степень зависимости этих изменений от гор, рек, лесов и других особенностей местоположения, степень влияния этих изменений на посевы и множество других одинаково важных подробностей. Физика, химия, геогнозия, метеорология, энтомология, физиология животного и растения находят себе непосредственное приложение к земледелию; бо́льшая часть этих наук возникли очень недавно; обе их стороны, теоретическая и прикладная, разработаны еще очень неудовлетворительно; круг распространения знаний вообще и естественных наук в особенности чрезвычайно тесен; истины, открытые в лаборатории, проникают в мастерскую очень медленно и применяются к фабричному производству очень нерешительно; еще медленнее пробираются они к земледельцу, работающему в поле, и еще нерешительнее относится к ним практика сельского хозяйства.

В последнем случае медленность и нерешительность доходят до таких крайних пределов, что рациональная агрономия в передовых странах Европы представляется до сих пор чем-то вроде затейливого эксперимента, не успевшего упрочить себе никакого значения в промышленной практике. Английские экономисты, например Мак-Куллох, утверждают до сих пор, что выгоднее заниматься мануфактурным производством, чем земледелием, на том основании, что «нет пределов дарам природы в мануфактурных изделиях; напротив того, есть пределы, и не слишком отдаленные, ее дарам в земледелии». Эта чрезвычайно странная мысль подкрепляется следующим рассуждением: «Самый огромный капитал может быть истрачен на сооружение паровых машин, и когда число их будет увеличено безгранично, то последняя машина будет так же сильна, как первая, и будет производить столько

же продуктов и сберегать столько же работы. В отношении к земле вопрос ставится совершенно иначе. Земли первого сорта оказываются быстро истощенными; и если мы будем прилагать безграничные массы капитала даже к лучшим землям, то непременно будем получать с капитала постоянно уменьшающееся количество процентов» (Mac Culloch. Principles of Political Economy, p. 166).[34]

Я привел эти умозрения не для того, чтобы их опровергать: они уже, вероятно, опровергнуты в уме читателя тем простым аргументом, что самая отличная паровая машина не может произвести ни одного клочка шерсти или хлопчатой бумаги и что она приносит пользу только тогда, когда есть сырой материал, произведенный землею посредственно (как шерсть) или непосредственно (как хлопок). Стало быть, если есть известные пределы производительности земли, то на этих же самых пределах должна останавливаться и деятельность машин. Но важно и любопытно заметить, как несокрушимо экономист уверен в том, что производительные силы земли ограничены. Эта уверенность возникает и поддерживается в таких мыслителях совершенно независимо от свидетельств естествознания; она существует даже наперекор этим свидетельствам. Если же целая доктрина, поддерживаемая такими людьми, которых многие считают умными и учеными, может говорить о земледелии и при этом оставлять совершенно в стороне современные попытки и будущие осмысленные надежды рациональной агрономии, то это, очевидно, доказывает, что истины, выработывающиеся в лабораториях и кабинетах натуралистов, плохо проникают даже в смежные кабинеты других ученых и в миросозерцание той части общества, у которой есть лоск образования и досуг для размышления. Знания распределяются чрезвычайно неравномерно между различными слоями человеческих обществ; в низшие слои они проникают туго, а оставаясь в верхних слоях, они часто превращаются в красивую игрушку, развлекающую праздный ум, но неспособную помогать какой бы то ни было производительной работе. В одной части общества лежит масса бесполезного знания, а в другой части в это же самое время напрягаются человеческие силы до болезненного истощения,— напрягаются в слепом, рутинном и, следовательно, неблагодарном труде. Соедините знание и труд, дайте знание тем людям, которые по необходимости извлекут из него всю заключающуюся в нем практическую пользу,

и вы увидите, что богатства страны и народа начнут увеличиваться с невероятною быстротою.

К сожалению, в этой разрозненности труда и знания, проявляющейся в жалком состоянии современного земледелия, нет ничего случайного. Эта разрозненность служит верным симптомом и является неразлучным спутником слабости общественного движения. Где население разбросано по большому пространству земли, где все жители поневоле принуждены добывать себе хлеб первобытными приемами грубого земледелия, где нет разнообразия занятий, там не может быть и обмена продуктов, потому что нечего и не на что обменивать; там не может быть и путей сообщения, потому что нечего, некуда и незачем возить; там не может быть и живого обмена идей, потому что идеи такого общества так же однообразны, как его материальные продукты; когда исторические события выдвигают среди такого населения на первый план группу предприимчивых и задорных личностей, то этим личностям бывает очень легко справляться с разбросанными, тупыми и невежественными обитателями страны. Эта выдвинувшаяся группа налагает на остальную массу произвольную дань и монополизирует в свою пользу материальные удобства и наслаждения, право носить оружие и любить отечество, право возмущаться оскорблениями и воспитывать в груди преувеличенное чувство собственного достоинства, право совершать чудеса храбрости и изумлять потомство громом исторических подвигов. С течением времени эти монополизированные права изменяются, добыча, приобретаемая собиранием дани и войною, порождает роскошь и нечувствительно разнеживает непреклонные сердца героев, так что потребности их становятся менее кровожадными и более утонченными; герои начинают наслаждаться произведениями искусств и наполняют свои досуги рассуждениями о высоких и прекрасных предметах; возникает официальная и официозная наука, рождается на свет патентованная поэзия; мир обогащается великодушными меценатами и вдохновенными творцами од, элегий, дифирамбов, картин, статуй, портиков и мавзолеев. Историк с свойственным ему просвещенным и человеколюбивым восторгом повествует о смягчении нравов, о процветании наук и искусств, о приближении золотого века и о том, как роскошно развертываются самые блестящие способности человеческого ума.

Но все эти прелести, восхищающие растроганного историка, относятся только к выделившейся группе, которая сначала обладала монополией военной доблести, а потом также исключительно стала пользоваться монополией эстетического развития и умственной деятельности. Массе непросвещенной черни, грубой толпе тупых и невежественных людей безраздельно предоставлялось воинами, и точно так же предоставляется мыслителями и художниками, полное и неотъемлемое право работать, как прикажут, и платить, сколько потребуют. Выделившаяся группа похожа на маленькую статуэтку, а грубая масса — на огромную глыбу гранита; статуэтка стоит на глыбе; статуэтку обтачивают и шлифуют; ею восхищаются и любуются; она изменяет свой вид, и эти изменения тщательно записываются в большую книгу, которая называется историею. Ряд этих изменений называется прогрессом и несказанно радует всех людей, одаренных добродушием и человеколюбием; а в это время глыба лежит себе смирно и позволяет себе только обрастать мохом, что также доставляет немалое удовольствие обожателям старины и любителям дикой прелести. Прогресс относится до сих пор к очень незначительной части человечества; знания и идеи двигались в разных салонах и применялись к тому или другому ремеслу только тогда, когда такое применение могло быть выгодно для одного из обитателей этих салонов. Фабричная промышленность опирается на физику, химию, механику, но фабричный работник так же мало знает эти науки и так же мало может пользоваться их результатами, как тот клапан паровой машины, который этому работнику приходится постоянно открывать и закрывать. Работник оказывается бессознательным орудием в руках фабриканта, обладающего вещественным и умственным капиталом; работник настолько же заинтересован в общем успехе предприятия, которому он содействует, насколько какой-нибудь наполеоновский солдат, дравшийся при Аустерлице, был заинтересован в династических замыслах своего полководца; предоставленный своим собственным наклонностям, наполеоновский солдат оказался бы человеком самым миролюбивым; выпущенный из-под направляющего контроля фабриканта, работник перестал бы производить предметы роскоши и совершать чудеса современной промышленной техники. Предметы роскоши не нужны покуда ни самому работнику, ни подобным ему людям, а чудеса тех-

ники до сих пор еще слишком превышают общий уровень его умственного развития. Работник есть кусок той chair à canon[35], которая расходуется в промышленной войне, называющейся внутреннею и международною конкуренциею. Ожесточенность этой промышленной войны, приводящей в движение сотни колоссальных машин, тысячи рабочих рук и десятки изобретательных мозгов, вовсе не может служить мерилом благосостояния страны и доказательством развитости ее жителей.

Чтобы судить о богатстве и образовании работающих масс, надо наблюдать их тогда, когда они сами задают себе работу и сами, в свою собственную пользу, выполняют заданный себе урок. Масса населения везде занимается земледелием, т. е. непосредственным добыванием пищи, с тех самых пор, как возникли и укрепились привычки оседлой жизни. С успехами земледелия связано теснейшим образом все материальное и умственное благосостояние трудящейся массы, составляющей лучшую, значительнейшую и необходимейшую часть всякого человеческого общества. Земледелие во всех странах земного шара находится до сих пор в младенческом состоянии; в одном месте оно идет лучше, в другом хуже, но нигде общий уровень его не может удовлетворить самым снисходительным требованиям агрономической науки; в совершенном соответствии с жалким положением земледелия находится уровень материального довольства и интеллектуального развития масс; где земледелие идет лучше, там и масса меньше голодает и меньше поражает наблюдателя своим невежеством; где земледелие идет хуже, там оказывается все безобразие нищеты и вся грязь невежества и вынужденной порочности. Но так как земледелие везде идет неудовлетворительно, то и масса везде живет бедно и мыслит плохо. Мы даже привыкли в этом отношении удовлетворяться малым и обнаруживать таким образом в деле меньшей братии похвальную умеренность требований. Мы непритворно восхищаемся, когда читаем в путешествиях или в статистических сочинениях, что в том или в другом государстве бóльшая часть жителей или даже все жители умеют читать и писать. Конечно, это хорошо, но если восхищаться такими вещами и считать их крайнею целью грез и желаний, то это значит ставить развитию масс очень узкие рамки, это значит мириться с тою перспективою, что наука, искусство, мысль, в самом высоком значении этого слова, навсегда будут составлять ари-

стократическую привилегию ничтожного меньшинства. Точно будто масса состоит не из людей, а из орангутангов и точно будто бы широкое и полное умственное образование помешает человеку сеять хлеб или ткать холстину!

Соглашаясь таким образом урезать и сузить умственное развитие масс, довольствуясь для них грамотою, главными молитвами и четырьмя правилами арифметики, мы сами обрекаем современные общества на хилость и дряблость и сами роем перед нашею прославленною цивилизациею ту яму, в которую свалились уже в былое время многие цивилизации древнего мира.

XXI

Все погибшие цивилизации успели выработать себе военное сословие, торговлю, дороги и корабли, науку, искусство и промышленную технику. Вавилония, Персия, Египет, Греция, Рим записали в историю воспоминание о многих победах, открыли несколько торговых путей и оставили отдаленнейшему потомству несколько удивительных образчиков зодчества, скульптуры, поэтического творчества или исторического изложения. Но ни одна из этих погибших цивилизаций никогда, в самый цветущий период своего существования, не доходила до рационального земледелия. Можно даже, не боясь ошибиться, утверждать положительно, что если бы та или другая из этих цивилизаций доработалась до рационального земледелия, то эта цивилизация пережила бы все остальные и, наверное, продолжала бы развиваться и совершенствоваться до наших времен. Внешние проявления тех болезней, от которых погибли древние цивилизации, чрезвычайно различны, но существенный и основной характер этих болезней везде и всегда остается неизменным. Везде и всегда цивилизации гибнут оттого, что плоды их растут и зреют для немногих. Немногие наслаждаются, немногие размышляют, немногие задают себе и разрешают общественные вопросы, немногие открывают мировые законы, немногие узнают о существовании этих законов, и опять-таки немногие в пользу немногих прилагают к промышленному производству открытия и изобретения, сделанные также немногими, воображавшими себе в простоте души, что они работают для всех. А в это время, в славное время процветания наук и искусств, массы стра-

дают, массы надрывают свои силы, массы своим нелепым трудом истощают землю, массы медленно роют в поле могилы для себя и для своего потомства, и действительно массы беднеют, тупеют, вымирают, и роскошный цвет цивилизации вянет, потому что корень оказывается подгнившим.

Этот бесплодный, поверхностный и недолговечный характер цивилизаций выражается в самых разнообразных исторических формах; иногда мы видим его в теократическом господстве жрецов, в другой раз — в завоевательных стремлениях политики, далее — в несоразмерном развитии внешней торговли, потом — в фабричной деятельности, далеко превышающей естественные потребности и даже силы известной страны; сущность всех этих явлений остается тожественною: предрассудки поддерживаются для выгоды немногих; войны ведутся для славы немногих; корабли плавают по морям, а караваны ходят по пустыням для обогащения немногих; фабрики удовлетворяют утонченным потребностям немногих и выдерживают ожесточенную иностранную конкуренцию, чтобы доставить барыши немногим. Во всех этих случаях рабочие руки отрываются от земли и употребляются на разные хитрые затеи, в то самое время, когда массы нуждаются в простом хлебе и, если не каждый год, то по крайней мере в два года раз, терпят голод и вымирают целыми поселениями. Чем больше разводится хитрых затей и чем хитрее становятся эти затеи немногих, тем хуже обработывается земля, тем быстрее истощаются ее производительные силы, тем меньше получается сырых продуктов, и, следовательно, тем беднее становится общество в целом своем составе. Никакая утонченность барских нравов, никакая выработанность разговорного или книжного языка, никакая философская система, никакая бессмертная поэма, даже никакое естествознание не могут удержать от неминуемого падения такую цивилизацию, которая лежит на плечах беднеющего и тупеющего народа, истощившего свою землю невежественным и нерасчетливым трудом. Все цветы погибших цивилизаций росли и распускались в ущерб благосостоянию масс, и поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, что во всех этих цивилизациях упадок с такою ужасающею быстротою следовал именно за эпохою величайшего блеска. Этот блеск сам по себе был сильнейшим выражением общественной болезни, а эпоха упадка была даже сравни-

тельно временем облегчения для масс, потому что этим массам, дошедшим до крайней степени нищеты и бессилия, позволялось тогда по крайней мере сосредоточить свое внимание на устройстве собственных мелких делишек, о которых не заботится политическая история.

Блеск и упадок, цивилизация и варварство, исторический прогресс и исторический застой — все эти слова и понятия совершенно неприложимы к многовековому прозябанию огромного большинства нашей породы, того большинства, от которого безусловно зависит наше существование и которому мы, в награду за пропитание, с такою благосклонною улыбкою бросаем трогательное название наших младших братьев. Эти младшие братья везде и всегда стояли вне истории, но зато отсутствие их везде и всегда налагало печать бесплодия на все цивилизации, сооружавшиеся старшими братьями для собственного обихода[36]. Везде и всегда эти цивилизации оказывались таким пустоцветом, о котором невозможно сказать ни одного доброго слова. Везде и всегда эти цивилизации, подобно роковому камню Сизифа, срывались с самой верхушки горы и скатывались в бездну в ту самую минуту, когда старшие братья считали свое дело почти законченным и собирались праздновать полную победу человека над дикими силами окружающего мира и над противообщественными стремлениями своей собственной породы. Победа никогда не оказывалась полною и прочною, и триумф всегда приходилось откладывать до другого, более удобного времени. Разнообразные опыты многих веков говорят, наконец, старшим братьям, что крепка, прочна и богата благодетельными последствиями будет только та цивилизация, которая будет улучшать быт и развивать умственные силы всех людей, составляющих данное общество. Неизбежным спутником такой прочной цивилизации и вернейшим ручательством ее живучести будет развитие рационального земледелия, развитие именно той отрасли деятельности, которая была запущена и заброшена всеми исчезнувшими цивилизациями. Рациональное земледелие будет в одно и то же время самым величественным продуктом и самою непоколебимою опорою той бессмертной цивилизации, которой выпадает на долю задача сгладить навсегда позорное различие между старшими и младшими братьями.

Если мы рассмотрим те условия, при которых становится возможным существование и всеобщее распростра-

нение рационального земледелия, то мы увидим, что этот род деятельности неразрывно связан с богатством, просвещением и всесторонним благоденствием тех масс, которые до сих пор везде и всегда трудились через силу и, несмотря на то, постоянно оставались впроголодь. Мы уже видели, как много должен знать тот земледелец, который желает заниматься своим делом не как азартною игрою, а как выгодным и верным ремеслом. К этому можно прибавить, что ни одно ремесло не имеет перед собою такой широкой будущности, как земледелие; ни одно ремесло не способно к такому бесконечному совершенствованию, как обработка земли, потому что в основании этой обработки лежит самое разностороннее изучение природы, постоянно обогащающееся новыми фактами, опытами и наблюдениями. Все знания, необходимые земледельцу, лежат в области естественных наук, а всем известно, что естественные науки самым радикальным образом уничтожают предрассудки и очищают засорившиеся мозги. Следовательно, земледелец, сознательно занимающийся своею работою, незаметно и нечувствительно для самого себя выметет из своего домашнего быта и из своего миросозерцания ту безобразную паутину суеверия, которая до сих пор повсеместно застилает младшим братьям свет божий Бэкона, Галилея, Коперника и всех других светил человечества, светящих только для старших братьев.

Но для водворения рационального земледелия недостаточно одного распространения полезных знаний. Этого мало, если земледелец будет знать, что ему следует делать; необходимо, кроме того, чтобы он имел возможность действительно выполнять то, что он справедливо считает полезным. Агрономические сведения наших крестьян чрезвычайно скудны, но и эти скудные сведения большею частью составляют мертвый капитал, потому что они далеко превышают меру практического могущества земледельцев. Крестьяне знают, что землю следует удабривать, и знают, чем ее удабривать, но это полезное сведение в большей части случаев остается неприменимым. Удобрение взять неоткуда, когда не на что завести и кормить скотину и когда хлеб приходится возить на продажу или даже отправлять за море, бог знает в какую даль. Самый просвещенный агроном ничего не сделает со всеми своими сведениями, когда ему придется отсылать сырой продукт за тысячи верст и получать за каждые десять пудов хлеба по фунту сукна или по полуфунту обделанной

стали. Ни сукна, ни стали не положишь в землю, а сырой продукт уехал за море, и заключавшееся в нем удобрение навсегда потеряно для страны. Очевидно, стало быть, что для развития рационального земледелия, кроме распространения между массами полезных сведений, необходимо еще повсеместное разнообразие занятий и повсеместное же образование мелких центров притяжения, в которых постоянно переработывались, потреблялись и превращались бы в удобрение сырые продукты, добываемые из земли окрестными жителями. Близость рынков к месту производства и непосредственное сближение земледельца с ремесленником, производителя с потребителем — ведут за собою, во-первых, возможность возвращать земле взятый от нее сырой продукт в виде удобрения и, во-вторых, возможность разнообразить посевы и уменьшать таким образом количество неблагоприятных шансов, угрожающих успеху земледельческого труда.

Первое следствие приближения рынков понятно и не нуждается в дальнейших объяснениях. Второе следствие этого приближения также объясняется очень легко и просто. Когда рынок далек, тогда земледелец принужден возделывать на своих нивах только такие растительные продукты, которые выдерживают далекую перевозку, следовательно, такие, которые продаются по дорогой цене, не отличаются особенною громоздкостью и могут быть доставлены на далекий рынок в неиспорченном виде. Земледелец не может отправлять за тысячу верст репу или картофель, потому что цена этих громоздких продуктов не окупит их перевозки; точно так же сельский хозяин не может отправлять за тысячу верст яйца или свежие ягоды, потому что первые перебьются в дороге, а вторые — непременно загниют и испортятся. Всего удачнее выдерживает перевозку зерновой хлеб, да и цену за него дают такую, которая окупает труды земледельца и перевозочные издержки; поэтому для продажи на далекие рынки производится исключительно зерновой хлеб разных сортов и достоинств. Земля любит перемену; для земли было бы полезно, чтобы за пшеницею следовал, например, картофель, а за картофелем — кормовые травы; земледелец знает это свойство земли, но он опять-таки не может воспользоваться своим знанием; разводить картофель и кормовые травы невозможно, потому что сбывать их вблизи некуда, а везти на далекий рынок не стоит; не сеять пшеницы также невозможно, потому что если зе-

мледелец не доставит на рынок пшеницы, то земледельцу не на что будет купить себе рубашку и кафтан, не на что будет приобрести новый топор или соху. Поневоле, подчиняясь требованиям далекого рынка, земледелец сознательно истощает свою ниву постоянно повторяющимися посевами пшеницы, ржи и других зерновых хлебов. Он знает, что следовало бы распоряжаться иначе, он и рад был бы вести свое хозяйство разумнее, но это полезное познание добра и зла и эта добродетельная готовность покаяться в сознанных заблуждениях оказываются совершенно бессильными перед неотразимыми требованиями материальной необходимости. Засеяв все свои поля зерновым хлебом, земледелец поставил на одну карту весь свой годовой заработок. Перемена погоды, неблагоприятная для зернового хлеба, разом губит все законные надежды хозяина. Этого не могло бы случиться, если бы рынок находился под рукою. Тогда хозяин добывал бы с своего участка земли, кроме разных сортов хлеба, всякого рода овощи, фрукты и ягоды, кормовые травы, красильные и лекарственные вещества; близость сбыта и беспрерывность запроса возбудили бы в земледельце предприимчивость и изворотливость, смышленость и старательность, которые совершенно немыслимы и почти бесполезны в человеке, живущем вдали от всякого промышленного движения. Разделивши свою ниву на мелкие участки, возделывая на каждом из них именно то растение, которое соответствует составу и свойствам данного участка, переменяя каждый год назначение этих участков и, сверх всего этого, заваливая каждый участок удобрением, земледелец, живущий возле самого рынка, может, конечно, уменьшить до самой незначительной величины риск, сопряженный с его занятиями. Та или другая перемена погоды может быть неблагоприятна только для одной какой-нибудь части его будущего дохода; что повредит, например, овощам, то, может быть, принесет пользу пшенице и не произведет никакого влияния на фрукты; потерявши на каком-нибудь одном продукте, хозяин будет всегда в состоянии вознаградить свой убыток на другом, и средний уровень его дохода в большей части случаев останется почти неприкосновенным. Конечно, может случиться такая засуха, которая все зажарит, или такой град, который перепашет заново все поля, но такого рода случайностям подвержено вообще всякое дело рук чело-

веческих; и фабрика может загореться от грозы, и дом может быть разрушен наводнением, землетрясением или ураганом; против таких случайностей есть одно средство — застрахование, и это средство, как всякий согласится, находится также всего больше в ходу и прилагается всего чаще там, где существует разнообразие занятий и где совершается деятельное движение продуктов, капиталов и идей.

Мы видим таким образом, что для развития рационального земледелия необходимы два условия: распространение полезных сведений между массами и разнообразие занятий, неизбежно ведущее за собою образование местных центров производства и притяжения. Должно заметить здесь, что эти два условия всегда бывают неразлучны между собою и, собственно говоря, составляют только две различные стороны того нормального процесса, который порождает рациональное земледелие. Действительно, полезные сведения никакими искусственными мерами не могут быть привиты к жизни такого населения, которое разбросано по большим пространствам земли, непривычно к промышленному сближению и угнетено бедностью и однообразием занятий. Никакие благодетельные попечения мудрых правительств о земледельческих и реальных школах, никакие заохочивания, поощрения и приневоливания к учению не улучшат приемов земледельческой рутины и не расширят умственного горизонта трудящихся миллионов. Массы воспитываются не школьною указкою, не крупицами, падающими с умственной трапезы пресытившихся старших братьев, а исключительно только правильным, здоровым и незадержанным развитием общественной и экономической жизни. Когда устраняются препятствия, лежавшие на пути этого развития, когда появляется свобода труда, когда этому свободному труду открываются разнообразные приложения, тогда каждый отдельный кусочек серой массы начинает чувствовать себя человеком и быстро схватывает себе на лету те сведения, которые необходимы ему для жизни. Тогда, и только тогда, становятся действительно полезными и школы, стоявшие прежде пустыми, и популярные руководства, которые до сего времени никого не могли научить уму-разуму. Не школа преобразовывает жизнь, а, напротив того, жизнь создает для себя школу и приспособляет ее к своим потребностям и стремлениям.

Пробуждение масс, необходимое для вступления людей в истинную цивилизацию, всегда производится только каким-нибудь решительным поворотом в течении общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старших братьев, подвизающихся на пользу младших в литературе и на различных кафедрах. Каждый поворот, действующий освежительно на жизнь и самосознание масс, обыкновенно заключается в том, что эти массы освобождаются от какой-нибудь стеснительной опеки и полнее прежнего предоставляются естественному ходу собственных инстинктов и стремлений. Чем больше эта темная масса, о которой так соболезнуют просвещенные деятели, получает возможность жить собственным дрянным умишком, тем удобнее она устраивает свой быт, тем быстрее она богатеет, тем рациональнее становится ее земледелие, и тем человечнее делается каждый из ее отдельных кусочков. Если бы масса с самого начала истории была предоставлена собственной горькой участи, то рациональное земледелие давно утвердилось бы во всем мире, и мы бы теперь не имели случая восхищаться тем, что в том или другом государстве бóльшая часть жителей умеют читать и писать. Но зато история была бы совершенно лишена того удивительного драматизма, который придают ей великие подвиги и кровавые перевороты. История была бы утомительно однообразна, как нравоучительная биография добродетельного семьянина. Старшие братья никак не могли допустить подобного оскорбления законов эстетики, и они начали заботиться о массах с той самой минуты, как сознали свое старшинство и вникли в свои обязанности к младшим. Они тотчас начали вовлекать своих неэстетических братьев в драматические войны, в эпические торговые предприятия и в трагикомические ошибки по части мануфактурной конкуренции. Усилия просвещенных эстетиков увенчались более или менее полным успехом, и совокупность этих успехов составляет канву той весьма изящной драмы, которая называется всемирною историею. Где не мешаются в дело старшие братья — там мир и богатство; где они мешаются — там драматизм и эффектность. Одно другого стоит, но так как старшие братья более или менее везде болели душою об участи младших, то драматизма и эффектности оказывалось и до сих пор оказывается на белом свете несравненно больше, чем мира и богатст-

ва. Рациональное же земледелие до сих пор принадлежит везде к далекой области мечты и желания. Правильный прогресс прямо ведет в эту область, но когда начнется этот прогресс и когда он дойдет до своих результатов — это вопросы интересные, но нерешенные.

XXII

На всех материках и островах земного шара, за исключением полярных льдов и песчаных пустынь, человек окружен неисчислимыми и бесконечно разнообразными богатствами. Богатства эти заключаются в тех сырых материалах, которые производит земля или которые она может производить при соответственной обработке. Богатства эти нигде и никогда не даются человеку сразу; человек должен трудиться, чтобы овладеть ими; он должен наблюдать и размышлять, чтобы заметить их существование и оценить их значение. Человек начинает свою борьбу с природою там, где природа слаба и бедна и где она, вследствие этого, скорее и легче уступает его усилиям. Он обращает в свою пользу мягкую медь прежде, чем твердое железо; он покоряет слабую овцу и козу прежде, чем сильного быка; он расчищает и засевает тощую почву холмов прежде, чем тучную землю долин и речных берегов. Пока продолжается борьба человека с слабою и бедною природою, пока одерживаются над нею первые победы, покупаемые дорогою ценою и приносящие мало непосредственных выгод, до тех пор человек сам остается слабым и бедным. Он слаб и беден, потому что ему помогает малочисленная горсть людей и потому что сам он, со всеми своими помощниками, неопытен и несведущ. Он слаб и беден, но могущество и богатство его постоянно увеличиваются вместе с каждым новым приобретением опытности и вместе с каждым приращением в числе трудящихся людей. Он слаб и беден, но потомки его непременно будут богаты и могущественны, если только они не будут уклоняться в сторону с пути терпеливого труда и внимательного изучения природы.

Все богатство человека заключается в сырых материалах, добываемых из земли; все могущество человека заключается в умении переработывать и обращать в свою пользу добываемые материалы. Эта истина поразительна

по своей простоте. Эту истину несчетное число раз внушали людям, под страхом земных и загробных наказаний, все гражданские и нравственные законоположения, предписывавшие человеку уважать права чужой личности и чужого труда. Ни простота этой истины, ни авторитет законов и законодателей не могли предупредить или удержать в должных границах бесчисленные и гибельные уклонения нашей породы с дороги производительного труда, с той единственной дороги, которая могла привести человечество к богатству и к полноте жизненных наслаждений. Бессилие законов объясняется особенно удовлетворительно тем обстоятельством, что бóльшая часть законодателей, толковавших очень красноречиво и убедительно о необходимости уважать чужое право,— сами, своими же законами, так же красноречиво и убедительно освящали важнейшие и вреднейшие уклонения своих сограждан и современников с пути производительного труда, с того единственного пути, который всегда и везде совпадает с требованиями справедливости. Римское право, освящавшее рабство, превращавшее жену в собственность мужа и сына в собственность отца, проводившее строгое различие между римским гражданином и провинциалом, между патрицием и плебеем, между вольным и вольноотпущенным,— римское право, говорю я, конечно, никому не могло внушить достаточного уважения к тем предписаниям, которыми оно старалось обуздать хищные наклонности бедных и буйных граждан. Другие кодексы также не могли претендовать на особенную чистоту и выдержанность основного принципа. Люди обыкновенно издавали кодексы отчасти для того, чтобы дать определенную и прочную форму своим любимым заблуждениям, отчасти для того, чтобы пугнуть себя и своих современников строгими требованиями одностороннего идеала казенной нравственности. Ни та, ни другая цель не достигалась. Любимые заблуждения отживали свой век и разрушались, несмотря на определенность и прочность приданной им формы, а застегнутый на все пуговицы идеал никого не запугивал своими требованиями и решительно никого не обращал на путь истины. Ошибались и падали отдельные личности; безвинно, невольно и бессознательно вовлекались в ошибки и доводились до падения целые народы. Отдельные личности быстро расплачивались за свои ошибки и обыкновенно, согласно букве того

или другого кодекса, оканчивали свое земное существование в мучениях, делавших большую честь остроумию изобретателей и усердию исполнителей. Невольные ошибки народов, напротив того, не замечались и не считались ошибками. На них не указывал никакой кодекс. Им обыкновенно сочувствовал, их часто вызывал сам законодатель. Ошибки народов воспевались поэтами, превозносились историками и ставились в пример потомству неподкупными моралистами. Эти ошибки анализировались холодными мыслителями и оказывались великими проявлениями народного гения. На этих ошибках строились и до сих пор строятся целые политические и экономические теории. Когда ряд великих проявлений народного гения вдруг приводил к резкому падению, которое, по-видимому, должно было бы окатить бочками холодной воды всех певцов, мечтателей и спокойно упорных теоретиков,—тогда это падение приписывалось посторонним и случайным причинам; песнопения продолжались, тем более что падение давало им новый эффектный мотив; историки по-прежнему что-то превозносили и что-то анализировали; теоретики торжествовали, потому что всякая теория одарена удивительною гибкостью и растяжимостью; а в это время массы, о которых пелись дифирамбы, писались исследования и сочинялись победоносные теории, массы несли тяжелое вековое возмездие за ошибки, привитые к их тихой и темной жизни посторонними двигателями событий. Массы доходили до дикого состояния, теряли всякую власть над питающими их силами природы и, умирая от лишений, превращали целые области в дикие и печальные пустыни, в которых все говорило о бывшей деятельности человека, о его предсмертной борьбе и о его страшной кончине. Такими пустынями покрыты все те места, на которых в былое время кипела историческая жизнь и на которых жизнь эта замерла вследствие непроизвольных, но неисправимых ошибок, совершенных целыми народами и истощивших до последней капли их живые силы.

Ошибок этих, в большей или меньшей степени, не минует в своем существовании ни один народ. Народ, как дерево, растет и в ствол и в сук; он, как крепкий организм, может уклоняться от строго гигиенического образа жизни, он может болеть и выздоравливать; он много испытаний может перенести не надламливаясь и не хирея;

но чем сильнее сук перевешивает ствол, чем значительнее делаются уклонения от разумной гигиены, чем продолжительнее и чаще болезненные припадки, тем опаснее становится положение колоссального пациента и тем ближе надвигается грозная катастрофа.

Богатство и могущество народа, равносильное благосостоянию всех составляющих его единиц, заключается в добывании и целесообразной переработке различных сырых продуктов, доставляемых землею. Земледелие и мануфактурная промышленность, взаимно поддерживающие друг друга, составляют естественные и необходимые занятия народа, стремящегося к благоденствию. Все, что отвлекает народ от этих производительных занятий, все, что нарушает необходимое равновесие между земледелием и мануфактурами, составляет ошибку и ведет к бедности. Наука, расширяющая ум человека, и искусство, обновляющее его силы живым наслаждением, не могут быть названы помехами для производительных занятий; но при этом должно заметить, что наука и искусство не имеют ничего общего со многими современными фокусами праздного ума и дряблой фантазии, несмотря на то, что фокусы эти стараются прикрыть себя разными почтенными именами. Кроме того, не мешает помнить, что наука и искусство только тогда будут в состоянии жить естественною и здоровою жизнью, когда будут удовлетворяться насущные и грубые потребности человеческих организмов. Музыкальная консерватория — учреждение очень хорошее, но она доставит мало наслаждения такому народу, у которого не хватает хлеба. Ученое путешествие на берега Тигра для чтения гвоздеобразных надписей[37] — дело очень похвальное, но оно произведет слабое впечатление на черствую душу лапотника, не умеющего разбирать печатные буквы собственного языка. Совестно назвать науку и искусство затеями, отклоняющими силы ума от настоящего дела; в отношении к естественным наукам такое суждение было бы совершенно нелепо и несправедливо; но приходится сознаться, что наука и искусство до сих пор оставались совершенно бессильными и не имели никакого влияния на умственное состояние масс. И наука и искусство были по меньшей мере красивым анахронизмом. Это — подснежники, распустившиеся задолго до наступления весны; им приходится ежиться и дрожать от холода или с похвальным благоразумием

укрываться в теплицы, построенные и протапливаемые трудами масс и называющиеся музеями, академиями, консерваториями и другими именами, которые для масс столько же новы, сколько вразумительны. Я вовсе не думаю становиться здесь на славянофильскую точку зрения и декламировать о ложности и чужеземности нашей цивилизации. Наша цивилизация ничем не лучше и ничем не хуже всех остальных; наука и искусство везде прозябают в оранжереях, и массы, оплачивающие эти оранжереи, везде интересуются ими так же сильно, как, например, внутренним содержанием египетских пирамид или вопросом о Железной маске. Какое дело английскому фабричному до Британского музея? Что общего у немецкого работника с Мюнхенскою глиптотекою?[38] Какую точку соприкосновения имеет парижский блузник с Французскою академиею?

Мы уже так присмотрелись к этим академиям, что нам могут даже показаться наивными и странными подобные вопросы, если только они не покажутся нам лукавыми и безнравственными. Впрочем, как ни смешна кружевная заплата наук и искусств на изорванной сермяге, составляющей драпировку масс, должно, однако, сознаться, что эта резкая несообразность принадлежит к самым невинным уклонениям от правильного и разумного развития народной жизни. С тех пор как солнце светит и весь мир стоит, ученые и художники не погубили еще собственными силами ни одной цивилизации; справедливость побуждает нас заметить, что они также ни одной цивилизации не поддержали; они только украшали их, подобно тому как мох украшает стволы вековых деревьев; когда дерево падает, мох продолжает украшать его и украшает его в то самое время, когда оно лежит на земле, гниет и истачивается муравьями.

Губителями цивилизаций оказываются два класса людей — воины и купцы, вовлекающие народы в две роковые ошибки: систематизированную войну и в изнурительное развитие торгового паразитизма. Я уже упоминал об этих двух видах присвоения, но теперь мы знаем все средства, находящиеся в их распоряжении, и потому можем проследить шаг за шагом их возрастание и усложнение. Война и торговля появляются сначала на свет в самом простом и бедном виде. Первое генеральное сражение производилось, наверное, кулаками за обладание ка-

ким-нибудь кокосовым орехом; первая торговая операция, по всей вероятности, клонилась к тому, чтобы выманить этот же кокосовый орех за гнилой банан, которого гнилость утаивалась тщательно, но неискусно; за горячею схваткою могла следовать торговая сделка, а коммерческие переговоры в свою очередь могли прерываться воинственными демонстрациями. Всякий был и воином, и купцом, и работником; всякий мог заметить, что число наличных бананов увеличивалось не во время драки, не во время торговых совещаний. Сомнительная выгода, извлекавшаяся из единоборств и из мелких мошенничеств, по всей вероятности, подорвала бы во мнении людей этот род занятий, если бы только не открылась возможность образовать коллективные драки и крупные обманы. Опираясь на ассоциацию, война и торговля расширяют круг своих действий и облекаются в новые формы. Предприимчивый юноша собирает вокруг себя других юношей, уступающих ему в изобретательности, но равных ему по отваге. Ассоциация, составляющая верное средство для развития производительного труда, делается, таким образом, орудием войны и является самым сильным средством для разрушения труда, самым серьезным препятствием на пути его совершенствования. Храбрые витязи удалой дружины тотчас делаются старшими братьями собирателей бананов и тотчас начинают смотреть на вещи такими широкими взглядами, которые совершенно недоступны младшим. Затем является настоятельная необходимость кормить ассоциацию, и тогда собирателям бананов вменяется обязанность приносить в жилище своих старших братьев определенное количество плодов земных. Таким образом, среди населения, собирающего бананы, образовалась сначала небольшая добровольная ассоциация; это ядро привлекло к себе других людей, частью обольстительными обещаниями, частью рассчитанными угрозами, частью скрытою силою. Но вовлечь в воинственную ассоциацию всех собирателей бананов неудобно, потому что тогда некому будет кормить удалую дружину. На этом основании разросшаяся ассоциация прилагает свои силы к тому, чтобы держать всю совокупность собирателей бананов в состоянии недобровольной ассоциации. Эта недобровольная ассоциация и состоит в том, что целые тысячи людей содействуют своими трудами выполнению таких возвышенных замыслов, о которых они не

имеют никакого понятия и которые не приносят им ни малейшей выгоды. Мы видели, например, что пути сообщения должны служить к образованию местных центров разнородной деятельности; мы видели также, что количество всяких бананов может увеличиваться только тогда, когда существуют такие местные центры; но система недобровольной ассоциации этого не знает и рассуждает совершенно по-своему. Где есть бананы, думает она, там прежде всего должна чувствоваться сила дружины. На основании этого рассуждения все важнейшие дороги прокладываются так, что они увеличивают притяжение центра, усиливают в этом центре искусственное движение и ослабляют естественные проявления жизни во всех далеких оконечностях страны бананов.

Изобретения, относящиеся к механической и химической переработке сырого материала, должны вести к тому, чтобы все люди питались, одевались и жили лучше прежнего, чтобы сберегалось как можно больше человеческого труда и чтобы этот сбереженный труд употреблялся на усиление производительных сил земли и на развитие беспредельных способностей человеческого ума. Но эта цель вовсе не соответствует великим интересам и строгим замыслам той системы, которая выработалась из первобытной дружины. По соображениям системы, добываемые металлы должны превращаться не в заступы, плуги и паровые машины, а в сабли, копья и ружья; строевые деревья должны употребляться не на постройку домов, мельниц и плотин, а на сооружение огромных кораблей; из меди должны делаться не самовары, а пушки; порох должен служить не для истребления хищных зверей, не для добывания мехов и дичи, а для отбивания человеческих рук, ног и голов; из камня должны строиться не мосты и набережные, а такие стены, которые будут разбиваться чугунными ядрами и взрываться порохом. Таким образом, рабочая сила и изобретательность нашей породы должны направляться не к тому, чтобы увеличивать существующие удобства жизни, а к тому, чтобы руками одних людей как можно быстрее и искуснее разрушать то, что сделано руками других.

Кто следил за современными открытиями Армстронга и Уайтворта[39], кто помнит происхождение «Мерримака» и «Монитора»[40], кто слышал о любопытной борьбе английского адмиралтейства, стремящегося создать для ко-

раблей непробиваемую обшивку, с английским артиллерийским ведомством, порывающимся разбить вдребезги всякую обшивку, тот, конечно, скажет, что XIX век в своих нелепостях так же велик и последователен, как в своих общеполезных открытиях и человечных стремлениях. Но нелепость немедленно получает себе практическое применение, а человечные стремления, по недостатку материальных сил, останавливаются обыкновенно на одной теоретической последовательности. Можно сказать без преувеличения, что остроумные изобретения Армстронга и подобных ему благодетелей человечества причинили Англии больше вреда, чем длинный ряд сильнейших неурожаев. Если бы не было этих изобретений, то старые корабли, старые укрепления и старые пушки оставались бы совершенно годными для употребления, а теперь, благодаря остроумию изобретателей, приходится тратить без всякой пользы огромные количества дерева, железа, меди и, главное, человеческого труда. Вред не ограничивается Англиею, потому что за нею, волею или неволею, из чувства самосохранения, тянутся все остальные державы. Но кому же все эти усилия приносят пользу? Никому. Кто выигрывает от этих всеобщих непроизводительных затрат? Никто. Всем известно, что финансы сильнейших государств Европы обременены страшными долгами и что долги эти произошли от прежних войн; всем известно далее, что чуть ли не три четверти ежегодных доходов употребляются на уплату процентов и на содержание армий и флотов, все знают, что эти издержки постоянно увеличиваются, потому что каждая держава боится своего соседа и старается превзойти его силою вооружения. Спрашивается, есть ли возможность своротить с этой дороги извращенного и постоянно ускоряющегося прогресса? Ответа на этот вопрос не решится дать ни один глубокий политик, но очевидно, что этот вопрос для всей европейской цивилизации равняется вопросу: *быть или не быть?*

XXIII

Дружинники, не производящие ничего, подчиняют своей власти работников, производящих пищу, одежду, жилища и инструменты. Торговцы, не производящие также ничего, точно так же подчиняют своему произволу

производителей, владеющих продуктами, и потребителей, платящих за эти продукты трудом и другими продуктами. В действиях дружинников преобладает насилие; в распоряжении торговцев на первом плане стоит элемент хитрости и обмана; за исключением этого оттенка различия поступательный ход войны и торговли оказывается тождественным. Подобно войне, торговля обращает в свою пользу ассоциацию, пути сообщения и технические открытия, и, подобно войне, она искажает все то, к чему прикасается. Не увеличивая количества продукта, она обирает в пользу торгового посредника трудящиеся классы общества; разоряя производителей, она уменьшает их силу над природою, истощает плодородие земли, перегоняет людей с богатой почвы на бедную и превращает заселенные области в мертвые пустыни. Торговля овладевает перевозочными средствами и, взимая в пользу торгового посредника большую перевозочную плату, старается увеличивать необходимость в перевозке; таким образом увеличивается ценность продуктов и уменьшается их польза, таким образом отрываются от производительных работ тысячи рук, которые могли бы усиливать плодородие земли. Когда прокладываются пути сообщения, торговля всегда старается проложить их так, чтобы они усилили притяжение главного центра; централизация выгодна для торгового класса, потому что она поддерживает бедность областного населения, которое, таким образом, остается в безответной зависимости от диктатуры купцов, покупающих их продукты и продающих им разные удобства жизни по произвольно назначаемым ценам. Стремление торговли здесь, как и везде, совершенно сходятся с стремлениями войны и совершенно расходятся с инстинктивными или сознательными желаниями всех производительных классов. Последние желают непосредственного сближения между собою, а системы, развившиеся из войны и торговли, желают, чтобы производители оставались разъединенными и чтобы каждый из них поодиночке находился в зависимости от центрального пункта. Война извращает технические открытия. Торговля также извращает их тем, что стремится их монополизировать. Все люди желают переработывать добываемые ими продукты на месте, а это желание вполне естественно и разумно, потому что переработка на месте сберегает время и избавляет от всех хлопот, издержек и опасностей

перевозки. Торговец, напротив того, хочет, чтобы сырой продукт был перевезен на его корабле или повозке и чтобы ему за перевозку заплатили побольше денег; потом он хочет, чтобы перевезенный продукт был переработан на его фабрике, его машинами и чтобы за переработку ему опять заплатили; потом он хочет, чтобы переработанный продукт был перевезен на его же корабле к первому производителю и чтобы за эту вторичную перевозку было также заплачено. Очень понятно, что торговец не останавливается на одном желании, его интересы принимаются горячо к сердцу людьми, имеющими в руках действительную силу, и вся политика целых передовых государств направляется к тому, чтобы желания торговца были действительно исполнены. И, разумеется, они исполняются. Результат оказывается тот, что индус или плантатор южных штатов продает английскому купцу хлопчатую бумагу по той цене, которую последнему заблагорассудится дать, а потом покупает у того же купца коленкор по той цене, которую достойному джентльмену угодно будет взять. Плантатор и индус беднеют, но английские работники, переработывающие в коленкор хлопчатую бумагу большей части земного шара, от этого не богатеют, точно так же как не богатеют матросы тех купеческих кораблей, которые заработывают груды золота своим хозяевам. Матросы и фабричные получают жалованье и перебиваются им, как хотят или как могут. Хозяин покупает их труд как можно дешевле и затем берет себе все результаты их труда, как бы они ни были велики. Труд их не прибавляет в стране ни одного зерна хлеба и только увеличивает силу их хозяина над трудом индуса, негра или английского пролетария. Если бы в стране было только то число фабрик, которое необходимо для превращения сырого материала, производимого местною почвою, если бы индусу или негру была предоставлена возможность переработывать свои продукты у себя на месте и если бы все излишнее количество пролетариев, работающих на теперешних бесчисленных фабриках, получило средство приложить свою рабочую силу к улучшению земли,— то Индия и южные штаты обогатились бы вследствие учреждения местных центров и введенного разнообразия занятий, Англия обогатилась бы в барышах, потому что капитал, приложенный к развитию сил земли, дает прочный и постоянно увеличивающийся доход.

Из всего, что было говорено в этом очерке, мы можем вывести довольно важные и плодотворные заключения. Человеческое общество в первоначальной его форме можно представить себе в виде пирамиды, разгороженной на несколько этажей. В самом нижнем этаже работают люди, добывающие сырые материалы; они находятся в непосредственном соприкосновении с землею, и их этаж составляет основание всего строения, потому что в остальных ярусах люди только переработывают или передают друг другу из рук в руки то, что отрывают от земли обитатели нижнего яруса. Во втором этаже совершается механическая и химическая переработка добытых материалов. В третьем этаже действуют люди, занимающиеся перевозкою и устраивающие пути сообщения. В четвертом обитают все разнообразные классы людей, живущих производительным трудом нижнего этажа.

Равновесие этой общественной пирамиды будет тем устойчивее, чем обширнее будут нижние два этажа в сравнении с верхними и чем значительнее вес нижних этажей будет превышать тяжесть верхних. Нижние этажи должны быть обширнее — это значит, что большее число людей должно заниматься добыванием и переработкою сырых продуктов, а не перевозкою их с места на место и не разнообразным переливанием из пустого в порожнее. Нижние этажи должны быть тяжелее. Так как специфическая сила человека заключается не в мускулах, а в мозгу, то весом человека в переносном смысле может быть названа сумма его деятельных умственных способностей. История показывает нам, что приобретает и удерживает господство в обществе именно тот класс или круг людей, который владеет наибольшим количеством развитых умственных сил. Преобладанию аристократии во Франции пришел конец, когда перевес ума, таланта и образования оказался в рядах достаточной буржуазии, а преобладанию буржуазии также придет конец, когда тот же перевес перейдет в ряды трудящегося пролетариата. Следовательно, когда мы говорим: «нижние этажи должны быть тяжелее», это значит, что в массах земледельцев и фабричных должно сосредоточиваться и обращаться больше знаний, чем в кучках людей, занимающихся очень неголоволомным делом исключительного потребления продуктов.

В тех цивилизациях, которые уже погибли, и в тех, которым угрожает погибель, нарушались и нарушаются самым неосторожным образом оба условия, необходимые для поддержания устойчивого равновесия. В каждой из пирамид, соответствующих этим цивилизациям, устроен очень замысловатый механизм, посредством которого бóльшая часть продуктов, добываемых и превращаемых в двух нижних этажах, с мгновенною быстротою переносятся в верхний ярус, где они тотчас же и потребляются. Благодаря этому механизму жильцы четвертого этажа пользуются изобилием и имеют возможность употреблять значительную долю своего вечного досуга на развитие умов и сердец. Обитатели нижних этажей знают, что на антресолях жить очень весело; поэтому во всей пирамиде господствует неистовое желание карабкаться кверху; кверху лезут и гастрономы, и честолюбцы, и тщеславные посредственности; но туда же лезут и замечательные таланты и люди, безукоризненные в нравственном отношении, потому что только в верхнем этаже можно найти умственную деятельность и некоторую степень нравственной самостоятельности. Красота, ум, талант, богатство, железная воля — все, что в каком-нибудь отношении составляет силу человека, все это употребляется на переправу в верхний этаж. Внизу остаются только те, которых природа и обстоятельства лишают всякой возможности подняться. Эти невольные обитатели нижних ярусов бедны, тупы, слабы и забиты. Кто поднялся наверх, тот старается удержаться наверху и упрочивает там квартиры для своих детей. Кто не может быть бароном наверху, тот идет наверх в лакеи, потому что лакея кормят и одевают лучше, чем производительного работника.

Кроме тех людей, которые попадают наверх по собственной охоте, есть и другие, которых затаскивают туда насильно. Конскрипции[41] Наполеона I затащили в высокие хоромы более миллиона французских граждан, которые предпочли бы оставаться внизу, за сохою или за ткацким станком.

Когда, таким образом, все, что сильно, умно и талантливо, лезет или привлекается наверх, тогда, конечно, производительные работы нижних этажей идут вяло и плохо. Жильцы беднеют, ссорятся между собою за кусок хлеба и производят преступления против личности и собственности. Чтобы разбирать ссоры, необходимы су-

дьи и адвокаты; чтобы предупреждать и преследовать преступления, необходима разнообразная полиция; чем больше ссор и преступлений, тем больше судей, адвокатов и полицейских, которые все также живут в четвертом этаже и, увеличивая его тяжесть, увеличивают неустойчивость общего равновесия. Чем беднее жильцы нижних этажей, тем более они зависят от произвола верхних капиталистов; чем невыносимее жизнь внизу, тем сильнее и беспокойнее стремление наверх; люди бегут из нижних этажей и кверху и совсем вон из пирамиды, куда-нибудь в Америку или в Австралию. Камни пирамиды вынимаются, таким образом, из основания и кладутся на вершину или выбрасываются вон. Основание постоянно становится ýже, а вершина шире и тяжелее. Вся эта история неминуемо должна кончиться тем, что пирамида рухнет и превратится в безобразную кучу мусора. Это уже дело бывалое. Такие пассажи сделаются невозможными только тогда, когда работник будет образован и доволен своим положением. Мы уважаем труд, но этого мало. Надо, чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием. Пока это не будет сделано, всякая цивилизация будет находиться в неустойчивом равновесии перевернутой пирамиды. А как же это сделать? Не знаю. Рецептов предлагалось много, но до сих пор ни одно универсальное лекарство не приложено к болезням действительной жизни.

1863 г. Сентябрь.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

I

Когда мы рассматриваем какой-нибудь отдельный поступок, тогда мы обыкновенно, по человеческой слабости, вдаемся в лиризм и, смотря по свойствам данного поступка, чувствуем приливы негодования или благоговения, ужаса или восторга, огорчения или удовольствия. Все эти чувства в значительной степени ослабевают, когда мы начинаем принимать в соображение, кроме голого факта, ту ближайшую причину, из которой развился этот факт. Если от ближайших причин мы станем переходить к причинам более отдаленным, то лирические порывы наши постоянно будут остывать более и более, так что наконец взволновавший нас факт будет интересовать нас только как предмет изучения.

Человек А в известном случае поступил хорошо или дурно. Спрашивается, почему он поступил так, а не иначе? Потому, конечно, что ему иначе нельзя было поступить. Во-первых, случай был именно тот, а не другой, а во-вторых, действующим лицом был именно А, а не В и не С. Следовательно, чтобы объяснить себе поступок, надо рассмотреть, во-первых, обстоятельства данного случая, а во-вторых, характер действующего лица. Видя, что наши лирические излияния неуместны в отношении к отдельному поступку, мы обыкновенно переносим их на характер самого человека. Но и в этом случае мы действуем неосмотрительно. Если известный поступок есть неизвестный результат известного характера, поставленного в известное положение, то характер, в свою очередь, есть такой же неизвестный результат многих физиологических, климатических, исторических и разных других данных. Если бы мы могли проследить жизнь человека с минуты его рождения до того времени, когда характер оказался совершенно сформированным, то мы увидели бы перед собою непрерывную цепь причин и следствий.

Спрашивается, на какое же звено этой цепи мы имеем разумное основание изливать наш гнев или наше благоговение? Нам приходится или воздерживаться от лирических увлечений, или обращать их на первое звено цепи, то есть на новорожденного младенца. Но если даже мы способны дойти в своем лиризме до такой нелепости, то нам все-таки и здесь предстоит разочарование. Новорожденный ребенок совсем не первое звено; он, в свою очередь, следствие бесчисленного множества причин. Первого звена мы никогда не найдем. Метафизики были терпеливее нас, однако ничего не нашли и принуждены были кое-что выдумать. Следовательно, лиризму нашему окончательно приходится улетучиваться в пространство. В житейской практике не всегда удобно и часто бесполезно бывает прогонять лиризм серьезным размышлением и основательным изучением причин. Во-первых, на это занятие пришлось бы тратить очень много времени, а во-вторых, биографии окружающих нас людей очень редко представляют собой что-либо интересное. Но когда мы беремся за изучение исторических явлений, тогда всякий лиризм должен быть устранен с неумолимою строгостью. Присутствие лиризма всегда, как в практической жизни, так и в теоретическом размышлении, служит вернейшим признаком недостаточного знакомства с предметом. Когда мы понимаем вполне какое-нибудь явление, тогда мы не можем ни негодовать против него, ни благоговеть перед ним.

Для потребностей практической жизни нам достаточно знать окружающие предметы настолько, насколько эти предметы могут обусловливать собою наши поступки. Если я имею с г. А денежные дела, то мне необходимо знать, мошенник ли он или не мошенник; но мне нет никакой практической надобности размышлять о том, что именно сделало его мошенником или помогло ему остаться честным человеком.

Когда же я пускаюсь в теоретические размышления, тогда мне необходимо вести исследование так далеко, как только позволяют наличные материалы и мои собственные умственные силы. Кто в теоретических размышлениях останавливается на половине дороги, удовлетворяясь полузнанием и полупониманием, тому, собственно говоря, нет никакой надобности заниматься такими размышлениями. Кто в области мысли обрекает себя на ту узкость и поверхностность суждений, которая господству-

ет в нашей вседневной жизни, тому незачем и забираться в область мысли. Кто разбирает исторические события с тем близоруким пристрастием, с которым он рассуждает о своих добрых знакомых, тому было бы лучше вовсе не заниматься историею. История обогащает нас новыми идеями и расширяет наш умственный горизонт только в том случае, когда мы изучаем какое-нибудь событие в его естественной связи с его причинами и с его последствиями. Если мы вырвем из истории отдельный эпизод, то мы увидим перед собою борьбу партий, игру страстей, фигуры добродетельных и порочных людей; одним мы станем сочувствовать, против других будем негодовать; но сочувствие и негодование будут продолжаться только до тех пор, пока мы не поставим вырванного эпизода на его настоящее место, пока мы не поймем той простой истины, что весь этот эпизод во всех своих частях и подробностях совершенно логично и неизбежно вытекает из предшествующих обстоятельств.

Как ни проста эта истина, однако многие писатели, рассуждающие об истории, и многие историки, пользующиеся очень громкою известностью, совершенно теряют ее из виду в своих исторических сочинениях. Раскройте, например, Маколея, и вы увидите, что он на каждой странице кого-нибудь оправдывает или кого-нибудь обвиняет, кому-нибудь свидетельствует свое почтение или кому-нибудь делает строжайший выговор [1]. Все эти оправдания или обвинения, почтения или выговоры служат только признаками неясного или неполного понимания событий. Моралист вытесняет историка, потому что у историка не хватает материалов или недостает проницательности. В приговорах Маколея заключается такой смысл: я, говорит он, умнее такого-то [2]; я понимаю политику лучше такого-то; я бы не сделал такой-то ошибки и т. д. На это читатель имеет полное право возразить, что ему нет дела до тех прекрасных свойств ума и сердца, которыми обладает Маколей; ему нет дела до того, как поступил бы историк, находясь в таком или в другом положении: ему любопытно было знать, как поступила действительная историческая личность, почему она поступила так, а не иначе, и почему ее поступки имели важное значение для ее современников. Дело историка — рассказать и объяснить; дело читателя — передумать и понять предлагаемое объяснение; когда историк и читатель, каждый с своей сторо-

ны, исполнят свое дело, тогда уже не останется места ни для оправдания, ни для обвинения. Мыслящий исследователь вглядывается в памятники прошедшего для того, чтобы найти в этом прошедшем материалы для изучения человека вообще, а не для того, чтобы погрозить кулаком покойнику Сидору или погладить по головке покойника Антона. История до сих пор не сделалась наукою, но между тем только в истории мы можем найти материалы для решения многих вопросов первостепенной важности. Только история знакомит нас с массами; только вековые опыты прошедшего дают нам возможность понять, как эти массы чувствуют и мыслят, как они изменяются, при каких условиях развиваются их умственные и экономические силы, в каких формах выражаются их страсти и до каких пределов доходит их терпение. История должна быть осмысленным и правдивым рассказом о жизни массы; отдельные личности и частные события должны находить в ней место настолько, насколько они действуют на жизнь массы или служат к ее объяснению. Только такая история заслуживает внимания мыслящего человека, а в такой истории, очевидно, нет места ни для похвалы, ни для порицания, потому что хвалить или порицать массу все равно, что хвалить березу за белый цвет коры или полемизировать против дождливой погоды. Масса есть стихия, а стихию, конечно, нельзя ни любить, ни ненавидеть, ее можно только рассматривать и изучать. До сих пор масса была всегда затерта и забита в действительной жизни; точно так же затерта и забита она была и в истории. На первом плане стояла в истории биография и нравственная философия. Вся колоссальная знаменитость Маколея и все успехи его бесчисленных подражателей основаны на рисовании исторических портретов и на торжественном произнесении оправдательных и обвинительных приговоров. Эти портреты и приговоры мешают читателю додуматься до настоящего назначения истории и, следовательно, положительно вредят успехам разумного и плодотворного исторического изучения. Нравственная философия так же мало относится к истории, как, например, к органической химии или к сравнительной анатомии. Что же касается до биографии, то она должна занимать в истории очень скромное место. Частная жизнь только тогда интересна для историка, когда она выражает

в себе особенности той коллективной жизни масс, которая составляет единственный предмет, вполне достойный исторического изучения.

Собираясь говорить с читателями о том перевороте, который в конце прошедшего столетия опрокинул во Франции все средневековые учреждения, я счел нелишним высказать сначала несколько общих мыслей об историческом изучении. Познакомившись с этими мыслями, читатель поймет заранее, как я намерен вести мой рассказ. Он увидит, что я не хочу произносить никаких приговоров, потому что всякий приговор над историческим событием я считаю вопиющею нелепостью; он увидит далее, что я вовсе не расположен впутываться в биографические подробности и разрывать груду тех придворных и городских скандалов, слухов и интриг, которыми так богата эта тревожная эпоха. Меня занимает исключительно общая, бытовая, всемирно-историческая сторона французского переворота. Я не буду ни ужасаться перед ним, ни оправдывать его, потому что я твердо убежден в том, что всякое отдельное событие, как бы оно ни было ужасно или величественно, есть только неизбежное и очень простое следствие таких же неизбежных и простых причин. Рассматривая французский переворот как логически необходимый результат всей средневековой истории французского королевства, я не могу питать к этому перевороту ни греховной симпатии, ни добродетельного отвращения. Я могу только разбирать его причины, рассматривать его развитие и указывать на ту связь, в которой находится самая катастрофа со всем историческим прошедшим французской нации. Мое дело объяснять и рассказывать, а не усыпать страницы восклицательными знаками. Руководителем моим на трудном и скользком пути будет Генрих Зибель, опытный и серьезный историк[3], у которого, однако, несмотря на всю его серьезность, прорываются изредка стремление к приговорам и желание заявить добродетельное отвращение. Я постараюсь быть серьезнее самого Зибеля и объективнее самого г. Гончарова[4]. Постараюсь, одним словом, приблизиться к величественному спокойствию гомеровского эпоса. Читатель понимает, что на трудном и скользком пути без гомеровского спокойствия нет спасения.

II

Все французские короли из династии Гуго Капета с большим или меньшим успехом стремились к тому, чтобы подчинить своей верховной власти крупных и мелких феодальных владетелей, господствовавших в отдельных провинциях и старавшихся, с своей стороны, отстоять и упрочить за собою полную самостоятельность. Писаное право было на стороне феодальных владетелей; материальная сила также склонялась часто на их сторону; но притязания центральной королевской власти пользовались полным сочувствием задавленных масс, которых жизнь ежеминутно отравлялась придирчивым и хищным деспотизмом бесчисленного множества герцогов, графов, маркизов, рыцарей и разных других доблестных и породистых грабителей. Массы видели в короле своего заступника и покровителя, и короли, понимавшие свою выгоду, действительно часто принимали сторону городских общин, возмущавшихся против феодальных владетелей. Политика королей обыкновенно сообразовалась с ближайшими требованиями обстоятельств; им хотелось приобрести как можно больше власти, а для этого надо было содержать на свой счет такое войско, которое не зависело бы от произвола феодалов; на содержание войска были необходимы деньги, и к деньгам стремились с незапамятных времен все помыслы французских королей. Им случалось иногда продавать за значительную сумму какому-нибудь городу льготную грамоту, предоставлявшую городской общине право самоуправления и независимость от феодального владетеля; вслед за тем владетель с своей стороны вносил убедительную сумму, и тогда льготная грамота немедленно уничтожалась, к величайшему изумлению добродушных горожан. Филипп IV Красивый сжег тамплиеров единственно для того, чтобы конфисковать их имения[5]; тот же самый Филипп по нескольку раз в год перечеканивал монету, портил ее неумеренною примесью меди и извлекал из этих операций значительные выгоды для королевской казны. Продолжительные войны с Англиею, разорившие обе страны и подвергнувшие страшной опасности политическую самостоятельность Франции, содействовали укреплению королевской власти. Собрание государственных чинов[6] предоставило Карлу VII[7] право взимать ежегодно во всем королевстве определенную подать, предназначавшуюся для содержания по-

стоянной и правильно организованной армии. Королевские чиновники получили таким образом возможность проникать в земли владетельных дворян и понемногу стали упрочивать в них свое влияние, клонившееся, впрочем, исключительно к обогащению королевской казны, а вовсе не к облегчению работающих и платящих сословий. К прямым налогам присоединились косвенные, из которых особенно замечателен был своею непопулярностью налог на соль.

Королевская власть стала укрепляться по мере того, как увеличивались и упрочивались источники ее доходов. Со времен Франциска I[8] она успела приобрести уже неоспоримый перевес над всеми остальными общественными силами феодального государства. Дворяне оставили свои замки и стали искать себе придворных должностей. Все попытки феодальной аристократии возвратить себе прежнюю самостоятельность оканчивались полнейшими неудачами. Волнения Лиги и Фронды[9] были последними проблесками средневековой строптивости. Твердые и крутые меры Генриха IV, Ришелье и Мазарини[10] положили конец всем этим волнениям и приготовили собою эпоху Людовика XIV. В действительности Людовик XIV был деспотом в самом широком смысле этого слова; он в делах управления руководствовался только своими собственными соображениями или фантазиями; ему иногда приходили в голову такие мысли, которые, по выражению Зибеля, выходят из границ европейского понимания. Однажды он предложил своим советникам вопрос: не должен ли он, подобно магометанским властителям Востока, пользоваться правом собственности над пахотною землею своего королевства? В другой раз он запретил под страхом наказаний всякую частную благотворительность на том основании, что никто, кроме короля, не имеет права быть во Франции заступником и покровителем бедных людей. Несмотря на то Людовик XIV по праву оставался все-таки королем феодального государства, в котором, как известно, центральная власть на каждом шагу встречала себе препятствия и противодействия со стороны разных сословных и корпоративных учреждений и привилегий. Вся средневековая путаница властей продолжала существовать при Людовике XIV и оставалась не отмененною до самой революции. Духовенство заведовало своими делами почти совершенно независимо от короля; колоссаль-

ные поместья, принадлежащие церкви, не платили никакой подати, кроме так называемого don gratuit, назначавшегося в большем или меньшем размере, смотря по расположению духовенства к правительству. В руках духовенства находилось народное обучение, в которое вовсе не вмешивалась королевская власть. Дворянство имело свои провинциальные собрания, в которых оно обсуживало местные потребности края, занималось раскладкою податей и иногда выдвигало против королевских чиновников упорную оппозицию. В отправлении правосудия не было ни единства, ни целесообразности; в каждой провинции было свое обычное право (droit coutumier); каждый землевладелец и каждая городская община имели свой суд и расправу; апеллировать на их решения можно было в королевские президиальные суды[11], но круг деятельности этих судов оставался до такой степени неопределенным, что у них на каждом шагу происходили столкновения с другими инстанциями. Высшая судебная власть сосредоточивалась в парламентах[12], их было прежде девять, а потом пятнадцать, и все они в своем судебном округе были верховными судилищами; все они гордо опирались на вековые права и постоянно спорили за них между собою с низшими инстанциями, вырывавшимися из-под их контроля, и, наконец, с королевскими министрами, старавшимися ограничить их притязания. Парламенты, и особенно важнейший из них, парижский, утверждали постоянно, что никакое распоряжение короля не имеет законной силы, пока оно не внесено в парламентские реестры: иногда, находя королевские распоряжения несогласными с требованиями права или опасными для блага государства, парламенты отказывались вносить эти распоряжения в реестр. Иногда парламенты собственною властью отдавали приказания по важнейшим отраслям полицейского управления; иногда они призывали к суду королевских чиновников за превышение власти или за какое-нибудь другое нарушение закона. Правительство упорно сопротивлялось притязаниям парламентов. Отвергнутое распоряжение короля записывалось в реестр насильно; приказание парламента по полицейскому управлению в случае надобности отменялось; обвиненные чиновники освобождались от судебных преследований; в каждом отдельном случае парламенты принуждены были покоряться, но как только представлялся случай, так они тотчас начинали и с невозмутимою стой-

костью выдерживали до конца ту легальную борьбу, которая всегда кончалась торжеством вооруженной силы над вековым документальным правом.

Стойкость парламентов основывалась преимущественно на том обстоятельстве, что назначение парламентских советников не зависело от короля. Все места в парламентах передавались по наследству от отца к сыну. Нуждаясь постоянно в деньгах, короли продавали различные должности не только в пожизненное, но и в наследственное владение. Таким образом были проданы все места в парламентах. Таким же образом продавались места при дворе, в армии, в лесном управлении, в ведомстве податных сборов, в городских и цеховых управлениях. Многие должности создавались единственно для продажи; чтобы выручить за них более значительную сумму денег, правительство давало покупателям дворянское достоинство и, уже во всяком случае, освобождало их от многих тягостных повинностей. Королевская власть была, таким образом, окружена при Людовике XIV легионом несменяемых чиновников и целыми тысячами старинных прав, замкнутых корпораций, неприкосновенных привилегий и разных других, наполовину обессмысленных остатков и призраков отдаленного прошедшего. Людовик XIV не уничтожал этих реликвий; он чувствовал, что если тронуть этот старый порядок, то придется перестраивать заново все общественное здание. Такая титаническая работа была ему не по силам и не по вкусу; не отличаясь шириною общих взглядов и не чувствуя в себе призвания быть радикальным реформатором, он совершенно удовлетворялся тем обстоятельством, чтобы в каждом отдельном случае старое документальное право уступало напору его державной воли. Он в каждом отдельном случае изворачивался мелкими средствами; он делал все, что хотел, и, как человек практический, вовсе не заботился о том, почему исполняется его воля,— потому ли, что эта воля совпадает с принципом существующего закона, или потому, что она опирается на материальную силу. На тех людей, которые находились с ним в близких отношениях, он действовал непосредственным влиянием своей личности; он привлекал их своею неотразимою любезностью или внушал им почтение своею поразительною величавостью; для достижения своих целей он пускал в ход все чувствительные струны человеческой души. Он эксплуатировал в свою пользу тщеславие дворянства, властолюбие чинов-

ничества, нетерпимость духовенства и, наконец, стремление к приобретению, в одинаковой степени свойственное аристократам, бюрократам и церковникам. На кого не действовали кроткие ласки, на того можно было навести спасительный страх, и, наконец, оставались еще в запасе насильственные меры. Если в какой-нибудь провинции слышался ропот, то ропот этот умолкал при вступлении в провинцию военного отряда; если какой-нибудь городовой магистрат не вовремя вспоминал о своих неотмененных правах, то в городе ставились на постой войска, и магистрат убеждался в том, что права его составляют анахронизм; наконец, парламентские советники и чиновники, получившие свои должности по наследству, не могли быть замещены другими лицами, но зато для них и вообще для всякого человека, изъявлявшего притязание на самостоятельность, были всегда готовы в неограниченном количестве гостеприимные каморки Бастилии, Венсенского замка и разных других общеполезных учреждений.

Всеми этими и многими другими средствами Людовик XIV пользовался с замечательным искусством. Его положению завидовали и его примеру безуспешно подражали все современные ему государи Европы. В продолжение нескольких десятков лет он стоял на такой недосягаемой высоте, на которой слух его не мог быть возмущен ни тихою жалобою, ни робким противоречием. Все силы Франции были в его руке, и он расходовал эти силы по своему благоусмотрению, не отдавая никому отчета в своих распоряжениях. Одна война следовала за другою; деньги и рабочие руки тратились на завоевательные попытки, имевшие чисто династический интерес, поднимавшие на Францию оружие почти всей остальной Европы и вследствие этого оканчивавшиеся обыкновенно неудачами и унизительными мирными трактатами. Королевская казна постоянно нуждалась в деньгах, а между тем народ постоянно платил так много, что самый изобретательный финансовый гений не находил возможности увеличивать массу налогов. Чтобы добывать деньги, приходилось выдумывать новые должности и продавать их частным лицам, приходилось отдавать на откуп все отрасли частной промышленности, приходилось вводить монополии и привилегии во все отправления народной жизни. Дошло до того, что ремесло перевозчиков, факельщиков и носильщиков было продано в исключительную собственность нескольким семействам. Само собою разумеется,

что монополисты выручали затраченные капиталы, вытягивая их из народа; следовательно, в конце концов все войны Людовика XIV, все его версальские дворцы, фонтаны и праздники всею своею тяжестью лежали на плечах французских крестьян и французских работников, которым уже не на кого было сложить эту тяжесть. Голод и заразительные болезни опустошали целые провинции; сотни тысяч жителей питались желудями и древесною корою, причем, конечно, умственное и нравственное состояние их совершенно соответствовало высоте их материального довольства. В конце царствования Людовика XIV ему окончательно изменила даже та военная слава, которая с незапамятных времен составляла для французов необходимое утешение во время неурожаев и тяжелых налогов. Когда исчезло это последнее утешение, тогда народ понял, что положение его действительно тяжело.

III

При таких обстоятельствах началось царствование Людовика XV и регентство Филиппа Орлеанского[13]. Регент, как известно, был человек веселый и беззаботный, а король, когда вырос и возмужал, сделался еще веселее и беззаботнее регента. Двор и высшие сословия государства, подражая властелину, дышали веселостью и беззаботностью. Король был человек очень остроумный, и приближенные его были также, по большей части, люди неглупые и не лишенные образования; все они понимали или по крайней мере чувствовали, что государственная машина трещит и расклеивается, что старому обществу приходит конец и что в воздухе эпохи носятся идеи, радикально враждебные всем средневековым учреждениям и авторитетам. Все чувствовали непрочность своего положения, но так как положение само по себе, в данную минуту, было все-таки приятно, то они и спешили им наслаждаться, подражая мудрым эпикурейцам древности и с полным успехом прогоняя всякие назойливые мысли о завтрашнем дне или о будущем финансовом дефиците. В эту веселую эпоху практической мудрости возникла известная поговорка: «après moi le déluge»[14]; в эту же эпоху король говорил с лукавою улыбкою, что на его век хватит, а уж наследник пускай выпутывается, как сам знает.

Все это было очень остроумно, но все это нисколько не нравилось среднему сословию, которое постоянно посматривало то вверх, на аристократию, то вниз, на народ, и при этом все о чем-то размышляло и весьма неодобрительно покачивало головами. Это сословие, имевшее материальное обеспечение и свободное время для умственных занятий, было насквозь проникнуто идеями XVIII столетия, отвергавшими в основных принципах и во всех отдельных подробностях все миросозерцание средневековой эпохи. Средневековой человек за пределами церковного догмата не видел ничего, кроме мирской суеты, греховной лжи и дьявольского искушения; на землю он смотрел как на место изгнания и заточения; на всей природе он видел печать первобытного проклятия; себя самого он считал мерзким сосудом всякой нечистоты; к уму своему он чувствовал недоверие, смешанное с отвращением. Все это продолжалось до тех пор, пока авторитет католицизма оставался на высоте, недоступной для критической мысли. Но когда стали появляться попытки свести его с этой высоты и когда эти попытки стали повторяться все чаще и чаще, когда, наконец, сумма нескольких счастливых попыток образовала собою Реформацию, тогда самые верующие католики принуждены были сознаться в том, что элемент греховной лжи проник даже в истолкование церковного догмата; тогда исчезла граница между областью истины и областью лжи, эту границу каждому отдельному человеку пришлось отыскивать силами собственного ума; и проклятому еретику и спасающемуся католику поневоле пришлось размышлять, сначала для того, чтобы поражать друг друга полемическими аргументами, а через несколько времени уже просто потому, что размышление вошло в привычку и сделалось потребностью. Люди начали открывать истины там, где их вовсе не предполагали. Земля завертелась под ногами таких людей, которые готовы были присягать и божиться, что она всегда стояла и до сих пор стоит на одном месте. Солнце, которое каждый день всходит и садится на наших глазах, вдруг остановилось или по крайней мере было объявлено неподвижным светилом. Каждый благомыслящий человек был уверен в том, что он стоит на земле книзу ногами и вверх головою, но вдруг обнаружилось, что земля есть шарообразное тело, по которому нам или нашим антиподам приходится ходить кверху ногами, так, как мухи ходят по потолку. Уже одних этих открытий было совер-

шенно достаточно для того, чтобы поставить в тупик всякого порядочного человека. Если земля не стоит на одном месте, то что же после этого твердо и незыблемо? Если я сам не знаю, как я хожу по земле, кверху головою или кверху ногами, то что же я знаю? Где верх, где низ? Где голова, где ноги? Если меня обманывают зрение и осязание, то что же меня не обманывает? Существует ли вокруг меня что-нибудь? Существую ли я сам? И как, и зачем, и почему?

Все эти вопросы кажутся нам странными теперь, потому что мы уже привыкли к той мысли, что мы многого не знаем и что многое навсегда останется нам неизвестным. Мы теперь выучились терпеливо ждать ответа на наши вопросы со стороны опыта и выучились вместе с тем не задавать таких вопросов, которых не может разрешить никакой опыт. Но средневековые люди в продолжение многих столетий знали решительно все, и вдруг им пришлось убедиться в том, что они не знают решительно ничего; они решили все вопросы, и в один прекрасный день оказалось, что все их решения никуда не годятся. Сотрясение произошло, конечно, такое сильное, что мыслителям пришлось ощупывать самих себя и вовсе не на шутку сомневаться в собственном существовании. И скептицизм Юма, и идеализм Берклея, и трансцендентальный идеализм Канта были неизбежным логическим следствием того общего движения мысли, которое разрушило и стерло в порошок все колоссальные построения средних веков. Проникая с неудержимою силою во все отрасли умственной деятельности, прокладывая себе новые пути по всем возможным направлениям, дух критики и исследования создавал или переделывал заново философию, естествознание и политику. Любовь к природе, уважение к человеческой личности и признание безусловной диктатуры человеческого ума сделались основными элементами и руководящими принципами нового умственного движения. Во имя этих принципов стало отвергаться с неумолимою строгостью все, что унижало и порабощало человеческую личность, и все, что оказывалось несостоятельным перед судом человеческого разума.

Когда государство Людовика XV в целом составе своем и в своих отдельных частях было подвергнуто такому анализу, который не щадил ни исторической давности, ни документальной законности, тогда все это государство перед лицом анализирующей мысли оказалось безвозвратно

осужденным на неминуемое разрушение. Приговор теоретического мышления имел в этом случае неотразимую силу, потому что мыслители приводили только в научную систему или облекали в стройную литературную форму те разрозненные идеи отрицания, которые возбуждались в каждом отдельном члене общества ежедневными столкновениями с живою действительностью. Политическая тактика самого Людовика XV открывала этим идеям доступ во все сферы тогдашнего общества. Король не мог удерживать за собою постоянный перевес над всеми силами своего феодального государства; у него не было ни того искусства, ни той настойчивости, которые обнаруживал во все продолжение своего царствования его прадед, Людовик XIV; не обладая этими личными качествами, Людовик XV поочередно боролся и вступал в союз с различными общественными силами тогдашней Франции; сначала он соединился с иезуитами против парламентов, потом, при помощи парламентов, вступил в борьбу с влиянием духовенства, а потом опять сделался клерикалом для того, чтобы смирить парламенты. Когда одно из привилегированных сословий находилось, таким образом, в королевской милости, тогда другое было в опале и составляло оппозицию. Первое проникалось веселостью и беззаботностью, свойственною королю и его придворным, а второе в это время пропитывалось идеями отрицания и, чувствуя себя обиженным, старалось распространить неудовольствие в обществе. Когда первое делалось вторым, а второе — первым, тогда веселость и беззаботность первого помрачались оппозиционными идеями отрицания, а идеи отрицания второго мгновенно прояснялись в лучах веселости и беззаботности. В результате оказывалось, что правительственные сословия в совершенстве выучились наслаждаться жизнью и в то же время потеряли всякое доверие к своей собственной деятельности. Великие слова: «après moi le déluge» сделались девизом всех людей, когда-либо приближавшихся к венценосной особе Людовика XV. Но те сословия, которым постоянно суждено было составлять молчаливую оппозицию, не поняли великого значения этих сакраментальных слов; им не нравилась ни веселость, ни беззаботность, ни политическая тактика короля, ни периодическая оппозиция привилегированных классов. Им особенно не нравилось то, что на стороне королевской власти была вся материальная сила, а на стороне феодальных сословий все докумен-

тальное право. Они спрашивали себя, на чью сторону склоняется разум? — и отвечали себе на этот вопрос, что разум отвергает и то и другое и требует чего-нибудь совершенно непохожего на существующий порядок. Что же касается до массы простого народа, то он, конечно, не занимался теоретическими выкладками, но между тем не чувствовал так же преобладающей наклонности к веселости и к беззаботному наслаждению. Ему казалось особенно обидным то обстоятельство, что с каждым годом приходится больше работать для того, чтобы сильнее голодать; его смущала также та простая мысль, что в будущем не предвидится ни уменьшения налогов, ни увеличения годовых заработков. Представлялся гамлетовский вопрос: быть или не быть? А если «быть», то как сводить концы с концами? Этот вопрос был тем более знаменателен, что он представлялся людям, никогда не читавшим Шекспира и даже незнакомым с французскою азбукою. Можно было ожидать, что они когда-нибудь решат этот вопрос довольно круто и, во всяком случае, очень прямолинейно.

IV

Важнейшею отраслью народного хозяйства во Франции прошлого столетия было земледелие. Из 25 миллионов жителей им занимались 21 миллион; из 51 миллиона гектаров земли, составлявших всю площадь королевства, было распахано 35 миллионов. Две трети этого распаханного пространства принадлежали крупным собственникам, то есть церкви, дворянству и богатым финансистам и законоведам. Остальная треть составляла собственность крестьян и была раздроблена на такие мелкие кусочки, которые не могли прокормить своих владельцев и приносили им очень мало пользы. В сельском быту встречались, таким образом, две крайности; рядом с обладателями сотен и тысяч гектаров стояли владельцы десяти или пяти квадратных сажен земли; между этими крайностями не существовало средины, не было совсем таких землевладельцев, которых существование было бы обеспечено продуктами земли и которые между тем находились бы в необходимости постоянно трудиться и собственноручно заниматься своим хозяйством. Для крупного собственника такие занятия были немыслимы, а счастливому обладателю пяти квадратных сажен надо

было искать заработков на стороне, потому что в собственных поместьях ему не к чему было приложить свой труд. Богатые землевладельцы перестали жить в своих именьях с тех самых пор, как феодальное рыцарство превратилось в блестящую толпу придворных. Они переселились в столицу, сгруппировались вокруг особы короля и появлялись в своих замках только тогда, когда прожито было слишком много денег и только затем, чтобы набить потуже кошелек, и снова ехать в Париж, и снова платить обычную дань прелестям цивилизованной жизни. Земли, из которых извлекалось содержание дворянских кошельков, были разделены на мелкие участки в 10 или в 15 гектаров и отдавались в аренду крестьянам, которые были обязаны выплачивать владельцу половину сырого земледельческого продукта. За это им давался от хозяина зерновой хлеб на первое обсеменение полей; кроме того, они получали также от хозяина рабочий скот и земледельческие орудия. Самому владельцу было, конечно, скучно возиться и рассчитываться с мужиками, и потому он обыкновенно отдавал гуртом свои доходы на откуп какому-нибудь адвокату или нотариусу, который, как человек практический, всегда умел с большим избытком выручить откупную сумму и собрать обильную дань и с земли, и с крестьян, и с самого хозяина. Крестьяне знали, что половина их хлеба неминуемо должна пойти к владельцу или к откупщику; им не было никакого расчета заботиться об улучшении земли, и они постоянно вели спустя рукава свое земледельческое хозяйство; когда надо было пахать, они нанимались в извоз, потому что из постороннего заработка им ничего не приходилось отдавать хозяину; они загоняли гусей в свои пшеничные поля, потому что пшеница была наполовину хозяйская, а гуси целиком принадлежали крестьянину*; наконец, они старались оставлять как можно больше земли под паром, потому что на этой земле можно было кормить скотину, которая также составляла нераздельную собственность крестьянина.

Земледелие велось, таким образом, без усердия, без знания и совершенно без капитала. Хорошие урожаи бы-

---

* Этот факт, целиком заимствованный мною у Зибеля («Geschichte der Revolutionszeit», Band I, 21[15], доказывает неопровержимым образом, что гуси и пшеница составляли яблоко раздора между землевладельцами и крестьянами задолго до рождения гг. Фета и Семена[16]. При этом должно заметить, что гуси постоянно являются представителями демократических интересов.

ли невозможны; пшеница рождалась сам-пят и сам-шест, а в Англии в то же самое время она давала сам-двенадцать. Это объясняется отчасти тем, что в то время самая высокая рента в Англии не превышала одной четвертой доли сырого продукта. Кроме того, английские землевладельцы из этой ренты платили церковную десятину и налог для бедных, а французские оптиматы[17], отбирая в свою пользу половину продукта, оставляли в пользу бедных только общественные тягости и разнородные повинности, от которых высшие сословия были совершенно освобождены. Крестьяне должны были исправлять разные обязательные работы на господском дворе, известные под общим названием corvées; они должны были выплачивать церковную десятину, и они же без всякого вознаграждения должны были мостить и чинить большие и проселочные дороги. За вычетом всех денежных и натуральных повинностей оказывалось, что крестьянин, бравший на аренду 10 гектаров, только в счастливый год мог прокормить свою семью продуктом своего поля. О продаже хлеба и об удобствах жизни нечего было и думать. Крестьянин тупел от постоянной нужды, и хозяйство с каждым годом велось небрежнее. Большие полосы пахотной земли оставлялись заброшенными и порастали бурьяном; к 1750 году, по словам Кенэ, около четвертой доли пахотной земли было запущено и заброшено; пространство этих оставленных полей постоянно увеличивалось, так что в 1790 году больше 9 миллионов гектаров удобной земли было превращено в пустыню. Миллионы крестьянских хижин стояли без окон, в целых провинциях народ ходил босиком; во всяком случае, не было никакой обуви, кроме деревянных башмаков. Пища состояла из хлеба, из мучной похлебки и иногда из свиного сала; мясо и вино были почти неизвестны; не следует также обольщаться словом «хлеб»: то, что французский крестьянин называл хлебом, представляло мало сходства с тем, что принято называть хлебом в образованном обществе; крестьянский хлеб относился к цивилизованному хлебу так, как крестьянские patois[18] относились к языку Вольтера и Руссо; в этот так называемый хлеб входили и отруби, и мякина, и каштаны, и желуди, и, в случае надобности, древесная кора. Кто набивает себе желудок таким хлебом, у того нет ни охоты, ни материальной возможности думать об украшении ума. Грамотность не существовала во французских деревнях; книги или газеты были в них

совершенно неизвестны. Проповедь приходского священника заменяла крестьянам все остальные источники просвещения. Но сельское духовенство было почти так же бедно и, вследствие этого, почти так же необразованно, как масса прихожан. Религиозные понятия крестьян представляли самую своеобразную мозаику, составленную из христианских представлений и из остатков друидизма[19] Пламенная и слепая ненависть крестьян к протестантам представляется главным и почти единственным результатом того влияния, которым сельское духовенство пользовалось в своих приходах. В южной Франции крестьяне благодаря своим пастырям видели в каждом протестанте опасного колдуна, которого следует бить и убивать из любви к богу и для спасения собственной души. О том, что делалось на белом свете, за пределами села или прихода, крестьяне не знали ничего. Поездка на базар в ближайший город считалась путешествием трудным и небезопасным, потому что дороги находились в первобытном состоянии и бродяжничество существовало в самых обширных размерах. Если кому-нибудь из крестьян случалось отправиться в дальний город на заработки или если ему приходилось пойти в солдаты, то он обыкновенно уже не возвращался на родину и не давал о себе никаких известий, так что земляки его нисколько не могли воспользоваться его житейскою опытностью.

При ограниченности своих понятий крестьянин видел в помещике и в его поверенном не только ближайшую, но даже единственную причину того голода и той неблагодарной работы, из которых состояла вся его жизнь. Крестьянин замечал, что помещик приезжает в свой замок только затем, чтобы собрать побольше денег; приезд владельца сопровождался обыкновенно усиленною строгостью в требовании запущенных недоимок. Ни сам владелец, ни его поверенный не отличались мягкостью и любезностью в обращении с простым народом. Экономические интересы обоих классов населения были диаметрально противоположны между собою; случаи мелких столкновений представлялись на каждом шагу; в понятиях, в потребностях и во вкусах не могло быть ничего общего; люди замка смотрели на хижины с презрением, а люди хижин смотрели на замок с ненавистью и со страхом. «Когда крестьянину,— говорит Зибель,— случалось взглянуть на башни господского дома, то любимою мечтою его

было когда-нибудь сжечь этот замок, в котором был записан счет его недоимок».

Провинция Анжу составляла счастливое исключение из общего правила: в этой провинции крестьяне не умирали с голоду, и дворяне не были предметом ненависти для простого народа. Анжуйское дворянство не увлеклось прелестями придворной жизни, не покинуло своих родовых поместий и, вследствие этого, удержало за собою уважение своих поселян. В этой провинции дворяне и крестьяне росли вместе и знали друг друга с детства; фермы переходили от отца к сыну, и помещик, крестивший всех детей у своих фермеров, никогда не решался за неаккуратность в платеже или в исполнении повинностей прогнать с своей земли крестьянина, выросшего на его глазах и не отличавшегося особенно дурным поведением. Помещик жил круглый год в своем замке, сам управлял имением, сам ходил в поле наблюдать за ходом работ, сам вникал в нужды своих фермеров, потому что разоренный фермер был бы плохим плательщиком, сам взыскивал с них за неисправности и сам подавал им пример деятельности. По праздничным дням он вместе с крестьянами ездил на базар и отстаивал своих вассалов, когда их теснили мелкие чиновники. Эта патриархальная простота неизбежно соединялась с патриархальною грубостью, но крестьяне ею не обижались и были очень довольны тем, что на них не наваливают тяжести, превышающей человеческие силы.

Северные провинции королевства (Фландрия, Артуа, Пикардия, Нормандия и Иль-де-Франс) во многих отношениях отличались от других частей Франции; в этих провинциях крестьяне брали земли на аренду по многолетним контрактам и вносили арендную плату не зерном, а деньгами, причем, конечно, сумма арендной платы оставалась не измененною на весь срок контракта. Земля обработывалась тщательно, с знанием дела и с приложением капитала. Урожаи были вдвое лучше, чем в остальных частях государства, и крестьяне, живя безбедно, стояли в умственном отношении гораздо выше своих прочих соотечественников, принадлежавших к тому же сословию. Но число этих сравнительно счастливых и просвещенных земледельцев совершенно исчезло в общей груде непроницаемого невежества и безвыходной нищеты.

V

В городах старой французской монархии господствовала замкнутая денежная аристократия. Городские должности, замещавшиеся во время средних веков посредством выборов, с XVII столетия стали в непосредственную зависимость от воли короля и, подобно многим другим государственным должностям, были проданы разным богатым людям в потомственное владение. Семейства, в которые таким образом попало наследственное обладание важными должностями, стали во главе городской аристократии. К ним примкнули члены больших финансовых компаний, откупщики косвенных налогов, сборщики прямых податей, важнейшие банкиры и главные акционеры торговых обществ, пользовавшихся различными монополиями. Этот кружок, в который можно было попасть только по рождению или по особому разрешению правительства, с полным самовластием господствовал на биржах и управлял движением капиталов во всей стране. Центром биржевых спекуляций и ареною самого роскошного ажиотажа был Париж. Джон Ло, как известно, на вечные времена обессмертил свое имя тою акционерною горячкою, которую ему удалось возбудить в Париже[20], и чрез Париж в целой Франции, во время регентства веселого и беззаботного Филиппа Орлеанского. Тысячи колоссальных состояний возникали и исчезали в один день; бумаги переходили из рук в руки с невероятною быстротою; за приливами безграничного восторга следовали припадки панического страха, и хотя дело кончилось тем, что Ло принужден был бежать из Парижа, чтобы не сделаться жертвою разоренных акционеров, однако страсть к биржевой игре не унялась и продолжала по-прежнему отвлекать капиталы от производительного приложения и практические умы — от полезной деятельности. Прелесть игры понимали и король, и министры, и придворные дамы, и дворянство, и духовенство, и парламенты; вечный финансовый дефицит и постоянное возрастание государственного долга наполняли и переполняли биржу бумажными ценностями; членам правительства каждый день представлялась возможность эксплуатировать в свою пользу потребности государства и доверие частных лиц; и члены правительства, отличавшиеся в то время изумительною эластичностью нравственных убеждений, с замечательным искусством пользовались выгодами своего по-

ложения. Париж до революции не был фабричным городом, и оптовая торговля его была незначительна, так что все его промышленное движение было основано на мелкой ремесленной деятельности и на крупной биржевой игре.

Для характеристики того времени любопытно заметить, что тогдашние богачи с особенным удовольствием покупали пожизненные ренты, то есть они заранее отнимали у своих наследников капитал, и за то, в течение своей жизни, получали с этого капитала большие проценты. В этом обстоятельстве чувствуется еще раз влияние господствовавшего принципа «après moi le déluge». Тогдашние богачи, подобно птицам небесным, не собирали в житницы и не заботились о завтрашнем дне, потому что завтрашний день казался им весьма ненадежным.

Торговля и ремесленная деятельность во всем королевстве была подчинена строжайшему цеховому устройству. Генрих III произнес то замечательное суждение, что только король дарует право труда, и эти слова сделались руководящим принципом французского правительства в отношении к ремесленному населению королевства. Заниматься ремеслом позволялось только тому, кто принадлежал к ремесленному цеху; каждый цех управлялся мастерами, которые одни имели право принимать в цех постороннее лицо, а постороннее лицо, поступавшее в цех, подвергалось испытанию со стороны мастеров и, кроме того, должно было платить за свое принятие и государству, и цеху, и мастерам. Выгода мастеров состояла в том, чтобы удерживать за собою и за своими семействами монополию своего ремесла, потому они старались не принимать в цех ни одного постороннего лица, что им и удавалось в большей части случаев. Часто самые статуты цеха ограждали их от всяких пришельцев, определяя положительно, что мастерами могут быть только сыновья мастеров или вторые мужья овдовевших мастериц. Таким образом, столяры, булочники или портные составляли такую же замкнутую аристократию, какую образовали из себя наследственные чиновники, парламентские советники или банкиры. Вся Франция была покрыта громадной сетью различных аристократий, и кому не удавалось родиться в том или другом из этих счастливых кружков, тому почти нечего было делать на земном шаре и почти нечем было отбиваться от голодной смерти. Ему надо было идти в услужение, наниматься в поденщики

или отдаваться в безусловное распоряжение мастера, который знал его безвыходное положение и, следовательно, брал его в кабалу на произвольно назначаемых условиях. Мужик, голодавший в деревне, не находил себе облегчения и в городе.

Из всех аристократий, отравлявших жизнь французского пролетария, ремесленная аристократия была, по всей вероятности, самою тяжелою; ее существование связывало простого человека по рукам и по ногам и, кроме того, самым радикальным образом извращало глубочайшие основы народного характера. Пролетарию приходилось чувствовать зависть и ненависть не только к тому, кто был богат и знатен, но и к своему брату-бедняку, если только этот бедняк имел право заниматься такою работою, которая для простого пролетария составляла запретный плод. С богатым и знатным пролетарий встречался редко; богатого и знатного он видал издали; напротив того, привилегированного бедняка он встречал на каждом шагу, и каждая такая встреча растравляла его раны и подогревала его враждебные чувства. Пока пролетарий стоял в тени, до тех пор никто не обращал внимания на его чувства и на весь склад его характера; злоба его была смешна, и страдания его возбуждали только презрение; но когда пролетарий под знаменательным именем *санкюлота,* в свою очередь, сделался важным лицом, тогда всплыли наверх все чувства, посеянные в его душе веками порабощения, тогда систематически искаженный характер его сделался двигателем мировых событий, и тогда историкам пришлось ужасаться перед теми результатами, которые выработала история в своем вековом течении. Пролетарий явился тем, чем сделал его весь средневековой порядок вещей. Превращенный историческими обстоятельствами в голодного волка, пролетарий не обнаружил голубиной кротости, и историки изумились и ужаснулись.

Ремесленная аристократия была, подобно чиновной аристократии, созданием королевского правительства; постоянно нуждаясь в деньгах, короли продавали цеховые привилегии точно так же, как они продавали общественные должности; французские правители в этом случае действовали как покупатели пожизненных рент или вообще как люди, проживающие капитал. Они брали с своего государства большие проценты в настоящем и чрез это

готовили в будущем ему и кому-нибудь из своих наследников неизбежную катастрофу.

Различные аристократии, выработанные историческою жизнью или учрежденные волею королей, глубоко сознавали свою взаимную солидарность и ту роковую связь, в которой находились между собою различные камни старого общественного здания. Когда Тюрго в 1776 году уничтожил замкнутые цехи[21], тогда со всех сторон поднялись яростные вопли: парижский парламент, принцы, пэры, доктора прав объявили в один голос, что все французы, начиная от ступеней трона и кончая беднейшею мастерскою, составляют и всегда должны составлять непрерывную цепь твердо организованных корпораций, которых неприкосновенность совершенно необходима для существования государства и которых разрушение неминуемо повлечет за собою окончательную гибель всего общественного порядка. Против таких предвещаний не мог устоять Людовик XVI; опасный Тюрго потерял министерский портфель, и цехи были восстановлены в прежнем своем величии.

Фабричная промышленность со времен Кольбера пользовалась постоянным покровительством и находилась под постоянною опекою центральной власти[22]. До Кольбера Франция не производила ни тонкого сукна, ни шелковых материй, ни стеклянных изделий, ни мыла, ни дегтя; фабричное производство почти не существовало, так что Кольберу пришлось выписать мастеровых из Германии, из Швеции и из Италии. Чтобы эти иноземные семена принялись на французской почве, Кольбер взял на себя труд обеспечивать сбыт фабрикуемых товаров и защищать новорожденные фабрики от иностранной конкуренции; все товары должны были производиться по назначенным образцам; заграничные товары подвергались огромным пошлинам; отступление от назначенных образцов влекло за собою денежные штрафы, сожжение изготовленных товаров незаконной формы и часто позорные наказания провинившегося фабриканта. Технические усовершенствования сделались невозможными, потому что изобретательность считалась уголовным преступлением. При таких условиях все развитие мануфактурной промышленности приняло искусственное и чисто аристократическое направление. При Кольбере фабрикациею шерстяных тканей занимались 60 400 работников, а выделкою кружева — 17 300 человек. Таким образом, на 100 работни-

ков, приготовлявших необходимые вещи, приходится больше 20 человек, удовлетворявших требованиям роскоши. Через сто лет после Кольбера мы встречаем факт, гораздо более любопытный: оказывается, что фабрикация мыла приносила в год 18 миллионов дохода, а производство пудры доставляло до 24 миллионов. Если, как мы видим из этих цифр, французский пролетарий никогда в жизни не имел в руках куска мыла, то уже по одному этому факту можно составить себе понятие об общей высоте его эстетического развития. Обстоятельства принуждали его быть грязным циником, и этот грязный цинизм в свое время дал себя знать всему французскому обществу и всей феодальной Европе. Если бы французский пролетарий мог умываться, как следует порядочному человеку, то, наверное, не было бы ни террора 1793 года, ни завоевательных шалостей великого Наполеона.

Это может показаться парадоксом и неуместною шуткою, но стоит повнимательнее взглянуть на дело, чтобы убедиться в том, что тут парадоксальна только внешняя форма выражения. А шутки тут и в виду не имеется. Кто сколько-нибудь имеет понятие о смысле событий, совершающихся во всемирной истории, тот знает, что каждый голодный день пролетария, каждая прореха на его рубище, каждая болячка на его истомленном теле составляют общественные явления колоссальной важности и ведут за собою такие последствия, которых «ни в сказке сказать, ни пером написать». Покровительствуя фабричной промышленности, французское правительство стесняло развитие земледелия. Высокие таможенные пошлины возвышали цену на земледельческие орудия и, следовательно, принуждали массу крестьян работать плохими и неудобными инструментами. Сверх того, правительство, желая искусственными средствами поддерживать в стране дешевые цены на хлеб для того, чтобы городские работники не терпели недостатка в продовольствии, запрещало вывоз земледельческого продукта за границу. Хлеб был действительно дешев вследствие этих распоряжений, но сельское хозяйство не имело возможности совершенствоваться, количество производимого хлеба не увеличивалось, и, следовательно, в общей массе народного богатства не замечалось никакого приращения. Хлеб был дешев, но труд был еще дешевле, так что рабочий человек все-таки продолжал нуждаться в насущном пропитании. За год до революции, в 1788 году, городской работник получал в

день около 26 су, а работница — около 15-ти; в 1853 году городской работник получал не менее 42 су, а работница не менее 26-ти. В деревне рабочий день в 1788 году стоил 15 су, а в 1853 году он возвысился до 25 су. До революции было в году по крайней мере тридцатью праздничными днями больше, чем в настоящее время. Если мы примем в соображение это обстоятельство, то мы увидим, что фабричный работник старого времени получал в год около 350 ливров, между тем как теперь такой же работник добывает до 630 франков (1 франк = 1 ливру). Годовой заработок сельского поденщика составлял до революции около 160 ливров, а в наше время он доходит до 300 франков. Фунт печеного хлеба до 1789 года, при всех усилиях правительства понизить его цену искусственными средствами, стоил в самое дешевое время 3 су; такая же цена держалась только в Париже благодаря особенным стараниям правительства и городских властей, а в провинциях хлеб обыкновенно стоил дороже; в нынешнем столетии, с 1820 по 1840 год, средняя цена печеного хлеба была 17 сантимов за фунт, что равняется 3 су; а в 1851 году фунт печеного хлеба стоил в Париже 14 сантимов, то есть 2 су. Печеный хлеб в наше время, таким образом, оказывается дешевле, чем в прошлом столетии, а между тем пшеница повысилась в цене. Около 1780 года гектолитр пшеницы стоил от 12 до 13 франков, а около 1840 года он стоил от 19 до 20 франков.

Понижение цены на печеный хлеб при возвышении цен зернового хлеба объясняется тем, что превращение зерна в муку и муки в хлеб испытало в новейшее время очень значительные усовершенствования; теперь определенное количество зернового хлеба дает почти в полтора раза больше печеного хлеба, чем сколько оно давало в прошлом столетии. То количество питательного вещества, которое тогда терялось вследствие несовершенства снарядов и неискусства рабочих рук, теперь сохраняется и приносит непосредственную пользу. Можно сказать без преувеличения, что такого рода усовершенствование обогатило страну сильнее, чем могло бы обогатить ее открытие неисчерпаемой золотой руды; но такие усовершенствования возможны только тогда и там, где и когда личная изобретательность и промышленная деятельность развиваются в массах вместе с сознанием собственного достоинства. Полезные изобретения не возникают среди подавленного и притупленного народа, или если им даже

случается возникнуть, то они не прививаются к обыденной жизни и не приносят существенной пользы.

Сопоставляя цифры заработной платы с цифрами хлебных цен, мы видим, что теперешний работник может купить почти вдвое больше хлеба, чем мог купить работник времен Людовика XVI. Точно такой же результат получился бы, если бы стали рассматривать цены других съестных припасов; в отношении к одежде перевес настоящего времени над прошедшим оказался бы еще значительнее, потому что в фабрикации тканей произведено в последнее полустолетие больше усовершенствований, чем в какой-либо другой отрасли промышленности. До революции Франция во всех отношениях была гораздо беднее, чем теперь, а правительство ее было гораздо расточительнее, чем все правительства, сменившие друг друга в этой стране в течение первой половины нынешнего столетия. В отношении к торговле Франция, по вывозу и ввозу товаров, была в прошлом столетии вдвое беднее, в отношении к сельскому хозяйству — втрое беднее, в отношении к фабричному и ремесленному производству — вчетверо беднее, чем в настоящее время. Соображая эти обстоятельства, Зибель выводит заключение, что бюджет в 500 миллионов составлял для страны в XVIII столетии такую тяжесть, какую теперь составил бы бюджет в 1400 миллионов. Финансовый дефицит должен измеряться таким же масштабом. Сто миллионов дефицита в старой монархии равняются 300 миллионов дефицита нашего времени. Встречаясь с таким ежегодным дефицитом, правительство поневоле должно было прийти в недоумение. Государственная машина отказывалась служить, и потому поневоле надо было приняться за пересмотр ее целого состава и всех отдельных частей.

VI

За четыре года до революции, в 1785 году, французское правительство собирало с своих подданных прямыми и косвенными налогами на текущие государственные расходы 558 миллионов ливров. Кроме того, на местные управления провинций собиралось 41 миллион; эта сумма расходовалась на тех местах, на которых она взималась, и не поступала в государственное казначейство. Далее, церковь, содержавшая себя до революции совершенно не-

зависимо от общего бюджета, получала 133 миллиона десятинной подати и 16 миллионов разных других сборов. В пользу судебного сословия собиралось 29 миллионов; землевладельцы, имевшие право устроивать в своих землях заставы, собирали на этих заставах $2^1/_2$ миллиона; каждая торговая сделка, совершавшаяся в поместье, приносила землевладельцу определенную пошлину, и сумма всех этих пошлин, на всем пространстве королевства, доходила в течение года до 37 миллионов. Изобретательные рыцари и остроумное их потомство располагали еще множеством других замысловатых способов эксплуатации. Все эти способы были дозволены законом или по крайней мере освящены обычаем; каждый из них имел за себя неисчерпаемое количество юридических и исторических аргументов, из которых самым древним и, однако же, самым свежим по своей убедительности был факт, или было право,— называйте как хотите,— вооруженного насилия. Все эти способы с блестящим успехом прилагались к жизни французского народа до 1789 года. Вследствие этого в общем результате оказывалось, что, кроме 600 миллионов, поступавших в государственное казначейство и в различные провинциальные управления, французский народ платил в разные стороны, разным почтенным людям до 280 миллионов. Итого получается 880 миллионов, что, по масштабу, представленному в конце предыдущей главы, равняется, для настоящего времени, сумме в 2400 миллионов. При этом не мешает заметить, что правительство Людовика-Филиппа[23] никогда не издерживало в год больше 1500 миллионов и что, несмотря на то, оппозиция в палате депутатов и самостоятельная политическая пресса постоянно твердили министерству, вплоть до февраля 1848 года, о необходимости убавить расходы и сложить с народа часть налогов.

Старый порядок в финансовом отношении был для народа с лишком в полтора раза тяжелее администрации Июльской монархии[24], не говоря уже о том, что этот старый порядок парализировал все производительные силы народа сетью привилегий, монополий и запрещений. Для народа вовсе не составляло облегчения то обстоятельство, что только две трети собираемых с него денег шли на издержки правительства; народу было бы легче платить правительству все 880 миллионов, и зато избавиться раз навсегда от всех внутренних застав, десятин, пошлин за продажу и покупку и от всех изобретений остроумного

рыцарства. Народ понимал это, и потому неудовольствие его направлялось преимущественно не на центральное правительство, а на привилегированные сословия. Народ чувствовал, что его постоянно приносят в жертву привилегированным классам, как при распределении налогов, так и при расходовании государственных сумм. Во-первых, целая треть платимых повинностей (280 миллионов) прямым путем переходила из рук работающего пролетария в руки веселящегося аристократа. Во-вторых, аристократы платили сполна только косвенные налоги, падающие на предметы потребления; от остальных налогов их избавляло или сословное преимущество, или занимаемая должность, или какая-нибудь другая основательная причина, которую пролетарий никак не мог привести в свою пользу. В отношении к аристократу всякий сборщик податей мог быть только смиренным просителем, а в отношении к пролетарию та же особа была начальством, которое приходилось умилостивлять посильными и непосильными жертвоприношениями. Сборщик податей или откупщик косвенных налогов в старой Франции наживал себе обыкновенно значительное состояние, а так как все эти состояния получались все-таки из трудовых денег народа, то легко сообразить, что, кроме 880 миллионов, французский народ платил еще ежегодно разными негласными путями довольно значительные суммы, которых величину нельзя определить даже круглыми цифрами. Эти сборщики и откупщики обыкновенно давали правительству взаймы значительные суммы в счет доходов будущих лет; забирая таким образом свои доходы вперед, правительство платило за них большие проценты, так что сборщики и откупщики, служившие посредниками между народом и казначейством, тянули деньги и из народа и из казначейства, разоряли по мере сил обе стороны и доводили свое собственное благосостояние до самых почтенных размеров. Отношения между казначейством и сборщиками были до такой степени сложны, что, например, в бюджете 1785 года ставятся на счет долги за 1781 год и суммы, забранные вперед за 1787 год. По всем этим счетам подводится итог в 850 миллионов, а чистых денег оказывается в казначействе 327 миллионов. Я не берусь объяснить читателю, из каких именно элементов состоит общий итог в 850 миллионов; этого не объясняет и Зибель, и вообще вопрос этот имеет интерес очень специальный; привожу я эту цифру только для того, чтобы

показать, как запутаны были расчеты между казначейством и его ближайшими агентами; вся эта запутанность, конечно, обращалась в пользу сборщиков, которых усилия постоянно направлялись к той общей цели, чтобы народ платил как можно больше, а казначейство получало как можно меньше.

Насколько хороша была система собирания доходов, настолько же сообразно с общественною пользою было расходование собранных денег. На содержание двора полагалось по бюджету 35 миллионов, но тратилось до сорока, и в эту сумму не входили расходы на королевские охоты и путешествия, на жалованье высших придворных чиновников и на ремонт королевских замков. Военное министерство по бюджету должно было получать 114 миллионов, а получало 131 миллион; из этих денег 39 миллионов расходовалось на административную часть, 44 миллиона — на содержание солдат и 46 миллионов — на жалованье офицерам. В совершенной независимости от соображений министра находились личные распоряжения короля, израсходовавшего в 1785 году 136 миллионов на «подарки придворным, министру финансов и парламентским советникам, на уплату посторонних займов, на проценты и учеты чиновникам казначейства, на отпущение разных личных повинностей и на непредвиденные издержки всякого рода». В этом же году на мосты и дороги истрачено 4 миллиона, на общественные здания меньше 2-х миллионов и на ученые и учебные заведения с небольшим 1 миллион. В тридцатых годах нынешнего столетия на эти предметы тратилось ежегодно по 59 миллионов, то есть с лишком в восемь раз больше, чем в 1785 году. Больницы и воспитательные дома получали в 1785 году 6 миллионов от государства, 6 миллионов от церкви и 24 миллиона собственных доходов; в современной Франции благотворительные заведения получают в год до 119 миллионов.

Из всего этого видно, что старая монархия сохраняла неизменную верность своему феодальному происхождению; каковы бы ни были внутренние противоречия между отдельными ее учреждениями, но все они с непобедимою силою стремились к тому, чтобы разорить массу и обогатить то меньшинство, для которого существовала вся государственная машина. Но когда эта цель была достигнута, когда масса была разорена до последней крайности, тогда стали с ужасающею быстротою исчезать самые

источники доходов. Начались огромные недоимки; пришлось делать займы, платить большие проценты, увеличивать платежом процентов дефицит, а потом замазывать дефицит новым займом, требовавшим нового платежа процентов. Долг увеличивался вместе с дефицитом, а кредит уменьшался вместе с производительною силою страны. Министры предпринимали разные финансовые операции, но так как нет такой финансовой операции, которая из франка могла бы сделать луидор или взять что-нибудь с крестьянина, не имеющего ровно ничего, то все глубокомыслие министров оказывалось бессильным перед сокрушительными цифрами долгов и ежегодных дефицитов. Все царствование Людовика XVI состоит из длинного ряда разнообразных попыток выпутаться из отчаянного положения финансов.

Из всех советников Людовика XVI один Тюрго понял вполне, что финансовую болезнь нельзя лечить финансовыми мерами, что необходимо увеличить производительную деятельность народа и что причины, парализирующие эту деятельность, заключаются в самых основаниях феодального государства. Распоряжения Тюрго посыпались на все отрасли народной жизни. Он разрешил вывоз хлеба за границу и снял с крестьян дорожные повинности; он уничтожил цехи и основал кредитное учреждение, под названием учетной кассы; он изменил податную систему и стал подготовлять всех собственников государства к участию в политических правах; он хотел произвести сверху и постепенно те реформы, которые революционные собрания произвели снизу и мгновенно; но постепенность Тюрго показалась всем привилегированным классам бурною и сумасбродною заносчивостью. Брат короля, граф Карл Артуа, тот самый, по милости которого старшая линия Бурбонов в 1830 году была окончательно лишена французского престола, стал во главе недовольных[25], а недовольны распоряжениями Тюрго были и двор, и вся аристократия, и духовенство, и парламенты, и цеховые мастера, и все, кроме крестьян и пролетариев, которые в то время еще не имели своего суждения в государственных вопросах. Карл и придворные стали действовать на короля ежедневными воздыханиями о гибельных преобразованиях неосторожного министра, а другие недовольные аристократы в это время стали волновать народ, чтобы показать королю, насколько деятельность Тюрго противна желаниям нации и опасна для общественного

спокойствия. Народ, по своей безграничной наивности, действительно стал шуметь на улицах Парижа в пользу тех самых привилегий, которые морили его голодом. Людовику надоела вся эта тревога, и министерство Тюрго продержалось всего полтора года; как только Тюрго вышел в отставку, так воцарилась старая система управления во всем своем блеске и во всей своей величественной неподвижности. Неккер стал поправлять финансы займами[26], Калонн[27] стал поощрять своими советами придворную роскошь, говоря, что только роскошь поддерживает кредит, а что кредит необходим для существования государства. Неккер, во время своего первого министерства, занял в разных местах до 50 миллионов и наконец стал в тупик. Калонн убедился собственным опытом, что всякий кредит имеет границы. В 1787 году он увидел перед собою дефицит в 198 миллионов, что составляет, по масштабу нашего времени, почти 600 миллионов. Покрыть этот дефицит было необходимо, а покрыть было нечем; увеличить подати не было никакой возможности; кредит был истощен дочиста. Тогда Калонн вдруг переменил политику и пошел по следам Тюрго; начался опять скрежет зубов; против короля и против министерства зашумели придворные, провинциальные дворяне, сборщики податей, суды, полицейские чиновники, общинные советы и цеховые мастера.

В ряды оппозиции попали, как мы видим, такие лица, которые во всяком благоустроенном государстве имеют значение только как послушные орудия центральной власти. Государство видимо разлагалось, потому что перестало удовлетворять существенным потребностям общества и во всех частях своих оказалось несостоятельным перед судом общественного мнения. Общественное мнение было в то время уже так сильно, что к нему, как к высшей апелляционной инстанции, обратились за разрешением своего спора, с одной стороны, министерство, поневоле ударившееся в прогресс, с другой стороны, аристократическая оппозиция, ухватившаяся за старину со всею страстью инстинктивного самосохранения и с полным сознанием своего векового права. Само министерство освободило прессу для того, чтобы она заклеймила в глазах целой нации упорных защитников привилегий и феодального быта. Парижский парламент, защищавший, подобно цеховым юристам всех веков и народов, формальную легальность аристократических притязаний, потребовал с

своей стороны, в пику министерству, чтобы собраны были государственные чины (Etats généraux), которых Франция не видала в продолжение двух столетий. Собрание аристократических нотаблей[28], попытавших произвести реформы, не осилило этого дела и повторило требование Парижского парламента. Между тем Калонна заменил уже Бриенн, а Бриенна — Неккер, но от этой перемены лиц не переменилось положение финансов, и Неккер, с удовольствием изображая собою либерального и просвещенного министра, ввел французское королевство в новую эпоху его существования: государственные чины были созваны к 27 апреля 1789 года.

VII

Приступая к изложению событий, совершившихся во Франции от 1789 до 1795 года, я заранее должен предупредить читателя, что он не найдет у меня описания тех сцен, величественных или ужасных, которые происходили в это тревожное время на площадях, на улицах или в залах национальных собраний. Чтобы изобразить эти сцены, надо, во-первых, обладать таким художественным талантом, которого я в себе не чувствую; а во-вторых, надо написать очень большую книгу, что совершенно неудобно по многим причинам. На этом основании я постараюсь, по возможности, совершенно уклониться от рисования исторических картин, а в начале моей статьи я уже обещал читателю уклоняться от биографических подробностей и от судебных приговоров над личностями и событиями. Стало быть, мне остается только следить за главными фазами того общественного движения, о котором мы говорим; мне остается выводить одну фазу из другой, показывать, почему движение приняло одно направление, а не другое, рассматривать общие причины, скрывающиеся за личностями выступающих деятелей и придающие этим личностям всю их действительную силу; я желал бы представить читателю не ряд картин из рассматриваемой нами исторической эпохи, а ландкарту, по которой он мог бы познакомиться с местными условиями, вызвавшими переворот и сообщавшими ему импульс и направление. Такую ландкарту или такой анатомический рисунок можно было бы считать излишним, если бы читающая часть нашего общества обладала большим запасом проду-

манных и осмысленных исторических сведений; но так как, по правде сказать, подобных сведений у нас не имеется ни в бо́льшом, ни в малом количестве, то я позволяю себе думать, что моя статья не будет совершенно бесполезна, и постараюсь устроить так, чтобы эту ландкарту особого устройства можно было рассматривать, не проклиная составителя за сухость изложения. Теперь мы можем обратиться к собранию государственных чинов.

Собрание государственных чинов или сословий состояло в старой Франции из представителей дворянства, духовенства и третьего сословия (tiers-état), или городских общин. Это собрание созывалось королем в тех экстраординарных случаях, когда центральная власть нуждалась в поддержке общественного мнения и без этой поддержки не решалась требовать от нации каких-нибудь необыкновенных пожертвований или чрезвычайных усилий. При ближайших предшественниках Людовика XVI государственные чины не созывались ни разу, потому что Людовик XIV и Людовик XV хозяйничали в своем королевстве совершенно бесцеременно и находили, что никакое пожертвование нации не может быть необыкновенным и никакое усилие не может быть чрезвычайным.

Когда государственные чины созывались в былое время, тогда они рассуждали о предлагавшихся вопросах в трех отдельных палатах; сообразно с духом всех средневековых учреждений, сословия оставались разъединенными даже тогда, когда обсуживали дела, относящиеся к интересам всего государства. В 1789 году сословия созывались затем, чтобы спасти государство от банкротства; спасти государство можно было только самыми обширными реформами, и именно таких реформ ожидала от собрания вся здоровая часть общественного мнения; на собрание это смотрела вся Франция; от него целый народ, в буквальном смысле этого слова, ждал хлеба насущного, то есть избавления от тех феодальных учреждений, которые разоряли земледельца и ремесленника, парализируя их производительный труд. Желания правительства в этом случае не могли расходиться с желаниями народа; правительству были необходимы реформы, потому что без реформ нельзя было выпутаться из долгов; без реформ не на что было жить и невозможно было управлять. Реформы не нравились только духовенству, дворянству, парламентам, цеховым мастерам, то есть тем людям, которых питали и грели монополии и все средневе-

ковые порядки; только с их стороны можно было ожидать оппозиции; эта оппозиция могла производить много шума в зале Тюльерийского дворца или в аристократическом салоне, но в общем голосе народа она совершенно терялась и переходила в едва заметный ропот, которому нельзя было придавать никакого серьезного значения. Эта оппозиция только в том случае могла бы сделаться препятствием в деле преобразований, когда бы она получила в собрании свой отдельный орган. Если бы государственные чины, по старому обычаю, открыли свои заседания по сословиям, в трех отдельных палатах, тогда можно было бы предвидеть, что все предложения и решения третьего сословия будут задерживаться, искажаться или отвергаться духовенством и дворянством. Следовательно, на первом плане стоял вопрос: как будут заседать государственные чины? В одном ли общем национальном собрании или в трех отдельных палатах? Нельзя сказать, чтоб с этим вопросом была связана судьба ожидаемых преобразований; преобразования эти были уже неизбежны, потому что их необходимость сознавалась и чувствовалась всею нациею; их не могли уже ни отсрочить, ни исказить никакие дебаты и никакие отрицательные результаты в подаче голосов. Но оставалось узнать, как произойдут реформы? Путем ли мирных прений и легальных постановлений собрания или как-нибудь совсем иначе, без всякой легальности и без малейшего благообразия?

Можно было предвидеть, что система трех палат наделает народу и правительству много хлопот и что при этой системе мудрено будет удержаться на путях добродетели и легальности. Общественное мнение безусловно отвергало эту систему, но правительство, от которого зависело решение капитального вопроса, церемонилось с аристократиею и, созывая государственные чины, не сказало ничего о том, как будут происходить их совещания. Оно определило только, что третье сословие выставит вдвое больше представителей, чем выставляло два столетия тому назад. Это нововведение могло быть чрезвычайно важно в случае общего собрания, потому что тогда оно упрочивало за третьим сословием решительный перевес в числе голосов; но, при системе трех палат, двойное число представителей не имело никакого значения, и третье сословие оставалось совершенно бессильным в борьбе с легальною оппозициею духовенства и дворянства.

5 мая 1789 года король открыл в Версале заседание государственных чинов; он произнес речь; после него заговорил хранитель большой печати Барантен и наконец министр финансов Неккер; во всех этих речах было много добродушия, много благих желаний и еще больше внушительных советов, но о важнейшем вопросе, о том, как заседать государственным чинам, не сказано ни слова. Неккер говорил три часа и отличился тем, что торжественно солгал перед представителями нации насчет положения финансов: он показал годовой дефицит в 56 миллионов, между тем как со времени собрания нотаблей общество постоянно слышало о дефиците в 120 или в 140 миллионов. Ложь Неккера дала ему возможность сказать, что король созвал государственные чины не потому, что он нуждается в их содействии, а потому, что он хочет оказать нации всякую милость. Ложь Неккера и молчание о существенном вопросе выходили из одного общего источника — из двусмысленного и нерешительного отношения правительства к нации вообще и к представителям ее в особенности. Правительство нуждалось в деньгах и, следовательно, в реформах, и, следовательно, в том собрании, при содействии которого возможно было произвести реформы; но если, с одной стороны, оно нуждалось в том собрании, то, с другой стороны, оно еще больше боялось его. Хорошо, если собрание придумает такие реформы, которые дадут много денег, и затем оставит все в должном порядке; а что, если оно заговорит о таких реформах, которые с должным порядком совсем не уживаются? Что тогда делать с этим собранием, на которое смотрит вся Франция? И где остановятся его реформаторские подвиги? И что оно считает должным порядком? И что, если его должный порядок совсем не похож на настоящий должный порядок? Все это были такие вопросы, которые не могли не прийти в голову советникам короны; и людям, находящимся в их положении, над этими вопросами очень стоило задуматься. Они действительно задумались, и в этой задумчивости захватил их день, назначенный для открытия заседаний. Они явились перед представителями нации, не решивши в уме своем, где заключается для них настоящая опасность — в финансовом дефиците или в ожидаемом всемогуществе созванного собрания. Когда Неккер сидел перед пустою кассою и перед печальными итогами предстоящих расходов, тогда он думал, что собрание лучше дефицита; когда он увидел се-

бя лицом к лицу с собранием в 1200 человек и когда он услышал, какими криками восторга встречает и провожает народ представителей третьего сословия, тогда он, наверное, подумал, что уж лучше жить с дефицитом, чем с собранием.— Думал или не думал Неккер таким образом, об этом история молчит, но достоверно известно то, что правительство Людовика XVI при самых первых сношениях своих с государственными чинами начало бояться могущества собрания, совершенно упуская из виду, что именно это могущество необходимо для короля и для его министров, как единственное средство произвести реформы и реформами поправить отчаянное положение финансов.

Выслушав назидательные речи и не найдя в них ожидаемого решения, сословия стали решать основной вопрос силами собственных умов; три недели продолжались между ними переговоры о том, как поверять выборы; переговоры эти ни к чему не привели. Неккер попробовал явиться посредником между высшими сословиями, настаивавшими на отдельной поверке выборов, и депутатами общин, не допускавшими ничего такого, что могло бы привести к утверждению трехпалатной системы. Но посредничество Неккера осталось безуспешным; дворянство объявило решительно, что оно само проверило свои выборы и уже образовало из себя отдельную палату. Увидев бесполезность переговоров, третье сословие, избегавшее до той минуты окончательного разрыва с бытовыми формами прошедшего, сделало с своей стороны смелый шаг вперед. К 14 июня оно окончило у себя проверку выборов, и в тот же день начались в его палате рассуждения о том, под каким именем оно приступит к своей деятельности. Назвать себя представителями третьего сословия было вполне легально, потому что так всегда делалось в старой Франции, но поступить таким образом значило бы отдать интересы народа в руки дворянства и духовенства; это значило бы подвергнуть всю Францию страшному разочарованию и поднять такую бурю народного гнева, против которой не устояло бы ни собрание государственных сословий, ни верховное правительство. Об этом нечего было и думать; большинство депутатов всеми силами души ненавидело старый порядок, а те немногие единицы, которые чувствовали робкое желание щадить остатки прошедшего, не имели в собрании никакого веса и боялись обнаруживать свои тайные влечения. Мирабо[29]

предложил, чтобы депутаты третьего сословия назвали себя представителями народа в Национальном собрании; эта формула давала чувствовать, что депутаты третьего сословия не составляют собою полного национального собрания, но, во всяком случае, служат представителями самой многочисленной и самой важной части нации. Сийес[30] пошел дальше: он предложил, чтобы третье сословие просто и прямо объявило себя Национальным собранием. 17-го числа это предложение было принято, и депутаты духовенства и дворянства, вследствие решения третьего сословия, оказались просто отсутствующими членами Национального собрания. Они могли отсутствовать, сколько им было угодно; никто не интересовался знать причины их отсутствия, и никто не считал этого отсутствия препятствием для начала работ.

Если мы примем в соображение, что Мирабо был неизмеримо красноречивее Сийеса и что французы всегда были способны подкупаться красноречием, то победа Сийеса должна показаться нам фактом очень выразительным. Сийес победил именно потому, что предложение его было смелее и крайнее всех остальных. По этому предложению третье сословие не только утверждало свое преобладание над остальными сословиями, но оно решительно поглощало их в себе и, в сознании своего полновластия, объявляло, что будет игнорировать все те элементы, которые осмелятся присвоивать себе отдельное существование. Не мешает при этом заметить, что это первое собрание, известное в истории под именем Учредительного* (assemblée constituante), было самым умеренным и консервативным из всех революционных собраний; кроме того, оно было созвано всего шесть недель тому назад; оно еще не знало, как велико его могущество и влияние на народ, члены его были мало знакомы между собою; обаяние королевской власти было еще сильно; Бастилия напоминала еще о необходимости быть осторожным, и, несмотря на все это, предложение Сийеса было принято с восторгом единственно потому, что оно соответствовало простым требованиям разума и противоречило старой легальности.

---

* Его часто называют по-русски конституционным, но это название, во-первых, ничего не выражает, потому что всякий парламент есть конституционное собрание, а во-вторых, оно и неверно. *Конституционный* по-французски — *constitutionnel,* а *constituant* — тот, кто организует, учреждает, создает конституцию.

Если мы сообразим все эти обстоятельства, то из одного этого факта, встречающегося нам на самом пороге французской революции, будем в состоянии понять, какие неистощимые запасы пламенного, бесстрашного и беспощадного отрицания накопились в сознании и в чувстве всего французского народа во время долгих веков безгласности и страдания. Народ не оставался в бездействии в то время, когда сословия вели между собою переговоры; газеты, печатные объявления на стенах, речи под открытым небом, на улицах и в садах Пале-Рояля знакомили парижан с событиями дня и скрепляли связь их с представителями третьего сословия; 9-го и 10-го июня в залу заседаний являлись депутации от различных торговок и благодарили третье сословие за то, что оно поддерживает «les intérêts du peuple»[31]. А третье сословие соображало, что если безо всякой надобности являются десятки торговок, то, в случае надобности, могут явиться тысячи работников; конечно, такие соображения не оставались без влияния на ход совещаний и значительно ослабили заслуженный авторитет Бастилии.

Первый декрет Национального собрания, постановленный им в тот самый день, когда оно приняло предложение Сийеса, показывает ясно, какое понятие составляло себе третье сословие о пределах своей власти. Собрание объявило, что все взимавшиеся до сих пор подати незаконны, потому что их установило правительство без согласия нации; к этому решению была прибавлена оговорка, что собрание позволяет продолжать взимание прежних податей только до тех пор, пока представители нации будут заниматься пересмотром государственных учреждений; если же собрание, каким бы то ни было образом, будет распущено, то взимание податей прекратится. Этот декрет был разослан во все провинции, так что распущение собрания действием королевской власти могло отнять у правительства все денежные средства или, в случае собирания налогов вооруженною силою, могло повести за собою междоусобную войну и распадение королевства. Чем наступательнее действовало Национальное собрание, за которым правительство еще не признавало этого титула, тем громче и восторженнее аплодировали посторонние зрители и слушатели, наполнявшие густыми толпами галереи или трибуны в зале заседаний; а чем сильнее шумели галереи, тем смелее чувствовало себя собрание и тем несбыточнее казались всякие печальные размышления о Бастилии.

VIII

Невозможно было ожидать, чтобы храброе французское дворянство отступило без борьбы перед завоевательными тенденциями Национального собрания; негодование дворянства было очень значительно и особенно очень шумно; министры, с своей стороны, находили, что депутаты третьего сословия посягают на достоинство короны, но когда зашла речь о том, как поступать с нарушителями должного порядка, тогда в совете министров обнаружился раскол, и отщепенцем оказался тот самый Неккер, который при открытии собрания, 5-го мая, для соблюдения интересов короны отважно солгал перед депутатами насчет цифры годового дефицита. Теперь он заговорил иначе. Как министр финансов, удрученный безденежьем, как платонический обожатель английской конституции и, особенно, как большой любитель дешевой популярности, он решился превозмочь в себе антипатию к могуществу Национального собрания и подал королю совет освятить своим королевским словом совершившийся факт, то есть признать существование Национального собрания, и приказать дворянству и духовенству соединиться с депутатами третьего сословия. Неккер был уверен, что Национальное собрание во всяком случае даст правительству много денег и устроит для французской нации очаровательную конституцию с двумя палатами; имея в виду такую привлекательную перспективу, можно было помириться с тем, что на первый раз будет работать только одна палата и что, таким образом, не будет соблюдена та pondération des pouvoirs (уравновешение властей), которая до сих пор составляет для доктринеров всех наций задачу, подобную философскому камню и жизненному эликсиру. Кроме того, Неккер рассудил, что если собрание очень сильно, то с ним тем более не следует ссориться и тем более необходимо уступать ему с приветливою улыбкою такие вещи, которые оно, по своей грубости, способно взять насильно. Но остальные советники короны, официальные и неофициальные, в это время почувствовали особенно живо свое кровное родство со всеми умиравшими привилегиями; уступка третьему сословию казалась им государственною изменою, и король, в котором всегда легко было возбудить сознание долга, убедился в том, что он должен, противодействовать распоряжениям новорожденного Национального собрания. Нача-

лись приготовления к королевскому заседанию, и 20 июня депутаты третьего сословия, собравшиеся для своих обыкновенных занятий, увидели, что зала их заперта, потому что в ней производились эти приготовления. Они знали по слухам, что королевское заседание будет направлено против их последних распоряжений, и решились заранее обязать себя к самому энергическому сопротивлению. От запертых дверей залы они длинною процессиею отправились по улицам Версаля к пустому дому, служившему для игры в мяч (jeu de paume), и там дали клятву и подписку «не расходиться и не допускать распущения собрания, а собираться там, где потребуют обстоятельства, пока будет составлена и утверждена на прочном основании новая конституция государства». 22 числа депутатов, по распоряжению графа Артуа, не пустили в jeu de paume; тогда они отправились заседать в церковь св. Людовика, и в этот день к ним присоединилось 148 представителей духовенства, так что духовные лица, противившиеся соединению, остались в меньшинстве. 23 числа произошло королевское заседание. Король обещал самые либеральные реформы; заведование финансами предоставлялось сословиям; обременительные подати отменялись; в юстиции и в военном ведомстве предполагалось произвести преобразования; устроивались провинциальные собрания, уничтожались произвольные аресты и упразднялась цензура. Обсудить все эти вопросы и привести их к окончательному разрешению король предоставлял государственным сословиям. Рассуждения сословий должны были происходить в трех отдельных палатах.

Решительное слово королевской власти было, таким образом, произнесено; Национальному собранию приходилось существовать не только помимо королевской воли, но даже прямо наперекор этой воле. Действие королевской речи обнаружилось немедленно, как только Людовик XVI успел выйти из залы. Когда обер-церемониймейстер, исполняя приказания короля, пригласил депутатов третьего сословия разойтись, тогда Мирабо отвечал на это приглашение короткою, но очень непочтительною речью, которая кончалась так: «Идите, скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и что нас можно сдвинуть отсюда только штыками». Эти слова нарушали и легальность, и этикет, и даже парламентские обычаи, потому что от лица собрания имел право отвечать только президент, а президентом был член трех ака-

демий Бальи, которому, конечно, в голову не пришло бы сказать важному придворному чиновнику грубость, целиком сохранившуюся в истории. Но на этом бесчинстве дело не остановилось. Собрание тотчас приняло свои меры для того, чтобы сдвигание штыками, рекомендованное графом Мирабо, сделалось совершенно невозможным или по крайней мере особенно затруднительным. Не выходя из залы, оно, по предложению Барнава, постановило решение, что «личность каждого из депутатов неприкосновенна» и что «всякое лицо, всякая корпорация, суд, административное место или комиссия», которые будут подвергать депутата аресту, следствию или суду за предложения, советы, мнения или речи в собрании государственных сословий, «должны признаваться за людей бесчестных, изменников нации и преступников». Это решение осталось бы мертвою буквою, если бы королевская власть располагала такою преданною военною силою, какая находилась в распоряжении генерала Бонапарте в день 18 брюмера; и это решение было не нужно в том случае, когда собрание было уверено в поддержке народа и даже в сочувствии солдат, которые в это время, по словам Камиля Демулена, все сделались философами. Но, как бы то ни было, это решение, как громогласное выражение собственной храбрости, значительно повысило энергию всего собрания. Объявив себя неприкосновенным, оно в самом деле подумало, что ему все поверят на слово и что до него никто не посмеет дотронуться.

Ход событий разбил в течение последующих лет много подобных иллюзий, но Учредительное собрание действительно не потерпело ни малейшей обиды, хотя защищал его, конечно, не декрет о неприкосновенности депутатов. Защищало его преимущественно глубокое расстройство королевской армии; каждый отдельный полк представлял миниатюрный портрет феодального общества; офицеры, назначавшиеся исключительно из дворян, играли роль привилегированных классов, а солдаты изображали бесправную массу народа; между офицерами и солдатами не было никакой связи,— на долю первых выпадали удовольствия жизни и лавры военной славы; вторым доставались только труды службы, палки от начальства, раны от неприятелей и под старость вынужденное нищенство и бродяжничество. Надежды на повышение по службе у солдата не было; привязанности к своему делу у него не могло быть, и ненависть к старому поряд-

ку, вследствие этих обстоятельств, была в нем по крайней мере так же сильна, как и во всех других непривилегированных гражданах французского государства. Кроме того, народные ораторы говорили так громко и таким простым языком, что солдат слушал и понимал их речи и приучался смотреть на приближающийся переворот как на единственное спасение от палок, от офицерского высокомерия и от безнадежно тяжелой службы. Чем ближе стоял полк к Парижу, тем менее могло на него положиться ближайшее начальство и королевское правительство. К этому можно прибавить, что даже многие из офицеров, несмотря на свое аристократическое происхождение, были увлечены идеями своего времени и считали вооруженное нападение на граждан совершенно непозволительным преступлением.

Соображая эти обстоятельства, читатель придет, вероятно, к тому заключению, что армия, составленная из подобных элементов, была гораздо опаснее для короля и для его министров, чем для непослушных членов Национального собрания. В Париже народ был неспокоен; его тревожила участь депутатов, и каждый день распространялись самые преувеличенные слухи о намерениях двора и аристократии разогнать представителей третьего сословия и задушить всякую попытку преобразований; считая архиепископа парижского одним из ожесточенных врагов Национального собрания, народ ворвался 25 июня в его дом, и отряд французской гвардии, призванный для усмирения мятежа, отказался действовать против народа. По случаю дороговизны хлеба голодный народ ежедневно производил беспорядки перед булочными, и солдаты постоянно оставались нейтральными, несмотря на приказания и угрозы своих начальников. Аристократическая партия при дворе не отказывалась, однако, от надежды направить Национальное собрание на путь добродетели и легальности; она убедила короля сделать еще одну энергическую попытку. Решено было — призвать из провинций несколько свежих полков, не успевших еще превратиться в философские школы; назначить главнокомандующим старого маршала Брольи, которого подвиги во время Семилетней войны должны были наполнять сердца солдат похвальными чувствами, несовместными с философиею; уволить от службы Неккера за его любовь к популярности; составить министерство из элементов строго консервативных; и, наконец, поговорить тогда вну-

шительным образом с версальским собранием и с парижскими демагогами.

Все это было приведено в исполнение, за исключением последней статьи: поговорить внушительным образом не удалось ни в Версале, ни в Париже, потому что как только парижане узнали 12 июля об отставке Неккера и трех других министров, так они тотчас сами начали разговор; в тот же день тысячи ремесленников разграбили несколько оружейных лавок и сожгли таможенные дома у городских застав; войска почти везде отказались сражаться против народа; начальники принуждены были выйти с ними из города и поставить их на Марсовом поле для того, чтобы они по крайней мере не перешли на сторону возмутившихся граждан.

13 июля весь Париж был во власти инсургентов, и, для обеспечения частной собственности, в этот же день была организована национальная гвардия, в которую, кроме горожан, поступили сотни солдат французской гвардии, решительно отложившихся от своих начальников и объявивших себя открыто друзьями народа и врагами старого порядка. Ратушу заняли избиратели третьего сословия, которые уже с первых чисел мая постоянно собирались для совещаний об общественных делах. Они сменили городовые власти, назначенные самим королем, и сами составили городовой совет и комитет безопасности, который тотчас деятельно занялся вооружением и организованием национальной гвардии. Между тем движение в городе продолжалось и усиливалось; 14 июля народ взял Инвалидный дом, нашел в нем 20 пушек и 28000 ружей и, усиливши этою находкою свое вооружение, пошел на Бастилию. Она была взята приступом, комендант и офицеры перебиты, а солдаты гарнизона спасены с большим трудом отрядом французской гвардии, действовавшей заодно с инсургентами. 15-го король явился в Национальное собрание, сказал, что войска отозваны из Парижа, обещал тотчас пригласить Неккера в министерство и просил представителей нации успокоить волнение в столице. 16-го депутация от Национального собрания отправилась в Париж, была принята с восторгом и передала гражданам намерения короля; парижане так воодушевились, что тотчас, без всяких формальностей, в один голос назначили президента Национального собрания Бальи своим мэром, а генерала Лафайета — начальником национальной гвардии[32]. В ночь с 16-го на 17-е число цвет аристократи-

ческой партии, под предводительством графа Артуа и принца Конде, отправился за границу, подавая, таким образом, первый сигнал к открытию длинного ряда эмиграций. 17 июля король причастился святых тайн, сделал свое завещание и поехал в Париж, под покровительством Бальи и других популярных депутатов. Поездка обошлась благополучно; между королем и парижанами состоялось полное примирение, но верховная власть оказалась для короля безвозвратно потерянною. Она перешла в руки Национального собрания, которое, однако, в значительной степени должно было разделить ее с городовым управлением Парижа и с национальною гвардиею.

Парижские события отозвались с изумительною быстротою и с неотразимою силою во всех концах французского королевства. В течение нескольких дней исчезло с лица земли все, что поддерживало старое государство. Во всех провинциях без исключения поднялись сословия, городовые магистраты, горожане, крестьяне, пролетарии, все, кто мог найти себе в революции средство воротить старое право, завоевать новое, или освободиться от обременительной повинности, или просто выместить зло на богатых и знатных баловнях разрушавшегося порядка вещей. В Бретани все города назначили себе новые муниципалитеты и из королевских арсеналов взяли оружие для национальной гвардии. В Кане народ взял приступом цитадель и разорил дом ведомства соляного налога. Королевские интенданты не показывались нигде; парламенты не подавали признака существования; о низших судилищах не было ни слуха, ни духа; все, что при старом порядке имело официальный сан и величественную походку, старалось теперь скрыться от глаз толпы и навсегда изгладить в ее уме воспоминание о своем недавнем могуществе. Старый суд, старая полиция, старое управление — все исчезло; во всех городах образовались, для ограждения личной и имущественной безопасности граждан, постоянные комитеты, которые, при помощи национальной гвардии, формировавшейся и вооружавшейся везде чрезвычайно быстро, старались и часто успевали предупреждать грабежи, убийства и разные другие быстрые проявления народной расправы. Национальная гвардия вооружалась всяким оружием, какое попадалось под руку; ружья, пики, кинжалы, сабли — все шло в дело; так как столкновение с войском было невозможно, потому что войско отказалось действовать против граждан, то национальная гвар-

дия своим солидным видом должна была только укрощать излишнюю пылкость пламенных патриотов, а для этой цели ее пестрое вооружение было совершенно достаточно. Конечно, деятельность комитетов и национальной гвардии не могла оградить вполне безопасность граждан; где народу попадался сборщик податей, таможенный чиновник, нелюбимый судья или офицер с аристократическими понятиями, там происходило насилие и убийство; во многих городах народ повесил несколько купцов, в полной уверенности, что они производят искусственную дороговизну хлеба. Все это было очень нелепо, несправедливо и безобразно; но благоразумия, справедливости или изящества мог ожидать или требовать от тогдашнего французского народа только тот, кто не имел понятия о средневековой истории Франции и о том внутреннем положении, в каком застала ее революция 1789 года. Если бы невежество, нищета и угнетение действовали на человека только в ту минуту, когда он их испытывает, тогда они приносили бы нашей породе только незначительную долю того зла, которое приносят на самом деле. В том-то и беда, что невежество, нищета и угнетение отравляют не только настоящее, но и далекое будущее. Они не только причиняют человеку страдание, но они этими страданиями уродуют его ум и характер: когда устранены обстоятельства, мешавшие развитию просвещения, когда уничтожены учреждения, стеснявшие труд и разорявшие работника, когда человеку даны человеческие права, тогда сделано великое и прекрасное дело, но все-таки было бы совершенно неблагоразумно ожидать, что тогда все родители с кроткою радостью пошлют детей своих в школы, что все лежебоки тотчас примутся за работу, что все пьяницы проникнутся отвращением к кабаку и любовью к отечеству и к аккуратности, что, наконец, все люди, не знавшие до той минуты никаких прав, в одно мгновение поймут, что у них есть свои права и что, следовательно, они должны уважать права своего соседа. Таких благодетельных превращений не производит никакая реформа, как бы она хорошо ни была задумана и с какою бы осторожною мудростью она ни вводилась в жизнь. Превращение произойдет, если реформа соответствует естественным потребностям людей, но произойдет оно не скоро; плоды благодетельной реформы всегда лежат впереди, и тем дальше отодвигаются вперед, чем важнее реформа и чем упорнее та борьба, ко-

торую ей приходится выдерживать с укоренившимся злом. Можно заметить здесь мимоходом, что наша известная теория постепенности основана на простом недоразумении: введенная реформа приносит плоды постепенно — это правда, это говорит самая элементарная логика здравого смысла; но наши публицисты и мыслители, не разобравши дела, увидели только, что слова *реформа* и *постепенно* стоят рядом; они и связали эти два слова по-своему и стали доказывать, что реформа должна вводиться в жизнь постепенно, то есть не в виде органического и осмысленного целого, а в виде отдельных кусочков, не имеющих ровно никакого самостоятельного смысла. Зерно превращается в растение не вдруг, а постепенно; из этого общеизвестного факта вывели то своеобразное заключение, что следует класть в землю не все зерно, а сначала один кусочек зерна, потом, немного погодя, другой, потом третий — до тех пор, пока из кусочков не составится целое зерно. Может быть, при такой методе сеяния, рекомендуемой нашими публицистами, вырастет действительно богатая жатва. Не знаю. Пусть решают этот вопрос компетентные специалисты.

IX

В деревнях, где бедствия феодального быта давали чувствовать себя всего сильнее, взятие Бастилии послужило знаком к самому разрушительному взрыву народных страстей. На севере Франции, там, где крестьяне платили за землю деньгами и жили в довольстве, отрицание старины выразилось в том, что тотчас прекратились все обязательные работы, все платежи десятин и всякое отправление повинностей; в некоторых имениях крестьяне отобрали в свою пользу ту землю, которую помещик обработывал для себя, но вообще жизнь местного дворянства осталась в безопасности, замки уцелели; переворот совершился, таким образом, на севере довольно благообразно. Напротив того, в центре и на юге королевства, где народ был разорен и голоден, разыгрались все трагические сцены, характеризующие собою крестьянские войны. Мужик тут еще не думал улучшать свой быт; ему хотелось прежде потешиться; у него пробудилась потребность мстить и разрушать. В Оверни и в Дофинэ крестьяне собрались сначала в горах и оттуда, вооруженные всяким дреко-

льем, толпами спустились в долины; замки горели, монастыри разрушались, дворяне истреблялись с утонченной жестокостью в тех местах, через которые проходила такая толпа. В Франш-Конте везульская национальная гвардия попробовала остановить действия местных поселян, но поселяне разбили гвардию, загнали ее в город Везуль и даже взяли приступом самый город. В провинции Маконне собралась толпа крестьян в 6000 человек; кто из мужиков не присоединялся к этой толпе, у того сжигали двор; в течение двух недель эти люди разграбили, разрушили и сожгли больше 70-ти дворянских замков и убили 230 крестьян, не одобривших их движение. Кончилось тем, что собралась национальная гвардия из нескольких окрестных городов и рассеяла эту толпу, разбивши ее в настоящем сражении. Такие же случаи, только, быть может, не в таких крупных размерах, происходили с половины июля почти на всем пространстве французской территории; в одних местах лилась кровь, в других дело обходилось без кровопролития, но везде феодальный порядок исчез совершенно, а так как нового порядка еще не было, то общество, по выражению Зибеля, везде разложилось на свои естественные элементы.

Со времени взятия Бастилии начинается во всей Франции непосредственное господство народа. Национальное собрание издает законы, но его деятельность имеет значение только в той степени, в какой она выражает собою народную волю; законы, не пользующиеся сочувствием народа, остаются мертвою буквою; проводить в Национальном собрании идеи непопулярные или консервативные становится опасным; пощада старины начинает считаться изменою перед нациею; всем ходом событий в течение последующих годов революции управляют движения народа, но ответить на вопрос: что такое народ? — становится довольно трудным. Если бы в половине 1789 года мы могли спросить у каждого взрослого француза отдельно — чего он хочет? — и если бы было возможно расположить общественные дела сообразно с тем ответом, который дало бы на наш вопрос большинство французских граждан, то, наверное, получились бы результаты, совершенно не похожие на то, что произошло в действительности. Наверное, большинство не захотело бы ни смерти короля, ни террора, ни республики, ни императорских войн. Наверное также, большинство захотело бы быть сытым, здоровым и свободным, то есть не принужденным

делать то, что ему не нравится. Но эти желания всякому политику, обращающемуся к народу посредством *suffrage universel*[33], показались бы наивными до нелепости и для большинства совершенно неосуществимыми, хотя каждый человек отдельно, лично для себя считает подобные желания в высшей степени скромными. Все практические люди вообще, а политики, обращающиеся к *suffrage universel,* в особенности, знают твердо, что облагодетельствовать можно только избранное меньшинство, и притом не иначе, как за счет кроткого большинства. Большинство также знает это; оно не может доказать неизбежность этого факта экономическими выкладками и историческими примерами; но оно привыкло к тому, что всегда так бывает; привычка терпеть лишения не заглушила в нем потребностей, вложенных природою в каждый живой организм, но довела большинство до того, что оно плохо верит в возможность когда-нибудь удовлетворять этим потребностям вполне. Бывают минуты, когда это привычное недоверие к будущему уступает место страстному взрыву надежды; но надежда не осуществляется, потому что для осуществления ее необходим не минутный взрыв, а долговременная, напряженная и строго последовательная деятельность. До сих пор еще не было на свете такого народа, в котором большинство было бы способно к сознательной коллективной деятельности. За минутою надежды всегда следовало горькое разочарование, а потом прежнее апатическое недоверие. Но кроме кроткого большинства, проникнутого непроизвольным скептицизмом, в каждом народе существует обыкновенно энергическое и беспокойное меньшинство, которое ни под каким видом не хочет и даже, по складу своего ума, не может помириться с приговором житейской мудрости, утверждающим, что «так всегда было, стало быть, так и быть должно». Почему должно? — говорит это неугомонное меньшинство; совсем не должно! Пустяки! Что люди сделали, то люди могут переделать!

Когда большинство народа относится к своему будущему с холодною беззаботностью привычного отчаяния, тогда люди меньшинства не имеют влияния ни на массу своих соотечественников, ни на общий ход событий; тогда события определяются в своем развитии такими случайными и мелкими причинами, которые не имеют ничего общего с потребностями и стремлениями, с хорошими свойствами или с дурными страстями миллионов. В это

время люди меньшинства много говорят и пишут, но на них обращают внимание только для того, чтобы преследовать их насмешками, или из этих людей вырабатываются в такие времена неисправимые мечтатели, а в низших слоях общества люди такого типа легко превращаются в энергических преступников, потому что неудовольствие их против несовершенств жизни выражается не в виде отвлеченных рассуждений, а в виде конкретных поступков. Когда вековая апатия большинства сменяется минутным пробуждением лихорадочной энергии и исступленной надежды, тогда люди меньшинства тотчас выдвигаются вперед на всех ступенях общественной лестницы; на несколько недель или на несколько дней они становятся оракулами и идолами толпы.

X

В ночном заседании Национального собрания с 4 на 5 августа дворянство, соединившееся с духовенством и с третьим сословием после взятия Бастилии, великодушно отказалось от своих феодальных прав, которые в то время опасно было предъявлять и которыми, во всяком случае, невозможно было пользоваться. Декреты, изданные Национальным собранием после этого ночного заседания, отменили множество денежных и натуральных повинностей, которые фактически уже не существовали; законодательная власть записала только на бумаге то, что было совершено на французской территории общим движением народа в конце июля. Отменив феодальные права, собрание стало рассматривать Объявление о правах человека[34], представленное Лафайетом 11-го июля и составившее введение к новой конституции. Идея о таком объявлении была заимствована у американцев. Собрание долго обсуживало проект Лафайета, разбирало каждый параграф отдельно, взвешивало каждое выражение и наконец 27 августа утвердило окончательную редакцию, в которой основная мысль автора осталась не измененною.

Зибель — в «Истории революционного времени» и Шлоссер — в «Истории XVIII столетия»[35] говорят оба, что Объявление о правах человека было со стороны собрания делом очень неблагоразумным и что действие этого объявления оказалось впоследствии в высшей степени разрушительным. Читатель, без сомнения, расположен

скорее согласиться с приговором двух замечательных историков, чем с моим личным мнением, не имеющим за себя никакого авторитета. Несмотря на это расположение читателя, которое я, с своей стороны, вполне понимаю и одобряю, я отважусь в этом случае не согласиться ни с Зибелем, ни с Шлоссером. Мне кажется, что оба они придают слишком много значения бумажным декретам Национального собрания. То настроение умов, которое побуждало общество требовать Объявления о правах и которое заставило это общество с восторгом принять произведение Лафайета и Национального собрания, может, конечно, быть названо разрушительным. Но самое издание Объявления ничего не прибавило и не могло прибавить к возбуждению умов. Оно не сказало решительно ничего нового тем французам, которые в Париже штурмовали Бастилию, а в провинциях разрушали феодальные замки и средневековые учреждения. Было бы странно думать, что печатная фраза, какая бы она ни была задорная, может развратить невинные умы тех людей, которые привыкли слушать на улицах таких ораторов, как Дантон и Камиль Демулен, и которые, кроме того, привыкли исполнять немедленно то, о чем рассуждали с ними эти господа. Политическая теория, проведенная в Объявлении о правах, была давно уже приложена к делу, и Национальное собрание в этом случае, как в отменении феодальных учреждений, изложило на бумаге то, что каждый уличный мальчишка в Париже знал из практической жизни. Объявление о правах было следствием и симптомом народного настроения; пока продолжалось это народное настроение, сначала во всей массе населения, а потом в энергическом меньшинстве, до тех пор принципы лафайетовской декларации воплощались в ежедневных явлениях жизни; когда горячий пароксизм прошел, тогда декларация со всеми ядовитыми семенами, которые усматривают в ней Зибель и Шлоссер, оказалась таким же старым лоскутком бумаги, как большая часть из 2500 законов, изданных Учредительным собранием, и как множество французских конституций, возникавших и погибавших одна за другою. Декларация прав была издана в 1789 году, а спустя пятнадцать лет благополучно царствовал уже император Наполеон I, который всякие декларации называл идеологиею и который действительно имел полное основание презирать идеологию, потому что

она не мешала французам жертвовать за его фантазии состоянием и жизнью.

Где же после этого разрушительное действие этой декларации? Наконец, стоит только сличить Декларацию прав с любым номером газет, читавшихся в то время в Париже, чтобы убедиться в том, что декларация, даже как кусок печатной бумаги, по содержанию и по форме выражения, гораздо скромнее и невиннее тех произведений, которые составляли ежедневную умственную пищу французской публики. Но каждый рассудительный человек понимает, что и газеты того времени только удовлетворяли существующим потребностям, а не создавали их своим появлением. Бриссо, Карра, Горса, Лустало, Демулен, Фрерон, Марат были очень яркими значками своей эпохи, но не они создали эпоху, а, напротив того, эпоха произвела на свет их литературное и политическое направление.

В общем результате можно сказать, что Объявление о правах человека было такою же вывескою революции, как и знаменитая трехцветная кокарда, которою Франция обязана тому же генералу Лафайету. Французы по складу своего ума и по особенностям своего национального характера чрезвычайно любят всякие «вещественные знаки»[36], и потому они ухватились обеими руками и за декларацию и за кокарду и придали тому и другому какое-то мистическое значение; старые наполеоновские солдаты, как известно, плакали и ругались, когда им приходилось снимать с киверов трехцветную кокарду и прикреплять белую; они продолжали дорожить вывескою, когда идея давно уже улетучилась. Я думаю, мне нет надобности уверять читателя в том, что ни пестрота кокарды, ни изящные периоды декларации не имели никакого влияния на развитие революции. Агитаторы могли порою ссылаться на тот или другой параграф декларации, но если бы декларация вовсе не существовала, тогда бы эти агитаторы стали бы только подробно развивать в своих речах или статьях те принципы, на которые они, при существовании декларации, могли просто указывать. Да и наконец, надо помнить, что эти принципы были уже тогда общим умственным достоянием масс. Декларация повторила еще раз то, что уже было всем известно и затвержено наизусть. Народ желал только, чтобы собрание произнесло ту мысль, которая нравится ему, народу, точно так же как он желал потом, чтобы собрание принимало

участие в той или другой патриотической процессии. Это пристрастие к знаменательным штучкам составляет очень любопытную черту французского национального характера, и историк, без сомнения, должен ее отметить и принять в соображение. Но это пристрастие действует, разумеется, только на декоративную сторону событий, а не на общее их направление, которое всегда зависит от общих и великих причин.

Окончив обсуждение декларации, Национальное собрание стало рассматривать основные положения будущей конституции. На очереди стояли следующие вопросы: будет ли законодательная власть принадлежать одной палате или нескольким? будут ли промежутки между заседаниями законодательного корпуса? будет ли король иметь участие в законодательной власти? зависит ли от короля утвердить или отвергнуть статьи той конституции, которая вырабатывается теперешним Национальным собранием? Все эти вопросы, после более или менее продолжительных и упорных прений, были решены в таком смысле, что надежды Неккера пересадить на французскую землю английскую конституцию оказались совершенно несбыточными мечтами. Законодательная власть была предоставлена одному собранию выборных депутатов. Промежутков между его заседаниями не допускалось. Король должен был безусловно принять составленную конституцию. Вопрос об участии короля в законодательной власти последующих собраний был решен посредством компромисса между требованиями левой стороны и желаниями монархистов. Положили, что король может отсрочивать предлагаемый закон, но что он обязан утвердить его, если два следующие собрания также признают отсроченный закон необходимым.

Пока Национальное собрание рассуждало в Версале о высших вопросах философской политики и государственного права, простой народ в Париже был одержим двумя такими заботами, которых, конечно, не могла устранить в данную минуту никакая конституционная система. Во-первых, народу мерещились везде заговоры аристократов; во-вторых, хлеб был дорог, и народ был уверен, что дороговизну производят купцы, которых следует перевешать. Каждый день разыгрывались на эти две неистощимые темы самые разнообразные трагикомедии; общие основы этих эпизодов тогдашней уличной жизни проникнуты глубоким трагизмом: гнетущая бедность на-

рода и непобедимое недоверие его ко всему, что держит в руках общественную власть, лежат в основании ежедневных парижских событий; развязка этих событий была обыкновенно ужасна, но тот отдельный повод, который в одну минуту поднимал целую бурю, та народная логика, которая обнаруживалась в рассуждениях и действиях толпы, были обыкновенно нелепы до крайних пределов смешного. Не было того слуха, не было той басни, которые не подхватывались бы массою и не облетали бы в одну минуту целые кварталы, если только этот слух и эта басня попадали в тон господствующему настроению, то есть если они говорили о коварстве двора и корыстолюбии барышников или об ошибках городского управления. Городское управление с половины июля находилось в руках избирателей, то есть имущих граждан столицы; они назначили посредством выборов большой контролирующий совет из трехсот членов; а этот совет выбрал из среды себя городской совет в шестьдесят членов, который, под председательством выборного мэра, стал заниматься текущими делами управления. Мэром был сделан, как я уже говорил, президент Национального собрания Бальи, человек, пользовавшийся популярностью и уважением. Избиратели и члены городского управления действовали заодно с народом при штурме Бастилии и вообще при борьбе с старым правительством; но когда третье сословие одержало решительную победу в собрании, в столице и во всем государстве, когда предводители вооруженной уличной оппозиции, в свою очередь, сделались начальством, тогда между новым начальством и народом тотчас начались неудовольствия. Начальство, как начальство, старалось водворить порядок, но так как порядок, при разгоряченном состоянии умов, при застое всех работ и при всеобщей нищете, был решительно невозможен, то популярность нового начальства утратилась в первые же дни его господства, среди бесплодных попыток укротить народную тревогу. Пролетарий увидел с наивным изумлением и с комическим или, вернее, опять-таки трагикомическим гневом, что победа третьего сословия к нему, пролетарию, совсем не относится и что всякие политические права существуют и имеют значение только для людей состоятельных, то есть для тех людей, которым при всяком порядке вещей живется не совсем плохо. Пролетарий, несмотря на свою неразвитость, или, как говорят другие писатели, по причине своей неразвитости,

смекнул в одну минуту, что, кроме родовой аристократии, есть еще аристократия денежная и что этой последней аристократии он, пролетарий, доставил над первой полную победу, от которой ему, пролетарию, не досталось ничего, кроме горячих подзатыльников. Избиратели третьего сословия, одержавшие победу и овладевшие городской властью, находили, что это превосходно, — и Бальи говорил: «превосходно», и Лафайет с национальною гвардиею говорил — «превосходно», — но пролетарий, опять-таки по своей неразвитости, совсем не мог взять в толк, что тут превосходного. Но так как начальству толковать с пролетарием было некогда и так как, кроме того, не было надежды, чтобы они до чего-нибудь могли дотолковаться, то городские власти и национальная гвардия, состоявшая из имущих горожан, в августе и в сентябре стали действовать против демократической прессы и против уличных ораторов, которым они весьма горячо сочувствовали в июне и в июле, то есть тогда, когда они еще не были городскими властями и национальными гвардейцами. Начальственные распоряжения городских властей повели только к тому результату, что простой народ, проклинавший до того времени аристократов и барышников, стал проклинать еще и буржуазию, и стал ненавидеть последнюю тем сильнее, что до того времени он считал ее своею единственною союзницею и будущею спасительницею. Одним предметом ненависти у пролетария стало больше, и это обстоятельство не содействовало ни к просвещению его ума, ни к смягчению его характера.

Положение буржуазии вообще, и городских властей в особенности, было затруднительно и тяжело до последней степени. Буржуазия могла ежеминутно ожидать, что народ обратится против собственности с тою же разрушительною энергиею, с какою буржуазия обратилась против аристократических привилегий породы. Городским властям приходилось еще круче: им надо было во что бы то ни стало добывать для Парижа достаточное количество продовольствия; год был неурожайный; провинции и города удерживали свои запасы хлеба для самих себя; надо было покупать большие партии хлеба за границею, по дорогой цене, потом давать беднякам деньги, чтобы им было на что купить себе хлеба. Последняя часть программы была необходима, потому что при начале волнений бóльшая часть ремесленных заведений Парижа закрылась; капиталы попрятались; роскошь сделалась опасною, а так

как промышленность Парижа была основана преимущественно на удовлетворении требованиям аристократической роскоши, то огромное число работников осталось на улице, без хлеба и без занятий. Городские власти придумали открыть общественные мастерские; тысячи пролетариев стали стекаться в них в тот день, когда раздавалась недельная плата, и только сотни приходили работать. Слухи о легких заработках разнеслись по окрестностям, и Париж стал наполняться тысячами пришлого населения, так что чем больше городские власти старались об устранении голода, тем труднее становилась их задача. Средства городской казны были совершенно недостаточны для того, чтобы кормить все бедное население Парижа; но Бальи объявил Неккеру, что если в Париже хлеб поднимется в цене, то из этого получится новая революция; стало быть, пусть Неккер берет денег откуда хочет и пусть прокармливает этими деньгами Париж. Делать было нечего. Неккер доставал денег, и один миллион за другим исчезал в парижских желудках. Новой революции не произошло, но спокойствие не восстановлялось; пролетарии хотели, чтобы им было хорошо, а им все-таки было дурно, хотя город и государство разорялись на покупку хлеба для их продовольствия; надежда на лучшее была пробуждена, и нужно было много передряг для того, чтобы надежда эта опять заглохла, и все-таки она может заглохнуть только на время, и периодические пробуждения ее всегда будут сопровождаться страшными потрясениями до тех пор, пока люди не захотят и не сумеют осуществить ее тем или другим способом.

В начале октября народ вообразил себе, что дороговизна прекратится и что все его дела пойдут превосходно, если он убедит или заставит короля и Национальное собрание переехать из Версаля в Париж; какими соображениями руководствовался тут сам народ, этого отгадать невозможно, потому что у него была своя собственная логика; но те люди, которые натолкнули народ на эту идею, имели свои причины желать присутствия короля в Париже. Городское управление с наслаждением думало о королевских суммах (liste civile), которые король, после приезда в Париж, поневоле должен будет отдавать на продовольствие города, для поддержания спокойствия. Лафайет понимал, что начальник парижской национальной гвардии будет господствовать над королем и над собранием. Герцог Орлеанский, которого клиенты интриговали во

всех слоях парижского населения, хотел посредством популярности добыть себе регентство, а со временем, может быть, и корону; ему не хотелось, чтобы король приехал в Париж, но он желал, чтобы народ, отправившись за королем в Версаль, заставил его бежать оттуда куда-нибудь подальше; его бы не огорчило также то обстоятельство, если бы король и дофин погибли в мятеже. Словом, с разных сторон и по разным причинам обнаруживалось в различных коноводах желание натравить народ на Версаль, а народ, по своему обыкновению, разыграл роль увесистого орудия. 5 октября совершилось нашествие народа на королевскую резиденцию, а 6-го короля и его семейство привезли в Париж. Я говорю, что его привезли, потому что тут о свободном акте воли его не могло быть и речи. С минуты своего отъезда из Версаля до самой своей смерти Людовик XVI постоянно находился в плену и в опасности. 19 октября Национальное собрание также переехало в Париж.

XI

Ни победа третьего сословия в Национальном собрании, ни волнения пролетариев в Париже, ни восстания крестьян во всех провинциях государства не могли содействовать поправлению финансов. Бедность французского народа и, вследствие этого, бедность государства, прямым или косвенным образом составляет основу всех трагических событий французской революции. Непосредственная нужда в денежных средствах, нужда, не терпящая отлагательства, постоянно вовлекала все различные министерства и законодательные собрания революционной эпохи в такие финансовые и политические меры, которые немедленно вели за собою бесчисленные затруднения и компликации[37] Уничтожение феодальных повинностей и эмансипация всех различных отраслей труда непременно должны были со временем удвоить и утроить массу народного богатства, но последствия этих преобразований могли обозначиться не раньше, как через десять или пятнадцать лет, а между тем пролетарию хотелось есть сегодня, а правительству необходимы были деньги на текущие расходы; надо было действовать так или иначе, чтобы выпутываться из ежедневных затруднений.

10 октября епископ отенский, знаменитый Талейран, предложил в Национальном собрании воспользоваться церковными имуществами для потребностей государства. 12 октября Мирабо предложил объявить церковные имущества собственностью нации. 2 ноября Национальное собрание приняло предложение Мирабо. Отбирая в свою пользу имения духовенства, государство вместе с тем принимало на себя обязанность оплачивать расходы богослужения и выдавать жалованье священникам. Вся эта операция казалась чрезвычайно выгодною по следующему расчету: имения духовенства приносили ему до 70 миллионов годового дохода, а доход с поземельной собственности в то время равнялся обыкновенно во Франции одной тридцать третьей части продажной цены; следовательно, помножая 70 на 33, мы получаем цифру 2310, и таким образом оказывается, что продажею церковных имуществ можно выручить сумму в 2310 миллионов. Эту сумму следует употребить на выкуп шестипроцентных и семипроцентных государственных бумаг; когда этот выкуп будет произведен, тогда государство освободится от 150 миллионов ежегодных процентов; если из этих, остающихся в экономии, 150 миллионов государство будет употреблять на содержание церкви даже 100 миллионов, то все-таки государство будет иметь каждый год 50 миллионов чистого барыша.

Цифры были заманчивы, но расчет был неверен в основании. Во-первых, в общую сумму доходов, равнявшуюся 70 миллионам, входили доходы с имений мальтийского ордена и с имуществ, принадлежавших школам и госпиталям; за исключением этих имений и имуществ, которые, по мнению всего собрания, должны были оставаться неприкосновенными, церковные имущества давали не 70, а 50 миллионов дохода. Во-вторых, не все церковные имущества состояли в поземельных владениях; у духовенства было много городских домов, государственных бумаг и частных долговых обязательств; все эти предметы не могли принести при продаже сумму, равнявшуюся тридцати трем годовым доходам. Кроме того, продажа огромных поземельных владений неизбежно должна была понизить цену на земли, потому что предложение непременно оказалось бы сильнее запроса. Стало быть, даже для *земель* духовенства нельзя было рассчитывать на ту продажную цену, которая в то время давалась во Франции при нормальных условиях продажи. На основании этих

соображений надо было вместо цифры 33 поставить цифру 25, а так как и другой множитель — 70 — понизился до 50, то и произведение окажется не 2310, а всего только 1250. Получивши, таким образом, от продажи церковных имуществ 1250 миллионов, можно было освободить государство только от 80 миллионов ежегодных процентов; стало быть, чтобы получить от всей этой колоссальной операции барыш, надо было устроить так, чтобы содержание церкви стоило в год меньше 80 миллионов. Но устроить это, не изменяя внутренних учреждений церковного управления, было невозможно. Крайняя левая сторона собрания и радикалы в обществе и в народе радовались этой необходимости внести волю нации в церковные учреждения. Но легко можно было предвидеть, что столкновение законодательной власти с древними статутами католической церкви приведет в волнение все клерикальные инстинкты страны. Инстинкты эти не были достаточно сильны для того, чтобы одержать перевес над революционным движением, но, по крайней необразованности сельского населения, они легко могли выразиться в противореволюционных восстаниях, могли положить основание междоусобной войне и послужить со временем исходною точкою для будущей католической реакции.

Над подобною перспективою государственные люди Учредительного собрания могли бы задуматься, если бы вообще они имели возможность сделать свободный выбор; но именно свободного-то выбора у них и не было; оставить государство без денег было невозможно; стало быть, надо было продавать церковные имущества и утешать себя тем, что утро вечера мудренее и что когда представится затруднение, тогда можно будет придумать какую-нибудь спасительную меру.

Поддерживая 12 октября свое предложение о церковных имуществах, Мирабо действовал под влиянием своих особенных расчетов, которыми он до поры до времени не считал нужным делиться с остальными членами Учредительного собрания. Он в это время находился в сношениях с двором, получал от него деньги, старался усилить правительство и имел в виду стать во главе министерства или по крайней мере сделаться его руководителем. Много и часто было говорено о том, что Мирабо продал свои убеждения и изменил народному делу; если негодующие против него историки имеют в виду его личный характер,

то я, конечно, не стану его оправдывать и даже не возьму на себя труда объяснять его поступки, потому что мне в этой статье до отдельных личностей нет никакого дела. Принимая деньги от двора, Мирабо поступал, во всяком случае, как взяточник, причем, конечно, величина взятки соответствовала силе его ораторского таланта и могуществу его популярности. Но о продаже убеждений и об измене народному делу здесь не может быть и речи. Мирабо с начала до конца своей деятельности оставался верен себе; он никогда не поворачивал назад, а он просто, дойдя до известной точки, сказал, что дальше идти не следует; сказал не потому, что был подкуплен, а потому, что всегда считал эту известную точку тем пределом, на котором должно остановиться.

Этот факт важен и любопытен для нас потому, что Мирабо является самым даровитым представителем и самым крупным воплощением тех идей и стремлений, которые, выдвинувшись вперед в самом начале революции, скоро должны были уступить место другим, более ярким и резко обозначенным направлениям. Политическая программа Мирабо осталась невыполненною не потому, что его личность перестала пользоваться доверием честных граждан, а потому, что требования партий и масс, еще не утомленных революционною борьбою, были в то время беспредельно широки; их не могла ни примирить, ни удовлетворить никакая отдельная система. В переписке своей с графом Ламарком, доверенным лицом королевы, Мирабо развивает свои политические убеждения, стараясь доказать королю и его приближенным, что, только действуя сообразно с этими убеждениями, можно спасти государство от окончательной катастрофы. В этих письмах, посредством которых Мирабо вел свои переговоры с двором, очевидно, должно было бы выразиться с полною рельефностью отступничество Мирабо от интересов народа, если бы только это отступничество вообще когда-нибудь существовало. Но Мирабо рассуждает здесь о государственных делах так, как рассуждал о них всегда и везде. Он конституционную монархию считает лучшею из всех известных политических систем, причем он, однако, придает особенную важность не внешним формам управления, а тем основным началам, которых держится правительство в своих отношениях к народной жизни; он хочет, чтобы не было частных привилегий, чтобы труд оставался свободным от помещичьего и цехового гнета, чтобы капи-

тал был освобожден от монополии столичной биржи, чтобы судопроизводство не находилось в зависимости от землевладельцев и от парламентских фамилий, чтобы государственные финансы не расстроивались придворными прихотями, чтобы национальное единство не ослаблялось внутренними таможнями и провинциальными привилегиями. Словом, он хочет, чтобы правительство было сильно и популярно, то есть чтобы оно пользовалось своею силою только для народного блага; для этого он находит необходимым, чтобы король был независим от фантазий парижского пролетариата, но чтобы он действовал постоянно и добросовестно, заодно с Национальным собранием, и чтобы он был связан с этим собранием самым неразрывным союзом. Фактическую возможность такого союза Мирабо видит в том, что советниками короны должны быть постоянно самые влиятельные предводители парламентского большинства. Так как Мирабо никогда не стремился к республике и так как он всегда пользовался волнениями пролетариата только как орудием против феодальной оппозиции, то в письмах своих к графу Ламарку он остается совершенно верен политическим идеям всей жизни.

Чтобы привести эти идеи к осуществлению, ему действительно необходимо было быть министром. Задача, которую он ставил, в то время была неисполнима даже для него, но уже всякому другому человеку за нее нечего было и браться. Чтобы заранее избавить свое будущее министерство от гнетущего безденежья, Мирабо пустил в ход предложение о церковных имуществах. Как только предложение это было принято, так Мирабо тотчас двинул вперед ряд новых проектов. Он предложил обеспечить спокойствие Парижа закупкою больших запасов хлеба, поручить заведование государственным долгом особому ведомству, независимому от министерства финансов, дозволить этому ведомству пустить в обращение кредитные билеты, обеспеченные церковными имуществами, и, наконец, предоставить министрам короля совещательный голос в Национальном собрании. Последнее предложение, которое Мирабо делал уже один раз в конце сентября, прямо клонилось к министерской кандидатуре самого оратора. Но в собрании господствовало такое настроение отдельных партий, при котором составление сильного министерства было совершенно невозможно. Может быть, такое министерство было бы чрезвычайно благоде-

тельно для Франции, если бы оно составилось и начало действовать, но вся беда заключалась в том, что оно не могло, при тогдашних обстоятельствах, ни составиться, ни удержаться. Оппозиция против правительства была бесконечно сильна и в Национальном собрании, и на улицах, и в провинциях; в оппозиции собрания соединялись самые разнородные элементы, которые только в оппозиции и могли соединиться между собою, потому что все были недовольны настоящим и между тем все хотели совершенно различных вещей в будущем. Республиканцы крайней левой стороны и аристократы крайней правой стороны сходились между собою на том пункте, что Мирабо не должен быть министром; и те и другие хотели, чтобы правительство было слабо, потому что и те и другие хотели произвести переворот в свою пользу, а между тем в то время еще ни те, ни другие не были в силах образовать правительство из самих себя. Что же касается до умеренных членов собрания, то между ними господствовало личное влияние Неккера и Лафайета, которые видели в Мирабо опасного соперника, способного отнять у них могущество и затмить их популярность.

Из всех этих немногочисленных партий и кружков составлялось в общей сложности огромное большинство, и собрание отвечало на предложение Мирабо таким объявлением, которое попало не в бровь, а в глаз; оно объявило 7 ноября, что ни один депутат не может быть членом министерства. Весь политический план Мирабо разрушился окончательно; остались только предложения его насчет церковных имуществ и насчет покупки хлеба для Парижа; и то и другое было необходимо во всяком случае и не зависело ни от каких политических комбинаций. В течение всей зимы с 1789 на 1790 год различные комитеты Учредительного собрания изучали во всех подробностях вопрос о продаже церковных имуществ. 19 декабря собрание решило, что следует на первый раз продать из них на сумму 400 миллионов. 6 февраля, выслушав доклад своего комитета, собрание решило, что прежде всего должно упразднить монастыри и продать их земли. По этому случаю было произнесено насчет монашества много непочтительных речей, в которых присутствовавшие аббаты и епископы с ужасом и сердечным сокрушением усмотрели дух Дидро и Вольтера. Епископ нансийский заблагорассудил даже спросить, продолжает ли католическое вероисповедание считаться государственною религиею Франции. Собрание оставило этот язвительный вопрос

без ответа и настояло на упразднении монастырей. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все епископы и аббаты, сидевшие в собрании, были подвержены приливам ужаса и сердечного сокрушения. В числе епископов был Талейран, которого ничто не сокрушало и не ужасало и которому принадлежала даже инициатива в деле церковных имуществ; а в числе аббатов сидели Сийес, сделавший первый решительный шаг в борьбе третьего сословия с привилегированными классами, и Грегуар[38], не уступавший в радикализме своему другу Робеспьеру.

Тлетворный дух времени проникал, таким образом, даже в ряды того сословия, которое было связано с средневековым прошедшим всеми своими воспоминаниями и всеми интересами своего могущества. Стонали католические пастыри, сохранившие чистоту сердца, содрогались великие тени Григория VII, Иннокентия III и Игнатия Лойолы[39], а монастырские поместья все-таки пошли в продажу, и пошли тем скорее, что в дело вмешался парижский городской совет, которому забота о насущном хлебе, по очень понятным причинам, не оставляла ни минуты покоя. Бальи постоянно убеждал Неккера одним и тем же рассуждением, которое от повторения не становилось избитым и не теряло своей силы. «Если,— говорил он,— пролетариям нечего будет есть, они все поставят вверх дном; не хотите революции, так давайте денег».— В первые два зимние месяца у Неккера забрали на покупку хлеба 17 миллионов, да, кроме того, на общественные мастерские уходило по 360 000 ливров в месяц. Для Парижа не было ничего заветного; со времени приезда короля на продовольствие столицы тратились и королевские суммы, и все это проедалось с восхитительною быстротою.

Когда в Национальном собрании покончилось дело о монастырях, тогда городской совет решился отломить для своих питомцев кусок предстоящей добычи. 10 марта Бальи явился к решетке Национального собрания, изобразил бедственное состояние государственного кредита, выразил необходимость поскорее продать церковные поместья и объявил собранию, что парижская коммуна[40] готова взять на себя продажу своих монастырских имуществ, оцененных в 150 миллионов, с тем чтобы ей за хлопоты уступили четвертую часть тех денег, которые будут выручены. А за это, прибавил Бальи, город выстроит собранию прекрасный дворец* Как ни оригинально было

* Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, Band I, S. 140.[41]

то обстоятельство, что одно общественное учреждение публично предлагает другому такому же учреждению магарыч, и как ни соблазнительна была для собрания, заседавшего в манеже, перспектива иметь собственный «прекрасный дворец», однако представители нации устояли против искушений лукавого Бальи и нашли, что заплатить за комиссию почти 40 миллионов будет чересчур роскошно. Бальи смягчился, просил 16 миллионов. Собрание согласилось.

Этот эпизод изображает очень картинно то безвыходное отчаяние, в которое постоянное безденежье погружало все общественные ведомства. Понятно, что наивные слова Бальи о прекрасном дворце были просто судорожным усилием утопающего схватиться за соломинку. Несчастного старика затормошили с тех пор, как он был мэром. Городской совет делал ему замечания, большой контролирующий совет присылал ему выговоры; в каждом парижском квартале был свой совет, который о действиях мэра отзывался неодобрительно; и все требовали денег, и всем деньги были действительно необходимы, а Бальи, узнав это, сообщал свое знание Неккеру, и обоим им приходилось отчаиваться. Тут поневоле договоришься до прекрасного дворца.

17 марта собрание положило поручить продажу монастырских имений городским общинам королевства и предоставить последним определенную долю чистой выручки. Затем определено было выпустить 400 миллионов ассигнаций, присвоить им внутри государства курс наравне с звонкою монетою и потом принять их обратно в казну как уплату от покупщиков монастырских имуществ. В это самое время комитет церковных дел представил собранию доклад, который окончательно озадачил все благочестивое духовенство. По проекту комитета, духовенство устранялось от управления церковными имуществами, и управление передавалось светским ведомствам. Нация принимала на себя долги духовенства, доходившие до 149 миллионов, и обязывалась выдавать на содержание церкви 133 миллиона, вместо прежних 170, составлявшихся из десятинной подати и из доходов. Но так как и эта сумма, по мнению нечестивого комитета, была слишком велика, то предлагалось дать церкви на будущее время совершенно новое устройство, при котором она ежегодно обходилась бы государству в 65 миллионов. С 170 миллионов перейти на 65 для всех благочестивых людей было чрезвы-

чайно обидно, и потому нам совершенно понятны те крики негодования, которыми истинные столпы католичества встретили мысль о таком радикальном преобразовании. Но собрание не обратило внимания на жалобы изнывающих пастырей и очень серьезно стало рассматривать и обсуживать проект комитета.

XII

В ту самую зиму, в которую Национальное собрание завоевало в пользу нации церковные имущества, оно также положило основание новому административному разделению и устройству французской территории. Старое историческое разделение на провинции было отменено, и вся Франция распалась на 83 департамента, которые подразделялись на 574 округа и 4730 кантонов. На всем пространстве французского королевства существовало в то время около 44 000 городских и сельских общин, которые все получили новое устройство по одному общему образцу. Каждая община должна была управляться выборным советом, и все должности в общине должны были замещаться по непосредственным выборам граждан, безо всякого вмешательства или влияния сверху. Округом управлял совет из 12 лиц, а департаментом совет из 36 лиц. Члены того и другого совета выбирались на два года коллегиями избирателей, составлявшимися по непосредственным выборам граждан каждого отдельного кантона. Департаментский совет раскладывал подати по округам и общинам, наблюдал за исправностью сбора и препровождал собранные суммы в государственную казну. Он заведовал местными путями сообщения и заботился о полицейском благочинии. В его распоряжении находились департаментские суммы; ему доверен был надзор за общеполезными учреждениями, и ему принадлежало также начальство над местным отрядом жандармов. Окружной совет подчинялся департаментскому и заведовал теми местными подробностями администрации, в которые неудобно было вникать департаментскому начальству. Впрочем, окружные советы с самого своего происхождения на свет считались совершенно излишнею инстанциею, которая только замедляла течение дел, не принося взамен этого неудобства никакой осязательной пользы. Все должностные лица в департаменте, в округе и в общине только

по приговору суда могли быть отрешены от должности до истечения того срока, на который они были выбраны. Они были обязаны исполнять законные приказания короля, но король собственною властью не мог ни награждать, ни наказывать их. Если какое-нибудь из этих местных ведомств совершало противозаконный поступок или обнаруживало небрежность в исполнении своих обязанностей, то вопрос о том, следует ли распустить это ведомство и предать его членов суду, разрешался в Национальном собрании. Королю представлялось, впрочем, право приостановить деятельность провинившегося ведомства на то время, пока Национальное собрание будет рассматривать вопрос о его виновности. Вся система была, как мы видим, основана на всеобщем приложении выборного начала. В выборах участвовали от 4 до 9 миллионов граждан, называвшихся полноправными, или активными; они должны были прожить по крайней мере один год в том округе, в котором они подавали голос, и, наконец, должны были вносить сумму подати, равную поденной плате трех дней. Эти активные граждане не выбирали прямо депутатов Национального собрания, а назначали посредством выборов коллегии избирателей, которые выбирали как депутатов, так и членов департаментских окружных советов. Чтобы быть избирателем, требовалось иметь в собственности или в пользовании землю, которая бы равнялась в богатых провинциях цене четырехсот, в средних — двухсот, а в бедных — ста пятидесяти рабочих дней. Депутатом мог быть человек, не имеющий никакой собственности.

Мнение мое о том, что «Декларация прав человека и гражданина» не имела в себе той разрушительной силы, которую приписывают ей Зибель и Шлоссер, находит себе довольно сильное подтверждение в этом беглом очерке выборной системы, установленной Национальным собранием. То самое собрание, которое с величайшим воодушевлением пустило в свет декларацию, отклонилось от основных принципов этой декларации на первом же шагу своей законодательной деятельности. Декларация, составляющая введение в конституции, говорит, что все граждане равны, а первые страницы конституции противоречат введению и говорят, что есть граждане активные и граждане пассивные и что различие между теми и другими основывается на различии имущества. Потом оказывается, что есть избиратели и не-избиратели, которые

опять-таки различаются между собою по имуществу. Если сами творцы декларации так развязно уклоняются в сторону от своего политического исповедания веры, то, очевидно, это исповедание не имеет в себе такой чудодейственной силы, которая сама по себе могла бы покорять себе умы и направлять их к разрушению красивых политических систем.

Низшие классы, несмотря на декларацию, увидели себя в числе пассивных граждан; тогда они нашли себе предводителей и обнаружили вскоре очень значительную степень активности. Печать оставалась совершенно свободною; — национальная гвардия срывала иногда со стен плакарды[42], а парижский городской совет требовал иногда, чтобы каждый печатный листок выставлял имя ответственного издателя, но подобные распоряжения были совершенно случайны и произвольны, всегда вызывали против себя сильный отпор и никогда не достигали своей общей цели, то есть не могли ни запугать радикальных писателей, ни ослабить их влияния на массу пролетариата. Право ассоциации также не было ограничено никаким законом, и пассивные граждане, которым отказано было в голосе на выборах, приобрели себе благодаря праву ассоциации и указаниям радикальной прессы такую организацию, которая в скором времени сделалась сильнее всех официальных властей государства.

При самом начале заседаний Национального собрания несколько депутатов левой стороны образовали клуб, называвшийся Бретанским и собиравшийся в Пуасси. Сначала в этот клуб принимались только депутаты, а потом, когда собрание, вслед за королем, переехало в Париж, в клуб стали допускать всех людей подходящего образа мыслей. Заседания клуба стали происходить в Якобинском монастыре, и с тех пор члены этого общества стали называться якобинцами. Число их разрослось очень быстро, весною 1791 года их было уже 1800 человек в одном Париже; во всех провинциях сформировались якобинские клубы, находившиеся в постоянной переписке между собою и с центральным парижским обществом. В конце 1790 года всех якобинских клубов во Франции было до двухсот, и некоторые из них считали в себе более 1000 членов; конечно, очень многие из этих членов не были ни фанатиками, ни демагогами; многие записывались в клуб из подражания другим, а впоследствии для того, чтобы оградить себя от подозрений в недостатке патриотизма,

но ядро каждого клуба состояло из горячих демократов, следивших с самым напряженным вниманием за парижскими событиями и готовых по первому сигналу со стороны вождей центрального общества произвести народное движение в своем городе или в своей провинции. Эти ревностные якобинцы находились в тесных и постоянных сношениях с массами пассивных и вообще беднейших граждан, которые вполне верили этим вождям и легко поднимались на ноги при первом востребовании.

Когда на всю Францию раскинулась таким образом сеть демократических обществ, проповедовавших с неукротимым жаром истребительную войну против королевской власти, против аристократов, против духовенства, против капиталистов, словом, против всего, что стояло выше пролетария, когда в каждой провинции голодная масса нашла себе коноводов, неразрывно связанных с нею и между собою единством надежд и стремлений, тогда пассивные граждане сделались неизмеримо сильнее активных.

Но здесь я опять должен повторить ту мысль, которая не раз находила себе приложение в предыдущих главах моей статьи. Не отдельные единицы и не частные явления создают общие положения, а наоборот, общие положения сообщают единицам и явлениям всю их силу и весь их смысл. Не клубы, не речи ораторов, не газеты Демулена и Марата производили в низших слоях французского общества неумолимое озлобление, а напротив, существовавшее озлобление порождало и поддерживало и клубы, и яростные речи, и неистовые газеты. Вожди и агитаторы давали существующей силе организацию и единство общего направления, но эта сила существовала совершенно независимо от них и часто толкала их вперед тогда, когда они считали удобным приостановиться. Ораторы и журналисты могли разработывать в отдельных приложениях общие мотивы народного настроения, но чуть только они пробовали уклониться от этих мотивов,— тотчас масса кричала им, что они изменники и что их немедленно потащат к фонарному столбу. История революции переполнена трагическими эпизодами, в которых вчерашний любимец массы погибает сегодня от рук этой массы в ту самую минуту, когда он, полагаясь на свою популярность, пробует внести в движение свои личные взгляды, несовместные с общими стремлениями его недавних восторженных обожателей[43] Так погибли жи-

рондисты, но, чтобы не забегать вперед, я приведу в пример Мирабо, который в 1789 году казался французскому народу воплощением революции и которого жизнь была, однако, в опасности в продолжение нескольких дней, после того как он советовал в Национальном собрании предоставить королю право безусловно отвергать проекты законов. Сама история парижского якобинского клуба показывает, что не клуб распалял страсти народа, а наоборот, распаленное состояние народных страстей находило себе в клубе одно из своих проявлений. В начале существования якобинского клуба в нем господствовали своим красноречием жирондисты, поэты и романтики революции, мечтавшие об античных республиканских добродетелях, чувствовавшие глубокое отвращение к тем коммунистическим стремлениям, которые шевелились в голодной толпе людей без панталон (sans culottes). Если бы можно было предположить, что раздражение масс производится речами ораторов и статьями журналистов, то надо было бы ожидать, что жирондисты, как люди, превосходно владевшие словом и пером, навсегда сохранят за собою господство в клубе, в столице и во Франции; надо было бы ожидать, что они обратят пролетария к добру и к красоте и наложат на всю общественную жизнь печать своего эстетического влияния. На поверку же оказывается, напротив того, что реальный элемент беспанталонности выгнал в очень короткое время поэзию античной добродетели из клуба, из столицы и из Франции. Стало быть, мы видим, что окружающие элементы переделали на свой образец якобинский клуб; следовательно, действующая сила лежала и лежит всегда и везде не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих, и преимущественно в экономических, условиях существования народных масс.

Покончив с пассивными и активными гражданами, я могу сказать несколько слов о судебных учреждениях, созданных для Франции Национальным собранием в течение зимы 1789 года.

Господские суды, королевские трибуналы, парламенты, вообще все судебные учреждения старой монархии были уничтожены; после июльских дней 1789 года и после ночного заседания с 4 на 5 августа эти учреждения, тесно связанные с общим строем феодального государства, потеряли всю свою силу, но так как Национальное собрание успело создать новую систему судоустройства и су-

допроизводства только в октябре 1790 года, то Франция больше года оставалась фактически без судов, и это обстоятельство, конечно, не могло содействовать водворению спокойствия и законности. Уничтожение парламентов и введение новых судов обременили государство новыми значительными расходами и увеличили сумму государственного долга. Так как места в парламентах были проданы старою монархиею в вечное и потомственное владение, то, уничтожая парламенты, надо было выкупить эти места, и сумма, которую приходилось уплатить по расчету парламентским советникам и владельцам наследственных мест в других судах, доходила до 350 миллионов. Кроме того, новые суды по самой умеренной смете должны были стоить дороже старых; парламентский советник удовлетворялся очень незначительным жалованьем, потому что он имел в виду, во-первых, наследственность своей должности, во-вторых, ее политическое влияние и, в-третьих, те значительные суммы денег, которые по средневековым обычаям и законам взимались в пользу судей с тяжущихся сторон. Новый судья не должен был пользоваться ни одною из этих трех выгод; следовательно, за все эти выгоды его надо было вознаградить жалованьем; поэтому уничтожение старых судов и устройство новых прибавляло по крайней мере 20 миллионов к сумме ежегодных государственных расходов.

Необходимость правосудия для развития народного благосостояния так очевидна и так значительна, что за полезную реформу в судебных учреждениях можно, не колеблясь, платить ежегодно более 20 миллионов; эти деньги не пропадают, и соблюдать экономию в ущерб правосудию было бы, во всяком случае, непозволительно и нерасчетливо. Но любопытно заметить, что в тогдашней Франции все отрасли общественной жизни требовали радикальных реформ, а все реформы требовали затраты денег, и чем радикальнее и полезнее были реформы, чем больше они могли обогатить государство в будущем, тем дороже они обходились в настоящем. И все они скопились к одному времени, так что не законодатели управляли ходом преобразований, а напротив, общее положение дел увлекало за собою и постоянно насиловало волю законодателей. Старина падала от своей собственной ветхости и падала разом повсеместно, не дожидаясь того, чтобы ее отменили декретом, и не спрашивая о том, есть ли чем заменить ее. Но, так или иначе, заменять чем-нибудь раз-

рушившееся учреждение было необходимо, а на это требовались деньги, а средства государства были забраны вперед и истрачены правительствами прежних столетий, теми правительствами, которые продавали общественные должности и оставили потомству в знак памяти бессильную администрацию, слепую аристократию, развращенный суд, неоплатный государственный долг и озлобление масс, заглушающее в них всякое понимание своих собственных выгод. Те представительные собрания, которым доброе старое время завещало такое роковое наследство, находились в самом трагическом положении. Дорога легальности и осторожной последовательности в пересмотре и в обновлении отдельных частей государственного механизма была им отрезана. Легальность была невозможна отчасти потому, что оппозиция привилегированных классов уступала только действию силы, отчасти потому, что долги государства превышали его средства, по крайней мере в ту минуту, когда действовали революционные собрания. Осторожная последовательность была невозможна потому, что вся старина обрушивалась разом, так что надо было все отменять и все создавать заново. Между тем каждое нарушение легальности заключало в себе зародыш будущей борьбы и необходимых насилий; каждое отступление от осторожности и последовательности вело к ошибкам и запутывало еще более страшно запутанное положение дел.

«Какое управление,— говорил однажды Мирабо,— какая эпоха! Всего надо опасаться и на все надо отваживаться. Создается возмущение теми средствами, которые употребляются для его предупреждения. Постоянно необходима умеренность, и всякий раз умеренность кажется медлительностью и малодушием. Постоянно необходима сила, и каждое приложение силы кажется тиранией. Со всех сторон сыпятся советы, а доверять приходится только самому себе. Приходится бояться людей благомыслящих, потому что их беспокойство и увлечение опаснее всяких заговоров. Из благоразумия приходится уступать; становиться во главе волнения, чтобы умерять его; и при всех страшнейших затруднениях надо еще сохранять на лице веселое выражение».

Мирабо был достаточно умен и достаточно знаком с положением дел и умов, чтобы предчувствовать в будущем неизбежность государственного банкротства, произвольных конфискаций и длинного ряда насильственных

действий. Но сам Мирабо, умерший весною 1791 года, и Учредительное собрание, отошедшее от дел правления осенью того же года, были все-таки гораздо счастливее[44] Национального конвента. Учредительному собранию досталось на долю провозгласить принципы революции, а Конвенту пришлось вбивать эти принципы в жизнь, бороться с тою реакциею, которую раздразнило первое собрание, расплачиваться по тем счетам, которые оставила старая монархия, покрывать те издержки, которых требовали новые учреждения, и, наконец, принимать на себя ответственность за все те неизбежные насилия, до которых Учредительному собранию удалось не дожить. Весь блеск гражданских доблестей, все благозвучие либеральных слов остались собственностью Учредительного собрания, а вся злокачественная грязь черной исполнительной работы, без которой все либеральные слова остались бы словами, великодушно предоставлена Национальному конвенту. Поэтому французские либералы до сих пор с пафосом превозносят «les grands principes de 1789»[45] и вслед за тем казнят своим негодованием «les excès de 1793»[46]

Так как роль Учредительного собрания состояла преимущественно в том, чтобы провозглашать принципы революции, то и на судебную реформу его следует смотреть с точки зрения принципа, тем более, что отдельные подробности должны были измениться и действительно изменились со временем, сообразно с указаниями опыта. Главные основания нового судоустройства заключались в том, что все судьи выбирались активными гражданами из числа образованных юристов; суд присяжных прилагался к уголовным делам; гражданские процессы решались без участия присяжных несмотря на то, что демократы Национального собрания сильно настаивали на введении присяжных во все отрасли судопроизводства. (Здесь можно заметить, что в Америке присяжные решают как уголовные, так и гражданские процессы; Токвиль, которого еще ни один человек в мире не обвинял в яростном демократизме, находит, что участие присяжных в решении гражданских процессов очень сильно содействует развитию юридического смысла в американском народе.) — Судьи выбирались гражданами на шесть лет; для гражданского процесса устраивался в каждом округе трибунал первой инстанции, и один из этих трибуналов должен был служить другому апелляционною инстанциею.

Третью и последнюю инстанцию составлял высший апелляционный суд, который должен был заседать в Париже. Для уголовных дел учреждалось в каждом департаменте судебное место, а в Париже кассационный суд, из которого по жребию должны были назначаться члены национального суда, чтобы судить преступления нации (crimes de lèse-nation). Когда в Национальном собрании рассматривался вопрос об учреждении этого национального суда, Казалес, один из депутатов правой стороны, потребовал, чтобы были точно определены те преступления, которые оскорбляют нацию и подлежат ведению исключительного трибунала. На это отвечал депутат крайней левой стороны, адвокат Робеспьер из Арраса; он сказал, что национальный суд должен поражать знатных вельмож, враждебных народу и искажающих его нравственное развитие; главное дело, по его мнению, состояло в том, чтобы в этом суде заседали искренние друзья революции.

В этих словах ясно заключался тот смысл, что революция для своего самосохранения и для своих дальнейших побед над старым обществом нуждается в послушном орудии и что правосудие должно подчиниться политике. Несмотря на то, что Робеспьер не пользовался сильным влиянием в Учредительном собрании, его мнение было принято; предложение Казалеса оставлено без внимания, и собрание решило, что члены национального суда будут назначаться не по жребию, как предполагалось прежде, а по выбору активных граждан всех департаментов.

Чтобы покончить с судебными реформами, достаточно будет упомянуть, что судопроизводство сделалось гласным, подсудимые получили защитников, пытка и произвольные аресты отменены; наконец, учреждены мирные судьи, коммерческие трибуналы и семейные суды.

XIII

Разговоры опечаленного духовенства о мученических венцах и хищных посягательствах Национального собрания стали обнаруживать свое влияние. Народ, остававшийся единодушным в то время, когда шло дело о борьбе против феодализма, разделился на партии, когда идеи XVIII столетия коснулись церковной иерархии и вопиющие потребности государства принудили Национальное собрание наложить руку на церковные имущества. Като-

лицизм, не имевший уже для жителей Парижа ни малейшей прелести, оказался сильным и живучим в городах и селах отдаленных провинций. В некоторых местах агитация в пользу католического духовенства находила себе пищу не столько в религиозных чувствах народа, сколько в его экономических интересах; дело в том, что духовенство содержало свои имения в большом порядке и не страдало теми спазматическими припадками безденежья, которые часто удручали храброе дворянство. Вследствие этого духовенство не отдавало своих доходов на откуп разным аферистам, не притесняло своих фермеров неумеренными требованиями и вообще вело свои денежные дела ровно, спокойно и правильно, так что крестьяне, находившиеся с ним в сношениях, благословляли свою судьбу и очень дорожили своими арендами.

Когда разнесся слух о предстоящей продаже церковных имуществ, тогда все арендаторы этих поместий, не бывшие в состоянии купить себе ту ферму, которую они нанимали, пришли в смятение, боясь, что будущий владелец окажется притеснителем или сгонит их прочь с своей земли. В Эльзасе составилось за неприкосновенность католической религии прошение, и в три недели набралось 21 000 подписей; с одинаковым усердием подписывали католики, протестанты и евреи, потому что все они были арендаторами церковных имений и, следовательно, все связаны между собою единством интересов; в Бретани начались противореволюционные движения, во главе которых появились католические священники. На юге королевства дело дошло до кровопролитных схваток между патриотами и клерикалами. В Ниме национальная гвардия и пролетарии, принадлежавшие к католической партии, поколотили армейский полк, пылавший патриотизмом. Вслед за тем в том же городе составилось католическое общество из 4000 человек, которые немедленно пригласили соседние департаменты соединиться с ними в братский союз за христианскую религию. Эта мысль нашла себе отголосок, и в религиозное братство вступили немедленно города Перпиньян, Тарн и Тулуза. В городе Але народ прогнал за городские ворота войска, державшиеся революционных принципов; в Монтобане национальная гвардия сразилась с католическим пролетариатом, который победил и разогнал нечестивых друзей прогресса. Из всех этих фактов Учредительное собрание усматривало, что *le peuple souverain* (властительный народ) часто

противоречит самому себе и что его, в большей части случаев, мудрено урезонить. Во всей Франции не было той деревни, в которой народ согласился бы платить десятину после июльских событий 1789 года, а между тем, когда отсутствие десятинной подати вело за собою необходимость преобразовать внутреннее устройство церкви, тогда *peuple souverain* во многих местах переполнялся католическим восторгом и не хотел слышать о преобразованиях; я, говорит *peuple souverain,* платить не желаю, а в церкви пускай остается все по-старому; а откуда взять денег — это дело правительства; на то оно правительство. Так как не было возможности пригласить народ к рассмотрению финансовых отчетов и убедить его цифрами и фактами в неисполнимости его требований, то Национальное собрание решилось поскорее окончить церковные преобразования и утвердить их силою в тех местностях, в которых зашевелится католическая реакция. Приступая к такому образу действий, Национальное собрание, очевидно, вступало в борьбу с проявлением народной воли, но так как эта воля оказывалась раздвоенною, то законодателям поневоле надо было примкнуть решительно к одной из двух партий и объявить другую партию толпою мятежников, хотя, разумеется, странно было ругать людей мятежниками в такой стране, в которой вся нация считала июльские мятежи славнейшими подвигами своей истории.

Впрочем, в революциях дело обыкновенно идет не о том, чтобы убедить противника, а о том, чтобы победить и уничтожить его; здесь, как и вообще в практической деятельности, последовательность часто становится невозможною и отступает далеко на задний план перед неотразимою необходимостью. Собираясь действовать энергическими мерами против католических реакций, Национальное собрание не нарушало, однако, принципа религиозной свободы; собрание видело в ожесточенных аббатах и в их восторженных последователях только политических врагов революции, и все позднейшие распоряжения его по этому предмету вытекали исключительно из этого основного взгляда.

29 мая 1790 года комитет церковных дел представил Учредительному собранию проект нового устройства церкви. По этому проекту избиратели каждого округа назначают себе приходских священников, а избиратели департамента — местного епископа. Каждый избранный дает присягу в верности нации, королю и конституции. Ка-

питулы[47] и духовное судопроизводство уничтожаются, потому что преступления против религии становятся невозможными с той минуты, когда официально признан принцип религиозной свободы со всеми своими последствиями. Папа теряет, по проекту комитета, право давать диспенсации[48] и утверждать духовных сановников в их звании. При этом должно заметить, что папа уже давно имел основание гневаться на свою галликанскую паству, потому что уже знаменитая ночь 4 августа, уничтожая десятинную подать, отменила декретом ежегодное препровождение денег в Рим.

Легко можно вообразить себе, что весь проект комитета должен был казаться истинным католикам непрерывным рядом святотатств; граждане, которые согласились бы войти в эту перестроенную церковь, должны были бы считаться еретиками, а духовные лица, которые дали бы требуемую присягу,— богохульниками, безбожниками и, хуже того, ересиархами.

Чем должны были бы считаться члены собрания и комитета — я и выразить не умею, но, во всяком случае, так как папа, очевидно, не мог утвердить нововведения, то религиозная война против нечестивых соотечественников становилась для всех верующих католиков во Франции первейшею из священных обязанностей. Видно было, что духовенство смотрит на дело именно с этой точки зрения: когда в собрании происходили прения о церковных преобразованиях, тогда верующие епископы и аббаты не говорили ни слова; отвергая весь проект от начала до конца, они не хотели рассматривать его в подробностях и были намерены, во всяком случае, решительно отказаться от требуемой присяги. Спор поддерживался центром собрания и левою стороною; он относился к частностям; шла речь о величине жалованья, о капитулах, о том, кому выбирать епископов — народу или духовенству. Политики собрания были равнодушны к этому спору, в котором горячились и торжествовали одни янсенисты[49], видевшие, наконец, осуществление своей задушевной мысли о самостоятельности галликанской церкви[50] и о победе над ультрамонтанскими[51] тенденциями. Робеспьер попробовал провести мысль об уничтожении безбрачия духовенства, но собранию показалось, что это уж чересчур смело, и попытка эта осталась безуспешною.

15 июня, когда тянулись эти прения, в Национальное собрание был представлен от нимского католического со-

юза адрес, требовавший повелительным тоном благоговения перед церковью и полного восстановления королевской власти. Католичество шло, таким образом, об руку роялизмом, и Учредительное собрание, враждовавшее с последним, решилось разорвать всякие дружелюбные отношения и с первым. Адрес Нима был признан преступным действием мятежа. В это время на юге ежеминутно можно было ожидать сильного столкновения между целыми городами. Бордо выставил отряд патриотов против Монтобана, в котором господствовали католики, и обе партии долго стояли лагерем друг против друга, но на этот раз усилия министерства и Национального собрания отклонили или, вернее, отсрочили кровопролитие.

Рассуждения о церковных преобразованиях продолжались в Национальном собрании до 12 июля и окончились тем, что проект комитета был утвержден с теми частными изменениями или дополнениями, которые были внесены в него во время прений. Духовенство как отдельная корпорация перестало существовать. Около того же времени прекратилось существование дворянства. 19 июня прусский барон Клоотс, большой любитель либеральных эффектов, ввел в залу Национального собрания толпу людей, наряженных в костюмы разных народов, и от имени всего человечества произнес речь, в которой благодарил собрание за его подвиги и умолял Францию подать знак к освобождению всего земного шара. Президент отвечал на эту общечеловеческую речь серьезно и торжественно, а члены собрания воспользовались присутствием человечества, чтобы уничтожить последние остатки аристократизма. Об этом особенно усердно хлопотали либералы из дворян Ламет, Лафайет, Эгильон, Сен-Фаржо, которые не шутя воображали себе, что, отрекаясь от своих титулов, они совершают подвиг самопожертвования и оказывают любезному отечеству бессмертную услугу. Правая сторона поспорила и пошумела, но, по обыкновению, на ее оппозицию никто не обратил внимания, и в тот же день составлен был декрет об уничтожении всех дворянских титулов и всех орденов.

Любопытно заметить, что эта законодательная мера, не заключавшая в себе ничего осязательного и существенного, причинила храброму дворянству гораздо больше огорчения, чем те декреты, которые, после ночного заседания 4 августа, уничтожили феодальные привилегии и отняли у дворянства все связанные с ними доходы. По-

терю денег можно было перенести из любви к отечеству, но потеря дворянской чести была слишком чувствительна, так что эмиграция стала значительно усиливаться после декрета об уничтожении титулов. Если Лафайет, Ламет и другие либералы того же сорта видели в этом декрете великий подвиг законодательной мудрости, то дворяне старого закала видели в нем великое поругание родовой святыни. Либералы и консерваторы из дворян сходились между собою на том, что те и другие придавали этой законодательной мере мировое значение, а Мирабо от души смеялся над обеими сторонами, которые, конечно, стоили друг друга.

Долго ли еще придется Франции в самые серьезные и торжественные минуты своей истории украшать себя сусальным золотом ложноклассических сцен и театрально-героических движений, это такой вопрос, на который может ответить только будущее; что же касается до первой революции, то в ее отдельных эпизодах, рядом с потрясающею наготою действительности, встречается много мишуры, и народ восхищается этою мишурою, добродушно упуская из виду, что все его бедствия ведут свое начало от мишурного блеска Людовиков, Генрихов, Карлов, Францисков, Филиппов и многих других светил меньших размеров.

Потешивши себя остроумною интермедиею барона Клоотса и насладившись самоотвержением либеральных дворян, собрание обратило свое внимание на предметы серьезные. Надо было заняться преобразованием армии, в которой, с самого начала революции, офицеры и солдаты открыто враждовали между собою и постоянно тянули в разные стороны. Чем полнее и шире развертывалась реформаторская деятельность Учредительного собрания, тем сильнее становилось неудовольствие офицеров и тем страстнее выражалась привязанность солдат к делу революции. Многие из офицеров эмигрировали, а солдаты устроили себе во всех полках клубы и требовали, чтобы им увеличили жалованье, облегчили производство в офицерские чины, предоставили контроль над полковыми суммами и отменили телесные наказания. Полковые клубы отправляли свои депутации к полковникам, а иногда и прямо к военному министру или к Национальному собранию. Депутации эти объявляли часто, что солдаты не желают повиноваться аристократии и врагам свободы. Во многих провинциях армейские полки соединялись с на-

циональною гвардиею и праздновали вместе союзы братства, давая клятву защищать общими силами нацию, короля и конституцию. Национальное собрание постоянно ободряло составление этих союзов, называвшихся федерациями, но так как большинство офицеров вовсе не было расположено служить нации и защищать конституцию, то союзы эти увеличивали вражду между начальниками и подчиненными, вследствие чего необходимость преобразований по армии с каждым днем становилась более настоятельною.

Прежде всего Национальное собрание определило, что на будущее время все вопросы, относящиеся к величине и к устройству армии, к порядку ее пополнения, к употреблению ее в государстве, к жалованью всех чинов, к принятию на службу иностранных солдат и к военным уголовным и дисциплинарным законам,— подлежат решению законодательных собраний. Потом следовали самые преобразования: жалованье рядовых увеличено, доступ к офицерским чинам открыт всем способным людям, солдату предоставлены в мирное время все права гражданина. Но здесь, как и во всех других отраслях тогдашней государственной жизни, старина развалилась сама собою, прежде чем можно было обновить, заменить или уничтожить ее мерами законодательства. Во всех полках происходили уже частные волнения, тем более что декрет, уничтоживший дворянские титулы, превратил офицеров в решительных врагов революции и довел до крайних пределов недоверие солдат к их ближайшему начальству.

В начале августа Мирабо предложил собранию распустить всю армию и сформировать ее заново, но Марат, питавший к солдатам большую нежность за их радикальный образ мыслей, вслед за тем посоветовал в своей газете парижанам поставить восемьсот виселиц и на первую из них повесить подлого изменника Мирабо, а на остальные — всех тех, кто подаст голос за его предложение. Марат, как известно, никогда не подавал других советов, и, что всего удивительнее, эти однообразные советы всегда приводили пролетариев в восторг, хотя, разумеется, они почти никогда не исполнялись. В настоящем случае Национальное собрание побоялось раздражить людей крайней партии, и предложение Мирабо было отвергнуто.

В последних числах августа произошла наконец серьезная тревога. В Нанси взбунтовались три полка, овладели

городом и соединились с вооруженными пролетариями; к чему клонилось восстание нансийских солдат — неизвестно, потому что это восстание очень скоро было задавлено; генерал Булье собрал небольшой отряд надежного войска, пошел на Нанси и произвел такое кровопролитие, что в одном из возмутившихся полков осталось всего 40 человек. Национальное собрание, серьезно перепуганное нансийским бунтом, публично выразило генералу Булье свою признательность. Робеспьер возражал против этого решения, но его не послушали. В Париже нансийские события отозвались сильным раздражением умов против министров, которых народ считал первыми виновниками кровопролития. В сентябре собрание определило для армии порядок производства в чины. Королю предоставлялось назначать только маршалов и отрядных генералов; офицеры должны были производиться по старшинству службы; в унтер-офицеры должны были производиться способнейшие солдаты по представлению старых унтер-офицеров роты. Наконец, к военному судопроизводству был применен институт присяжных.

XIV

Католические волнения, дворянская эмиграция, солдатские мятежи — все это, конечно, тревожило и огорчало Национальное собрание, но все эти тревоги и огорчения были незначительны в сравнении с гнетущею и неотвратимою заботою о финансах. Уходили дни и недели; пришла и прошла годовщина взятия Бастилии; отпраздновали в этот день на Марсовом поле торжество федерации для всей Франции; все это было красиво и трогательно; но, вместе с днями и неделями, быстро, незаметно и неудержимо уходили из государственного казначейства недавно отпечатанные ассигнации. К концу августа из 400 миллионов, выпущенных в апреле, не оставалось уже ничего. В конце сентября, когда министерство Неккера упало и когда на его место стало другое министерство, такое же неспособное, Мирабо предложил в собрании — выпустить еще 800 миллионов ассигнаций и употребить их на погашение государственного долга, с тем чтобы в обращении никогда не было более 1200 миллионов бумажных денег. За мнение Мирабо стояли якобинцы; население Парижа также желало нового выпуска ассигнаций, пото-

му что обилие денежных знаков облегчало процесс обмена и на первое время оживляло промышленность. Но так как законодатели не могли смотреть на вопросы государственного хозяйства с тою добродушною беззаботностью, которую обнаруживали в этом случае парижане, то члены Национального собрания преимущественно утешали себя тем соображением, что с 1 января 1791 года начнется для финансов новый период существования. Поэтому решено было — должное количество ассигнаций выпустить, но вместе с тем немедленно приняться за основательный пересмотр государственного бюджета и за преобразование податной системы.

Устанавливая цифры бюджета, члены собрания усердно вели дело к тому, чтобы доказать экономическую благодетельность революции; если бы они имели в виду только то обстоятельство, что декреты 4 августа 1789 года значительно увеличили народную производительность, то мнение их было бы безошибочно; но они думали, что народ этого расчета не поймет и что, на этом основании, необходимо показать ему как непосредственный результат революции прямое уменьшение в общей сумме податей. Чтобы прийти к этому результату, члены собрания были принуждены прибегать ко многим смелым гипотезам, которые своею утешительностью могли произвести приятное впечатление на публику, но вместе с тем должны были надолго упрочить путаницу в финансах. Во всех статьях расхода были произведены значительные сокращения, но можно было опасаться того, что эти сокращения по необходимости останутся только на бумаге. Так, например, на расходы по сбору податей положено 8 миллионов, между тем как, по умеренному расчету, надо было бы положить на это дело около 30 миллионов. Церкви, стоившей 170 миллионов, отведено 67. Армия с 99 посажена на 89. На пенсии вместо 29 назначено 12 миллионов. Хорошо, если этого достанет; но достанет ли?

При всех этих правдоподобных и неправдоподобных сокращениях получился общий итог обыкновенных расходов в 580 миллионов для государства и в 60 миллионов для местных потребностей департаментов. Кроме того, предвиделось в 1791 году экстраординарных расходов на 76 миллионов. Эту последнюю статью бюджета оставили совсем в стороне. Теперь надо было ухитриться, чтобы как-нибудь разложить эти 640 миллионов (580 и 60) на народ. Как их собрать? Какие преобразования ввести

в податную систему? При определении расходов депутаты были расположены предполагать их неестественно скромными, а при вычислении доходов они, по тому же самому побуждению, старались выводить цифры невероятно крупные. Они рассчитывали, например, что национальные имущества (бывшие церковные) дадут 60 миллионов дохода; некоторые пессимисты возражали им, что эти имущества управляются городскими общинами дурно и что они, по приблизительному расчету, дадут не больше 40 миллионов. Пессимистов не слушали, и расчет продолжался в том же идиллическом направлении. Таким образом нашли, что государство может получить 148 миллионов дохода, помимо податей,— тут считались доходы с национальных имуществ, с государственных лесов, с соляных источников и т. д. Стало быть, народ должен был уплатить 492 миллиона, то есть с лишком на 100 миллионов меньше, чем он платил в последний год старого порядка, не считая десятин и феодальных повинностей. Стало быть, главная цель Национального собрания была достигнута; приятное впечатление было произведено, и дело революции еще раз было зарекомендовано народу с самой привлекательной стороны. Но все-таки надо было разложить эти 492 миллиона, и тут опять пошли затруднения.

Народонаселение Парижа, имевшее ближайшее и сильнейшее влияние на все распоряжения собрания, сурово отрицало бóльшую часть косвенных налогов. Замечено вообще, что косвенные налоги бывают особенно значительны в тех странах и в те эпохи, где и когда преобладает аристократический элемент. По мере того как низшие и беднейшие классы народа, живущие трудом, приобретают себе значение в общественном организме, косвенные налоги заменяются прямыми; наконец, когда демократический элемент становится преобладающим, тогда прямые налоги делаются прогрессивными, то есть богатые граждане не только платят абсолютно бóльшую сумму денег, но они даже платят бóльший процент с своего большого дохода, чем бедные — с своего малого дохода. Почему усиление демократии ведет за собою систему прогрессивных налогов — это понятно без объяснений; заменение косвенных налогов прямыми основано на той же общей причине. Прямой налог падает преимущественно на тот капитал, который легко определить; ему подвергаются зе-

млевладельцы, чиновники, получающие определенное жалованье, капиталисты, живущие процентами с государственных бумаг; люди, живущие собственным трудом, могут в этом случае платить только подушную подать, да еще пошлину за какой-нибудь патент или билет; определить величину их годового заработка и брать с них известный процент этого заработка нет никакой возможности. Следовательно, прямой налог падает больше на капитал, чем на труд. Косвенные налоги, напротив того, падают с одинаковою силою на всех людей, нуждающихся в тех предметах, которые обложены пошлиною. А так как средневековые правительства с особенною изобретательностью умели облагать пошлинами предметы первой необходимости, то косвенные налоги падали всею своею тяжестью на все население страны, не разбирая ни бедных, ни богатых. Для бедных они, разумеется, были тяжелее, чем для богатых. Человек, получающий в год сто тысяч рублей годового дохода, никак не съест в тысячу раз больше соли, чем работник, добывающий себе в год сто рублей; первый не съест даже вдвое больше последнего; оба они съедят одинаковое количество соли и заплатят за нее одинаковую сумму налога, из чего прямо следует заключение, что работник относительно платит в тысячу раз больше, чем миллионер. Если же работник не съест в год того количества соли, которое необходимо для организма, то он расстроит свое здоровье. Поэтому ненависть народа против косвенных налогов вообще и против соляного налога в особенности объясняется очень удовлетворительно.

После июльских дней 1789 года о взимании соляного налога нечего было и думать. В августе того же года Национальное собрание обещало уничтожить этот налог, но выразило ту мысль, что его необходимо взимать до тех пор, пока не будет введена на его место другая подать. В ответ на это мнение провинция Анжу объявила, что она против сборщиков соляного налога выставит в поле 60 000 вооруженных людей; другие провинции обнаружили такие же воинственные наклонности, и соляной налог исчез без следа. Из государственных доходов выбыло, таким образом, 60 миллионов. Табачная регалия в 27 миллионов и питейный акциз в 50 миллионов отправились вслед за соляным налогом. Налоги на пудру, кожу и железо, всего на 9 миллионов, пошли по тому же пути.

В старой Франции, на городских заставах, собирались, под названием *octrois,* пошлины за ввоз различных припасов; эти пошлины, падавшие преимущественно на вино и мясо, давали в год 70 миллионов, из которых 46 поступали в государственное казначейство, а 24 шли в пользу городов и местных больниц. В одном Париже *octrois* приносили в год государству 24, а городу 13 миллионов. В течение 1789 и 1790 годов эту пошлину продолжали собирать по-прежнему, преимущественно потому, что парижский городской совет, постоянно нуждавшийся в деньгах, не мог обойтись без этой статьи дохода; а Национальное собрание всегда старалось поддержать хорошие отношения с городским советом и вовсе не желало посягать на его финансовые средства, тем более что всякое денежное затруднение в городской кассе всею своею тяжестью обрушивалось на государственное казначейство, которое, под страхом революции, должно было выдавать деньги и кормить пролетариев. Но весною 1791 года *octrois* должны были уничтожиться; народ давно сообразил, что от этого *octroi* вино становится дороже, и требования его по этому случаю сделались до такой степени настоятельными, что городской совет и Национальное собрание принуждены были уступить; *octrois* были отменены во всей Франции, и вследствие этого пришлось прибавить еще 46 миллионов к той массе налогов, которая лежала на поземельной собственности; кроме того, государство стало платить городской кассе Парижа по 3 миллиона в год, чтобы хоть отчасти вознаградить город за потерю этой важной статьи дохода; эти 3 миллиона, конечно, упали также на сельское хозяйство. Из косвенных налогов удержались только те, которые не отягощали рабочего населения; остались, таким образом, в прежней силе почтовые доходы, дававшие до 12 миллионов; пошлины за внесение процентов в реестры были увеличены с 40 миллионов на 51 миллион; введена новая пошлина в 22 миллиона за гербовую бумагу; удержаны таможенные доходы в 22 миллиона, хотя внутренние таможни были уничтожены, а тариф заграничной торговли переделан по новому плану; осталась в прежней силе государственная лотерея, приносившая 10 миллионов; законодатели понимали, что это учреждение вовсе не полезно для общественной нравственности, но Париж, любивший дешевое вино и требовавший вследствие этого отменения *octrois,* любил

также сильные ощущения азартной игры и желал, на этом основании, удержать лотерею.

Когда в продолжение многих веков прикладывались всевозможные старания к тому, чтобы развратить народ до мозга костей, тогда все Солоны и Конфуции прошедших и настоящих времен, при всей добросовестности своих усилий, не сумеют в два-три года исправить народную нравственность, точно так же как никакие философы не сумеют вдруг рассеять густые-густые туманы народных предрассудков. Что портилось веками, то поправляется по меньшей мере десятилетиями. Поэтому, если благосклонному читателю не понравится что-нибудь в дальнейшем ходе революционных событий, он твердо должен помнить,— и я сто раз готов повторять ему,— что за все надо говорить спасибо старой французской монархии. Члены Конвента опустили только тот топор, который повесил над государством старый порядок и два последние Людовика в особенности. Если виноват палач, то еще более виноват судья, хотя вообще искать в истории виноватых — занятие столько же наивное, сколько и бесплодное.

Все уцелевшие косвенные налоги давали в общей сложности 110 миллионов; оставалось набрать еще 382 миллиона; для этого было определено, чтобы каждый ремесленник брал себе ежегодно патент; эта мера дала 22 миллиона; потом наложена подушная подать, и выручено 60 миллионов; затем остальные 300 миллионов упали на поземельную собственность.— Расчеты по бюджету были окончены; на бумаге все обстояло красиво и благополучно; но в действительности предвиделось мало отрадного.— 76 миллионов экстраординарных расходов можно было игнорировать при расчете, но они от этого не теряли своей силы; смета обыкновенных расходов была по крайней мере на 50 миллионов ниже действительных потребностей государства. Опытные и знающие люди говорили, что при собирании прямых налогов окажется не менее 100 миллионов недоимки. 50 + 76 + 100 = 226; таким образом, при бюджете в 716 миллионов (640 обыкновенных и 76 экстраординарных расходов) оказывается дефицит в 226 миллионов — почти одна треть.— Только очень упорные оптимисты могли думать серьезно, что с 1 января 1791 года начинается для государственных финансов период благоденствия и порядка.

Государственный долг, переданный Национальному собранию старою монархиею, оставался непогашенным; революция была поставлена в необходимость увеличить этот долг значительною суммою; реформируя все отрасли управления, надо было везде уничтожать наследственные должности, а владельцам этих должностей надо было выдавать денежное вознаграждение, потому что должности были, как нам уже известно, куплены у прежних правительств на чистые деньги. Весь капитал, который следовало израсходовать на это исправление старых шалостей, доходил до 1430 миллионов и, следовательно, равнялся сумме всех государственных расходов за два года. Уплатить такой *капитал* было совершенно невозможно; оставалось только причислить его к утвержденному государственному долгу и платить за него вечные *проценты;* так и сделали: к сумме ежегодно платимых процентов прибавилось вследствие этого еще 70 миллионов.

Ассигнации, которые предположено было употребить на погашение государственного долга, составляли единственную поддержку казначейства и по горькой необходимости тратились на текущие расходы; в июне 1791 года были издержаны все 1200 миллионов первых двух выпусков; из них на уплату долгового капитала употреблено 108 миллионов, на уплату запущенных процентов и забранных вперед доходов — 416 миллионов; на текущие расходы — 676 миллионов. Эти 676 миллионов были обеспечены национальными имуществами; но продать эти имущества можно было только один раз, стало быть, издерживая цену этих имуществ на текущие расходы, государство съедало свой капитал, а всякому известно, что тратить на житье капитал, вместо того чтобы жить процентами с капитала, значит быстрыми шагами идти к разорению. В сентябре 1790 года Национальное собрание определило декретом, что в обращении никогда не должно быть более 1200 миллионов ассигнаций; в июне 1791 года тому же самому собранию пришлось нарушить свое собственное приказание и выпустить еще 600 миллионов. Тут уже и не пробовали определить заранее ту цифру бумажных миллионов, на которой следует остановиться; все знали в Национальном собрании и все предчувствовали в обществе, что остановиться невозможно и что, за неимением настоящих миллионов, государство

будет постоянно создавать бумажные. А что будет дальше, того никто не мог решить определенно. После нового выпуска ассигнации потеряли в своем курсе от 8 до 10 процентов. Чтобы облегчить мелкие операции обмена, правительство выпустило 100 миллионов пятиливровыми билетами (1 руб. 25 коп. с<еребром>), между тем как в первых двух выпусках не было билетов мельче 50 ливров. Ассигнации проникли, таким образом, в беднейшие классы народа и вовлекли в ажиотаж работников и крестьян. Принимая какой-нибудь заказ, ремесленник должен был рассчитывать на предстоящее понижение курса; продавая воз хлеба, крестьянин мог ожидать, что в ближайшей лавке у него примут вырученные деньги не иначе, как с значительным учетом.

Можно себе представить, сколько тревоги вносили подобные обстоятельства во все крупные и мелкие сделки; не трудно также понять, какого рода влияние эта промышленная тревога должна была оказывать на общее настроение умов в народных массах. Где богатый человек рисковал частью своего капитала, там поденщик поневоле рисковал куском своего обеда; когда богач разорялся, тогда бедняк страдал от голода; а между тем новые выпуски ассигнаций были неизбежны и действительно быстро следовали один за другим; с каждым новым выпуском увеличивалось колебание в курсе; вместе с колебанием в курсе возрастало беспокойство и неудовольствие масс; отвращение к правильному и постоянному труду увеличивалось, потому что правильный и постоянный труд возможен только тогда, когда он может рассчитывать на правильное и постоянное вознаграждение.

Беспокойство, неудовольствие, шаткость ежедневных расчетов, отсутствие правильных заработков, отвращение к труду — все эти моменты составляли ту общую канву, на которой революционное движение могло рассыпать щедрою рукою самые роскошные и причудливые узоры. Все действовало заодно с революциею, и все предвещало ей в будущем много фаз тревожного и неудержимо-стремительного развития. Усилия правительства и Национального собрания остановить революцию не могли иметь ни малейшего успеха, потому что и правительство и собрание, стараясь одною рукою обезоружить народные страсти, другою рукою, сами того не замечая, увеличивали раздражение умов и заготовляли материалы для нового взрыва. И новая революция действительно приближалась

с неумолимою быстротою, приближалась независимо от единичных желаний или опасений, приближалась как громадное и неизбежное явление природы, вытекающее из данных условий, по слепым и безжалостным законам необходимости. Средневековое ярмо было разбито и сброшено; несмотря на это в сельском и городском населении Франции лежали еще неистощимые запасы материалов для самых всеобъемлющих переворотов.

Посмотрим, что делалось в деревнях. В июле и в августе 1789 года крестьяне почти во всех провинциях королевства принудили бывших феодалов спасаться бегством; вместе с феодалами бежали и укрылись в городах или за границею капиталы; это обстоятельство могло бы принести сельскому хозяйству много вреда, если бы капиталы в прежнее время были прилагаемы к улучшению почвы и земледельческих приемов; но так как этого в большей части случаев не бывало, то отсутствие господ и их капиталов выразилось для крестьян только в том, что они, крестьяне, избавились от многих неприятных столкновений. Закон отменил десятинные подати. Тогда крестьянин вспомнил, что многие пашни были превращены у него в луга собственно потому, что луг был обложен менее значительною десятинною податью; вспомнив это, он тотчас распахал и засеял луг, чтобы выручить хороший денежный куш за пшеницу, бывшую в то время в цене.— Отменили питейную подать. Французский крестьянин, любящий вообще заниматься виноделием, насадил тогда виноградных лоз во многие такие земли, которые были не совсем удобны для такого рода обработки. Превращение лугов в пашни должно было ослабить скотоводство; превращение пахотных земель в виноградники должно было ослабить земледелие; в том и в другом случае прочное благосостояние хозяйства приносилось в жертву более прибыльному, но более рискованному промыслу. После некоторых колебаний, после двух-трех неудачных опытов, в которых неудача происходит от непривычки пользоваться свободою в сфере своего труда, крестьянин, не стесняемый внешними препятствиями, сумеет скоро освободиться от своих убыточных предрассудков и поведет свое хозяйство расчетливо и благоразумно; колебания и неудачи не пропадут даром; но так как эти первые попытки совпадают с началом революции и так как они вносят тревогу и волнение почти в каждую крестьянскую хижину, то мы видим, что и здесь существуют задатки, из

которых может развиться симпатия к дальнейшему общественному движению. Французское крестьянство укрепилось и разбогатело, несмотря на всю тягость общественного кризиса; многие из беспорядков тревожной эпохи послужили ему в пользу; государство беднело, потому что не было в состоянии собрать необходимое количество податей, но так как подати эти оставались в доме крестьянина, то хозяйство его могло совершенствоваться и развиваться. В первые времена революции в руках крестьян оставалось ежегодно около 170 миллионов податей, и это обстоятельство в значительной степени содействовало успехам французского земледелия. Немногие крестьяне во Франции владели землею, и то, что я говорил до сих пор, относится только к этим немногим. Для того большинства, которое пробавлялось фермерством и, по недостатку средств, нанимало себе крошечные кусочки земли, отдавая за наем половину сырого продукта,—для этого большинства, составляющего сельский пролетариат, устранение феодальных повинностей оказалось незначительным облегчением. С этих неимущих людей нельзя было ничего взять, кроме повинности трудом; когда обязательный труд был уничтожен, тогда у этих людей остался досуг, но с этим досугом нечего было делать; при низком состоянии тогдашнего земледелия, при бедности крестьян-собственников, при отсутствии всякой сельской промышленности крестьяне-пролетарии редко могли пристроить себя к какому-нибудь производительному занятию; конечно, свобода труда не может на вечные времена остаться мертвым капиталом; но не может она также в одно мгновение устранить ту глубокую нищету и ту вынужденную праздность, которые обыкновенно тяготеют над рабами, только что выпущенными на волю.

Крестьяне-пролетарии были друзьями того общественного движения, которое уничтожило барщину, но они, по своей простоте, воображали себе, что настоящее движение еще впереди; они видели, что их соседи, крестьяне-собственники, извлекли из движения такие выгоды, которые им, крестьянам-пролетариям, остались недоступными; тогда они, опять-таки по своей простоте, стали воображать, что и им надо же когда-нибудь попользоваться этими выгодами и что к этому пользованию должно привести неизбежно дальнейшее развитие революции. Каждый просвещенный либерал мог бы поразить этих глупых крестьян бесчисленным множеством аргументов, взятых

изо всех областей права, истории, нравственной философии и политической экономии. Он мог бы сказать им в общем результате: «Глупые друзья мои! Как вы этого не понимаете? Они — собственники, а вы — не собственники. У вас нет совсем ничего, и потому вы никак не можете получить от революции те удовольствия, которые приобрели от нее люди, имеющие что-нибудь. Революция может изменить законы и учреждения, но если она посягнет на священную собственность, тогда это будет уже не революция, а одно безобразие».

Национальное собрание подумало, что продажа церковных имуществ может принести французской нации двойную пользу: во-первых, даст казначейству золотые горы, а во-вторых, превратит глупых пролетариев в счастливых собственников и, следовательно, в просвещенных либералов, против которых не нужно будет употреблять никаких героических лекарств. Поэтому, когда в половине июня 1790 года решено было пустить в продажу всю массу церковных имуществ, тогда Национальное собрание приказало продавать их мелкими кусками. Мера была превосходная, но на земле не бывает полного совершенства. И не может его быть, прибавляет солидный читатель* У глупого пролетария совсем ничего не было, так что если бы землю продавали не десятинами, а цветочными горшками, то и тут он мог бы только украсть себе такой горшок земли, а никак не купить его. Если бы государство захотело подарить землю своему убогому детищу, то и тогда этот блудный сын мог бы пахать эту землю только собственными ногтями, потому что у него не было даже своей лопаты; я говорил уже в одной из предыдущих глав, что бо́льшая часть фермеров работали хозяйскими орудиями и хозяйским рабочим скотом; стало быть, сделавшись собственником, такой фермер все еще не превращался в просвещенного либерала и все еще искал себе в революции недозволенных удовольствий.

— Ну, — однако, — спрашивает наконец раздосадованный читатель, — что же вы с ним прикажете делать? И как же его наконец пристроить так, чтобы он не кричал и не лез на стены? И чем же тут виновато Национальное собрание?

---

* И даже совсем не должно быть, прибавляю я, и оказываюсь, таким образом, солиднее всякого читателя.

Ах вы, мой читатель! Ах вы, мой гневный читатель! Неужели вы не знаете, что в жизни бывают такие положения, в которых решительно ничем нельзя помочь и решительно ничего нельзя сделать путного? Куда ни кинь, все клин[52]. В подобных случаях частной жизни русский человек утешается пословицею: «Перемелется, мука будет». Перемелется-то оно точно, и мука будет непременно; но уж зато не взыщите: что попадет под жернов и из чего выделается мука — этого никто не знает заранее. Вот в таком-то положении и находились дела во Франции в конце прошлого столетия. И если бы они находились не в таком положении, тогда во Франции не было бы революции, а совершилось бы полюбовное размежевание заинтересованных сторон. Но ни одна попытка подобного размежевания в тогдашней Франции не удалась, и между заинтересованными сторонами не оказалось ни малейшей полюбовности; обнаружилось, что все интересы противоречат друг другу и все перепутаны между собою до последней крайности. Со всех сторон заговорили страсти, и каждая из этих страстей сама по себе была вполне естественна, а между тем каждая из них для своего удовлетворения должна была теснить и истреблять другие страсти. Люди разгневались друг против друга и сначала стали шуметь, а потом передрались. И больно передрались. И долго продолжалась их драка. И все это вовсе не хорошо. И вовсе не нравится ни мне, ни моему читателю. Но мало ли что нам не нравится. Многое, друг Горацио[53], очень многое делается в этом мире совсем не так, как мы с тобою того желаем. Этим печальным размышлением, изумительным по своей новизне, я заканчиваю эту, XV главу, которая, по какому-то необъяснимому капризу судьбы, пропиталась небывалым легкомыслием изложения. В оправдание этого легкомыслия я могу, впрочем, поставить на вид читателю, что я все-таки тем или другим тоном выразил все то и только то, что я хотел выразить, а это, во всяком случае, заслуга немаловажная, за которую многое может мне быть прощено.

XVI

В стране, населенной полудикими пролетариями, каждый неурожай производит такие страдания, о которых не имеют понятия жители богатых и промышленных зе-

мель. Каждый неурожай во Франции XVIII столетия приводил за собою голод и общественные волнения, потому что большинство сельского населения не имело никогда никаких запасов и, живя со дня на день, тотчас встречалось лицом к лицу с голодною смертью, как только погода в каком-нибудь отношении переставала благоприятствовать успешному созреванию жатвы. В исторических сочинениях упоминается часто о таких естественных бедствиях, которые, совпадая с общественною нескладицею, увеличивают тревожное настроение умов и усиливают разнообразные беспорядки. Говоря о таких естественных бедствиях, историки обыкновенно смотрят на них как на явление совершенно самостоятельное и не имеющее ни малейшей связи с общественным положением той страны, над которою они разражаются. Мне кажется, что в этом случае, как и во многих других, историки обнаруживают трогательное отсутствие обобщающего понимания.

Объяснить и доказать это вовсе не трудно. Представьте себе, что вас застигает в дороге наша отечественная метель, украшенная двадцатиградусным морозом; вы, как человек, одаренный енотовою шубою, остаетесь здравы и невредимы, а ямщик ваш благодаря своему зипуну* отмороживает себе руки и ноги, приобретает антонов огонь** и умирает. Метель для вас обоих была одна и та же, и мороз один и тот же, но оборонительное оружие против того и другого было у вас различное, а потому и результаты получились совершенно несходные.

Размеры моей притчи о метели и ее последствиях могут быть увеличены в миллионы раз, и притча не потеряет от этого своей верности. Мы увидим тогда, что богатый, промышленный и образованный народ, счастливый по условиям своего гражданского быта***, переносит естественные бедствия совсем не так, как переносит его народ бедный, производящий мало земледельческих про-

* «Зипун одежда честная» и т. д. (Объявление об издании «Времени» в 1863 году).

** Его должно утешить, что благодаря тому же зипуну он, кроме антонова огня, приобрел себе еще сочувствие либеральных журналистов.

*** Не мешает заметить, что все эти привлекательные эпитеты имеют только относительное значение. Англичане счастливы и т. д. в сравнении с индусами, но абсолютно счастливых народов до сих пор еще не бывало.

дуктов и фабричных изделий, погруженный в невежество и доведенный своими историческими несчастиями до неизбежной и подавляющей апатии.

Во-первых, многие, если не все, естественные бедствия поражают бедный и невежественный народ гораздо чаще, чем богатый и образованный. Понятно также, что это обстоятельство находится в прямой зависимости от большего или меньшего совершенства предохранительных мер, а количество и качество этих мер, очевидно, обусловливается общим положением народа. Голод также посещает всего чаще те места, в которых искусство человека слабо и в которых хлебные зерна совершенно предоставляются на волю естественных сил земли и атмосферы; чем безобразнее земледельческие орудия, чем допотопнее системы хозяйства, тем хуже родится хлеб и тем чаще происходят неурожаи. Моровая язва и разные другие повальные болезни идут обыкновенно вслед за голодом и разражаются с особенною силою в военных лагерях или в городах[54], в которых чистый воздух составляет роскошь, доступную только для самого ограниченного меньшинства. Известно, что холера, лихорадки, тифы появляются сначала в самых бедных и грязных кварталах, а потом из лачуг переходят в роскошные отели, напоминая обитателям последних, что в лачугах прозябают и дышат животные совершенно одинаковой с ними организации и что когда забыта всякая солидарность между различными частями большой человеческой семьи, тогда общие болезни образуют между ними единственную и в то же время неразрывно-крепкую связь. Известно, что голод и язва постоянно работают на Востоке, где массы подавлены нищетою и рабством; известно, что англичане своим управлением производят в Ост-Индии голод и повальные болезни, которые не были известны тамошним жителям до тех пор, пока Ост-Индская компания не приняла на себя человеколюбивый труд обирать индуса до последней нитки и называть это обирание распространением европейской цивилизации между грубыми варварами. Все это — во-первых. А *во-вторых,* надо взять в расчет, что если над богатым и образованным народом стрясется такая беда, которую нельзя отвратить никакими предосторожностями, то богатство, образованность и вытекающая из них неутомимая деятельность дают народу возможность перенести это бедствие без больших потерь и потом с изумительною быстротою исправить понесенные убытки. Случилось, по-

ложим, землетрясение или наводнение; тотчас появляются со всех сторон вспомоществования и пожертвования; но они даже и не нужны, потому что все погибшие здания были застрахованы; кто из жителей разорился, тот может найти себе работу, и находит ее в промышленной стране несравненно легче, чем мог бы сделать это в таком месте, где царствует невозмутимый застой.

Все это отступление от главного предмета клонилось к тому, чтобы показать, что отношения человека к явлениям природы подчинены тем отношениям, которые установились в течение веков между человеком и человеком. Можно сказать без преувеличения, что счастье человека зависит *исключительно* от особенностей его общественной жизни. Когда каждый человек будет относиться к каждому другому человеку совершенно разумно, тогда из этих разумных отношений выработается такая сила, которая победит навсегда всякие враждебные влияния природы. В подтверждение этой мысли достаточно будет привести один крупный пример. Сравните южные части Европы с северными, и вы увидите, на какой стороне находится перевес в деле народного благосостояния. Народ счастливее на Скандинавском полуострове, чем на Пиренейском; счастливее в Дании, чем в Италии; в Англии, чем в Турции; и именно во столько раз счастливее в первых странах, чем во вторых, во сколько раз климатические условия благоприятнее во вторых, чем в первых.

Окончательный вывод наш, парадоксальный по своей форме, будет тот, что не природа, а история производит неурожаи, пожары и повальные болезни. Этот вывод уже прямо относится к нашему главному предмету. Во Франции в 1788 году был неурожай, и последствия этого неурожая во многих отношениях содействовали усилению революции. Для нас вовсе не интересно то обстоятельство, что солнечные и дождливые дни следовали в этом году одни за другими в том или в другом порядке; но для нас уже интересно и важно то, что неблагоприятная погода испортила жатву на значительном пространстве французской территории. Для нас еще важнее и еще интереснее то, что одна испорченная жатва произвела во Франции сильные народные страдания и такие волнения, которые заняли свое место в истории. Конечно, все прежние правители Франции своими совокупными усилиями не могли навлечь на свою родину градовую тучу или отклонить от ее засыхающих полей благотворное дождевое об-

лако; однако не подлежит сомнению, что самый климат страны может быть испорчен, например, нерасчетливым вырубанием лесов,— или улучшен, например, осушкою болот. Если прежние правители Франции, по незнанию или по небрежности, упускали из виду леса и болота, то даже в деле погоды эти прежние правители являются виновниками позднейших бедствий.

Если мы перейдем к вопросу о том, почему люди подействовали разрушительно на жатву, то тут участие прежних правительств в бедствиях настоящей эпохи сделается еще ощутительнее; если бы поля были вспаханы глубже, если бы они были орошены каналами, если бы между нивами были рассажены расчетливым образом деревья, то влияние засухи было бы ослаблено в значительной степени. А почему земля была дурно вспахана, почему не было каналов, почему не было аллей? Да потому, что у крестьян не было ни хороших орудий, ни рациональных познаний; а этого не было потому, что народ вообще был беден до последней степени и задавлен самым глубоким невежеством. А почему одна испорченная жатва производила в тогдашней Франции голод, опасный для самой жизни целых миллионов людей? Очевидно, потому, что народ жил почти так, как живут теперь остяки, не оставляя ничего про запас, съедая в один год все, что не отнято из их рук сборщиками податей и господских повинностей, и находясь, таким образом, постоянно в безусловной зависимости от ежегодных щедрот земли и благоприятной погоды. А если земля ничего не дает и если погода окажется неблагоприятною, тогда делать нечего — хоть с голоду умирай.

Таким образом, миллионы французского народа до минуты собирания жатвы находились каждый год в положении игрока, поставившего на карту свою жизнь и жизнь своего семейства и обязавшегося в случае проигрыша уморить голодною смертью себя и своих домашних. В случае же выигрыша счастливому игроку дается отсрочка, и ему позволяется быть уверенным, что он не умрет с голода раньше будущего года. Этою годовою отсрочкою исчерпываются все счастливые шансы, которые мог извлечь французский крестьянин-пролетарий из блистательнейшего выигрыша. И каждый год возобновляется та же игра, с теми же приятными шансами. Хочешь не хочешь, а играй, пока тебя таскают ноги и пока действуют у тебя руки.

Я говорил в одной из предыдущих глав об ажиотаже, проникнувшем в народные массы вследствие выпуска мелких ассигнаций, постоянно колебавшихся в своем курсе. Я выставлял вредные последствия этого ажиотажа, но спрашивается, какой же ажиотаж, по своему потрясающему действию на человеческие нервы и по своему вредному влиянию на общественную нравственность, может сравниться, хотя в самой отдаленной степени, с этою колоссальною и вечною игрою, составлявшею собою всю жизнь огромного большинства французских крестьян? Эта колоссальная и вечная игра выдумана и привита к жизни французского народа старою монархиею. В эту игру входят самые разнообразные ингредиенты: тут занимает первое место громкая слава французского оружия; тут бросается в глаза блеск французского двора; тут сияют великолепные любезности (galanteries) Франциска I, Людовика XIV и Людовика XV; тут ласкают зрение парки, дворцы и фонтаны разных королевских резиденций; тут мы с глубоким уважением преклоняемся перед картинными галереями и мраморными статуями, свидетельствующими о просвещенном вкусе и о весьма понятной щедрости прежних правителей; тут придворные поэты, придворные костюмы, придворные лакеи, придворные шуты и придворные животные; тут рябит в глазах от золота и пестроты; тут, одним словом, собрано все, что довело государственные финансы Франции до неотразимой катастрофы; тут все, что в продолжение тысячелетия увлекало в свой широкий и глубокий поток трудовые копейки всякой негодной и оборванной сволочи; и это все — этот блеск, этот поток, эта причина финансовой катастрофы,— лишив земледельца всякой собственности, уничтожило наконец самую возможность труда и засушило, таким образом, последний источник, из которого простой человек мог извлекать себе средства к существованию.

Я говорю, что уничтожена была самая возможность труда, и говорю это потому, что труд и азартная игра — две вещи совершенно различные. Трудом может называться только тот процесс, в котором известному напряжению мускулов и нервов соответствуют известные, то есть точно определенные, результаты. Чем более это соответствие между напряжением и результатами подвержено колебаниям, тем сильнее самая сущность труда отравляется элементом риска. Мы видели, как силен был

элемент риска в жизни и ежедневной деятельности французского крестьянина прошлого столетия; поэтому нас не должно изумлять то выражение, что хозяйство старой монархии уничтожило для огромной массы французских граждан самую возможность труда. Крестьянин работает один год и сыт; работает другой год точно так же усердно и умирает с голода. На что же это похоже? Ведь это вот что значит: я ставлю одну карту — мне ее дают, я ставлю другую — ее бьют; а для того, чтобы не умереть с голода, мне необходимо, чтобы мне дали подряд пятьдесят или шестьдесят карт; сколько лет я проживу, столько карт; каждый год по карте. Спрашивается, труд ли это или игра? Спрашивается, кроме того: что составляет, при подобных условиях, нормальный уровень моего благосостояния? Для того чтобы я был постоянно сыт, мне необходим невозможный ряд постоянных удач. По теории вероятностей я могу только ожидать, что количество счастливых карт будет равняться количеству несчастных. Стало быть, один год я сыт, а другой год умираю с голода, потом опять сыт и опять голодаю; в среднем выводе оказывается, что я постоянно нахожусь впроголодь, потому что занимаюсь не трудом, а игрою.

Мы встречаем в числе многих других элементов, вошедших в состав французского революционного движения, дороговизну хлеба, произведенную неурожаем 1788 года. Встречаясь с этим фактом, мы сначала можем подумать, что революция произведена отчасти средневековым прошедшим, а отчасти неодушевленными силами природы. Мы можем отнести голод и дороговизну к такому порядку фактов, который не имеет ничего общего с действиями и ошибками людей. Но все это мы сделаем только сначала. Вглядевшись внимательно в причинную связь событий, мы тотчас сообразим, что рабская зависимость сильного и даровитого народа от перемен погоды составляет, быть может, самое замечательное проявление той беспомощности и искусственной хилости, до которой этот народ был доведен блестящими подвигами своих предводителей. «Quand un français a la colique, il dit que c'est la faute du gouvernement (Когда у француза болит живот, он говорит, что в этом виновато правительство)» — этими словами сами французы превосходно характеризуют свою привычку сваливать на правительство всякую заботу и упрекать правительство за все несовершенства жизни. Эта привычка сама по себе вовсе не полезна, но она неда-

ром укоренилась во французском народе; она составляет неизбежный вывод из бесконечно-длинного ряда пережитых опытов; правительство старой монархии особенно сильно содействовало развитию этой привычки; мешая всякой инициативе, путаясь во все, извлекая деньги из всех возможных и невозможных источников, не делая на эти деньги ничего полезного для общества, правительство старых королей должно было нести ужасную ответственность за все зло, которое совершалось на французской территории, и за все препятствия, которые, сознательно или бессознательно, подавляли возникновение и развитие всякого добра. Когда у французского мужика в прошлом столетии болел живот от древесной коры и от разных других изящных веществ, исправляющих должность муки, тогда этот француз имел полное основание сказать, что «в этом виновато правительство». *Ancien régime*[55], державшийся по милости этих правительств в продолжение многих столетий, испортил во Франции все, начиная от народной логики и кончая народными желудками, начиная от государственных финансов и кончая погодою, начиная от междучеловеческих отношений и кончая формою костюмов. Все было перековеркано историею, и все результаты этого хронического коверканья обрушились на людей старой монархии тогда, когда им пришлось сводить счеты за себя и за своих великолепных предшественников. Природа тут ни при чем. Неурожай, голод, волнение — все это произведено не природою, а историею. Везде и на всем лежала во Франции мертвящая рука старой монархии; нет того климата, которого бы она не испортила, нет той почвы, которой бы она не истощила.

XVII

Неурожай 1788 года произвел дороговизну хлеба во время 1789 года; различные провинциальные и городские управления, заботясь о продовольствии своих жителей, перебивали друг у друга существующие запасы и своим соперничеством еще более поднимали цены, которые и без того были очень высоки. Эти торговые операции городских и провинциальных управлений были вызваны необходимостью и, конечно, не заключали в себе ни малейшего лукавого умысла; но народ страдал; его тревожили разные зловещие слухи, ему было неудобно и невозмож-

но рассуждать благоразумно и спокойно о причинах дороговизны; он знал, что ему в прошедшем делали много зла аристократы и купцы; понятие об этих двух классах людей, присвоивавших себе силою или хитростью продукты его труда, тесно связывалось в его уме с ощущением боли; народу было больно; значит,— рассуждал народ,— тут действуют купцы и аристократы; не трудно было найти, как они действуют. Аристократы,— думал народ,— скупают хлеб из злости, чтобы отомстить мужикам за низвержение феодализма, а купцы делают то же самое из корыстолюбия, чтобы набить себе карманы, пользуясь народным бедствием. А правительство слабо, правительство этого не знает, правительство обмануто врагами народа.

Ряд подобных рассуждений, вытекающих прямо и непосредственно из чувства страдания, должен был неизбежно привести к тому практическому выводу, что народу следует самому взяться за свое дело, самому расправиться с своими обидчиками, самому прекратить гнетущую дороговизну. Примеры народной расправы встречаются в это время везде, где только встревоженному народу попадается подозрительное лицо, а кого именно народ считал подозрительным, это было так же трудно определить, как и то, кого именно он считал неподозрительным. Народ действовал по вдохновению, и порывы этого вдохновения были всегда довольно разрушительны и часто попадали туда, куда им совсем не резон было попадать. Случалось нередко, что какой-нибудь несчастный агент городского или провинциального ведомства, отправленный своим начальством для закупки хлеба, попадался в руки вдохновенной толпы патриотов, которые, не выслушивая никаких оправданий, вешали усердного чиновника как злонамеренного барышника, производящего искусственную дороговизну хлеба. Всякий хлебный торговец находился в постоянной опасности, всякий булочник мог ежеминутно ожидать, что лавка его будет разграблена голодным народом; в городах местное начальство принимало свои меры для того, чтобы хлеб постоянно оставался доступным по своей цене беднейшему классу жителей; но в деревнях дороговизна была так обременительна, что толпы крестьян с оружием в руках предпринимали нашествие на соседние города, грабили амбары и булочные, сталкивались с отрядами национальной гвардии и нередко побеждали блюстителей порядка и защитников собственности.

Летом 1790 года эти крестьянские волнения стали принимать очень серьезные размеры. Те провинции, которые в прошлом, 1789 году отличались особенною яростью в восстании против дворянских прав, отпраздновали годовщину этого первого восстания новым движением, направленным сначала против дороговизны хлеба, а потом против привилегий богатства вообще. Центральные провинции королевства: Бурбонне, Берри, Ниверне, Шароле покрылись вооруженными толпами сельских пролетариев, которых требования стали делаться обширнее и настоятельнее по мере того, как они сами стали чувствовать свою силу и свою многочисленность. Сначала поднявшиеся крестьяне требовали от правительства, чтобы оно установило таксу на хлеб и прекратило действием своей власти преступные проделки аристократов и барышников, скупающих хлеб и производящих искусственный голод; это требование было совершенно неисполнимо, потому что преступные проделки существовали только в воображении народа; но на этом дело не остановилось. Крестьяне взяли приступом город Десиз и потребовали себе общего понижения арендной платы; вслед за тем явилась идея, что арендную плату можно совершенно отменить; пролетарии захотели сделаться собственниками, и по волнующимся провинциям пробежала с изумительною быстротою мысль об поземельном законе, то есть о таком разделе полей, при котором уничтожились бы как сельский пролетариат, так и колоссальная поземельная собственность.

Аграрный закон составляет краеугольный камень всякой коммунистической системы; это любимый конек всех коммунистов со времен Ликурга, а пожалуй, и раньше. Каждый раз, когда в течение веков произносились серьезно эти два слова: «аграрный закон»,— они делались сигналом самой неумолимой борьбы между достаточными гражданами и оборванною сволочью, между правами собственности и посягательствами коммунизма, между практикою и заразительною утопиею. До сих пор победа постоянно оставалась на стороне исторического права; так точно случилось и в 1790 году. В Национальном собрании партия коммунистов почти не существовала: напротив того, собственники пользовались в нем всесильным влиянием; поэтому тенденции сельских пролетариев произвели в собрании величайший ужас и возбудили против себя сильнейшее отвращение. Решено было всякие подобные

тенденции подавлять вооруженною силою и всякую мысль об аграрном законе считать возмутительным преступлением. Национальная гвардия с удвоенною энергиею стала действовать против самородных коммунистов, и к зиме 1790 года движение пролетариев против собственности совершенно утратило свой грозный характер и опять раздробилось на разъединенные и отрывочные акты народной расправы с амбарами, булочными и так называемыми барышниками. Но всякий раз как собрание начинало рассуждать о необходимости строгих мер,— адвокат Робеспьер из Арраса вставал с своего места, отправлялся на трибуну и начинал говорить; красноречие этого оратора не поражало слушателей; тема его речей в подобных случаях была постоянно одна и та же; но именно это однообразие составляло силу этого человека и постепенно, неизгладимыми чертами, врезывало его образ и весь строй его идей в ум тех слушателей, которые толпились на галереях. Робеспьер постоянно говорил о страданиях народа, постоянно выводил из этих страданий все беспорядки и постоянно, всеми силами, сопротивлялся приложению строгих мер. Ему редко удавалось доставить своему мнению победу в собрании, но народ твердо помнил имя, наружность и идеи своего неутомимого защитника. В собрании Робеспьер оставался дюжинным оратором, но в Париже и во Франции он был уже сильным человеком. В характере своих речей Робеспьер применялся к требованиям обстоятельств и к понятиям своих товарищей-депутатов, на которых он старался действовать; ни республиканских, ни коммунистических идей не встречалось в его рассуждениях; единственным основным мотивом, из которого выводились все вариации, было для Робеспьера уважение к народу, сочувствие к его страданиям, стремление возвысить его благосостояние кроткими и гуманными распоряжениями. Такие тенденции не могли никого озадачить в Национальном собрании, а между тем, когда другие депутаты говорили о необузданном своеволии крестьян, о их жестокой дикости и необходимости действовать против них штыками национальной гвардии, тогда практическое различие между речами Робеспьера и произведениями других ораторов обозначалось очень явственно, и народ в Париже и в департаментах, вероятно по известной уже нам простоте своей, находил, что один Робеспьер говорит настоящее дело.

Другой любимец французского пролетариата, Марат, не умел или не хотел держаться осторожной и выжидательной политики Робеспьера; пренебрегая всякими приличиями, отбрасывая в сторону всякую дипломатическую мягкость выражений, Марат неутомимо проповедовал в своей газете «Ami du peuple»[56] истребительную войну неимущих граждан против аристократов, против купцов, против богачей, против собственников, против национальной гвардии, против Учредительного собрания, против всех и против всего, кто и что отделяло пролетариев от верховной власти в государстве и от полного наслаждения благами жизни. Марат не смущался даже тою мыслью, что пролетарии, быть может, не останутся победителями в этой борьбе со всеми властями и высшими классами общества; Марат не хотел и не мог сообразить, что на стороне высших классов находится в данную минуту несомненный перевес вооружения и организации; он не хотел понять, что собственник будет сражаться за свою собственность с мужеством отчаяния.

Был ли Марат в полном уме или страдал он расстройством мозга, это такой вопрос, который может быть очень интересен для специалиста по части душевных болезней; я замечу только, что его пламенный протест неотразимо увлекал толпу. Масса пошла за людьми, подобными Марату и Робеспьеру; прежние кумиры: Бальи, Лафайет, Мирабо — стали казаться массе изменниками и врагами; те классы общества, которые группировались вокруг этих бывших кумиров, стали также считаться притеснителями народа и прямыми преемниками уничтоженных аристократов. Между буржуазиею и низшими слоями народа произошел окончательный разрыв, который продолжается до сих пор и которого последствия еще не исчерпаны событиями нашей эпохи. Этот разрыв обнаружился в самом Париже тотчас после победы третьего сословия, после взятия Бастилии и после сформирования национальной гвардии. Буржуазия хотела водворить порядок, а народ хотел продолжить беспорядки; буржуазия хотела охранять собственность, а народ, которому нечего более охранять, хотел завоевать собственность; на стороне буржуазии находились все кроткие добродетели человека и гражданина; на стороне народа — все буйные пороки голодной собаки и отверженного каторжника. Все это прекрасно! Честь и слава буржуазии, штыки и позор народу! Но именно потому, что буржуазия сияла красотою и честностью, а народ поражал зрение безобразием и гнусно-

стью,— и именно потому, между народом и буржуазиею не могло быть ни союза, ни примирения. Борьба между ними была так же неизбежна, как борьба между светом и тьмою, между Ормуздом и Ариманом[57] Парижане давно поняли это, но провинциалы, которым всегда суждено получать и носить парижские моды годом позднее, сообразили это обстоятельство только во время крестьянских волнений 1790 года.

Тут действительно мудрено было не сообразить. Единственная вооруженная сила, которую встречали сельские пролетарии, называлась национальною гвардиею и состояла из горожан, обязавшихся защищать конституцию и охранять тишину и спокойствие. При каждой встрече национальной гвардии с крестьянами штык национального гвардейца попадал крестьянину либо в живот, либо в грудь, и так как эти опыты в течение лета 1790 года производились во многих местностях Франции чуть ли не каждый день, то самая упорная вера в единодушие французской нации должна была наконец поколебаться, совершенно независимо от декламации демократических ораторов и от газетных статей демократических журналов. Каждая старуха и каждый ребенок увидели и поняли наконец, что люди, хорошо одетые и хорошо вооруженные, враждуют с оборванною сволочью, вооруженною разным дрекольем; и враждуют эти две партии не в одном месте и не при каком-нибудь отдельном случае, а враждуют везде и при каждой встрече; стало быть, одни хотят так, а другие совсем иначе; чтобы дойти до такого заключения, надо было только видеть и слышать то, что делалось в каждом городке и в каждом селении тогдашней Франции; можно было не слыхать ни одной речи Робеспьера и не читать ни одной статьи Марата, и все-таки понимать, что буржуазия и пролетариат не ладят между собою и что примирение между ними совершенно не в порядке вещей. Проявление этого решительного разлада между приличными гражданами, с одной, и людьми без панталон, с другой стороны, составляет самый важный и, может быть, единственный важный результат крестьянских волнений 1790 года. Аграрный закон, конечно, остался неосуществленною мечтою сельских пролетариев, но зато ненависть к буржуазии, таившаяся до сих пор в парижских предместьях, разлилась по всем департаментам и просочилась в самый темный и грубый класс пассивных граждан. Эта ненависть положила широкое основание будущему господству санкюлотизма.

XVIII

Продажа церковных имуществ, которая, по соображениям добродушных законодателей, должна была уничтожить пролетариат и осчастливить бывших пролетариев, начала обнаруживать свое влияние в конце 1790 и в начале 1791 года. Продажею заведовали местные муниципалитеты, которым предоставлена была за хлопоты шестнадцатая доля выручки; продавать велено было мелкими кусками; формальная сторона делопроизводства была упрощена до последней возможности; задатки были назначены самые умеренные, остальная часть суммы рассрочивалась на долгие сроки; уплата принималась не только звонкою монетою и ассигнациями, но и разными другими государственными бумагами. Словом, были приняты все меры для того, чтобы привлечь покупателей и сделать приобретение земель доступным для простых и бедных людей. Покупателей действительно явилось очень много, так что в конце сентября 1791 года ценность проданных имуществ доходила уже до 964 миллионов. Общий результат был утешителен, и подробности отличались также самою приятною наружностью, потому что покупателями являлись большею частью крестьяне, которые, приобретая себе недвижимую собственность, навсегда должны были расстаться с гибельными тенденциями, свойственными пролетарию и самородному коммунисту. Так, по крайней мере, можно было думать. Но здесь случилось то, что случается почти везде и почти всегда. Вся выгода операции досталась не государству и не трудящемуся классу граждан, а разным крупным и мелким аферистам и спекулянтам. Спекулировать в тогдашней Франции было, конечно, все равно, что курить сигару, сидя на раскрытой бочке пороха; взрыв народных страстей мог ежеминутно разнести вдребезги всякую спекуляцию и стереть в порошок самого спекулянта; каждая спекуляция могла показаться подозрительною какой-нибудь группе патриотов, и тогда никто не мог бы поручиться за безопасность предприимчивого гражданина; но так как неразборчивый гнев патриотов поражал одинаково часто и одинаково сильно и честных людей и бессовестных мошенников, то для человека, любящего пускаться в рискованные и не совсем чистые предприятия, не было побудительных причин обуздывать свои размашистые наклонности. А если оставить в стороне опасность, которая, впрочем, была

одинаково сильна для спекуляторов и для неспекуляторов, то, конечно, придется сознаться, что тогдашняя Франция представляла необъятно широкий простор для самых разнообразных проявлений финансовой гениальности со стороны отдельных граждан. Политическое и социальное брожение, колеблющийся курс ассигнаций, продажа огромной массы имуществ, неопытность огромного количества крестьян, стремившихся к быстрому обогащению, бессилие судебной власти, равнодушие общественного мнения к гражданским и коммерческим процессам и вообще ко всему, что не входило в сферу животрепещущих политических вопросов,— все это, вместе со многими другими местными и временными условиями, создавало в тогдашней Франции такой океан мутной воды, в котором каждый опытный и смелый рыбак мог наловить себе пропасть крупной и мелкой рыбы. Продажа церковных имуществ подала повод к устройству очень простого рыболовного снаряда, который, несмотря на свою простоту, действовал в этих департаментах с самым блистательным успехом.

Рыбак, или, иначе, спекулятор, давал подставному лицу из крестьян небольшую сумму денег; подставное лицо это являлось на торги, покупало на свое имя участок земли и отдавало врученную ему сумму в задаток; тогда спекулятор в купленном имении начинал хозяйничать по-своему; лес вырубался, строения продавались на слом, и вообще из имения выжималось на скорую руку возможно большее количество денег; данный задаток, конечно, возвращался в карман спекулятора с тройною или четверною прибылью; затем никто не думал о том, чтобы вносить в положенные сроки остальные доли покупной суммы; когда все сроки были таким образом пропущены, тогда муниципалитеты, конечно, объявляли продажу недействительною и отбирали имения у несостоятельных покупателей, но в это время дело уже было сделано, и пойманная рыба находилась в полной сохранности. Государство получало обратно только то, что спекулятор не мог унести в своем бумажнике; прежнее число гектаров оставалось на месте, но в каком положении были эти гектары, об этом уже лучше было и не спрашивать; имение было превращено в пустыню и едва стоило половины прежней своей цены; ответственным лицом за произведенное опустошение оказывался безграмотный и нищий крестьянин, с которого нечего было взять, а настоящий

рыболов со всею собранною добычею был в то время уже далеко и прилагал свои капиталы и свое искусство к какому-нибудь другому общеполезному предприятию.

Кроме таких подвигов чистого мошенничества, во время продажи церковных имуществ совершались многие другие спекуляции, гораздо более невинные, возникавшие единственно потому, что финансовая предприимчивость носилась в воздухе эпохи. Обильный повод к разнообразнейшим биржевым фокусам и проделкам подавали ассигнации, которые правительство обязалось принимать в уплату за продаваемые имущества, наравне с звонкою монетою. Тогдашние ассигнации, как известно, не имели обязательного курса; их принимало по нарицательной цене только правительство, связанное своими обещаниями; при всех сделках между частными людьми ассигнации всегда стояли ниже звонкой монеты, и курс их колебался, сообразно с биржевыми известиями и смотря по общей физиономии политических обстоятельств. При каждом новом выпуске ассигнации падали в цене; такое же понижение происходило при каждом слухе о войне, о реакции, о грозных замыслах эмигрантов и вообще при каждом верном или выдуманном известии о таком событии, которое, угрожая всему делу революции, могло превратить все ассигнации революционного правительства в негодные и бессмысленные лоскутки бумаги. Каждое чувствительное понижение в курсе ассигнаций было жестоким и разорительным ударом для государственного казначейства; при каждом таком положении оно теряло миллионы; вознаградить эту потерю можно было только новым выпуском ассигнаций, а новый выпуск неизбежно вел за собою новое понижение, новую потерю, опять новый выпуск, и т. д. до бесконечности, вроде того, как в периодической дроби первая цифра периода неизбежно ведет за собою все остальные.

Искренним друзьям революции следовало желать, чтобы ассигнации возвышались в цене и сравнялись бы наконец с звонкою монетою, потому что только при этом условии могли поправиться государственные финансы, составляющие важнейшую опору возникшего общественного здания. Но после продажи церковных имуществ оказалось, что у многих искренних друзей революции частный экономический интерес совершенно расходится с общим политическим и что, при этом разладе между интересами, близорукое стремление к личной выгоде одерживает

решительный перевес над дальновидною политическою тенденциею. Покупатели церковных имуществ, из чувства личного самосохранения, должны были всеми силами защитить дело революции, потому что всякая реакция непременно восстановила бы старое устройство церкви, отобрала бы назад все проданные поместья и, быть может, уничтожая совершившуюся продажу, не возвратила бы даже покупателям заплаченных денег на том основании, что покупать церковные земли свойственно только нечестивым негодяям, которые должны быть наказаны за свою революционную безнравственность. Это вероятие не было упущено из вида покупателями, которые вообще ожидали от всякой реакции еще гораздо больше ужасов и нелепостей, чем сколько она могла натворить в действительности. Таким образом, не только все симпатии покупателей были на стороне революции, но даже и правильное понимание собственных выгод обязывало их поддерживать горячо и добросовестно общее дело всего французского народа. Они были искренними друзьями революции, но, подобно многим искренним друзьям, они при случае, по простоте или по практической сметливости, были вовсе не прочь попользоваться на счет возлюбленного друга и с большим удовольствием наносили громадные убытки государственным финансам, чтобы увеличить свое частное благосостояние копеечною поживою. Так как правительство принимало в уплату ассигнации по нарицательной цене, то покупателю имуществ было очень выгодно, чтобы ассигнации понижались; при понижении курса покупатель имуществ мог приобрести ассигнации дешево, отдать их правительству не по своей цене, а по нарицательной, получить, таким образом, приличный барыш и оставить за собой имение за половинную цену. Но покупателей было очень много; желания их все клонились к тому, чтобы понизить курс ассигнаций; в числе покупателей были такие ловкие люди, которые, не ограничиваясь одними желаниями, умели и старались действовать в этом направлении; усилия одних и желания других оказывали чувствительное давление на общественное мнение, и ассигнации падали, и казначейство теряло миллионы, и тревога распространялась в обществе, и биржевая игра окончательно сбивала с толку все население французского королевства, начиная от банкира, властвующего на бирже, и кончая сельским пролетарием, для ко-

торого удачная спекуляция воплощалась в лишней луковице, прибавленной к обеду.

При таком положении дел продажа церковных имуществ не могла принести чувствительной пользы классу безземельных крестьян. Эти люди, привыкшие смотреть на поземельную собственность как на магический талисман, открывающий доступ ко всем благам и наслаждениям жизни, стали напрягать все усилия, чтобы приобрести себе при продаже уголок земли. Уступая их пламенным желаниям, муниципалитеты крошили поместья на мельчайшие участки и делали это тем охотнее, что такая мелочная продажа давала в общей сумме самые значительные выгоды, далеко превышающие тот результат, которого можно было бы ожидать от продажи гуртом. Крестьяне были также в восторге и, стремясь к великому званию собственников, обирали себя до последней нитки, чтобы внести требуемый задаток. А потом? Потом крестьянин оказывался сам-друг с землею, без орудий, без рабочего скота, без денег и даже иногда без хозяйственных построек, потому что муниципалитеты крошили участки без милосердия и в одни руки продавали усадьбу с огородом, а в другие — кусок полевой земли. Могло ли из всего этого произойти в ближайшем будущем какое-нибудь действительное улучшение в материальном благосостоянии французских поселян? Не обладая особою дальновидностью, можно было предвидеть и предсказать заранее, что пролетарии, ухлопавшие свою последнюю копейку на уплату задатка, не получат от своей возлюбленной собственности никакого удовольствия и ни за что не приобретут в ближайшем будущем тех утонченных инстинктов консерватизма, которыми кроткий собственник отличается от буйного коммуниста.

Надежды Национального собрания на продажу церковных имуществ как на средство поправить финансы и умиротворить безземельных крестьян не осуществились; желание остановить революционное движение оказалось неисполнимым; стремление успокоить народ и утвердить на прочных основаниях господство буржуазного либерализма находилось в явном противоречии с материальным положением и с умственным настроением народных масс. Единственную силу буржуазной политики составляли штыки национальной гвардии и речи ораторов, говоривших в Национальном собрании. Речи были убедительны, а штыки были еще убедительнее; но,

с одной стороны, у эмигрантов и у католиков, а с другой стороны, у якобинцев и у пролетариев не было тоже недостатка ни в речах, ни в оружии. Если мы вспомним, что перевес числа и отчаянной энергии был на стороне пролетариата, то нам не трудно будет сообразить, кому из трех партий принадлежало ближайшее будущее.

XIX

Со времени взятия Бастилии городское управление Парижа находилось в руках революционных властей, установившихся в день восстания; положительный закон о городском управлении состоялся летом 1790 года, и обсуждение этого закона в Национальном собрании подало повод к горячим столкновениям между двумя главными лагерями политиков. Либералы из буржуазии хотели, чтобы исполнительная власть принадлежала мэру и его комитету, а законодательные распоряжения и контроль были разделены между большим и малым советом [58]. Чистым демократам это не понравилось: они хотели, чтобы собрания секций заседали постоянно, чтобы эти собрания обсуждали каждый день текущие вопросы и чтобы мэр приводил в исполнение приказания, отданные в секциях большинством голосов.

Нетрудно понять, какие последствия должны были выйти из такого устройства: в постоянных собраниях секций могли бы участвовать только те граждане, которые делали из текущей политики занятие всей своей жизни; кто имел хозяйство, свои торговые дела, свою промышленность, тот не мог просиживать в секциях целые дни и повторять эти заседания каждый день. Таким образом, предводителями и главными членами секционных собраний должны были сделаться самые заклятые агитаторы, для которых революция только что начиналась и которые считали изменником каждого гражданина, способного утомиться тревогами общественной деятельности. План чистых демократов не мог послужить основанием для прочного и постоянного устройства городского управления; было бы нелепо устроивать управление так, чтобы в нем не могли принимать участия полезные и трудящиеся граждане, которые по всем вопросам городского благосостояния были заинтересованы гораздо сильнее и были гораздо более компетентными судьями, чем политиче-

ские ораторы всевозможных цветов и оттенков. Демократы понимали это не хуже своих противников, и именно потому-то они и настаивали на применении своего плана, что видели его непрочность. Самое существенное различие между умеренными либералами и чистыми демократами заключалось в то время именно в том, что первые хотели *уже* строить и утверждать прочный порядок, а вторые хотели *еще* разрушать и покуда увеличивать беспорядок.

Смешно было бы предположить в чистых демократах беспричинную любовь к беспорядку ради самого беспорядка; они тоже хотели в будущем и спокойствия, и тишины, и личной безопасности, и порядка, но они думали, что все эти прекрасные вещи будут действительно прекрасны для всех французских граждан только тогда, когда не только государство, но и общество будет сначала разобрано по кусочкам, до самого основания, а потом опять сложено по совершенно новому рисунку. Трудно сказать, чтобы для кого-нибудь из тогдашних демократов этот новый рисунок был ясен во всех своих подробностях; они не знали хорошенько, к чему именно они придут, но они безгранично верили в народ и надеялись, что его живые силы выработают что-нибудь превосходное, если только силы эти будут взволнованы во всей своей глубине и если брожение, необходимое для этого народного творчества, будет постоянно поддерживаться в полном своем могуществе. Но если народ обнаруживал какие-нибудь консервативные наклонности или реставрационные стремления, тогда демократы смело противодействовали народу, говорили с полным убеждением, что он сбивается с дороги, и объясняли себе это заблуждение народа именно тем, что силы его еще не довольно глубоко взволнованы и что брожение начинает ослабевать вследствие преступных происков двора, аристократии, собрания, буржуазии, клерикалов или каких-нибудь других изменников и оскорбителей народной святыни. Значит, демократам в тогдашнее время надо было во всяком случае усиливать брожение и особенно всеми мерами противодействовать всякой попытке прочной организации.

Добиваясь постоянных собраний в парижских секциях, демократы, конечно, заботились не о том, чтобы произвести какие-нибудь улучшения в городском хозяйстве; им до городского хозяйства не было решительно никакого дела; они хотели только иметь в секционных собрани-

ях надежное орудие, которым, в случае надобности, можно было в несколько часов взволновать весь Париж, и, следовательно, произвести переворот в целой Франции. Предводители буржуазии хорошо понимали, к чему клонилось дело, и, разумеется, употребили все усилия, чтобы не дать демократам этого орудия и чтобы сделать всякий дальнейший переворот совершенно невозможным. За постоянные заседания секций стоял в Национальном собрании Робеспьер; в городе агитировал в том же направлении Дантон, пользовавшийся уже сильным влиянием в клубе кордельеров[59], в котором заседали самые крайние якобинцы. Марат, по своему обыкновению, рассыпал по этому поводу в своей газете проклятия и угрозы. Но и между демократами начали обнаруживаться несогласия. Бриссо, бывший в то время членом общинного совета и сделавшийся впоследствии одним из предводителей Жиронды, стал говорить и писать против постоянных заседаний секций. Это перессорило его с чистыми демократами, и с тех пор демократы решительно перестали считать его своим союзником. На этот раз буржуазия одержала полную победу, потому что в Национальном собрании демократическая партия была очень слаба, а в городе агитаторы еще не успели придать своим многочисленным последователям единство организации, необходимое для успеха насильственного переворота. Городское управление было расположено по плану либералов*, и постоянные заседания в секциях были устранены. Выборы городских властей также доставили полное торжество либералам: Бальи был снова выбран мэром, а Лафайет — начальником национальной гвардии; но популярность того и другого клонилась к упадку по мере того, как низшие классы столичного населения отделялись от буржуазии и начинали смотреть с недоверием и ненавистью на красивые мундиры и блестящие штыки национальных гвардейцев.

В Париже движение народных умов против богатства и собственности было чрезвычайно сильно, так что окончательный разрыв между национальною гвардиею и пролетариатом был неизбежен и недалек. На это было много

* Слово л и б е р а л в конце прошлого столетия не было употребительно, но я позволю себе называть таким образом политиков буржуазии, чтобы отличать их от якобинцев, кордельеров и других предводителей пролетариата, которых я буду называть д е м о к р а т а м и.

местных причин. При старой монархии Париж, как местопребывание богатого и расточительного двора, кормил свое промышленное население почти исключительно тою работою, которую задавало ему удовлетворение разнообразнейших капризов и фантазий аристократической роскоши. Париж был переполнен такими ремесленниками, которые работали и могли работать только для богатых господ, потому что среднему сословию, и тем более простому народу, чудеса их технического искусства были, во-первых, недоступны по цене, а во-вторых, совершенно бесполезны. Когда аристократы потянулись за границу и когда капиталисты, напуганные уличным шумом, стали съеживаться, прятать деньги в иностранные банки и, во избежание греха, умерять свою обыденную роскошь, тогда тысячи рафинированных ремесленников остались без работы и тогда послышался в Париже плач и скрежет зубов, который не остался без влияния на дальнейший ход событий.

По здравой экономической теории следует, конечно, считать благодетельною такую перемену, которая насильно перебрасывает тысячи людей из бесполезных отраслей производства в полезные, но при этом надо помнить, что в действительной жизни никакие благодетельные перемены не обходятся даром и не совершаются в одно мгновение ока, без ломки, без борьбы и без индивидуальных страданий. Франция, несомненно, осталась бы в барышах, если бы все парикмахеры, украшавшие в течение многих десятков лет очаровательные головы графов и графинь, маркизов и маркиз, во все это время пахали бы землю или вырывали бы каналы для осущения болот или для орошения полей; но когда сотни парикмахеров остались без работы, тогда их довольно мудрено было повернуть к земледелию; прошу покорно приучить к сохе, и к заступу, и к тогдашней деревенской жизни такого артиста en cheveux[60], у которого были совершенно дворянские руки, совершенно утонченные манеры и совершенно эпикурейские привычки. Всякая аристократия, родовая или денежная, всегда создает вокруг себя и под собою очень многочисленный класс паразитов. К числу таких паразитов надо причислить не только приживальцев и нахлебников, не только лакеев, но и тех ремесленников, которые живут по милости барских прихотей,— и тех художников, которых произведения сбываются в барские гостиные и галереи,— и тех сочинителей стихов и прозы, которых чита-

ют, хвалят и кормят богатые и вельможные меценаты. Все эти люди, ценою самых незначительных усилий, добывают себе такие удобства жизни, которые навсегда остаются недоступными крестьянину и фабричному работнику. Все эти люди питаются подачками аристократов и в то же время обыкновенно ненавидят аристократию.

Старая французская аристократия в отношении к паразитам вела себя вполне исправно: во-первых, размножила их целые легионы, а во-вторых, всем им внушила к себе чувство глубочайшей ненависти. Вышло то, что паразиты с величайшим усердием и с невыразимым наслаждением стали рубить тот сук, на котором сами сидели; с самого начала революции паразиты постоянно составляли главную силу уличной армии, следовавшей за агитаторами; парикмахеры участвовали во всех волнениях; да и, наконец, нам незачем называть отдельные профессии, потому что бóльшая часть тогдашних парижских ремесленников в большей или меньшей степени могут быть отнесены к разряду паразитов. Когда сук, над которым трудились паразиты, упал под их ударами, тогда и сами паразиты, падая вместе с этим суком, потерпели при своем падении более или менее значительные ушибы.

Оставляя в стороне метафоры, я могу сказать, что бóльшая часть парижских ремесленников, после падения аристократии и после исчезновения прежней роскоши, осталась без работы, то есть без крова и без хлеба. В Париже вдруг оказались десятки тысяч нищих, о которых в прежнее время никто не имел понятия, потому что прежде революции они и не были нищими. Они питались грехами старой монархии; когда грехи эти исчезли, тогда для них прекратились источники продовольствия, и революции здесь, как и везде, пришлось расплачиваться за старые шалости, в которых она, революция, была совершенно неповинна. Начало революции оставило этих людей без хлеба: теперь им хотелось и им было необходимо продолжать революцию, чтобы так или иначе добыть себе и хлеба, и денег, и власти, и всяких других удовольствий, которых жаждет натура всякого человека вообще и впечатлительного француза в особенности. Отказаться от продолжения революции эти обнищавшие паразиты не хотели и не могли ни под каким видом; но так как каждый намек о продолжении революции для властвующей и богатой буржуазии был личным оскорблением и прямою угрозою, то городские власти и Национальное

собрание истощили все свое административное и законодательное искусство, чтобы сделать это неприятное продолжение невозможным и бесполезным.

В числе предохранительных мер, принимавшихся собранием и городскими властями, занимает особенно видное место кормление пролетариев, производившееся в самых обширных размерах. В общественных мастерских, заведенных единственно для того, чтобы под приличным предлогом давать пролетариям деньги на покупку хлеба, государство платило ежедневно каждому работнику по 20 су за какие-то земляные работы, в которых никто не нуждался. Число работников, посещавших эти мастерские, постоянно доходило до 12000, и понизить эту цифру не было никакой надежды, тем более что надзор за работами был чисто формальный и что пролетарию представлялась, таким образом, привлекательная возможность получать за совершенное бездействие высшую поденную плату тогдашнего французского работника. Хорошо еще, если бы бездействие пролетария было действительно прочно и надежно; за это бездействие правительство с удовольствием соглашалось платить ежедневно по 20 су на человека; но лукавый пролетарий на эту штуку не поддавался; сегодня он смиренно получал свою плату в общественной мастерской, а на другой день он, по установленному сигналу, выходил на улицу и кричал, и махал пикою, и делал всякое безобразие, и готов был чувствительнейшим образом огорчить то самое правительство, которое, на свою беду, кормило его даровым хлебом во время антрактов между отдельными сценами длинной революционной трагедии.

Пролетарий очень хорошо понимал, почему его так заботливо лелеет правительство; о благодарности с его стороны не было и речи; он принимал даровой хлеб за неимением лучшего и пользовался им только в ожидании тех будущих благ, которые должно было принести ему неизбежное продолжение начавшейся революции. А правительство между тем, кроме расходов на мастерские, тратило еще миллионы на огромные закупки зернового хлеба, который потом в виде муки продавался булочникам за половинную цену, для того чтобы парижане не гневались на дороговизну продовольствия. К концу 1790 года оказалось, что на закупки хлеба для Парижа истрачено 75 миллионов, а если вычислить все суммы, которые израсходовало государство для поддержания спокойствия

в столице в первые двадцать месяцев революции, то получится в итоге более 100 миллионов. Эти 100 миллионов были съедены, и взамен их не было произведено ничего, и даже спокойствие не было упрочено.

Громадность и бесполезность этих издержек объясняется преимущественно тем, что Париж был битком набит отставными паразитами, негодными ни на какую производительную работу. Верность этого объяснения сделается совершенно несомненною, как только мы взглянем на общее состояние французской промышленности в первые годы революции. Промышленность не только не находилась в застое, но она, напротив того, была приведена в состояние лихорадочного возбуждения. Это состояние не могло быть продолжительным и должно было повести за собою промышленный кризис, но пока оно продолжалось, до тех пор могли жаловаться на недостаток работы только парикмахеры и другие подобные им артисты, созданные барскими прихотями и неспособные к настоящему труду. Фабрики работали во всю силу на всей французской территории и едва успевали удовлетворять бесчисленным требованиям заказчиков; промышленные предприятия возникали сотнями, с изумительною быстротою; строения, машины, товары изготовлялись вновь и переходили из рук в руки; промышленная горячка находилась в полном развитии, и существование этой горячки объясняется тремя главными причинами.

Во-первых, благодаря выпускам ассигнаций рынок был переполнен денежными знаками, и притом такими знаками, к которым никто не чувствовал безусловного доверия. У кого было в руках много бумажных денег, тот старался как можно скорее спустить их с рук на какое-нибудь предприятие, чтобы не потерпеть убытка при понижении курса. Расчет был простой и верный. Дом, фабрика, партия товаров всегда сохраняют какую-нибудь ценность, а ассигнации сегодня могут быть денежными знаками, а завтра — простыми лоскутками бумаги. При таких условиях очень осторожные люди могли пускаться в довольно рискованные предприятия, от которых они, наверное, воздержались бы в обыкновенное время. Риск был, по крайней мере, одинаково велик в обоих случаях: если опасно было пустить капитал в предприятие, то оставить его в шкатулке было так же опасно; кроме того, самое рискованное предприятие все-таки в случае успеха давало

барыш, а уж ассигнации в самом счастливом случае не могли дать ничего, кроме медленного понижения.

Во-вторых, при торговых сношениях с чужими краями вексельный курс вследствие многих обстоятельств был в то время неблагоприятен для Франции. Если, например, француз был должен англичанину 30 фунтов стерлингов, то при переводе денег на Лондон французу приходилось платить в Париже не 740 франков, а 880. И наоборот, когда англичанину надо было заплатить своему парижскому кредитору 880 франков, то англичанин в Лондоне вынимал из своего бумажника 30 фунтов стерлингов, а не 34, как следовало бы по нарицательной цене, при равновесии вексельного курса. Вследствие этого, иностранным купцам выгодно было делать французским фабрикантам большие заказы, за которые им приходилось платить дешевле, чем они заплатили бы у себя дома. И заказов, действительно, делалось чрезвычайно много, так что фабриканты едва управлялись с ними, но, разумеется, такой прилив работы мог продолжаться только до тех пор, пока не будет восстановлено равновесие вексельного курса.

В-третьих, ночное заседание 4 августа 1789 года уничтожило цехи и освободило, таким образом, ремесленный труд. С этого дня каждый француз занимался, чем ему было угодно, не выпрашивая себе никакого позволения у замкнутых корпораций и не руководствуясь в процессе своей работы ничем, кроме своего личного вкуса и требований своих покупателей. Эта радикальная реформа в области ремесленного производства особенно сильно содействовала оживлению промышленности, и эта третья причина отличалась от двух первых в том отношении, что только от этой третьей причины можно было ожидать в будущем прочных и действительно благодетельных результатов. В марте 1791 года Национальное собрание закрепило дело 4 августа положительным законом, по которому каждому французу предоставлялось право заниматься любым ремеслом с тем единственным условием, чтобы он ежегодно платил государству определенную подать за патент.

По поводу этого закона Марат с горькою укоризною заметил в своей газете, что свободная конкуренция поведет за собою промышленную анархию, систематическое плутовство и всеобщее разорение. Предсказания эти не сбылись во всем своем объеме, потому что уничтожение цехов было, во всяком случае, значительным шагом впе-

ред, но темные стороны свободной конкуренции были действительно подмечены верно, и над устранением этих темных сторон до нашего времени безуспешно хлопочут многие передовые мыслители, которых идеи долго еще будут стоять выше казенного уровня общественного понимания. Свободная конкуренция вела за собою деспотическое господство капитала над трудом; это положение дел можно было назвать прогрессом, если сравнивать его с прежним господством привилегий и монополий, но участь работников все-таки осталась очень тяжелою. Началась бесконечная борьба между хозяевами и мастеровыми по вопросам о числе рабочих часов и о задельной плате. Работники скоро поняли, что, действуя врассыпную, они всегда будут терпеть поражения от капиталистов и никогда не выбьются из своей новой крепостной зависимости. Необходимость научила работников составлять общества и товарищества для улучшения своей участи. Прежде других составилось в Париже общество плотников, принявших название Общества обязанностей. Важнейшею из обязанностей, лежавших на этом обществе, была обязанность воздерживаться по взаимному согласию от работы, для того чтобы прекращением работ склонять хозяина или подрядчика к возвышению задельной платы. Таким образом, парижские плотники подчинили правильной организации те случайные и разрозненные явления, которые называются обыкновенно стачками рабочих и часто сопровождаются во всех промышленных государствах Европы сценами административного произвола и военного насилия. Примеру плотников последовали наборщики и печатники; число обществ увеличивалось; из Парижа они распространились по департаментам и завели между собою правильную переписку для того, чтобы в случае надобности поддержать друг друга и действовать с полным единодушием. Главная цель этих рабочих ассоциаций оставалась, однако, недостигнутою, потому что хозяева и подрядчики находили себе работников на стороне, из людей, не признававших обязанностей и соглашавшихся продавать свой труд за такую цену, которую общества решили не принимать. Тогда ассоциации попробовали действовать на этих индепендентов[61] сначала увещаниями, а потом угрозами; вероятно, дело дошло бы и до насилий, потому что членам ассоциаций было, разумеется, очень обидно видеть, как все их старания пропадают даром и как отдельные работники, изменяя интересам всего

своего сословия, доставляют победу капиталистам. Но тут вступилось Национальное собрание, которое никак не могло допустить, чтобы безнравственные работники прижимали бедных капиталистов; как только послышались со стороны рабочих ассоциаций первые угрозы против посторонних работников, ладивших с хозяевами, так законодатели тотчас воспользовались этими угрозами как превосходным оружием против самого принципа рабочих ассоциаций. 14 июня 1791 года Национальное собрание законом запретило всем работникам одного ремесла составлять между собою общества, заводить списки членов, устроивать кассы и вообще предпринимать какие бы то ни было попытки организации. Все это запрещалось на том основании, что подобные попытки клонятся к восстановлению уничтоженных цехов и к стеснению промышленной деятельности.

Здесь я еще раз попрошу читателя вспомнить то, что я говорил о «Декларации прав человека и гражданина». Большинство почтенных членов знаменитого Учредительного собрания, провозгласившего на всю Францию «les grands principes de 1789», было самым надежным образом застраховано против того разрушительного действия, которое добродушные немецкие историки стараются увидать в параграфах декларации. Великие законодатели Франции были прежде всего представителями дворянства, духовенства, и особенно, особенно — буржуазии. Обожая священные кошельки и бумажники этого последнего, кроткого и почтенного сословия, члены собрания готовы были совершать и действительно совершали во имя своих кумиров высокие и удивительные подвиги гражданской доблести и законодательного героизма. Они отдавали своих соотечественников в кабалу капиталистам и с полным жаром убеждения говорили об истинной свободе и о благоденствии великой французской нации. Виданное ли дело, чтобы такие титаны законодательной мудрости и ораторской диалектики когда-нибудь стали в тупик над каким-нибудь параграфом своего политического исповедания веры? Разве есть на белом свете хоть один такой параграф, через который титан не сможет перешагнуть,— которого диалектик не ухитрится обойти,— о котором разогорченный патриот не сумеет искусно забыть в минуту своего горестного волнения? К тому же параграфы декларации были написаны так давно, почти два года тому назад, и помещены во введении к той кон-

ституции, которая уже приближалась к своему окончанию.

Поставьте себя, мой читатель, на место французских законодателей. Неужели вы, дочитывая какую-нибудь книгу, помните от слова до слова первую страницу? Когда вы пишете длинную статью, вы, наверно, забываете под конец те обороты и даже те отдельные мысли, которые вы поместили в самом начале. Отчего же Национальному собранию было не забыть той первой страницы, которая возбудила во французском народе столько надежд и столько восторга? Национальное собрание забыло, и этот факт забвения послужил французскому народу полезным и необходимым уроком житейской мудрости. Такие уроки сильно подвигают вперед политическое воспитание неопытных наций. Французы в 1789 году вообразили себе, по своей политической незрелости, что они уже в самом деле *люди* и *граждане* и что у них в самом деле есть какие-то естественные и неотъемлемые права. Теперь им и показали, что неотъемлемым называется только такое право, которого нельзя отнять, а естественным считается только то, чего нельзя запретить законом. Французы, как народ незрелый, но догадливый рассудили тогда по-своему. Значит, подумали они, надо устроить так, чтобы нельзя было отнимать и запрещать. А если отнимает и запрещает Национальное собрание, то оно делается врагом нации, перестает существовать. Действительно, этот процесс мысли с каждым днем все глубже и глубже проникал в массы и обрывал последние нити, связывающие Национальное собрание и его возлюбленную буржуазию с огромным большинством французской нации, Законом 14 июня представители навлекли на себя ненависть всех производительных работников. Через два дня собрание приказало к 1 июля закрыть в Париже все общественные мастерские. Этим распоряжением оно привело в отчаяние всех бывших паразитов и всех вообще бесприютных пролетариев. Все эти меры превосходнейшим образом выполняли самые задушевные желания чистых демократов. Все, что инстинктивно или сознательно негодовало против политики буржуазного либерализма, все, что было раздражено и озлоблено законодательными подвигами собрания, сдвигалось в тесные и решительные группы, для которых бешеные выходки Марата казались простым и очень естественным выражением патриотических чувств, обязательных для каждого порядочного граждани-

на. Буржуазия довершала, таким образом, дело народного воспитания, начатое феодальными властями. Старый порядок вместе с аристократиею разорил и развратил французского пролетария. Буржуазия употребляла теперь все усилия, чтобы довести его до последней степени озлобления. Усилия буржуазии увенчались, в свою очередь, таким же блестящим успехом, какого достигли в свое время старания аристократии и феодальной власти. Пролетарий воспользовался всеми уроками и развернул все свои благоприобретенные качества и способности. Воспитатели его до сих пор не могут понять, что все это их собственная работа. Понять нетрудно, но иногда бывает расчетливо и выгодно не понимать и сваливать вину на людей посторонних. Виновные разысканы, историк удовлетворен, и читатель погружается в размышления о суете мирской премудрости.

XX

В апреле 1791 года умер Мирабо. Одним великим оратором на свете стало меньше. Блеск и красота заседаний Национального собрания поубавились. С эстетической точки зрения потеря была незаменима, и французы, всегда расположенные к эстетическим взглядам на вещи, вообразили себе, что они действительно осиротели. Но мировые события развиваются всегда из таких общих и великих причин, перед которыми совершенно стушевываются и исчезают не только отдельные личности, но даже эстетические взгляды целого народа. На дальнейшее развитие революции не подействовали ни смерть Мирабо, ни даже то обстоятельство, что тогдашние французы преувеличивали политическое значение этой крупной и эффектной личности. Смерть Мирабо, о котором горевала вся Франция, была утратою только для королевского семейства и произвела влияние только на расположение партий в Национальном собрании. Мирабо в последний год своей жизни играл трудную и неблагодарную роль: с одной стороны, он постоянно из расчета поддерживал свою популярность громовыми речами против различных остатков старины; с другой — он келейно употреблял все усилия, чтобы из этих самых остатков склеить прочную плотину, которая остановила бы дальнейшие завоевания революции. Он господствовал в Национальном собрании силою

своего красноречия, но ему плохо доверяли те самые люди, которые с восторгом слушали его речи; король и придворная партия также не вполне верили ему, потому что их пугали эти самые речи, служившие в это время ширмою для его настоящих намерений. Мирабо думал, что он сумеет совершенно приковать к своей личности любовь народа и что потом, когда он, Мирабо, прямо вступит в борьбу с чистою демократиею,— народ пойдет за ним против демократов. Смерть отняла у него возможность произвести этот опыт и избавила его, таким образом, от тяжелого разочарования. Впрочем, так как Мирабо не был ни фантазером, ни оптимистом, так как он умел смотреть на вещи трезвыми и непредубежденными глазами и так как, наконец, он вовсе не был способен действовать в важных и серьезных делах очертя голову,— то, по всей вероятности, он обнаруживал бы свои настоящие намерения только в том случае, когда можно было бы рассчитывать на успех. В ожидании этих благоприятных шансов и симптомов он, без сомнения, продолжал бы вести разом две политики, одну — напоказ народу, для поддержания популярности, составлявшей в то время во Франции единственную силу государственного человека; другую — в тайных совещаниях с приближенными короля, для спасения королевской власти и для утверждения такой конституции, в которой либеральная буржуазия видела и философский камень, и жизненный эликсир, и, пожалуй, даже perpetuum mobile. Эта двойственная политика для революции была бы безвредна, а королю могла бы принести много пользы; она, во всяком случае, не возвратила бы королю ни одного из потерянных прав, но она, по крайней мере, могла бы предохранить короля от всех бесплодных попыток, возбуждавших в народе подозрения и ненависть; она могла бы устранить множество политических ошибок и осторожно, шаг за шагом, свести Людовика XVI с того престола, с которого так грубо и безжалостно сбросило его совокупное действие революционных страстей и антиреволюционных интриг.

Мирабо мог бы быть очень полезным советником для Людовика XVI не потому, что он, Мирабо, успел бы осуществить свои намерения, а потому, что он умел бы всегда отличать возможное от невозможного и, следовательно, не впутывал бы короля в такие предприятия, которые компрометировали его, не представляя ни малейшей надежды на успех. Но все это было бы возможно только

в том случае, если бы Людовик был способен, во-первых, оценить умственное превосходство Мирабо и, во-вторых, подчинившись этому превосходству, держаться неуклонно той политической программы, которую предписывал ему великий оратор. К сожалению, у Людовика не было ни сильного ума, ни твердой воли; у него было только очень искреннее желание исполнить свои обязанности и уклониться от греховных поступков. Но люди в течение своей исторической жизни так отуманили себя искусственными понятиями и довели свою логику до такой изумительной гибкости, что в распознавании обязанности и грехов могут сбиться с толку и запутаться в противоречиях даже умы довольно сильные и самостоятельные. Людовик XVI, поставленный судьбою в самое исключительное положение и живший в такое время, в котором все трудности этого исключительного положения сделались неизмеримыми,— Людовик XVI, окруженный множеством советчиков, вечно блуждал в бесконечном хаосе неизвестных величин, по поводу которых одни голоса громко выговаривали слово «обязанность», между тем как другие голоса то отчаянным криком, то повелительным шепотом произносили слово «грех». Людовик XVI постоянно находился в трагическом положении гоголевского почтмейстера[62]; если один голос говорил: «не распечатывай», то другой непременно твердил: «распечатай», и притом ни один из этих двух голосов не был для Людовика голосом личного искушения, а оба выдавали себя за чистейшее выражение нравственного закона. И Людовик обыкновенно устраивал так, что обе стороны оставались им недовольны и укоряли его то за небрежное исполнение обязанности, то за совершение какого-нибудь греха. И Людовик недоумевал, и мучился, и еще более сбивался с толку. Он выслушивал всех своих советников и с каждым из них от души соглашался, но так как для действия надо было выбрать только какой-нибудь один план, то и выбирался обыкновенно самый последний по времени, то есть тот, который был всего свежее в уме короля.

Именно таким процессом мысли и воли объясняются поступки Людовика XVI в отношении к собранию государственных сословий, те поступки, которые повели за собою штурм Бастилии и которые могут быть названы первым шагом короля с престола к гильотине. Если бы так поступили Карл I Стюарт или Карл X французский, то тут не было бы ничего удивительного; оба они были

одарены широкими натурами, не способными ужиться с какими бы то ни было уступками. Но Людовик всегда с удовольствием подчинялся влиянию своих министров, всегда рад был оставлять им всю славу и всю ответственность управления и всегда самым добросовестным образом желал, чтобы подданные его устроили себе такое счастье, какого они сами желают или могут достигнуть[63]. И вдруг такой честный, мягкий и добродушный человек ни с того ни с сего затевает ссору с тем самым собранием, которое он созвал и которое именно ему самому совершенно необходимо. Этот человек вдруг начинает поступать совершенно противно собственным выгодам, собственному характеру и собственным желаниям. И все это происходит оттого, что его в эту минуту окружает со всех сторон аристократическая партия; ему жужжат, и кричат, и шепчут в уши, что следует «распечатать», он и сам знает, что ему не следует этого делать, и ему самому не хочется так распоряжаться, и он даже не чувствует особенной привязанности к тем аристократическим личностям, которые суетятся в его дворце; а между тем сознание его начинает колебаться от шума фраз и аргументов, воля слабеет, и решительный шаг делается медленно, с неохотою, но все-таки делается, и все последствия, связанные с этим решительным шагом, развиваются из него так же неизбежно и в таком же полном комплекте, как будто бы этот шаг был сделан с величайшим желанием и с самым лукавым умыслом. Даже хуже. При желании и при умысле человек обыкновенно принимает уже все меры и все предосторожности, которые могут обеспечить успех предприятия или, в случае неудачи, прикрыть отступление. Когда же человек поступает против своего желания, повинуясь постороннему внушению, тогда он действует спустя рукава, не надеясь на успех и не заботясь о последствиях; он производит опыт и сам относится к своему делу равнодушно и недоверчиво. Кроме того, поступки такого человека всегда непоследовательны; но так как наш ум настойчиво ищет в человеческих поступках последовательности и руководящей идеи, то мы, глядя со стороны на вереницу этих бессвязных поступков, бываем часто расположены видеть в них скрытую связь и затаенную тенденцию. Человек колеблется, а нам кажется, что он хитрит; человек вчера говорил так, а сегодня поступает иначе просто потому, что у него в голове плохо вяжутся мысли, но мы думаем, что он действует неспроста, что он

и вчера и сегодня руководствовался обдуманным планом и что он играет свою роль с искусством замечательного актера. Мы начинаем бояться и ненавидеть такого человека, которого даже не за что презирать.

Такие недоразумения встречаются на каждом шагу, даже при сношениях между частными лицами, которые могут видеть друг друга вблизи, во всякое время и при самых разнообразных обстоятельствах. В отношении к лицу малодоступному и облеченному в ослепительный блеск официальности такое недоразумение становится совершенно неизбежным. Для историка характер Людовика XVI совершенно понятен; историк не увидит в этом характере ни глубокого коварства, ни затаенных стремлений к деспотизму; историк сумеет распутать ту сложную сеть разнородных влияний, которая тяготела над всеми намерениями и поступками этого человека; историк оценит честность его побуждений и слабость воли; таким образом, человеческая личность Людовика XVI получит в истории свои настоящие размеры и свой действительный колорит. Но то, что возможно для историка, то было совершенно невозможно для подданных и современников Людовика XVI, если бы даже эти подданные и современники имели твердое намерение и искреннее желание отложить в сторону всякое личное увлечение и всякое политическое пристрастие. Подданные и современники Людивика XVI видели только внешнюю и официальную сторону его деятельности; они не имели возможности доискиваться до тех составных элементов, из которых складывалось решение короля; они не имели возможности пускаться в психологический анализ, потому что, во-первых, для этого анализа не было достаточных материалов; а во-вторых, каждое решение Людовика могло быть опасным для таких вещей, которые тогдашним французам были очень дороги и совершенно необходимы; стало быть, тут некогда было думать о психологических анализах. Каждое колебание в политике Людовика XVI казалось тогдашним французам рассчитанною изменою; каждое внутреннее противоречие в этой политике объяснялось глубоким коварством короля или его советников. Когда король утверждал такое предложение Национального собрания, которое пользовалось сочувствием народа, тогда народ был расположен думать, что король хитрит и старается выиграть время; когда король отказывал какому-нибудь популярному декрету в своем утверждении, тогда

народ был уверен, что король сбрасывает маску и что начинается выполнение обширного заговора, составленного против французской свободы двором, эмигрантами и иностранными правительствами; тогда народ готовился к борьбе на жизнь и на смерть, и хотя борьбы не оказывалось в действительности, однако все горькие чувства, возбужденные постоянным ожиданием решительной катастрофы, естественным образом направлялись против короля, и направлялись против него за то, что он не мог и не умел внушить народу доверие к честности своих намерений и к твердости своего личного характера.

Историк может считать Людовика XVI за очень честного человека, но суд историка не имеет никакого влияния на жизнь исторической личности; Людовик действительно был очень честен и добродушен, но он не казался таким человеком; современники не могли считать его честным и не могли чувствовать к нему доверие; но так как Людовик действовал в истории революции только тем крайне невыгодным впечатлением, которое его личность производила на умы его народа, то для истории, в обширном и настоящем смысле этого слова, личные добродетели Людовика имеют так же мало значения, как, например, его замечательное искусство в деле слесарной работы. Людовик был честным человеком и хорошим слесарем, но современники его не оценили ни того, ни другого. Для них существовала только одна черта в характере Людовика, именно его нерешительность, выражавшаяся в непоследовательности поступков и постоянно принимавшаяся современниками за проявление глубокого коварства. Когда Мирабо стал хлопотать о том, чтобы помирить короля с народом, то все старания знаменитого оратора направились к тому, чтобы внести в политику Людовика твердость и последовательность; но личный характер короля и разнокалиберность его обстановки делали эту задачу неисполнимою; Людовик слушал и Мирабо и королеву, и Бретейля и Булье[64], и императора Леопольда, и своего духовника, и всякого, кто только имел возможность и охоту рассуждать в Тюльерийском дворце или писать из прекрасного далека о вопросах текущей политики; при таких условиях влияние Мирабо было совершенно парализовано; Мирабо, как единственный советник, был почти бесполезен, потому что его советы имели свою цену только в общей связи, только тогда, когда они исполнялись все вместе и когда они, таким образом, со-

ставляли руководящую политическую программу. Но все-таки смерть Мирабо была утратою для королевского семейства, потому что Мирабо знал свою эпоху, не смотрел на нее глазами придворного, умел выпутываться из затруднений и, следовательно, в минуту опасности мог бы подать Людовику такой совет, до которого никогда бы не додумались остальные советники короны.

XXI

Смерть Мирабо подействовала на расположение партий в Национальном собрании. Некоторые из предводителей левой стороны — Барнав, Ламет, Дюпор — подумали, что теперь настало их время, что они должны сделаться руководителями исполнительной власти и что министерские места должны быть заняты их приверженцами и друзьями; они стали сближаться с правительством, и с ними произошло то, что до сих пор происходило везде с каждою оппозиционною партиею, овладевающею господством. Всякая оппозиция говорит очень много о существующих злоупотреблениях и о настоятельной необходимости преобразований; когда эта оппозиция становится правительством, тогда обыкновенно лиры настраиваются на другой тон: те же самые ораторы начинают доказывать, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, что злоупотребления по большей части составляют просто оптический обман, что в стремлении к преобразованиям есть много опасных и разрушительных элементов и что осторожная медленность должна быть первою обязанностью государственного человека.

В тогдашней Франции, конечно, нельзя было говорить о злоупотреблениях и преобразованиях, потому что все было преобразовано и потому что злоупотребления не могли еще завестись в новых учреждениях, созданных такою конституциею, которая еще не была даже закончена. Но во Франции оппозиция говорила о свободе, а правительственная партия — о порядке, и этот именно переход от защищения свободы к отстаиванию порядка совершили после смерти Мирабо предводители левой стороны — Барнав, Ламет, Дюпор и их ближайшие друзья[65] Это сделалось после смерти Мирабо потому, что при жизни этого оратора никто из членов Национального собрания не мог перевесить его влияния на дела правления.

Смерть крупной личности очистила место, на которое тотчас нашлись претенденты. Приближаясь к правительственным сферам, вожди левой стороны произвели раскол в своей собственной партии и через это потеряли значительную долю своего прежнего влияния; от них совершенно отделилась крайняя левая сторона, к которой принадлежали, между прочими, Петион и Робеспьер и которая ни под каким видом, ни на каких условиях не соглашалась переменить наступательное положение оппозиции на оборонительную роль правительственной партии. Вместе с крайнею левою стороною отделился от Барнава и компании якобинский клуб, который был основан именно Дюпором и Ламетом, но в скором времени далеко обогнал своих основателей на пути к радикализму и к демократии. Когда якобинцы стали в скептические отношения к бывшим вождям левой стороны, тогда и массы народа охладели к ним и перенесли все свое доверие и всю свою любовь на ораторов крайней левой, и в особенности на Робеспьера. Это обстоятельство произвело полный разлад между Национальным собранием и общественным мнением страны. В Национальном собрании партия Робеспьера была очень слаба по числу своих членов и ничтожна по своему влиянию; в столице, в клубах и, чрез посредство клубов, во всей Франции одна только крайняя сторона, партия Робеспьера, партия непреклонной оппозиции, пользовалась силою и влиянием. Движение зашло так далеко и развивалось так быстро, что Национальное собрание уже не поспевало за ним и служило ему тормозом в то время, когда нация желала иметь в собрании орган для выражения своих потребностей. Ясно было, что те люди, которые были достойными представителями третьего сословия в 1789 году, уже не могли быть представителями французского народа в 1791 году. Сам народ понял это вполне, и Робеспьер, выражая это общее мнение, предложил в половине мая 1791 года, чтобы ни один из членов Учредительного собрания не мог баллотироваться в депутаты на следующих выборах.

На первый взгляд может показаться, что это предложение не представляло особенной важности и что оно должно было иметь влияние только на личный состав следующего собрания, а не на расположение и сравнительную силу политических партий в этом следующем собрании. Если нельзя будет выбрать Барнава, Ламета, Дюпора, Робеспьера, Лафайета, Ланжюине, Бюзо, Грегуара,

то выберут кого-нибудь из друзей и приверженцев этих господ, выберут таких людей, которые держатся одинаковых с ними политических мнений, и новое собрание представит, следовательно, ту же группировку и ту же сравнительную силу партий, которую можно было видеть в старом собрании. Если же политические мнения той или другой стороны Учредительного собрания не пользуются сочувствием избирателей, тогда все равно не выберут вновь членов этой стороны, хотя бы они и имели право баллотироваться.

Против такого рассуждения в области чистой теории нельзя представить никакого уважительного возражения. Но Робеспьер знал, что выборы будут происходить не в области чистой теории, а на почве практической деятельности, где вопросы ставятся и решаются совсем не так просто. Применяясь к особенностям этой практической деятельности, Робеспьер понимал, что его предложение изменит радикально не только личный состав, но и политический цвет Национального собрания. К этой именно цели он и стремился. Дело в том, что многие из членов Учредительного собрания в течение своей двухлетней деятельности составили себе очень громкую известность, которая, во всяком случае, была для них сильною рекомендациею перед каждою коллегиею избирателей. Только для членов крайней правой стороны громкая известность могла быть помехою, потому что известность эта была приобретена ими в бесплодной борьбе с желаниями нации; что же касается до представителей буржуазного либерализма, содействовавших победе третьего сословия и опрокинувших феодальные учреждения, то их известность составляла в то время гордость французской нации и открывала им широкую дорогу к депутатскому месту в будущем Национальном собрании. Но эта известность открывала дорогу им самим, а вовсе не их приверженцам и не их идеям. Если бы перед коллегиею избирателей явился, с одной стороны, знаменитый оратор, подобный Дюпору или Барнаву, а с другой стороны, неизвестный юноша, отличающийся самым пылким радикализмом, то первый, по всей вероятности, победил бы последнего. Когда же все знаменитые ораторы будут устранены до выборов, тогда избиратели, имея дело с простыми смертными, обратят свое внимание на убеждения кандидатов и выберут тех людей, которые, не успевши прославиться на всю Францию, выразили, однако, в кругу сво-

их ближайших соотечественников, искреннюю и горячую привязанность к свободе и к революции. Почти в каждом городе существовали якобинские клубы; а в каждом клубе было несколько личностей, пользовавшихся в целом околотке репутациею отличных патриотов и дельных людей; эти провинциальные светила гражданской доблести и политической мудрости непременно должны были восторжествовать на выборах после устранения парижских и общефранцузских знаменитостей. Но все провинциальные якобинцы питали глубочайшее благоговение к парижскому клубу, а в этом парижском клубе уже господствовал в это время Робеспьер; стало быть, Робеспьер мог рассчитывать, что он с трибуны якобинского клуба будет управлять действиями нового собрания; имея в виду такую заманчивую диктатуру, он с удовольствием мог отказаться за себя и за своих ближайших друзей от всяких притязаний на место депутата; эта ожидаемая диктатура должна была сделаться особенно обширною вследствие того обстоятельства, что в новом собрании будут заседать совершенно новые люди, не знакомые ни с положением государственных дел, ни с закулисными тайнами различных партий, ни с внешнею стороною парламентской процедуры. Если бы в это новое и неопытное собрание могли проникнуть несколько старых депутатов, то эти депутаты сразу приобрели бы себе авторитет, сделались бы центрами и предводителями кружков и захватили бы в свои руки управление делами. Но предложение Робеспьера исключало всех старых депутатов; как только эти старые депутаты переставали быть членами официального собрания, так они тотчас теряли всякое значение и всякую возможность управлять общественным мнением; только люди крайней левой стороны, и больше всех других сам Робеспьер, имели вес сами по себе, независимо от своей официальной должности; только эти люди, опираясь на якобинский клуб и на парижское население, могли сохранять и увеличивать свою силу после выхода своего из Учредительного собрания.

Новое собрание должно было подчиниться центральному светилу якобинского клуба, во-первых, потому, что оно должно было составиться преимущественно из провинциальных якобинцев, а во-вторых, потому, что оно непременно должно было на первых порах отличаться неопытностью, искать совета старших и не встречать вокруг себя никого из старших, кроме Робеспьера и его партии.

Была еще третья причина. Можно было предполагать, что Франция выслала в Учредительное собрание всю свою науку, весь свой ум, все свои таланты; когда этот верхний слой знания, ума и таланта будет снят и отложен в сторону, тогда окажутся на поверхности второстепенные умы и посредственные дарования; новое собрание составится, таким образом, из людей среднего разбора, и это отсутствие сильных талантов положит самое прочное основание предполагаемой диктатуре. К этому последнему соображению Робеспьер, как человек очень самолюбивый и чрезвычайно тщеславный, не мог быть равнодушен, тем более, что в первые полтора года своей деятельности он был совершенно задавлен ораторскими талантами Учредительного собрания; его долго не слушали и над ним перестали смеяться только тогда, когда начали его бояться; теперь он с удовольствием мог сказать себе, что таких оскорбительных сцен для него, по всей вероятности, уже не будет.

Однако надежды на бесцветность будущего собрания не оправдались. В собрании явилась горячая молодежь, составившая партию Жиронды; талантливые ораторы этой партии — Верньо, Инар, Гюаде стали бороться с Робеспьером в самом центре его могущества, в собрании якобинского клуба. Впрочем, эта борьба не входит уже в пределы теперешней моей статьи. Вполне ли сбылись расчеты Робеспьера или осталась часть этих расчетов не осуществленною, во всяком случае, Робеспьеру выгодно было представить собранию свое предложение, выгодно было уже потому, что он, таким образом, являлся еще раз в очень важном вопросе проводником народных желаний. Но если Робеспьеру выгодно было представить это предложение, то всем значительным членам собрания не очень выгодно было принять его и совершить, таким образом, над собою политическое самоубийство. Барнав, Дюпор, братья Ламеты стали горячо возражать, и ничего не успели сделать своими возражениями, потому что предложение Робеспьера пришлось по душе не только народу, но и большинству депутатов. В Учредительном собрании, как и вообще во всех собраниях, большинство состояло из людей безгласных и бесцветных; этим людям мудрено было рассчитывать на вторичный выбор, потому что помолчать, как выражается Фамусов, невелика услуга[66], и на избирателей такая услуга не могла подействовать; следовательно, этой массе сомнительных кандидатов приятно было отказаться красиво и великодушно от такой

чести, которую у них и без того бы отняли. Это обстоятельство тогда же было подмечено Камилем Демуленом, который, с свойственной ему веселостью и откровенностью, тотчас тиснул по этому поводу статью в своей газете. Кроме того, предложение Робеспьера очень понравилось аристократам и реакционерам правой стороны; эти господа особенно сильно боялись и ненавидели людей умеренных партий; они думали, что умеренные партии могут основать прочный порядок, который навсегда положит конец господству привилегий; а на крайних якобинцев аристократы смотрели как на невозможных людей, которые пошумят, покричат, подурачатся и потом будут оставлены народом, так что их с полным удобством можно будет в урочное время перевешать и переколесовать по всем правилам старой уголовной техники. Руководствуясь этими привлекательными соображениями, правая сторона всегда готова была поддерживать чистых демократов против либералов, всегда радовалась каждой ссоре между теми и другими и горячо сочувствовала каждой победе первых над последними. Это настроение усилилось еще тем обстоятельством, что у абсолютистов и аристократов были личные враги между либералами, а между крайними якобинцами у них не было и не могло быть врагов, потому что эти два класса людей слишком далеко отстояли друг от друга по своему общественному положению.

Все эти причины привели к тому результату, что Дюпор, Ламеты и Барнав оказались почти единственными противниками Робеспьера. Предложение его было принято огромным большинством голосов. Его защищали даже некоторые знаменитости собрания; видно было, что все утомлены напряженною деятельностью, все тяготятся своими натянутыми отношениями к народу и все, кроме немногих неугомонных честолюбцев, хотят отдохнуть и сложить на другие плеча ответственность за дальнейшие события. Таким образом, за четыре месяца до закрытия своих заседаний Учредительное собрание признало себя устарелым и решилось передать новым людям судьбы Франции, конституции и всех революционных приобретений, оторванных народом от королевской власти и от аристократических привилегий.— Но последние недели Учредительного собрания были ознаменованы еще двумя чрезвычайно важными событиями; первым из них было неудавшееся бегство короля, вторым — кровопролитное столкновение народа с национальною гвардиею.

XXII

Между Франциею и всею монархическою Европою не могло быть искреннего и прочного мира с той самой минуты, как парижский народ взял штурмом Бастилию и передал верховную власть в руки своих представителей. Не могло быть мира по многим причинам. Во-первых, все европейские государи и все европейские аристократии чувствовали свою солидарность с Людовиком XVI, с французским дворянством; во-вторых, революция, с своей стороны, вовсе не заботилась о том, чтобы успокоить и смягчить своих взволнованных врагов; она вовсе не хотела замыкаться в пределы своего отечества; ее ораторы, при каждом удобном и неудобном случае, говорили о мировой задаче революции, о ее космополитическом значении, об освобождении всех народов, о естественном братстве всех людей и о разных других вещах, которые всякий благоразумный человек мог бы теперь назвать нелепостями, потому что со времени французской революции прошло с лишком семьдесят лет, а между тем все эти либеральные шалости так и остались ораторскими фиоритурами, и притом фиоритурами не только для Европы, но и для самой Франции. Но тогда в эти либеральные шалости крепко верили сами шалуны. Революционеры угрожали, консерваторы хмурились; ясно было, что рано или поздно дойдет до драки и что перевес будет на той стороне, которая лучше выберет время для того, чтобы нанести первый удар.

Это воинственное расположение, господствовавшее естественным образом в обоих политических лагерях Европы, усиливалось в аристократическом лагере криками и жалобами французских эмигрантов, передававших всем европейским дворам такие подробности о революции, от которых волосы становились дыбом; сообщая эти подробности, французские эмигранты обнаруживали щедрость, достойную их высокого звания; они, не запинаясь ни на одном слове, пересыпали чистую правду поэтическими украшениями и чистейшею ложью. И им верили, во-первых, потому, что приятно и полезно было верить; а во-вторых, потому, что неистощимые импровизаторы были несчастными мучениками, пострадавшими за правду, испытавшими на себе тяжесть людской неблагодарности и, следовательно, достойными всякого сочувствия, уважения и, разумеется, доверия. Благодаря своим изоб-

ретательным мученикам, далеко превосходившим Павла Ивановича Чичикова в любви к добру и к истине, Франция превратилась в страну легенд, в родину мифических чудовищ, способных в одну минуту разнести свое заразительное безобразие по всем городам и селам Европы и солидного земного шара. Надо было прежде всего посадить Францию в карантин, оцепить ее санитарным кордоном, отрезать ей всякое сообщение с незараженною частью человечества. Потом надо было употребить в дело увещания, потом пустить в ход угрозы и, наконец, обуздать неукротимое безумие мерами кротости.

Все это в порядке вещей, и все это, без сомнения, превосходно, но любопытно было бы спросить, каково действовали подобные демонстрации на судьбу Людовика XVI и его семейства, желавшего сохранить феодальную власть как зеницу ока. Положение короля было в высшей степени оригинально; во всей всемирной истории вряд ли найдется другое такое положение. Людовик был в плену в той самой фантастической стране чудовищ, о которой трубили эмигранты. Но это еще ничего, что он был в плену. Своеобразность положения заключалась в том, что он не мог признать себя пленником: ему надо было прикидываться патриотическим вождем пылкого народа и заклятым врагом тех элементов и тех людей, к которым он чувствовал полнейшую симпатию и в которых он видел своих будущих избавителей; как только французский народ замечал, что король тяготится своею неестественною ролью, так показывались немедленно все признаки приближающейся бури, и, во избежание дальнейших неприятностей, Людовик XVI поневоле должен был поспешно прижимать к своему лицу ту ненавистную маску, которая мешала ему дышать, но и в то же время представляла единственную возможность отсрочивать неизбежную катастрофу. Катастрофа была неизбежна, и политический маскарад, в сущности, был бесполезен, во-первых, потому, что в некоторых вопросах король не мог выдержать его до конца, а во-вторых, потому, что мифические чудовища, населявшие Францию, нисколько не были расположены к доверчивости и очень хорошо знали, что такое лицо и что такое — маска.

Король старался выиграть время, надеясь на реакцию внутри государства и на помощь со стороны Европы; народ, с своей стороны, смутно чувствовал неискренность короля и постоянно тревожился неопределенными слуха-

ми об австрийском комитете, который будто бы работает в Тюльерийском дворце под председательством королевы Марии-Антуанетты и замышляет предать Францию в руки иностранцев и эмигрантов. Война между Франциею и Европою казалась неизбежною; и точно так же неизбежным казался решительный и окончательный разрыв между идеями революции и принципом королевской власти. Сам Людовик увидел и понял наконец неизбежность этого разрыва тогда, когда Национальное собрание принялось за преобразования в устройстве церкви. Разрушение Бастилии, уничтожение дворянства, ограничение монархической власти, учреждение национальной гвардии, свобода печати — все это было грустно и тягостно, но скрепя сердце можно было еще кое-как перенести все эти страдания; когда же речь зашла о духовенстве, о монастырях, о церковных поместьях, о назначении священников по выбору прихожан, тогда истощилось дипломатическое терпение пленного короля. Людовик был прежде всего католик; над ним господствовали его духовники, и с той минуты, как революция коснулась церковной иерархии, Людовик XVI с мужеством отчаяния решился во что бы то ни стало сбросить маску и бежать в тот лагерь, в котором были все его друзья.

Я оставляю в стороне фактические подробности: как было задумано бегство, как изменялся план этого бегства, какие сношения поддерживала по этому поводу королева Мария-Антуанетта с своим братом, Леопольдом Австрийским, как происходило это опасное путешествие — все это имеет анекдотический и биографический процесс, и все это совсем не относится к историческому развитию революции. Достаточно заметить, что король с своим семейством бежал из Парижа в ночь на 21 июня, а в тот же день, поздно вечером, его задержали в провинциальном городке Варенне. Тамошние городские власти тотчас дали знать об этом Национальному собранию. Национальное собрание прислало в Варенн своих комиссаров, и короля с семейством привезли обратно в Париж. Эта неудавшаяся поездка короля нанесла последний удар монархическому принципу во Франции. Его убили не нападения его врагов, а ошибки представителей и защитников.

Первая причина революции заключалась, как мы видели, в экономическом истощении народа и государства; это истощение, разумеется, было произведено не философами XVIII века, а администраторами, любившими ста-

рый порядок вещей всеми силами своего организма. Первый повод к вооруженному восстанию был подан, как мы также видели, попыткою короля парализировать с самого начала деятельность Национального собрания; эта попытка, очевидно, была сделана друзьями старого порядка, а не агитаторами народа и не фанатиками революции. Теперь мы опять встречаемся с таким же фактом. В течение 1789 и 1790 года республиканских стремлений нельзя было заметить ни в народе, ни в образованном обществе, ни в Национальном собрании, ни в якобинском клубе. Народ хотел только прочного уничтожения феодальных повинностей, а к вопросам высшей политики оставался совершенно равнодушным, полагаясь в этом отношении на своих возлюбленных представителей и законодателей. Образованное общество и Национальное собрание состояли из чистых роялистов, обожавших старый порядок, и из конституционалистов, разыгрывавших разные вариации, более или менее смелые, на одну основную тему английского самоуправления. Якобинцы сами называли свой клуб Обществом друзей конституции и не терпели на своей трибуне ни одного слова против монархического начала. Необходимость королевской власти для всех серьезных общественных деятелей того времени составляла неприкосновенный догмат политического вероисповедания. Та мысль, что республиканское правление годится только для отдельных городов и мелких областей, находилась тогда в общем ходу и считалась неопровержимою истиною, не требующею доказательств. Ввести республиканское правление во Францию значило бы превратить ее в федерацию, состоящую из множества отдельных, мелких республик; о федерации такого рода никто не хотел слышать, потому что привилегии отдельных провинций только что были уничтожены, внутренние заставы и таможни были сняты и отменены, единство было основано, и все, что могло мешать укреплению этого единства и водворению сильной централизации, казалось всем тогдашним публицистам тяжелым преступлением против нации и отечества. Ни Робеспьер, ни Дантон, ни Марат, никто из тех людей, которых считают обыкновенно опаснейшими демократами и злейшими революционерами, не заикались о республике в течение 1789 и 1790 года. Один только Демулен написал в то время политический памфлет с республиканскими тенденциями[67], но Демулен в начале революции так часто кидался из стороны

в сторону, от Лафайета к Робеспьеру, от Мирабо к Дантону, что все партии считали его талантливым и остроумным повесою, которого с удовольствием можно читать и слушать, но на которого не стоит обращать внимания в серьезном деле. Республиканский памфлет Демулена остался без влияния, и то же самое произошло бы даже в том случае, если бы вместо Демулена заговорил бы в то время о республике какой-нибудь сильный предводитель политической партии. Республиканцы, конечно, существовали и тогда; но одни молчали, другие притворялись приверженцами конституции; все считали себя мечтателями, далеко опередившими свой век; все были уверены в неспособности французского народа к самоуправлению, и все любили восхищаться античными доблестями греков и римлян, которые были известны тогдашнему обществу по трагедиям Корнеля и Расина, да еще по жизнеописаниям Плутарха и Корнелия Непота, переведенным на французский язык.

Все эти безвредные занятия тогдашних республиканцев могли бы продолжаться в течение неопределимо долгого времени и могли бы кончиться ничем, могли бы не дойти до сведения французского народа, если бы только представитель и защитники старого порядка имели возможность удержаться от дальнейших ошибок. Но обстоятельства были расположены таким образом, что каждое действие Людовика XVI превращалось в ошибку и, подрывая монархию, закладывало основания будущей республики. Когда по городам и селам королевства разнесся слух, что король попробовал убежать за границу, тогда по всей Франции произошел такой единодушный взрыв народного негодования, что после этого взрыва всякое примирение между королем и народом сделалось невозможным. Король действует заодно с иностранцами! Король действует заодно с эмигрантами! Эти две мысли были бессильны и безвредны, пока они встречались только на столбцах демократических газет и в декламациях яростных ораторов; но когда каждый горожанин, каждый мужик и каждый поденщик сам додумался до этих двух мыслей, сам разобрал их значение, сам взволновался их возможными последствиями и, наконец, сам громко произнес их с полным убеждением, тогда эти две мысли разорвали всякую связь между королем и народом и с неудержимою силою бросили всю массу народа в руки крайней демократической и республиканской партии, ко-

торая тотчас ободрилась, отложила в сторону Плутарха и Корнелия Непота и с восхищением принялась хозяйничать в делах современной действительности.

Король действует заодно с иностранцами,— думал народ, услышав о поезке в Варенн,— стало быть, он продает иностранцам честь и благосостояние Франции; он хочет привести во Францию немецкие армии, он хочет выжечь города и села, вытоптать поля, обломать виноградники, опустошить целые провинции голодом и моровою язвою. Король действует заодно с эмигрантами,— рассуждали все классы народа, воспользовавшиеся различными выгодами революции. В течение своей двухлетней деятельности революция пустила в народную жизнь такие глубокие корни, произвела такие радикальные и разнообразные изменения во всех междучеловеческих отношениях и заинтересовала в свою пользу такое неизмеримое большинство французских граждан, что при первом намеке на возможность реакции вся Франция снизу и доверху, от одной границы до другой, встрепенулась от ужаса и негодования. В это время революция была уже непобедимо сильна именно потому, что она успела уже дать всем классам народа осязательные доказательства своего существования и своей деятельности. Пока революция была чистою идеею, отвлеченным приговором мыслителей над существующими бытовыми формами, до тех пор ее можно было задержать, отсрочить или поворотить назад; но когда она проложила себе дорогу в мир материальных интересов, когда она переделала по-своему весь строй экономических отношений, тогда возвращение старого порядка вещей сделалось совершенно невозможным. Тогда дело революции стали защищать не одни мыслители, писатели, ораторы и утописты; вместе с идеологами поднялись за общее дело и городские собственники, и крестьяне, и солдаты, и ремесленники. Все неопределенные декламации об австрийском комитете, о вероломстве двора, о кровожадных замыслах аристократов, о враждебных тенденциях самого короля, все журнальные утки и ораторские импровизации превратились перед глазами испуганного народа в самую осязательную, неопровержимую и сокрушительную истину. Творцы уток и импровизаций сделались мудрецами и пророками; от них народ стал ожидать спасения; за ними он готов был идти всюду, куда они захотят повести его; от них зависело произнести слово «республика», и если бы это слово не тотчас перешло

в дело, то по крайней мере после вареннского путешествия никто не подумал бы назвать адвокатов республики мечтателями и утопистами. Словом, до поездки короля в Варенн народ подозревал короля в неискренности и чувствовал неопределенное беспокойство; после этой поездки не осталось никаких подозрений, и неопределенное беспокойство сменилось твердою уверенностью. Весь народ пережил в несколько часов целые десятилетия исторической опытности; он увидел, что надо выбирать одно из двух: или революцию, или старый порядок. Рубикон был перейден, и Людовик XVI, привезенный из Варенна в Париж, сделался во всех отношениях пленником своих политических противников.

XXIII

Короля привезли в Париж 25 июня 1791 года, а королевская власть была уничтожена во Франции 10 августа 1792 года. Между этими двумя событиями прошло больше года, и королем считался в этот промежуток времени тот же Людовик XVI, который уже однажды попробовал убежать с своего престола. На первый взгляд, иному недогадливому читателю могут показаться непонятными две вещи: почему Людовик XVI сам не отказался в это время от своего престола, на котором он с минуты своего бегства мог ожидать только неприятностей и оскорблений? И далее, почему Национальное собрание не объявило престола вакантным и не созвало Национального конвента, то есть почему оно, после вареннской истории, не поступило так, как поступило Законодательное собрание после возмущения 10 августа 1792 <года>?

Ответа на эти два вопроса надо искать в характере Людовика XVI и в характере коллективной личности, называвшейся Национальным учредительным собранием. Во-первых, Людовик по своему темпераменту не был способен на энергические поступки; он мог с христианским терпением переносить оскорбительные неприятности своего положения, но выйти из этого положения решительным и необычным шагом он был не в состоянии. Только уступая влиянию королевы, он пробовал бежать за границу, и эта попытка, удавшаяся так плохо, надолго истощила в нем запас деятельной энергии; он подумал, что всего лучше с полным смирением ожидать, что будет. Во-вто-

рых, Людовик XVI был воспитан своими наставниками и своею вседневною версальскою жизнью так, что он не знал о существовании и не понимал значения тех живых сил, которые копошились под его престолом: что такое народ, чего он хочет, сыт ли он, голоден ли и что такое значит быть голодным,— все это и многое другое в том же роде были такие вопросы, которых даже не могли задавать себе обитатели версальского дворца. О правильном решении подобных вопросов смешно было бы и думать. Всей версальской публике революция казалась интригою каких-нибудь мошенников, которые сегодня в моде, а завтра будут заброшены и забыты вместе с своими задорными фразами. Революцию делает герцог Орлеанский, или Мирабо, или Лафайет, или Барнав, или Дантон, или все они вместе, или каждый из них порознь, по своему собственному расчету, но непременно кто-нибудь да делает революцию: не может же быть, чтобы революция сама себя делала*

Никто из роялистов не мог рассуждать иначе, а рассуждая таким образом, Людовик XVI, который, конечно, был сам роялистом, не мог отказаться от престола. Он так мало считал свое положение отчаянным, что даже после вареннской истории продолжал бояться успеха эмигрантов больше, чем успеха демократов. Он боялся, что его братья, граф Прованский и граф Артуа, задавят революцию, возьмут его, Людовика, под свою опеку, а королеву подвергнут скандальному процессу и заточению. Людовику в голову не приходило бояться за свою жизнь, и он до последней минуты своего царствования был уверен, что Франция не может и никогда не захочет быть республикою. Стало быть, отказываться от престола значило бы открывать дорогу принцам-эмигрантам. Вообще, можно сказать одно: если бы Людовик XVI был способен отказаться от престола, то есть если бы он понимал глубину и обширность революционного движения, если бы он предвидел, как она разыграется[68], если бы он, понимая и предвидя все это, мог поступать твердо и решительно, то он, еще гораздо раньше 1789 года, отыскал и поддержал бы людей, подобных Тюрго, и повел бы необходимые реформы мирным путем, осторожно, последователь-

* Это только унтер-офицерская жена сама себя высекла; да и то показание Сквозника-Дмухановского в этом случае может удовлетворить только Хлестакова.

но, но без уклончивости, без уступок старине и без боязни перед новыми идеями. Реформа была необходима и неизбежна, но сам Людовик, смотря по особенностям своего характера и умственного развития, мог примкнуть к той или другой стороне; если бы он примкнул к партии будущего, вместо того чтобы присоединиться к партии прошедшего, тогда его личная судьба во многом бы изменилась и внешние формы французской революции также испытали бы многие изменения, но прочные результаты всего движения оказались бы совершенно такими же, какими мы их видим теперь. Читатель, вероятно, знает уже, что прочными результатами я называю в этом случае экономические и социальные преобразования.

Национальное собрание, по своим отношениям к массе народа, было заранее осуждено на бездействие. С одной стороны, оно не могло принять решительную инициативу и объявить престол вакантным; с другой стороны, если бы оно захотело защитить и прикрыть Людовика XVI своим авторитетом, защита эта оказалась бы очень недостаточною, потому что авторитет собрания был уже в значительной степени подорван. При начале своих заседаний Национальное собрание было составлено наполовину из депутатов от дворянства и от духовенства. Эти депутаты, которых народ не хотел и не мог считать своими представителями, составили правую сторону собрания и почти все держали себя, во все время заседаний, как явные враги революции и как безусловные приверженцы старого порядка. Многие из этих депутатов уехали за границу, когда эмиграция стала усиливаться и вошла в моду. Когда дворянство и духовенство были уничтожены как отдельные сословия, тогда депутаты от этих несуществующих сословий, очевидно, потеряли всякий смысл и превратились в ходячий анахронизм. Несмотря на это, анахронизм продолжал заседать в собрании, произносить речи и подавать голоса. В половине 1791 года правая сторона собрания состояла еще из трехсот человек, которые, производя много шума, заявляя торжественные протесты и беспристрастнейшим образом балансируя между различными оттенками центральной партии и левой стороны, развлекали силы собрания и отнимали у него возможность действовать решительно. Впрочем, центр и левая сторона сами по себе находились в постоянном колебании. Если они боялись эмигрантов и чистых роялистов, которые до того времени были их постоянными врагами,

то еще сильнее боялись они чистых демократов и революционеров, которые до того времени были их постоянными союзниками. Чтобы сдержать в границах благопристойности этих опасных союзников, они готовы были пойти на мировую сделку с своими врагами, но враги ни на какую сделку не поддавались, имея в виду соблазнительную надежду, что революция погибнет в ближайшем будущем от собственных своих ошибок и увлечений.

Конституционная партия, сжатая таким образом между слишком известными людьми прошедшего и страшными по своей неизвестности силами будущего, чувствовала шаткость своего положения, но вместе с тем сохраняла за собою численный перевес в Национальном собрании. От нее зависело решить вопрос: как выпутать короля и собрание из неприятных последствий вареннской истории? При решении этого вопроса она, конечно, постаралась сохранить золотую середину и устроила дело так, что не удовлетворила ни роялистов, ни революционеров. Роялисты смотрели на вареннское дело как на законный протест угнетенного короля против посягательств зазнавшихся подданных; в этом деле для них не могло быть и речи о преследовании и наказании виновных; виновными они считали только тех людей, которых неслыханная дерзость понудила короля искать себе безопасности вне Парижа и, может быть, вне Франции; для роялистов эмиграция принцев и дворянства была делом совершенно законным, а так как король, по их мнению, был первым принцем и первым дворянином во Франции, то он также мог эмигрировать, если находил это удобным для сохранения своего достоинства и необходимым для своей личной безопасности. Но где король, там и отечество, говорили далее роялисты; поэтому все честные французы, не желающие оставить свое отечество, должны следовать за королем на край света; следовательно, генерал Булье, приготовивший бегство короля, и офицеры, отправившиеся в путь вместе с королем, оказываются лучшими патриотами во всей Франции и достойны полного уважения со стороны всех благомыслящих граждан.

Так думали роялисты, хотя, конечно, на трибуне Национального собрания они уже не могли высказываться вполне откровенно; общество XVIII века было уже слишком развращено для того, чтобы понимать идеи и ценить чувства времен Людовика XIV, Генриха IV или Франциска I. На трибуне эти тенденции выражались осторожно

и уклончиво, с различными применениями к языку и понятиям испорченной эпохи. Но, во всяком случае, у роялистов был свой взгляд на вещи, очень определенный и вполне последовательный, то есть вполне верный основной идее.

У революционеров был также свой взгляд, не менее определенный и не менее последовательный. Они думали и говорили, что король и все соучастники вареннской экспедиции виновны в измене против нации; короля следует объявить лишенным престола, а всех остальных предать суду и наказать по всей строгости законов. Конституционалисты попались в тиски между этими двумя противоположными взглядами; они стали лавировать из стороны в сторону, изобретать несуществующие факты и соглашать несогласимые понятия. Уезжая из Парижа, король оставил письменный протест против всех узаконений, выработанных Национальным собранием и получивших уже королевское утверждение; в этом протесте король очень подробно излагает свои жалобы против французов вообще и парижан в особенности; он объясняет очень обстоятельно причины своего бегства; Национальное собрание получило эту бумагу в тот самый день, в который оно узнало о бегстве короля. Но, несмотря на положительные уверения самого Людовика XVI, собрание, следуя внушению конституционной партии, выдумало, что король не бежал, а сделался жертвою насильственного или коварного похищения. Эта выдумка отодвигала самого короля в сторону, а всю ответственность обрушивала на его коварных и злоумышленных похитителей.

Такое замысловатое решение не могло удовлетворить ни роялистов, ни демократов; кроме того, оно оскорбляло здравый смысл и нравственное чувство всех честных людей, без различия политических партий. Никто не мог обмануться выдумкою Национального собрания; все знали, что бегство короля было вполне добровольно и преднамеренно. Если это бегство составляет преступление, то все участники этого предприятия преступны; если же не существует преступления, то не за что губить людей, которые были простыми исполнителями и верными слугами. Так говорил здравый смысл, но конституционная теория, сплетенная из множества политических и юридических фракций, находилась на таком неизмеримом расстоянии от простого и скромного здравого смысла, что не могла обращать на его советы ни малейшего внимания.

Впрочем, конституционная партия не ограничилась тем, что взяла себе исходною точкою произвольную импровизацию; она, кроме того, сумела поставить себя в противоречие с этою самою импровизациею; предполагая, что король был похищен, она, однако, ухитрилась наложить на него исправительную эпитимию; собрание решило, что верховная исполнительная власть отнимается у короля и сосредоточивается в Национальном собрании до тех пор, пока конституция не будет окончена и пока король не примет и не утвердит ее своею торжественною клятвою.

Все это здание выдумок и противоречий было воздвигнуто трудами Дюпора, Барнава, Ламетов и многих других сотрудников их в течение трех недель. К 16 июля прения о вареннской истории окончились в собрании, но те решения, которыми удовлетворялись представители, вовсе не понравились народу. Клуб кордельеров весь объявил себя против королевской власти; Марат в своей газете советовал народу выбрать себе диктатора или военного трибуна. Бриссо стал издавать газету «Le Républicain»[69]; Кондорсе написал республиканский памфлет[70]; Робеспьер в клубе якобинцев говорил об осторожности и уважении к конституции; но в Национальном собрании настаивал на том, что короля следует судить. Якобинцы старались соблюдать конституционное благоразумие, но когда Бриссо заговорил в их клубе против неприкосновенности королевской особы, тогда раздались крики неистового и чисто республиканского восторга. Бывшие хозяева якобинского клуба — Ламеты, Дюпор и Барнав — увидели по многим признакам, что творение их рук уходит окончательно из-под их влияния. Они решились сделать отчаянную попытку; 16 июля они перешли вместе с своими друзьями из монастыря якобинцев в монастырь фельянов[71], за ними последовали почти все депутаты, бывшие членами якобинского клуба; этот новый клуб фельянов объявил всем провинциальным якобинцам, что с этого дня он будет составлять настоящее общество друзей конституции; но большая часть провинциальных клубов не признали этого настоящего «общества» и по-прежнему продолжали переписываться с якобинцами, оставшимися в Якобинском монастыре. Ни Робеспьер, ни Петион, ни Бриссо не пошли в новое помещение клуба. У фельянов стали собираться депутаты и конституционный beau monde, но это

изысканное общество, существовавшее всего один год, постоянно оставалось совершенно бессильным.

Руководители Национального собрания принуждены были наконец убедиться в том, что их время прошло и что выдвигаются вперед новые стремления, которых они не понимают, и новые люди, в отношении к которым они становятся уже людьми прошедшего. Антироялистское движение в клубах и в газетах служило верным отголоском господствующего настроения народных масс. В Национальное собрание приходили из разных городов и департаментов адресы, совершенно враждебные Людовику XVI, и нескромное направление этих адресов ставило иногда почтенных законодателей в очень неловкое и затруднительное положение.

Но затруднения сделались еще гораздо существеннее и значительнее, когда решение собрания по делу короля возбудило сильное неудовольствие в самом Париже. Пока продолжались еще прения о вареннской истории, происходили разные частные демонстрации; когда прения закончились, тогда составился план подать собранию петицию, подписанную многими тысячами имен и выражающую желание парижского народа, чтобы король был низложен с престола. Утром 17 июля несколько граждан, принадлежавших к клубу кордельеров, собрались на Марсовом поле и положили свою петицию на алтарь отечества, построенный в 1790 году для праздника федерации. Кто проходил мимо, тот читал и подписывал. Слух о прошении распространился очень быстро; люди, желающие прочитать и подписать петицию, стали стекаться на Марсово поле со всех сторон; толпа привлекала толпу, и часам к четырем пополудни вокруг алтаря отечества собрались десятки тысяч народа; устроилось что-то вроде общественного гулянья; тут были женщины и дети, люди всякого звания и всякого образа мыслей; были и сумасброды, советовавшие публике взять штурмом собрание и разогнать недостойных представителей великого французского народа; но публика, разумеется, смотрела на этих бесноватых проповедников как на забавный аксессуар летней прогулки; между тем на петиции набралось уже очень много подписей, и Национальное собрание, знавшее неприятное направление этой бумаги, пожелало уничтожить ее и задавить все движение мерами спасительной строгости. Собрание приказало парижскому мэру разогнать толпу бунтовщиков и злодеев, собравшихся во-

круг алтаря отечества; Бальи и Лафайет объявили военный закон против возмущения, выставили в окне ратуши красное знамя и пошли на Марсово поле с пехотою, кавалериею и артиллериею национальной гвардии; пехота дала залп, храбрая кавалерия бросилась в атаку, и только артиллерии не удалось принять участия в поражении врагов. Бунтовщики и злодеи обращены в позорное бегство; на ступенях алтаря отечества остались больше сотни убитых и раненых, в том числе много женщин, детей и стариков. Собрание изъявило свою благодарность городским властям за их энергию и распорядительность. Затем дела пошли прежним порядком.

Собрание было так великодушно, что не воспользовалось своею победою над злоумышленниками. Некоторые депутаты советовали закрыть клубы и пугнуть журналистов, но собрание на это не согласилось. Якобинцы, смущенные воинственным шумом, скоро оправились и совершенно пересилили фельянов, в пользу которых была одержана такая блистательная победа. Робеспьер, Марат, Дантон, Бриссо, Демулен, Фрерон продолжали господствовать над умами народа речами, брошюрами и газетами. Популярность Лафайета и Бальи осталась убитою на Марсовом поле. 13 сентября король принял конституцию; 30 сентября Учредительное собрание окончило свою деятельность и разошлось. Из 1800 миллионов ассигнаций было издержано 1323. Финансы остались в прежнем положении.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИДЕИ ОГЮСТА КОНТА

Введение

Огюст Конт, один из величайших мыслителей нашего века, родился в Монпелье в 1798, а умер в Париже в 1857 году. Жил он в бедности, работал много и мыслил всегда честно и самостоятельно, не стараясь угождать ни политическим партиям, ни академическим котериям, ни прихотливому вкусу так называемой образованной толпы[1]. Самое цветущее время деятельности Конта относится к тридцатым годам нашего столетия — к той эпохе, когда буржуазное правительство Луи-Филиппа, меняя беспрестанно Гизо на Тьера и Тьера на Гизо, занималось бесплодною политическою эквилибристикою между клерикально-реакционерною партиею, с одной стороны, и революционно-республиканскою — с другой стороны. Конт смотрел одинаково недоброжелательно на все три партии, спорившие между собою за политическое господство. Он видел, что реакционеры совершенно напрасно стараются воскресить мертвую и разлагающуюся идею; он понимал, что республиканцы, за неимением определенной и положительной доктрины, не сумеют воспользоваться победою, когда им удастся ее одержать; он чувствовал глубокое презрение к эквилибристам, которые, давно забывши о существовании или даже о возможности политических принципов, удерживали за собой власть единственно для того, чтобы не выпускать ее из своих рук. Он полагал, что политические нелепости и неблаговидности его времени будут продолжаться до тех пор, пока политика не превратится в науку, в какую превратилась, например, астрономия со времен Коперника, Кеплера и Ньютона или химия со времен Пристли и Лавуазье. Мысль создать положительную политику, открыть в жизни человеческих обществ незыблемые естественные законы и научным путем выработать такую общественную ор-

ганизацию, которая мирила бы в высшем единстве все разумные требования, эта титаническая мысль овладела Контом, когда он был очень молод. Мысль эта родилась в нем, по всей вероятности, под влиянием идей известного Сен-Симона, с которым он был очень близок в молодости и под руководством которого он работал в продолжение целых шести лет. Впрочем, Сен-Симон, во всяком случае, направил только внимание молодого Конта на общественные задачи текущего времени. Путь, которым пошел Конт к решению этих задач, с самого начала был совершенно самостоятелен; как только Конт составил себе, в общих чертах, определенный план умственной деятельности, так он тотчас разошелся и даже поссорился с Сен-Симоном и со всеми его последователями[2].

Основная мысль Конта, исходная точка, с которой начались все его исследования и умозрения, состоит в том, что явления общественной жизни подлежат естественным законам, что они сложнее всех остальных явлений природы, что они, в большей или меньшей степени, подчиняются влиянию всех остальных явлений и что вследствие этого к изучению их может приступить, с некоторою надеждою на успех, только такой мыслитель, который знает основательно все категории явлений менее сложных и который вооружен всеми методами, доставляющими современному исследователю возможность проникать в тайники органической и неорганической природы.

Что человеческие общества живут и развиваются по законам, это мысль далеко не новая; нет того философствующего историка, который не повторял бы ее на разные лады; но нетрудно заметить, что почти у всех философствующих историков эта мысль остается мертвою буквою. Спросите у Гизо, или у Лорана, или у Галлама, или у Гервинуса: имеете ли вы, господа, понятие о дифференциальном исчислении, занимались ли вы когда-нибудь химией, следили ли вы за современными успехами физиологии? — Все эти философствующие историки[3] примут ваш вопрос за неуместную шутку и ответят вам холодно и презрительно, что они — историки, а не химики, не физиологи и не математики. Из их ответа вы поймете, что все их образование заключается в знании тех языков, на которых написаны летописи, грамоты и разные другие исторические документы. Вооружившись этими знаниями, они прямо приступают к чтению источников и вслед за тем, разумеется, начинают излагать нам под именем исто-

рических законов свои личные размышления, более или менее остроумные, но нисколько не опирающиеся ни на исследование коренных свойств человеческого организма, ни на основательное знание общих космических законов. Если бы философствующим историкам было какое-нибудь дело до космических законов, до человеческого организма и до рациональных методов научного исследования, то они понимали бы очень хорошо, что им невозможно обойтись ни без физиологии, ни без химии, ни даже без дифференциального исчисления.

У Конта мысль о необходимости открыть законы исторического развития не осталась мертвой буквой. Он получил в политехнической школе превосходное математическое образование, и потом, в течение всей его жизни, математика оставалась постоянно его хлебным ремеслом. Он изучил самым тщательным образом астрономию, физику, химию и биологию; не довольствуясь знанием этих наук в их современном положении, он обратился к их истории и прочитал подлинные сочинения тех исследователей, которых трудами эти науки подвигались вперед. Усвоив себе эти обширные знания, выучившись владеть всеми методами научного исследования и проследивши развитие всех главных наук от самой их колыбели, Конт имел полное право приступить к явлениям общественной жизни с целью открыть те законы, по которым они совершаются. Основной закон истории нашелся, и нашелся именно благодаря тому обстоятельству, что Конту была уже достаточно известна история положительных наук. Конт заметил, что все наши положительные знания проходят в своем развитии три главные фазы: теологическую, метафизическую и положительную.

Сначала человек объясняет себе неизвестное явление природы как сознательное и умышленное действие какой-нибудь личности, похожей в своих общих чертах на самого человека; так, например, когда во время осады Трои началась в греческом лагере моровая язва, греки объяснили себе это явление тем, что бог Аполлон, прогневавшись на них за неуважение к его жрецу Хризесу, начал пускать в них невидимые стрелы[4]; когда гремел гром, тогда греки думали, что Зевес, великий отец богов и людей, бросает с неба особенные громовые снаряды, выкованные для него богом огня Вулканом; когда на небе появлялась заря, тогда греки думали, что богиня Эос сво-

ими розовыми пальцами отворяет те ворота, из которых должна выехать колесница Солнца, или Феба.

Затем человек начинает объяснять себе каждое явление какою-нибудь безличною силою, которой, несмотря на ее безличность, приписываются, однако, разные стремления, симпатии и антипатии. Отчего, спрашивали древние и средневековые физики, вода поднимается в насосе? Оттого, отвечали они, что природа страшится пустоты. Отчего кусок свинца падает вниз, а дым и пламя поднимаются кверху? Оттого, что каждое тело стремится занять свое естественное место. Отчего человек заболевает? Оттого, что болезнь вселяется в его тело. Отчего больной выздоравливает? Оттого, что природа и врач побеждают болезнь и выгоняют ее из его тела. Если природа может чувствовать страх, если тела, подобные свинцу или дыму, могут испытывать стремления или желания, если болезнь входит в человека и выходит из него, если ее можно побеждать и выталкивать в шею и если таким занятиям предается природа, то, очевидно, природа, болезнь и тела оказываются близкими родственниками и прямыми наследниками Аполлона, Зевеса и других олимпийцев. Существенная разница состоит только в том, что собственные имена заменены нарицательными. Неполные олицетворения отвлеченных понятий — это, в сущности, те же боги, полинявшие от времени и от житейских превратностей.

Наконец, переходя из метафизической фазы в положительную, человек начинает понимать, что он забавлял себя игрою слов, которая, мешая во многих случаях ясной и правильной постановке вопросов, заставляла его тратить время и силы на бесплодную борьбу с совершенно непреодолимыми трудностями. Увидавши неосновательность прежних объяснений, человек убеждается понемногу в том, что его способность объяснять явления природы имеет определенные границы, через которые его уму никогда не удастся перешагнуть; человек признает ту великую истину, что он может только наблюдать явления и подмечать, в каком порядке одно явление следует за другим или каким образом одно явление совмещается с другим. На вопрос: почему данные явления следуют одно за другим именно в таком, а не в другом порядке, у него нет ответа и никогда его не будет. Он, разумеется, может сказать вам: таков закон природы; но это, конечно, не ответ, потому что вопрос именно в том и состоит: по-

чему существует в природе вот этот закон, а не какой-нибудь другой? — Вы спрашиваете, например, у современного физика: почему свинцовая пуля, которую я выпускаю из рук, падает на землю? — *Почему,* отвечает вам физик, этого я не знаю, но я могу вам сказать, что существует общий закон, по которому все тела во всей вселенной взаимно притягивают друг друга пропорционально массам и обратно пропорционально квадратам расстояния. Так как ваша пуля меньше земного шара, то земной шар и притягивает ее к себе; если бы она была больше земного шара, то случилось бы наоборот, то есть не пуля упала бы на землю, а земля упала бы на пулю. Но *почему* все это происходит так, а не иначе, *почему* тела взаимно притягивают друг друга, и притягивают именно так, как я это объяснил, этого я не знаю, этого не знает никто, это останется вечною тайною для всех людей, и поэтому совершенно бесполезно и нелепо задавать себе или другим подобные вопросы. — Когда человеческие знания вступили в этот последний, положительный период своего развития, тогда они уже не испытывают больше радикальных переворотов, относящихся к самому основному их характеру; они только растут и совершенствуются, по мере того, как накопляются фактические подробности и улучшаются орудия наблюдения.

Заметив таким образом три фазы в развитии всех положительных наук (кроме математики, в которой теологической фазы не было), Конт путем своих исторических занятий скоро пришел к тому убеждению, что общественная жизнь человечества в каждую данную эпоху находится в прямой зависимости от тех способов и приемов, посредством которых люди объясняют себе явления природы. Господствующее миросозерцание кладет свою печать на все отрасли общественной жизни; когда изменяется миросозерцание, тогда и в общественной жизни происходят соответственные перемены; когда борются между собою два различные миросозерцания, тогда и общественная жизнь наполняется тревогами и волнениями; когда одно из борющихся миросозерцаний одерживает окончательную победу над другим, тогда и в общественной жизни водворяются спокойствие и единодушие. Так как миросозерцание есть не что иное, как сумма объяснений, относящихся ко всем различным явлениям природы, и так как эти объяснения проходят через три фазы, то нетрудно сообразить, что те же самые три фазы могут быть

отмечены и во всей исторической жизни человечества. Вся история распадается на три великие периода: теологический, метафизический и положительный. Каждый из этих периодов характеризуется господством соответствующего миросозерцания; при переходе из одного периода в другой изменяются понемногу, вместе с миросозерцанием, все идеи, учреждения, обычаи, нравы и вкусы.

Конт полагает, что Западная Европа пришла к концу метафизического периода и стоит на рубеже положительной фазы; вся безалаберщина умственного, нравственного и политического мира объясняется, по мнению Конта, смешением и хаотическою борьбою теологических, метафизических и положительных элементов. Безалаберщина эта прекратится и борьба окончится благополучно только тогда, когда положительные элементы окончательно одолеют своих противников и совершенно утвердят свое господство над обществом. Поэтому задача всех искренних друзей человечества состоит именно в том, чтобы всеми силами содействовать этой окончательной победе тех элементов, которые одни заключают в себе способность долговечности и беспредельного совершенствования. Ввести человечество в положительную фазу значит приучить всех людей к положительному объяснению всех явлений природы. Для этого надо, очевидно, свести в одну цельную философскую доктрину все главные результаты строго научных исследований и потом из этой доктрины выработать систему общественного воспитания, направленную к самому широкому распространению всех добытых и сгруппированных знаний.

Взглянувши с этой точки зрения на общественную задачу нашего времени, Конт в своем капитальном труде «Cours de philosophie positive» («Курс положительной философии») представил ту основную доктрину, на которой должно быть построено новое общественное образование[5] Книга Конта заключает в себе шесть больших томов: в первом, после общего введения, излагается математическая философия; во втором — астрономическая и физическая философия; в третьем — химическая и биологическая философия; в четвертом — догматическая часть общественной физики; в пятом — историческая часть общественной физики; в шестом — окончание исторической части и общее заключение.

Завершив свой громадный труд, Конт не сумел остановиться вовремя и повредил своему собственному делу на-

столько, насколько отдельная личность может повредить такому делу, в котором заинтересовано все человечество. Конт доказал себе и другим почти с математическою точностью, что положительное или строго реальное образование составляет самую важную потребность современных обществ,— такую потребность, от удовлетворения которой зависит решение всех остальных общественных задач. Конт установил далее ту философскую доктрину, которая должна сделаться основою общественного образования. Этими трудами теоретическая сторона дела оказывается законченною. Затем Конту надо было устремить все свои силы на то, чтобы теория воплотилась в жизни; надо было перейти к практической стороне дела; надо было всевозможными средствами действовать на общественное мнение до тех пор, пока необходимость нового образования не вошла бы глубоко и окончательно в сознание заинтересованных обществ. А потом надо было ждать, пока новое образование принесет свои результаты. Ждать пришлось бы долго; по всей вероятности, пришлось бы даже умереть, не дождавшись со стороны общества сильных проявлений умственной возмужалости и полноправности; но делать все-таки было нечего; только сама нация, доразвивавшаяся до положительного миросозерцания, может дать вполне удовлетворительное решение всем общественным задачам, поставленным ей различными обстоятельствами ее исторического существования. В какую сторону и какими средствами решит она эти задачи — это уже ее дело. Ни один мыслитель в мире не может и не должен присвоивать себе право решать эти задачи заранее изолированными силами своего личного ума, потому что нет и не может быть на свете такого гения, который один, сам по себе, был бы умнее целой нации, когда все силы этой нации развернуты и пущены в ход положительным образованием. Конт упустил из виду эту простую истину. Он вообразил себе, что его индивидуальный ум может заменить собою в решении общественной задачи коллективный ум целой нации или даже всего человечества. Он вообразил себе, что может сам предусмотреть, определить и начертить ту политическую и социальную программу, до которой додумается коллективный ум, просвещенный и укрепленный положительным образованием. Получилось, конечно, полное и печальное фиаско. Конт вдался в произвольные умствования, изменил своей собственной строго научной методе,

написал *Положительную Политику*[6], в которой нет ничего положительного, создал новую религию, которая одним ни на что не нужна, а других не может удовлетворить, провозгласил себя *первосвященником человечества* (Grand prêtre de l'humanité) и наконец умер, оставив после себя горсть верующих адептов, которые своими наивными поступками и плоскими догматическими трактатами продолжают до сих пор, по мере сил, доставлять *обильную пищу* насмешкам всех реакционеров и *метафизиков,* чувствующих глубокую и сознательную ненависть к основным, великим и плодотворным идеям *Положительной философии.*

Наивные обожатели Конта как основателя религии и как первосвященника человечества должны, конечно, скоро затеряться в несметной толпе различных, более или менее эксцентрических сект. Но, кроме этих наивных обожателей, у Конта есть еще мыслящие ученики, которые, глубоко понимая, уважая и стараясь распространять идеи *Положительной философии,* видят в то же время в *Положительной Политике* и во всех дальнейших подвигах Конта печальные, хотя естественные заблуждения великого ума, прельщенного и ослепленного своею собственною великостью. Провозгласивши себя папою позитивизма, Конт отринул и отлучил от своей церкви этих неверующих учеников, но нетрудно понять, что успех и дальнейшее развитие контовских идей зависят именно от них, а не от простодушных адептов. Во главе разумных последователей Конта стоит в настоящее время во Франции известный ученый Литтре. В Англии успеху контовских идей содействует в значительной степени Джон Стюарт Милль, сумевший оценить Конта тогда, когда Конт, только что выпустивший в свет первые томы своей *Положительной философии,* был еще совершенно неизвестен. Репутация Конта растет; *Положительная философия* в прошлом году вышла в свет вторым изданием; о позитивизме (т. е. о философской школе, а не о религиозной секте) говорят в журнальных статьях и в отдельных книгах. Главный боец позитивизма, Литтре, работает неутомимо, и некоторые из самых крупных мыслителей Франции и Англии, Тен, Вашро, Герберт Спенсер[7], считают нужным подвергать его работы подробной и внимательной критике.— Словом, дело Конта подвигается вперед, но если, например, принять в соображение ту быстроту, с которою имена и мысли Бокля и Дарвина[8] облетели в последнее время весь образованный мир, то надо будет соз-

наться, что дело Конта подвигается вперед с изумительною медленностью. В Германии Конт до сих пор известен очень мало; еще в 1862 году Бюхнер[9], познакомившись с Контом по книге верующего адепта Констан-Ребека[10], отзывался о творце *Положительной философии* благосклонно-покровительственным тоном, как о добродушном, смелом и честном, но довольно ограниченном и чудаковатом мечтателе. Россия до сих пор не имеет о Конте никакого понятия, несмотря на то, что мы в последнее десятилетие следили довольно внимательно за всеми движениями европейской мысли.

Причины той поразительной медленности, с которою распространяются идеи Конта, заключаются, по моему мнению, во-первых, в особенных свойствах самого *Курса положительной философии* и, во-вторых, в непрактичности контовских учеников и популяризаторов.— *Курс положительной философии* не доступен большинству читающего общества ни по цене, ни по объему, ни по содержанию, ни по изложению. Стоит он 45 франков; у нас, в России, больше 12 руб<лей>. Это раз. Заключает он в себе шесть больших томов, т. е. гораздо больше 3000 страниц довольно мелкой печати; надо быть очень неустрашимым любителем чтения, чтобы не почувствовать сильного замирания сердца при виде этой груды печатной бумаги. Это два. Обыкновенный читатель, получивший наше общее литературное образование, начинает рассматривать *Курс положительной философии* и замечает, к крайнему своему огорчению, что первые три тома этой книги составляют для него тарабарскую грамоту; в самом деле, прошу покорно наслаждаться чтением математической, физической и астрономической философии, когда решение квадратных уравнений составляет крайний предел вашей математической премудрости, когда даже эта премудрость, от недостатка упражнения, давно успела изгладиться из вашей памяти. Это три. Наконец, обыкновенный читатель пробует начать чтение прямо с четвертого тома, но и тут становится в тупик. Для тех людей, для которых исторические сочинения Маколея, Шлоссера или Мишле составляют серьезное чтение и для которых Гизо и Бокль являются в виде nec plus ultra[11] головоломности, для тех людей, говорю я, Огюст Конт оказывается совершенно неудобочитаемым. Представьте себе, что в *исторической* ча-

сти общественной физики вы не встретите *почти ни одного* собственного имени; все изложение идет чисто отвлеченным путем; вы имеете перед собою анализ идей и учреждений, без малейшего упоминания об известных вам исторических деятелях, народах и событиях; при этом язык Конта постоянно до такой степени сух, ровен, бесстрастен и однообразен, что вы легко можете принять его философию истории за какую-нибудь диссертацию о конических сечениях; недостает только чертежей и алгебраических формул; если вы сравните его математическую философию с историческою частью общественной физики, то в изложении, в языке вы не заметите ни малейшей разницы. Это четыре. Читатель согласится, что этих четырех обстоятельств слишком достаточно, чтобы удержать большинство образованного общества в почтительном отдалении от *Курса положительной философии.* Но именно тут-то и начинается обязанность популяризаторов. Если в каких-нибудь темных подземельях, недоступных для наших легкомысленных ближних, хранятся за тяжелыми запорами необъятные сокровища мысли, то именно популяризаторы обязаны вооружиться храбростью и терпением, сойти в подземелья, сбить прочь тяжелые запоры и вынести по частям на свет божий затаившиеся драгоценности. Однако ни Литтре, ни Милль не поступают таким образом. Они живут в подземелье, как у себя на квартире, составляют там каталоги всем скрытым богатствам и приглашают своих читателей спускаться вслед за ними и знакомиться с драгоценностями в том месте, в котором они находятся до сих пор.

Пока популяризаторы будут держаться подобной тактики, до тех пор идеи Конта будут оставаться для общества мертвым капиталом. Литтре в 1863 году издал очень хорошую и довольно большую книгу под заглавием «Auguste Comte et la Philosophie positive»[12]. Милль в нынешнем году поместил в «Westminster Review» две превосходные статьи о философской деятельности Конта[13] И Литтре, и Милль говорят единогласно, что самые замечательные и плодотворные мысли Конта заключаются в исторической части общественной физики и что Конт именно только в этой части является истинно оригинальным и совершенно независимым от трудов прежних мыслителей. Между тем ни Милль, ни Литтре даже не дела-

ют попытки изложить читателям содержание этой самой замечательной части; оба они отсылают читателя к книге самого Конта. Но что читатель их не послушается, в этом не может быть никакого сомнения. В доказательство этой мысли привожу следующий факт. Французский публицист Dupont-White[14] поместил в «Revue des deux Mondes» за нынешний год две статьи о позитивизме по поводу книги Литтре. Когда человек берется рассуждать о философской доктрине печатно, тогда, я думаю, можно ожидать от него, что он обратится к подлинным источникам этой доктрины и познакомится с нею по сочинениям самого основателя. Однако не тут-то было. Dupont-White преспокойно удовлетворился книгою Литтре и, основываясь на ней, толкует о позитивизме вкривь и вкось, то есть именно так, как может толковать о кунсткамере человек, не заметивший в ней слона. Если люди, имеющие претензию философствовать печатно, продолжают питать к сочинениям Конта почтительную робость, несмотря на все заманчивые приглашения Литтре и Милля, то нетрудно себе представить, как мало подействуют эти приглашения на обыкновенных читателей.

Оставляя в стороне исторические идеи Конта, Литтре и Милль рассуждают очень пространно о положительном методе вообще, о классификации наук, о разделении их на абстрактные и конкретные, о взгляде Конта на психологию и на политическую экономию, и так далее. Принимаясь знакомить с Контом русских читателей, я считаю полезным поступить как раз наоборот. О положительном методе, о классификации наук и так далее я не скажу ни одного слова, потому что, в самом деле, какой интерес могут иметь для наших читателей философские рассуждения о методе и о классификации таких наук, о которых эти читатели имеют самые смутные понятия и с которыми журнал, при всем своем добром желании, никак не может их познакомить, если только он не хочет превратиться в собрание элементарных учебников. Напротив того, на исторические идеи Конта, о которых молчат Литтре и Милль, я обращу все мое внимание, и если мне удастся выполнить мою задачу удовлетворительно, то я смею надеяться, что Россия узнает и оценит Конта гораздо точнее, чем ценит и знает его в настоящее время Западная Европа.

I

Дикарь невольно объясняет себе всевозможные явления природы тем самым процессом, каким обусловливаются в его глазах его собственные поступки. Он знает по ежеминутному опыту, что каждому его движению предшествует всегда желание сделать это движение. Он садится, потому что *хочет* сесть, берет в руки палку, потому что *хочет* ее взять, бьет свою жену, потому что *хочет* ее бить, и так далее. Причину каждого из своих действий он понимает; причины же всех окружающих явлений требуется угадать; очень естественно, что это угадывание на первый раз будет состоять в простом подкладывании под каждое явление такой же точно причины, какая объясняет собою собственные телодвижения философствующего дикаря. Молния разбила дерево. Почему она его разбила? Потому что *хотела* разбить. Ураган разметал шалаш дикаря: почему? Потому что *хотел* сделать дикарю неприятность. Как только дикарь начинает задавать себе вопросы *«почему?»*, так он непременно начинает отвечать на них именно таким образом, и всякие другие ответы сначала оказываются радикально невозможными, потому что сначала он, путем непосредственного внутреннего чувства, знает только самого себя и кроме самого себя не знает ровно ничего. Так как молния и ураган делают такие штуки, которые самому дикарю приходятся не под силу, и так как все их штуки, по мнению дикаря, вытекают из определенных желаний, то, очевидно, молния и ураган оказываются живыми существами, которые настолько же сильнее дикаря, насколько их штуки превышают его личные подвиги. К этим сильным существам дикарь становится в известные почтительные отношения; он старается задобрить их просьбами и подарками. Он надеется, посредством разных любезностей, направлять волю этих сильных существ сообразно с своими личными расчетами и внушать им такие желания, которые вели бы за собою, с их стороны, поступки, соответствующие его выгодам. Одним словом, начинается известное обоготворение явлений и сил природы, органических и неорганических. Человек вступает в теологический период развития.

Первобытные приемы теологического философствования не только естественны и неизбежны, но еще, кроме того, чрезвычайно полезны и необходимы. Без них дальнейшее умственное развитие дикого человечества было

бы совершенно невозможно. Развиваться — значит постепенно прокладывать себе путь к верному пониманию той связи, которая существует между явлениями природы. Чтобы приближаться к этому верному пониманию, надо собирать наблюдения. А такие наблюдения, которые могут пригодиться для общих выводов, возможны только тогда, когда наблюдатель смотрит на явления с какой-нибудь определенной точки зрения, то есть когда он подходит к явлению с какою-нибудь уже готовою теориею.

Эта последняя мысль, конечно, изумляет читателя, привыкшего думать, что за наблюдения следует, напротив того, приниматься без всяких предвзятых идей. Предвзятые идеи действительно вредны, когда они мешают нашей искренности, то есть когда мы, любя эти идеи, стараемся, во что бы то ни стало, увидать их оправдание в действительности, которая на самом деле нисколько им не соответствует. Если мы, таким образом, умышленно закрываем глаза, то, разумеется, мы становимся плохими наблюдателями. Но мешает нам в этом случае не предвзятая *теория,* а наше нелепое *пристрастие* к этой теории. Теория же сама по себе только помогает нам наблюдать; стараясь убедиться в том, верна ли теория или нет, мы обращаем внимание на те стороны явлений, к которым наша теория имеет какое-нибудь отношение. Каждое явление природы само по себе так сложно, что мы никак не можем охватить его разом со всех сторон; когда мы приступаем к явлению без всякой теории, то мы решительно не знаем, на какую сторону явления следует смотреть. Явление мозолит нам глаза и все-таки не пробуждает в нашем уме никакой определенной мысли. Если же у нас составлена какая-нибудь фантастическая теория, то явление прежде всего разрушает ее и вслед за тем заставляет нас построить немедленно новую теорию, которая при вторичном наблюдении, по всей вероятности, также развалится и заменится третьею теориею, такой же непрочною, как и обе первые. Каждая из наших догадок оказалась несостоятельною именно потому, что в объясняемом явлении есть какие-нибудь признаки, несогласные с этими догадками. Стало быть, убеждаясь в несостоятельности наших догадок, мы каждый раз узнаем новые признаки, которые без этих догадок остались бы нам неизвестными. Отбрасывая одну догадку за другой, мы, наконец, доходим до верного решения задачи, если задача разрешима; или же убеждаемся в необходимости прекратить

наши поиски, если вопрос наш, по самой сущности своей, не допускает ответа.

Итак, для собирания наблюдений дикарю необходима теория; разумной теории он составить себе не может, потому что разумная теория составляется на основании наблюдений; но у него свои догадки, составленные невольною и естественною деятельностью его воображения, и эти жалкие, нелепые догадки являются для него той необходимою ниткою, на которую он нанизывает свои наблюдения. При своих несложных материальных потребностях дикарь не может интересоваться всеми окружающими животными, растениями и минералами, как полезными предметами; огромное большинство этих предметов не приносит ему ни малейшей пользы и также не может сделаться для него ни вредным, ни опасным; бескорыстной любознательности, воодушевляющей наших натуралистов, у дикаря быть не может; поэтому ясно, что он остался бы навсегда безучастным к окружающему миру, если бы его живая фантазия не заставляла его в каждом ручье, в каждом дереве, в каждой ящерице или лягушке, усматривать присутствие какой-нибудь особенной, великой и таинственной силы, которая может оказывать на его жизнь и на все его различные предприятия гибельное или благодетельное влияние. Лягушка, как простая лягушка, была бы оставлена без внимания; но лягушка, превращенная фантазией дикаря в высшее существо, становится интересной и достойной изучения. Фантазия выталкивает дикаря из его умственной апатии; фантазия создает теологическое объяснение природы, и только одна фантазия может дать человеческому уму тот первый необходимый толчок, без которого летаргический сон человеческой мысли навсегда остался бы ненарушенным.

Дикарь — существо очень бессильное, беззащитное и несчастное. Каждый ливень промачивает его до костей; каждая буря разносит вдребезги его хижину; каждая неблагоприятная перемена погоды поражает его в источниках его существования и может осудить его на голодную смерть; многие хищные звери далеко превосходят его быстротою, силою мускулов и опасным могуществом естественного оружия; в борьбе с такими зверями дикарь обыкновенно остается побежденным; законов природы он не знает и поэтому не может направить почти ни одного явления так, как того требуют его материальные интересы. Я говорю *почти,* потому что на самом деле все извест-

ные нам дикари все-таки умеют по крайней мере развести огонь или приготовить себе какое-нибудь оружие, посуду, одежду. Конечно, и это уменье было приобретено ими не вдруг; было время, когда они были еще невежественнее и, следовательно, еще несчастнее. Но об этом времени мы не можем составить себе никакого определенного понятия; поэтому незачем нам и забираться в такую недосягаемую глубину древности и умственной беспомощности.

Если бы дикарь смотрел на свое собственное положение совершенно трезвыми глазами, если бы он мог отдавать себе ясный отчет в своем собственном бессилии, если бы он мог измерить своим умом всю глубину своего хронического несчастья, то, без сомнения, у него опустились бы руки и он погрузился бы в такое безвыходное уныние, которое совершенно парализировало бы всю его деятельность и очень скоро положило бы конец его существованию. Но тут опять подоспевает к нему на выручку его пылкое воображение. Он твердо уверен в том, что, при помощи различных заклинаний, приношений и манипуляций, он, по своему благоусмотрению, может ворочать всеми силами органической и неорганической природы. Эта уверенность, конечно, обманывает его на каждом шагу, но эти ежеминутные разочарования объясняются в его глазах тем, что он в своих заклинаниях и манипуляциях сделал случайную ошибку, от которой он на будущее время постарается уберечься. Надежда задобрить силы природы остается в полной неприкосновенности, потому что убить эту надежду может только идея незыблемых естественных законов, а до этой идеи очень далеко не только дикарям, но и многим цивилизованным европейцам. Чем слабее и невежественнее дикарь, тем размашистее его надежды; таким образом, бодрость его поддерживается его иллюзиями тогда, когда она не может основываться на сознании действительного господства над силами природы. Обращаясь к своим воображаемым покровителям с просьбою о прямом содействии в каком-нибудь житейском предприятии, дикарь сильно и чистосердечно верит в исполнимость своего желания, преимущественно потому, что для него еще не существует понятие о *чуде* как о нарушении общего закона и как о необыкновенном вмешательстве сверхъестественных сил в обыкновенные земные события. Чтобы составить себе понятие о чуде, надо сначала сколько-нибудь освоиться с понятием о законе, потому что где нет никаких общих

правил, там не может быть и никаких исключений. Где все управляется произволом и страстями личностей, там прямое вмешательство личности в пользу своего любимца оказывается в порядке вещей и не заключает в себе ровно ничего удивительного. Когда самые простые и обыденные явления объясняются волею и деятельностью таинственных покровителей, тогда и самое очевидное нарушение в обыкновенном порядке этих явлений никому не должно казаться особенно удивительным. Представьте себе, например, что в один прекрасный день солнце после полудня, вместо того чтобы направляться к западу, поворотило назад на восток и к вечеру скрылось под горизонтом на том самом месте, на котором оно взошло утром. Поразительнее и ужаснее этого чуда трудно что-нибудь придумать. Во всех образованных странах нашей планеты такое чудо произвело бы панический страх, о котором невозможно составить себе даже приблизительное понятие. Все жители этих образованных государств поняли бы, что в движении земли произошла какая-то существенная перемена, вследствие которой можно ежеминутно ожидать столкновения нашей планеты с другими небесными телами. Панический страх оказался бы тем сильнее, что он распространился бы сверху вниз, из образованных классов в массу, которая вследствие этого ниоткуда не могла бы ожидать себе успокоения и вразумления. Напротив того, на совершенно дикий народ, находящийся под исключительным господством теологической философии, поворот солнца к востоку произвел бы довольно слабое впечатление. Дикари, конечно, заметили бы это явление, потому что не заметить его невозможно, но они вряд ли почувствовали бы особенно сильное беспокойство. Они вообразили бы, что солнечному богу понадобилось зачем-нибудь воротиться поскорее домой, сочинили бы по этому случаю какой-нибудь более или менее замысловатый миф и совершенно успокоились бы на этом остроумном объяснении. Можно сказать наверное, что вулканическое извержение или даже сильная буря с грозою и с градом подействовали бы на воображение дикарей гораздо более потрясающим образом, чем такое очевидное нарушение самых важных и общеизвестных законов природы.— В невежестве дикарей заключается как их слабость, так и та сила, которая дает им возможность вырваться из этого невежества. Слабость состоит в неумении действовать на природу; а сила — в умении надеяться

и этими фантастическими надеждами поддерживать нравственную бодрость, для которой в данном периоде развития не может быть никакой другой более реальной опоры.

II

Самая первобытная и грубая форма мифической философии называется *фетишизмом* и состоит в прямом и непосредственном одушевлении и обоготворении всех видимых явлений и предметов окружающей природы. Все, что обнаруживает самостоятельное движение или издает из себя звуки, становится в глазах дикаря живым существом; первая волынка, которую увидели негры, первый европейский корабль, первое ружье, первые часы были для них животными, более или менее сильными, страшными и опасными; естественные явления, конечно, объясняются точно таким же образом, так что в идеях чистого фетишиста нет качественных разграничений между стихийным и органическим миром, между растением и животным, между животным и человеком, между человеком и божеством. Весь мир фетишиста проникнут одним животворящим принципом, тем самым принципом, которого присутствие он чувствует в своем собственном теле. Видя свое собственное *я* во всем, что его окружает, фетишист, с одной стороны, относится к животным так, как он относился бы к существам, способным понимать его, а с другой стороны, обращается с своими богами так непочтительно, как он мог бы обходиться с равным себе человеком. Так, например, каффры, охотясь за слоном, кричат ему для смягчения его гнева: «Не убивай нас, великий предводитель, не наступи на нас, могущественный предводитель!» О льве рассказывают в Сенегамбии[15], что он из любезности не нападает на женщин и что он вообще не трогает тех людей, которые вежливо с ним раскланиваются. О каймане рассказывают, также в Сенегамбии, что он собирает в известные дни своих родных и знакомых и делит с ними добычу в особых собраниях, в которых председательствует старший и знатнейший из кайманов* Убивая какое-нибудь сильное животное, негр бо

* Waitz. «Anthropologie der Naturvölker». Band II. S. 178—179[16]

ится, что ему будут мстить родственники убитого, подобно тому, как это делается в мире людей.

Уравнивая себя с животными, фетишист уравнивает себя также и с богами. Он боится своих богов, но в то же время и сам считает возможным внушать им страх; он действует на них не только просьбами и подарками, но и угрозами, и телесными наказаниями, когда они ведут себя в отношении к нему чересчур невнимательно. Известно, например, что тунгусы, калмыки, камчадалы и некоторые другие сибирские инородцы секут своих идолов, когда не получают от них желаемой помощи. Негры, живущие по берегам Белого Нила, питают к своим царям религиозное уважение, которое, однако, имеет для этих царей свою очень невыгодную сторону: эти негры приписывают своим царям способность управлять погодою и поэтому убивают их в случае засухи за неискусное или злонамеренное управление. Фелупы, живущие по реке Гамбии, считают своих царей за богов или, по крайней мере, за всесильных чародеев и вследствие этого за каждое народное несчастие подвергают их телесному наказанию.

Фетишист видит богов на каждом шагу и вследствие этого обращается с ними запросто. Его окружают со всех сторон таинственные силы и капризные воли, но ежеминутные столкновения с этими волями и силами вовсе не производят на него того потрясающего впечатления, которое испытывает на себе более развитой человек при встрече с тем, что кажется ему сверхъестественным. Вся жизнь фетишиста составляет одну беспрерывную галлюцинацию, в которой неопределенный страх и беспричинная надежда ежеминутно чередуются между собою, возникая и пропадая по поводу каждого ничтожнейшего события. Теологическое объяснение предмета неразлучно для фетишиста с первым взглядом на этот предмет; творческая фантазия работает одновременно с органами чувств; миф готов тотчас, как только явление обратило на себя внимание; поэтому можно сказать почти безошибочно, что фетишист действительно видит и слышит все то, что создает его воображение; он ничего не выдумывает нарочно; процесс выдумывания совершается у него так же непосредственно и непроизвольно, как совершается в нашем мозгу суждение о расстоянии и о величине тех предметов, которые попадаются нам на глаза. Он не может смотреть на вещи, не пускаясь в теологические философствования; поэтому ясно, что теологическая филосо-

фия в период фетишизма господствует над человеческим умом с более неотразимою силою, чем во все последующие фазы исторического развития. С одной стороны, эта первобытная форма теологической философии доступна не только людям, но и высшим животным, например, обезьянам, лошадям и собакам; а с другой стороны, пантеизм Спинозы и Гете не что иное, как фетишизм, превращенный в стройную философскую систему.

Это изумительное соприкосновение величайших мыслителей с зоологическим миром доказывает самым убедительным образом, что в объяснении причин и сущности видимых явлений наш ум с самых первых дней своего младенчества не может подвинуться вперед ни на один шаг. Как только мы сходим с положительной почвы, то есть как только мы забываем, что мы можем изучать с успехом только связь и соотношения между видимыми явлениями, а не причины и сущность этих явлений, так мы тотчас, думая создать что-нибудь новое, воспроизводим миросозерцание бушменов и лошадей. Если вас очень озадачивает мысль о том, что животные философствуют и находятся в фазе фетишизма, то потрудитесь, например, пустить по полу волчок в присутствии молодого и впечатлительного щенка. Вы увидите, что щенок начнет кидаться на него, лаять, визжать, отскакивать от него прочь со всеми признаками ужаса, изумления и негодования; словом, будет вести себя совершенно так, как бы он вел себя при столкновении с живым существом, от которого можно ожидать себе неприятности и которое можно запугать лаем и другими шумными выражениями храбрости. Очевидно, щенок видит в волчке живое существо, то есть объясняет себе всякое движение тем самым началом жизни, которое он чувствует в собственном теле. Человек до такой степени хорошо знает фетишизм животных, что он на этом философском методе их строит даже для медведя ловушку, замечательную по своей простоте. Над ульем вешают толстый чурбан, так, чтобы он закрывал отверстие улья. Медведь приходит за медом и отодвигает чурбан в сторону; чурбан возвращается назад и толкает медведя в морду; медведь с некоторою досадою отбрасывает его прочь; чурбан опять возвращается на свое место и на этот раз уже довольно сильно поражает медвежью физиономию; медведь свирепеет, и, разумеется, чем больше он горячится, чем беспощаднее он колотит чурбан своими лапами, тем оглушительнее становятся те уда-

ры, которые сыпятся на его собственную морду. Кончается тем, что ошеломленный медведь сваливается с того дерева, на котором находится улей. Отчего же медведь так нерассудительно воюет с бесчувственным чурбаном? Именно оттого, что медведь, как фетишист, не наблюдает, а философствует и видит в движущемся и колотящем чурбане задорное живое существо, которое следует унять и зашибить до смерти.

Огюст Конт полагает даже, что некоторые избранные животные (quelques animaux choisis) могут даже, при соприкосновении с человеком, возвыситься до слабого начала политеизма (un faible commencement de polytheisme), но так как Конт оставляет эту мысль недоказанною и необъясненною, то я решительно не знаю, на чем он основывает свое предположение, и никак не могу поручиться за то, чтобы между животными действительно существовали политеисты. Хотя политеизм повсеместно развивался из фетишизма, однако разница между этими двумя формами мифической философии до такой степени значительна, что с первого взгляда историку трудно даже понять, каким образом эти две почти противоположные системы могут находиться между собою в прямой, преемственной связи. У фетишиста вся материя живет своею собственною, внутреннею жизнью; у политеиста, напротив того, материя становится пассивным орудием невидимых существ, не привязанных к определенному месту; фетишист, например, прямо одушевляет и обоготворяет реку, то есть массу текущей воды; политеист, напротив того, представляет себе, что масса воды, на которую он смотрит как на простую воду, находится под управлением особенного невидимого бога, живущего обыкновенно в реке, как в своем царстве, но способного также путешествовать по всему миру. В поэмах Гомера действуют настоящие боги политеизма, принимающие на себя образ человека тогда, когда они вступают в сношения с людьми; но в «Илиаде» появляется также и чистый фетиш, как остаток более древнего периода; именно, за Ахиллесом гонится река Скамандр, сочувствующая троянцам. Скамандр гонится за Ахиллесом не в виде человека, не с копьем или с мечом в руке, а в виде реки; он хочет не заколоть или изрубить греческого героя, а потопить его в своих волнах; здесь действует именно разъярившаяся стихия, а не бог, управляющий этой стихией.

Спрашивается теперь, каким же образом мог совершиться переход от прямого обоготворения материи к ее подчинению высшим и невидимым существам? — Этот переход, самый важный и самый трудный во всей истории человеческой мысли, обусловливается теми простейшими и естественными наблюдениями и сообщениями, которые непременно должен делать на каждом шагу самый слабый и неразвитой человеческий ум. Входя ежедневно в дубовую рощу, дикарь непременно должен наконец заметить, что все деревья этой рощи до некоторой степени похожи между собою; гоняясь ежедневно за буйволами или за оленями, дикарь непременно должен наконец заметить, что все олени или все буйволы имеют приблизительно одни и те же ухватки и привычки. Не зная никаких объяснений, кроме теологических, дикарь, очевидно, принужден объяснять себе замеченное сходство тем обстоятельством, что все дубы находятся под управлением одного бога, все олени повинуются приказаниям другого, все буйволы признают над собою господство третьего. Все отдельные дубы, буйволы и олени через это еще не перестанут тотчас быть фетишами; над ними установится только вторая инстанция богов, к которым можно будет обращаться с жалобами и просьбами и которые вследствие этого отнимут понемногу у подчиненных фетишей всякое значение божественности. Миросозерцание теперешних негров находится именно на рубеже между полным фетишизмом и чистым политеизмом. Каждый горшок и каждый камушек могут сделаться для негра предметом обожания, и в то же самое время у негра есть высшие, невидимые боги, и у некоторых племен, не имевших еще никаких постоянных сношений ни с магометанами, ни с европейскими миссионерами, есть даже понятие о творце всей вселенной. Кроме того, мы можем заметить в греческой мифологии, составляющей известный тип самого богатого и развитого политеизма, ясные следы древнего фетишизма; во-первых, к числу чистых фетишей принадлежат *океан* и *земля*, которые постоянно остаются стихиями и не принимают на себя человеческого образа. Во-вторых, такими же чистыми фетишами оказываются домашние боги, лары и пенаты, которых божественность была привязана наглухо к куску дерева, камня или глины.

Из этих примеров видно, что переход от фетишизма к политеизму совершается чрезвычайно медленно и что фетиши очень долго и упорно отстаивают свое существова-

ние. Будучи гораздо малочисленнее фетишей и заведуя гораздо более обширными департаментами, боги политеизма гораздо меньше фетишей вмешиваются в события вседневной человеческой жизни. Бóльшая часть мелких ежедневных событий совершается, по мнению политеиста, сама собою и складывается сообразно с обыкновенными свойствами окружающих предметов. Если, например, глиняный горшок, падая на пол, разбивается, то политеист не приписывает этого события высшим силам, а видит в нем естественный результат столкновения между твердым деревом и хрупкою глиною; таким образом, естественный элемент отделяется от сверхестественного; образуется понятие о свойствах вещества и о законах, по которым совершаются обыкновенно различные явления; вместе с тем возникает понятие о *чуде,* которое для фетишиста не существовало и которое становится возможным только тогда, когда боги не окружают смертного со всех сторон и не вмешиваются ежеминутно в каждое событие его жизни. У фетишиста вмешательство богов было правилом; у политеиста оно становится исключением, довольно частым, но тем не менее изумительным. Чтобы, таким образом, отвыкнуть понемногу от ежеминутных и повсеместных соприкосновений с богами, фетишисту надо было, очевидно, направить сначала свое обожание на такие предметы, которые, хотя и видимы, однако по своей отдаленности не могут иметь с своими поклонниками никаких коротких отношений. Такими предметами оказываются для фетишистов небесные тела. Сабеизм[17] или поклонение звездам (astrolâtrie) составляет обыкновенно естественный переход от фетишизма к политеизму, потому что, поклоняясь небесным телам, далеким и недоступным, фетишист сам хорошенько не знает, чему именно он кланяется: обоготворенной звезде или же невидимому существу, управляющему этой звездой. Разница между фетишем и богом становится здесь нечувствительной. Привыкнув поклоняться звездам, люди уже без особенного труда освоиваются с понятием о далеких и невидимых богах, не имеющих определенного местопребывания. С этого времени появляются первые признаки метафизического мышления, потому что политеисту приходится, во-первых, олицетворять и обоготворять отвлеченные понятия, а во-вторых, воображать себе в каждом отдельном предмете отвлеченное свойство, образующее таинственную связь между этим неодушевленным предметом и высшим, сверхъестественным существом, в котором заключается причина движения и жизни.

III

Умственное развитие человечества начинается с теологических объяснений природы; политическое развитие человечества начинается с военных предприятий; как в области мысли, так и в области практической жизни первобытному человеку ненавистен правильный и терпеливый труд, ведущий за собою медленное, но верное приобретение знаний или богатств. В области мысли первобытный человек умеет только фантазировать, то есть давать совершенно произвольные толкования таким явлениям, в которые он не в силах вглядываться и вдумываться; в области материальных интересов первобытный человек умеет только отнимать у других те предметы, в которых он нуждается. Так как эти *другие* в ранние эпохи доисторической жизни отличаются точно такими же вкусами и способностями, так как они точно так же ненавидят труд и любят грабеж, то, очевидно, первобытным людям почти нечего и грабить друг у друга. У них нет почти ничего, кроме собственного тела; поэтому они и стараются отнимать друг у друга это единственное достояние. Победитель обыкновенно убивает и съедает побежденного врага. Длинный ряд столетий тратится таким образом на истребительные войны людей как между собою, так и с дикими животными родных лесов. В этой суровой школе бесчеловечной войны и кровожадной охоты совершается первоначальное политическое воспитание нашей породы. Воспитание это заключается в том, что дикие фетишисты приучаются соединять в общих предприятиях свои индивидуальные силы. Эти общие предприятия в то время могут быть только военными. Когда разделение труда не существует, когда каждый взрослый человек доставляет собственными усилиями себе и своему семейству все, что необходимо для поддержания жизни, и когда вся экономическая деятельность взрослого заключается только в убивании, обдирании и разрезывании диких животных, тогда, очевидно, отдельные личности составляют общество и подчиняются какой-нибудь власти только затем, чтобы отразить постороннее насилие, или же затем, чтобы с полным успехом ограбить и передушить своих соседей. Эта первобытная ассоциация разбойников и людоедов относится к цивилизованному обществу так точно, как первобытные фантазии фетишиста относятся к миросозерцанию современного естествоиспытателя.

Как разбойничья ассоциация, так и грубый фетишизм, при всем своем крайнем безобразии, составляют две совершенно необходимые и единственно возможные исходные точки всего дальнейшего развития, с одной стороны — политического, с другой стороны — умственного. Члены цивилизованного общества связаны между собою своими потребностями, которые могут находить себе удовлетворение только в обществе; но эти потребности, как материальные, так и нравственные, возникают и укрепляются в человеке только тогда, когда он живет в обществе; у дикаря потребности очень несложны, и он умеет удовлетворять их без посторонней помощи; стало быть, втянуть дикаря в общество могут только чувство самосохранения и хищные влечения; то есть оборонительная и наступательная войны составляют неизбежную, хотя и непохвальную, цель всякого первобытного общества.

Как в отношении к умственному, так и в отношении к политическому развитию дикарь при самом начале своего поприща попадает в заколдованный круг (cercle vicieux), который разбивается в первом случае теологическою философиею, а во втором — воинственными инстинктами. В деле умственного развития вопрос ставится так: чтобы наблюдать, нужна теория; а чтобы составить теорию, нужны наблюдения. Теологическая философия выводит человека из этого затруднения, давая ему готовую теорию, составленную силою фантазии, помимо наблюдения. В деле политического развития вопрос ставится следующим образом: чтобы войти в общество, надо чувствовать известные потребности, а чтобы воспитать в себе эти потребности, надо сначала пожить в обществе. Воинственные инстинкты устраняют это затруднение, составляя хищные шайки из тех людей, которые еще неспособны смотреть на общество как на ассоциацию производителей и потребителей. Соединившись в хищные шайки, дикари переходят понемногу от охотничьей жизни к пастушеской и от пастушеской к земледельческой. Каким образом совершаются эти переходы, то есть какой побудительной причиной они обусловливаются и какие обстоятельства наводят дикарей на плодотворную мысль приручать животных и разводить хлебные растения — этого мы, по всей вероятности, никогда не узнаем. По этим вопросам возможны только предположения, не допускающие никакой обстоятельной поверки. О том, как совершились эти переходы у теперешних цивилизованных на-

родов, мы, конечно, не имеем и не можем иметь никаких исторических сведений. Прямые наблюдения над теперешними дикарями также не могут дать нам на эти вопросы никаких точных ответов. В территориях, принадлежащих Северо-Американским штатам, некоторые индейские племена переходят, конечно, от бродячей, охотничьей жизни к оседлому, земледельческому быту; изучить причины и условия этих переходов очень удобно; но к чему же приведет это изучение? Эти индейцы находятся в соприкосновении с иностранною высокоразвитою цивилизациею; именно влияние этой цивилизации заставляет их переходить от одного быта к другому; эта же самая цивилизация дает им в готовом виде те знания, те семена и те орудия, которые необходимы для перехода. Словом, в задачу введен новый элемент, который изменяет ее так радикально, что самое тщательное изучение *этой* задачи нисколько не может подвинуть нас вперед в вопросе о том, как совершались переходы в жизни дикарей, не имевших соприкосновений с высшими цивилизациями. Если же отправиться в область гипотез, то, разумеется, самою правдоподобною окажется та, которая объясняет эти переходы приращением народонаселения и увеличившимися потребностями питания. Конт вооружается против этой гипотезы, старается доказать ее нерациональность и противопоставляет ей свою собственную гипотезу. Но как возражения Конта, так и его собственная попытка объяснить переход от бродячей жизни к оседлой замечательны по своей неудачности.

Главное возражение Конта состоит в том, что никакая потребность, как бы она ни была сильна, не может создать в человеке новую способность. «В данном случае,— говорит Конт,— человек постарался бы избавиться от избытка населения более частым употреблением тех ужасных средств, к которым он обращается даже в более цивилизованные времена, вместо того, чтобы променять кочевую жизнь на земледельческую до тех пор, пока его не подготовило к тому достаточным образом его умственное и нравственное развитие» (Phil. pos. T. V, p. 63) [18]. Конту был совершенно неизвестен дарвиновский принцип *естественного выбора* [19],— принцип, который, без сомнения, произведет переворот не только в ботанике и в зоологии, но и в понимании истории. *Ужасные средства,* о которых упоминает Конт, заключались, конечно, в истребительных войнах, в человеческих жертвоприношениях и в людо-

едстве. Очень правдоподобно, что все эти средства действительно употреблялись и что целые многочисленные племена, заводя между собою непримиримую вражду за охотничьи места или за пастбища, то есть вообще за средства пропитания, совершенно стирали друг друга с лица земли. История североамериканских туземцев переполнена такими примерами. *Естественный выбор* уничтожает, таким образом, те племена, которые не могут приспособиться к новым условиям жизни, и сохраняет те племена или те остатки племен, которые умеют найти выход из данного затруднения. Сотни или тысячи сильных и даровитых дикарей погибают именно от того, что они даровиты и сильны, именно от того, что дикая, кочевая жизнь развила в их крепких организмах такие неукротимые страсти, которые не могут уложиться в узкую и скромную рамку оседлого существования. Сживаются же с новыми условиями и оставляют по себе потомство, быть может, именно посредственные, вялые и флегматические натуры, у которых нет преобладающей органической страсти к приключениям, тревогам и опасностям кочевого быта. Легко может быть, что переход от пастушества к земледелию требует со стороны дикарей не какой-нибудь новой способности, а только некоторого ослабления старых страстей. Естественный выбор уничтожает тех людей, в которых эти страсти особенно сильны, и тогда переход становится возможным. Но так как действующей силой в естественном выборе является непременно гнет внешних обстоятельств и преимущественно голода, вытекающего из многолюдства, то возражение Конта оказывается несостоятельным. Объяснительная гипотеза Конта еще более неудачна. «Непосредственное обожание внешнего мира,— говорит Конт,— более специально направленное по своей природе к ближайшим и самым употребительным предметам, должно, конечно, развивать в высокой степени эту долю, сначала очень слабую, человеческих наклонностей, которая инстинктивно привязывала нас к родной земле. Трогательная скорбь, которую так часто выражал в древних войнах побежденный, поставленный в необходимость оставить богов-покровителей, относилась преимущественно не к отвлеченным и общим существам, которых он мог найти везде, как, например, Юпитера, Минерву и пр.; — эта скорбь прилагалась гораздо больше к так называемым домашним богам, и преиму-

щественно к богам очага, то есть к чистым фетишам» (Phil. pos. V, 64).

Невозможно понять, каким образом обожание ближайших предметов может развить в *кочевом* племени наклонность к *оседлой* жизни или привязанность к родной земле. Представьте себе, что какой-нибудь киргиз обожает ближайшие предметы, например, то седло, на котором он сидит, или ту кибитку, в которой путешествуют его семейство и весь его домашний скарб; спрашивается, почему же киргиз, из обожания к седлу и к кибитке, не прикрепит это обожаемое седло к одному определенному месту и не превратит обожаемую кибитку в неподвижное жилище? — Сколько бы он ни обожал эти ближайшие предметы, это обожание нисколько не помешает ему постоянно перевозить их с собою с одного места на другое. Каким образом обожание киргиза может направиться на известный холм, луг или ручей, то есть вообще на определенную местность, это также совершенно непонятно. Сегодня киргиз пришел на стоянку; дня через три он переходит на другое место: неужели же в эти три дня он может проникнуться к данной местности таким обожанием, которое заставит его переделать все свои привычки и отказаться от того образа жизни, который завещали ему его предки? — Чтобы полюбить данную местность, надо предварительно сделаться оседлым жителем. Любовь к родной земле есть *следствие* оседлой жизни; поэтому объяснять переход к земледелию любовью к земле — значит принимать следствие за причину. *Трогательная скорбь* древних греков, разлучающихся с родиною и с домашними фетишами, ровно ничего не доказывает. Домашний фетиш сделался для них эмблемою родины именно потому, что они уже с незапамятных времен сделались оседлым народом. Это значение фетишей доказывает только то, что вместе с образом жизни народа изменяется характер его религии. Но чтобы фетиш мог внушить любовь к родной земле кочевому народу, то есть таким людям, у которых, собственно говоря, никогда не было родной земли, этого, конечно, не сумеет доказать ни один мыслитель и ни один диалектик в целом мире. Причины, побудившие диких фетишистов приняться за земледелие, остаются, таким образом, неразъясненными, и неудача Конта доказывает нам особенно наглядно, что всего благоразумнее совершенно отказаться от решения таких вопросов, которые не допускают прямого исследования.

Весь период фетишизма так далек от нас и так мало понятен нам по своему характеру, что все наши гипотезы, относящиеся к этому периоду, оказываются в высшей степени сомнительными.

IV

Под влиянием наблюдений и невольных обобщений фетишизм превращается понемногу в политеизм; материя перестает жить самостоятельною жизнью и подчиняется воле многих высших невидимых существ, наделенных всеми человеческими страстями, слабостями и потребностями. Эта вторая фаза теологической философии гораздо более первой доступна изучению. Политеизм наполняет собою всю древнюю историю; под влиянием политеизма сложились великие теократии Индии и Египта, развернулась умственная жизнь древней Греции и выросло политическое могущество Рима. Вступая в период политеизма, люди были дикарями, едва знакомыми с первыми начатками грубой промышленности и патриархальной общественности. Выходя из периода политеизма, люди живут уже в огромных государствах, имеют чрезвычайно сложные системы административных и судебных учреждений, обсуживают и решают запутанные общественные вопросы, пускаются в дальновидные политические соображения, ведут обширную торговлю, фабрикуют предметы самой утонченной роскоши, сооружают громадные здания, создают великолепнейшие статуи и картины, пишут поэмы и эпиграммы, философские рассуждения и исторические сочинения, математические трактаты и критические комментарии.— Вступая в период политеизма, все люди были одинаково грубы и дики; все были похожи один на другого, как по образу жизни, так и по умственному развитию. Выходя из этого периода, люди распадаются уже на множество различных категорий и подразделений: тут есть уже знать и чернь, аристократы и демократы[20], монархисты и республиканцы, ученые и невежды, жрецы и поклонники, миллионеры и голодные пролетарии. Словом, тут мы узнаем *цивилизацию* со всеми ее роскошными задатками будущего развития и со всеми ее грозными и кровавыми пятнами, которые потомкам придется отмывать или залечивать. Все эти проявления цивилизации возникли или, по крайней мере, раз-

вернулись во время господства политеизма; на всех этих проявлениях лежит печать его влияния. Рассмотреть со всех сторон это влияние — значит определить настоящий характер и историческое значение политеизма.

Развитие *науки* начинается под господством политеизма. Наукой называется сознательное и систематическое искание законов природы. Чтобы приступить к этому исканию, надо прежде всего предположить, что неизменные законы существуют или, по крайней мере, могут существовать. Это первое предположение было невозможно в период фетишизма, когда каждая частица материи жила своею личною, изменчивою и капризною жизнью, когда, например, река мерзла или не мерзла, ветер дул или не дул, град падал или не падал, смотря по личным желаниям или соображениям тех фетишей, которые назывались рекою, ветром или градом. Фетишизм допускал только те случайные и разрозненные наблюдения, которые врываются в сознание человека и укореняются в его памяти помимо его собственного желания. Человек не мог не заметить, например, что река замерзает именно тогда, когда он, человек, чувствует сильное ощущение холода; он не мог не заметить, что во время замерзания реки деревья всегда обнажены и земля покрыта поблекшею, желтою травою; он не мог не заметить, что в это же время и дни всегда становятся короче ночей. Эти наблюдения, невольные и неизбежные, конечно, не могут быть названы даже и началом науки; однако же эти наблюдения наносят жестокий удар первобытному фетишизму и, таким образом, сворачивают с дороги то препятствие, при существовании которого наука не может ни развернуться, ни даже возникнуть. Фетишист видит, что и вода, и деревья, и трава, и температура воздуха, и величина дней и ночей изменяются одновременно, и эту одновременность он замечает не один раз, не два раза, а постоянно, из года в год. Ему приходится непременно предположить одно из двух: или вода, деревья, трава, воздух, солнце сговариваются между собою, или же они все находятся под командою у какого-нибудь высшего начальника; в сущности, оба предположения сводятся к одному, именно — к тому, что какая-то причина заставляет постоянно воду, деревья, траву, воздух и солнце действовать заодно; а так как первобытный человек не может себе представить никакой причины, кроме чьей-нибудь личной воли, то в результате и получается непременно очень большой и очень

сильный начальник, который не живет ни в воде, ни в деревьях, ни в траве, ни в воздухе, ни в солнце, а где-то вне этих предметов и над ними.— Но всякий дикарь знает очень хорошо, что начальник только тогда и может называться начальником, когда у него есть подчиненные. На что же бы это, в самом деле, было похоже, если бы главному начальнику приходилось самому бегать ко всем фетишам и напоминать воде, что ей пора мерзнуть, траве, что ей пора желтеть, деревьям, что им пора ронять листья на землю? Необходимо предположить, что у главного начальника множество разных помощников и адъютантов, из которых один заведует реками, другой морем, третий ветром, четвертый травой, пятый деревьями, шестой солнцем, и так далее. Когда вся эта иерархия оказывается окончательно сформированною, тогда, разумеется, фетиши сначала превращаются в жалкое и безгласное податное сословие, а потом мало-помалу совершенно утрачивают свое существование. Тогда материя становится простою, бездушною материею, подчиненною высшему начальству; тогда становятся возможными рассуждения о свойствах этой материи; тогда рождается понятие о постоянных законах, которые главный начальник, конечно, всегда может отменить или приостановить, но которых он, однако, обыкновенно не отменяет и не приостанавливает.

Сознательное, *научное* исследование, таким образом, получает некоторый простор, но само собою разумеется, что простор этот очень невелик и что последовательное проведение новорожденной идеи о постоянных законах совершенно невозможно и даже немыслимо, потому что это последовательное проведение разрушило бы не только все здание политеистической мифологии, но даже и общий фундамент всякой теософии. «Закон сам по себе,— думает догадливый политеист,— а все-таки, если я хорошенько попрошу главного начальника или даже кого-нибудь из старших помощников, то они, как добрые люди, приостановят для меня действие закона и сделают, например, так, что ветер утихнет, что молния не ударит в мой дом, что голодная саранча не опустится на мою пшеницу». Само собою разумеется, что это размышление политеиста кладет предел научному исследованию и подвергает очень серьезной опасности тех слепых мыслителей, которым удается в собственном уме перешагнуть через этот предел. Как только возникает *сознательное* иссле-

дование, так обозначается тотчас же естественная и непримиримая вражда между наукой и теософией,— вражда, которая может окончиться только совершенным истреблением одной из воюющих сторон. Все, что выигрывает наука, то теряет теософия; а так как наука со времен доисторического фетишизма выиграла очень много, то надо полагать, что ее противница потеряла также немало. Действительно, вся история человеческого ума, а следовательно, и человеческих обществ, есть не что иное, как постоянное усиление науки, соответствующее такому же постоянному ослаблению теософии, которая при вступлении человечества в историю пользовалась всеобъемлющим и безраздельным могуществом.

Несмотря на этот вечный и роковой антагонизм, теософия, сама того не замечая и не желая, постоянно вручала своей противнице оружие и собирала для нее материалы, которыми наука постоянно пользовалась со свойственными ей одной неподкупностью, неумолимостью, неблагодарностью и коварством.

Полудикий человек, только что отделавшийся от грубейшего фетишизма, не мог приняться прямо за астрономические наблюдения или за анатомические исследования. Какой интерес он мог находить в движении небесных светил или в расположении сердца, печени, селезенки и легких в теле барана? Во-первых, никто не мог ему объяснить, что его праправнуки будут нуждаться в астрономических познаниях для навигации, а в анатомических сведениях — для лечения болезней. Во-вторых, если бы даже кто-нибудь и мог дать ему эти объяснения, то он, по всей вероятности, отвечал бы очень спокойно, что желает жить для самого себя, а не для своих праправнуков, которых ему никогда не придется увидеть в глаза. Что же касается до бескорыстной любознательности, то она для круглого невежды и для человека, никогда не мыслившего, совершенно невозможна, потому что в науке, как и во многих других отраслях человеческой деятельности, l' appetit vient en manageant[21]. Таким образом, наука рисковала остаться на мели, но к ней подоспела на помощь добродушная теософия, ухитрившаяся внушить своему полудикому воспитаннику ту заманчивую мысль, что звезды имеют постоянное и самое решительное влияние на всю его судьбу и что по внутренностям зарезанного барана можно читать, как по раскрытой книге, всю будущность отдельных личностей или даже целых племен.

Чем глубже невежество человека, чем слабее работает его мысль, чем полновластнее господствует над его умом теософия, созданная его фантазиею, тем рельефнее и непоколебимее проявляется в человеке та простодушная уверенность, что весь мир сотворен именно для него и что все высшее начальство постоянно заботится об его участи, постоянно следит за его поведением, постоянно подает ему разные сигналы и постоянно готово отвечать ему тем или другим путем на все его скромные или нескромные вопросы. Этих сигналов и ответов политеист ищет и в узорах звездного неба, и в полете различных птиц, и в кишках жертвенного животного, и в бессвязных словах полоумной пифии, и в бестолковых сновидениях, почерпнутых из переполненного желудка. Кто во всем видит совет сверху или предзнаменование, тот, разумеется, на всякую мелочь должен обращать внимание. Понятно, что эта постоянная внимательность, возбужденная теософией, собирает бессознательно богатый запас сырых материалов, которыми, рано или поздно, сумеет воспользоваться наука. Ученая деятельность великого Гиппократа представляет нам очень яркий пример того искусства, с которым наука прямо из рук теософии берет собранные ею материалы, составляющие для самой теософии мертвый капитал. Больные, лежавшие в храмах Асклепия или Эскулапа и получившие облегчение, имели привычку после выздоровления описывать свои страдания и оставлять эти описания в храме для прославления вылечившего их божества. В этих храмах набрались целые груды подобных описаний; Гиппократ объехал все эти храмы, тщательно изучил накопившиеся в них описания, проверил их своими личными наблюдениями и составил, на основании этих богатых материалов, те великолепные характеристики различных болезней, которые своею точностью и наглядностью до сих пор изумляют и восхищают лучших представителей медицины.

V

С *искусством* теософия всегда жила в добром согласии, а политеизм, более чем какая-либо другая фаза теософии, своим влиянием благоприятствовал и содействовал развитию всех различных отраслей художественного творчества. Политеизм вызывал постоянную и напряженную де-

ятельность человеческого воображения, которому приходилось решать безапелляционно все вопросы общего миросозерцания. Нетрудно понять, что политеизм предоставлял работе воображения гораздо больше простора, чем фетишизм. Фетишист, одушевляя прямо видимые предметы, принужден был ограничивать свои фантазии тем, что он действительно видел, или, по крайней мере, тем, что ему мерещилось. Для политеиста, напротив того, не существовало никакой границы; он фантазировал совсем не о тех предметах, которые находились перед его глазами; для него был открыт мир невидимых существ, в котором он, разумеется, мог распоряжаться, как ему было угодно. Фетиш был привязан к известному месту, и поэтому об нем трудно было сочинить какие-нибудь сложные и замысловатые мифы; трудно в самом деле было, например, придумать, что дерево вышло замуж за камень и потом вместе с этим камнем ведет войну против реки. Эти выдумки показались бы нескладными и неправдоподобными самому грубому фетишисту, который видел бы, что дерево, камень и река не имеют между собою ни малейшего соприкосновения. Напротив того, невидимым существам можно было с величайшим удобством приписывать всевозможные свадьбы, ссоры, драки, кутежи, путешествия и всякие другие приключения, составляющие весь интерес обыкновенной жизни тогдашнего времени. Словом, самое роскошное развитие мифологии возможно только в период политеизма. Тут это роскошное развитие не только возможно, но даже и необходимо.

Если бы догматическая часть политеизма заключалась только в сухой и бесцветной номенклатуре богов, управляющих различными департаментами природы, то политеизм, очевидно, не мог бы иметь никакого определенного влияния ни на умственную жизнь отдельных личностей, ни на общественную жизнь целых наций. Поэты непременно должны были довершить дело теософов; когда для объяснения какого-нибудь явления теософы создавали новое божество, тогда поэты тотчас овладевали этим новым созданием и обработывали во всех подробностях его физиономию, его костюм, его характер, его наклонности и атрибуты, его отношения к людям, его положение в общей иерархии бессмертных и все различные приключения его жизни, в которых обнаруживаются его индивидуальные особенности. Постоянно опираясь, таким образом, на поэзию, теософия, конечно, постоянно дол-

жна была относиться к ней с величайшей благосклонностью. Художники, и преимущественно поэты, считались в древности любимцами богов и самыми компетентными истолкователями их воли. Разработывая таким образом мифы, поэзия, кроме того, должна была заодно с теософией выяснять и распространять нравственное учение, вытекающее из основных догматов господствующей доктрины. Эта задача досталась на долю поэзии только тогда, когда уже совершилось превращение фетишизма в политеизм.

Фетишизм не мог иметь значительного влияния на нравственные понятия людей, и вследствие этого поэзия фетишистов, не имея возможности прислониться с этой стороны к господствующей теософии, принуждена была оставлять почти нетронутой область частной и общественной нравственности, которую она со времен политеизма навсегда присоединила к своим владениям. Почему фетишизм не действовал на нравственные понятия — объяснить нетрудно. Какое дело могло быть какому-нибудь фетишу, например, реке, камню, дереву, — до того, хорошо или дурно будет вести себя один человек в отношении к другому человеку? Фетиш мог требовать себе известных знаков уважения и оскорбляться непочтительными поступками, направленными личностями против него, но он никак не мог превратиться в повсеместного блюстителя справедливости, целомудрия и всякой нравственной чистоты, не мог именно потому, что имел слишком частное значение, был прикреплен к определенному месту и окружен множеством других, равносильных фетишей. Дикарь легко мог вообразить, что река сердится, когда в нее бросают какую-нибудь гадость, но ему никак не могло прийти в голову, что река будет на него в претензии, если он украдет у своего соседа топор или лопату; не могло прийти потому, что он, дикарь, нисколько не прогневался бы на своего соседа, если бы тот обокрал какое-нибудь третье лицо. Наблюдения путешественников подтверждают как нельзя лучше верность этих замечаний. Нравственные понятия чрезвычайно смутны у всех первобытных народов. Многие невиннейшие поступки считаются тяжелыми преступлениями, в то же время многие поступки, чрезвычайно вредные для отдельных личностей и для целого общества, кажутся предосудительными только тому человеку, которому они наносят прямой ущерб. Так, например, у камчадалов, по словам Вайца («Anthro-

pologie der Naturvölker»[22], I, 324), не позволяются ткнуть ножом в кусок угля или отскребать ножом снег от башмаков и в то же время многие грубейшие пороки считаются совершенно позволительными. В той же книге (I, 376) Вайц рассказывает, что у одного бушмена спросили: «Что такое добро и что такое зло?» — Бушмен подумал и отвечал: «Когда я ворую жен у других людей — это добро, а когда у меня воруют жену — это зло». — Понятие добра отождествляется, таким образом, с приятным ощущением, а понятие зла — с неприятным; в своем *основном принципе* рассуждение бушмена совершенно верно, но бушмен грешит тем, что у него не хватает предусмотрительности, вследствие чего он и рискует поплатиться за минутное наслаждение продолжительными страданиями. Так, например, идя *делать добро* (то есть воровать чужих жен), он рискует *наделать очень много зла* (т. е. сильно помять себе бока кулаками и дубинами обворованных мужей). Это отсутствие предусмотрительности составляет единственное существенное различие между нравственными понятиями бушмена, с одной стороны, и последовательного европейского утилитариста, с другой стороны. Из этого основного различия вытекают все остальные несходства их нравственного кодекса. Существенное же сходство их нравственных понятий заключается в том, что бушмен, как грубый фетишист и последовательный утилитарист, как человек, совершенно освободившийся от теософической опеки, оба не ожидают себе свыше ни награды за добро, ни наказания за зло. У бушмена область междучеловеческих отношений еще не подошла под господство теософии; у утилитариста эта область уже вышла из-под этого господства; бушмен и утилитарист, сходные между собою по *основному принципу* нравственности, стоят на двух крайних ступенях исторического развития; и бушменскому племени, если оно двинется вперед по дороге к практическому позитивизму или утилитаризму, придется на долю отказаться от того *основного принципа,* к которому со временем, через несколько столетий, непременно надо будет прийти обратно. Бушмену надо сначала ввести в нравственные понятия элемент теософической опеки; и это введение совершается именно тогда, когда из фетишизма вырабатывается политеизм. Когда человек составляет себе понятие о таких существах, которые издали управляют стихиями, посылают дождь и град, бурю и саранчу, урожай и голод, здоровье и болезнь, радость и горе, удачу

и неудачу, тогда человеку уже очень не трудно вообразить себе, что эти существа, одаренные необыкновенною зоркостью, чуткостью и восприимчивостью, способны управлять судьбою своих поклонников и то наказывать, то награждать людей за их поступки в отношении к другим людям. Тогда возникает понятие нравственного закона; санкциею этого закона оказывается воля бессмертных; и поэзия, прислоняясь к теософии, начинает разъяснять и обобщать отдельные статьи установившегося кодекса.

Доктрина политеизма, состоявшая целиком из ярких и конкретных образов и не заключавшая в себе никаких туманных отвлеченностей и логических тонкостей, была в высшей степени доступна пониманию масс и, вследствие этого, пользовалась в свое время такой громадною популярностью, какой не достигла впоследствии никакая другая философия. Можно сказать без преувеличения, что в те времена, когда слагались гомеровские песни, все греки, от первого до последнего, от самого богатого до самого бедного, от самого умного до самого глупого, одинаково пламенно и простодушно верили в одни и те же мифы и пленялись одними и теми же идеалами красоты, мужества, сметливости и всяких других физических и нравственных совершенств. В цветущее время католической теософии[23] такого полного единодушия между массою и ее вождями не было и не могло быть, потому что высшие теософические умозрения, поглощавшие силы вождей, постоянно оставались непонятными для массы, которая удовлетворялась по-прежнему довольно грубым политеизмом[24], заменявшим, например, бога Януса — святым Януарием, а богиню Цереру — лоретскою мадонною. Обширная популярность старого политеизма, очевидно, составляла одну из самых важных причин процветания искусства. Художник тех времен мог обращаться с своими произведениями к уму и чувству целого народа, и целый народ, от правителя государства до последнего пастуха, видел в даровитом художнике достойного выразителя общенародных и всем понятных, дорогих и близких идей, верований и стремлений. Всякий афинский ремесленник мог восхищаться совершенно сознательно мускулами Геркулеса или грудью Венеры; но чтобы понимать выражение лица рафаэлевских мадонн, надо предварительно познакомиться с такими мыслями и с такими чувствами, которыми мужику заниматься некогда и незачем.

Таким образом, мы видим, что процветание искусства во времена политеизма обусловливается четырьмя главными причинами: *первая* — толчок, данный политеизмом человеческому воображению; *вторая* — участие поэзии в вырабатывании догматических подробностей; *третья* — подчинение междучеловеческих отношений теософическому влиянию; *четвертая* — обширная и единственная в своем роде популярность политеизма.— Этими четырьмя причинами объясняются очень удовлетворительно все чудеса греческой поэзии и греческой скульптуры.

VI

В древнем мире *война* была неизбежна и необходима. В период фетишизма война вывела отдельные семейства из уединения и сгруппировала их в небольшие общества. В период политеизма война должна была связать эти разрозненные группы людей в большие государства, внутри которых сделался бы возможным обширный, постоянный и плодотворный обмен продуктов и идей.

Европеец XIX века, мало знакомый с физиономиею и характером древности, может усомниться в необходимости этого связывания; он может подумать, что всякого рода обмены и сношения были совершенно совместимы с существованием множества отдельных и независимых политических тел. В самом деле, кто же мешает, например, немцу завести банкирский дом во Франции, англичанину — открыть машинную фабрику в России, русскому — слушать лекции в немецком университете, и так далее? Нет, очевидно, никакой надобности соединять Россию, Германию, Францию и Англию в одну громадную империю для того, чтобы облегчить или усилить международные сношения.

Рассуждение это очень верно, но к древности оно не прилагается. В древности существовали только две политические формы: на востоке — огромные монархии, в которых гражданин имел право жить до тех пор, пока начальство не посадит его на кол, и владеть имуществом до тех пор, пока начальство не отберет его в казну; на западе — крошечные республики, величиной с небольшой русский уезд,— республики, в которых гражданин пользовался более обширными правами, но в которых все права принадлежали именно только коренному гражданину,

а никак не приезжим иностранцам. Каждый гражданин становился бесправным иностранцем на расстоянии каких-нибудь тридцати или сорока верст от той площади, на которой он, как член державного народа (peuple souverain), решал судьбу целого государства. Афинянин был иностранцем в Мегаре, в Фивах, в Коринфе, в Аргосе, в Спарте, словом — во всех греческих городах, кроме Афин. Само собою разумеется, что Афины в этом отношении платили взаимностью гражданам Мегары, Фив, Коринфа и всех остальных греческих республик. А каково было положение человека, живущего в чужом городе, — это видно всего лучше из афинского закона об *андролепсии.* Если какого-нибудь афинянина убивали за границею и если город, в котором было совершено убийство, отказывался наказать преступников, то родственникам убитого, по закону об *андролепсии,* предоставлялось право захватить в Афинах трех граждан провинившегося города и потащить их в афинский суд, где с ними тотчас расправлялись, как с убийцами (Laurent. La Grèce, p. 124)[25]. Этот закон доказывает очень ясно две вещи: во-первых, что убийства иностранцев во всех греческих городах оставались очень часто безнаказанными; и, во-вторых, что различные республики считали себя в положении хронической вражды между собою и что вследствие этого личность иностранца никогда не находилась в полной безопасности и постоянно изображала собою заложника, с которого во всякую данную минуту могут содрать шкуру за неизвестные ему провинности его соотечественников. Мудрено ли после этого, что грек, родившийся в одном городе, не имел права жениться на гречанке, родившейся в соседнем городе? Мудрено ли, что два города острова Крита должны были заключить между собою формальный и торжественный договор для того, чтобы браки между их жителями сделались возможными и законными (Laurent, p. 111)? Мудрено ли, что в Афинах все жители иностранного происхождения *(метики)* были обложены поголовною податью и продавались в рабство, когда не могли ее уплатить (Laurent, p. 115)? Мудрено ли, что греческая республика почти никогда не давала права гражданства иностранцу или даже его потомкам, хотя бы они родились в городе, прожили в нем целое столетие и много раз проливали за него свою кровь в сражениях? Мудрено ли, например, что крошечная и бессильная Мегара даровала с самого своего основания право гражданства

только двум особам: Геркулесу и Александру Македонскому? Мудрено ли, наконец, что при таких условиях сильное движение продуктов и идей было невозможно, что заниматься обширною торговлею значило быть отчаянным мошенником и что объединяющие завоевания были совершенно необходимы для того, чтобы цивилизация и политика могли выбиться из грязной колеи греческих мелкопоместных сплетен, перебранок и драк?

Итак, *война была необходима,* и всякие чувствительные декламации против *древних* войн так же остроумны, как, например, сокрушения о том, что семилетний ребенок не способен решить квадратные уравнения. С этой стороны политеизм сильно помогал историческому движению, во-первых, возбуждая в людях воинственные наклонности, во-вторых, поддерживая в войсках необходимую дисциплину и, в-третьих, ослабляя истребительный характер древних войн.

Боги политеизма были чисто национальными богами, которых значение возрастало или понижалось вместе с политическим могуществом их поклонников. Каждая нация старалась доставить своим богам господство над чужими богами; каждая нация была твердо уверена, что ее боги сражаются вместе с нею против ее врагов и вместе с нею торжествуют победу или терпят поражение и подпадают под иго бессмертных покровителей враждебного народа. Вследствие этого религиозный элемент примешивался постоянно в большей или меньшей степени ко всем войнам, происходившим в древности между различными национальностями. Защищаясь против персов, греки чувствовали, что они защищают своих олимпийцев; потом, нападая на персов, греки мстили им за разрушение и поругание своей святыни. Войны против персов и вообще против так называемых варваров всегда доставляли олимпийцам величайшее удовольствие; весь Олимп безраздельно был в этом случае заодно с греческими войсками. Напротив того, войны между отдельными греческими городами всегда были антипатичны олимпийцам; затевая междоусобную войну, греки чувствовали, что религиозные верования не могут служить им опорою, и вследствие этого постоянно смотрели на подобные войны как на общенародное страдание и даже как на преступление, которое часто становилось неизбежным, но никогда не могло сделаться законным и похвальным. Естественные бедствия, поражавшие Грецию во время пелопоннес-

ской войны,— неурожаи, землетрясения, повальные болезни,— постоянно объяснялись гневом богов, возмущенных раздорами избранной и возлюбленной нации.

Когда лучшие люди Греции — философы, поэты, ораторы — напрягали все свои усилия, чтобы положить конец бесплодному и кровопролитному междоусобию, тогда они постоянно становились на почву общенародных верований, рисовали яркими красками естественную противоположность между Грецией и Персией, льстили национальной гордости греков, разжигали их ненависть против восточных варваров и этою глубокою ненавистью старались сплотить их разрозненные силы в непобедимый наступательный союз. С точки зрения отвлеченно-добродетельной филантропии, такая тактика была, конечно, в высшей степени предосудительна. Но, становясь на точку зрения положительной исторической науки, мы принуждены сознаться, что благоразумнее и общеполезнее этой тактики в данную минуту ничего нельзя было придумать. Устранить войну было невозможно; над этим бесполезно было и задумываться; можно было выбирать только одно из двух: или ежедневные мелкие драки, не ведущие за собою никаких результатов, кроме увечья и смертоубийства; или же огромные завоевательные войны, очень кровопролитные, очень убыточные, но зато действительно способные разбить те китайские стены, которыми огораживалась со всех сторон каждая древняя национальность. Передовые люди Греции постоянно стремились к последнему, то есть к большой завоевательной войне, и они были совершенно правы, хотя, разумеется, они при этом руководствовались не историко-философскими соображениями о цивилизующем влиянии войны, а узконациональными страстями и предубеждениями. Если можно было чем-нибудь связать между собою перессорившихся греков, то можно было связать их именно только общею ненавистью их к другим народам. Политеизм подогревал эту ненависть и таким образом оказывал людям существенную услугу. Конечно, исключительный греческий патриотизм, основанный на ненависти и на презрении ко всему остальному человечеству, должен теперь казаться нам очень узким, мелким и жалким. Но даже и этот патриотизм покажется нам очень широким и величественным, если мы сравним его с патриотизмом афинским или фивским, основанным на ненависти и на презрении ко всем варварам и, кроме того, даже ко всем остальным

грекам. Эти уездные патриотизмы были гораздо смешнее, глупее и вреднее теперешних лихтенштейнских или рейбс-лобенштейн-эберсдорфских патриотизмов. Парализируя до некоторой степени эти бесчисленные патриотизмы влиянием общих верований, общих праздников, общих оракулов, политеизм приносил людям несомненную пользу.

Боги политеизма стояли очень близко к своим поклонникам и очень часто вступали с ними в прямые сношения; оракулы и различные гадания, имевшие государственное значение только во времена политеизма, давали каждому верующему полную возможность во всякую данную минуту заглядывать в будущее и заводить разговор с правителями вселенной. В те времена, когда в полудиких людях еще слаба была привычка повиноваться какой бы то ни было власти, эти ежедневные сношения с богами были чрезвычайно полезны для поддержания той дисциплины, без которой война превратилась бы в бестолковую, бесцельную и бесплодную драку. Начальник войска, стоявший на одной степени развития с своими воинами и веривший совершенно искренно в оракулы, в гадания, в пророческие сны, естественным образом давал всем этим неопределенным намекам такие толкования, которые в данную минуту соответствовали его собственным стратегическим соображениям. Эти соображения, освященные, таким образом, божественным авторитетом, конечно, получали для воинов такую обязательную силу, которая была бы немыслима, если бы начальнику приходилось действовать на своих подчиненных голым страхом наказания. Кроме того, поддерживать дисциплину палкой, например, в греческих войсках, было довольно затруднительно, потому что в качестве простых воинов сражались за отечество лучшие, знатнейшие и даровитейшие граждане Греции, богачи, аристократы, философы, поэты, политики, историки и ораторы. Только такие воины, шедшие в бой с полным и сознательным воодушевлением, могли разбивать неприятеля, превосходившего их числом раз в двадцать или в тридцать; только таким составом греческих армий объясняются победы, одержанные ими над персами при Марафоне и при Платее. А при таком составе армий дисциплина, конечно, могла поддерживаться только идеями и верованиями, а не шпицрутенами.

Разогревая воинственные страсти и укрепляя дисциплину, политеизм в то же время ослабляет истребительный характер международных столкновений. Когда фетишисты дерутся между собой, тогда они стараются преимущественно о том, чтобы зарезать, изжарить и съесть неприятеля; война между людьми имеет в это время почти такой же характер, как война людей с дикими животными; влияние теософической доктрины проявляется только в том, что победитель приглашает своих фетишей к себе на пир и угощает их человеческим мясом, добытым во время сражения или после победы. О каких бы то ни было политических или экономических отношениях между победителями и побежденными не может быть и речи тогда, когда побежденный изображает своею особою кусок мяса, более или менее жирный и более или менее удовлетворительный в гастрономическом отношении. Возможность примирения между победителями и побежденными является только тогда, когда область междучеловеческих отношений подчиняется влиянию господствующей теософической доктрины. Этот общий прогресс в господствующем миросозерцании, с своей стороны, становится возможным только тогда, когда настоятельные, ежедневные требования желудка начинают получать себе более правильное и более обильное удовлетворение. Что идет впереди, материальное или умственное совершенствование, решить довольно трудно; но можно сказать наверное, что значительные успехи в общем миросозерцании совершенно невозможны там, где физические условия не допускают никаких существенных улучшений материального быта. У народов, дошедших до политеизма, людоедство и связанные с ним человеческие жертвоприношения, то есть приглашение фетишей на приготовленный пир, обыкновенно исчезают. Войны ведутся не затем, чтобы превратить побежденного врага в такое кушанье, а затем, чтобы подчинить его господству победителя; вместо зверской кровожадности главным двигателем войны является властолюбие; на человека, в котором видели прежде кусок мяса, начинают смотреть, как на рабочую силу; словом, систематическое людоедство заменяется таким же систематическим порабощением побежденных людей. Это порабощение находится в полной гармонии с основным характером политеизма: как победители господствуют над побежденными, так точно и боги победителей господствуют над богами побе-

жденных,— над богами, которые, однако, отступая на задний план, нисколько не теряют своего божественного достоинства; несмотря на религиозный характер политических войн, победа одних политеистов над другими не ведет за собою никаких религиозных преследований и никакого насильственного обращения побежденных к теософическому миросозерцанию победителей. После победы совершается обыкновенно простое, механическое слияние политеистических доктрин; если, например, у побежденных было двадцать богов, а у победителей — пятнадцать, то после победы в государстве, составившемся из победителей и побежденных, окажется всего тридцать пять богов, причем, разумеется, богам победителей достанутся высшие места, а богам побежденных — низшие. Религиозного антагонизма не будет ни малейшего, тем более, что сами побежденные увидят в своем собственном поражении ясное доказательство превосходства чужих покровителей. Отсутствие религиозной ненависти облегчит в очень значительной степени слияние победителей и побежденных в один народ; две различные нации превратятся понемногу в два различные сословия, отделенные друг от друга тонкими и шаткими перегородками, которые, рано или поздно, будут подточены и опрокинуты естественным развитием промышленной деятельности и политической жизни.

Для обширных и прочных завоеваний искренний политеизм удобнее и полезнее всех остальных форм теософического миросозерцания. Монотеизм не соответствует потребностям завоевательной эпохи именно потому, что он составляет высшую фазу умственного развития, наступающую обыкновенно тогда, когда обширные завоевания уже окончены и когда различные нации, соединенные под одним господством, уже успели подействовать друг на друга обменом верований, обычаев и понятий. Войны искренних и ревностных монотеистов отличаются обыкновенно самою систематическою и чисто истребительною жестокостью. Политеист в богах своего врага видит все-таки богов, которых он уважает, хотя и старается подчинить их господству своих собственных бессмертных покровителей. Для монотеиста, напротив того, всякие чужие боги — непримиримые враги, с поклонниками которых невозможны никакие компромиссы и необязательны никакие договоры. Монотеисты поступали именно таким образом везде, где они действовали под исключительным

влиянием своего теософического миросозерцания. Для примера достаточно будет вспомнить о том, каким образом евреи покорили Палестину или каким образом распоряжались испанцы в Андалузии с маврами, а в Америке — с индейцами. В конце прошлого столетия искренние и ревностные монотеисты, вандейцы и шуаны[26], воевали с неверующими гражданами французской республики; эта война была очень похожа на действия испанцев в Андалузии и в Америке; благочестивые роялисты старались вразумлять пленных волтерианцев — сдиранием кожи, ломанием костей, поджариванием на медленном огне, закапыванием в землю и всякими другими инквизиторскими затеями. Если бы завоеватели древнего мира, Александр Македонский, Сципион, Лукулл, Помпей, Цезарь, были искренними и ревностными монотеистами, они, наверное, пролили бы в десять раз больше крови и ценою этой крови не купили бы никаких прочных политических результатов.

VII

Вся экономическая жизнь древних обществ была построена на *рабстве,* и положительная философия, к немалому ужасу всех добродетельных либералов, доказывает неопровержимо, что в свое время рабство было так же неизбежно и необходимо, как завоевательные войны. Во-первых, дикий фетишист не мог же сразу превратиться в расиновского героя, объявляющего своему врагу, что, победивши его оружием, он вслед за тем желает немедленно победить его деликатностью и великодушием. Чтобы воздерживаться от зарезывания и пожирания пленников, суровому победителю надо было непременно иметь в виду, что, оставаясь в живых, пленники доставят ему значительную выгоду, далеко перевешивающую мимолетное гастрономическое наслаждение. А в чем же могла состоять эта выгода? Очевидно, только в той работе, к которой можно было приневолить пленников, или же — в том выкупе, который можно было вытребовать за них от их родственников. Но когда была завоевана целая страна, тогда выкуп становился невозможным, потому что все имущество жителей само собою превращалось в собственность победителей; тогда побежденные могли откупиться от смерти только своим личным трудом, и рабство было

неизбежно. Если бы победителям не приходила в голову простая и естественная мысль обратить в свою пользу труд побежденных, то беспрестанные истребительные войны могли бы стереть с лица земли всю нашу породу, так точно, как это случилось с очень многими племенами североамериканских индейцев, имевших привычку замучивать до смерти своих военнопленных. Можно сказать без преувеличения, что рабство спасло нашу породу от истребления и что лень, корыстолюбие и властолюбие победителей очень долго были единственным возможным двигателем экономического и даже нравственного совершенствования. Клин надо было выбивать клином; кровожадность людоеда можно было вытеснить только низкими своекорыстными инстинктами рабовладельца.

Далее, рабство составляет ту единственную школу, которая могла переработать неукротимый темперамент дикаря и превратить ленивое и кровожадное животное в рассудительного и трудолюбивого ремесленника. Эта школа отличалась крайнею суровостью, но рекомендовать в отношении к дикарю мягкие воспитательные средства могут только те добродушные люди, которые полагают, что дикарь отличается от нашего простолюдина только оригинальностию своего костюма и отсутствием некоторых элементарных знаний по части общественного этикета. Кроме того, мягкие воспитательные средства возможны только тогда, когда воспитатель по своему умственному развитию стоит гораздо выше своего воспитанника; но так как рабовладелец и раб были оба одинаково первобытными людьми, то, разумеется, они и должны были действовать друг на друга самыми первобытными средствами. Полное отвращение к труду, совершенное отсутствие предусмотрительности и зверская страстность составляют общие отличительные признаки всех диких народов. Когда все обитатели нашей планеты были одарены этими наклонностями, тогда, разумеется, все хотели воевать и бражничать и никто не хотел работать. Но так как кому-нибудь непременно надо было работать, то, разумеется, роль рабочей скотины досталась слабейшим членам каждой отдельной семьи, то есть женщинам. Нет ни одного дикого народа, у которого женщина не была бы порабощена и завалена непосильною работою. Следовательно, когда какой-нибудь древний завоеватель покорял какую-нибудь страну и порабощал ее жителей, тогда факт порабощения не был совершенно новым явлением; раб-

ство не вводилось вновь, оно только распространялось и видоизменялось. Если же мы поставим себе вопрос: которая из двух форм рабства полезнее, порабощение ли женщин мужчинами или же порабощение одной нации другою нациею, то нам во всех отношениях придется отдать предпочтение второй форме. Рабство женщин, доставляющее мужчинам возможность драться и кутить, может продолжаться безгранично долго; в этом рабстве нет никаких задатков развития; это рабство само себя поддерживает; оно могло бы прекратиться только тогда, когда изменились бы вкусы мужчины, а этим вкусам нет никакого основания изменяться, если только их не изменит давление внешних обстоятельств. Женщина будет надрываться над работой, мужчина будет буянить или бить баклуши, и семья будет жить в грязи и в нужде до тех пор, пока не произойдет завоевание и пока не возникнет новая форма рабства. Невозможно даже и представить себе, чтобы какое-нибудь другое событие могло положить конец мелким дракам и глупой праздности беспечных дикарей. Завоевание приносит с собою вынужденный мир, железный гнет и обязательный труд. Дикарям приходится очень тяжело; они отказываются работать и бунтуют; их усмиряют жестокими казнями; страдания нескольких поколений оказываются необходимыми для того, чтобы перевоспитать дикую природу, чтобы укротить воинственные порывы и чтобы создать привычку к правильному труду. Наконец, когда характер населения переработан, когда привычка к миролюбивым промышленным занятиям приобретена, тогда раб начинает мечтать не о том, чтобы воевать и лежать на боку, как делали его славные предки, а о том, чтобы работать на самого себя, то есть потреблять вместе с своим семейством продукты собственного труда. Тогда историческая роль рабства оказывается законченною; уродливые стороны этого отжившего учреждения начинают мозолить глаза всем честным мыслителям данного общества и напоминают о себе различными болезненными явлениями во всех отраслях промышленной, политической и умственной жизни. Сами рабовладельцы начинают замечать, что доброе, старое время невозвратимо, и наконец рабство, так или иначе, путем законного преобразования или насильственного переворота, уходит в область истории.

Впрочем, падение рабства невозможно до тех пор, пока не прекратится завоевательная деятельность господс[illegible]

вующих классов. Война и рабство, взаимно поддерживая друг друга, идут постоянно рука об руку. С одной стороны, война постоянно наполняет невольничьи рынки дешевым человеческим товаром. С другой стороны, даровой труд, придавая всем хозяйственным и промышленным операциям самый простейший и первобытный характер, позволяет богачам и аристократам направлять все их умственные силы на далекие военные предприятия. Падение рабства непременно парализировало бы деятельность завоевателей, потому что тогда внутренние заботы тотчас одержали бы перевес над внешними. Но именно по этой причине падение рабства и немыслимо тогда, когда господствует завоевательная политика; тогда завоеватели берегут рабство как зеницу ока; они совершенно справедливо видят в нем необходимый фундамент своего военного могущества и, чтобы отстоять этот фундамент, готовы решиться на самые тяжелые пожертвования и кинуться в самую опасную борьбу. Достаточно вспомнить, с какою непоколебимою энергиею Красс и Помпей подавляли возмущение невольников и гладиаторов. Когда возмутились против Рима итальянские города, тогда Рим пошел на уступки. Но уступки невольникам были для него немыслимы; сенат понимал очень хорошо, что если фундамент начнет шевелиться и заявлять свои человеческие права, то произойдет немедленно радикальный переворот, после которого новым людям придется перестраивать заново все общественное здание, по новому плану и на немыслимых для сенаторов основаниях. Общественный порядок, построенный на рабстве, никогда не может считать себя совершенно прочным; он постоянно подвергается более или менее сильным конвульсиям, в которых обнаруживаются намеки на предстоящий переворот и задатки будущего обновления. Если бы к естественным затруднениям, вытекающим из самого существования рабства, присоединились еще какие-нибудь религиозные затруднения, если бы проявилось несогласие между идеей рабства и направлением господствующей теософической доктрины, то, быть может, государственным людям древности не удалось бы поддержать рабовладельческий порядок вещей до окончания завоевательной эпохи. К счастью для воинственных рабовладельцев, политеизм был, в этом отношении, очень удобен, уступчив и сговорчив. Он не требовал от своих адептов религиозной нетерпимости и в то же время не воспитывал в них чувства религиозного ра-

венства. Боги побежденных входили в пантеон победителя, но занимали в этом пантеоне низшие места. Неравенство между людьми освящалось таким образом неравенством, существовавшим в мире богов, и в то же время между рабом и господином не оставалось места для взаимной религиозной ненависти. Многочисленные возмущения рабов были постоянно направлены только против невыносимых жестокостей и злоупотреблений; до полного, догматического отрицания рабства никогда не возвышались в древнем мире даже сами рабы. Это отрицание созрело впоследствии под влиянием монотеистических доктрин, которые по своему основному направлению настолько же враждебны войне и рабству, насколько политеизм им благоприятен. Конечно, и война, и рабство могут в течение целых столетий уживаться вместе с монотеизмом, но это значит только, что какие-нибудь местные особенности, климатические или этнографические, мешают господствующей доктрине развить из себя и провести в общественное сознание те практические требования, которые вытекают из нее прямым логическим путем.

Особенно важно и благоприятно для рабства и для завоевательной политики было то обстоятельство, что обе власти, светская и духовная,— или, другими словами, *практическая* и *теоретическая**,— во все *время господства политеизма* сосредоточивались в одних руках. Кто управлял делами государства, тот был верховным судьею и в области верований. Истолкование доктрины находилось в руках того самого класса, который пользовался плодами завоеваний и извлекал себе личную выгоду из обязательного труда. В тех древних обществах, которые по географическим особенностям своего положения были избавлены от необходимости вести постоянные войны, например, в Египте и в Индии, жрецы давали направление всей внутренней и внешней политике. В тех обществах, напротив того, для которых война была постоянным занятием, на-

* Конт постоянно употребляет выражения pouvoir temporel и pouvoir spirituel. Если переводить эти слова буквально, то надо будет переводить: *светская власть* и *духовная власть*. Но эти слова имеют по-русски слишком специальное значение, и поэтому я предпочитаю употреблять более общие выражения: *практическая власть* и *теоретическая власть*. Мое намерение оправдывается тем, что сам Конт в пятом томе своей «Положительной философии» говорит: «Principaux pouvoirs politiques, soit temporels ou pratiques, soit même spirituels ou théoretiques»[27] Temporel и pratique, spirituele и théoretique оказываются равносильными терминами.

пример, в Греции и в Риме, военные правители государства были сами жрецами или, по крайней мере, держали жрецов в полном повиновении. В обоих случаях раздвоения властей не существовало; жрец и правитель сливались в одном лице или, по крайней мере, в одном господствующем классе, с той только разницею, что в первом случае политическая деятельность являлась одним из атрибутов жреца, а во втором случае жреческая деятельность являлась одним из атрибутов воина. В обоих случаях это влияние властей вело за собою тот естественный результат, что теософическая доктрина очень искусно приноровлялась к потребностям текущей политики и превращалась в орудие господства в первом случае — для жрецов, во втором — для завоевателей. Так как рабство было выгодно для господствующего класса, то, разумеется, оно не могло встретить себе никаких возражений со стороны доктрин, которых хранение и комментирование находились в руках того же господствующего класса.

VIII

Сохраняя свои общие типические свойства, политеизм проявляется в трех различных исторических формах. Представителями этих трех форм могут служить Индия, Греция и Рим. В первой мы видим чистую теократию. Во второй — военный политеизм, задержанный в своем развитии. В третьем — военный политеизм, развернувший все свои силы и принявший строго определенное и совершенно последовательное завоевательное направление.

Основной характер *чистой теократии* заключается в строгой наследственности всех общественных должностей и всех отраслей частной промышленности. При этом общественном устройстве вся нация распадается на известное число строго разграниченных каст, в которые никому не позволяется входить со стороны и из которых никому не позволяется выходить вон. Сын жреца должен быть жрецом; сын воина — воином; сын пастуха — пастухом, и так далее. На личные способности и наклонности при этом не обращается никакого внимания, тем более, что принцип каст, освященный многовековой древностью установившегося обычая, получает себе, кроме того, сверхъестественную санкцию посредством какого-нибудь

замысловатого космогонического мифа. Так, например, индийский политеизм выводит существование каст из того обстоятельства, что Брама создал людей из *различных* частей своего тела и, таким образом, сам от века установил между людьми естественное неравенство.

Наследственность занятий неизбежна в такое время, когда все воспитание основано исключительно на механическом подражании; очень понятно, что ребенок с малых лет присматривается к отцовскому ремеслу, потом, подрастая, начинает помогать отцу в его занятиях и, наконец, сделавшись юношей, оказывается достаточно приготовленным, чтобы работать вместе с отцом или даже чтобы совершенно заменить его, если ему уже пора на покой. Наследственность занятий существует в очень обширных размерах даже в современных европейских обществах. Почти все хлебопашцы занимаются своим делом по наследству и, наверное, ведут эту ненарушимую преемственность занятий с таких отдаленных времен, до которых не восходят даже самые баснословные генеалогии древнейших аристократических фамилий. Но если факт наследственности существует повсеместно, то возведение этого факта в обязательный принцип все-таки становится возможным только при особенных и исключительных обстоятельствах, парализирующих развитие военной деятельности. Когда страна лежит в теплом климате и обладает плодородною почвою, когда она защищена со всех сторон морями, горами или пустынями, тогда она становится колыбелью ранней цивилизации, которая, развившись до чистой теократии, останавливается и замирает в этой политической форме. Создавши себе множество богов, то есть возвысившись до политеизма, обитатели тихой и плодородной страны начинают нуждаться в посредниках, то есть в таких людях, которые умели бы передавать богам просьбы простых поклонников и склонять в ту или другую сторону волю богов точным соблюдением всех мельчайших условий необходимого мистического этикета. Важное уменье дипломатизировать с богами и с поклонниками требует сначала особенных способностей, а потом продолжительного навыка. Поэтому надо полагать, что первыми жрецами сделались люди, одаренные пылким воображением и изворотливым умом; потом эти первые жрецы должны были передать свое прибыльное искусство своим детям, и жреческие обязанности, подобно всякому другому ремеслу, должны были понемно-

гу превратиться в неотъемлемое достояние известных родов. Эти жреческие фамилии были, очевидно, поставлены в такое выгодное положение, что, даже обладая самыми обыкновенными способностями, они непременно должны были захватить в свои руки обе отрасли политического господства — теоретическую и практическую. Для этого требовалось только одно условие: отсутствие внешней войны. Соблюдение этого необходимого условия становится очень правдоподобным, если взять в расчет почву, климат и географическое положение рассматриваемой страны. Изобилие плодов земных избавляет жителей от необходимости идти за добычею в чужие земли; а естественные границы страны — моря, горы и пустыни — ограждают ее от посторонних вторжений; таким образом, жители могут очень легко обойтись как без наступательной, так и без оборонительной войны. Отсутствие настоятельной необходимости в войне дает жрецам полную возможность укоренить понемногу в умах соотечественников то убеждение, что их страна — лучше всех земель в мире, что все иностранцы — поганые люди, с которыми не должно иметь никаких сношений, что мореплавание — смертный грех, что путешествовать значит осквернять себя соприкосновением с погаными землями и с погаными людьми и что вообще порядочный человек должен непременно жить дома, вести себя скромно — и кормить жрецов до отвалу. Задача жрецов значительно облегчается естественным пристрастием неразвитых людей ко всему знакомому и родному и таким же естественным отвращением их ко всему незнакомому и чужому. Жрецам надо только возвести эти самородные инстинкты на степень религиозного догмата; как только это дело сделано, так страна уже обведена прочною китайскою стеною, под прикрытием которой роскошное растение теократии может процветать в течение целых тысячелетий.

Междоусобные войны не могут помешать развитию теократии; все приготовления к междоусобной войне должны происходить перед глазами самих жрецов; следовательно, если жрецы не одобряют этой войны, то они имеют полную возможность задавить ее в самом зародыше, действуя на отдельные группы соотечественников то просьбами, то советами, то угрозами, то различными хитростями. Принимая на себя благообразную роль примирителей, устраняя поводы к несогласиям и разбирая воз-

никающие ссоры между отдельными личностями или даже между целыми деревнями, жрецы значительно усиливают и упрочивают свое влияние на массу. Огромное преимущество жрецов перед всеми остальными жителями страны состоит в том, что они имеют очень много свободного времени; их обязанность, по мнению их добродушных соотечественников, состоит в том, чтобы постоянно беседовать с высшими существами, выслушивать и запоминать их волю, угождать всем их желаниям и вообще всеми возможными средствами поддерживать полную гармонию между населением страны и бессмертными его покровителями. Мыслители прошлого столетия относились, как известно, очень непочтительно к этим своеобразным занятиям жрецов; люди XVIII века говорили со свойственною им резкостью, что жрецы просто морочили людей, рассказывая им, ради денег и ради власти, такие сказки, которым сами нисколько не верили. Это мнение, соблазнительное по своей простоте, оказывается при ближайшем рассмотрении очень шатким и поверхностным. Спрашивается: почему и каким образом жрецы могли знать, что те истории, которые они рассказывают людям,— чистые небылицы и что те магические церемонии, которые они совершают, не имеют ни малейшего влияния на естественный ход событий? Что жрецы выдавали людям свои гипотезы за несомненные истины — это очевидно; но если мы заподозрим жрецов в том, что они, публикуя свои гипотезы, были сами твердо убеждены в их совершенной ложности, то мы точно так же должны будем приписать такую же сознательную недобросовестность тем бесчисленным современным ученым, которых теории оказываются несостоятельными перед судом более проницательных или более осторожных исследователей.

Знать достоверно ложность какой-нибудь теории может только тот человек, который знает истинное объяснение или, по крайней мере, знает несколько фактов, совершенно несовместных с данною теориею. Но разве же жрецы могли обладать такими обширными знаниями, которые могли бы доказать им несостоятельность теософического миросозерцания? Если бы они, полудикие люди, возвысились вдруг до положительного понимания природы, то в этом исполинском прыжке человеческого ума на самую вершину исторического развития, конечно, надо было бы видеть еще более необъяснимое чудо, чем все те

чудеса, о которых жрецы простодушно рассказывали простодушным поклонникам. Далее, если мы даже допустим существование этого невозможнейшего из всех невозможных чудес, то перед ними возникнет еще одна непобедимая психологическая трудность: если жрецы знали истинное объяснение всей космической загадки, то какая надобность им была выдумывать ложное объяснение и тщательно прятать истинное? Им хотелось богатства и власти? Прекрасно. Но истинное объяснение доставило бы им в изобилии и то, и другое. Куда бы они ни повели народ, в фантастическую ли область мифологии, или в светлый мир реального знания, во всяком случае *они,* а не другие люди оказались бы вождями народа и воспользовались бы беспрепятственно всеми выгодами и преимуществами, которые достаются везде и всегда на долю вождей. Когда известное направление уже принято, когда в жреческом сословии уже составились свои определенные традиции, когда народ уже сжился с мифологическими сказками и с магическими обрядами, тогда, конечно, жрецам гораздо легче и выгоднее поддерживать мелкими плутнями авторитет установившихся понятий и привычек, чем прокладывать серьезным умственным трудом новые дороги. Но ведь было же время, когда *все* дороги были новыми. В это время жрецы шли по той единственной дороге, которая была для них возможна, и шли с самым искренним убеждением, что эта дорога действительно ведет к истине, к добру и к началу всех начал. Эти первобытные времена недоступны исследованиям историка. Везде, где историк видит теократию, он застает ее уже в том периоде ее существования, в котором она, являясь вредным тормозом умственного и общественного движения, охраняет с старческим упорством огромные запасы мифических преданий, магических церемоний, бесполезных обычаев и уродливых учреждений. Но само собою разумеется, что теократия не могла отличаться этими свойствами с самого начала своего существования. Ей непременно надо же было сначала *собирать* те сокровища, которые она впоследствии стала *охранять.* Ей непременно надо же было сначала *приобрести* чем-нибудь то слепое доверие масс, на которое она впоследствии стала опираться. Нет и не может быть такой дряхлой старухи, которая в свое время не была бы молодой девушкой. Теократия также имела свой период молодости, деятельной силы и поэтической искренности. Теократия в свое время была прогрессив-

ным и благодетельным элементом. Это мнение историк может высказать даже a priori, потому что, если бы этого не было, то теократия никаким образом не могла бы привиться к народной жизни и пустить в нее глубокие корни. Дарвиновский закон естественного выбора прилагается к жизни идей и учреждений так точно, как и к жизни органических существ. Сохраняется только то, что само по себе крепко и приспособлено к обстоятельствам времени и места.

Нетрудно объяснить, в чем именно заключалось благотворное влияние возникающей теократии. Это влияние вытекало именно из того условия, которое составило, как я заметил выше, огромное преимущество жрецов над массою. Обеспечивая материальное благосостояние некоторых избранных личностей, избавляя этих даровитых родоначальников будущей жреческой касты от физического труда и от всяких мелких житейских забот, народ требовал от своих избранников, чтобы они безраздельно предавались изучению теософических тайн, которые в то время как массе, так и ее избранникам казались единственным ключом к разрешению всевозможных космических, нравственных, юридических, технологических и социальных вопросов. Спрашивается: чем должны были наполнить свои бесконечные досуги те даровитые люди, которые самым добросовестным образом желали оправдать доверие соотечественников? Каким образом могли они приняться за изучение тех таинственных особ, с которыми им велено было вступить в постоянные сношения? Старых книг у них не было; торной дороги для них не существовало; значит, надо было пробивать эту дорогу силами собственного ума и воображения; средство для этого имелось только одно: принимая всю природу за раскрытую книгу, надо было вглядываться, вслушиваться, вдумываться, вживаться во все окружающие явления. Соприкосновение неиспорченного человеческого ума с живою природою никогда не может оставаться совершенно бесплодным. Вместе с громадным количеством галлюцинаций, ошибочных гипотез и безобразных мифов основатели древних теократий вынесли из своей тихой созерцательной жизни несколько замечательных наблюдений, которых не могли бы собрать и удержать в памяти ни воины, постоянно погруженные в тревоги боевой жизни, ни чернорабочие, задавленные грубым мускульным трудом. Всем известно, что древнейшие в мире астрономические наблюдения при-

надлежат жрецам Индии, Египта и Ассирии. Всем известно также, что медицина, арифметика, геометрия и пластические искусства родились в тех же жреческих коллегиях. Ни в каком другом месте они и не могли родиться. Для их рождения необходимо было существование особого класса людей, освобожденных от всяких практических забот и прикованных личными выгодами к наблюдению, созерцанию и размышлению. Так как полудиким политеистам никак не могла прийти в голову блистательная мысль устроить академию наук или какое-нибудь общество любителей естествознания, то само собой разумеется, что первая корпорация исследователей и мыслителей могла появиться на свет только в виде жреческого сословия.

Но, родившись в жреческих коллегиях, науки и искусства не могли в них развиваться. Основатели теократии были пытливыми исследователями и смелыми мыслителями; отдаленные потомки их сделались бессильными и тупыми буквоедами; превращение это было неизбежно. Первые жрецы сами прокладывали дорогу и сами завоевывали себе влияние на массу. При этом они имели дело с живою природою. Приготовляя себе преемников, они, конечно, передавали им без разбору все свои наблюдения, все свои галлюцинации и все свои рискованные гипотезы. Преемники все это старались запомнить и потом, принимаясь за свою многостороннюю жреческую деятельность, усиливались согласить объяснения предков с своими собственными наблюдениями. Таким образом составлялись новые гипотезы, которые опять передавались преемникам и опять подвергались с их стороны различным поверкам и комментированиям. Общественное могущество жрецов росло, конечно, вместе с запасом их наблюдений и изобретений. Всякое крошечное открытие, сделанное жрецами, принималось народом за внушение свыше и за чудесное проявление божественной благосклонности. Так как подобные открытия делались только жрецами, свободными от житейских забот, то, разумеется, в народе скоро должно было составиться понятие о высшем сверхчеловеческом значении жреческого сословия. Постоянно увеличиваясь, могущество жрецов должно было, наконец, дойти до того maximum, дальше которого идти невозможно. Остановившись на этой вершине, жреческое сословие начинает быстро деморализироваться. Оно заботится не о новых открытиях и усовершенствова-

ниях, а только о том, чтобы сохранить за собою свое *относительное* превосходство над массою. Это превосходство основано преимущественно на том, что масса очень невежественна. Значит, для сохранения желанного превосходства надо поддерживать это спасительное невежество. Достигши вершины своего могущества, жрецы имеют уже за собою целый громадный кодекс теософических гипотез и преданий, сложившихся при их предшественниках. Так как эти гипотезы и предания составляют тот путь, по которому жреческая каста пришла к своему величайшему могуществу, то жрецы, конечно, должны питать к ним почтительную нежность и должны особенно сильно стараться о том, чтобы в народе эта почтительная нежность доходила до совершенно слепого и страстного обожания. Таким образом, между человеческим умом и живою природою воздвигаются мертвые книги, написанные даровитыми невеждами и годные только на то, чтобы служить образчиком миросозерцания, господствовавшего в далекой древности. Для того, чтобы человеческий ум не вырвался как-нибудь из узкого круга старых преданий, жрецы ставят каждому из своих соотечественников в непременную обязанность жить так, как жили его предки, заниматься тем же ремеслом, употреблять те же орудия, носить такое же платье, питаться такою же пищею и так далее. Затем умственное движение совершенно замирает; народ повертывается спиною к будущему и видит свой идеал в прошедшем. Такое положение вещей может продолжаться бесконечно долго, и только постоянные столкновения с высшими формами цивилизации могут со временем вывести из болезненного усыпления несчастный народ, задавленный свинцовою тяжестью бездушной и бестолковой теократии.

IX

Война спасает древний мир от теократической спячки. Война разрушает принцип наследственности, потому что, когда дело идет о спасении отечества от внешних врагов, тогда все здоровые люди берутся за оружие, и тогда уже неудобно разбирать, чей отец был воином, чей — купцом и чей — свинопасом. В сражениях обнаруживаются личные качества бойцов — сила, ловкость, храбрость, хладнокровие, сметливость, распорядительность, — и самые оче-

видные выгоды целого народа требуют того, чтобы каждому бойцу давалось место, соответствующее его личным достоинствам, а не общественному положению его родителей. Поэтому у народа, ведущего частые войны, касты непременно перемешиваются и понемногу сглаживаются. Но война может действовать на развитие народа совершенно различным образом, смотря по тому, какое она примет направление: бесцельно-безалаберное или систематически-завоевательное. В первом случае развертываются преимущественно умственные способности данного народа; во втором случае — его общественные учреждения. Греция и Рим воплотили в своей истории эти две различные стороны военного политеизма.

Территория Греции изрезана по всем направлениям горными хребтами и глубокими заливами; участки удобной земли разбросаны по всей стране и отделены друг от друга естественными преградами; на каждом из таких участков возникло и развилось население, имевшее мало постоянных сношений с соседями и вследствие этого успевшее выработать себе свои собственные учреждения, свою определенную физиономию и очень энергическое чувство своей политической полноправности и самостоятельности. Все эти поселения были связаны между собою единством языка, теософической доктрины и национального характера; свободные жители всех этих поселений гордились именем эллинов и противополагали себя, как членов одного великого народа, всем остальным людям, которых они называли варварами и считали созданными для вечного рабства. Но, сознавая свое национальное единство в области мысли, греки никак не могли и не умели осуществить это единство в политической жизни. Ни одно из мелких греческих поселений не хотело пожертвовать в пользу этого единства ни одной частицы своей отдельной автономии и ни одной мельчайшей подробности своей внутренней организации. Каждый городок готов был защищать свою независимость до последней капли крови, как против азиатских варваров, так и против своих ближайших греческих соседей; каждому городку хотелось господствовать над другими городками, и ни одному из них не хотелось покоряться другим. Если мы при этом возьмем в соображение, что все жители этих отдельных городков были одинаково храбры, одинаково воинственны, одинаково корыстолюбивы, одинаково тщеславны, одинаково сильны, ловки и развиты в физиче-

ском отношении, одинаково вооружены и одинаково искусны во всех воинских эволюциях, то мы, конечно, поймем, что, во-первых, постоянные войны между этими людьми были совершенно неизбежны и что, во-вторых, эти бесконечные войны не могли привести ни к какому прочному политическому результату, то есть не могли окончиться соединением всей Греции в одно стройное и могущественное государство, способное завоевать весь остальной образованный мир.— «Так, например,— говорит Конт,— афинское племя во время самого блистательного своего преобладания в Архипелаге, в Азии, во Фракии и т. д. было принуждено довольствоваться центральною территориею, едва ли равнявшеюся французскому департаменту средней величины и окруженною со всех сторон многочисленными соперниками, которых действительное покорение в то время справедливо считалось неисполнимым. Афины могли с большею надеждою на успех предпринять завоевание, например, Египта или Малой Азии, чем завоевание не только Спарты, но даже Фив или Коринфа, или, может быть, маленькой соседней республики Мегары» (Phil. Pos. V, 176).

При таких условиях война не могла быть для греков серьезным государственным делом; война была для них делом страсти; в войне их с персами можно видеть взрыв национальной ненависти против дерзких азиатских варваров, осмелившихся ворваться в прекрасную Элладу; в их междоусобных войнах можно видеть постоянное проявление их узких своекорыстных страстей. В первом случае война была подвигом патриотического энтузиазма и даже отчасти делом необходимой обороны; во втором случае война была просто организованным грабежом, который не оправдывался и не облагораживался никакою высшею идеею. Войны второй категории случались гораздо чаще первых войн; этими бесплодными, но очень упорными драками между единокровными соседями или даже между гражданами одного города переполнена вся история Древней Греции; эти драки вытекали из топографических условий: сосед был тут же, под рукою, за ближайшим холмом или ручьем; а чтобы колотить перса, надо было снаряжать целый флот и отправляться в другую часть света. Но если драки с соседями были делом сподручным, то, во всяком случае, не надо было обладать особенною гениальностью, чтобы оценить по достоинству все безобразие и всю пошлость этих ежедневных потасо-

вок. Греки от природы были очень не глупы; поэтому умнейшие из греков никак не могли предаваться всем сердцем и всем помышлением тем мелким разбойническим проделкам, которые находили себе постоянную пищу в неугомонных страстях раздражительной массы и узколобых аристократов. Даже эта масса и эти аристократы, постоянно возбуждавшие своею пылкостью или заносчивостью разные волнения и междоусобные войны, смотрели на эти кровавые события, как на страдания и посрамление великого греческого народа. Лучшие умы Древней Греции относились к этим событиям совершенно отрицательно; но в то же время, зная политическую жизнь своей страны и характер своих соотечественников, они не видели никакой возможности искоренить это зло практическою деятельностью. Не видя в государственных занятиях своего времени никакой великой цели и никакой руководящей идеи, сильные умы должны были отвернуться от политической практики и наполнить свою жизнь или общими теоретическими размышлениями о мире, о человеке и об обществе, или созерцанием и воспроизведением всех прекрасных явлений физической природы и человеческого характера. Политическая бестолковщина Древней Греции насильно толкала лучших и даровитейших ее граждан в умозрительную философию и в чистое искусство. Для позитивиста абсолютное зло и абсолютное добро не существуют. Позитивист понимает, что чистое искусство и умозрительная философия, очень вредные и предосудительные в XIX столетии, могли быть, и даже действительно были, не только полезны, но даже необходимы для исторического развития человеческого ума и человеческой общественности,— так же точно, как были полезны, неизбежны и необходимы война и рабство, которые точно так же сделались теперь очень вредными и предосудительными явлениями. В древних теократических обществах наука и искусство были орудиями; современные реалисты стараются также превратить их в орудия. Теократы пользовались искусством и наукою как средствами основать и упрочить свое господство над массою. Выше и привлекательнее этой цели они не могли себе ничего представить. Когда каждый человек видел в чужом или незнакомом человеке своего естественного врага, тогда, конечно, никто не мог работать для общего блага. Кроме того, когда все отрасли науки и промышленности лежали в колыбели, тогда самый

человеколюбивый деятель в мире был не в состоянии вообразить себе, что мышление и творчество могут обнаружить чувствительное влияние на материальный быт и на характер всей нашей породы. Стало быть, наука и искусство сначала непременно должны были оказаться мелкими орудиями мелких и дрянных страстей. Прямо из рук этих мелких и дрянных страстей наука и искусство никак не могли перейти в руки той великой страсти, которая воодушевляет современных реалистов.

Откуда же взялось бы вдруг, во-первых, широкое и горячее человеколюбие и, во-вторых, понятие о преобразовательной силе науки, техники и поэзии? — Чтобы приобрести себе великую способность наслаждаться любовью к людям и общеполезною деятельностью, человеку необходимо было очень долго воспитывать себя в такой школе, которая постепенно утончала и облагораживала бы его наслаждения. Личное наслаждение и общеполезная деятельность (которую тупые моралисты называют на своем бессмысленном жаргоне *долгом)* действительно сливаются в высшем единстве, но на эту точку соединения не может сразу прыгнуть зверообразный политеист, умеющий наслаждаться только кровопролитною дракою, диким пьянством, животным сладострастием, беспечною праздностью и самыми грубыми формами господства над другими людьми. Для такого человека могло считаться прогрессом даже уменье ценить красоту форм и красок в женщине, в лошади, в оружии, в костюме, в домашней утвари и так далее. Еще более значительный прогресс можно видеть в уменьи наслаждаться словами и содержанием песни, легенды или сказки. У героев Троянской войны эти уменья были уже развиты в высокой степени. Только к этим уменьям и могли прислониться, для своего дальнейшего развития, зародыши науки и искусства, перенесенные в Грецию из теократического Египта. То, что в Египте было политическим орудием, должно было на первых порах сделаться в Греции приятною забавою. Скульптура, которая в Египте поражала массу мрачною таинственностью своих произведений — символических фигур, получеловеческих, полузвериных, — превратилась в Греции в светлое, радостное и общепонятное прославление человеческой красоты. Научные наблюдения, хранившиеся египетскими жрецами в глубокой тайне и служившие им оружием для подавления невежественных масс, в школах греческих философов сделались доступ-

ными для каждого желающего. Ни греческое искусство, ни греческая философия не имели никогда серьезной и ясно обозначенной общественной тенденции. Величественные портики, красивые статуи, стройные философские системы были нужны греку только для того, чтобы наполнять и разнообразить жизнь приятными ощущениями. В наше время, когда наука и литература сделались великими общественными силами, такое отношение к знанию и к творчеству было бы совершенно непозволительно. Но во времена Пизистрата или Перикла единственным двигателем человеческого ума на пути сознательного исследования было именно то удовольствие, которое умнейшие из тогдашних людей находили в процессе собственного мышления. Освобождение науки и искусства от узких и корыстных теократических соображений составляет такой необходимый и такой громадный успех, без которого не были бы возможны никакие дальнейшие усовершенствования. Благодаря этому освобождению, греческий мыслитель мог искать истину для самой истины, не обращая никакого внимания на то, противоречит ли она или нет старым преданиям или существующему общественному устройству. Это чистое и бескорыстное стремление к истине, невозможное в древних теократиях, сделалось доступным для греческих мыслителей только потому, что они были простыми гражданами, частными людьми, не связанными единством интересов ни с жрецами, ни с администраторами. А существование этого класса совершенно свободных мыслителей, занимающихся мышлением из любви к истине, обусловливается, как мы видели выше, во-первых, тем, что война разбила теократические формы в самом зародыше, и, во-вторых, тем, что политическая безалаберщина оттолкнула лучших людей Греции от государственных занятий.

Свободные мыслители Древней Греции оказали людям две громадные услуги: во-первых, они довели геометрию до высокой степени совершенства и заложили своими математическими открытиями тот прочный и необходимый фундамент, на котором стоят вся наука и вся положительная философия нашего времени; во-вторых, они своими метафизическими системами совершенно расшатали доктрину политеизма и сделали первую смелую попытку выйти на новую дорогу из-под тяжелой теософической опеки. Попытка оказалась неудачною, по недостатку фактических знаний; но смелость греческих мыслителей не

пропала даром и вызвала, много столетий спустя, таких подражателей, у которых, кроме живого стремления к истине, кроме умственной неустрашимости, есть еще громаднейший арсенал сделанных открытий, собранных опытов и неопровержимых обобщений. Что было у греческих мыслителей смутным угадыванием, то сделалось для новейших подражателей их ясным, отчетливым и спокойным пониманием. Попытка, не удавшаяся грекам, совершенно удалась современным европейцам.

X

В римском политеизме религия совершенно подчинена политике; которая имеет строго завоевательное направление, обусловленное характером и географическим положением римского народа. Рим обязан своими обширными завоеваниями не столько храбрости легионов, сколько хладнокровной расчетливости сената и народа. Храбростью отличались все древние обитатели Европы; и самнитяне, и греки, и македоняне, и галлы, и иберийцы — все они были чрезвычайно воинственны и неудержимо храбры, а между тем только одним римлянам досталось господство над древним миром. Завоевателей в древности было очень много, но результаты их подвигов исчезали обыкновенно вместе с их личностями и не могли образовать никакой прочной связи между покоренными народами. Все великие монархии передней Азии — вавилонская, ассирийская, персидская — были только конгломератами народов, платящих дань общему победителю, но нисколько не связанных между собою единством законов, обычаев, верований, образования, промышленной жизни и административных учреждений. Александр Македонский первый задумал произвести действительное слияние между побежденными национальностями, и его завоевания, несмотря на крайнюю непродолжительность его собственной жизни и несмотря на бездарность его преемников, распространили греческую цивилизацию в Передней Азии и в Северо-Восточной Африке. Но прочное покорение и глубокое объединение резко обозначенных народностей древнего мира составляли такую колоссальную задачу, которая далеко превышала силы отдельной личности и которую мог решить в течение нескольких столетий только целый народ, одаренный

всеми важнейшими качествами воина и администратора. Таким народом оказались римляне.

Римляне не были ни фанатиками, ни мыслителями, ни художниками, ни героями; они были преимущественно ростовщиками и кляузниками. Добродетельный Катон называет божественным того человека, который в течение своей жизни приобетает больше богатства, чем сколько оставили ему его предки. Пламенный патриот Брут, зарезавший Цезаря, брал или, точнее, драл с своих должников по *сорока восьми* процентов. «Лихоимство,— говорит Тацит (Annal, VI, 16),— было у нас старинным пороком и самою обыкновенною причиною наших раздоров и наших возмущений. Законы против лихоимства нарушались самими сенаторами, из которых ни один не был чист от подобных злоупотреблений»[28]. Трудно себе представить, чтобы римляне могли когда-нибудь серьезно составлять законы против лихоимства. Законы XII таблиц предоставляют, напротив того, кредитору такую безграничную власть над должником, которая многим новым историкам показалась даже неправдоподобною и которая, конечно, могла действовать на ростовщиков только самым поощряющим образом. Вот текст закона, как переводит его Мишле (Histoire romaine, I, 2): «Пусть его (должника) зовут в суд. Если он не пойдет, возьми свидетелей, заставь его. Если он будет медлить и попробует бежать, захвати его. Если старость или болезнь мешают ему явиться, дай ему лошадь, но носилок не нужно. За богача — пусть ручается богач; за пролетария — кто захочет. Когда долг признан и дело обсуждено,— тридцать дней отсрочки. Потом пусть его схватят и ведут к судье. Закат солнца закрывает суд. Если он не удовлетворяет требованиям суда, если никто за него не ручается, кредитор уведет его к себе и привяжет его ремнями или цепями, весом в пятнадцать фунтов,— меньше пятнадцати фунтов, если того хочет кредитор. Пусть узник кормится своею пищею. Или же дайте ему фунт муки или больше, смотря по вашему желанию. Если он не заплатит, держите его в оковах шестьдесят дней; между тем приводите его в суд три раза в базарные дни и объявляйте публике, на какую сумму простирается долг. На третий базарный день, если окажется несколько кредиторов, пусть они разрежут тело должника. Если они отрежут больше или меньше, пусть они за то не подвергаются ответственности. Если они хотят, они могут продать его в чужие земли, за Тибр»[29].— Текст закона сам

по себе так выразителен, что он лучше всяких пространных рассуждений обрисовывает народный характер римлян, неустрашимо доводивших свое уважение к священным правам капитала до хладнокровного и методического разрезывания несостоятельного человеческого тела, которое в эту тяжелую минуту могло успокоивать себя тем рассуждением, что его режут на самом законном основании и с соблюдением всех предписанных формальностей. У римлян был еще другой закон, из которого усматривается, что римляне умели превращать в наличные деньги даже своих родных и законных детей. Этот закон говорит, что отец имеет право продать сына в рабство *только три раза.* Это значит, что сын, проданный своим отцом и отпущенный на волю покупщиком, возвращается под власть отца, который имеет полное право продать его *вторично;* если второй покупщик также отпустит его на волю, то отец опять овладевает им и может продать его в *третий раз.* После *третьей* продажи отец уже теряет над сыном всякую власть. Существование такого закона доказывает очевидно, что многие отцы действительно торговали своими детьми и что общественное мнение относилось к подобной торговле очень снисходительно. Ясное дело, что законодателю никогда не приходит в голову фантазия ограничивать известными постановлениями такие поступки, к которым данное общество не обнаруживает ни малейшей наклонности.

Кляузничество римлян наложило свою печать на все явления их частной, общественной и государственной жизни. Постоянно стараясь поживиться чужим достоянием, нарушая на каждом шагу чужие права, римляне в то же время обнаруживали самое глубокое уважение к формальной стороне всяких договоров, условий, законов, обычаев, традиций и церемоний. Объявляя какому-нибудь народу войну, римляне всегда устроивали так, что эта война, чисто завоевательная с их стороны, принимала вид вынужденной обороны. Римляне всегда прикидывались обиженными и надеялись этим маневром обеспечить за собою содействие высших сил. При объявлении войны соблюдались всегда известные формальности.

До каких ребяческих уловок доводило римлян их стремление сражаться постоянно за правое дело — это всего лучше видно из их поступка с самнитянами. Самницкий генерал, Кай Понций, окружил римскую армию в узком горном проходе и, вместо того чтобы уничтожить

ее, заключил с консулом Постумием мир, выгодный для самнитян. Сенат отказался утвердить этот договор, отговариваясь тем, что этот договор, заключенный без ведома народа и без участия жрецов-фециалов[30], не имеет никакой обязательной силы. Это мнение было высказано самим Постумием, который требовал только, чтобы для соблюдения закона фециалы выдали самнитянам, с должными церемониями, его, Постумия, и всех других предводителей, подписавших неутвержденный договор. Желание Постумия было исполнено. Фециалы отвезли их в неприятельский лагерь, раздели их догола и связали их по рукам и по ногам, причем Постумий приказал затянуть ремень потуже, для того, чтобы вся церемония была исполнена с безукоризненною добросовестностью. «Так как эти люди,— заговорил фециал, введя пленников в собрание самнитян,— без воли римского народа обещали заключить мирный договор (заключенный договор превратился в обещание) и так как, в этом случае, они впали в оплошность, то, чтобы снять с римского народа ответственность за нечестивое преступление, я выдаю вам этих людей». У Постумия был приготовлен для самнитян новый сюрприз; в то время, когда фециал договаривал свою речь, связанный консул ухитрился толкнуть его ногой и крикнул тотчас, что он, человек, выданный самнитянам, нанес оскорбление римскому жрецу и что вследствие этого римляне имеют законное основание вести с самнитянами войну. В поведении Постумия обнаруживаются очень ярко как мужество, так и пронырство римлян. Постумий смело и весело идет навстречу мучительной смерти и в то же время тщательно наблюдает за точным исполнением мельчайших формальностей, выгораживающих римский народ от всякой нравственной ответственности перед богами и перед людьми. Правда, что самнитяне тотчас освободили выданных им полководцев; но на такое великодушие никак нельзя было рассчитывать, и Постумий, с своей стороны, принял, как мы видели, все меры, чтобы вывести из терпения тех людей, от которых зависела его участь.

Перед началом каждой войны римский фециал отправлялся на границу враждебного народа и, произнося объявление разрыва, бросал копье на неприятельскую землю. Это было очень удобно, пока римляне воевали исключительно с итальянцами. Но незадолго до начала Пунических войн римлянам пришлось сразиться с Пирром, ца-

рем эпирским, ворвавшимся в Италию. Посылать фециала в Грецию было неудобно, а между тем отказаться от исполнения старой церемонии было слишком страшно. Римляне вывернулись из этого затруднения посредством юридической фикции. Они заставили одного эпирского перебежчика купить в окрестностях Рима поле, которое и должно было изображать сначала Эпир, а потом и все остальные неприятельские земли. Перед каждою войною фециал, произнося приличную речь, бросал в это поле копье, и затем все формальности, относящиеся к объявлению войны, считались исполненными. Кляузничая таким образом с людьми, римляне старались даже, такими же уловками, перехитрить богов и судьбу. Однажды сенат отыскал в сивиллиных книгах предсказание, что галлы два раза должны овладеть городом. Чтобы предотвратить это бедствие, сенат приказал зарыть живьем двух галлов, мужчину и женщину, в самой середине Рима. Так как галлы под предводительством Бренна уже один раз овладели Римом и так как зарытые галлы, по мнению сената, также овладели римской землей, то предсказание оказалось исполненным, и римляне успокоились.

XI

Типические особенности римского характера — спокойная рассудительность, хладнокровная расчетливость, мужественная настойчивость и мошенническая изворотливость — выработались или, по крайней мере, развернулись с полною силою во время двухсотлетней внутренней борьбы патрициев и плебеев. В греческих республиках аристократы и чернь постоянно вели между собой истребительные войны и при каждом удобном случае призывали друг против друга военные силы других народов. В Риме, напротив того, такая же точно борьба окончилась без кровопролития и не только никогда не отдавала города на жертву иностранцам, но даже ни разу не помешала враждующим сословиям вести общими усилиями упорные завоевательные войны. Дух холодного формализма и расчетливого кляузничества избавил Рим от бедствий междоусобной войны, которая наверное отняла бы у римлян возможность завоевать впоследствии тогдашний образованный мир. Патриции и плебеи, глубоко проникнутые любовью к сутяжничеству и уважением к внешним фор-

мам легальности, старались преимущественно о том, чтобы перехитрить и переупрямить друг друга. Плебеи медленно, расчетливо и осторожно подвигались вперед; патриции упорно отстаивали каждый клочок своих привилегий, торговались из-за каждой мелочи, оттягивали время разными благовидными уловками, развлекали своих противников разными хитростями и медленно уступали их легальному натиску. Эта продолжительная борьба оказалась для обеих сторон такою превосходною школою политического пронырства, после которой римлянам сделалось уже очень нетрудно справляться с другими нациями, руководствуясь известным девизом: «Divide et impera» («Разделяй и господствуй»).

Во всех своих завоевательных предприятиях римляне действовали постоянно с тою осмотрительностью и расчетливостью, которые составляют основные свойства их национального характера. Они никогда не бросались очертя голову в далекие или рискованные предприятия; они никогда не вели войн из-за принципов, никогда не увлекались ни любовью к славе, ни ненавистью, ни дружбою и постоянно имели в виду только осязательные выгоды — деньги, земли и рабочую силу. В их войнах нет ничего похожего на блистательные подвиги Александра. Политика сената обыкновенно умела так хорошо изолировать врага и так ловко выбирать удобную минуту для начала войны, что успех нападения оказывался почти независимым от личных талантов полководца. Самая трудная часть завоевательной карьеры Рима заключается, конечно, в ее начале, то есть в покорении Италии. Когда Италия была завоевана, тогда уже можно было сказать заранее, что весь древний мир сделается добычею римлян, тем более, что все земли этого древнего мира уже давно были истощены многими веками беспорядочных войн и самой скверной администрации. Завоевание Италии шло туго и медленно; римлянам пришлось потратить на это дело около четырех столетий. Непобедимое упорство и неизменная последовательность римской политики в течение всего этого продолжительного и многотрудного периода объясняются преимущественно тем обстоятельством, что дела республики постоянно находились в руках целого привилегированного сословия, а не отдельных личностей и не народной массы.

Аристократический образ правления может сделаться, и обыкновенно делается, для народа тяжелее самого

безумного личного деспотизма; привилегированное сословие может устроить такую утонченную, многостороннюю и систематическую эксплоатацию масс, в которой вовсе не нуждается единичный деспот. С этой точки зрения аристократия хуже всякой тирании. Эти обыкновенные плоды свои аристократический образ правления принес и в Рим. Но если взглянуть на римскую республику с точки зрения ее завоевательной карьеры, то надо будет согласиться, что эта карьера была возможна только при аристократическом правительстве; если бы делами Рима заведовала масса, то эта масса, не имея возможности посвящать все свое время политическим размышлениям, непременно, в большей или меньшей степени, стала бы действовать по свободному вдохновению, уступая напору хороших или дурных страстей и увлекаясь доводами красноречивых ораторов. Можно сказать наверное, что римский народ все-таки не обнаружил бы той подвижности и того легкомыслия, которыми прославились, например, афиняне; но трудно также предположить, чтобы, находясь в руках народной массы, римская политика могла сохранять постоянно тот характер неумолимой рассудочности и бесстрастной последовательности, которым она отличалась в течение многих веков и без которого победы римских полководцев оказались бы бесплодными.

Если бы Рим был монархиею, то последовательная политика была бы еще менее возможна, потому что для этого надо было бы предположить, что на римском престоле появляются один за другим несколько десятков царей, одинаково даровитых, расчетливых, бесстрастных и бессовестных. Все эти качества, очень редкие в отдельных личностях и никогда не встречающиеся в целых массах, очень обыкновенны в тех сословиях, которых члены с малых лет воспитываются для общественной деятельности и потом служат государству в течение всей своей жизни то в совете, то на поле сражения. Эти сословия до такой степени приучаются видеть в своих собственных интересах интересы всего отечества, что они систематически разнуздывают свои эгоистические инстинкты, систематически подавляют в себе все добрые чувства и вменяют себе в высокую патриотическую заслугу это сознательное искажение человеческого образа. На что не решился бы деспот, на то решается аристократия, потому что она сама для себя составляет то общественное мнение, которое оправдывает и одобряет ее решимость. Только в рядах

аристократии могут составиться крепкие политические традиции; только аристократия, подвергающаяся медленному обновлению снизу, может соединить старческую осторожность с юношескою энергиею и во всякую данную минуту действовать против своих врагов то волчьим ртом, то лисьим хвостом. Словом, все дурные стороны аристократического правительства пришлись как нельзя более кстати, когда Рим выступил на поприще завоевательных войн.

Победа плебеев над патрициями уничтожила, правда, кастический характер римской аристократии, но все государственное устройство римской республики осталось по-прежнему аристократическим, с тем только изменением, что элемент богатства стал на одну доску с элементом родовой знатности. Высшие государственные должности перестали быть исключительным достоянием патрициев, но продолжали по-прежнему сосредоточиваться в руках немногих фамилий, по той простой причине, что детям богачей, консулов или сенаторов было очень нетрудно остановить на себе внимание избирателей и победить на выборах бедных или незнатных соискателей.— Вследствие этого высшие должности в некоторых фамилиях могли бы считаться почти наследственными, и, сообразно с этим обстоятельством, все воспитание направлялось в этих семействах к тому, чтобы приготовлять военачальников и администраторов. Связанные между собою узами родства и единством общих аристократических интересов, молодые воины и старые сенаторы так хорошо понимали друг друга и действовали с таким единодушием, что смелая предприимчивость первых и холодная расчетливость вторых взаимно поддерживали и дополняли друг друга во всех важнейших случаях римской истории. Так как жреческие должности принадлежали тому же высшему классу военачальников и правителей, то понятно, что все возможные авторитеты, теоретические и практические, гражданские и военные, тянули все силы народа в одну и ту же сторону, на одну и ту же завоевательную дорогу.

Покоряя своих соседей, Рим умел немедленно превращать своих побежденных врагов в верных союзников и в полезные орудия для дальнейших завоеваний. Сами итальянцы покорили для Рима Италию, и те же итальянцы завоевали впоследствии, под начальством римских полководцев, весь образованный мир. Дело в том, что во всех распоряжениях римского сената преобладал посто-

янно элемент политического расчета. Не увлекаясь чувством ненависти и злорадства, сенат вовсе не хотел унижать, давить и порабощать побежденных врагов, в содействии которых он постоянно нуждался для расширения своего господства. Одною силою оружия Рим, конечно, не мог держать в повиновении всю Италию, а между тем только господство над военными силами Италии могло доставить Риму победу над другими государствами. Поэтому сенат поневоле должен был предоставлять итальянцам кое-какие права, заключать с ними особые условия и вообще воздерживаться в отношении к ним от тех грубых проявлений насилия, которые считались в древности естественным последствием победы. Располагая всеми вооруженными силами Италии, римская аристократия блистательным образом выполнила свою задачу: она скрутила и обобрала весь тогдашний исторический мир, в том числе и своих собственных соотечественников, доблестных граждан города Рима. В то время, когда римские легионы покоряли и опустошали Азию, пауперизм в Италии и в Риме был доведен до таких колоссальных размеров, до каких вряд ли возвысилась даже современная Англия, находящаяся также под управлением родовой и денежной аристократии. «У диких зверей,— говорил Тиверий Гракх,— есть пещеры, в которые они могут удаляться, а у людей, проливающих свою кровь за Италию, нет в Италии ничего, кроме солнечного света и того воздуха, которым они дышат. Без постоянных жилищ они бродят по всей стране вместе с женами и детьми. Полководцы их обманывают, когда они убеждают их сражаться за могилы предков и за домашние очаги. Разве хоть у одного из этих людей есть своя домашняя святыня и семейная гробница? Они дерутся и умирают только затем, чтобы поддерживать чужую роскошь. Их называют владыками мира, а между тем у них нет комка земли, который составлял бы их собственность»[31]

Весь государственный механизм Рима был приспособлен к завоевательной войне; завоевательная война была необходима для того, чтобы поддерживать в механизме порядок и стройность. Консулы только на то и годились, чтобы водить легионы в атаку; сенат только тем и был замечателен, что умел ссорить между собою врагов римской республики и награждать своих союзников, обирая в их пользу своих противников. Когда все противники, которых можно было покорить и обобрать, оказались по-

коренными и обобранными, когда все враги римской республики превратились в ее подданных, тогда римское государственное устройство оказалось совершенно несостоятельным и быстро обнаружило все признаки полного разложения. В Италию были снесены со всех сторон горы серебра, золота и всяких драгоценностей; такого колоссального и систематического грабежа не видел еще и, по всей вероятности, никогда больше не увидит мир. «Где богатства тех народов,— говорит Цицерон в своей речи pro lege Manilia,— которые теперь доведены до нищеты? Странный вопрос! Разве вы не видите, что Афины, Пергам, Кизик, Милет, Хиос, Самос, вся Азия, Ахайя, Греция, Сицилия свезены целиком в наши загородные дворцы?»[32] — Вместе с драгоценностями римские генералы захватывали несметные массы невольников; целые населения продавались в рабство, и так как число покупателей было очень ограничено, то, разумеется, дешевизна людей доходила до самых комических размеров. После подвигов Лукулла в Азии[33] раба можно было купить за четыре драхмы (меньше рубля серебром). Встречаясь с такими цифрами, читатель перестает удивляться тому, что римляне тратили рабов на гладиаторские игры, или тому, что Веллий Поллион кормил своих любимых рыб живыми рабами. Это продовольствование рыб могло показаться Поллиону выгодным даже в экономическом отношении, потому что, когда взрослый и здоровый человек ценится в целковый, тогда этот человек, очевидно, не имеет даже значения рабочей силы. Вытягивая из провинций рабочее население и платя за человека по четыре драхмы, римские олигархи этими поступками объявляли громогласно всему миру, что только они, олигархи, имеют право жить на свете и потреблять продукты человеческого труда; что необходимой должна считаться только та доля труда, которая удовлетворяет потребностям и прихотям олигархов, и что затем вся остальная масса наличной трудовой силы должна продаваться за бесценок, как вещь, совершенно излишняя и ни на что не годная*. Этим образом действий римская олигархия, очевидно, обрекла все провинции на голодную смерть и на запустение. Придя к такому поразительному политическому и экономическому абсурду,

* Аристократы нашего времени, мальтузианцы, говорят даже, что изобилие рабочей силы очень вредно. Веллий Поллион оказывается благодетелем человечества.

римская республика непременно должна была погибнуть; вопрос мог состоять только в том, погибнет ли она одна, или же погубит вместе с собою свои обширные владения. Империя решила этот вопрос в том смысле, что погибнуть должны только одни отжившие республиканские учреждения.

Превращение республики в империю, или, другими словами, переход верховной власти от привилегированного сословия к одной всесильной личности, оказалось для провинций истинным благодеянием. Этого не отрицает даже Тацит, несмотря на всю свою ненависть к цезарям. Что благоразумные императоры не допускали в провинциях тех грабительств, которыми отличались аристократы республиканских времен,— это само собою разумеется и никем не оспаривается. Но даже отъявленные негодяи вроде Калигулы, Нерона или Домициана были для провинций менее вредны и опасны, чем республиканская олигархия. Тирания самых зверообразных императоров разыгрывалась только в самом Риме и обрушивалась преимущественно на богатых и знатных людей. Провинциалы были очень довольны именно такими императорами, которые в Риме приобрели себе репутацию людоедов. Когда некоторые губернаторы посоветовали Тиверию увеличить подати, наложенные на провинциалов, Тиверий отвечал им, что «хороший пастух должен стричь, а не обдирать своих овец». Домициан, по словам Светония, так искусно умел держать в руках провинциальных губернаторов, что они в его время отличались небывалым бескорыстием и неслыханной честностью. Проконсулы времен республики посылались в провинции на кормление, не получая от государства никакого жалованья и пользуясь совершенно неограниченною властью. Они обращались с провинциею, как с неприятельскою страною, и никто не мог требовать от них отчета, кроме их сообщников и родственников, заседавших в сенате. Губернаторы времен империи, напротив того, получили определенные оклады жалованья, были снабжены инструкциями, ограничивавшими их власть, и подчинены строгому надзору со стороны приближенных людей императора, не имевших ничего общего с аристократическим сословием. Вся внутренняя политика императоров, хороших и дурных, постоянно была направлена к тому, чтобы унижать жалкие остатки старой сенаторской аристократии. Лучшие из императоров достигали этой цели тем, что предоставляли

права гражданства провинциалам, или тем, что старались ограничить власть господ над рабами. Худшие деспоты просто душили и обирали богатых аристократов, знаменитые предки которых душили и обирали провинциалов. Те факты, что Калигула произвел своего любимого жеребца Инцитата в сенаторы или что Домициан созвал полное собрание сената для обсуждения вопроса о рыбном соусе, оказываются вовсе не симптомами умственного расстройства, а, напротив того, очень злыми насмешками деспотов над обломками аристократии, которая, окончив свою завоевательную задачу, потеряла смысл своего существования и лишилась всех своих прежних достоинств. Калигула и Домициан нисколько не ошиблись в своих современниках, предположивши в них способность глотать с приятною улыбкою всевозможные оскорбления, идущие сверху; известно, что сенаторы Калигулы торжественно благодарили своего повелителя за ту честь, которая была оказана их сословию производством Инцитата. Известно также, что сенаторы Домициана произносили по вопросу о соусе длинные, серьезные и горячие речи.— Удары цезарей сыпались большею частью на такие физиономии, которые умели выражать только одно подобострастное умиление.

Империя убила аристократию, но сама не поставила на ее место никакой новой идеи, ничего, кроме полновластной личности, которая почти всегда оказывалась совершенно неблагонадежною и вела себя до крайности неприлично. Весь период империи может быть назван продолжительным разложением старого римского механизма, приспособленного для завоевательной войны и пришедшего в совершенную негодность на другой же день после окончательной победы. Прекративши насильственным образом бесплодные войны между цивилизованными нациями древнего мира, римское господство произвело сближение враждовавших народностей. Это сближение совершилось именно в период империи. Тут перемешались между собою и национальности, и религии, и философские школы, и юридические понятия, и сословия. В общем результате получилась очень мутная помесь, из которой, однако, при содействии варваров, выработались мало-помалу новые формы более прочной и богатой цивилизации. Греческая философия распространилась по всей империи и подготовила превращение политеизма в монотеизм. Материалы для этого превращения нашлись

в самой мифологии греков и римлян, в которой существовало с незапамятных времен понятие Судьбы, подчинявшей своему таинственному влиянию поступки и желания людей и богов. Когда созревающий человеческий ум начал подмечать в различных явлениях природы строгую правильность и неизменное постоянство, тогда понятие Судьбы постепенно выдвинулось на первый план, обрисовалось яснее, получило определенные личные атрибуты и превратило всю толпу богов и богинь в безгласную и послушную толпу слуг и служанок. Этому перевороту должно было в значительной степени содействовать то обстоятельство, что национальные боги, не умевшие защитить своих поклонников от римского оружия и склонившиеся перед величием Юпитера Капитолийского, потеряли в глазах порабощенных наций большую часть своего прежнего авторитета. Насколько римский император был сильнее мелких национальных царей, настолько же новый бог должен был оказаться сильнее прежних национальных богов. Когда в Риме сбежались с разных концов древнего мира десятки религий, тогда мелкое соперничество разнокалиберных культов и жрецов пробудило в очень многих умах стремление к какому-нибудь более широкому, высокому и чистому единству, которое положило бы конец скандальным жреческим интригам, рекламам, фокусам и ссорам. Философия в период империи приняла теологическое направление и, стараясь отыскать в языческих мифах высший символический смысл, выработала под прикрытием старых имен новое монотеистическое учение. Видя перед собою ту колоссальную деморализацию, которою Римская империя далеко превзошла все остальные исторические эпохи, философы очень добросовестно стремились к тому, чтобы обновить и образумить общество влиянием философских доктрин. Философы старались устроить какое-то царство разума, в котором верховная власть будет принадлежать мыслителям и в котором все люди будут добродетельны и счастливы, как кроткие и послушные овцы. Чтобы ввести людей в это царство благонравия и блаженства, философам надо было выработать и распространить сильную и убедительную нравственную доктрину, а для этого им непременно надо было выйти в ту или другую сторону из области метафизики, в которой обреталась греческая философия после своего разрыва с господствующим политеизмом. Построить какую бы то ни было нравственную доктрину

можно только или на вере, или на знании. Чтобы считать одни поступки обязательными, а другие предосудительными, человек должен или воображать себе, что над ним есть высшая сила, посылающая ему награды и наказания, или знать, посредством точного исследования окружающей природы и собственного организма, что одни поступки приносят ему пользу, а другие — вред. Знания философов были так отрывочны и недостаточны, что на них невозможно было построить нравственную и социальную доктрину. Метафизика, по своему обыкновению, привела всех искренних мыслителей только к систематическому сомнению, превратившему наконец весь внешний мир в призрак и в обман чувств. Такими диалектическими тонкостями невозможно было действовать на массы и реформировать общественную жизнь. Поэтому когда философия почувствовала в себе призвание к практической деятельности, тогда она поневоле откинулась назад, к теологии, и в этой области остановилась на той доктрине, которая по своей рациональности стояла выше древних мифов и была более способна внести в общество единодушие, порядок и нравственную чистоту. Философы и народные массы встретились в своих стремлениях на монотеизме, и хотя смелые надежды философов далеко не осуществились, однако тем не менее человечество вступило в новую фазу своего исторического развития. Вместе с основною доктриною изменились по обыкновению все отрасли умственной деятельности, все государственные учреждения и все важнейшие формы общественной жизни. Здесь оканчивается древняя история и начинается средневековый период, наполненный такими явлениями, о которых древность не имела понятия.

XII

Верования политеистов имели чисто национальное значение; каждое отдельное политическое тело имело своих специальных покровителей, которых господство не распространялось на соседей. Умилостивление этих национальных богов жертвоприношениями и различными церемониями составляло прямую обязанность существующего правительства. Обе власти, духовная или теоретическая (pouvoir spirituel) и светская или практическая (pouvoir temporel), во времена политеизма оставались нераз-

лучными и сосредоточивались в одних руках. Переход к монотеизму разорвал древнюю связь, существовавшую между религией и народностью. Верховное существо монотеистов уже не могло быть специальным покровителем отдельного племени; это верховное существо сделалось творцом и правителем всего мира, отцом и судьею всех людей, без различия национальностей. Не имея никакого местного или племенного характера, монотеизм может сделаться общей религией многих народов, разбросанных по различным частям света, управляющихся различными законами и составляющих множество независимых политических тел.

Единственною связью между этими различными народами окажутся их общие верования; в те времена, когда теологическое миросозерцание безраздельно господствует над умами людей, эта единственная связь имеет очень важное значение; народы, связанные общими верованиями, считают себя до некоторой степени членами одной общей семьи и противополагают себя всему остальному миру, который, по их мнению, коснеет в пагубном заблуждении. У народов, связанных единством теософической доктрины, пробуждается, конечно, стремление поддерживать эту связь, сохраняя в чистоте первобытное учение и взаимно предостерегая друг друга от таких нововведений и умозаключений, которые так или иначе могут нарушить эту драгоценную чистоту. Возникает потребность совещаться или переписываться о религиозных делах; обнаруживается необходимость создать какую-нибудь центральную власть, к которой можно было бы обращаться с разных сторон за решением спорных догматических или дисциплинарных вопросов. Словом, космополитический характер монотеизма, при благоприятных исторических обстоятельствах, естественным образом приводит за собою учреждение такой власти, которая по возможности старается сделать себя независимою от отдельных национальных правительств. Когда национальные правительства сильны и бдительны, тогда эти старания оказываются неудачными; когда же в политическом мире господствует беспорядочная борьба личных страстей и частных интересов, тогда эти старания увенчиваются полным успехом, что и случилось действительно в средневековой Европе, где, как известно, космополитическая власть пап в продолжение нескольких столетий боролась с национальными правительствами за верховное господство.

В этой средневековой борьбе пап с императорами и с королями Огюст Конт усматривает то разделение властей, которое, по его мнению, должно сделаться основанием будущего национального общественного устройства, примиряющего в себе все разумные требования порядка и прогресса. Чтобы понять взгляд Конта на разделение властей, надо сначала познакомиться с его мнениями о тех обязанностях, которые нормально организованное общество должно налагать на лучших своих мыслителей. Философы Древней Греции мечтали о том, чтобы сосредоточить в своих руках все отрасли верховной власти; они полагали, что господство по всем правам должно принадлежать разуму и что народ будет счастлив только тогда, когда его делами будут заведывать самые гениальные и глубокомысленные из его соотечественников. К этой мечте греческих философов Конт относится очень недоброжелательно. Он полагает, что гениальный мыслитель в большей части случаев оказался бы очень посредственным или даже никуда не годным администратором. Фридрих II[34] сказал однажды, что, если бы он захотел разорить вконец какую-нибудь провинцию, то предоставил бы ее управление своим друзьям-философам. Упоминая мимоходом об этих известных словах, Конт говорит, что они превосходно выражают собой чистейшую истину, потому что для занятия вседневными практическими делами простое и трезвое благоразумие гораздо полезнее, чем глубокомыслие и гениальность. Дело мыслителей — прокладывать новые пути, вырабатывать новые принципы, обогащать и освежать жизнь новыми руководящими идеями. Дело администраторов — идти по этим вновь проложенным дорогам и прикладывать данные общие идеи к мелким и случайным обстоятельствам места и времени. Мыслитель ищет общих законов и обращает мало внимания на частные особенности изучаемых явлений; администратор, напротив того, постоянно имеет дело с конкретными подробностями, от которых в большей части случаев зависит успех или неуспех его распоряжений. Поэтому мыслителю, превратившемуся в администратора, пришлось бы насиловать свою природу, и если бы даже ему удалось приневолить себя к аккуратному и кропотливому выполнению мелких практических обязанностей, то, во всяком случае, лучшая и драгоценнейшая часть его умственных сил осталась бы не приложенной к делу и, следовательно, пропала бы даром для чело-

вечества. Кроме того, в правительстве, составленном из мыслителей, высшие места все-таки ни в каком случае не достались бы первоклассным гениям. Подвиги и силы тех гениев, которые действительно производят перевороты в общественном сознании, большей частью не могут быть оценены по достоинству современниками, именно потому, что гений слишком далеко хватает вперед и слишком резко противоречит установившимся теориям. Не умея понять гениального мыслителя, современники видят в нем или бестолкового фантазера, или вредного шарлатана; понимание начинается только тогда, когда многолетняя работа мыслителя приведена к концу и разъяснена обществу другими мыслителями, менее даровитыми, чем первый мыслитель, но более понятливыми, чем масса равнодушных и недоверчивых современников. Когда это понимание становится всеобщим, тогда уже поздно призывать гения в верховный совет, потому что гений уже умер или, по крайней мере, превратился в дряхлого старика. Стало быть, правительство философов было бы во всяком случае правительством философствующих посредственностей, неспособных сделать ничего великого ни в области мысли, ни в области практической жизни. Наконец, особенно важно то обстоятельство, что, присвоив себе господство над обществом и превратившись в правительство, мысль тотчас начинает слабеть и развращаться; для того, чтобы сохранять всю свою силу и всю свою свежесть, мысль должна постоянно оставаться чисто прогрессивною силою, вечно недовольною тем, что существует, вечно критикующею несовершенства настоящего, вечно стремящеюся к более полной и к более разумной жизни. Если мысль выйдет из этого положения систематической оппозиции, если она присвоит себе прямое господство, то она, подобно всякому другому правительству, проникается инстинктом самосохранения и незаметным образом, мало-помалу, направит все свои усилия к тому, чтобы поддерживать тот порядок вещей и тот строй понятий, которые создали ее политическое могущество. Одним словом, если бы греческие философы успели осуществить свою мечту, то их идеальное государство очень скоро превратилось бы в неподвижную теократию, систематически подавляющую внутри себя всякую самодеятельность индивидуальной мысли.

Итак, стремления греческих философов ошибочны. Спрашивается теперь, каким же образом должно выра-

жаться в нормально организованном обществе оплодотворяющее влияние сильной мысли?

Отвергая честолюбивые мечты греческих философов, Конт полагает в то же время, что действительные отношения этих философов к обществу были также совершенно ненормальны именно потому, что эти философы действовали врассыпную и не имели никакого официального характера. По соображениям Конта оказывается, что лучшие мыслители данного общества должны составить из себя теоретическую власть, совершенно независимую от практической, но имеющую, подобно всякому другому правительству, свою внутреннюю иерархическую организацию. Эта теоретическая власть должна заведывать воспитанием в самом обширном смысле этого слова; то есть, внушивши подрастающему поколению известные понятия, чувства и стремления, она должна своим постоянным влиянием на общество и на отдельные личности направлять своих бывших воспитанников к неуклонному применению усвоенных идей к действительной жизни.

Нетрудно понять, что идея Конта об организованной и независимой теоретической власти нисколько не лучше той мечты греческих философов, которую сам же Конт разбивает самыми победоносными и неопровержимыми аргументами. Гениям приходится оставаться за штатом как в том, так и в другом случае, потому что в обоих случаях высшие места в правительственной иерархии будут доставаться не тем мыслителям, которые умнее остальных, а тем, которые умеют приобрести себе наиболее обширную известность. Мысль, как здесь, так и там, превратится в консервативную силу и сделается тормозом, вместо того, чтобы быть двигателем. Организованная иерархия Конта непременно разовьет в себе те естественные инстинкты, которые свойственны всякому правительству, практическому или теоретическому,— разовьет их именно потому, что она — организованная иерархия и, следовательно, подобно всякому другому организму, поставлена в необходимость отстаивать прежде всего свое собственное органическое существование. В конечном результате получилась бы чистейшая теократия или же получился бы чистый нуль, то есть независимая теоретическая власть, придуманная Контом, принуждена была бы или захватить в свои руки все отрасли политического господства или же отказаться от своей независимости и подчиниться светскому правительству. Две независимые вер-

ховные власти не могут существовать рядом в одном и том же обществе; они могут только бороться между собою, и борьба их рано или поздно непременно должна кончиться тем, что одна власть уничтожит и прогонит другую. Так точно было и в средневековой Европе. Если же Конт при всей своей необыкновенной проницательности принял ожесточенную борьбу за полюбовное размежевание, то эту странную ошибку можно объяснить тем обстоятельством, что Конт, увлеченный своею собственною политическою утопиею, постарался увидеть в истории оправдание этой утопии и, находясь в этом далеко не беспристрастном настроении, поверил с особенным удовольствием чувствительным россказням католических писателей, подобных монсиньору Боссюэ и графу де Местру. На этих двух изобретателей Конт действительно ссылается очень часто, причем он обыкновенно называет их «l'illustre de Maistre», «le grand Bossuet»[35].

XIII

По мнению Конта, великая политическая задача католицизма состояла в том, чтобы, устраняя опасные мечты греческой философии о верховном господстве разума, доставить мыслителям правильное и постоянное влияние на течение общественных дел.

«Вместо того,— говорит Конт,— чтобы увековечивать между людьми дела и людьми мысли печальную борьбу, которая должна была истощать самые драгоценные силы человеческой цивилизации, надо было устроить между ними постоянное соглашение, которое могло бы превратить их гибельный антагонизм в полезное соперничество, единодушно направленное к наилучшему удовлетворению главных общественных потребностей; надо было по возможности назначить для каждой из двух великих сил в совокупности политической системы правильное участие, совершенно отдельное и независимое, хотя и направленное к одной общей цели; надо было пристроить обе силы к такому назначению, которое соответствовало бы их характеристическим особенностям» (Phil. Pos. T. V, p. 228). Вслед за тем читатель узнает к крайнему своему удивлению, что католицизм победил эту громадную трудность самым восхитительным образом (de la manière la plus admirable) и что он, несмотря на множество препятствий,

произвел то фундаментальное разделение властей, в котором здравая философия, наперекор современным предрассудкам, должна видеть величайшее усовершенствование общественного организма.

Если мы отдадим себе ясный отчет в том, что такое — практическая власть и что такое — теоретическая власть, то мы немедленно сообразим, что средневековый католицизм о разделении властей не имел и не мог иметь ни малейшего понятия. Практическою властью называется та власть, которая собирает налоги, ведет войны, заключает трактаты, издает законы, чеканит монету, преследует преступников и творит над ними суд и расправу. Отличительный признак этой практической власти заключается в том, что в случае надобности она может и должна поддерживать вооруженною силою каждое из своих распоряжений или требований. Теоретической властью, напротив того, можно назвать только ту силу, которая вырабатывает и формирует общественное мнение. Такой силой может быть только мысль, не имеющая за собою никаких внешних вспомогательных средств и действующая на общество исключительно своею собственною, внутреннею разумностью и убедительностью. Разделение властей существует только в тех обществах, в которых мысль не терпит никаких преследований и не получает никакого покровительства со стороны материальной силы, находящейся в распоряжении практической власти. На общеупотребительном политическом языке разделение властей называется свободой мысли и свободой совести. Таким разделением властей пользуются в настоящее время только Англия и Америка. Но это разделение властей совершенно несовместимо с какою бы то ни было *организациею* теоретической власти. Всякая организация непременно подчиняет волю отдельной личности воле начальника или решению большинства. Но что же вы будете делать, если найдется такая личность, которая захочет действовать по-своему, не обращая внимания ни на приказания начальника, ни на решения своих товарищей? — Вы сделаете одно из двух: или вы предоставите этой своенравной личности полную свободу, или же вы употребите против нее материальную силу, которая переломит ее своенравие какими-нибудь энергическими внушениями, например, розгами, или тюремным заключением, или смертною казнью. — В первом случае я осмелюсь спросить вас: куда же девалась ваша организация и на что же она нужна, если

каждая отдельная личность делает в области мысли все, что ей вздумается? — Во втором случае вы мне позволите спросить у вас: куда девалось разделение властей и можно ли называть вашу организованную власть *теоретическою,* если она пускает в ход материальную силу? *Бичи, темницы, топоры* — разве это все *теоретические* средства? Все эти средства вы можете заимствовать только у практической власти; и всеми этими средствами вы можете пользоваться только в таком случае, если это вам будет положительно разрешено практическою властью. Значит, пользуясь этими средствами, вы ставите ваше sanctum sanctorum, вашу теоретическую святыню под покровительство практической власти; а кто требует покровительства, тот, разумеется, подчиняется контролю, потому что, в самом деле, где же вы найдете таких полоумных людей, которые, зажмурив глаза, согласились бы покровительствовать неизвестно чему? Стало быть, верховным судьей в деле теории оказывается самым естественным и неизбежным образом практическая власть. Где же после этого ваша самостоятельность? Ясное дело, что надо выбирать одно из двух: или организацию, или независимость. Эти два условия взаимно исключают друг друга.

Конт, как настоящий француз, дорожит преимущественно единством и порядком; его смущают и приводят в негодование хаотическое разнообразие и дерзкая пестрота личных суждений; он отзывается с непритворным отвращением об *умственной анархии* нашего времени; сокрушаясь над этою *анархиею,* в которой нет ничего печального и предосудительного, он очень мало заботится о сохранении независимости и, рассуждая очень пространно и торжественно о разделении властей, сам на каждом шагу, во имя единства и порядка, отступает от этого основного принципа своей политической философии. Непомерное пристрастие Конта к любезному единству и порядку внушает ему пламенную нежность и глубокое уважение к средневековой католической системе, которую он прямо называет *образцовым произведением политической мудрости* (le chef-d'oeuvre politique de la sagesse humaine); Конт боится даже, что он, по недостатку места, не успеет достаточно передать читателю в своем общем философском трактате то *глубокое восхищение,* которым он *уже давно проникнут* в отношении к основному плану средневековой общественности. Конт выражает, наконец, ту мысль, что было бы чрезвычайно полезно сосредоточить

все политические рассуждения и споры между двумя главными направлениями — католическим и положительным; все остальные доктрины он сваливает в одну кучу и называет презрительным именем протестантской метафизики; эта метафизика, по его мнению, порождает только бесплодные и бесконечные прения, радикально враждебные всякому здравому политическому плану. Но вслед за тем Конт тотчас же признается, что положительную школу составляет в данную минуту одна его собственная особа, из чего следует очевидное заключение, что беседовать и спорить о политике имеют разумное право только граф де Местр, с одной стороны, и Огюст Конт, с другой стороны. Так как обе компетентные стороны питают одинаково сильную любовь к единству и к порядку, то можно поручиться заранее, что свобода мысли будет задавлена во всяком случае, каким бы результатом ни закончилась борьба между обожателями Пия IX[36] и новым папой позитивизма. К счастью для современного человечества, так называемая протестантская метафизика, к которой отнесены без разбора и Вольтер, и Фейербах, и Фурье, и Прудон, вовсе не намерена подавать в отставку и уступать поле сражения *здравым политическим планам* графа де Местра и Огюста Конта. Дело отрицания далеко еще не кончено даже в Западной Европе; а когда начнется дело созидания, то оно будет производиться вовсе не по тем планам, которые Конт считает здравыми. Политические тенденции Конта кладут ложный розовый колорит на все средневековые учреждения, которые он подвергает тщательному и подробному анализу. Общий взгляд Конта на средневековую систему совершенно неверен; симпатии его направляются к тому политическому организму, который по мере сил своих поддерживал и упрочивал в европейских обществах нищету и тупоумие. Несмотря на эти капитальные ошибки Конта, его исторический анализ заключает в себе множество чрезвычайно глубоких и верных замечаний. Даже там, где он ошибается и приходит в совершенный разлад с историческою истиною, он все-таки остается сильным и оригинальным мыслителем, которого заблуждения и натяжки оказываются более интересными и поучительными, чем самые безукоризненно верные словоизлияния добродетельных, умеренных и аккуратных либералов нашего времени.

В средневековом обществе было немыслимо то разделение властей, которое Огюсту Конту желательно в нем

усматривать. Если бы это разделение действительно существовало, то папы не имели бы ни малейшей возможности преследовать и истреблять еретиков. Папы могли бы действовать против них только увещаниями и аргументами, а в крайнем случае ругательствами и проклятиями; но так как еретики, по своему известному упрямству, стали бы, наверное, платить папам тою же монетою, то, разумеется, знаменитое католическое единство очень быстро распалось бы в разные стороны, и средневековая Европа огорчила бы великих организаторов де Местра и Конта такою же беспорядочною пестротою разнообразнейших сект, какою украшается в настоящее время Северная Америка, не имеющая ни малейшего понятия о высоких прелестях единства, системы и порядка. Папы в самое цветущее время своего могущества беспрестанно обращаются к императору и к королям за такими аргументами, которые всегда действуют на еретиков сильнее всяких увещаний, ругательств и даже проклятий. По приглашению пап светская власть беспрестанно вешает и сжигает неугомонных спорщиков то поодиночке, то целыми сотнями. В начале XIII века самый могущественный из пап, Иннокентий III, напускает на южную Францию десятки тысяч вооруженных крестоносцев, которые жгут города, режут людей, насилуют женщин и, наконец, всеми этими подвигами благополучно восстановляют нарушенное единство католической системы, этого *образцового произведения политической мудрости.* Немного позднее преемник Иннокентия III, Григорий IX, учреждает инквизицию, которая начинает неусыпно заботиться о поддержании великого единства и поддерживает его тем, что постоянно передает заподозренных людей в распоряжение светской власти, всегда имеющей в готовности весьма достаточное количество виселиц и костров. Пока светская или практическая власть находит для себя удобным оказывать теоретической власти эти дружеские услуги, до тех пор любезное Огюсту Конту единство кое-как держится, хотя постоянно трещит и скрипит[37] то в Англии, то во Франции, то в Германии. Как только предупредительная любезность практической власти истощается, так тотчас же разрушается великое единство и начинается ненавистное для Огюста Конта протестантское безобразие. Ясно, кажется, что средневековая теоретическая власть держалась в продолжение нескольких столетий не своим собственным могуществом, не внутреннею разумностью и убедительно-

стью своей основной идеи, а только искусственною и чисто внешнею поддержкою материальной силы, то есть практической власти. Есть ли после этого какая-нибудь возможность говорить серьезно о разделении властей?

В теоретических трактатах очень легко и удобно разделять то, что неразделимо в действительной жизни. Но при всем том средневековые мыслители даже в своих теоретических рассуждениях никогда не думали провозглашать взаимную независимость обеих властей. Одни из этих мыслителей поддерживали притязания пап, другие отстаивали права императоров и королей. Первые были гораздо смелее и последовательнее вторых. Первые объявляли очень откровенно, что папе принадлежит верховная власть над всеми государями и над всеми народами. Вторые превозносили божественные права светских властителей, но в то же время никак не осмеливались утверждать, что императоры и короли не обязаны повиноваться папам. Они просто обходили молчанием щекотливый вопрос о столкновениях между обеими властями, советовали государям уважать папу, как отца, успокаивались на той обманчивой надежде, что любовь и уважение будут устранять всякие поводы к взаимным неудовольствиям. Эта нерешительность империалистов[38] доказывает как нельзя лучше совершенную невозможность провести ясную пограничную черту между обеими властями даже в теоретическом рассуждении. Клерикальная партия, напротив того, не обнаруживала никаких колебаний, именно потому, что разделение властей вовсе не входило в ее расчеты. Вся программа этой партии была в высшей степени проста и последовательна: надо было без дальнейших церемоний превратить императоров и королей в папских приказчиков, которых папа мог бы по своему благоусмотрению штрафовать и выгонять в отставку. Эти стремления пап к клерикальной диктатуре высказывались во всеуслышание, как самими папами, так и всеми публицистами ультрамонтанского лагеря. Но поддерживать такие неумеренные притязания после скандального раскола, совершившегося в XV веке, и в особенности после Реформации было уже довольно затруднительно. Потерявши свое господство над умами доверчивых масс и нуждаясь для своего существования в милостивом покровительстве светской власти, папы, из чувства самосохранения, должны были предать благоразумному забвению средневековые теории о низложении императоров и о разрешении подданных от присяги. Знаменитые ди-

алектики и дипломаты католицизма, иезуиты, постарались соорудить новую теорию папской власти, приспособленную до некоторой степени к изменившимся условиям времени. Однако и в этой новой теории, составленной нарочно для того, чтобы пощадить самолюбие королей и народов, обе власти остаются неразделенными и папа по-прежнему является верховным судьей светских правителей. Различие между старою и новою теориею состоит только в том, что Григорий VII и Иннокентий III *прямо* присваивали папе светскую власть, между тем как иезуиты, напротив того, считают светскую власть *косвенным последствием* духовной власти. Вся разница заключается в процессе доказательств, что же касается до результатов, то в них не оказывается никакой перемены.

Из всего этого рассуждения получается тот очевидный результат, что короли совершенно самостоятельны... если только они беспрекословно повинуются папе. Если же они выходят из повиновения, то они, разумеется, становятся тотчас вредными *для спасения душ,* превращаются в рабов греха и, следовательно, утрачивают всякую возможность пользоваться самостоятельностью. Тогда, разумеется, папа с крайним прискорбием берет их под свою спасительную опеку, как малолетних или слабоумных. По-видимому, в этой теории все обстоит совершенно благополучно, и *спасение душ* обеспечено как нельзя лучше против всевозможных враждебных случайностей. Несмотря на все эти достоинства, папа Сикст V нашел эту теорию столь оскорбительною для величия римского престола, что немедленно внес сочинение иезуита Беллармина в список тех вредных и безнравственных книг, которых чтение запрещается послушным детям католической церкви. Несмотря на все перевороты, совершавшиеся в политическом и в религиозном мире, Сикст V в шестнадцатом столетии и не думал отказываться от притязаний своих великих предшественников. «Мы возведены,— пишет он,— на верховный престол справедливости, и мы обладаем неограниченным господством над всеми королями и государями земли, над всеми народами не по человеческому, а по божескому установлению».

Если Конт называет мечты греческих философов безрассудными, то он должен, выражаясь математическим языком, назвать мечты средневековых клерикалов безрассудными в квадрате или в кубе, потому что, конечно, ни Пифагор, ни Платон никогда не мечтали о том, что они обладают или будут обладать неограниченным господством над всеми государями и народами земли.

XIV

Важнейшая заслуга католицизма, по словам Конта, (Phil. Pos. T. V, p. 123) состояла в том, что он, учредивши чисто нравственную власть, ввел постепенно нравственность в политику, в которой господствовали до того времени грубая сила и своекорыстный расчет. Конт полагает, что в древнем мире нравственность была подчинена политике, между тем как в новом мире, напротив того, политика подчиняется нравственности. Эту перемену Конт приписывает католицизму. За нее католицизму стоило бы действительно сказать большое спасибо, если бы только эта перемена действительно была произведена. Но ничего похожего на подобную перемену нельзя отыскать ни в средневековой истории, ни в новой истории, ни в той самоновейшей истории, с которой мы знакомимся по газетам. Где же они, эти Аристиды и Катоны[39] политического мира? Где они, эти добродетельные и бескорыстные администраторы, отказывающиеся во имя высших нравственных принципов от удобного случая поживиться за счет слабого соседа клочком земли или несколькими миллионами военной контрибуции? Вместо ожидаемых и требуемых Аристидов и Катонов мы получаем двух Наполеонов, Луи-Филиппа, Меттерниха, Пальмерстона, Баха, Мантейфеля, Бисмарка, Шмерлинга, Гайнау, Радецкого, Морни и обильную коллекцию разных других, столь же миловидных воплощений современной политической добросовестности и деликатности. Все эти светила государственной мудрости оказали некоторым сообразительным людям XIX века ту действительно капитальную услугу, что отбили у них всякую охоту гоняться за тем неуловимым призраком отвлеченной нравственности, который, к сожалению, увлекал за собою Огюста Конта в течение всей его жизни. Сообразительные люди нашего времени поняли наконец, что справедливость водворится во всех междучеловеческих отношениях не тогда, когда все жители нашей планеты проникнутся высокими добродетелями, а тогда, когда каждый нахал будет встречать себе очень чувствительный отпор со стороны тех безответных личностей, над которыми он во времена их безответности привык куражиться и озорничать. Поэтому сообразительные люди во всей Европе только о том и заботятся, чтобы положить конец овечьей безответности большинства и организовать достаточную силу отпора во всех тех ме-

стах, где такая сила требуется условиями общественного механизма.

В современной политике принцип выгоды никогда не совпадает с принципом справедливости; частная жизнь в малых размерах представляет собою картину точно такого же разлада. Глядя на эти явления, одни мыслители умозаключают, что принципы выгоды и справедливости по самой природе своей осуждены вести между собою вечную вражду; дойдя до такого убеждения, мыслители эти становятся на сторону справедливости и начинают требовать от своих последователей и от всех людей, чтобы они постоянно зарезывали свои собственные выгоды на алтаре добродетели, нравственности и человеколюбия. Если, рассуждают мыслители, каждый человек во всякую данную минуту будет готов отдать ближнему последнюю рубашку, то, разумеется, на свете не будет ни голодных, ни раздетых, ни ограбленных, ни избитых людей. Рассуждение очень основательное и добродушное,— но, к сожалению, бедные классы общества, как больные, чающие движения воды, ждут безуспешно почти две тысячи лет, чтобы в их богатых соотечественниках пробудилось эксцентрическое желание снимать с себя в пользу ближнего последнюю рубашку. Желание это не пробуждается, и люди до сих пор постоянно производят снимание рубашек не над собой, а над своими бессильными и неопытными ближними, которые на юмористическом языке филантропов называются младшими братьями. В виду таких выразительных фактов, другие мыслители, более дальновидные, сообразили, что, если бедным классам общества надо будет для улучшения своей участи ожидать терпеливо, пока старшие братья украсятся добродетелями,— то дело этих бедных классов всего лучше будет теперь же сдать в архив с полною уверенностью, что оно решится после дождика в четверг. Эти другие мыслители поняли, что требовать от старших братьев ненависти к собственным выгодам — значит требовать психологической невозможности и, следовательно,— умышленно или неумышленно — увековечивать то положение вещей, благодаря которому процветает снимание рубашек, совершенно неспособное улучшить положение младших, подвергающихся этому сниманию. Мыслители поняли, что принцип выгоды в настоящее время дает неудовлетворительные результаты только потому, что он недостаточно обобщен и что огромное большинство — именно все младшие

братья — по своему развитию и по своему положению находятся в невозможности руководствоваться в жизни этим великим принципом. Если *каждый* будет постоянно стремиться к своей собственной выгоде и если *каждый* будет правильно понимать свою собственную выгоду, то, конечно, никто не будет снимать рубашку с самого себя, но зато это добродетельное снимание окажется излишним, потому что каждый будет отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вследствие этого каждая рубашка будет украшать и согревать именно то тело, которое ее выработало. Таким образом, если принцип личной выгоды будет с неуклонною последовательностью проведен во все отправления общественной жизни, то каждый будет пользоваться всем тем, и только тем, что принадлежит ему по самой строгой справедливости. Чем сильнее работает мысль в этом направлении, тем сознательнее становится стремление к личной выгоде, — тем искуснее и безобиднее производится полюбовное размежевание соприкасающихся интересов, — тем решительнее обнаруживается влияние просвещенного общественного мнения на все распоряжения практической власти, — и, следовательно, тем неотразимее оказывается преобладание великих нравственных принципов над мелкими политическими расчетами. Все эти превосходные результаты достигаются не искоренением эгоизма, а, напротив того, — систематическим превращением всех граждан, с первого до последнего, в совершенно последовательных и правильно рассчитывающих эгоистов. При таком взгляде на вещи нравственное воспитание отдельной личности или целого общества не имеет никакого самостоятельного значения; нравственное совершенствование оказывается только одним из неизбежных последствий умственного развития; что содействует работе мысли, то возвышает нравственность; что притупляет ум, то ведет к нравственному падению.

Конт, при всем своем глубокомыслии, не сумел однако же отделиться от толпы тех рутинных моралистов, которые уже бог знает сколько веков ведут комическую борьбу с человеческим эгоизмом, то есть с самым великим, плодотворным и неистребимым свойством нашей животной природы. К счастью для нас, наши косматые предки, близкие родственники могучего гориллы[40], оставили нам такую богатую закваску эгоистической силы, которая не поддается никаким морализаторским попыткам

и которая будет волновать и мучить личность и общество до тех пор, пока коллективный ум человечества не отыщет для нее широкого и правильного исхода. Если б не было у нас этой неугомонной горилловской[41] страстности, этой неутолимой жажды личного наслаждения, то спиритуалисты, с одной стороны, и мальтузианцы, с другой стороны, давным-давно успели бы превратить в кастратов огромное большинство нашей породы. Человечество спасалось от гибели на каждом шагу именно теми грубыми животными страстями, против которых вооружаются средневековые моралисты и вместе с ними позитивист Конт. Нравственная доктрина Конта обрисовывается очень ярко словом altruisme, которое он сам придумал для того, чтобы в противоположность к *эгоизму* обозначить способность жить для других — vivre pour autrui. В этой доктрине он сходится с средневековым католицизмом, которому он и свидетельствует свое почтение за мнимое проведение этой доктрины в политическую жизнь. Но мораль Конта и его средневековых друзей вытекает из такого превратного взгляда на человеческую природу, что каждая попытка приложить эту мораль к действительности вовлекает моралистов в безвыходные противоречия с их собственным учением. Именно эти роковые противоречия убили теоретическую власть средневековых моралистов.

В самом деле, в чем заключались общественные обязанности средневекового аббата? Отказываясь от всякой личной выгоды и от всякого личного наслаждения, от богатства, от власти, от комфорта, от почестей, от любви, от семейной жизни, — он должен был постоянно побуждать всех своих ближних к таким же точно подвигам аскетического самоотречения. Но у ближнего были свои собственные понятия и тенденции: ему хотелось наедаться до отвалу, напиваться до бесчувствия, наслаждаться до изнеможения и драться с каждым подобным себе буяном. Такими ближними были почти все феодальные бароны, то есть именно те люди, на которых средневековому аббату было необходимо действовать, если только этот аббат относился серьезно к своим обязанностям и чувствовал искреннее желание сколько-нибудь осмыслить и облагородить окружающую жизнь влиянием своих возвышенных нравственных доктрин. Но, чтобы господствовать над умами сильных и богатых буянов, чтобы не превратиться в их шута и лакея, аббату было необходимо или удивлять их

какими-нибудь сверхъестественными подвигами самоистязания, или же стоять с ними наравне по своему богатству, по своему могуществу и по своему положению в обществе. Путь самоистязания так узок и прискорбен, что на него вступало всегда самое незначительное меньшинство даже в те времена, когда аскетическое воодушевление принимало до некоторой степени эпидемический характер. Поэтому аббатам, чистосердечно преданным своей доктрине, но не чувствовавшим в себе присутствия факирских наклонностей, приходилось поневоле стремиться к богатству и к разным другим суетным благам, для того чтобы этими благами поддерживать достоинство своего сана и влияние всей корпорации на общественные дела. Этим и начинался ряд роковых внутренних противоречий. Аббат гнался за богатством, чтобы доставить силу и вес такой доктрине, которая от своих адептов требует презрения к богатству. Вследствие этого каждому желающему представлялся ежеминутно удобный случай уличать аббата в вопиющем разладе между словами и поступками. Из этого первого противоречия развивалось множество других противоречий, еще более крупных и скандальных. В средние века основание богатства и могущества заключалось в обладании населенными землями. Аббаты и епископы превратились в феодальных баронов. Вступая во владение, барон обязан был приносить присягу своему сюзерену, то есть тому высшему властителю, который считался настоящим собственником данного поместья и которому барон обязан был помогать во время войны. Желая владеть землею, аббаты и епископы должны были подчиняться тем условиям, с которыми было связано это владение. Они должны были являться по требованию сюзерена с определенным числом вооруженных людей, несмотря на то, что основная доктрина была совершенно враждебна не только наступательным, но и оборонительным войнам. Так как земли, находившиеся во владении епископов и аббатов, принадлежали императору, королям, герцогам и разным другим светским владетелям, то эти же владетели присвоили себе право производить в аббаты и в епископы, кого им было угодно. Духовные должности стали отдаваться придворным любимцам или продаваться с аукционного торга. В X веке случалось нередко, что ребята 5—10 лет попадали по протекции в епископы. «Школьники и безбородые мальчишки,— пишет Бернар Клервальский[42],— по знатности своего проис-

хождения производятся в церковные должности и, выдерживая экзамен под ферулою[43] учителя, радуются более своему избавлению от розог, чем получению епископского сана». Эти явления вытекали очень естественно из того обстоятельства, что епископы и аббаты владели обширными поместьями; а владение это было необходимо для того, чтобы представители теоретической власти могли действовать на своих современников. Между тем искренние моралисты никак не могли переносить тех безобразий, которые позволяла себе практическая власть, торговавшая духовными должностями и назначавшая в епископы малолетних ребят.

Для прекращения этих безобразий понадобилось начать колоссальную борьбу между папством и империею. Для достоинства клерикалов, для самостоятельности их корпорации, для утверждения и распространения их доктрины эта борьба была совершенно необходима, но в то же время всякая борьба, всякие честолюбивые стремления, всякие воинственные манифестации прямо противоположны духу и букве их основной доктрины. Клерикалам представлялась, таким образом, очень печальная дилемма: покориться светской власти — значило обречь себя на бессилие и деморализацию; а восстать против этой власти — значило нарушить самые основные законы той морали, которая составляет единственную raison d'ètre[44] клерикальной корпорации. Руководствуясь тем естественным инстинктом самосохранения, который живет в каждом индивидуальном и коллективном организме, клерикальная корпорация выбрала второй путь. Этот путь привлек папство сначала к высшей точке его могущества, а потом — к окончательной погибели, потому что противоречие между доктриною и жизнью сделалось очевидным для самых доверчивых простаков. Борьба папства с империей относится к самому цветущему времени средневекового католицизма; если в католицизме действительно существовало стремление подчинять политику нравственности, то это стремление должно было выразиться особенно сильно именно в это время. Между тем оказывается, что весь этот период наполнен такою борьбою, которую, с точки зрения католической морали, надо признать за величайшую безнравственность. Папы пускают в ход против императоров и королей чисто революционные средства, между тем как им, папам, было строго приказано повиноваться предержащим властям. Значит, политика преобла-

дает над нравственностью, вместо того, чтобы подчиняться ей. Дело дошло до того, что папа Урбан II уговорил принца Генриха, сына императора Генриха IV, взбунтоваться против отца и вести с ним кровопролитную войну. То ожесточение, с которым сын стал преследовать отца, называлось на языке папы *внушением свыше* и выполнением божественной воли. Папы, очевидно, утвердились сразу очень прочно на том основательном рассуждении, что цель оправдывает средства. Это рассуждение делает величайшую честь их политическим способностям, но вместе с тем оно отнимает у нас всякую возможность приписывать католицизму внесение нравственности в политику, потому что иначе нам пришлось бы воздать такую же точно похвалу Николаю Макиавелли и ордену иезуитов.

XV

Втянувшись в упорную борьбу с императорами, великие папы XII и XIII столетий сделались предводителями политической партии и стали поступать так, как поступают везде и всегда политические деятели. Папы постоянно делали то, чего требовали от них обстоятельства. Во всем своем поведении они обнаружили очень много искусства, энергии, твердости и неустрашимости и очень мало добросовестности и нравственной разборчивости. Так, например, Григорий IX напал на сицилийские владения Фридриха II в то время, когда Фридрих находился в Палестине и, следовательно, в качестве крестоносца имел полнейшее право считать себя совершенно неприкосновенным для всякого христианского государя. Иннокентий III преследовал того же Фридриха с такою страстною и неутомимою ненавистью, которая привела в ужас добродушного Людовика IX, делавшего безуспешные попытки помирить папу с императором. После смерти Фридриха Иннокентий стал проповедовать крестовый поход против сына его, Конрада; примас Германии, архиепископ майнцский, был отрешен от должности за то, что на воинственные прокламации папы он осмелился отвечать словами Иисуса Христа: «Вложи меч твой в ножны!» Жизнь и доктрина разошлись между собою так далеко, что указания на доктрину превратились в политические преступления. Видя истребительные наклонности папы, один епископ и один аббат сговорились между собою за-

резать Конрада. После смерти Конрада папа объявил себя опекуном его сына, двухлетнего Конрадина. В качестве опекуна Иннокентий начисто обобрал своего питомца, давши предварительно торжественное и публичное письменное обещание сохранить его права в полной неприкосновенности. Преемники Иннокентия продолжали его политику, и дело кончилось тем, что Сицилия досталась французскому принцу, Карлу Анжуйскому, а Конрадин, которому папство торжественно обещало свое покровительство, погиб на эшафоте по приказанию нового сицилийского короля, возлюбленного сына римской церкви. Итак, преобладание нравственности над политикою оказывается чистейшим мифом.

Убедившись в политическом бессилии средневековой морали, посмотрим теперь, какие именно стороны этой нравственной доктрины привлекают к себе особенное сочувствие Огюста Конта.

Прежде всего Конту очень нравится то, что средневековые моралисты проповедовали людям смирение. Конт полагает, что человеческую гордость следует постоянно унижать как можно сильнее; он надеется, что *новая общественная философия утвердит и даже усовершенствует в значительной степени этот важный отдел нравственного учения* (Phil. Pos. V, 308). Надежды Конта основываются на том обстоятельстве, что положительные науки ежеминутно убеждают человека в слабости и ограниченности его ума. К каким полезным или приятным результатам приведет людей это постоянное унижение гордости, этого Конт не объясняет; но догадаться очень нетрудно, почему смирение так дорого Конту. Тут действует, очевидно, неистощимая любовь к дисциплине и к субординации, которые, как известно, развертываются в полном блеске именно тогда, когда забитые, разоренные и задавленные массы утрачивают всякое сознание своего человеческого достоинства. Тогда над миллионами смиренных людей господствует горсть таких личностей, к которым проповедь смирения вовсе не относится. В средние века моралисты умели смирять только тех, которые уже были слишком достаточно смирены обстоятельствами жизни. На баронов, на рыцарей, на всех сытых и пьяных средневековых буянов проповедь смирения совсем не действовала. А каково было смирение самих проповедников — это можно видеть, например, из следующего случая: в 1063 году, в праздник Рождества, фульдский аббат в Госларском со-

боре подрался во время обедни с гильдесгеймским епископом из-за решения вопроса о том, кому из них сидеть возле примаса Германии, архиепископа майнцского. Дело происходило в присутствии малолетнего короля, Генриха IV. Герцог баварский помирил воинственных прелатов, и победа осталась за аббатом. Но на следующий год епископ принял свои меры заблаговременно и в Троицын день спрятал в алтаре отряд вооруженных людей. В то время, когда расставляли кресла, эти воины кинулись на людей фульдского аббата и обратили их в бегство. Люди аббата воротились с новыми силами, и в церкви произошла кровопролитная свалка, причем проповедники смирения — аббат и епископ — оба ободряли бойцов воинственными жестами и восклицаниями.

Далее, Конту очень нравятся суровые отношения средневековой морали к самоубийству, на которое древние философы смотрели с большим уважением. В самоубийстве, конечно, нет ничего похвального и полезного для общества, но так как каждый человек очень достаточно защищен против самого себя инстинктом самосохранения и так как вследствие этого самоубийство всегда и везде бывает чрезвычайно редко, то нет решительно никаких оснований придавать особенно важное значение суровым или снисходительным взглядам моралистов на это преступление. Самоубийцами делаются обыкновенно или помешанные, или неизлечимо больные, или осужденные на смерть. Во всех этих людях общество почти ничего не теряет или, по крайней мере, теряет только то, что оно само готовилось у себя отнять. Но Конт возмущается в самоубийстве не тем реальным убытком, который наносится обществу, а преимущественно фактом неповиновения, непозволительным нарушением должной субординации. Поэтому он выражает надежду, что при господстве положительной философии самоубийство будет осуждаться еще строже и что это осуждение окажется вполне действительным, несмотря на то что позитивиста уже нельзя будет пугать загробными мучениями. Здесь нам представляется превосходный случай измерить всю колоссальность того деспотизма, которому, по мнению Конта, можно и должно подчинять людей для их же собственного благополучия. Конт говорит, что «люди должны быть непобедимо привязаны к жизни, так чтобы они не могли избавлять себя от ее мучительных последствий внезапною катастрофою, предоставляющею каждому опасную спо-

собность уничтожать по своему произволу ту необходимую реакцию, которую общество рассчитывало на него произвести». Слова *необходимая реакция,* очевидно, обозначают наказание, настолько тяжелое, что виновный предпочитает ему лишение жизни. Преступник, поставленный в такое положение, видит в обществе своего злейшего врага; между преступником и обществом порваны все связи; нет места для других чувств, кроме взаимной ненависти; чтобы вырваться из рук своего неумолимого преследователя, преступник прибегает к самому отчаянному средству. И в эту-то минуту, когда человек, отвергнутый обществом, бросает ему свое последнее проклятие, в эту минуту Конт считает возможным тот шанс, что преступника удержит уважение к господствующему суровому взгляду на самоубийство. Для того чтобы этот шанс был действительно возможен, надо систематически, с самой колыбели, превращать человека в автомата, который будет не только поступать, но даже чувствовать и думать исключительно так, как того требуют законы и обычаи данного общества. Такая дрессировка составляет для Конта венец его желаний. Он желает этой дрессировки не для того, чтобы уничтожить самоубийства; напротив того, уничтожение самоубийств имеет в его глазах огромную важность именно потому, что оно выражает собою полный успех дрессировки. Личность выдрессирована так, что прививные чувства и мысли становятся сильнее естественных инстинктов и что страх пред общественным мнением продолжает действовать тогда, когда разорваны все связи с обществом и когда уже замолчал даже голос самосохранения. Выше этого идеала не поднимался еще ни один теоретик деспотизма в целом мире.

Как решительный противник эмансипации женщин, Конт восхищается теми отношениями, которые установила между обоими полами средневековая мораль. Конт с особенным удовольствием настаивает на том обстоятельстве, что католицизм, устраняя женщину от священнодействия, к которому их допускала отчасти классическая древность, стремится таким образом привязать женщин к домашнему очагу, на котором и должны сосредоточиваться все их помышления и вся их деятельность. Отведя женщинам их настоящее место, католицизм, по мнению Конта, значительно улучшил их общественное положение и доставил им со стороны мужчин то уважение, которое составляет выдающуюся черту в рыцарских нравах.

Средневековая жизнь действительно произвела в судьбе женщин довольно важные улучшения, но эти улучшения не могут быть приписаны католицизму, который вообще относился к женщине очень сурово и презрительно. Средневековые моралисты любили попрекать своих современниц грехом неосмотрительной Евы и советовали им очень серьезно оплакивать, не осушая глаз, тот поступок легкомысленной прародительницы, благодаря которому человечество утратило свое первобытное блаженство. Строгие моралисты утверждали также, что женщины, унаследовав от Евы ее легкомыслие, составляют и будут составлять постоянно самое серьезное препятствие на пути человечества к нравственному совершенству и к вечной жизни. Из такого сурового взгляда на женщину никак не могло развиться чувство почтительной и страстной рыцарской любви. Это чувство и не развилось бы никогда, если бы католическая мораль не нашла себе решительного противовеса в характере германской расы. При каких условиях сформировался этот характер, мы не знаем, но достоверно известно то, что уважение к женщине встречается в древнейших германских легендах и законах, сложившихся задолго до вторжения германцев в пределы Римской империи. По баварским законам за оскорбление, нанесенное женщине, платится более высокий штраф, чем за оскорбление мужчины, потому, говорит закон, что женщина не может сама защитить себя оружием. Кто пожмет свободной женщине палец или руку, тот, по салическому закону, должен заплатить 15 солидов золота (около 375 рублей), кто пожмет женщине руку выше локтя,— платит вдвое (Laurent. «Les barbares et le catholicisme», p. 36[45]). Скандинавские саги заключают в себе множество эпизодов самой почтительной любви между сильными королями, с одной стороны, и простыми пастушками, с другой стороны. Все это такие задатки, из которых рыцарским нравам вовсе не трудно было развиться. Здесь и также во многих других случаях Конт обращает слишком мало внимания на характер расы[46], помимо которого невозможно составить себе ясное понятие о средневековых идеях, обычаях и учреждениях.

Воздавши католицизму должную дань уважения за привязывание женщин к домашнему очагу, Конт выражает надежду, что эмансипаторские попытки нашего времени потерпят полнейшую неудачу и что под господством позитивизма женщины всех классов общества будут пре-

даваться исключительному исполнению высоких обязанностей супруги и матери. Люди, желающие обеспечить за женщинами экономическую деятельность, обыкновенно указывают барыням и барышням на кухарок и прачек, умеющих добывать себе хлеб собственным трудом. Конт поступает как раз наоборот: он указывает прачкам и кухаркам на барынь и барышень, которые, наверное, никак не ожидали и не надеялись превратиться для кого бы то ни было в образец, достойный подражания. Конт говорит со своей обыкновенной серьёзностью и торжественностью, что «в высших классах общества женщины могли с большим удобством следовать своему истинному назначению и вследствие этого должны некоторым образом сделаться естественным типом, к которому со временем будут по возможности стремиться с разных сторон все другие формы женского существования» (Phil. Pos. V, 312). Итак, всем женщинам предписывается, во имя положительной философии, стремиться к благородной праздности, которая, по исследованиям Конта, оказывается необходимою для безукоризненного выполнения высоких обязанностей супруги и матери. Супруга, как известно, должна своим сознательным сочувствием подкреплять и ободрять своего мужа, работающего на пользу общества и обязанного твердо стоять за то, что он считает правдою. Мать, как известно, должна приучать своих детей к труду и к честному пониманию человеческих и гражданских обязанностей. По теории Конта оказывается, что хорошею супругою и хорошею матерью будет только та женщина, которая сама никогда не трудилась, никогда не принимала никакого участия в общественной жизни, не несла на себе никакой серьезной обязанности и не умела полюбить деятельною любовью ни одной великой идеи. Такая женщина особенно способна делить со своим мужем его заботы, способна потому, что сама не имеет об этих заботах никакого понятия. Такая женщина особенно способна внушить своему сыну любовь к труду, способна потому, что сама не оскверняла своих нежных рук никакою работою. Такая женщина особенно способна воодушевить мужа, брата или сына на смелое и честное выполнение великого гражданского долга, способна потому, что сама безраздельно погружалась мыслью и чувством в поверку копеечных счетов, представляемых кухарками, прачками, портнихами и обойщиками.

Далее, Конт восхищается тем, что католицизм осветил неразрушимость брака. Эта неразрушимость, рассуждает Конт, превосходно соответствует истинным потребностям нашей природы; без этой неразрушимости «наша краткая жизнь потратилась бы на бесконечный и обманчивый ряд плачевных попыток» (Phil. Pos. V, 311). Опасность *потратить* на глупости *краткую жизнь* обусловливается такими общественными явлениями, над которыми самая возвышенная нравственная доктрина не может иметь ни малейшего контроля. Устранить эту опасность католицизм был не в силах. В самом деле, тратить жизнь на *плачевные попытки,* то есть устраивать свадьбы и разводы по нескольку раз в год, могут только те мужчины и женщины, которые не имеют никаких серьезных занятий и обязанностей и которые живут на всем на готовом, присвоивая себе и поглощая в изобилии продукты чужого труда. Кто сам зарабатывает себе пропитание, тому некогда бегать по городам и селам для приобретения новых интересных знакомств, способных повести за собою *плачевную попытку.* Кто занят с утра до вечера серьезными заботами, тот ищет себе серьезного сочувствия, а не гаремных развлечений, годных только для тех людей, которые с утра до вечера страдают болезненною скукою тунеядца. *Плачевные попытки* для трудящегося человека были бы положительно неприятны, если бы даже они были возможны, то есть если бы даже у него было на то достаточно свободного времени. Работник, как человек, принужденный смотреть на жизнь серьезно, умеет ценить дружбу и вносить элемент дружбы во все свои отношения к близким и симпатичным ему людям; при таких условиях о *плачевных попытках* нечего и заикаться, потому что всякому известно, что старый друг лучше новых двух и что никому никогда не приходило в голову разорвать сношения с верным и испытанным другом из любви к разнообразию или вследствие неопределенной надежды отыскать себе нового друга, еще более доброкачественного. Следовательно, если мы видим, что в каком-нибудь обществе господствует наклонность к *плачевным попыткам,* то причину этого уродливого явления мы должны искать никак не в том, что данное общество не обсыпано благодеяниями средневековой морали. Причину надо искать гораздо глубже, в экономическом и социальном строе данного общества. Лечить это общество надо также не регламентацией половых отношений, а радикальными экономиче-

скими преобразованиями. Прежде всего надо заметить, что *плачевным попыткам* нигде и никогда не может предаваться все население страны сверху донизу. *Плачевные попытки* — занятие барское, доступное только самому незначительному меньшинству, и чем ярче обозначается наклонность к *плачевным попыткам,* тем незначительнее по своему числу то меньшинство, которое им предается. Проще и яснее, — чем неравномернее распределяются богатства, тем сильнее свирепствует разврат, потому что, с одной стороны, меньшинство, желая разогнать свою скуку, требует себе птичьего молока и пускается во всякие затеи, а с другой стороны, большинство, постоянно имея перед собою перспективу голодной смерти, оказывается в высшей степени способным питать всевозможные затеи своею собственною плотью и кровью. Словом, меньшинство выдвигает купцов, а большинство поставляет товар. Когда историк говорит о господстве *плачевных попыток* в данном обществе, то он при этом постоянно имеет в виду только меньшинство, которое таким образом играет роль *всего общества,* отбрасывая массу нации на самый задний план, — туда, куда историку действительно незачем и заглядывать, потому что в этих сферах жизнь и движение мысли остановились и оцепенели под гнетом нужды и непомерного воловьего труда. Настоящее зло именно в том и состоит, что праздное меньшинство — всё, а трудящаяся масса — ничто[47] Из этого основного зла развивается множество всяких нарывов и прыщей, которые могут служить для историка драгоценными симптомами существующей болезни, но которые никак не допускают отдельного или частичного лечения. Одним из этих второстепенных нарывов оказывается наклонность к *плачевным попыткам,* наклонность, которая устоит против всякой возвышенной морали и погибнет только тогда, когда реформа сверху или переворот снизу нанесет решительный удар сложному эксплуататорскому механизму, перетягивающему продукты народного труда из нижних слоев общества в верхние[48]. Когда не будет тунеядцев, тогда не будет и пороков, развивающихся из тунеядства. Что же касается до запрещения разводов, то оно никаким образом не может положить конец *плачевным попыткам,* потому что настоящие любители таких *попыток* всего менее заботятся о том, чтобы принимать на себя какие-нибудь обязательства. Развода может желать только такой человек, который, будучи связан с одною особою, полюбил

серьезно другую и вследствие этого считает необходимым дать этой другой прочное общественное положение. Напротив того, люди, забавляющие себя разнообразием, не имеют никакой причины добиваться развода, потому что брачные узы никогда не мешали любовным шалостям и даже придавали этим шалостям всю прелесть запрещенного плода, особенно привлекательного для скучающих тунеядцев.

Конт утверждает, — по поводу неразрушимости брака, — что огромное большинство нашей породы состоит из бесцветных личностей, для которых полная самостоятельность даже обременительна и которым гораздо удобнее подчиняться неодолимой необходимости и жить по предписанной программе, чем выбирать себе дорогу и составлять план действий собственным умом. Это рассуждение показывает ясно, что неразрушимость брака является только одною крошечною частицею той благодетельной опеки, которая, по мнению Конта, должна осчастливить бесцветное большинство. Как неразрушимость брака, так и запрещение самоубийства особенно драгоценны Конту именно потому, что обозначают собою искоренение личного своеволия и торжество спасительной субординации. Бесцветность большинства служит оправданием опеки, но само собою разумеется, что опека в свою очередь будет поддерживать, упрочивать и даже усиливать эту бесцветность, великодушно снимая с бесцветных людей тяжелую обязанность задумываться над задачами жизни. Таким образом, опека и бесцветность будут взаимно увековечивать друг друга, и атрофия головного мозга сделается одною из важнейших причин прочного человеческого благосостояния, подобно тому, как атрофия ноги считается у китайцев одним из важнейших условий физической красоты.

Наконец, Конт объяснил нам, что католицизм заменил энергический, но дикий патриотизм древних более возвышенным чувством человеколюбия или всеобщего братства. Вслед за тем Конт оговаривается насчет религиозных антипатий, которые на самом деле значительно стесняли проявление доброжелательных чувств. Эта оговорка Конта почти совершенно уничтожает его главную мысль. Если положить на одну чашку весов всю массу ненависти, порожденной и взлелеянной католицизмом, а на другую — всю массу любви, выработанной им же, то, по всей вероятности, первая чашка перетянет. О крестовых походах и обо всех других войнах с сарацинами [49] и с северны-

ми язычниками говорить незачем; эти войны могли быть порождены национальною ненавистью и политическою необходимостью, хотя в таком случае они, разумеется, не имели бы того истребительного характера, который был им придан влиянием католицизма. Гораздо важнее отношения средневековых европейцев к евреям, которые жили с ними рядом, в одних и тех же городах, и которые, конечно, могли бы слиться с ними, войти в состав отдельных европейских наций и превратиться в полезных и счастливых граждан, если бы их не преследовала религиозная ненависть католиков, поощряемых сентенциями соборов и пастырскими посланиями пап и епископов. Еще важнее отношения католиков к еретикам; здесь католицизм является прямо силою, разрывающею все гражданские и родственные связи; здесь католицизм вооружает одну половину народа против другой; здесь он превращает своих адептов в шпионов, доносчиков и палачей; словом, здесь он производит на свет такое нравственное безобразие, о котором классическая древность не имела понятия. Шпионы, доносчики и палачи были, конечно, и в Греции, и в Риме, но там занимались этими делами люди, продавшие свою совесть за наличные деньги; на них так и смотрели даже те особы, которые пользовались их услугами. Католицизм, напротив того, выдумавши новое преступление — *ересь,* ухитрился превратить доносы и пытки в доблестные подвиги и в священную обязанность. Инквизиторы очень серьезно считали себя благодетелями человечества, а несчастные люди, поддерживавшие деятельность инквизиторов своими доносами, совершенно искренно были убеждены в том, что исполняют важнейший долг честного человека. Если мы примем в соображение, что ереси возникали и плодились в каждом городишке или местечке и что при всеобщей напуганности ревностных католиков ересью могло показаться им каждое неосторожное слово, произнесенное сдуру или спьяну, то мы поймем, что чувства ненависти и взаимного недоверия, порожденные ежедневными усилиями проповедников и моралистов, должны были совершенно заглушать чувство общего человеколюбия, предписанное буквою и духом основной доктрины. Не мешает также припомнить здесь и ту знаменитую вражду между гвельфами и гибеллинами[50], которая родилась и выросла под влиянием вековой борьбы папства и империи. Здесь не было даже и догматического разногласия. Здесь папа,

как глава политической партии, пользовался против своих *политических* противников тем оружием, которое он, как глава церкви, имел право употреблять только против врагов религии. Все это приносило очень мало пользы нравственному совершенствованию европейцев, но все это вытекало самым логическим образом из основных свойств той системы, которую Конт называет le chef-d'oeuvre politique de le sagesse humaine[51]. Если существует организованная теоретическая власть, то она должна заботиться о своем самосохранении и вследствие этого должна, отложив в сторону нравственную разборчивость, бить своих врагов всем тем, что попадается ей под руку, то есть всем тем, что человеческая глупость оставляет в ее распоряжении. От такой власти, которая ежеминутно борется за свое существование, смешно даже и требовать, чтобы она развивала в своих приверженцах чувство всеобщего человеколюбия. Эта власть прежде всего постарается превратить своих приверженцев в солдат, готовых биться за нее на жизнь и на смерть во всякую данную минуту с кем бы то ни было и какими бы то ни было, честными или бесчестными, средствами. Того требует логика вещей, и, следовательно, о всеобщем человеколюбии нечего и думать, потому что этому чувству может научить людей только свобода, посвященная разумному и общественному труду.

Католическое милосердие, по мнению Конта, дает людям самое лучшее средство облегчать, по возможности, страдания, неизбежные в общественной жизни и относящиеся преимущественно к распределению богатств. Этому трогательному милосердию Конт с горечью противополагает те *чисто материальные или политические меры, бессильные и тиранические, и способные повести за собою самые тяжелые общественные потрясения,*— словом, те меры, к которым желают прибегнуть безрассудные социалисты. Само собою разумеется, что католики оказываются несравненно мудрее и добродетельнее социалистов и что позитивистам предписывается подражать католикам. Решение задачи о голодных людях возлагается на будущую теоретическую власть, которая даст богачам превосходное нравственное воспитание и обяжет их, таким образом, осыпать бедное человечество всевозможными благодеяниями. Это наивное решение, эта апология богаделен, милостыни и нищенства показывает ясно, что Конт не имел никакого понятия о тех простейших законах, по которым

совершаются в обществе движение и накопление продуктов труда. И если бы контовские идеи были проведены в жизнь, то они дали бы совсем не те результаты, которых ожидал от них Конт. Но нетрудно понять, что эти идеи неприложимы. Чисто нравственное влияние оказывается всегда совершенно бессильным, если оно идет наперекор личным выгодам тех людей, на которых следует действовать, и если, кроме того, оно ежеминутно парализируется теми разнообразными искушениями, которые порождает весь строй общественной жизни. При таких условиях сами влиятели развращаются до мозга костей и становятся на один уровень с теми людьми, которых требовалось облагородить. Эту истину доказали своим примером католические монахи, аббаты, епископы, кардиналы и папы. Эту же истину испытал бы на себе немедленно контовский pouvoir spirituel, если бы только он действительно мог организоваться.— Поэтому для решения задачи о голодных людях необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, задачу эту должны решать непременно те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды, то есть ее должны решать сами голодные люди, сами пролетарии[52]. Кто берется решать ее *для* работников, но не *через* работников, тот наверное кого-нибудь обманывает, самого себя или свою публику. Во-вторых, решение задачи заключается не в возделывании личных добродетелей, а в перестройке общественных учреждений.

Этих двух условий не выполнили ни Конт, ни его средневековые друзья. Впрочем, надо и то сказать, что Конт, подобно католическим моралистам, мирится очень добродушно с пауперизмом, видя в нем неизбежное и, следовательно, нормальное явление. Это, по его соображениям, одно из inconvenients inséparables de l'état social[53]. Это значит, что социальная задача для него неразрешима и что, следовательно, с ним нечего и толковать о таких вопросах, в которых он ровно ничего не понимает.

XVI

Все, что Конт говорит об историческом развитии нравственности, составляет самое слабое и в то же время единственное слабое место его великого историко-фило-

софского труда. Основная причина его ошибок заключается в той совершенно несостоятельной мысли, что нравственность может развиваться и совершенствоваться сама собою, независимо от успехов знания и от различных улучшений в экономической жизни общества. Конечно, Конт понимал очень хорошо, что области знания, промышленности и нравственности находятся в постоянном сообщении между собою и вследствие этого постоянно действуют друг на друга; но ошибка его заключалась именно в том, что он принимал нравственность за отдельную область, в которой могут совершаться самостоятельные изменения и которая посредством этих изменений может действовать на другие области и на всю совокупность человеческого существования и развития.

Неосновательность этого мнения доказать нетрудно. В самом деле, основной принцип всей человеческой деятельности заключается везде и всегда в стремлении человека к собственной выгоде, то есть к тому, что соответствует потребностям его организма. Этот основной принцип не изменяется нигде и никогда, но поступки, в которых проявляется стремление к выгоде, могут быть бесконечно разнообразны, во-первых, потому, что понимание выгоды бывает неодинаково, а во-вторых, потому, что средства, находящиеся в распоряжении человека, бывают также неодинаковы. Понимание собственно выгоды есть не что иное, как практический вывод из всего миросозерцания, то есть из совокупности всех взглядов человека на природу, на самого себя и на окружающих людей. Особенности же миросозерцания зависят, во-первых, от количества собранных наблюдений и, во-вторых, от логического достоинства теорий, построенных на основании добытых фактических знаний; верность и разумность данного миросозерцания увеличиваются или тогда, когда нарастает запас фактов, или тогда, когда совершенствуются логические приемы. Эти две категории улучшений относятся одинаково к области умственного развития и обнаруживают одинаково сильное влияние на понимание личной выгоды.— Наблюдения и размышления человека над природою и над собственным организмом не только дают ему понимание личной выгоды, но в то же время показывают ему и те пути, по которым он должен идти к этой выгоде. Совокупность этих путей называется промышленностью и составляет прикладную отрасль умственного развития. Составив себе известное понимание личной вы-

годы и приноровившись к тем средствам, которыми достигается выбранная цель, человек втягивается в известный образ жизни и приобретает себе известный комплект привычек. Та часть этого комплекта, которая обнимает собою отношения человека к другим людям, называется *нравственностью.* Спрашивается теперь, какие причины могут произвести в приобретенных привычках какие бы то ни было изменения? — Привычки, а следовательно, и нравственность могут измениться только тогда, когда изменяются основания привычек, то есть *понимание* или *средства.* Улучшиться эти привычки могут только тогда, когда совершится какое-нибудь открытие, или возникнет более рациональная гипотеза, или будет сделано какое-нибудь изобретение, — вообще тогда, когда расширится мир человеческой мысли или усилится господство человека над природою. Высшая точка нравственного развития будет достигнута тогда, когда *понимание* выгоды сделается безукоризненно верным и когда *средства* уравновесят желания, то есть тогда, когда человек дойдет до крайних пределов теоретического знания и практического могущества. Составные элементы нравственности заключаются, таким образом, в чистой и в прикладной науке.

Конт смотрит на это дело иначе. Объявляя непримиримую вражду принципу личной выгоды, Конт видит главную задачу нравственности в систематическом ослаблении эгоизма. Эта борьба с эгоизмом должна состоять в особенных упражнениях, клонящихся к искусственному удерживанию страстей и к такому же искусственному расшевеливанию доброжелательных влечений. Если оказывается, таким образом, крайняя необходимость дрессировать и гонять на корде человека, как манежную лошадь, то, разумеется, надо создать особенный организованный класс берейторов, обязанных хранить и совершенствовать великие принципы манежной выездки. Этот класс берейторов называется у Конта pouvoir spirituel и занимается не возвышением уровня человеческих знаний и даже не распространением знаний уже добытых, а именно формированием добродетельных привычек и придумыванием разных морализирующих упражнений. Чтобы эта нравственная гимнастика имела какие-нибудь шансы успеха, теоретическая власть непременно должна быть организована и приведена к строгому единству, потому что какие бы то ни было привычки могут получить обязательную силу только в том случае, если каждая отдельная личность бу-

дет постоянно встречаться с этими привычками во всем окружающем обществе. Напротив того, иерархическая органическая организация и строгое единство были бы совершенно излишни и даже невозможны, если бы настоящее значение нравственности было определено верно и если бы вследствие этого теоретическая власть действовала не на привычки людей, а на их убеждения, и действовала бы не силою авторитета, а очевидностью строгих доказательств. Признавая необходимость дрессировки и берейторов, Конт нашел в средневековой организации именно то, что он считал особенно драгоценным: он нашел там целое громадное министерство, старавшееся регламентировать нравственность и не обращавшее никакого внимания ни на реальные свойства природы и человека, ни на условия места и времени. Этого было довольно, чтобы очаровать и ослепить Конта. Увлекшись своими морализаторскими пристрастиями, он увидал в средневековой системе небывалое разделение властей и еще более небывалое преобладание справедливости над политическим расчетом. Кроме того, он, в своем увлечении, приписал необыкновенную плодотворность и действительность разным нравственным сентенциям и декретам, которые оставались всегда мертвою буквою и которые, по своей противоположности с естественными человеческими наклонностями и потребностями, ни в каком случае не могли принести людям ни малейшей пользы. Эти ошибочные мнения Конта, выходящие из его неверного взгляда на нравственность и из его неосновательной ненависти к эгоизму, я постарался опровергнуть на предыдущих страницах. Теперь я снова обращаюсь к тем глубоким и разумным идеям Конта, с которыми я совершенно согласен.

Вся история человеческой мысли представляет нам колоссальную борьбу рассудка с воображением, борьбу, которая не кончена до сих пор, но в которой окончательная победа рассудка не подлежит уже ни малейшему сомнению. С тех пор как началась достоверная история, рассудок постоянно одерживает победы, а воображение, делая одну уступку за другою, постоянно отодвигается назад, оставляет рассудку все больше и больше простора и при этом занимает новые укрепленные позиции, которые его неутомимый противник берет приступом, несмотря на самое упорное и продолжительное сопротивление. В начале истории воображение было всесильно; во времена *фе-*

тишизма для рассудка не было места; самые простые и мелкие явления объяснялись фантастическим образом; однако же рассудок, опираясь на свидетельство пяти чувств, сделал свое дело и выбил воображение из самой крепкой его позиции; воображение отодвинулось назад, предоставило рассудку объяснение простейших явлений и состроило себе новую твердыню — систему *политеизма*. Укрепившись теми наблюдениями, которые сделались возможными после падения фетишизма, рассудок повел свою атаку против политеизма и подрыл его тем аргументом, что постоянство и правильность, замечаемые во всех явлениях природы, несовместны с гипотезою о существовании многих правителей, способных расходиться между собою в своих мнениях, желаниях и действиях. Тогда воображение еще раз отступило назад и выработало себе ту доктрину, которая наложила свою печать на средневековый период. Рассудок, конечно, не угомонился. Так как средневековая доктрина была уступкою, которую воображение принуждено было сделать рассудку, то, разумеется, эта доктрина была для рассудка менее стеснительна, чем политеизм. Поэтому водворение средневековой доктрины было полезно для умственного развития Европы. Однако же несомненно то, что вслед за торжеством новой доктрины над политеизмом умственное движение приостановилось на несколько столетий; с III века до XI-го Европа не произвела ничего нового и оригинального ни в науке, ни в литературе. Замечательно, что эта приостановка произошла раньше нашествия варваров. Этот упадок умственной деятельности объясняется, с одной стороны, общим политическим и экономическим расслаблением Римской империи и, с другой стороны, направлением новой доктрины, требовавшей от своих адептов высоких добродетелей и относившейся не только равнодушно, но даже презрительно и враждебно к научным и литературным занятиям, заподозренным в порождении умственной гордости. Умные и даровитые люди рождались, конечно, и в те века, которые считаются эпохой самого глубокого невежества и варварства; потребность работать умом не замирала никогда; но этой потребности средневековая доктрина открыла новую форму удовлетворения. Умные, даровитые и даже гениальные люди в то время были необходимы для того, чтобы развить главные подробности доктрины, чтобы устранить внутренние противоречия и разномыслия, чтобы поддер-

живать письмами и поучениями общее единодушное воодушевление, чтобы привлекать постоянно новых адептов, чтобы основать великое европейское единство и чтобы над этим единством поставить тот сильный и стройный политический организм, который впоследствии дал папам возможность побеждать императоров и королей. Этот политический организм надо было сформировать, и дело это было тем более трудно, что в прошедшем не существовало ни одного такого учреждения, которое можно было бы взять за образец. Это формирование производилось в течение целого тысячелетия и было закончено во второй половине XI века папой Григорием VII. Во все это время практические заботы этого созидания постоянно поглощали умственные способности тех замечательных людей, которые в другое время и при других обстоятельствах могли бы сделаться Ньютонами, Колумбами, Гарвеями или Шекспирами. Диспуты о разных очень возвышенных и неудобопонятных материях не прекращались никогда, даже в самые мрачные времена европейского невежества. Само собою разумеется, что эти диспуты не дали никаких осязательных результатов, то есть не обогатили человечество новыми знаниями, но считать эти диспуты совершенно бесполезными было бы очень неосновательно. Они пробудили и развернули в тогдашних людях расположение и способность к упорному умственному труду, они выучили их следить за всеми изгибами и изворотами мысли и выводить из данного положения всевозможные близкие и отдаленные последствия; они заставили их уважать силу человеческой мысли, которую ревностные моралисты окончательно стерли бы с лица земли, если бы она не оказалась необходимою для созерцания высших истин и для посрамления разномыслящих диспутантов; они одни, наконец, подготовили и сделали возможным то искреннее, страстное и трогательное уважение, с которым глубоко верующие диалектики католического мира преклонились перед творениями проклятого и великого язычника Аристотеля.

Умственная эмансипация начинается с того времени, когда творения Аристотеля сделались необходимою составною частью и даже фундаментом клерикального образования. Схоластика, обруганная, осмеянная и превращенная в синоним бессмыслицы счастливыми писателями XVIII века, была первым шагом средневекового ума на пути к окончательному освобождению. Дело в том, что

традиционная доктрина стала нуждаться в поддержке со стороны той диалектики, которую средневековые мыслители почерпнули из Аристотеля. Доктрина, гордившаяся в былое время девизом credo quia absurdum, заключила тесный союз с философиею, надеясь превратить ее в послушное оборонительное оружие. Расчет оказался очень неверным. Когда мыслителю приказано употребить всю силу его логики на то, чтобы развить из данного положения все его последствия, то нет ни малейшего основания утверждать, что мыслителю ни под каким видом не придет в голову лукавая и опасная мысль начать исследование с поверки того самого положения, которое было выдано ему за аксиому, не требующую никаких доказательств. Может быть, сотни мыслителей обнаружат самое похвальное умственное благонравие и не дотронутся своим диалектическим оружием до тех основных положений, которые доверены их защите. Но если даже на целую тысячу благонравных мыслителей придется хоть один нескромный и недоверчивый искатель истины и если этот неустрашимый искатель сдвинет с места хоть один тезис общеобязательной традиции, то его дела не затушует никогда вся благонравная тысяча.

Средневековая доктрина никак не могла обходиться без содействия метафизики; на метафизике было построено все ее учение, в котором уже не было общедоступной и яркой конкретности и рельефности, составлявших силу и популярность древнего политеизма. Метафизикою должна была средневековая доктрина защищаться против своих внутренних врагов. Метафизика пропитала насквозь всю эту доктрину и понемногу раскрошила весь тот строй понятий и гипотез, к которому она была призвана на помощь. Сначала возникло отрицание разных дисциплинарных подробностей, потом родилась критика политической организации, наконец, дошло дело до анализа основной доктрины. Это постепенное разрушение продолжается с XII века до нашего времени, а между тем средневековая организация теоретической власти все еще существует, несмотря на то что передовые умы уже давно освободились из-под ее господства.

Живучесть средневековой иерархии обусловливается некоторыми замечательными особенностями ее внутренней организации. В этом отношении особенно важно то обстоятельство, что клерикальное сословие пополнялось постоянно из всех классов общества, не исключая и низ-

ших. Сильные дарования прокладывали сыну простого крестьянина дорогу к высшим клерикальным должностям и даже к папскому престолу. Не стесняясь в выборе своих членов никакими посторонними соображениями, не требуя от них ни знатности происхождения, ни богатства, словом — ничего, кроме личных достоинств, клерикальная корпорация постоянно имела в своем распоряжении огромное количество сильных умов и твердых характеров и, кроме того, в течение многих веков постоянно притягивала к себе и обращала в свою пользу те дарования, которые могли бы составить ей опасную оппозицию или конкуренцию, если бы оставались непристроенными к ее официальной деятельности. Набирая себе отовсюду даровитых защитников, клерикальная корпорация подвергала их долговременному влиянию тех идей, за которые они должны были бороться; она формировала по-своему их ум и характер, втягивала их в круг клерикальных понятий и стремлений, испытывала и упражняла их силы на низших ступеньках иерархической лестницы и допускала их к влиятельным должностям только тогда, когда они, проникнутые насквозь духом и тенденциями системы, не имели уже ни желания, ни возможности выбиться из традиционной колеи и пуститься в какие-нибудь опасные умствования или нововведения. Консервативное направление всей корпорации, соответствующее вполне характеру самой доктрины, поддерживалось даже тем, что замещение всех должностей производилось не по выбору снизу, а по назначению сверху. Высшие должностные лица, дававшие таким образом импульс всему клерикальному организму, были, конечно, особенно сильно расположены к охранению традиционного порядка, во-первых, потому, что этот порядок доставлял им все наслаждения обширной власти, а во-вторых, потому, что они, по давности своего служения, имели возможность сильнее своих подчиненных втянуться в корпоративные интересы и проникнуться преданиями клерикальной политики. Безграничная преданность общему делу, доходившая у клерикалов до самых грандиозных размеров, объясняется преимущественно тем, что их безбрачное состояние отнимало у них возможность увлекаться частными, семейными интересами. Клерикалу, как холостяку, надо было или вдаться в безобразный кутеж, или посвятить свою жизнь тем интересам корпорации, которые он, по

всему складу своих понятий, принимал за высшие интересы всего человечества. Многие, конечно, шли по первому пути и превращали жизнь в грязную оргию, но так как клерикальная корпорация постоянно забирала в себя самых умных и даровитых людей, то она и была всегда богата такими личностями, которым непременно надо было любить, мыслить и действовать и которые должны были обратить на служение интересам корпорации всю силу, страстность и глубину своих неудовлетворенных стремлений. — Безбрачное состояние клерикалов было особенно необходимо для того, чтобы корпорация не превратилась в замкнутую касту. Если бы принцип наследственности водворился в иерархии, то, разумеется, он произвел бы немедленное понижение ее интеллектуального могущества, и личные дарования, оттесненные от клерикальных должностей, проложили бы себе какую-нибудь новую дорогу и, привлекая к себе внимание и доверие общества, подорвали бы таким образом значение теоретической власти, потерявшей возможность побеждать своих противников превосходством ума и таланта.

XVII[54]

Средневековая организация светского общества, то есть феодальная система, сформировалась, по мнению Конта, вследствие того, что военная деятельность, имевшая в древности завоевательный характер, начала принимать оборонительное направление. Когда римские легионы столкнулись на востоке с парфянами, а на севере с германцами, тогда дальнейшее расширение римских владений должно было прекратиться. С одной стороны, нравы азиатских народов, не затронутых эллинизмом, были так несходны с нравами римлян, что слияние между ними было бы невозможно даже и в том случае, если бы все военные предприятия римлян против восточных соседей увенчивались постоянно полным успехом. С другой стороны, германцы были еще так мало привязаны к земле и, в случае военной неудачи, так легко могли покинуть свои жилища и перейти на новые места, что превратить их в подданных римского государства не было никакой возможности. Поэтому важнейшею обязанностью римских императоров сделалось, естественным образом, по-

стоянное охранение римских границ, ежегодно подвергавшихся опустошительным набегам со стороны неукротимых северных варваров. Охранение это было тем более затруднительно, что северная граница Римской империи была очень длинна, и почти на всем своем протяжении соприкасалась с жилищами воинственных народов германского племени. Так как характер оборонительной войны состоит именно в том, что инициатива принадлежит противнику, который выбирает сам, по своему благоусмотрению, время и место своего нападения, то, разумеется, римляне, державшиеся на своих границах в оборонительном положении, принуждены были постоянно поджидать врагов на всех пограничных пунктах и во всякую данную минуту. Начальники пограничных земель должны были иметь в своем распоряжении достаточное количество вооруженных людей, ежеминутно готовых вступить в сражение с варварами; кроме того, эти начальники нуждались в довольно обширной автономии; им надо было ежеминутно соображаться с быстро изменяющимися обстоятельствами и действовать решительно, на свой страх, не сносясь с центральным правительством и не дожидаясь от него инструкций и разрешений, которые в большей части случаев оказывались бы ненужными или неудобными по своей запоздалости. Начальник, постоянно защищающий свой край по своему собственному плану и такими силами, которые раз навсегда отданы в его распоряжение, должен почувствовать рано или поздно, что связь его с центральною властью слабеет и даже может оборваться, если он сам захочет воспользоваться обстоятельствами. В честолюбивых желаниях никогда не бывает недостатка, и, действительно, многие губернаторы римских провинций старались отделиться от империи или, по крайней мере, превратить свою должность в наследственное достояние своего семейства.

Если бы Римская империя была в силах пересоздать свою внутреннюю организацию сообразно с изменившимися обстоятельствами, то ей пришлось бы в III или в IV веке раздробиться так точно, как раздробилась впоследствии монархия Карла Великого. Только это раздробление могло спасти ее от варваров; оно было необходимо, потому что централизация, очень удобная для наступательной войны, никуда не годится для оборонительных действий. Но перерождение было уже невозможно. С одной сторо-

ны, натиск варваров был чересчур стремительный; с другой стороны, экономическое изнеможение империи дошло до таких размеров, что число ее жителей стало уменьшаться с ужасающею быстротою; чем больше народа погибало от голода и от разных болезней, порожденных лишениями и страданиями, тем хуже становилось положение тех, которые оставались в живых. Фиску, как существу безличному и отвлеченному, не было никакого дела до народных бедствий. Чего не могли заплатить мертвые, то раскладывалось на живых; чем меньше становилось число работников и плательщиков, тем обременительнее делались налоги; чем больше накоплялось недоимок, тем сильнее становились нажимающие снаряды; пытки сделались необходимым вспомогательным средством финансового управления. Народ был до такой степени забит, разорен, задавлен и опутан громадною сетью бюрократической администрации, что даже последнее отчаянное лекарство против общественных болезней, вооруженное восстание, сделалось для него недоступным. Его энергия была убита. При таком положении дел остановить вторжение варваров не было никакой возможности. Поэтому феодальная система сложилась только тогда, когда варвары завоевали Римскую империю и уселись в различных ее провинциях. После этого завоевания необходимость оборонительной войны нисколько не прекратилась. Завоевателям империи грозили со всех сторон новые враги, искавшие себе также добычи или удобных земель для поселения. С юга на Европу надвигались сарацины; с севера рассыпались по всем европейским морям легкие корабли скандинавских пиратов; с востока на Германию кидались венгры; в самой Германии до времен Карла Великого разбойничали саксы; с берегов Балтийского моря действовали славяне и пруссы. Все эти разноплеменные враги тревожили Европу от VII до XI века, то есть именно в то время, когда вырабатывалась феодальная организация. Постоянно ведя оборонительные войны, европейское общество естественным образом вылилось в те формы, которые всего лучше приспособлены к обороне. Само собою разумеется, что характер и обычаи германского племени наложили на эти формы печать своего влияния и придали им те типические особенности, с которыми феодальная система появляется в средневековой истории. Беспорядочная и бестолковая воинственность феодальных

владетелей, обращавших ежеминутно друг против друга те силы, которыми необходимо было отражать общего врага, обусловливались, конечно, не раздроблением территории, а именно темпераментом завоевателей, еще не укрощенных цивилизациею и не применившихся к потребностям мирной и разумной общественной жизни. Если бы вырабатывание феодальной организации досталось на долю какому-нибудь другому народу, более благовоспитанному, то, разумеется, в истории феодализма оказалось бы меньше бесполезного кровопролития и временное назначение феодализма было бы выполнено быстрее, то есть необходимость постоянных оборонительных войн миновалась бы раньше, вследствие того, что беспокойные соседи, отбитые на всех пунктах, были бы направлены, силою оружия, на дорогу мирного гражданского и промышленного развития.

Когда прекратились завоевательные предприятия римлян, тогда положение рабов стало медленно изменяться к лучшему. Невольничьи рынки пополнялись почти исключительно военнопленными и вообще всеми беззащитными людьми, которые захватывались в неприятельской стране римскими легионами. Пока война была постоянным занятием римлян и производилась в самых грандиозных размерах, сопровождаясь опустошением целых обширных и богатых государств, до тех пор рыночная цена рабов держалась так низко, что римские вельможи могли покупать себе целые армии или, как говорит Плиний[55], целые нации невольников, которых жизнь не ценилась почти ни во что и которых материальное благосостояние, таким образом, не было гарантировано даже личным интересом владельца. Чтобы охарактеризовать одной чертой тогдашнюю дешевизну человеческой жизни, достаточно упомянуть о гладиаторских играх, которые для развлечения державного народа губили в несколько часов тысячи молодых, здоровых, сильных и ловких людей. Когда кончились опустошительные завоевания, тогда приток новых рабов прекратился, и так как привычка расходовать людей без счету успела пустить в жизни аристократов очень глубокие корни, то, разумеется, скоро оказался чувствительный недостаток рабочих рук. Запрос на людей усилился, а подвоза не было и не предвиделось; вследствие этого цена раба должна была повыситься и, соразмерно с этим повышением, должно было улучшиться его поло-

жение, потому что владельцу становилось уже убыточно засекать раба до смерти или посылать его на арену за неудачное приготовление соуса или за разбитие какой-нибудь вазы. Так как рабы для каждого землевладельца были совершенно необходимы и так как число рабов продолжало быстро уменьшаться вследствие скаредности хозяев, то, очевидно, покупка рабов с каждым десятилетием должна была становиться все более и более затруднительною, вследствие чего владельцы должны были все крепче и крепче держаться за тех людей, которые уже находились в их руках. Идя по этому пути, надо было наконец прийти к тому убеждению, что продавать раба вообще невыгодно и что раб должен быть наглухо привязан к той земле, которую он обрабатывает. Конечно, это убеждение, превращавшее рабство в крепостную зависимость, не могло иметь влияния на судьбу тех людей, которые окружали особу хозяина и составляли его дворню. Этих людей незачем было прикреплять к земле, но продавать их также было невыгодно, потому что дворня состояла обыкновенно из ремесленников, а ремесленники при всеобщем упадке промышленной предприимчивости и расторопности с каждым годом становились реже и ценнее.

Уже одно то обстоятельство, что рабы перестали быть предметом вседневной торговли, значительно улучшило их положение. Хозяину раб делался необходимым не только для работы, но и для завода. Хозяин для своей же собственной выгоды должен был давать рабу возможность производить на свет и выкармливать здоровых детей. Хозяин для этого должен был доставлять рабу по меньшей мере хоть те удобства жизни, которыми пользовались в благоустроенных скотных дворах быки и бараны. В сравнении с тем, что было прежде, когда хозяину выгодно было в три-четыре года выжимать из раба всю его рабочую силу и потом выбрасывать его вон, в виде негодного калеки,— в сравнении с этим прежним рабством, говорю я, новое положение раба, получившего одинаковые права с быками и баранами, составляло значительное усовершенствование. Прикрепленный навсегда к участку земли или к особе хозяина, раб мог уже не только исполнять обязанности заводского производителя, но и завязывать прочные отношения с любимою женщиною и вообще пользоваться, по крайней мере, некоторыми правами мужа и отца. Его не разлучали с женою; малолетних де-

тей не отрывали от матери; вследствие этого в рабском населении становится возможным развитие лучших человеческих чувств, за которыми непременно должно следовать постоянно возрастающее сознание собственного человеческого достоинства,— сознание, заключающее в себе зародыши грозного и неподкупного суда над всеми неправдами порабощения и эксплоатации.

Католицизм узаконил и освятил семейные отношения несвободных людей; брак крепостного крестьянина получил одинаковую силу с браком барона или короля. Кроме того, католицизм вообще предписал крепостным исполнение тех же самых нравственных законов, которые были обязательны для сильных, знатных и богатых людей. Равенство обязанностей предполагает равенство прав, и хотя средневековые моралисты вовсе не желали прийти к этому последнему заключению, однако же оно было неизбежно, и к нему стремились постоянно те люди, для которых оно было особенно обаятельно и интересно. Сравнивая свое поведение с поведением своего барона, какой-нибудь честный мужик легко мог прийти к той мысли, что он, мужик, исполняет в отношении к барону все свои нравственные обязанности, и что, напротив того, барон все свои обязанности ежеминутно нарушает; мужик легко мог сообразить, что увлекающегося или заблуждающегося барона не мешало бы для его же собственной пользы наставлять на путь истины материальною силою, составляющею самое общеупотребительное лекарство против всяких мужицких заблуждений или увлечений. Мужик видел, как его барон круто и решительно расправлялся с своими обидчиками, не обращая внимания на их высокое положение в светском обществе или даже в церковной иерархии; мужик знал, что его барон воюет с епископом или отсиживается в своем крепком замке от королевского войска. Этот пример непременно должен был действовать заразительно на такого человека, для которого сопротивление составляло насущную необходимость, потому что этому человеку приходилось отстаивать не богатство, а последний кусок черствого хлеба, облитого потом и слезами. Таким образом, обе средневековые власти, теоретическая и практическая, оказали мужику по одному невольному, но тем не менее капитальному благодеянию; первая, наложивши на мужика нравственные обязанности, воспитала в нем чувство собствен-

ного достоинства; вторая пояснила ему, посредством наглядного[56] обучения, какими способами следует защищать это достоинство против посягательств различных нахалов и буянов. Мужик оказался учеником понятливым и даровитым.

Один из самых популярных средневековых романов, «Roman de Rou», рисует следующими крупными чертами господствующее настроение угнетенных масс. «Господа,— размышляет грубое мужичье,— не делают нам ничего, кроме зла; мы от них не можем добиться ни добросовестности, ни справедливости, они всем владеют, все себе позволяют, все поедают, а нас заставляют жить в бедности и в печали. Для нас каждый день — тяжелый день; нет у нас ни одного спокойного часа; мы завалены повинностями и поборами, оброками и барщиною. И с какой стати мы все это терпим? Вырвемся из-под их власти; мы такие же люди, как они; у нас те же члены, тот же рост, та же сила, то же терпение, и нас сто против одного. Будем защищаться против рыцарей, будем крепко стоять друг за друга, и никто над нами не станет барствовать, и мы будем рубить себе лес, будем ловить дичь в лесу и рыбу в прудах, и будем все делать по-своему, и в лесах, и на лугах, и на воде» (Laurent. «Féodalité et e'église», p. 599)[57]. Размышления, приписанные мужикам, вовсе не выдуманы самим поэтом; такие размышления существовали в живой действительности и приносили обильные плоды. Все обиженные классы средневекового общества постоянно волновались, и, разумеется, только одни эти волнения вынудили у господствующего сословия такие уступки, которые расшатали феодальную систему и выработали из себя основные элементы новой государственной и общественной жизни, очень неудовлетворительной, но, по крайней мере, способной развиваться и совершенствоваться. Требования мужиков и мещан были обыкновенно чрезвычайно умеренны; они желали мира, правильного суда и точного определения денежных и натуральных повинностей. Обе власти, феодальная и клерикальная, видели в таких требованиях неслыханную и непростительную дерзость. Рыцари действовали против этих претензий силою оружия, а папы и епископы — силою самых усердных молитв и самых торжественных проклятий.

В конце XII века (1182 г.[58]) в низших слоях французской нации началось обширное движение, направленное

против бестолковых феодальных междоусобий и против бессовестных барских притязаний. Плотник Дюран пришел к епископу города Пюи и объявил ему, что Мадонна приказала ему, Дюрану, проповедовать людям мир; в доказательство своих слов Дюран показывал пергамент, полученный им с неба; на пергаменте была нарисована Мадонна, держащая на руках младенца; кругом изображения было написано: «Агнец божий, принявший на себя грехи мира, пошли нам мир!» — Епископ прогнал от себя посланника Мадонны; народ сначала посмеялся над его проповедью, однако через несколько дней к Дюрану присоединилось больше ста человек; в начале следующего, 1183, года число его учеников дошло до пяти тысяч; через несколько месяцев движение охватило всю Францию. Последователи Дюрана называли себя *братьями мира* и устроили себе особенный костюм — белый полотняный или шерстяной капюшон. Когда *братьев мира,* или *капюшонников,* оказалось уже очень много, тогда они взялись за свое дело очень серьезно и с большою энергиею. Они решились силою оружия водворить и поддерживать мир на всем пространстве своего отечества. Началось радикальное исправление феодальных нравов посредством материальной силы. *Братья мира* стали давать генеральные сражения тем баронам, которые, не слушая их увещаний, продолжали нарушать общественное спокойствие своими глупыми раздорами. Особенно ревностно и успешно *братья мира* занялись преследованием наемных дружин, так называемых *рутьеров* или *брабансонов,* составивших себе печальную знаменитость самыми безобразными злодеяниями. В одном сражении *братья мира* истребили от десяти до двенадцати тысяч этих бандитов. Пропаганда Дюрана усилилась до такой степени, что в его братство стали поступать мужчины и женщины из всех сословий: монахи, аббаты, епископы, рыцари, графы надевали белый капюшон и клялись охранять общественное спокойствие; бестолковые феодальные войны, очевидно, начали тяготить даже самих бойцов.

Неизвестно, чем бы кончилось движение *капюшонников,* если бы оно не восстановило против себя всех высших сословий, принявши чисто социальное направление, находившееся, впрочем, в самой тесной логической связи с его основными стремлениями. Если *капюшонники* хотели водворить мир, то, разумеется, им невозможно было смо-

треть равнодушно на ту постоянную глухую войну, которую каждый феодал вел ежедневно со своими крестьянами, заваливая их работой, отнимая у них имущество и подвергая их, по своему благоусмотрению, телесным и всяким другим наказаниям. *Братья мира* вмешались в домашние дела земледельческой аристократии. «До того дошло их неистовое безумие,— пишет в своей хронике один благочестивый каноник,— что глупый этот народ предписал графам обращаться с подданными снисходительнее прежнего». Такое неистовое безумие, клонившееся действительно к уничтожению крепостной зависимости, заслуживало, конечно, самого строгого наказания. Представители обеих властей сообразили наконец, что наряжаться в белые капюшоны и кокетничать с идеями всеобщего мира — значит подкапывать тот самый порядок, который дает им деньги, господство и все прочие житейские удовольствия. Бароны и епископы соединили все свои силы против общего врага и в начале XIII века стерли с лица земли опасных негодяев, осмелившихся завести речь о какой-то безнравственной снисходительности. При этом удобном случае некоторые прелаты обессмертили свои имена тем пламенным усердием и той спасительною свирепостью, с которыми они принялись вырезывать и выжигать из сознания французской нации *неистовое безумие* и ядовитую ересь плотника Дюрана[59].

Этот рассказ показывает ясно, до какой степени правы те почтенные люди, которые утверждают, у нас и за границей, что все происходит к лучшему в этом лучшем из миров, что демократия нуждается в долговременном пребывании под разнообразными педагогическими ферулами и что простой народ всеми своими добрыми чувствами и помышлениями обязан исключительно благотворному влиянию обеих властей, теоретической и практической, в особенности первой,— впрочем, и второй, тоже в особенности. В самом деле, если бы теория и практика, соединившись вместе, не урезонили глупого плотника Дюрана, то Франция имела бы несчастье пользоваться с XIII века свободою промышленности, равенством граждан перед законом и разными другими преждевременными затеями, которые по соображениям всех философствующих историков, в том числе и Конта, имели право утвердиться на земном шаре никак не раньше XVIII столетия. Епископы и бароны спасли Францию от этой ужас-

ной опасности и, совершивши в золотой век своего господства целый ряд таких же блестящих и полезных подвигов, упрочили за собой бессмертное право на уважение и признательность всего человечества вообще, и философствующих историков в особенности[60] Милль говорит, что те люди, которые сомневаются в возможности превратить историю в науку, отложат свои сомнения, познакомившись с трудами Конта. Действительно, Конт убеждает и увлекает читателя силою своего отвлеченного анализа. Но как только читатель обращается к живым историческим фактам, так в уме его пробуждаются снова прежние сомнения и прежний взгляд на историю, как на громадный арсенал, из которого все политические партии могут брать себе всевозможные аргументы.

XVIII[61]

Клерикально-военная организация средневекового европейского общества в самый цветущий период своего существования заключала в себе зародыши неизбежного и близкого разложения. Обе власти, духовная или теоретическая (pouvoir spirituel) и светская или практическая (pouvoir temporel), не могли жить между собою в добром согласии, потому что между ними не было и никогда не могло быть ясно обозначенной пограничной линии. Папы враждовали постоянно с императорами и с королями; в разгаре борьбы обе воюющие стороны старались как можно торжественнее возводить друг на друга такие скандальные обвинения, которые, возобновляясь из года в год, непременно должны были поколебать и наконец уничтожить почтительные чувства самых простодушных и благочестивых людей. Разрушительнее всяких обвинений действовали те общие теории, которыми папа и император поражали друг друга и которые через несколько времени были обращены с полным успехом как против папы, так и против императора. Папы утверждали постоянно, что подданные имеют полное право и даже обязаны поднимать оружие против государя, запятнавшего себя ересью или снисхождением к еретикам. Светские владыки, со своей стороны, утверждали так же настойчиво, что папы не имеют никакого права вмешиваться в область международных отношений, политики и государственно-

го управления. Понятно, какие результаты должны были развиться из подобных рассуждений, провозглашавшихся во всеуслышание.

Если подданные, для спасения своих душ, обязаны сопротивляться царствующему еретику, то, разумеется, на этих подданных налагается священная обязанность тщательно контролировать все поведение владетельной особы для того, чтобы заметить вовремя приближение опасности, то есть зловещие признаки ереси. А что такое ересь? Вернее было бы спросить: что такое не ересь? Другими словами, есть ли такой поступок, который в случае надобности не мог бы превратиться в обвинительный пункт. Если властелин не соблюдает постов, он еретик. Если он держит при себе, в качестве лейб-медика, ученого еврея или араба, он еретик. Если он не вешает и не сжигает евреев, колдунов, сарацинов и вольнодумцев,— он еретик. Если он женится на дочери такого владетеля, на которого сердится папа,— он еретик. Наконец, всякое нарушение божеского закона, всякая несправедливость, всякое притеснение, всякий тяжелый налог, всякая бесполезная война могут также с полным удобством превратиться в ересь. Клерикалы имели, правда, обыкновение смотреть сквозь пальцы на такие проступки, которые не заключали в себе прямых посягательств на выгоды их корпорации. Но нетрудно было предвидеть, что народ, приученный своими пастырями рассуждать о ересях высшего начальства, обратит непременно развернувшуюся силу анализа именно против тех проступков, к которым пастыри относятся равнодушно и которые тем не менее ложатся самым тяжелым бременем на его экономическое существование,— словом, ультрамонтанская теория сопротивления венценосным еретикам, проведенная в народное сознание с самыми возвышенными и трансцедентальными целями, порождает из себя самым логическим путем, при содействии папских посланий и соборных уложений, те знаменитые droit de résistance и droit d'insurrection[62], которые были провозглашены в конце прошлого столетия французскими национальными собраниями.

С другой стороны, императорская теория о невмешательстве папы в светские дела приводит к таким же точно неожиданно радикальным результатам. Если папе не должно быть никакого дела до политики, то он теряет всякое право и всякую возможность блюсти чистоту доктри-

ны. Предположим, что король ведет войну со своим соседом, преступным покровителем проклятых еретиков. Давши друг другу достаточное количество кровопролитных сражений и взявши друг у друга достаточное количество укрепленных городов, воинственные соседи начинают переговоры. Папа запрещает заключать мир, доказывая совершенно основательно, что между католиком и еретиком не должно быть никаких трактатов и никаких сношений, кроме истребительной войны. Папе отвечают, что это — совсем не его дело. Католическая держава становится добрым соседом неисправимого еретика. Нарушение доктрины оказывается очевидным, и блюстителю ее чистоты велено хранить скромное молчание. Далее еретики соседнего государства приезжают в католические города, заводят в них свои лавки, мастерские, конторы и, расположившись, начинают отправлять открыто свои поганые церемонии. Папа, глядя на это безобразие, приказывает епископам действовать. Епископы отдают своим подчиненным приказание хватать, вешать, жечь, — одним словом, восстановлять чистоту и порядок. Подчиненные отвечают: «Нельзя, не велено. Заключен трактат о взаимной веротерпимости». Епископы обращаются к высшим властям. — Власти отвечают: «Сидите смирно. Это не ваше дело — политика». Далее один из еретиков пускает в продажу книгу, в которой излагаются неподходящие умствования. Епископы опять приходят в азарт. Им опять говорят: «Не волнуйтесь. Это — политика». — Оно, конечно, все это политика, но ведь посредством политики можно дойти и до веротерпимости, и до индифферентизма, и до скептицизма, и так далее, и так далее, вплоть до Молешотта и Бюхнера. А епископы вместе с папой во все это время должны сидеть сложа ручки и потупить глазки. Спрашиваю я вас, разве это хорошо? И на что это похоже? И какие же после этого действительные права остаются за папою и за епископами? Права возводить очи к небу и произносить чувствительные речи? Согласитесь, что на таких правах далеко не уедешь, тем более, что этими самыми правами пользуется беспрепятственно самый скромный из протестантских пасторов.

Само собою разумеется, что папы не желали прокладывать дорогу французским революционерам, что императоры не питали никакой нежности к философии Фейербаха. Но дело в том, что идеи растут и развиваются

своими собственными силами, не спрашивая позволения у тех людей, которые в первый раз выпустили их на свет. Произнося какое-нибудь суждение, вы отдаете вашу мысль всем вашим слушателям, и тут начинается длинный ряд таких умозаключений, которых вы никак не могли предвидеть. Чем многочисленнее ваша аудитория, тем разностороннее будет обсуждение и рассматривание вашей мысли и тем многочисленнее будут те последствия и приложения, к которым ваша мысль послужит поводом. Аудитория пап и императоров была бесконечно велика; они говорили перед целыми народами, и их мысли обсуждались и комментировались многими поколениями. Мудрено ли, что от такой аудитории не ускользнул ни один из возможных выводов и что коллективный ум Европы оказался гораздо сильнее и дальновиднее единичных умов ее средневековых наставников? А если это нисколько не мудрено, то немудрено и то, что Европа вывела из папских и королевских теорий такие умозаключения, которых не замечали и не желали получить ни короли, ни папы.

Кроме основного антагонизма, существовавшего между обеими властями, теоретическою и практическою,— в каждой из этих властей скрывались еще источники внутренних раздоров, вследствие которых общее разложение всей системы становилось еще более неизбежным. Враждуя с императором и с королями, папа, кроме того, ссорился постоянно со своими подчиненными, то есть — епископами, аббатами и докторами теологии, стоявшими за права и за самостоятельность отдельных национальных церквей. Ведя борьбу с папою, император и короли, кроме того, враждовали постоянно со своими вассалами, с разными герцогами, графами и баронами, которые то старались расширить свои права, то принуждены были защищаться против захватов центральной власти.

Средневековое statu quo никак не могло быть прочным, потому что оно состояло из зародышей нескольких политических систем, взаимно исключающих друг друга: каждый из этих зародышей стремился к развитию, а чтобы развиться, ему надо было задушить и проглотить другие зародыши, образовавшие вместе с ним данное statu quo. При таких условиях борьба была неизбежна, и результатом борьбы должно было оказаться развитие како-

го-нибудь одного зародыша и подавление остальных, что, во всяком случае, вело за собою радикальное изменение средневековой общественности.

Все враждующие элементы средневекового общества стояли на почве одной общей доктрины, которая для всех была одинаково обязательна и ненарушима. Интересы у всех враждующих элементов были, напротив того, различны или, вернее, взаимно противуположны. Задача каждой воюющей стороны состояла в том, чтобы ссылками на общеобязательную доктрину оправдать свои собственные притязания и опровергнуть притязания противников. Другими словами, надо было посредством искусной аргументации приноровить доктрину к интересам. На первый взгляд может показаться, что аргументация тут ни на что не нужна. Всякому известно, что право сильного — самое лучшее и самое надежное из всех возможных прав. Ну, стало быть, кто сильнее — тот ступай и бери себе преспокойно все, что ему желательно получить; а слабейший в это время пускай ссылается на высокие истины и аргументирует с горя, сколько душе его будет угодно. Это верно: сила всегда решает дело. Но теперь возникают два вопроса. Во-первых, что значит быть сильнейшим? И, во-вторых, какими средствами можно привлечь на свою сторону силу, решающую дело? В такой борьбе, какую вели между собою разнородные элементы средневекового общества, быть сильнейшим значит, очевидно, иметь в своем распоряжении большую толпу людей и большую массу материальных средств. Каким же образом собрать эти средства и сгруппировать людей? Приказать людям, чтобы они пришли и принесли с собою деньги и продукты? Это средство очень просто и употребляется с полным успехом сильными и организованными правительствами современной Европы, — правительствами, которые внутри государства не встречают себе никаких соперников. Но когда спор идет именно о том, кому быть в данной стране правительством — папе или королю, папе или епископам, королю или баронам, — тогда простое приказание оказывается бессильным и неуместным. Тогда первый и самый важный акт борьбы — собирание сил, от которых будет зависеть исход дела, — принимает вид состязательного процесса, причем роль присяжных достается всей массе народонаселения, — той самой безгласной, задавленной и невежественной массе, на которую сильные мира, до

борьбы и после победы, не обращают обыкновенно никакого внимания. Подкупить этих присяжных нет возможности. Чем вы подкупите целый народ, от которого, кроме того, вы сами ожидаете себе всех благ земных, и богатства, и власти, и славы? Запугать их тоже невозможно, потому что они сами должны составить ядро той силы, которая будет запугивать и увлекать других. Остается одно средство — убедить, то есть написать на своем знамени имя любимой идеи и доказать всеми правдами и неправдами искусной и увлекательной аргументации, что сущность вашего дела действительно соответствует его обольстительной вывеске. Значит, аргументация необходима для собирания сил и, следовательно, для успешного исхода всей борьбы. Лютер увлек своею аргументациею сотни слушателей, эти сотни сообщили свое увлечение десяткам тысяч, десятки тысяч потянули за собою миллионы,— и пошло, и пошло, и образовалась, наконец, та грозная сила, которая произвела громадный переворот и в течение столетия выдерживала с полным успехом натиск католических держав.

Аргументация начала играть в истории особенно важную роль с того времени, как массы начали размышлять. Аргументация сохранит свое преобладающее влияние до тех пор, пока массы не выучатся распознавать безошибочно свои собственные выгоды. Когда водворится это безошибочное распознавание, основанное на отчетливом понимании законов природы, тогда масса перестанет служить орудием честолюбивых аргументов. Тогда невозможно будет увлекать массу в такие движения, в которых она исправляет должность кошки, вытаскивающей из горячей золы каштаны для прожорливой мартышки. Но что будет невозможно тогда, в счастливые времена трезвого благоразумия и положительного знания, то было неизбежно в период разложения средневековых идей и учреждений. Тогда каждый из состязавшихся общественных элементов аргументировал напропалую, строил на общем фундаменте обязательной доктрины свою собственную хитрую теорию, обращался к массам во имя высших неземных интересов, фанатизировал простых людей пламенными речами, натравливал их друг на друга и заливал реками человеческой крови ту землю, на которой он хотел основать свое господство и на которой для фанатизированной массы готовилась по-прежнему мрачная будущность неблагодарного труда и безответного повиновения.

XIX

Необходимость искусной аргументации породила целые многочисленные классы и корпорации ученых, записных, неутомимых и неистощимых аргументаторов, мастеров диалектического дела, бесстрашных рыцарей рогатого силлогизма[63], которые во время продолжительного разложения средневековых форм незаметно прибрали к рукам обе отрасли власти — теоретическую и практическую. Споры пап с национальными церквами решались сочинениями и речами докторов теологии, поседевшими над фолиантами Аристотеля, Фомы Аквинского и Алберта Великого. Споры королей с графами и баронами решались приговорами опытных юристов и легистов, потративших лучшие годы жизни на изучение всех тонкостей Юстинианова кодекса, знаменитых римских юрисконсультов и бесчисленных особенностей феодального обычного права (droit coutumier). Главное достоинство легистов и теологов состояло в том, что они всегда знали заранее, на чью сторону должны склониться весы правосудия и что вся их кружевная, художественная аргументация приводила их аккуратно к тому окончательному решению, к которому следовало прийти, принимая в соображение обстоятельства времени, места и политической атмосферы. Кого надо было уморить — тот умирал; кого надо было отрешить от должности — тот отрешался; кого надо было обобрать — тот обирался; и все это совершалось с соблюдением всех законов формальной логики и с подведением неизмеримого количества цитат, статей, пунктов, папских булл и соборных уложений. — Что же касается до враждебных столкновений королей с папами, то здесь, при решении этих спорных вопросов, волны юридического красноречия сливались с потоками теологической учености на чересполосных владениях государственной истории и канонического права. Таким образом испытанные в боях аргументаторы ведали и решали важнейшие вопросы тогдашнего мудреного времени, богато одаренного всевозможною путаницею идей, страстей, интересов и стремлений. Аргументаторы эти, несмотря на различие костюма, образа жизни и общественного положения, все без исключения были метафизиками. Это обстоятельство приводит меня к вопросу о том, что такое

метафизика и в чем состоят типические особенности метафизического мышления?

По времени своего развития и процветания метафизика занимает середину между теософиею и положительною наукою. Метафизика родилась тогда, когда теософия склонилась к упадку,— и начала дряхлеть тогда, когда возмужала положительная наука. Это историческое положение метафизики определяет собою все основные черты ее характера. Метафизика могла возникнуть именно только в такое время и только при подобных обстоятельствах. Спрашивается: чтó может сделать человеческий ум, в котором уже пробудилась потребность размышлять и у которого, в то же время, еще нет достаточных и достоверных сведений ни об явлениях и законах окружающего мира, ни о размерах собственных сил? — Обретаясь в счастливом неведении трудностей и невозможностей, такой ум с юношескою самонадеянностью будет бросаться как раз на самые неразрешимые вопросы, во-первых, потому, что эти вопросы имеют особенно величественную физиономию, а во-вторых, потому, что для их постановки не требуется никаких предварительных точных знаний.— Соображая очень основательно, что свидетельства пяти чувств не могут дать на величественные вопросы никаких ответов, начинающий ум относится с презрительным равнодушием к опыту и наблюдению и для отыскания истины полагается исключительно на свою собственную логическую силу. Отважно пускаясь в работу, ум производит целые груды логических выкладок, не допускающих никакой поверки и не имеющих никакого соотношения с явлениями и законами существующего мира. Вся масса этих логических построений называется метафизикою. Но, чтобы вести какое бы то ни было логическое рассуждение, надо непременно иметь исходную точку. Чтобы построить логическим путем систему мироздания, метафизик непременно должен положить в основание всего исследования какую-нибудь несомненную непоколебимую[64] аксиому, так точно, как Архимед, чтобы перевернуть землю, непременно должен был отыскать сначала твердую точку опоры. Эту необходимую аксиому, эту твердую точку опоры сама логика создать не может, потому что логика вообще не создает ничего, а только разрабатывает уже созданный и собранный материал. Откуда же возьмет метафизик ту аксиому, без которой не может начаться его

работа? Он должен брать ее непременно из области воображения или из той области опыта и наблюдения, на которую он с высоты своего призрачного величия бросает убийственно презрительные взгляды.

Если мы теперь припомним, что метафизика составляет промежуточную инстанцию между увядающею теософиею и расцветающею наукою, то нам нетрудно будет сообразить, что метафизику приходится брать материалы для логических работ, с одной стороны, из теософии, с другой стороны — из положительной науки. Самой метафизике принадлежит только та диалектическая паутина, которую она прикрепляет к различным твердым тезисам, изготовленным теософиею или наукою. Достоинство диалектического построения может быть очень различно, но, во всяком случае, оно находится в прямой зависимости от достоинства тех тезисов, которые были положены в основание. Если основные тезисы верны, вся система имеет некоторые шансы оказаться правдоподобною. Если основные тезисы фантастичны, общий результат будет наверное очень уродлив. Находясь на рубеже двух областей, метафизика имеет вообще двусмысленный, подвижной и изменчивый характер. Чем ближе стоят ее отдельные представители к области традиционных доктрин, тем сильнее оказывается в их произведениях элемент фантазии, потому что тем бо́льшее количество тезисов берется из теософии. По мере того, как мы приближаемся к настоящему времени, по мере того, как усиливается преобладание положительной науки, метафизические системы становятся трезвее, разумнее и скромнее, потому что все или почти все тезисы берутся из опыта и наблюдения. Фома Аквинский и Альберт Великий, с одной стороны, Гельвеций и Фейербах, с другой стороны, оказываются все четверо несомненными метафизиками, несмотря на то, что первые двое стоят твердо на почве традиции, а последние примыкают самым тесным образом к данным положительного знания. Между двумя обозначенными крайностями можно было бы вставить все промежуточные звенья, так что Гельвеций оказался бы законным потомком Фомы Аквинского, и так, что мы увидели бы ясно, каким образом поток метафизического мышления постоянно очищался от остатков традиции и постоянно обогащался тезисами положительной науки.

У читателя родился теперь, быть может, вопрос: да почему же Фома Аквинский — метафизик? И если он метафизик, то где же ясная граница между метафизиком и чистым теологом?

На это я отвечу, что в той фазе теологической философии, к которой относится деятельность Фомы Аквинского, требуемую границу показать довольно трудно, потому что некоторая доля метафизики примешивается неизбежно ко всякой теософии, кроме чистого первобытного фетишизма, о котором я говорил подробно[65] в начале этой статьи. Впрочем, существенное различие обоих элементов обнаружится тотчас, если мы попробуем сравнить Фому Аквинского с каким-нибудь основателем религии, например, с Магометом. Магомет объявляет аравитянам, что он посланник Аллаха и что Аллах дает людям такие-то и такие-то приказания. При этом Магомет нисколько не старается доказать своим слушателям посредством логических аргументов разумность или правдивость своих слов. Он не рассуждает, не диспутирует, а приказывает и требует себе безусловного повиновения во имя своего исключительного положения, то есть во имя своего посланничества. Позднейшие верующие комментаторы Корана, напротив того, нисколько не думают присвоивать себе те исключительные права, которыми пользовался сам Магомет. Слова учителя эти комментаторы принимают на веру, как несомненную истину, но они не могут и не хотят требовать, чтобы читатели принимали их собственные комментарии также на веру. Эти комментаторы не выдают своих произведений за внушения Аллаха и поэтому хотят действовать на читателей одною внутреннею силою логической убедительности. В сочинениях таких комментаторов оказываются обязательными для мусульманских читателей только основные тезисы, взятые целиком из Магомета. Что же касается до диалектических узоров, которыми обставлены или опутаны эти тезисы, то они обязательны настолько, насколько в них соблюдены законы человеческой логики. Этим диалектическим узорам можно противопоставлять другие узоры, вовсе на них не похожие, оставаясь при всем том безукоризненно верующим сектатором Магомета. Если мы обратимся теперь к Фоме Аквинскому, то мы увидим, что он, как две капли воды, похож на вышеуказанных комментаторов и нисколько не похож на Магомета. Вследствие этого он вме-

сте с комментаторами Корана попадает в разряд метафизиков, то есть таких людей, которые размышляют, диспутируют, аргументируют и умозаключают, обращаясь постоянно не к вере, а к рассудку слушателей и читателей, обязанных верить только основным тезисам, а не прибавлениям и пояснениям толкователя.

До сих пор я говорил о *чистой* метафизике, которая, опираясь на несколько тезисов, недостаточных по количеству или никуда не годных по качеству, старалась с юношескою смелостью и с бескорыстною любовью к истине постигнуть и уловить абсолютную сущность мироздания и человеческого духа. Полновластно господствуя в течение нескольких столетий над всеми передовыми умами средневековой Европы, метафизическое мышление просочилось понемногу во все отрасли общественной жизни, пробралось в оценку всех междучеловеческих отношений и породило из себя многие видоизменения *прикладной* метафизики, направленной к различным житейским целям, похвальным и предосудительным, высоким и низким, крупным и мелким. Что в высших слоях умственного мира называлось схоластикою и считалось венцом человеческой жизни, то, спустившись вниз и принявши грязновато-практический колорит, превратилось в юридическое кляузничество, крючкотворство, пронырство и пролазничество. Когда нравы смягчились и частые войны стали выходить из употребления, тогда прикладною метафизикою стали решаться все спорные вопросы, и тогда для сутяжничества наступила такая лафа, какой невозможно отыскать во всех остальных периодах всемирной истории. Так как логика по самой сущности своей прикладывается ко всякому делу, то, разумеется, по поводу барана, пойманного в чужом огороде, можно было пускаться в такое же безбрежное море диалектических изворотов и хитрых цитат, в каком плавали отцы Констанского собора, стараясь засудить Гусса[66] и определить точные границы папской власти. Впрочем, господство метафизики не могло сделаться прочным и постоянным ни в высшей области умозрения, ни в более скромной сфере практической жизни. Метафизика сама, своею собственною деятельностью, неизбежно должна была подрыть, опрокинуть и раскрошить основные причины своего могущества. Понятно, например, что огромное значение средневековых юристов или легистов[67] обусловливалось

преимущественно непроходимою путаницею частных законов, обычаев, прав, привилегий и монополий, которые ежеминутно сталкивались, перекрещивались и переплетались между собою в каждом городке и в каждой деревушке. Легисты, быть может, вовсе не имели определенного намерения привести этот хаос к простоте и единству. Легисты во всяком данном случае старались только решать спорный вопрос в пользу своих патронов. Но в результате этих частных усилий получалось все-таки упрощение и объединение! Существуют, положим, два взаимнопротивоположные обычая в двух соседних местностях. Легист, чтобы выиграть один процесс, опирается на обычай *А* и во имя его торжественно отрицает обычай *В,* усиливая свое отрицание множеством почтенных цитат, которые у всякого мало-мальски порядочного легиста всегда имеются наготове. Затем тот же легист или его товарищ, чтобы выиграть другой процесс, превозносит до небес обычай *В* и торжественно хоронит обычай *А* под целою грудою самых авторитетных цитат. Потом представляется третий случай, в котором оба обычая, и *А* и *В,* беспощадно отрицаются как очевидные злоупотребления, осужденные давным-давно римскими законами, каноническим правом, папскими буллами, соборными уложениями, историческими примерами и юридическими прецедентами. Каждое из трех решений заносится в летописи Фемиды и становится таким фактом, на который наверное будут опираться в случае надобности легисты следующих поколений. Каждая из трех тропинок превратится понемногу в торную дорогу. Таким образом, получится, наконец, тот результат, что оба местные обычая утратят свою обязательную силу и понемногу придут в забвение. Жители обеих местностей увидят, что обычай составляет для них самую ненадежную гарантию; вследствие этого в них зародится стремление к более определенному и однородному законоположению, которое установило бы какую-нибудь границу произвольным умствованиям прикладной метафизики. Когда это стремление сделается достаточно общим и достаточно сознательным, тогда оно воплотится в действительной жизни и нанесет могуществу прикладной метафизики роковой удар, после которого юристы потеряют возможность стряпать новый закон для каждого нового случая.

О *чистой* метафизике можно сказать то же самое. Она сама губит свое господство. Обилие метафизических систем, взаимно истребляющих друг друга, приносит мыслящим людям полное разочарование, подрывает вконец авторитет основных тезисов, не допускающих поверки опыта, и порождает ту гибельную для метафизики мысль, что для нашего ограниченного ума многие величественные вопросы останутся навсегда совершенно неразрешенными.

XX

С XIII века в европейской истории начинают играть важную и почетную роль два разряда метафизических корпораций,— во-первых, университеты и, во-вторых, парламенты* Университеты отстаивают против пап самостоятельность национальных церквей. Парламенты в ущерб могущественным и непокорным феодалам стараются расширить права королевской власти. Парламенты и университеты вместе аргументируют за короля против всепоглощающих притязаний папы. Обе метафизические корпорации на всех пунктах одерживают ряд громких и блистательных побед. В начале XIV века французский король Филипп Красивый при содействии метафизиков судит и захватывает в плен ретивого папу Бонифация VIII, последнего представителя необузданных клерикальных стремлений. Бонифаций умирает. Его преемник, Климент V, поселяется в южной Франции, в городе Авиньоне, и становится покорнейшим слугою французского короля и окружающих его метафизиков. В это время метафизики засуживают до смерти орден тамплиеров, который считается опасным для государства и, кроме того, обладает огромными богатствами, весьма привлекательными для короля Филиппа. Папа беспрекословно ратификует смертный приговор, произнесенный докторами

* Я употребляю здесь слово *парламент* не в английском, а во французском смысле. Во Франции парламентами назывались, как известно, не собрания выборных представителей нации, а просто высшие судебные места, имевшие, впрочем, некоторые политические права. Английскому парламенту соответствовали во Франции Etats Généraux[68], которые, однако, собирались редко и никогда не имели постоянного влияния на государственные дела.

и легистами. Преемники Климента продолжают жить в Авиньоне и повиноваться метафизикам, заседающим в судах и университетах французского королевства и управляющим действиями французского правительства. В XV веке начинается великий раскол; в католическом мире появляются два папы,—один римский, другой авиньонский. Кто рассудит между ними? Рассудят университетские метафизики. Они собираются в Констансе, судят пап, отрешают их от должности и дают католическому миру нового папу, Мартина V.

В это время парламентские метафизики потихоньку расширяют королевскую прерогативу и длинным рядом незаметных, осторожных и строго последовательных стеснений и захватов доводят владетельных герцогов и графов французского королевства до горькой необходимости превратиться в ревностных искателей придворных должностей и королевских улыбок.

Два столетия кропотливой метафизической работы произвели в положении европейских обществ следующие капитальные перемены.

К концу XV века папа превращен в мелкого итальянского владетеля, который хлопочет только о том, чтобы округлять свою область и набивать карманы своим племянникам и побочным детям.

Национальные церкви приобрели себе почти полную независимость от папы и в то же время подчинились в очень значительной степени господству светской власти.

Аристократия на всем материке Европы стеснена, обуздана и унижена.

Королевская власть получила решительное преобладание над всеми остальными светскими и духовными элементами, заявившими в средневековых обществах какие бы то ни было притязания на господство.

Англия в своем развитии отклонилась от этого пути. В Англии официальная церковь также подчинилась государству, но окончательное преобладание досталось не королю, а земледельческой аристократии.

Здесь не мешает остановиться, чтобы рассмотреть и обсудить замечательное разногласие, возникшее по поводу Англии между двумя величайшими историко-философами текущего столетия, Контом и Боклем.

Конт видит в развитии Англии *замечательную политическую аномалию* (Phil. Pos. V, 408) и отдает решительное

предпочтение тому пути, по которому шло развитие Франции и вообще всей континентальной Европы. Он говорит, что королевская власть, спасая Европу от политической анархии, содействовала в то же время такому радикальному истреблению средневековых форм, какое не могло бы совершиться под господством аристократии. Хотя каждый из двух элементов,— аристократия и корона,— одержавши победу, старался восстановить в свою пользу старый порядок, однако же, по мнению Конта, эти вредные реставрационные попытки со стороны аристократии гораздо более опасны, чем со стороны королевской власти, потому что в первом случае они оказываются несравненно более успешными и прочными, чем во втором. Сравнивая совершенно новые бюрократические формы, господствующие на всем монархическом материке Европы, с бесчисленным множеством старых средневековых обычаев и учреждений, сохранившихся в аристократической Англии, читатель должен согласиться, что в замечании Конта есть значительная доля правды.

Бокль, напротив того, находит развитие Англии особенно естественным, здоровым и правильным. Объясняя причины, побудившие его приняться именно за историю Англии, он объявляет положительно, что руководствуется «вовсе не теми побуждениями, которые удостоивают названия патриотизма» (Бокль, I, 180)[69] Он изучает историю Англии, чтобы добраться до общих законов человеческого развития; а выбрал он именно Англию потому, что «из всех стран Европы только в одной Англии правительство было наиболее спокойно, а народ наиболее деятелен; только здесь свобода народная покоилась на более широком основании; каждый мог говорить, что думает, и делать, что угодно,— следовать своим наклонностям и распространять свои мнения; только здесь были менее сильны преследования за веру, и потому только в Англии легче наблюдать движение и развитие человеческого духа, не стесненного теми ограничениями, которым он подвергнут во всех других странах; здесь проповедывание ересей менее опасно и исполнение еретических обрядов более обыкновенно; здесь враждебные вероисповедания процветают друг подле друга, возвышаются и падают без всякого препятствия, по желанию народа, не стесняемого ни требованиями церкви, ни надзором правительства; здесь все интересы, все классы предоставлены самим се-

бе; здесь впервые подверглось нападению во все вмешивающееся учение так называемой покровительственной системы и в первый раз было отвергнуто,— словом, все опасные крайности, к которым ведет вмешательство, были избегнуты: деспотизм и бунт равно редки; так как уступка признана основным началом политики, то развитие народное наименее нарушается властью привилегированных классов, влиянием отдельных сект или насилием деспотических правителей»*

По своему тону эти слова Бокля напоминают отчасти те дифирамбы, которые поются во славу блаженной английской конституции Маколеем и всеми подобными ему панегиристами буржуазии. Но при ближайшем рассмотрении оказывается совсем не то. Бокль говорит не о благосостоянии английского народа,— что было бы, конечно, бессовестно и нелепо,— а только о самодеятельности его и об отсутствии стеснений, то есть о таких особенностях английской жизни, которые вряд ли решится отрицать самый горячий противник англоманов и доктринеров. Англомания, насажденная во Франции последователями Монтескье и сподвижниками Гизо, а у нас — катковскою школою публицистов и профессоров, вызвала против себя очень сильную реакцию, которая в свою очередь зашла слишком далеко или, по крайней мере, приняла ложное направление. Выдавать английскую конституцию за панацею всех общественных зол было, конечно, нелепо; пересаживать на европейский материк такие учреждения, под покровом которых расцвели все прелести колоссального пауперизма, было бы безрассудно. Указывать самым энергическим образом на общественные болезни Англии, в которой доктринеры усматривали земной рай, было необходимо. Но при этом надо было останавливаться на чистом отрицании. Надо было говорить просто, что в Англии очень много дурного, не прибавляя и не подразумевая той мысли, что это дурное не существует на континенте или существует в более скромных размерах. Ставить какую-нибудь континентальную страну выше Англии или даже игнорировать те огромные преимущества, которые отличают Англию от всех остальных европейских земель, значило впадать в очень вредный

* Русский перевод гг. Тиблена и Бестужева-Рюмина, 2-е изд., стр. 173, том I.

и опасный парадокс. Франция, подобно всем другим континентальным странам, не имеет никакой основательной причины чваниться своим историческим развитием и предпочитать его развитию Англии. Конечно, старых форм в Англии больше, чем во Франции; но при этом остается спросить, в каком отношении новейшие наполеоновские чиновники и жандармы полезнее или приятнее для народа, чем старые английские муниципалитеты, шерифы и констебли? Громадные бюджеты Фульда[70] с ординарными, экстраординарными, добавочными и дополнительными расходами составляют, конечно, самое новое изобретение финансовой науки, но вряд ли найдется даже во Франции, пристрастной ко всяким новостям, много людей, способных признать эту крупную новость за великое благодеяние. Систематическое развращение литературы посредством субсидий и интимидаций[71] составляет также совершенно новое явление, в котором нет ничего средневекового и в котором все-таки трудно найти что-нибудь хорошее.

Вопрос о новых и старых формах надо оставить в стороне. Тот масштаб, которым Конт измеряет сравнительное достоинство двух общественных движений, французского и английского, неудобен потому, что у Конта есть при этом своя затаенная мысль, управляющая всем ходом его анализа. Конт возлюбил Францию за то, что она, по его мнению, ближе всех других частей Европы подошла к своему окончательному обновлению, то есть к учреждению положительного или позитивного порядка вещей. Но так как контовский régime positif составляет самую неосуществимую и самую непривлекательную из всех утопий, то пристрастие Конта к Франции оказывается лишенным достаточного основания, потому что французский народ так же бесконечно далек от *окончательного обновления,* как и все остальные народы земного шара.

Оставляя в стороне затаенную мысль и неудобный масштаб Огюста Конта, мы должны будем признаться, что Англия во всех отношениях опередила Францию, несмотря на те громадные усилия и пожертвования, которыми Франция оплачивала свое прогрессивное движение. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет взглянуть именно на самое больное место Англии — на ее пауперизм. Положение английского работника очень тяжело — это правда. Но, во-первых, положение французского работника, на-

пример, лионского ткача, нисколько не легче; а во-вторых, в Англии для удовлетворительного решения рабочего вопроса имеется в наличности несравненно более материалов, чем во Франции или в какой бы то ни было другой стране европейского материка. Эти материалы заключаются именно в привычке английского народа к самодеятельности и к самой широкой политической и гражданской свободе.

Мне случалось иногда слышать и читать рассуждения о том, что когда человек умирает с голода, тогда ему нет никакого дела до политических прав и гарантий. Рассуждения эти основательны. Когда человек *буквально* умирает от голода или от чего-нибудь другого, например, от водяной или чахотки,— тогда ему действительно нет никакого дела ни до конституции, ни до митингов, ни до habeas corpus, ни до свободы печати. Но когда человек жив и до некоторой степени здоров, когда он бьется как рыба об лед, когда он старается всеми силами улучшить свое положение и отбиться от гнетущей бедности, тогда для него имеют огромное значение законы и обычаи той земли, в которой ему приходится жить и действовать. В настоящее время уже дознано[72], что ассоциация, в той или в другой форме, составляет самое надежное наступательное и оборонительное оружие против бедности. Но где же ассоциацию легче составить, где легче найти для нее способных членов, где она будет действовать с бо́льшим успехом — в такой ли стране, где предприимчивость и сметливость народа воспитана и укреплена всем ходом его истории и где все жители могут свободно собираться и рассуждать о частных и общественных делах,— или же в такой стране, где народ в продолжение многих столетий был систематически отучаем от всякой инициативы и где за народом, как за шаловливым ребенком, смотрят ежеминутно сотни заботливых благодетелей, наставников и гувернеров? Ответ, кажется, ясен. Существующие факты подтверждают мысли, которые могут быть выведены путем априорического рассуждения. Кто у кого берет уроки по рабочему вопросу — Англия у Франции, или наоборот? Наоборот, как раз наоборот! — Общества взаимного страхования, общества взаимного вспоможения, общества для оптовых закупок пищи и сырья, кредитные учреждения для рабочих классов, грандиозные стачки, кооперативные общества — все это впервые приняло серьез-

ные размеры в Англии, несмотря на то что первая мысль о многих из этих комбинаций родилась у мыслителей европейского материка. Дело в том, что во Франции, и на материке вообще, мысль и жизнь, теория и практика отделены друг от друга такою пустынею, через которую не хватает самый сильный человеческий голос и в которой из году в год погибают от различных притеснений отважные чудаки, дерзающие через нее перебираться.

До какой степени Франция отстала от Англии даже по рабочему вопросу, которым обыкновенно попрекают коварный Альбион, видно уже из того факта, что во Франции очень недавно (именно в 1864 году) отменен уголовный закон, положительно запрещающий всякие стачки между работниками. Поучительно будет также припомнить, с одной стороны, громадные английские митинги, которые собираются и расходятся совершенно беспрепятственно, а с другой стороны,—те тонкости и хитрости, которые в прошлом году (1865) были пущены в ход парижскими извозчиками для того, чтобы устроить стачку, не нарушая закона против собраний, заключающих в себе более двадцати человек. При этом надо взять в расчет, что громадные митинги собираются и расходятся беспрепятственно в такой стране, в которой большинство жителей не имеет избирательных прав, между тем как хитрости извозчиков устраиваются там, где существует и процветает поголовная подача голосов. В первой стране народ бесправен, во второй — он полновластен; по-видимому, в первой должно существовать гораздо больше стеснений, чем во второй; а между тем выходит совсем наоборот. Бесправный народ делает, что ему угодно; а полновластный народ без разрешения полиции не смеет толковать о своих собственных делах. Чем объяснить себе такое удивительное противоречие?

Мне кажется, что оно объясняется именно только крайнею болезненностью того самого развития, которое Конт считает нормальным. На современной Франции лежит гнет ее ужасного тысячелетнего прошедшего, и этого гнета она до сих пор не могла сбросить с себя никакими конвульсивными потрясениями. Французы умеют побеждать, но после победы, когда разобрана последняя баррикада, они тотчас торопятся возложить все свое упование на какого-нибудь отца и благодетеля, который в награду за их добродушие через несколько лет непре-

менно заставит их соорудить новые баррикады, имеющие повести за собою новое упование и новое добродушие. Французы много раз меняли своих правителей, но им никогда не приходило в голову, что в пользу этих правителей они, французы, постоянно отказываются от таких прав, которые каждый человек непременно должен удерживать при самом себе, если он не желает превратиться в самое жалкое, ничтожное и зависимое существо. Англичанин, напротив того, сросся с этими необходимыми правами до такой степени, что для него без них немыслимо существование и что его правительство, выбранное меньшинством нации, все-таки считает всякое посягательство на эти общие права делом в высшей степени рискованным.

Это основное различие двух характеров выработалось на глазах истории.

В Англии со времен Вильгельма Завоевателя королевская власть была очень сильна. В это самое время французские короли были очень слабы. В Англии аристократия должна была заключить с народом наступательный и оборонительный союз против короля. Во Франции, напротив того, король принужден был опираться на народ, чтобы сдерживать и подавлять аристократов. Борьба английских аристократов с королем, не только наступательная, но и оборонительная, во всяком случае должна была принимать внешний вид и действительный характер хронического возмущения. Вследствие этого английские аристократы неизбежно должны были, так или иначе, охотно или неохотно, играть роль агитаторов и демагогов. Иначе им нечего было и делать; иначе им незачем было и соединяться с народом. Напротив того, действия французских королей против аристократии, даже самые произвольные и наступательные, всегда могли облечься в приличную форму и прослыть за необходимое подавление аристократических мятежей. Вследствие этого французским королям не было ни малейшей надобности обращаться в этой борьбе к каким бы то ни было революционным средствам, способным заронить в народные умы опасные семена кичливого самосознания. Во Франции угнетенный народ апеллировал на графа или барона к королю; каждое облегчение народных страданий принимало форму милости, пожалованной сверху за благонравие и смирение. В Англии главным источником всякого угне-

тения был сам король, на которого можно было апеллировать только к собственному вооруженному кулаку; каждая льгота имела характер уступки, вырванной народом и его вождями сознательно и насильно, с открытым нарушением всех законов благонравия и смирения. Таким образом, своенравный англичанин изворачивался постоянно собственными средствами, а кроткий француз уповал преимущественно на силу, сообразительность и великодушие начальства. Спустя несколько столетий оригинальная метода английской апелляции была перенесена и во Францию[73]; но это случилось очень недавно, всего лет восемьдесят тому назад, и случилось тогда, когда привычки упования пустили уже в характер французов очень глубокие, быть может, даже неистребимые корни. В продолжение целого столетия француз в тяжелые минуты своей жизни твердил добродушную поговорку: «Si le roi savait!»[74]. С этою поговоркою он не желает расставаться и вследствие этого усердно стремится создать себе такое правительство, которое будет все знать, во все вмешиваться и с утра до вечера учить всех кротости и хорошим манерам. А до сих пор французу приходится только повторять: «Si le comité savait!» «Si le consul savait!» «Si l'empereur savait!» «Si le roi savait!» «Si le président savait!» «Si l'empereur savait!»[75] И потом опять ту же канитель сначала. Есть у французов великие и смелые мыслители, которым эта канитель давно надоела, но французы обращают на них мало внимания и утверждают торжественно, что Бастиа и Виктор Кузен не в пример глубокомысленнее Фурье и Прудона. Рождаясь в недрах буржуазии, эти суждения спускаются вниз к народу и приносят свои сочные и сладкие плоды. Народ тупеет и восхищается славой второй империи[76] и будет восхищаться до тех пор, пока бюджеты Фульда не переполнят меру буржуазного терпения. Тогда начнутся опять поиски такого правительства, которое обладало бы всеведением и вездеприсутствием. Потратив на эти поиски несколько столетий, народ, конечно, перевоспитается и приобретет себе тот склад ума и характера, которым англичане обладают в настоящую минуту. Из чего следует то неотразимое заключение... что благосклонный читатель сам подведет итоги всех предшествующих рассуждений.

XXI

В продолжение нескольких столетий различные элементы средневекового общества спорили между собою и обижали друг друга так, как это делается в кругу добрых знакомых и родственников, которым вместе тошно, а порознь скучно. Нанося друг другу очень чувствительные удары, враждующие элементы вовсе не думали и не желали истреблять друг друга и перестраивать заново всю систему. Старая машина скрипела и расклеивалась; несообразности ее мозолили каждому глаза, но никому еще не приходило в голову, что приближается начало такого генерального разрушения, которое наполнит собою всю жизнь многих поколений. Первым систематическим отрицателем старой машины, увлекшим за собою значительное число последователей и оставившим после себя прочное дело, был Лютер. У него было, правда, много предшественников, не уступавших ему ни в уме, ни в смелости; но эти предшественники своею деятельностью успели только высушить те сырые дрова, которые Лютеру удалось, наконец, зажечь.

Систематического отрицания Лютера хватало очень недалеко[77] В области мысли он был очень робок. Он верил в колдовство. Он имел личные неприятности с чертом. Он проповедовал преследование еретиков. Он всеми силами старался унизить человеческий ум и подавить его пытливость. В политической жизни он действовал смелее, но смелость эта была чисто вынужденная. Отложиться от Рима значило, конечно, решиться на радикальную меру. Но Лютер шагнул так широко только потому, что тут не было никакой возможности сделать полшага или четверть шага. Рим по своему обыкновению не поддавался ни на какие компромиссы и требовал себе полной покорности, в которой слышался для Лютера неприятный запах тюрьмы и костра. Отступать назад было поздно; на поддержку сильных людей можно было рассчитывать; значит, надо было шагнуть. И Лютер действительно сделал тот огромный шаг, которым он, поворачивая к первым векам христианства, отрицал, во имя основной доктрины, все исторические учреждения западной церкви. Нравственные последствия этого шага были громадны. Но непосредственная перемена, произведенная Лютером, была ничтожна. Он только сформулировал громко и от-

кровенно то отношение национальных церквей к Риму, которое de facto начинало уже устанавливаться во всем католическом мире. Везде церковь была уже более или менее подчинена государству. Лютер возвел это подчинение в догмат, что, конечно, доставило немалое удовольствие его покровителю, Фридриху Мудрому, и разным другим, мудрым и немудрым, герцогам и курфюрстам. Умственная робость Лютера составляет главную причину его практических успехов. За ним пошли очень многие, потому что его отрицание очень многим было по плечу и очень немногих могло озадачить и отпугнуть. Но понятно всякому, что в деле систематического отрицания — лиха беда начать. Всякий отрицатель говорит обыкновенно: я пойду до сих пор и здесь остановлюсь. И всякий отрицатель находит себе последователей и преемников, которые ведут его дело дальше, повторяя те же самые слова перед новою границею, через которую, в свою очередь, перешагнут их предприимчивые ученики.

Хотя Лютер был очень яростным врагом свободной мысли, однако же его собственный протест против всей тысячелетней истории клерикальной корпорации основывается исключительно на праве свободного личного исследования. Если бы у Лютера спросили, почему он осмеливается осуждать дело великих пап и мудрых учителей, то Лютер отвечал бы, конечно: потому что это дело противоречит духу основной доктрины. И затем начались бы цитаты. Но тут можно было бы остановить Лютера и возразить ему, что все тексты, на которые он ссылается, существовали за много веков до его рождения, что все они прилежно читались и заучивались наизусть многими тысячами умных, ученых и благочестивых людей и что, несмотря на все это, эти умные, ученые и благочестивые люди соорудили то клерикальное здание, которое он, Лютер, желает опрокинуть. Затем можно было бы спросить у Лютера, неужели он, простой и ничтожный августинский монах, считает себя умнее тех великих комментаторов, которые назывались: Doctor admirabilis, Magister Sententiarum, Doctor Angelicus, Doctor subtilis, и т. д.? — На это Лютер был бы принужден отвечать так: очень может быть, что каждый из этих людей во сто раз умнее меня, но, к сожалению, я никак не могу взять напрокат их великие умы и заменить ими мой собственный ничтожный умишко. Как бы ни были велики или малы мои способно-

сти, во всяком случае я могу размышлять только моим собственным умом, и мои размышления привели меня именно к этим результатам. Лютеру, конечно, было очень желательно конфисковать в свою пользу право свободного исследования и уложить навсегда человеческую мысль в ту новенькую коробочку, которую он для нее приготовил собственным умом. Но такое желание было бы в высокой степени наивно, потому что, разумеется, было неизмеримо легче перешагнуть через самого Лютера, чем через ту гору великих авторитетов, через которую Лютер перебросил своих последователей. Старый тормоз, сдерживавший личную критику, был оборван самим Лютером, и поправить это дело было уже невозможно, потому что подобные тормоза изготовляются тысячелетиями и еще потому, что умственное движение, создавшее Лютера, клонилось совсем не к тому, чтобы превратить этого Лютера в папу протестантизма. Протестантские секты стали плодиться с замечательною быстротою, и каждая последующая секта оказывалась обыкновенно смелее и радикальнее предыдущей. Каждая была вполне убеждена в том, что она произнесла последнее слово; держась такого взгляда на собственную деятельность, каждая секта чувствовала приливы ужаса и добродетельной ярости, когда вдруг оказывалось, что можно произнести новое слово, еще более последнее. Входить в догматические подробности я не считаю нужным, но замечу мимоходом, что самые крайние протестантские секты, последователи Социна и Чаннинга, антитринитарии или унитариане[78], сами того не замечая, совершенно вышли за пределы основной доктрины и составляют переход от протестантизма к философскому деизму. Словом, принцип свободного исследования развернулся и, помимо воли отдельных личностей, породил из себя все свои логические последствия, не стесняясь даже тем медленным огнем, на котором свободный исследователь Жан Кальвин три часа жарил в свободном городе Женеве свободного исследователя Михаила Сервета.

Нетрудно себе представить, какой ужас и какая ярость обуревали католиков в то время, когда с неудержимою силою развертывался принцип свободного исследования. Католики думали положительно, что в европейские нации вселились легионы бесов. События трех последних столетий до сих пор составляют для католических мыслителей

камень преткновения и неразрешимую загадку. Что Европою овладело безумие — это для них очевидно, но с какой стати нашло на нее это безумие, и отчего оно до сих пор не проходит, и как объяснить себе хроническое помешательство десяти поколений — это все такие вопросы, перед которыми становится в тупик вся мудрость Бональдов, Шатобрианов и де Местров. — Успехи протестантов пробудили в католиках XVI века чувство самосохранения. Надо было во что бы то ни стало спасаться от наплыва еретических сомнений, которые могли, чего доброго, смыть с лица земли все сооружения Григория VII и Иннокентия III. Спасаться можно было только под покровительство королевской власти, укрепившейся на развалинах средневекового общества. Католицизм действительно смиренно отдался под защиту светской власти и вследствие этого окончательно и беспрекословно подчинился ее господству, возмущаясь против него только в тех редких случаях, когда это господство становилось опасным для его существования. Те времена, когда представители клерикальной власти распекали королей за безнравственное поведение, прошли безвозвратно. Франциск I, сгнивший заживо от избытка своего целомудрия, считался постоянно образцом добродетели и нравственности и жил со своими клерикалами в неразрывной дружбе, несмотря даже на то, что он заключил союз с турецким султаном и помогал деньгами немецким протестантам, воевавшим с Карлом V. Клерикалам мудрено было придраться к таким мелочам в то время, когда во Францию уже врывался кальвинизм и когда по ту сторону Ла-Манша Генрих VIII с полным успехом провозглашал себя папою Англии собственно для того, чтобы обвенчаться с хорошенькою англичанкою.

Читателю, быть может, покажется странным, что клерикальная власть, до крайности любезная к Франциску, вздумала контролировать поступки Генриха. Я напомню читателю, что здесь клерикальная власть попалась между двух огней. Генрих VIII был женат на Катерине Арагонской и требовал себе у папы развода, а Катерина была родная тетка Карла V, так что согласиться на развод значило бы нанести оскорбление самому сильному государю тогдашней Европы. Папа не согласился, и равнодушие англичан к римскому престолу оказалось до такой степени значительным, что Генрих, не имея вокруг себя ни одного

полка постоянной армии, решился, из-за любовной фантазии, произвести религиозный переворот.— И переворот совершился беспрепятственно. Тесный союз католицизма с королевскою властью казался великим благополучием для обеих сторон. В самом деле, чего же лучше: короли будут защищать доктрину материальною силою, а доктрина, в свою очередь, будет оправдывать и освящать в глазах народа все распоряжения королевской власти. При этих глубоких политических соображениях было упущено из виду только то ничтожное обстоятельство, что такая доктрина, которая сама нуждается в защите со стороны материальной силы, ровно ничего не может оправдывать и освящать своим авторитетом. Вследствие этого ничтожного обстоятельства знаменитый союз сделался гибельным для обеих заинтересованных сторон. С одной стороны, клерикалы, ублажая своих покровителей, превращая все их страсти и капризы в высокие добродетели, постоянно превознося то, что и без того стояло высоко, и постоянно принижая то, что и без того было принижено и задавлено,— словом, делаясь самыми гибкими и послушными орудиями возрастающего деспотизма,— клерикалы окончательно уронили и обесчестили себя в глазах всех людей, имевших даже инстинктивные и смутные понятия о чести и об общественной пользе. С другой стороны, короли, решившись защищать идеи, осужденные умственным движением времени, взяли на себя тяжелую обузу, которой бремя не уравновешивалось никакими выгодами. Королям как покровителям клерикальной корпорации приходилось преследовать и истреблять тысячи таких людей, которые, увеличивая своим трудолюбием массу народного богатства, ничем не нарушали общественного спокойствия. Казни еретиков производились в грандиозных размерах, разоряли промышленную жизнь богатых и цветущих областей, сокращали доходы королевской казны и, наконец, переполняя меру народного терпения, вели за собою самые серьезные политические потрясения, в которых королевская власть ровно ничего не могла выиграть и в которых она обыкновенно очень много проигрывала. Междоусобные войны, опустошавшие Францию в XVI столетии, обязаны своим происхождением клерикальной политике Генриха II и его преемников. Восстание Нидерландов, нанесшее первый удар колоссальному могуществу испанской монархии, было возбуждено

тесным союзом Карла V и Филиппа II с увядающими идеями католицизма. Так как протестантизм, превращаясь в господствующую доктрину, принимал немедленно все замашки католицизма, то здесь уместно будет заметить, что союз английских королей с епископальной церковью против всевозможных диссидентов содействовал в очень значительной степени той катастрофе, которая погубила Карла I. Союз королей с клерикалами естественным образом вел за собою противоположный союз между агитаторами и диссидентами. Борьба значительно упростилась: все средневековые элементы сгруппировались вокруг светской власти и увидели себя лицом к лицу с теми новыми силами, которые в то время начинали сознавать и заявлять свое существование.

XXII

С XIV столетия общий ход событий направляется во всей Западной Европе к светской диктатуре, которая на материке должна была принять монархическую[79], а в Англии — олигархическую форму. Протестантское движение помешало этой неизбежной диктатуре утвердиться в начале XVI столетия. Слабейший из двух светских элементов, боровшихся между собою за верховное господство, нашел себе в протестантизме неожиданную точку опоры и вследствие этого протянул борьбу еще на целое столетие. В Англии Генрих VIII, как представитель слабейшего элемента, обратился к протестантизму, провозгласил себя главою церкви и этим смелым поступком, вытекавшим из любовного каприза, значительно усилил королевскую власть, которая развернула все свое могущество во время блестящего царствования Елизаветы. В это же самое время во Франции аристократия, как слабейший элемент, бросилась в гугенотское движение и наделала своим королям очень много хлопот. Как в Англии, так и во Франции борьба все-таки кончилась поражением слабейшего элемента, потому что сильнейший элемент пустил в ход свою обыкновенную тактику: он обратился к народу и при его содействии одержал полную победу. Во Франции вступление на престол Генриха IV, который в угоду нации принял католическую религию, нанесло решительный удар гугенотам, как политической партии.

Нантский эдикт дал искренним протестантам свободу вероисповедания; вследствие этого неискренние протестанты, то есть честолюбивые аристократы, превращавшие религию в политическое оружие, остались без солдат и один за другим отправились ко двору искать себе доходных мест и знаков отличия. В Англии долгий парламент положил конец произволу Карла I. Как в Англии, так и во Франции победа была одержана нациею; но плодами победы воспользовались в Англии — аристократия, а во Франции — король. Впрочем, и во Франции, и в Англии после победы обнаружились попытки ограничить могущество того элемента, которому в ближайшем будущем должна была принадлежать диктатура. Во Франции парламентские метафизики или, яснее, юристы начали вмешиваться в распоряжения верховной власти и, во имя общественной пользы, стали делать королям очень серьезные и резкие замечания, которые на официальном языке того времени назывались remontrances[80] За подобные дерзости юристов посылали в Бастилию; тогда народ выражал свое неудовольствие каким-нибудь шумным скандалом; но так как эти скандалы производились всегда бессвязно и бестолково, то они и не привели за собою никаких прочных последствий. Волнения Фронды оказались последним громким протестом Франции против надвигавшейся диктатуры. В этом протесте действовали заодно тщеславные аристократы, добивавшиеся табуретов для своих супруг, парламентские педанты, защищавшие тощую идею легальности, и голодные бедняки, стоявшие за интересы собственных желудков. Такой неестественный союз не мог сделать ничего путного; вслед за временами Фронды наступила диктатура Людовика XIV, которая совершенно раздавила идею легальности, набила мякиной миллионы французских желудков и разрешила во всех отношениях только одних аристократов, имевших неизреченное счастье присутствовать при petits-levers и petits-couchers и даже держать в руках королевские рубашки.

В Англии подобные попытки проявились сильнее, чем во Франции. Во времена пуританской республики[81] вожди народа закрыли палату лордов. Но сам народ еще довольно смутно понимал свои собственные выгоды. Реставрация была встречена с восторгом, и лучшим людям Англии пришлось искать себе новой родины за Атлантиче-

ским океаном, где гнет укоренившихся привычек не мешал им осуществлять самые широкие демократические планы. После вторичного изгнания Стюартов, в 1688 году, преобладание аристократии окончательно установилось в Англии.

Когда во всей Европе окончилась борьба между короною и аристократиею, тогда началось между этими двумя элементами доверчивое и дружелюбное сближение. В Англии пэры приняли королевскую власть под свое высокое покровительство. На материке Европы короли стали смотреть на свое дворянство как на опору своего авторитета. Словом, наступил золотой век всеобщей преданности. Все элементы, наполнившие средневековую историю шумом своих противуречивых притязаний, стали пировать и веселиться в полном единодушии. Короли, клерикалы и аристократы сомкнулись в неразрывный союз. Исключенной из этого союза оказалась только та черноземная сила, которая отправляла денежные и натуральные повинности. Пригласить эту силу на общий пир любви и дружбы не оказалось никакой возможности, во-первых, потому, что эта сила в одно мгновение ока проглотила бы все приготовленные деликатесы, а во-вторых, потому, что эта сила, по необъяснимой странности своего характера, умывалась очень редко и одевалась в какие-то весьма непрезентабельные и даже до некоторой степени неправдоподобные лохмотья. Кроме того, эта же сила обладала врожденною наклонностью к самым трудным и грязным работам; по всем этим причинам решено было оставить ее за штатом. Что же касается до метафизики, то она, по всегдашней подвижности, двусмысленности и эластичности своей натуры, раздвоилась, так что одни из ее представителей стали восхищаться деликатесами благородного пиршества, а другие в это же время начали подвергать сомнению врожденную наклонность черноземной силы к самым трудным и грязным работам. Одни стали говорить, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, а другие решились возражать, что бальный зал — не мир и что за пределами теплого и светлого зала многое идет дурно и с каждым годом становится хуже. Рассуждения воспоследовали весьма интересные и поучительные, но об них речь впереди, потому что в настоящее время следует рассмотреть видоизменения, произведенные в общей европейской политике прочным утвержде-

нием той диктатуры, которая положила конец средневековой борьбе общественных элементов.

Сказать: «L'Etat — c'est moi!»[82] было нетрудно, но в самом деле заменить собственною особою коллективный ум целой нации было очень мудрено и даже совсем невозможно. Когда центральная власть довела до совершенного ничтожества все враждебные ей элементы, тогда в руках короля сосредоточилась такая необъятная масса дел, которая далеко превосходила размеры обыкновенных человеческих сил. Быстрое развитие промышленной жизни и возрастающая сложность международных отношений с каждым годом увеличивали число, разнообразие и трудность политических, финансовых и административных задач, постоянно требовавших немедленного разрешения. Самый сильный и обширный ум не мог решать все эти задачи собственными силами; необходимы были необыкновенные способности и самая напряженная деятельность даже для того, чтобы только обозревать и контролировать решения, приисканные другими людьми. Эти способности и эта охота к труду встречаются вообще довольно редко, в особенности у таких личностей, которым нет надобности прокладывать себе собственными усилиями дорогу к власти, к богатству и к различным наслаждениям жизни. Поэтому легко могло случаться, и действительно случалось очень часто, что король не мог и не желал тратить драгоценное время на прочитывание и обдумывание скучных и головоломных смет, докладов и проектов. Сам Людовик XIV, автор фразы «l'Etat — c'est moi!», занимался преимущественно сначала выделыванием балетных па, а потом — перебиранием четок и чтением латинских молитв. Понятно, что в таких руках не могла сосредоточиваться центральная власть, получившая действительно самое полное господство над всеми отправлениями общественной жизни. Королю были необходимы не только послушные и расторопные чиновники, способные исполнить данное приказание, но и настоящие государственные деятели, способные самостоятельно обдумывать и создавать целые обширные планы. Короли нуждались не в агентах, а в министрах, и министры действительно начинают играть в истории очень значительную роль с того времени, как установилась в Европе королевская авто-

кратия. Политика европейских государств обусловливается обыкновенно с этого времени не личными взглядами королей, а соображениями министров. Так, например, благочестивый король Людовик XIII был вовсе не прочь от того, чтобы всеми силами истреблять протестантов внутри государства и за его пределами; между тем Франция во время его царствования предоставляла своим гражданам полную свободу вероисповедания и очень деятельно помогала немецким протестантам деньгами и оружием. Все это делалось по мысли и по желанию великого министра, кардинала Ришелье.

Министры должны были непременно быть или, по крайней мере, казаться даровитыми и сведущими людьми. Знатность рода тут не могла приниматься в соображение. Самые недальновидные умы понимали очень хорошо, что без личных способностей и без обширных знаний невозможно ворочать громадную и сложную административную машину. Поэтому ни в одном европейском государстве аристократические предрассудки, несмотря на всю свою силу, не возвысились до грандиозно-нелепой попытки ввести в назначение министров принцип наследственности или сделать министерские места доступными только для высших дворянских фамилий. Во Франции простолюдин (roturier) не мог дослужиться до офицерского чина; но все важнейшие гражданские чиновники, интенданты, контролеры или министры, были обыкновенно простолюдинами. В той же Франции множество должностей продавалось от короны в наследственную собственность. Но никому из французских королей в самые тяжелые минуты безденежья не приходила в голову остроумная мысль продать с аукциона должности министров, хотя, разумеется, нашлись бы покупатели, готовые заплатить за такие влиятельные места очень хорошие деньги. Идеи века и дух времени проникают слабо и медленно в мир блестящих салонов. Но дух времени необходим даже для тех людей, которые не имеют понятия о его существовании; без его содействия самые сильные особы ежеминутно рискуют очутиться в самом жалком и смешном положении; они будут отдавать такие приказания, которые не могут быть приведены в исполнение; они будут получать от сделанных распоряжений совсем

не те результаты, которых они добивались и ожидали. Поэтому оказалась очевидная необходимость впустить дух века в королевские советы, и представителями этого духа явились министры, которые, родившись в бедности, проведя молодость среди лишений и упорного труда, имели, по крайней мере, хоть какое-нибудь понятие о темных и грязных закоулках народной жизни. Разумеется, очень немногие министры являлись вполне достойными представителями века; очень немногие прониклись лучшими идеями своего времени и решались защищать во что бы то ни стало действительные потребности своих соотечественников, но, по крайней мере, все они знали до некоторой степени, что́ возможно и что́ невозможно в данную минуту. Даже и эти скромные знания, проникая в область высшей политики, часто спасали Европу от очень тяжелых испытаний.

Деятельность министров естественным образом должна была понизить значение королевской власти, тем более что короли обыкновенно не имели возможности контролировать административную тактику министров с достаточным знанием дела. Вмешательство королей в политику выражалось обыкновенно в той форме, что министр впадал в немилость и получал отставку вследствие какой-нибудь мелкой дворцовой интриги. Известно, например, что Людовик XIV и Людовик XV находились оба под влиянием своих духовников и своих любовниц, которые по своему благоусмотрению тасовали министров и поворачивали в разные стороны внешнюю политику Франции. Поэтому министрам надо было постоянно вести рядом две дипломатические игры, одну — общеевропейскую, другую — версальскую; то есть, кроме великих государственных вопросов, надо было еще постоянно изучать мелкие особенности придворной тактики. Даже такой великий человек, как Ришелье, признавался, что выслеживание и распутывание мелких придворных интриг и сплетен доставляло ему гораздо больше хлопот, чем обдумывание крупных вопросов европейской политики. Понятно, что эти отношения королей к важным государственным делам не могли оставаться тайною для общества. Эти отношения разбирались, обсуживались, осмеивались, и в общем результате получался очевидный ущерб для королевского авторитета.

XXIII

В цветущие времена средневекового порядка постоянные и правильные международные сношения не существовали, а в экстренных случаях естественным посредником между враждующими государствами являлся папа, в лице своих легатов. С XIV века европейское могущество пап стало быстро понижаться, и в то же время постоянные сношения между различными державами стали гораздо более необходимыми, чем прежде, во времена промышленного застоя и умственной неподвижности. Для удовлетворения этой возрастающей потребности появились дипломатические агенты, которые вместе с министрами забрали в свои руки все нити европейской политики. Первым значительным подвигом дипломатов было заключение Вестфальского мира, окончившего собою Тридцатилетнюю войну и окончательно отделившего от папского престола половину Европы. Легко может быть, что Венский конгресс был последним значительным подвигом европейской дипломатии; по крайней мере, с того времени совершилось много таких событий, которые захватывали врасплох всевозможных Талейранов и Меттернихов и расстраивали все тончайшие соображения этих проницательных и дальновидных господ; с того времени сделалось чересчур очевидным то обстоятельство, что ходом событий управляют совсем особенные силы, составляющие для дипломатов вечную загадку, и дипломатия, чтобы не попадаться ежеминутно впросак, соглашается, по-видимому, принять на себя безобидную роль зрителя, дающего официальные названия совершившимся фактам. Но в первые века после Реформации дипломаты спасли Европу от многих страданий, и спасли ее именно тем известным презрением ко всяким принципам, которое составляет самый естественный атрибут истинного дипломата. Противуположные принципы — католицизм и протестантизм, — стараясь победить и уничтожить друг друга, пролили в то время очень много крови, и пролили бы ее еще гораздо больше, если бы международные отношения находились в руках людей, проникнутых глубокими убеждениями. Люди глубоко убежденные в то время были похожи на Филиппа II испанского, объявлявшего торжественно, что он скорее согласится царствовать над пустынею, чем над страною еретиков. Десяток таких лю-

дей, поставленных на высокие места, могли превосходно воспользоваться фанатическими страстями масс и действительно превратить Европу в пустыню.

Так бы оно и случилось, если бы, например, католические державы обратили внимание на протест папы, который после тридцатилетнего кровопролития все-таки отказался подписать Вестфальский мир, позволявший протестантам существовать на белом свете. К счастью для Европы, ее королями были в это тяжелое время люди беспечные и бесхарактерные и политическими делами заправляли министры и дипломаты,— люди, вышедшие из низших классов общества и превосходно выучившиеся в продолжение долгой и трудной служебной карьеры предпочитать мелкие выгоды всевозможным великим идеалам, принципам и убеждениям. Такие люди хорошо понимали, что царствовать над пустынями неудобно, потому что там не с кого будет собирать подати; вследствие таких соображений яростные вопли принципов были оставлены без внимания, и над замиренною Европою воцарилась система мелких компромиссов, ловких сделок и осторожных взаимных надувательств. Эту систему дипломаты называют системою политического равновесия, но ее можно было бы также назвать системою организованного недоверия. Как только какая-нибудь держава так или иначе начинает усиливаться, так все остальные державы должны тотчас усматривать себе в этом усилении косвенную угрозу, вследствие которой следует сообразно с обстоятельствами принимать различные меры, более или менее решительные и энергические. Эта политическая теория очень обременительна для всех европейских государств и не приносит никакой пользы ни одному из них; но надо признаться, что она составляет неизбежный переход от старой феодальной воинственности к счастливым и уже недалеким временам разумного миролюбия и промышленной солидарности. Средневековая воинственность угасла уже давно; в истории трех последних столетий редко можно встретить такие бесцельные войны, какие загорались в средние века исключительно от избытка рыцарской отважности и барской праздности. Крупно-нелепые личности, подобные Карлу XII и Наполеону I, представляют собою одинокие явления, совершенно непохожие на все то, что их окружает. Бескорыстная страсть к войне уже начинала угасать в то время, когда

протестантское движение охватило Европу. Тут война сделалась неизбежною не потому, что людям нравились военные упражнения, а потому, что каждый из противуположных принципов считал войну единственным средством самосохранения. Когда же завязались продолжительные и упорные войны, тогда война очень скоро сделалась самым выгодным и даже единственным выгодным ремеслом, потому что грабить, резать и жечь гораздо приятнее, чем быть ограбленным, зарезанным и сожженным. Война, бывшая сначала средством, для очень многих людей превратилась в самостоятельную цель. Плохо уснувшие инстинкты разрушения и грабежа поднялись снова во всем средневековом величии, и в XVII столетии, во времена Галилея и Кеплера, на историческую сцену выступили такие артисты живодерства, как, например, Тилли, Мансфельд, Папенгейм и в особенности несравненный герцог Фридландский, Валленштейн. Вторая половина того же столетия наполнена войнами Людовика XIV, которому во что бы то ни стало хотелось уничтожить голландскую республику, как вредный притон протестантизма и вольнодумства. Вильгельм Оранский понимал, что победа Франции может наделать всей Европе очень много зла, и поэтому, вступивши в 1688 году на английский престол, он составил против Людовика сильную коалицию, которая сломила его усердие в пропагандировании деспотизма. Война была продолжительная и кровопролитная, но никак нельзя утверждать, что воюющие стороны воевали из любви к искусству. У каждого лагеря были свои принципы, которые никак не могли ужиться между собою в мире и которых борьба далеко не кончена даже в настоящее время. В начале XVIII века испанский престол оказался вакантным; само собою разумеется, что ни один из двух враждебных лагерей не мог без боя уступить другому целое королевство; началась новая война, которая также вовсе не похожа на бесцельные средневековые свалки. Затем между Францией и Англией начинаются войны, имеющие совершенно новый, меркантильный характер,—войны, направленные к тому, чтобы убить торговлю противника и на ее развалинах основать свое собственное торговое могущество. Эти войны вытекали из ошибочных взглядов на торговлю, но уже одна возможность таких ошибок показывает ту преобладающую важность, которую интересы промышленности

упрочили за собою с XVIII века в политике передовых европейских государств. Другие войны XVIII века, например, Семилетняя война и бесплодные усилия Англии подавить американское восстание, составляют естественные последствия той диктатуры, которая может распоряжаться по своему благоусмотрению кровью и деньгами безответного народа.— Вообще история всех войн, предпринятых и веденных в течение трех последних столетий, дает тот выразительный результат, что народные инстинкты постоянно склонялись к миру, диктатура вызывала войну, а министры вместе с дипломатами, подобно всяким метафизикам, старались лавировать и балансировать между двумя непримиримыми и несогласимыми крайностями.

XXIV

Задолго до Реформации в Европе уже были такие люди, умственные требования которых не могли удовлетвориться протестантским движением. Уже в XIII веке философия Аверроэса находила себе ревностных почитателей в Италии и во Франции; за эту философию пошли на костер в начале XIV столетия некоторые чересчур смелые парижские метафизики; об этой философии достаточно будет заметить, что Аверроэс или, правильнее, Ибн-Рошд, будучи сам мусульманином, открыто смеялся над Магометом, презирал Коран и относился с самым крайним недоверием ко всему фантастическому. Эти тенденции, переложенные на европейские нравы, привились довольно прочно там, где, по-видимому, им всего менее следовало бы находиться,— именно, в высших слоях итальянского духовенства. Достоверно известно, что папы и кардиналы XV века сами считали себя очень искусными актерами и от души удивлялись несокрушимому легковерию своей громадной публики. Папам и кардиналам было, разумеется, неудобно популяризировать те идеи, которыми они сами были проникнуты; но в то же время им невозможно было играть роль с утра до вечера, и притом каждый день, в течение многих лет; необходимо было по временам снимать тяжелую маску, бросать друг на друга откровенно насмешливые взгляды и при затворенных дверях наслаждаться такою умственною пищею, которая соответ-

ствовала их настоящим понятиям и наклонностям. Поэтому, строго запрещая распространение такой пищи в обширных кругах обыкновенных потребителей, папы и кардиналы поощряли ее изготовление и держали при себе, в виде придворной забавы, таких мыслителей и поэтов, которых по-настоящему, во имя всех неприкосновенных истин, следовало бы зажарить самым тщательным образом. Правда, что эти мыслители и поэты понимали свое положение и не обнаруживали никаких нескромных наклонностей к распространению своих идей. Они относились к непросвещенной массе с самым величественным презрением, а на собственные идеи они смотрели, как на свое личное сокровище и утешение; им никак не приходило в голову, что между этими идеями и умами массы может произойти химическое соединение, способное развить из себя самые удивительные и неожиданные последствия. Они не добивались этого химического соединения, но, любя свои идеи, они, разумеется, делились ими с тесным кружком друзей и учеников.

Таким образом, непозволительные тенденции жили тихо и незаметно до тех пор, пока не отыскалась для них удобная форма, в которой они смело могли выступить на свет. Такой формою оказалась страсть к изучению классической древности. Эта страсть в XV веке охватила Италию и затем всю Европу. Изучать литературу греков и римлян — тут, очевидно, не было ничего предосудительного; в страсти к классическим литературам можно было признаваться открыто; поэтов и мыслителей древности можно было читать с восхищением и комментировать с восторгом перед целыми сотнями любознательных учеников. О древности можно было говорить свободно; тут можно было, с одной стороны, давать полную волю собственной критике и, с другой стороны, публично преклоняться перед тою свободою мысли и широтою взгляда, которые характеризуют лучших представителей древней философии; кроме того, тут можно было, под видом восхищения литературными красотами, заявлять свое пламенное и безграничное сочувствие идеям и явлениям, диаметрально противуположным и враждебным всему тому, чему приказано было безусловно сочувствовать. Даже в совершенно невинном благоговении к чистоте и изяществу цицероновского языка можно было скрыть тонкий и тем более язвительный намек на грубость и безоб-

разие той варварской латыни, на которой были написаны грозные буллы величайших пап и ужасные фолианты Фомы Аквинского, Дунса Скотта и всех других светил католической теологии. Вообще можно сказать, что ревностное изучение классических литератур значительно увеличило во всей Европе число насмешливых взглядов и лукавых улыбок. Особенно важно было то обстоятельство, что открылась возможность постоянно увеличивать это число, не подвергаясь ни малейшей опасности и не нарушая никаких правил субординации и благочестия.

Реформация застала Германию в полном разгаре классических увлечений. Знаменитейшие из тогдашних гуманистов, в особенности Эразм Роттердамский, отнеслись к протестантскому движению с самым глубоким равнодушием. По их мнению, не стоило ссориться с Римом и поднимать шум на всю Европу, чтобы ограничиться теми мелочами, на которых остановился Лютер. Эразм остался верен католицизму, так точно, как он остался бы верен буддизму, если бы буддизм позволял ему жить спокойно и размышлять в теплом кабинете о различных проявлениях человеческой глупости. Эразм и подобные ему книжники нисколько не желали и не считали возможным обращать массу на путь истины. Вечное раздвоение между массою и мыслителями казалось им неизбежным. Осуждать их за это не следует. Они сделали свое дело именно в качестве книжников и гордых аристократов умственного мира. Прежде чем популяризировать философскую доктрину систематического отрицания, надо было выработать ее. А чтобы выработать ее, надо было предварительно устроить такую лабораторию, в которой можно было бы работать с полною безопасностью. Кроме того, надо было сформировать таких людей, которые могли и желали бы заняться этою серьезною и суровою работою. Надо было унести и спрятать свободную мысль в самые тихие убежища книжной науки, — в такие места, в которые бы не заглядывала тупая ненависть беснующихся сектаторов, подобных Кальвину. Надо было в глубокой тишине передавать немногим избранным любовь к свободному анализу, для того чтобы эта любовь сохранилась во всей своей чистоте до тех более счастливых времен, когда прекратятся крики и драки фанатиков и когда свободному мыслителю можно будет произнести во всеуслышание свое глубоко обдуманное слово.

Хотя протестантское движение возбудило на несколько десятилетий такие страсти, которые совершенно враждебны свободному исследованию, однако же, по всей вероятности, практические успехи Лютера, Кальвина и других сектаторов заронили в умы кабинетных мыслителей ту смутную и робкую надежду, что когда-нибудь настанет и для их любимых идей время практических успехов. Если масса убеждается доводами Лютера и отказывается от папы, то, со временем, она может убедиться доводами другого мыслителя и отказаться от Лютера. Если масса могла пойти за Лютером, то, стало быть, она не осуждена на вечную умственную неподвижность, и, стало быть, мыслитель может искоренять самые застарелые ее заблуждения, если только сумеет спускаться до уровня ее понимания. Кроме того, протестантская полемика в первый раз показала кабинетным мыслителям, что такое книгопечатание и чем оно может сделаться в руках сообразительного и предприимчивого человека. Узнавши таким образом впечатлительность массы и силу книгопечатания, кабинетные мыслители, далеко опередившие протестантов смелостью и последовательностью своих идей, непременно должны были, рано или поздно, выйти из своих тихих убежищ в открытое житейское море.

Продолжительные бедствия религиозных войн, последовавших за протестантским движением, нанесли жестокий удар тому самому усердию, которое побуждало пылких людей браться за оружие. В практической жизни прямой опыт действует неотразимо на самых необузданных супранатуралистов. Когда оказалось бессильным даже такое героическое лекарство, как Варфоломеевская ночь, тогда враждебным[83] сектам поневоле пришлось сознаться в том, что все они одинаково дорожат своими идеями и что ни одной из них не удается ни переубедить, ни истребить всех своих противников. За разгаром воинственных страстей последовало общее утомление и желание мира во что бы то ни стало. Фанатизм под конец XVI века сменился во Франции таким замечательным равнодушием, что образовалась целая могущественная партия так называемых *политиков* или религиозных примирителей, смотревших на догматические вопросы с чисто государственной точки зрения. «Многим,— писал Дюплесси Морне в начале XVII века,— теперь надо сперва сказать, что есть религия, прежде чем сказать — какая». Двумя самыми яр-

кими воплощениями этого индифферентизма являются два величайшие правителя старой Франции, Генрих IV и кардинал Ришелье. Пользуясь таким удобным положением дел, свободный анализ в первый раз выступил открыто перед французским обществом. В 1588 году Монтень издал свои «Essais»,[84] в которых очень мягко и вежливо выражаются совершенно скептические отношения к самым почтенным идеям католичества. «Действительно,— говорит он, например,— у нас нет другого мерила истинному и разумному, кроме примера и понятия о мнениях и обычаях страны, где мы живем: вот совершенная религия, совершенное благоустройство, совершенное и удовлетворительное пользование всем». В 1601 году появилась книга Шаррона: «De la sagesse»[85] Об этой книге Бокль сообщает нам следующие подробности: «Шаррон припоминает своим соотечественникам, что их религия зависит от случайных условий их рождения и воспитания и что, если бы они родились в магометанской земле, они были бы такими же ревностными магометанами, как теперь христианами. Этими соображениями он доказывает всю нелепость соболезнований о различии религий, так как это различие есть результат обстоятельств, не зависящих от людей. Следует также заметить, что каждая из этих различных религий объявляет себя единственно истинною и все они основаны на сверхъестественных притязаниях, как-то: тайнах, чудесах, пророчествах и т. п. Люди, именно потому, что забыли все это, сделались рабами своего собственного легковерия, которое составляет главнейшее препятствие всякому истинному знанию и которое можно устранить только принятием широкой и общей точки зрения, которая показала бы нам, как все народы равно упорно держатся за понятия, в которых воспитаны. Если мы взглянем несколько глубже,— говорит Шаррон,— то увидим, что каждая из великих религий основана на той, которая ей предшествует. Таким образом, религия евреев основана на египетской; христианство есть результат иудейства, а из двух последних естественно происходит ислам. Вот почему,— присовокупляет автор,— мы должны возвыситься над притязаниями враждебных сект и, не пугаясь будущих наказаний, не увлекаясь надеждой на будущее блаженство, довольствоваться практическою религиею, состоящею в исполнении обязанностей жизни, и, не стесняемые догматами какого-нибудь

отдельного верования, стремиться к тому, чтобы душа вошла сама в себя и, усилием самосозерцания, восторгалась несказанным величием существа из существ, высшей причины всего творения»*

Размышления Шаррона до такой степени понравились французам, что книга его в шесть лет выдержала три издания. Из этого обстоятельства мы уже видим ясно, что та почва, на которой впоследствии пришлось действовать Вольтеру, начала подготовляться очень рано. Подготовление продолжалось, теми или другими путями, в течение всего XVII столетия. В 1637 году Декарт издал свой «Discours de la Méthode»[86], написанный таким увлекательным языком, который до сих пор считается образцом ясности, изящества и живости. В этом сочинении мыслитель прямо и совершенно сознательно обращается к обществу, минуя тех патентованных философов, по мнению которых вся истина замурована на вечные времена в старых фолиантах. «Если,— говорит Декарт,— я пишу по-французски, на языке моих соотечественников, а не по-латыни, не на языке моих учителей, то это делается потому, что я надеюсь, что те люди, которые руководствуются своим естественным и неиспорченным разумом, оценят лучше мои мнения, чем те люди, которые верят исключительно старым книгам».— В таких словах уже слышатся ноты вольтеровского свиста; общество признается верховным судьею, здравый смысл становится выше авторитетов.— В области мысли Декарт не только является самым неутомимым разрушителем, но он даже с крайнею догматическою резкостью возводит разрушение старых идей в основной принцип, без которого мыслителю не позволяется сделать ни одного шагу на пути исследования и умозрения. «Когда я,— говорит он в том же «Discours», предназначенном для всей массы мыслящих читателей,— приступил к изысканию истины, я нашел, что лучшее средство для этого — отбросить все, что я прежде получил, и отказаться от моих старых мнений, с тем, чтобы положить им новое основание; я думал, что таким образом легче выполню великую задачу жизни, чем если бы держался старых начал, которые я принял в молодости, не рассматривая, действительно ли они верны».— *Отбросить все, что я прежде получил!* При этом нет никаких огра-

* Русский перевод. Бокль. Т. I. Стр. 391, 392.

ничительных оговорок! И это высказывается самым ясным и увлекательным французским языком! Не чувствуете ли вы, мой читатель, что мороз подирает вас по коже? Я положительно это чувствую.

В продолжение всего XVII века Голландия была постоянным безопасным убежищем свободных мыслителей. Германию опустошала в это время тридцатилетняя война; в Англии свободную мысль преследовали сначала Стюарты вместе с епископальной церковью, а потом — пуритане; во Франции, даже до вступления на престол Людовика XIV, свободные мыслители никак не могли считать себя безопасными, потому что кардинал Ришелье, не дававший духовенству ни малейшего влияния на важные государственные дела, вовсе не был расположен ссориться с клерикалами из-за того, чтобы спасти от наказания какого-нибудь одного попавшегося вольнодумца. Когда же началось правление Людовика XIV, тогда свободная мысль совершенно замерла во Франции с лишком на пятьдесят лет. Но в это самое время она снова с небывалою силою пробудилась в Англии, где Карл II начал решительно поощрять самые смелые отрицательные доктрины. «Самым опасным врагом духовенства,— говорит Бокль,— в XVII веке был, конечно, Гоббес, тончайший диалектик эпохи, писатель, отличающийся необыкновенною ясностью и между английскими метафизиками уступающий только Беркли. Этот глубокий мыслитель издал несколько сочинений, неблагоприятных церкви и прямо противоположных началам, которые существенно необходимы для власти духовенства. Духовенство, как и следовало ожидать, ненавидело его; его учение было объявлено в высшей степени опасным, и он был обвинен в желании ниспровергнуть народную религию и испортить народную нравственность. Это зашло так далеко, что каждого, кто осмеливался думать самостоятельно, клеймили именем гоббиста, или, как иногда выражались, гоббианца. Такая открытая вражда духовенства была достаточною рекомендациею перед Карлом. Король еще до своего вступления на престол принял многие из начал Гоббеса и после восстановления оказывал ему почтение, которое возмущало некоторых. Он защищал его от врагов, даже не без некоторой аффектации повесил портрет его в своей комнате в Вайтголле и назначил пенсию этому страшнейшему из всех дотоле

появлявшихся врагов церковной иерархии» (т. 1, стр. 289, 290).

Здесь особенно выразителен тот факт, что во второй половине XVII века вольнодумцы уже имели в Англии свою коллективную кличку, вполне соответствующую слову *вольтерьянец,* возникшему в следующем столетии. Огюст Конт относится к Гоббсу с большим уважением, называет его l'illustre Hobbes[87], горячо защищает его память против обвинений в раболепстве перед светскою властью, говорит, что это клевета, взведенная на великого мыслителя английскими аристократами и клерикалами, и наконец провозглашает Гоббса настоящим отцом отрицательной философии. Бо́льшая часть сочинений Гоббса была написана и напечатана в Голландии, где Гоббс жил во все время протектората Кромвеля. После Гоббса работали в том же направлении в той же гостеприимной стране Бенедикт Спиноза и Пьер Бэль (Bayle).

Когда кончилась их деятельность, тогда отрицательная доктрина оказалась окончательно выработанною во всех своих основных чертах. Преемникам этих людей оставалось только разменять на мелкую монету и пустить в общее обращение всю груду их антикатолических идей. За эту работу принялись с необыкновенным рвением и с изумительным искусством талантливые французские писатели XVIII века, во главе которых стоял Вольтер. Задача этих писателей состояла совсем не в том, чтобы открывать миру новые истины, а в том, чтобы сделать уже добытые истины неотъемлемым достоянием каждого читающего человека. Если бы все истины были открыты, если бы все заблуждения были опровергнуты, то весь мир все-таки оставался бы в самой глубокой тьме невежества и суеверия до тех пор, пока великие открытия и опровержения лежали бы тихо и смирно в больших и мудреных книгах, непонятных и незанимательных для простых смертных. Чтобы придать открытиям и опровержениям полную и широкую практическую влиятельность, чтобы извлечь из них силу, разгоняющую позорный и вредный сон человеческого ума, чтобы оплодотворить ими жизнь целых великих народов,— надо было в течение нескольких десятилетий постоянно придумывать для этих открытий и опровержений новые формы, разнообразные, легкие, грациозные, смешные, пестрые, яркие, блестящие, какие угодно, но только непременно такие, которые бро-

сались бы в глаза, дразнили любопытство, врезывались в память и незаметно овладевали бы всем существом очарованного читателя. И все это было исполнено. И мир узнал в первый раз, что такое литература и что могут сделать с целым веком великие мастера словесного дела,— мастера, которых нельзя назвать ни поэтами, ни учеными, ни философами. Писателей XVIII века называют, правда, философами, и они сами очень любили украшать себя этим именем, но на самом деле они нисколько не философы, а просто умные и талантливые литераторы, превосходно понявшие или угадавшие потребности своего времени. Какой же, например, философ сам Вольтер? В чем состоит его философская система? Если бы кто-нибудь задал ему этот вопрос, он, наверное, отделался бы от этого вопроса какою-нибудь шуткою и оказался бы совершенно правым, потому что его задача состояла совсем не в том, чтобы сооружать системы, а в том, чтобы с утра до вечера, в течение пятидесяти лет, вести убийственную партизанскую войну против всех средневековых заблуждений и несправедливостей. Но философом его все-таки называть не годится. Вольтер до конца своей жизни оставался деистом, но многие из его сподвижников пошли дальше и дошли наконец до nec plus ultra.

Я предоставляю Боклю нарисовать нам печальную картину их гибельных заблуждений. «Между писателями низшего разряда,— говорит Бокль,— Дамилавилль, Делейр, Марешаль, Нежон, Туссен были ревностными распространителями холодного и мрачного учения, которое, чтобы погасить надежду на будущую жизнь, изгоняет из души человеческой возвышенное чувство ее бессмертия, и — странно сказать! — даже некоторые из величайших умов не могли ускользнуть от этой заразы. Атеизм открыто защищался Кондорсе, Д'Аламбером, Дидро, Гельвецием, Лаландом, Лапласом, Мирабо и Сен-Ламбером. Действительно, все это так полно согласовалось с общим настроением, что в обществе люди хвастались тем, что в другой стране и в другое время было бы редким и исключительным заблуждением, эксцентрическим мнением, которое зараженные им старались бы скрывать. В 1764 году Юм встретил в доме барона Гольбаха общество знаменитейших французов, живших тогда в Париже. Великий шотландец, знавший общее настроение, воспользовался случаем представить доводы против возможности

существования атеиста в настоящем смысле этого слова. Что касалось до него, он никогда не встречал атеиста. «Вы были довольно несчастливы, сказал Гольбах, но в настоящее время вы видите их здесь за столом семнадцать» (т. 1, стр. 645). Надо полагать, что, услышав эти ужасные слова, *великий шотландец* поспешно зажал свои великие уши и тоскливо повесил свой великий нос.

Когда отрицательные доктрины произвели полный переворот в мире идей, тогда образовалась, под предводительством Руссо, политическая школа, которая прямо напала на существующие учреждения во имя того воображаемого совершенства и блаженства, которыми пользовался человек, находясь в естественном состоянии. «Revenons à la nature!»[88] было постоянным боевым криком этой школы, которая знала натуру очень плохо, но которая зато метко попадала в слабую и гнилую сторону общества, дошедшего действительно до последних пределов нелепой, безобразной и болезненной искусственности. Вместе с школою Руссо на существующие учреждения стали нападать, с другой стороны, менее страстным, но более рассудительным образом солидные и серьезные экономисты, которые доказали с полным успехом, что правительство своим произвольным вмешательством[89] жестоко тормозит народную промышленность и само себя разоряет своими собственными усилиями. Около этого же времени образовался раскол в среде юристов; нашлось множество смелых судей и адвокатов, которые вслед за маркизом Беккариа стали жестоко нападать на варварство средневековых казней, на безобразие пытки, на несправедливость и неразумность всего уголовного судопроизводства. Старое общественное здание, очевидно, не могло устоять против всех этих горячих нападений, которым сочувствовали в значительной степени сами официальные хранители традиций и существующих учреждений.

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН

I

В статье «Времена метафизической аргументации»[1] было брошено несколько отрывочных замечаний о французской литературе XVIII века. Чтобы выяснить и дополнить эти замечания, я постараюсь теперь определить общий характер того великого умственного движения, которое положило конец средневековому порядку вещей.

Во время продолжительного царствования Людовика XIV французы совершенно разучились сопротивляться королевской власти; волнения Фронды были забыты; дворянство служило при дворе и танцевало менуэты; парламенту было объяснено раз навсегда, что Людовик XIV не король, а государство[2]; галликанская церковь[3], в лице своего величайшего светила, Боссюэ, провозглашала торжественно, что пассивное повиновение королю, наперекор всему и всем, наперекор папе, наперекор здравому смыслу и совести, составляет самую священную обязанность настоящего христианина. Людовик XIV в продолжение пятидесяти лет с лишком делал все, что ему было угодно. Хотел тратить миллионы на постройку версальских дворцов — и тратил; хотел вести бестолковые войны — и вел; хотел опустошать в своем собственном королевстве целые области, населенные мирными и трудолюбивыми протестантами,— и опустошал. Словом, запрету не было ни в чем, и удовольствия получались самые разнообразные. Дело короля состояло в том, чтобы выдумывать затеи и требовать денег; это значило, что король заботится о своей славе, поощряет промышленность и кормит бедняков, доставляя им возможность строить фонтанчики и павильончики, плести кружева, делать огромные парики и вышивать золотом атласные жилеты и бархатные кафтаны.

Счастливая Франция, осыпаемая в продолжение многих десятков лет такими истинно королевскими благодеяниями, преуспела до того, что дальше преуспевать было уже невозможно. Дальше оставалась одна только голодная смерть. Те люди, на которых лежала обязанность представлять королю деньги по первому востребованию, видели, что с каждым годом собирание доходов становится более затруднительным и что этому горю не помогают никакие военные экзекуции. Эти люди занимали сами очень теплые места, и поэтому они вовсе не были расположены ни к вольнодумству, ни к сентиментальности; но и этим людям нельзя было не заметить, что все государственное хозяйство идет из рук вон дурно и что рабочие силы нации находятся при последнем издыхании. Министры, интенданты[4], епископы, генеральные откупщики[5] — все чувствовали более или менее смутно, что *так* нельзя продолжать. Бедность была так широко распространена, что она мозолила глаза всем, кроме короля, который ограждался от непристойных зрелищ постоянными стараниями раззолоченной и улыбающейся придворной толпы. Когда какая-нибудь печальная истина упорно выглядывает на свет из каждой прорехи существующего порядка, когда эту истину нельзя замазать никакою штукатуркою, ни официальными софизмами, ни бюрократическими паллиативами, ни величественным игнорированием, ни внушительною строгостью, тогда, рано или поздно, эта истина высказывается во всеуслышание и овладевает всеми умами. Чтобы высказать то, что ощущается всеми, не надо обладать особенною гениальностью; но чтобы заговорить о таком предмете, о котором все думают и о котором никто не смеет произнести ни одного слова, надо отличаться от других недюжинною любовью к истине или к тем интересам, которые страдают от общего молчания.

При Людовике XIV общеобязательное молчание было нарушено тремя тихими и почтительными голосами. О несовершенствах господствующей системы заговорили архиепископ Фенелон, маршал Франции Вобан и чиновник руанского суда Буагильбер. Всем троим демократические тенденции были совершенно не по чину, да и не по темпераменту. Все трое хлопотали не о каких-нибудь размашистых теориях, а только о том, чтобы у народа не сов-

сем были отняты средства питаться, плодиться, работать и платить подати. Самым дерзновенным сочинением Фенелона были «Приключения Телемака». Но это сочинение, уносящее читателя в Грецию и в глубокую древность, казалось столь дерзновенным самому автору, что он вовсе не считал возможным выпускать его в свет. Книга эта была напечатана без ведома автора, который написал ее исключительно для своего воспитанника, герцога Бургонского, внука Людовика XIV Печатание этой книги было остановлено парижскою полициею и оказалось возможным только в голландском городе Гаге. Ядовитость этой ужасной книги состоит в том, что она воспевает добродетели и мудрость таких благодетельных монархов, которые не ведут разорительных войн и не забавляются великолепными постройками, а развивают земледелие, поощряют торговлю и водворяют в народе патриархальную простоту нравов. Злостность этого памфлета была так очевидна, что Людовик XIV отнял у Фенелона место воспитателя и запретил ему, как обличителю и критикану, являться ко двору. Другой, конечно, за такое неистовство просидел бы лет двадцать в Бастилии, но Фенелону, при всей его преступности, многое можно было простить за его архиепископское достоинство. Чрез три года после истории о Телемаке герцогу бургонскому пришлось проезжать через город Камбре, в котором находилась епископская резиденция Фенелона. Король был так великодушен, что позволил герцогу повидаться с преступным обличителем войн и построек; но так как герцог был очень молод, а Фенелон очень лукав и опасен, то им строго запрещено было оставаться вместе без свидетелей. Таким образом разрушительная ярость Фенелона была обуздана.

Другим разрушителем оказался на старости лет знаменитый инженер Вобан. Основавши на своем веку тридцать три новые крепости и перестроивши триста старых крепостей, Вобан должен был не только изъездить всю Францию вдоль и поперек, но еще, кроме того, жить, более или менее долго, в различных местностях своего отечества. Он внимательно всматривался во все, что его окружало, везде находил бедность и злоупотребления, везде подмечал одни и те же причины народных страданий и, наконец, решился изложить результаты своих наблюде-

ний в политико-экономическом трактате под заглавием: «Projet d'une dîme royale» («Проект королевской десятины»). В этой книге он старался доказать, что основная причина народных бедствий заключается в неравномерном распределении налогов, то есть в том, что чернь и бедняки платят бесконечно много, а богатые и знатные люди — духовенство, дворянство и чиновничество — избавлены от всяких денежных и натуральных повинностей. Эту книгу, в которой привилегированные тунеядцы были названы *порождением ехидны,* старый маршал представил самому королю, с тем трогательным и смелым простодушием, которым отличаются только малолетние ребята и гениальные люди. Вобан, конечно, судил короля по самому себе; и, разумеется, он оказывал Людовику XIV слишком много чести. Книгу Вобана запретили, конфисковали и уничтожили. Старик не вынес этого удара и умер чрез одиннадцать дней после уничтожения книги. Умер он, конечно, не от того, что на него прогневался повелитель Франции, не от того, что этот гнев мог преградить ему дорогу к дальнейшему повышению или даже отнять у него те преимущества, которыми он пользовался. Вобана сразило то, что он принужден был в одну минуту жестоко разочароваться. Верования всей его жизни погибли перед его глазами. Он был уверен, что король не знает и что *порождения ехидны* отводят ему глаза от народных страданий. И вдруг оказалось, что король не хочет знать и что все *порождения ехидны* пользуются его сознательным покровительством. Во что же превращались при таких условиях все труды и все подвиги честного патриота и храброго солдата Вобана? Какой смысл получали его триста тридцать три крепости, сто сорок сражений и пятьдесят три осады? Он думал прежде, что он сражался за свое отечество. Теперь оказывалось, что своими победами он усилил и возвеличил самых опасных врагов и самых ненасытных грабителей Франции. Сделавши такое открытие, молодой человек круто повернул бы в противоположную сторону все свои мысли и всю свою жизнь. Но такому старику, как Вобан, оставалось только назвать себя старым дураком и умереть, проклиная день и час своего рождения.

Буагильбер в книге своей «Détail de la France sous le règne de Louis XIV» («Подробное описание Франции

в царствование Людовика XIV») доказывал, подобно Вобану, что для спасения и благосостояния государства необходимо равномерное распределение податей. Финансовое искусство, по еретическим мнениям Буагильбера, должно было состоять не в выжимании денег всеми правдами и неправдами, а в разумном возвышении производительных сил нации. За эти дерзкие умствования Буагильбер потерял свое место, но так как у него была при дворе сильная протекция, то его скоро простили и снова определили к прежней должности.

Таким образом королевская власть, в лице Людовика XIV, получила свое первое предостережение с лишком за восемьдесят лет до начала революции. Раскаяться и исправиться было еще очень возможно. В продолжение всей первой половины XVIII века политические стремления самых смелых французских мыслителей были чрезвычайно умеренны. Просвещенный и заботливый деспотизм, обуздывающий ярость клерикалов и расходующий разумным образом государственные доходы,— составлял венец их желаний. Если бы преемники Людовика XIV были похожи на Петра I или на Фридриха II прусского, если бы они понимали необходимость радикальных преобразований, то вся литература оказалась бы их усердною союзницею. Руссо стал бы воспевать высокие совершенства феодальной системы, французский народ продолжал бы гордиться своими верноподданническими чувствами, и революция сделалась бы ненужною и невозможною. Но Филипп Орлеанский и Людовик XV хотели наслаждаться жизнью и не умели возвыситься до каких бы то ни было твердых и определенных политических убеждений. Их ребяческие капризы, их скандальная бездарность, их самодовольная фривольность доказали, наконец, французам, что возлагать все упование на добродетели и таланты отдельной личности — дело очень рискованное и неблагоразумное. Людовик XIV, Филипп Орлеанский и Людовик XV оказались, таким образом, самыми замечательными популяризаторами отрицательных доктрин, такими популяризаторами, без содействия которых ни Вольтер, ни Монтескье, ни Дидро, ни Руссо не нашли бы себе читателей и даже не вздумали бы приняться за свою критическую деятельность. Популяризаторская работа Людовика XIV оказалась до такой степени успешною, что народ

обезумел от радости, узнавши о его смерти. Конечно, никто, кроме самого Людовика XIV, не мог насадить и воспитать такие нежные чувства в сердцах французского народа, гордившегося своею пламенною привязанностью к династии Бурбонов. А без этого основного фундамента, заложенного самим Людовиком XIV, развитие и распространение отрицательных доктрин было бы невозможно. Смелые и проницательные мыслители могли бы, правда, понимать нелогичности и неточности господствующего миросозерцания; они могли бы замечать неразумность установившихся междучеловеческих отношений; но они постоянно чувствовали бы свое одиночество и вряд ли даже решились бы делиться с массою своими непочтительными размышлениями. Масса не стала бы их слушать. Масса заставила бы их молчать, потому что масса очень охотно мирится со всякими несообразностями, если только она к ним привыкла и если они не причиняют ей чересчур невыносимой боли. Но так как французские Людовики и Филиппы позаботились о том, чтобы эта боль сделалась действительно невыносимою, то размышление, анализ и отрицание оказались настоятельною потребностью для самых обыкновенных умов, и масса, вынужденная своими правителями, направилась поневоле к древу познания добра и зла.

II

Открытие Америки, кругосветное плавание Магеллана и астрономические исследования Коперника, Кеплера и Галилея показали ясно всем знающим и мыслящим людям, что мироздание устроено совсем не по тому плану, который рисовали в продолжение многих столетий папы, кардиналы, епископы и доктора всех высших схоластических наук. Разрыв между свободною мыслью исследователей и вековыми традициями католицизма и протестантизма был очевиден, но очевиден только для тех немногих людей, которые серьезно посвящали себя научным занятиям. Массе до этого разрыва не было никакого дела, и она продолжала подчиняться традициям, которых несостоятельность была доказана с математическою точностью. Увлечь массу вслед за передовыми мыслителями могла только невыносимая боль, причиненная ей ее любезными

традициями. Такая боль действительно явилась к услугам массы в виде тех преследований, которым остроумный король Людовик XIV вздумал подвергнуть протестантов в конце XVII века. Все мы, конечно, слышали слово *драгоннады,* и все мы знаем, что этим словом обозначаются какие-то скверные штуки, которые проделывались французскими драгунами над французскими протестантами[6] Но далеко не все мы знаем, до каких пределов простиралась скверность этих штук. Представьте себе, что на мирных и беззащитных граждан напускали солдат, которым было дано право забавляться над ними как угодно, лишь бы только эти граждане не умирали на месте от солдатских увеселений; представьте себе далее, что тогдашние солдаты, получивши такие завидные права, обнаружили остроумие и тонкую изобретательность краснокожих индейцев, захвативших в плен злейшего и опаснейшго врага. Что они насиловали жен и дочерей протестантов в присутствии родителей и мужей,— это уже само собою разумеется и составляет только добродушно-комическую прелюдию их веселых шалостей. Настоящие же шалости были более серьезного характера: солдаты втыкали в упорных еретиков булавки с ног до головы, резали их перочинными ножами, рвали носы раскаленными щипцами, вырывали ногти на пальцах рук и ног, лили в рот кипяток, ставили ноги на растопленное сало, которое постепенно доводилось до кипения. «Одного из протестантов,— говорит Бокль,— по имени Рио, они крепко связали, сжали пальцы на руках, воткнули булавки под ногти, жгли порох в ушах, проткнули во многих местах ляжки и налили уксусу и насыпали соли в раны» (т. 1, стр. 510)[7] В это же самое время такие же точно эпизоды разыгрывались по приказанию Иакова II в Шотландии над тамошними пресвитерианцами[8]. Такие вещи, совершающиеся не в глухом застенке, не по приговору судьи, не по правилам уголовной практики, а на улицах или в частных домах, по свободному вдохновению пьяных солдат,— могли бы произвести очень неприятное впечатление даже на такую страну, которая была бы сплошь заселена фанатическими и совершенно невежественными католиками. Но Франция Людовика XIV уже гордилась своею блестящею литературою, своим высокоразвитым искусством, своими утонченными и отполированными манера-

ми. Эта Франция была уже достаточно вылечена от средневекового фанатизма страданиями междоусобных войн и ужасами Варфоломеевской ночи. Отменение Нантского эдикта[9] и драгоннады не могли быть особенно приятны даже и для католического населения страны. Протестанты были народ трудолюбивый, промышленный, торговый и зажиточный; у них было много деловых сношений и связей со всем промышленным и торговым миром Франции; все эти связи должны были вдруг оборваться; при этом, конечно, многим католическим купцам и фабрикантам пришлось ухватиться за карман и усомниться в излишнем усердии великого короля. Во всей торговле должно было произойти такое замешательство, которое, вероятно, доказало многим искренним католикам, что фанатические преследования ведут за собою чувствительные неудобства.

Вслед за отменением Нантского эдикта полмиллиона протестантов выселились из Франции. Они бежали в Голландию, в Швейцарию, в Пруссию, в Англию и даже в Северную Америку. Можно себе представить, какое потрясающее впечатление должны были производить на всех ближайших соседей Франции эти длинные вереницы переселенцев, из которых многие были истомлены нуждою и голодом и из которых каждый сообщал какие-нибудь новые подробности о разыгравшихся сценах угнетения, грабежа, насилия и мучительства. В том поколении, которое видело этих измученных беглецов, еще были живы страшные предания о насилиях и опустошениях Тридцатилетней войны; сближая эти свежие предания с теми картинами, которые развертывались теперь перед его глазами, всякий лавочник, всякий ремесленник, всякий простой мужик мог думать, что подвигается новая Тридцатилетняя война католиков с протестантами. Такой войны не мог желать ни один здравомыслящий человек, тем более что следы этой войны были еще слишком заметны на всем пространстве германской территории. Но, глядя на французских изгнанников, каждый неглупый человек легко мог сообразить, что война, подобная Тридцатилетней, будет постоянно, как дамоклов меч, висеть над Европой до тех пор, пока протестанты и католики не перестанут ненавидеть и преследовать друг друга. Когда масса была наведена на подобные мысли живыми и яркими впечат-

лениями действительной жизни, тогда проповедь всеобщей терпимости становилась в высшей степени уместною, и давнишняя борьба передовых мыслителей против фанатизма получала возможность увенчаться самым блистательным успехом. Мыслители, опираясь на общеизвестные факты, могли сказать массе громко и торжественно, что ее страданиям и преступлениям не будет конца до тех пор, пока не уничтожится в ее коллективном уме то основное заблуждение, из которого развиваются фанатический энтузиазм и фанатическая ненависть. При всей своей ребяческой нежности к основному заблуждению, несогласному с дознанными законами природы, масса все-таки была расположена терпеливо слушать серьезные поучения мыслителей, потому что воспоминания о Тридцатилетней войне и бледные лица французских беглецов поневоле наводили массу на непривычные для нее размышления. Католические и протестантские клерикалы, со своей стороны, старались по мере сил помогать мыслящим проповедникам терпимости разными мелкими гадостями и прижимками, которые каждый день напоминали понемногу массе о крупных страданиях и преступлениях, вытекающих, вместе с фанатизмом, из основного заблуждения.

Драгоннады одобрялись безусловно самыми блестящими представителями галликанской церкви.

L'illustre Bossuet[10] был ревностным и красноречивым панегиристом этих энергических распоряжений. Либерал и филантроп Фенелон, часто критиковавший действия правительства в письмах к влиятельным лицам, во всю свою жизнь не сказал ни одного слова против преследования протестантов. Подобные факты постоянно вели общество к тому убеждению, что клерикалы давно и навсегда разучились служить делу любви и милосердия и что их одряхлевшая корпорация с каждым годом становится более вредною для общественного развития. На этом убеждении рассуждающая масса начала сходиться с передовыми умами. Мыслители заметили признаки такого зарождающегося взаимного понимания и, пользуясь благоприятными условиями времени, заговорили против суеверия и фанатизма таким смелым и вразумительным языком, какого никогда еще не слыхала Европа.

В то самое время, когда Людовик XIV безобразничал и неистовствовал во Франции, один из его верноподданных, протестант Пьер Бэйль, издавал в Голландии журналы, книги и брошюры, в которых общепонятным, живым и увлекательным французским языком провозглашалась полная автономия разума и доказывалась совершенная непримиримость его требований с духом и буквою традиционных доктрин. Живя в свободной стране, Бэйль все-таки не мог высказываться вполне откровенно. Его убеждения испугали и оттолкнули бы его современников. Эти убеждения пришлись не по вкусу даже Вольтеру. Поэтому Бэйль, не вдаваясь в догматическое изложение своих собственных идей, ограничивался постоянно вежливою, осторожною, но очень остроумною и язвительною критикою тех понятий, во имя которых сооружались костры и опустошались цветущие области. Тон Бэйля отличался обыкновенно почтительностью и смирением, но в этой смиренной почтительности слышится для каждого мыслящего читателя бездонная глубина сомнения и отрицания. Бэйль высказывал не все, что думал; но даже и то, что он высказывал, бывало иногда изумительно смело. Так, например, уже в 1682 году он утверждал печатно, что неверие лучше суеверия; поэтому он требовал от государства неограниченной терпимости даже и для крайних еретиков. Это требование повторялось не раз в его брошюрах, написанных по поводу преследования французских протестантов. Далее, тот же неустрашимый мыслитель задавал себе и обсуживал с разных сторон вопрос: может ли существовать государство, составленное из атеистов? На этот вопрос Бэйль не дает прямого ответа, но весь процесс его доказательств очевидно клонится к тому результату, что нравственность может существовать независимо от культа.— Эти мысли Бэйля остаются очень смелыми даже и для нашего времени. В журнале Бэйля «Nouvelles de la république des lettres»[11] забавлялся иногда антиклерикальными шалостями остроумный писатель Фонтенель. В 1686 году, в то самое время, когда французские протестанты терпели жестокое преследование, в журнале Бэйля появилась сатирическая аллегория Фонтенеля, в которой осмеивался весь спор католиков с протестантами. «Письмо,— говорит Геттнер[12],— писанное будто бы в Батавии, рассказывает, что на острове Борнео спорили

о престолонаследии две сестры: Меро (Mero — Rome) и Энег (Enègue — Genève) [13], то есть католицизм и протестантизм. Меро признана была без затруднения, но скоро невыносимым гнетом и притеснениями оттолкнула от себя все более свободные умы; все подданные должны были сообщать ей самые тайные свои мысли, приносить ей все свои деньги; высшая милость, которую оказывала королева, было целование ноги, но, прежде чем их допускали к этому, они должны были преклониться перед костями умерших любимцев. Тогда выступила новая королева, Энег. Она уничтожает все эти жестокие нововведения, требует себе престола, называет себя настоящею дочерью недавно умершей королевы и доказывает эти притязания своим сходством с матерью, между тем как Меро, с своей стороны, сильно заботилась о том, чтобы скрывать и подменивать портреты матери». — В том же 1686 году появилась книга Фонтенеля «Entretiens sur la pluralité des mondes» («Разговоры о множестве миров»). Эта книга развивала в популярной форме те самые мысли, за которые в начале XVII столетия сгорел на костре Джиордано Бруно. Фонтенель старался провести в сознание всего читающего общества астрономические открытия Коперника и философские идеи о природе, созданные творческою фантазиею Декарта. Тут, разумеется, было объяснено подробно, что неподвижные звезды — не лампады, прицепленные к небесному своду для освещения земли, а великие центры самостоятельных планетных систем, составленных из таких небесных тел, на которых, по всей вероятности, развивается своя собственная, богатая и разнообразная органическая жизнь. Эта мысль, за которую римская инквизиция сожгла Джиордано Бруно, очень благополучно сошла с рук Фонтенелю, несмотря на то, что его книга, изданная при Людовике XIV, произвела на читающую публику сильное впечатление и понравилась даже легкомысленным светским людям, совершенно не способным к серьезным умственным занятиям. В 1687 году Фонтенель издал «Историю оракулов», в которой он разбирал хитрости языческих жрецов, стараясь при этом навести читателя на разные поучительные размышления о современной действительности. Хранители общественной нравственности поняли наконец, куда клонятся литературные забавы Фонтенеля. Тут всплыла наверх и аллего-

рия о двух царицах острова Борнео. Ключ к ее пониманию отыскался, и Фонтенелю было поставлено на вид, что его ожидает Бастилья. Фонтенель тотчас же раскаялся, исправился, стал изливать на иезуитов потоки хвалебных стихотворений и с тех пор навсегда перестал огорчать хранителей общественной непорочности. За такое благонравие Фонтенель сподобился прожить на свете сто лет. Он умер в 1757 году, когда Вольтер уже господствовал над общественным мнением всей Европы.

III

Людовик XIV умер в 1715 году. Вольтеру было в это время с небольшим двадцать лет, и он уже был настолько известен в парижском обществе своею язвительностью, что когда по рукам стала ходить рукописная сатира против покойного короля,— эта сатира была приписана Вольтеру, который, впрочем, был совершенно неповинен в ее сочинении. За это мнимое преступление Вольтер попал на год в Бастилью. В 1726 году Вольтер еще раз посидел в Бастилье за ссору с шевалье де Роганом, который, впрочем, был сам кругом виноват и вообще действовал в отношении к Вольтеру самым бесчестным и позорным образом[14]. Второе заключение Вольтера продолжалось недолго: по словам Бокля — полгода, а по мнению Геттнера — всего двенадцать дней. Кто из них прав, Бокль или Геттнер, этого я не знаю, да это и не важно. Если мы примем цифру Бокля, как более крупную, то и тогда окажется, что Вольтер, проживший на свете почти 84 года и сражавшийся с самыми сильными человеческими предрассудками с лишком 60 лет, просидел в тюрьме всего полтора года, да и то по таким причинам, которые с его литературною деятельностью не имеют ничего общего. Этими двумя ничтожными заключениями ограничиваются все враждебные столкновения Вольтера с предержащими властями. Вся остальная жизнь его протекла весело, спокойно, в почете и в довольстве. Он вел переписку почти со всеми европейскими государями, в том числе и с папами. Он со всех сторон получал пенсии и знаки отличия. Он был gentilhomme ordinaire de la chambre du roi[15]; камергером Фридриха Великого, официальным историографом Франции и членом французской академии. Он пу-

скался во всякие спекуляции, играл на бирже, принимал участие в государственных займах и поставках для войска; он хитрил, барышничал, кляузничал и даже мошенничал. Он нажил и сохранил большое состояние. Он дошел до таких известных степеней, которым мог бы позавидовать даже Молчалин. И при всем том он постоянно оставался Вольтером, тем неутомимым бойцом, тем великим публицистом, который не имеет себе равного в истории и которого имя до сих пор наводит на всех европейских пиетистов самый комический ужас.—Каким образом мог Вольтер гоняться за двумя зайцами и успешно ловить их обоих? Каким образом мог он в одно и то же время стоять во главе философской оппозиции и пользоваться милостивым расположением всех высших начальств?—Это замечательное явление, которое теперь сделалось уже навсегда невозможным, объясняется, по моему крайнему разумению, только тем обстоятельством, что сила человеческой мысли и возможные последствия умственного движения были в то время еще очень мало известны всем начальствующим лицам и корпорациям.

Правители XVIII века, подобно средневековым государям и папам, не боялись мысли и преследовали оппозиционных мыслителей не как нарушителей общественного спокойствия, а как нахалов, осмеливающихся думать и говорить дерзости. Наказания клонились совсем не к тому, чтобы предотвратить вред, могущий произойти от деятельности писателя; об этом вреде никто и не думал. Какой, дескать, вред может сделать ничтожный и голодный прохвост, марающий бумагу для того, чтобы зашибить несколько грошей на хлеб и на дрова. Наказания имели только тот смысл, что, мол, не смей ты, бестия и прощелыга, соваться с твоими глупыми рассуждениями туда, где тебя не спрашивают. Наказания были мщением за дерзость и поэтому обусловливались исключительно силою того гнева, которым обуревалась важная особа, имеющая власть карать и миловать. Вследствие этого самою опасною была для писателей именно та отрасль литературы, которая была всего ничтожнее и всего менее могла действовать на общественную жизнь в каком бы то ни было направлении. Всего больнее доставалось сочинителям сатир или пасквилей, направленных против отдельных личностей. Напишите вы, например, игривые стишки

о том, что дворецкий маркиза А обладает сизым носом и толстым брюхом,— вас почти наверное засадят в тюрьму, потому что маркиз А сочтет себя оскорбленным в лице своего любимого лакея и, пылая благородною амбициею, непременно выхлопочет на ваше имя lettre de cachet[16]. Попробуйте же вы, напротив того, не затрагивая брюха и носа, самым осязательным образом перевернуть вверх дном вашею книгою все господствующие в официальных сферах понятия о юстиции, о финансовом управлении, о сословных отношениях, о международном праве, о каком-нибудь другом предмете первостепенной важности — и опасность окажется для вас гораздо менее значительною, чем в первом случае. Если же вам желательно, чтобы эта опасность уменьшилась до нуля, то сделайте вот что: посвятите вы вашу книгу тому самому начальствующему лицу, которого идеи вы подвергаете самой разрушительной критике; кроме того, рассыпьте в вашем введении и в примечаниях множество самых восторженных и самых голословных комплиментов всем тем сильным особам, которых систему вы отрицаете наповал. Книга ваша пройдет тогда совершенно беспрепятственно. Все влиятельные лица скажут, что ваши идеи, конечно, довольно опрометчивы, но что вы сами человек благовоспитанный, скромный и почтительный и что, следовательно, нет никакой надобности огорчать вас запрещением вашей книги или препровождением вашей особы в Бастилью.

С тех пор как существуют человеческие общества и вплоть до самого XVIII века, литература считалась постоянно забавою, очень тонкою и благородною, пожалуй даже возвышенною, но совершенно лишенною всякого серьезного значения, политического или общественного. Писатель мог быть художником или мудрецом, но в глазах деловых людей он всегда оставался балясником, кривляющимся для собственного удовольствия и потехи публики. Литература стояла на одной доске с музыкой, живописью и скульптурой. Она могла украшать жизнь фешенебельного общества, но никто не поверил бы, что она может отливать эту жизнь в совершенно новые формы.

В XVIII столетии чтение сделалось насущною потребностью для тех классов общества, которые распоряжаются судьбою народов. Тот материал, которым удовлетворяется эта новая потребность, получил очень важное значе-

ние. Фабриканты этого материала сделались изготовителями общественного мнения. Книги, журналы и газеты образовали между тысячами и десятками тысяч индивидуальных умов такую тесную и крепкую связь, которая до того времени была невозможна и немыслима. С тех пор как народилось на свет невиданное диво — общественное мнение целой нации, целой большой страны, — с этих пор, говорю я, писатели сделались для европейских обществ тем, чем были для крошечных греческих республик ораторы.

«Я думаю, — говорил в нижней палате член английского парламента Данверз, — я думаю, Великобританиею управляет власть, о верховном преобладании которой до сих пор не было слышно ни в какой век, ни в какой стране. Власть эта, сэр, не состоит в неограниченной воле одного государя, ни в силе войска, ни во влиянии духовенства, — это также не власть юбок; это власть печати, сэр. Материалы, которыми наполняются наши еженедельные газеты, читаются с бóльшим уважением, чем акты парламента; а мнение каждого из этих писак имеет в глазах толпы больше значения, чем мнение лучших политических людей королевства». Эти слова были произнесены в 1738 году, и Бокль говорит, что это — самое раннее указание на возникающую власть печати, которая в первый раз во всемирной истории сделалась выразительницей общественного мнения. В половине XVIII века Малерб, директор департамента по делам печати, вступая во французскую академию, говорил так: «Литература и философия теперь снова завоевали себе ту свободу, какую они имели в древней Греции; *они дают народам законодателей;* благородное одушевление овладело всеми умами; пришло время, когда каждый, способный мыслить и писать, *чувствует себя обязанным направить свои мысли к общему благу».* Академические речи всегда переполняются общими местами, приятными для слушателей, для правительства, для академии и для всех вообще присутствующих и отсутствующих, живых и умерших. Поэтому-то именно слова Малерба и должны иметь в наших глазах особенную знаменательность. Если та мысль, что литература и философия *дают народам законодателей,* сделалась общим местом, очень приличным в официальной академической речи, произнесенной важным и солидным чинов-

ником, начальником французской печати, то, разумеется, взгляд на писателей как на милых забавников окончательно сменился тем серьезным взглядом, вследствие которого каждый мыслящий писатель *чувствует себя обязанным направить свои мысли к общему благу.* Если же мы воротимся назад, не очень далеко, всего только к эпохе Людовика XIV, то мы увидим, что литература все еще продолжает забавлять публику (divertir le public[17], как говорит о самом себе Пьер Корнель) и ни о каком общем благе не смеет подумать. Кто стоит на первом плане во французской литературе XVII века? Корнель, Расин, Буало, Мольер. За какие заслуги? За чувствительные трагедии, за веселые комедии, за ничтожные сатиры, и преимущественно за чистоту языка и за изящество стихов. Правда, что в «Тартюфе» Мольера можно уже заметить отдаленный пророческий намек на будущую роль литературы. Кто стоит на первом плане во французской литературе XVIII века? Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, Гельвеций, Бомарше. За что? За такие произведения, которые затрогивают с разных сторон самые важные и глубокие вопросы миросозерцания, частной нравственности и общественной жизни. Ясно, стало быть, что перемена совершилась именно на рубеже двух столетий, XVII и XVIII. Впечатление, произведенное книгами Фонтенеля и журналами Бэйля, может считаться поворотным пунктом в великом превращении литературы из милой забавы в серьезное дело.

Так как деятельность Вольтера и его ближайших преемников вплоть до 1789 года была первым ярким проявлением серьезной и влиятельной литературы, превратившейся в общественную силу, то, разумеется, отношения этой деятельности к тогдашним властям были еще очень неясны, неопределенны и подвержены многим колебаниям. Власти видели, что народилась на свет новая сила, но они еще не знали, что это за сила, и чего от нее можно ожидать, и до каких размеров может дойти ее развитие, и каким образом следует с нею обращаться. Власти смотрели на возрастающую силу литературы не со страхом, а скорее с любопытством и даже с тщеславным удовольствием. Властям было приятно видеть, что под их господством плодятся такие чудеса, о которых прежние времена не имели понятия. В простоте души своей тогдашние власти играли с великими идеями так же весело

и беззаботно, как невинные дети могут играть с заряженными пистолетами. Конечно, иногда задавались писателям сильные острастки, но именно эти-то острастки и обнаруживают всю невинность и беззаботность тогдашних властей; в этих острастках не было ничего систематического; они давались от полноты начальственной досады и для проявления начальственного величия; их можно было всегда предотвратить выражениями покорности и благовоспитанности, а также влиянием личных связей и сильных протекций. Словом, замечая совершенно новое положение литературы, тогдашние власти, по старой привычке, все-таки продолжали обходиться с этою обновившеюся литературою так, как взбалмошная барыня обходится с комнатною собачкою. У тогдашних властей не хватало характера и последовательности ни на то, чтобы обольстить и усыпить писателей постоянною любезностью, ни на то, чтобы запугать и раздавить их железною строгостью. Поэтому писатели очень сильно ненавидели правительство и очень мало боялись его.

Бокль с большим негодованием говорит о тех преследованиях, которым подвергалась в прошлом столетии французская литература. Такое негодование как нельзя более понятно со стороны английского радикала, для которого неограниченная свобода печати сделалась насущной потребностью организма. Но от глубокомысленного историка, подобного Боклю, <мы> имеем право ожидать и требовать более объективного взгляда на дело. Если мы просто будем сравнивать положение современных писателей с положением писателей прошлого столетия, то мы найдем, быть может, что положение первых почетнее и безопаснее. Но если мы вследствие этого выведем заключение, что положение литературы с прошлого столетия улучшилось и что мы должны сокрушаться над жестокими страданиями наших предшественников, то мне кажется, что мы сделаем ошибку. Как граждане более благоустроенных государств, современные европейцы действительно счастливее своих дедов; но как писатели, современные европейцы встречают себе больше препятствий и терпят больше преследований. Сравните общие уголовные законы и уголовное судопроизводство прошлого столетия с общими уголовными законами и уголовным судопроизводством нашего времени. Вы

найдете громадную разницу: с одной стороны — пытка и мучительные смертные казни; с другой стороны — почти полная отмена простой смертной казни, пенитенциарная тюрьма[18] и суд присяжных. Положим, что пенитенциарная система не бог знает какое совершенство, но во всяком случае гораздо удобнее сидеть в тюрьме, чем умирать на колесе или на костре. Кроме того, гораздо удобнее защищаться перед присяжными, чем давать показания в застенке. Значит, улучшение есть, и значительное. Спросите же вы теперь, распространяется ли это улучшение на писателей? То есть задайте себе два вопроса: поступали ли с писателями XVIII века по всей строгости тогдашних уголовных законов? и поступают ли с теперешними писателями по всей строгости теперешних уголовных законов? На первый вопрос история XVIII века ответит вам: нет. На второй вопрос современная действительность ответит вам: да. С теперешними писателями обращаются точно так же, как с теперешними обыкновенными преступниками. С писателями XVIII века, напротив того, обращались гораздо деликатнее и гуманнее, чем с тогдашними обыкновенными преступниками.

Значит, положение писателей, а следовательно, и литературы, ухудшилось с прошлого столетия, хотя в то же время всякому человеку, писателю и не-писателю, жить удобнее в XIX веке, чем в XVIII. Жить удобнее, но писать труднее. При этом, разумеется, Англию невозможно принимать в расчет, потому что в Англии писатель как писатель не может сделаться преступником и не имеет никакого отношения к уголовным законам. Бокль собрал много примеров тех жестоких преследований, в которых он обвиняет французских администраторов прошлого столетия. В чем же состоят эти преследования? В том, что сочинение конфискуется или сжигается par la main du bourreau (рукою палача), автор сажается в крепость, в тюрьму. На долго ли по крайней мере сажается? Лет на тридцать или двадцать? Увы, нет! Всего чаще на несколько месяцев. Был ли хоть один из тогдашних писателей сожжен, колесован, повешен или по крайней мере сослан на галеры? Подвергался ли хоть один писатель пытке? Ни один. А между тем пытка была тут как нельзя более уместна. Большая часть самых знаменитых и смелых книг выходила тогда в свет без имени автора, и автор в случае перепо-

лоха обыкновенно отрекался от своего сочинения. Вот тут-то бы и следовало вывертывать ему руки и сокрушать ноги для получения чистосердечного признания. Если бы в XVIII столетии смотрели на литературу так же сурово, как смотрят на нее в XIX, то многим энциклопедистам пришлось бы побывать в застенке.

Самое строгое наказание, обрушившееся в прошлом столетии на французского писателя, изображено у Бокля следующим образом: «Деforж, например, писавший против ареста претендента на английский престол, был только за это заключен на три года в подземелье, имевшее 8 квадратных футов» (т.1, стр. 554). А в примечании добавлена та подробность, что свет доходил к преступнику только сквозь расщелину церковной лестницы. По нашему теперешнему масштабу это очень сильно, но по тогдашнему масштабу сущие пустяки. Латюд высидел больше двадцати лет в разных тюрьмах единственно за то, что, желая приобрести себе протекцию маркизы де Помпадур, пустил в ход очень плоскую и неискусную мистификацию[19]. Некоторые из тюрем Латюда были не лучше того подземелья, в котором сидел Деforж.— Драматический писатель Фавар был посажен в крепость за то, что его жена, актриса Шантильи, не хотела сделаться любовницей Мориса Саксонского[20]. Долго ли он просидел, этого я не знаю, но уж и то достаточно выразительно, что его посадили за такую провинность. Наконец, надобно еще заметить, что lettres de cachet (приказы об арестовании) для некоторых важных особ составляли предмет выгодной торговли. За известную сумму денег можно было получить бланк и написать на нем имя того лица, которое, по соображениям покупщика, должно было переселиться в Бастилью. Однажды случилось, что двое супругов смертельно надоели друг другу; обе заинтересованные стороны отправились хлопотать о lettres de cachet, и обе достигли своей цели, так что мужа посадили в тюрьму по ходатайству жены, а жену по ходатайству мужа. Ясное дело, что личная свобода граждан ставилась ни во что. Человека сажали в тюрьму, человека забывали в тюрьме на десятки лет, власти забывали даже, за что был посажен человек,— и никто не находил это особенно удивительным. Но мало-мальски известный и замечательный писатель не мог быть таким образом забыт и заброшен. Его

помнили, об нем хлопотали, его вытаскивали на свободу. Словом, в тогдашнем обществе, в котором было сносно жить только привилегированным классам, писательство было знаком отличия, дававшим некоторые льготы и преимущества. Чем самостоятельнее и смелее был писатель, тем значительнее была его известность и тем бережнее обходились с ним власти, потому что он в их глазах получал значение аристократа. Все это происходило, разумеется, от неопытности властей, но именно вследствие этой неопытности официальных деятелей Вольтер имел возможность вести пропаганду под покровительством важных особ, охранявших общественную нравственность.

Кому дороги результаты вольтеровской деятельности, тот не должен ставить Вольтеру в упрек его хитрости, ухаживания и заискивания. Все эти маневры помогали успеху главного дела; сгибаясь часто в дугу, вместо того чтобы драпироваться в мантию маркиза Позы[21], Вольтер в то же время никогда не упускал из виду единственной цели своей жизни. Он льстил своим высоким покровителям и превращал их в свои орудия. Вольтер был достаточно мелочен, чтобы искать знаков отличия и тщеславиться ими, но его страстная любовь к идее была так сильна, эта любовь так безраздельно господствовала над всеми его поступками, что он невольно, по непреодолимому влечению и без малейшей борьбы, обращал на служенье своей идее все связи и протекции, которые ему удавалось приобретать.— Никому из высоких покровителей Вольтера даже и не приходило в голову, чтобы существовала какая-нибудь возможность подкупить или обезоружить Вольтера и отвлечь его ласками или почестями от той смертельной борьбы, которую он вел против клерикализма. Кто покровительствовал Вольтеру, тот сам становился под его знамя, подчинялся его могуществу и обязывался по меньшей мере не мешать распространению рационализма. В мире мысли Вольтер не делал никому ни малейшей уступки, да никто не осмеливался и требовать от него таких уступок. Зато в своих приемах и аллюрах Вольтер был гибок и эластичен, как хорошо закаленная стальная пружина. В своей частной жизни он готов был разыгрывать беспрекословно все те комедии, которых могло потребовать от него окружающее общество. Эта эластичность и гибкость составляет одну из основных причин

и из важнейших сторон его значения. Именно это уменье не тратить сил на мелочи и не раздражать окружающих людей из-за пустяков доставило его пропаганде неотразимое могущество и беспримерное распространение. На массу робких и вялых умов, которые везде и всегда решают дело в качестве хора и черноземной силы, действовало чрезвычайно успокоительно и ободрительно то обстоятельство, что антиклерикальные идеи проповедуются не каким-нибудь чудаком, сорванцом или сумасбродом, а солидным и важным барином, господином Вольтером, отлично устроивающим свои делишки и ведущим дружбу с самыми знатными особами во всей Европе. Поэтому нельзя не отдать должной дани уважения даже и тому чичиковскому элементу, который бесспорно занимает в личности Вольтера довольно видное место. Чтобы иметь какое-нибудь серьезное значение, пропаганда Вольтера должна была адресоваться не к лучшим людям, не к избранным умам, а ко всему читающему обществу, ко всему грамотному стаду, ко всевозможным дубовым и осиновым головам, ко всевозможным картофельным и тестообразным характерам. Всей этой толпе надо было говорить в продолжение многих лет: «Ослы, перестаньте же вы, наконец, лягать друг друга в рыло за такие пустяки, которых вы сами не понимаете и которых никогда не понимали ваши руководители!» — Принимаясь за такое дело, стараясь вразумить таких слушателей, надо было запастись колоссальным терпением и затем пустить в ход все средства, способные вести к успеху, все без исключения, беленькие, серенькие и черненькие. Одним из самых могущественных средств была наружная благонадежность и сановитость господина Вольтера. Надо было приобрести эту внушительную сановитость во что бы то ни стало, хотя бы даже от этого произошел большой ущерб для идеальной чистоты характера. Вольтеру это приобретение не стоило большого труда, потому что характер его никогда не отличался идеальной чистотою. Этот пронырливый характер, соединенный с бойким, острым, неутомимым, но очень неглубоким умом, был превосходно приноровлен к той задаче, за которую взялся Вольтер. С одной стороны, живой ум, пристрастившийся на всю жизнь к одной, очень нехитрой идее, спасал Вольтера от той тины, в которую тянул его чичиковский элемент характера; с дру-

гой стороны, чичиковский элемент предохранял Вольтера от смешного и вредного для общего дела донкихотства, которое могло развиться из необузданной любви к идее. Таким образом Вольтеру удалось соблюдать постоянно ту золотую умеренность, которую презирает и отвергает могучий творческий гений, но которая с неотразимою силою привлекает к себе умы и сердца респектабельной буржуазии, стоявшей в то время на очереди и составлявшей собою громадную аудиторию знаменитого популяризатора.

IV

Геттнер очень сильно нападает на Вольтера за различные проявления его уклончивости. «И что, наконец, сказать о том,— спрашивает он в пылу добродетельного волнения,— что он всегда, если приходила опасность, дерзко и лживо отказывался от своих книг, вместо того чтобы честно и мужественно признавать их своими?» 13 августа 1763 г. Вольтер пишет к Гельвецию: «Не нужно никогда ставить своего имени; я не написал даже и «Pucelle»[22].— «И этой коварной лживостью он пользуется всегда с изобретательностью не слишком завидной».

Добродетельное негодование Геттнера смешно до последней степени. После этого остается только ругать подлецом того цыпленка, который с *коварной лживостью* улепетывает от повара, вместо того чтобы *честно* и *мужественно* стремиться в его объятия. Конечно, повар был бы очень доволен *честностью* и *мужеством* добродетельного цыпленка, но трудно понять, какую бы эта *честность* и это *мужество* могли принести пользу, во-первых, пернатому Аристиду[23], а во-вторых, всей его цыплячьей породе. Положим, что Вольтер исполнил бы желания Геттнера и признался бы *честно* и *мужественно* в своих литературных грехах. Что же бы из этого вышло? Вольтера засадили бы в Бастилию. Кому же бы это было выгодно, философам или иезуитам? Разве вольтерьянцы разгромили бы Бастилию, освободили бы своего предводителя? Ничуть не бывало. Вольтер просидел бы в каморке несколько месяцев, расстроил бы свое здоровье и потратил бы даром то время, которое он мог бы употребить на дальнейшее преследование клерикалов. И все это только для того, чтобы лишний раз удивить парижскую полицию *честно-*

стью и *мужеством.* Нечего сказать: цель великая и достойная!

Герои свободной мысли так недавно выступили на сцену всемирной истории, что до сих пор еще не установлена та точка зрения, с которой следует оценивать их поступки и характеры. Историки все еще смешивают этих людей с бойцами и мучениками супранатурализма[24] Вольтера судят так, как можно было бы судить, например, Иоанна Гуса. Когда Вольтер уклоняется от той чаши, которую Гус спокойно и смело выпивает до дна, тогда Вольтера заподозревают и обвиняют в недостатке мужества и честности. Это совершенно несправедливо. Утилитариста невозможно мерять тою меркою, которая прикладывается к мистику. Для Гуса отречься от своих идей значило отказаться от вечного блаженства и, кроме того, потянуть за собою в геенну огненную тысячи слабых людей, которых отречение Гуса сбило бы с толку и поворотило бы назад к заблуждениям папизма. Поэтому Гусу был чистейший расчет идти на костер, повторяя те формулы, которые он считал истинными и спасительными. Для Вольтера, напротив того, важно было только то, чтобы его идеи западали как можно глубже в умы читателей и распространялись в обществе как можно быстрее и шире. Хорошо. Книга напечатана, раскуплена и прочтена. На книге нет имени автора, а между тем она производит сильное впечатление. Значит, действуют сами идеи, не нуждаясь в том обаянии, которое было бы им придано именем известного писателя. Только такое действие и соответствует вполне цели и направлению вольтеровской пропаганды. Эта пропаганда должна была приучить людей к тому, чтобы они, не преклоняясь перед авторитетами, ценили внутреннюю разумность и убедительность самой идеи. Затем начинается тревога. Разыскивают автора. Призывают к допросу Вольтера. Вольтер отвечает: «знать не знаю, ведать не ведаю». Скажите на милость, кому и чему он вредит этим ответом? Он только отнимает у иезуитов и у полицейских сыщиков возможность помучить оппозиционного мыслителя. Это с его стороны очень нелюбезно, но ведь он никогда и не обязывался увеселять своею особою иезуитов и сыщиков. А читателей отречение Вольтера нисколько не обманывает и не смущает; читатели посмеиваются и говорят между собою: «Как же! Держи кар-

ман! Дурака нашел! Так сейчас он тебе и признается!» Конечно, все это очень похоже на тактику бурсаков в отношении к начальству; но что же делать? Бывают такие времена, когда целое общество уподобляется одной огромной бурсе. Виноваты в этом не те люди, которые лгут, а те, которые заставляют лгать.

Описывая старческие годы Вольтера, Геттнер находит новую пищу для добродетельного негодования. «Как прискорбно,— говорит он,— что при всем том и в это последнее и самое блестящее время Вольтера не было недостатка в пятнах! Он по-прежнему отпирается от своих книг. Мало того, он причащается, ходит на исповедь, чтобы избавиться от клерикальных преследований, между тем как вся его деятельность направлена к уничтожению этих учений и обычаев. Фарнгаген[25] несправедливо извиняет эти хитрости и притворство, эти засады и внезапные нападения, это искусное уменье идти вперед и быстро исчезать,— извиняет, как позволительные и необходимые вспомогательные средства партизанской войны. Эту временную покорность не только люди благочестивые считали безбожной дерзостью, но даже и люди его партии осуждали, как вещь жалкую и трусливую».

Что *люди благочестивые* были недовольны — в этом нет ничего удивительного. Но я опять-таки повторю, что Вольтер не подрядился утешать *людей благочестивых.* Чтобы узнать, похвальны ли или предосудительны поступки Вольтера, огорчающие Геттнера, надо только поставить вопрос: помогали они или мешали успеху его общественной работы? Придется ответить: помогали,— потому что избавляли знаменитого популяризатора от клерикальных преследований, которые доставляли бы ему лишние хлопоты, портили бы ему кровь, расстроивали бы его здоровье и, таким образом, отвлекали бы его от общественных занятий. Значит, позволяя себе мелкие хитрости, Вольтер, сознательно или бессознательно, повиновался естественному чувству самосохранения.

Здесь опять свободные мыслители смешиваются с сектаторами и верующими адептами. Если бы то, что делал Вольтер, было сделано кальвинистом или лютеранином, тогда дело другое, тогда можно было бы говорить о *вещи жалкой и трусливой,* потому что лютеране и кальвинисты, подобно католикам, придают очень важное значение всем

внешним подробностям культа. Но со стороны Вольтера тут нет ничего похожего на отступничество, потому что Вольтер питает самое полное равнодушие ко всякому культу со всеми его подробностями. Вольтер вовсе не хотел сделаться основателем какой-нибудь новой философской религии; он также вовсе не пылал фанатическою ненавистью к существующему культу; он ненавидел только ту своекорыстную или тупую исключительность, которая порождает убийства, религиозные преследования, междоусобные распри и международные войны. *Терпимость* была первым и последним словом его философской проповеди. Поэтому он, нисколько не краснея и не изменяя самому себе, мог подчиняться всевозможным формальностям, предписанным местными законами или обычаями. Геттнеру следовало бы все это знать и понимать, тем более что он в своей книге выписывает из «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations»[26] следующие размышления Вольтера об английских деистах. «Эти люди согласны со всеми другими в общем почитании единого Бога; они отличаются только тем, что у них нет никаких твердых положений учения и никаких храмов и что они, веря в Божию справедливость, одушевлены величайшей терпимостью. Они говорят, что их религия — религия чистая и такая же старая, как свет; у них нет никакого тайного культа, *и потому они без угрызений совести могут подчиниться и публичным религиозным обычаям».* — Кто читал Вольтера, тот знает, что он сочувствовал английским деистам больше, чем каким бы то ни было другим мыслителям; говоря о них и за них, он говорит о себе и за себя; поэтому подчеркнутые мною слова окончательно решают вопрос и доказывают ясно, что, *подчиняясь публичным религиозным обычаям,* Вольтер не делал никаких *жалких и трусливых вещей.*

V

Вольтер ненавидел всякие метафизические тонкости, которые, — сказать по правде, — были ему решительно не по силам. Вольтера ни под каким видом нельзя назвать великим или даже просто замечательным мыслителем. Его ум хватал очень недалеко и был совершенно неспособен проследить какую бы то ни было идею до самого конца, до самых последних и отдаленных ее разветвлений.

По своим умственным силам Вольтер стоял гораздо ниже многих людей, убивших все свои прекрасные дарования на бесплодные метафизические построения. Вольтер был совершенно застрахован от всякой метафизической заразы своею — извините за выражение! — своею ограниченностью, соединенною с колоссальнейшим тщеславием и с неподражаемым искусством персифлирования[27]

Ум Вольтера становился в тупик на первых двух-трех шагах отвлеченного философствования; Вольтер терял возможность следить за ходом мысли, и тут немедленно подоспевало к нему на выручку драгоценное тщеславие. Не мог же он, он, Аруэ де Вольтер, он, великий Вольтер, признать свое бессилие и попросить пардона! Поэтому он тотчас решал безапелляционно, что тут совсем нечего и понимать. Затем он высовывал метафизику язык и отделывал его так ловко прелестнейшими шутками и насмешками, что метафизик, который, быть может, был гораздо умнее Вольтера, оставался в дураках и окончательно погибал во мнении всей читающей публики. Вся деятельность Вольтера изображает собою возмущение простого здравого смысла против ошибочных увлечений и бесплодных фейерверков человеческой гениальности. Основатели различных метафизических школ, например Декарт и Лейбниц, и даже светила схоластики, Фома Аквинский, Рожер Бэкон, Альберт Великий, обладали бесспорно громадными умственными силами, но все они имели несчастие, по обстоятельствам времени, потратить бóльшую часть или даже всю совокупность своих сил на такие работы, которые, во-первых, не могли получить никогда никакого практического приложения и, во-вторых, по своей крайней трудности и головоломности, должны были навсегда остаться непонятными и недоступными для огромного большинства обыкновенных или посредственных человеческих умов. Человеческая посредственность, в лице самого блестящего и самого ловкого своего представителя, Вольтера, произнесла решительный и бесповоротный приговор отвержения над всеми этими громадными, титаническими, изумительными, но совершенно бесполезными трудами. Задача Вольтера была чисто отрицательная. Из той громадной кладовой, в которой хранятся умственные сокровища человечества, надо было выкинуть много разного добра; вместе с этим добром надо было

выбросить и те шкафы, в которых оно лежало, выбросить для того, чтобы на будущее время человеческие силы не тратились больше на обогащение этих ненужных шкафов новым содержанием. Чтобы произвести это выбрасывание с должною решительностью и бестрепетностью, надо было во всех осужденных шкафах не видеть ни одной хорошей или привлекательной черты. Надо было ненавидеть сплошною и цельною ненавистью; презирать самым чистым и искренним презрением, не разбавленным никакими проблесками снисхождения или сострадания. А таким образом ненавидит и презирает только *непонимание,* потому что нет того человеческого чувства, нет того человеческого поступка, нет той человеческой мысли, в которых при полном и всестороннем понимании нельзя было бы найти хоть чего-нибудь достойного уважения или любви, или по крайней мере теплого сожаления. Но так как беспощадное выбрасывание бывает иногда совершенно необходимо, то и непонимание оказывает иногда человечеству драгоценные и незаменимые услуги. Если бы Вольтер был способен понимать логическую красоту и величественность тех метафизических построений, которые ему надо было осмеять и выбросить, то в его сарказмах не было бы той непринужденности, той неподдельной искренности, той самодовольной грации, той заразительной веселости, которые сообщали им неотразимую силу и обеспечивали собою успех всей отрицательной работы. Вольтер не был бы Вольтером, если бы у него было побольше ума и поменьше тщеславия. В таком случае мысли его были бы более глубоки, а приговоры менее решительны. По этим двум причинам действие его на толпу было бы менее сильно. Таким образом, чуть ли не все недостатки Вольтера, как умственные, так и нравственные, шли на пользу его популяризаторской работы.

Когда Вольтер осмеивает различные дурачества умных и глупых людей, тогда он великолепен и неотразим. Но когда он начинает кропать что-то похожее на собственную систему, когда он сам стремится сооружать и мудрствовать, тогда у читателя с невероятною быстротою увядают уши. Особенно печально становится положение читателя тогда, когда Вольтера удручают высшие вопросы общего миросозерцания. Тут уже переполняется мера читательского терпения.

Вольтер — деист. Это бы еще ничего. Даже трогательно и похвально. Если бы он, подобно Магомету, крикнул просто во всеуслышание: *Аллах есть Аллах!* — все обстояло бы совершенно благополучно, и всякие возражения сделались бы невозможными. Но Вольтер, к несчастию, томится желанием доказывать основной тезис своей доктрины. Ему, изволите ли видеть, как философу, никак не возможно принимать что бы то ни было на веру, а так как он доказывать решительно не умеет и так как тут вообще на доказательствах далеко не уедешь, то перед несчастным читателем совершается настоящее столпотворение вавилонское. Гипотезы подпираются гипотезами; сравнения, сентиментальные восклицания и эффектные вопросительные тирады принимаются за доказательства; на каком-нибудь одном лядащем факте, неверно подмеченном и неправильно истолкованном, сооружается целая сложная теория; сам того не замечая, наш философ на каждом шагу путается в грубых противоречиях; сам того не замечая, он ежеминутно перепрыгивает с одной точки зрения на другую; словом, получается такая мерзость запустения, которая жестоко компрометирует почтенный тезис, не допускающий и не требующий никаких доказательств.

Любимым коньком Вольтера является идея о целесообразности и предустановленности всего существующего. В самом деле, глаз создан для того, чтобы видеть, ухо — для того, чтобы слышать, зубы — для того, чтобы жевать, желудок — для того, чтобы переваривать пищу. Сделавши зараз столько открытий, Вольтер торжествует победу над дерзновенными скептиками, и затем начинаются чувствительные восклицания о том, как это все рассчитано, предусмотрено, приспособлено и направлено. Все это очень назидательно и убедительно, но только Вольтеру следовало бы набрать побольше примеров и повести процесс доказательства хотя бы, например, таким образом: баран создан для того, чтобы есть траву; волк — для того, чтобы есть барана; мужик — для того, чтобы убивать и обдирать волка; маркиз — для того, чтобы тузить и разорять мужика; а Людовик XIV — для того, чтобы сажать маркиза в Бастилью и конфисковать его наследственное имение. В этой лествице живых существ каждый пристроен к своему месту, каждый что-нибудь

делает, и каждый щедро одарен необходимыми для того снарядами или орудиями. Значит, целесообразность выдержана великолепно. Остается только поставить и разрешить вопрос: для кого или для чего нужна эта прекрасная целесообразность, к чему она ведет и с какой стати сгруппированы эти живые существа, которые постоянно обижают и терзают и даже истребляют друг друга? Для кого сооружена вся лествица — для барана, для волка, для мужика, для маркиза или для Людовика XIV? Так как баран, волк и мужик играют тут совершенно страдательные роли, от которых они охотно отказались бы, то лествица построена, очевидно, не *для* них, а скорее *против* них. Значит, она построена для маркиза и для Людовика XIV? Прекрасно, но в таком случае только маркиз, пока он не попал еще в Бастилью, и Людовик XIV могут восхищаться порядком, красотою, гармониею и целесообразностью природы. Для мужика все эти прелести не существуют. Если бы мужику вздумалось философствовать по Вольтеру, то он пришел бы к таким результатам, которые привели бы Вольтера в неописанный ужас. Если сообразил бы мужик, что в природе все сделано и делается с тонким расчетом и с умыслом, то, стало быть, когда природа заставляет нас страдать, она также поступает умышленно. «Вот меня,— продолжал бы мужик,— эта милейшая природа донимает каждый день, с тех пор как я себя запомню, то голодом, то холодом, то палками; так это она, стало быть, все нарочно надо мною куражилась. Спасибо за угощение!» — «Позвольте, господин мужик,— заговорил бы Вольтер, понимая, что дело принимает самый неблагополучный оборот,— позвольте! Вас терзает не природа, вас терзают люди».— «Господин Вольтер,— отвечает мужик,— людей произвела та же природа. Если в природе все рассчитано, предусмотрено и целесообразно, то она может и должна отвечать за каждое из своих созданий».

Читатели мои, я сам вижу, что мужик неистовствует, но уверяю вас, что тут виноват не мужик, а Вольтер. Учение о целесообразности в природе ведет за собою ужасные заключения, подрывающие или по крайней мере извращающие основной тезис вольтеровской доктрины. И от этих заключений вы ничем не отвертитесь до тех пор, пока в мире будет существовать страдание. А страдание неистребимо, потому что вся органическая жизнь

основана на беспредельном взаимном истреблении живых и чувствующих существ. Сам того не замечая и не желая, Вольтер подвергает себя опасности пасть ниц перед кровожадным Молохом или перед индейским Шивою, на котором надето ожерелье из человеческих костей. Вся беда состоит в том, что вольтеровскую доктрину невозможно *доказать*. Ее можно только *принимать на веру*. Кто может — тот и верь. Кто не может   ну, тот, вероятно, и сам знает, что ему делать.

Прогуливаясь с философскими целями по кунсткамере мироздания, Вольтер, конечно, не мог оставить незамеченным такого слона, как страдание или зло. Вольтер понимал, что этот слон очень опасен для его доктрины, и много было потрачено бесплоднейших усилий на то, чтобы придать проклятому слону сколько-нибудь благопристойную и почтенную наружность. Сначала Вольтер, идя по следам английских мыслителей, Шэфтсбёри, Попа и Болинброка, старался доказать, что зло совсем не существует и что все на свете идет так, как оно должно идти. Тут можно было разыгрывать вариации на ту тему, что страдания дают особенную цену наслаждению и что они так же необходимы в жизни, как темные краски в картине. Метафор и красивых слов можно было набрать довольно, но сама по себе эта позиция была так слаба и неудобна, что Вольтер впоследствии бросил ее и даже самым жестоким образом осмеял жалкие и плоские софизмы тех приторных оптимистов, которые не сумели исправиться и образумиться вместе с ним. Что Вольтер честно и решительно отказался от тех ошибочных мнений, которые он сам защищал очень долго и очень упорно,— это, конечно, делает величайшую честь его прямодушию. Но ни малейшей чести не делает его философской сообразительности то обстоятельство, что для победы над очевидным заблуждением ему понадобился сильный толчок из окружающего мира. Вольтера поразило то знаменитое землетрясение, которое в 1755 году разрушило Лиссабон. Задумываясь над этим ужасным событием, он понял наконец, что зло, существующее в природе, не может быть замаскировано и затушевано никакими сладостными метафорами. Но чтобы додуматься до этих заключений, не было никакой надобности созерцать погибель португальской столицы. Разрушение Лиссабона не прибавило

решительно ничего существенного к тому запасу опыта, которым давно располагали все современники Вольтера, начиная от академиков и кончая деревенскими старухами. Для кого же могла быть новостью та истина, что силы природы очень часто разрушают человеческое благосостояние и посягают на человеческую жизнь? Град, засуха, саранча, наводнения, пожары от грозы, скотские падежи, моровые язвы — все это было достаточно известно всему миру за несколько тысячелетий до лиссабонского землетрясения. Каждая десятина, выбитая градом, каждая хижина, сожженная молниею, каждая телушка, околевшая от заразы, могли бы сказать Вольтеру точь-в-точь то же самое, что прокричало ему разрушение Лиссабона. Вольтер поступил в этом случае так, как обыкновенно поступает толпа. Он прошел спокойно и равнодушно перед тысячами мелких явлений и потом остановился с наивным изумлением перед одним крупным фактом, в котором не было ничего нового и удивительного, кроме величины. Чтобы как-нибудь примирить несомненное существование зла с своею основною доктриною, Вольтер ухватывается обеими руками за будущую жизнь. Наконец умствования утомляют Вольтера, и он смиряется духом. «Вопрос о происхождении зла,— говорит он,— остается неразрешимой путаницей, от которой нет другого спасения, как доверие к Провидению». «Высшее существо сильно,— говорит он в другом месте,— мы слабы, мы так же необходимо ограничены, как высшее существо необходимо бесконечно; зная, что один луч ничего не значит против солнца, я покорно подчиняюсь высшему свету, который должен просветить меня во мраке мира». И давно бы так следовало распорядиться. Незачем было с самого начала портить чистый мед верующего смирения гнусным дегтем философского высокомерия.

Вольтер на старости лет очень сильно воевал с молодыми французскими писателями, дошедшими до крайнего скептицизма. Несмотря на все эти добродетельные усилия, клерикалы и пиетисты всей Европы до сих пор считают Вольтера патриархом и коноводом французских скептиков и материалистов. И надо сказать правду, клерикалы и пиетисты нисколько не ошибаются. На Вольтере воспитывались все молодые люди, способные и желавшие решать силами собственного ума высшие вопросы миро-

созерцания. Благодаря литературной деятельности Вольтера те антиклерикальные идеи, которые до того времени переходили потихоньку от одного мыслителя к другому, получили небывалое распространение и сделались общим достоянием всей читающей Европы. По милости Вольтера сомнение проникло в тысячи свежих и пылких голов. Всех своих читателей Вольтер хотел привести к всеобщей терпимости и остановить на точке зрения деизма. Первая цель была достигнута, но вторая была недостижима; всякое движение идет обыкновенно гораздо дальше, чем того желал первый коновод; каждое движение обыкновенно вырывается из рук первого защитника, который очень часто становится тормозом и при этом почти никогда не достигает своей цели, если только движение с самого начала было серьезно и соответствовало действительным потребностям времени и данного общества. В числе тех многих тысяч, которые восхищались остроумием вольтеровских памфлетов против католицизма, непременно должно было оказаться хоть несколько десятков серьезных, сильных и последовательных умов. Для этих умов очень скоро сделались невыносимыми те внутренние противоречия, на которых Вольтеру угодно было благодушно почивать, как на победных лаврах. Эти умы не могли переваривать ту неестественную смесь поклонения авторитету и знания, которою упивался Вольтер. Им надо было что-нибудь одно — или credo quia absurdum [28], или отрицание всего того, что не может быть положительно доказано. Им надо было или воротиться к положительным верованиям, или миновать всевозможные Геркулесовы столбы и выйти в открытый океан совершенно свободного и строго реального исследования. За погибшие души этих людей должен отвечать популяризатор Вольтер, потому что он первый взбунтовал их против клерикалов, у которых в это время, также по наущению Вольтера, была отнята возможность придерживать и придавливать человеческую мысль благонадежными мерами спасительной строгости. Виновность Вольтера нисколько не уменьшается тем обстоятельством, что он не одобрял крайних выводов, добытых его учениками. Поставивши этих учеников в такое положение, в котором не могут удержаться сильные и последовательные умы, Вольтер обязан отвечать за все дальнейшие умозрения французских мыслителей. Деизм Вольтера составляет только станцию на дороге к дальнейшим выводам Дидро, Гольбаха и Гельвеция.

VI

Чтобы составить себе понятие о громадных заслугах Вольтера, надо судить его не как мыслителя, а как практического деятеля, как самого ловкого из всех существовавших до сих пор публицистов и агитаторов. Вольтер особенно велик не теми идеями, которые он развивал в своих книгах и брошюрах, а тем впечатлением, которое он производил на своих современников этими книгами и брошюрами. Силою этого впечатления Вольтер сделал Европе такой подарок, которого цена растет до сих пор и будет увеличиваться постоянно с каждым столетием. Вольтер подарил Европе ее общественное мнение. Он, целым рядом самых наглядных примеров, показал европейским обществам, что их судьба находится в их собственных руках и что им стоит только размышлять, желать и настаивать для того, чтобы управлять по своему благоусмотрению всем ходом исторических событий, крупных и мелких, внешних и внутренних. Вольтер открыл европейским обществам тайну их собственного могущества. Вольтер доказал Европе, что она может и должна быть живою, деятельною и самосознательною личностью, а не мертвым и пассивным материалом, над которым различные канцелярии, дипломаты и полководцы обнаруживают свои таланты и производят свои эксперименты. Что же именно делал Вольтер для того, чтобы разрешить эту громадную задачу, от решения которой зависит дальнейшая постановка всех прочих общественных задач? — Вольтер писал, но писал так, как до него не умели и не смели писать; он затрогивал такие вопросы, к которым никто из его современников не мог относиться равнодушно; он разработывал эти вопросы таким неотразимо увлекательным образом, что его читали десятки, а может быть, и сотни тысяч людей. Знаменитость Вольтера росла и выросла, наконец, до таких размеров, до которых никогда, ни прежде, ни после, не доходила известность простого писателя. «Русская императрица, — говорит Кондорсе в биографии Вольтера, — короли прусский, датский, шведский старались заслужить похвалу Вольтера и поддерживали его благие дела; во всех странах вельможи, министры, стремившиеся к славе, искали одобрения фернейского философа (Вольтера) и доверяли ему свою наде-

жду на успехи разума, свои планы распространения света и уничтожения фанатизма. Во всей Европе он основал союз, которого он был душой. Воинственным криком этого союза было: «разум и терпимость!» Совершена ли была где-нибудь большая несправедливость, оказалось ли кровавое преследование, нарушалось ли человеческое достоинство,— сочинение Вольтера перед всей Европой выставляло виновных к позорному столбу. И как часто рука притеснителей дрожала от страха перед этим верным мщением».— Цитируя эти слова Кондорсе, Геттнер говорит, что они совершенно справедливы. Итак, сила Вольтера была очень велика. Но эта сила была основана исключительно на доверии и сочувствии читающего общества. Значит, чем выше поднимался Вольтер, тем больше весу приобретали мнения и желания общества. *Рука притеснителей дрожала,* очевидно, не перед Вольтером. Вольтер был только докладчиком, а судьею являлась читающая Европа. Но для того, чтобы этот суд был действительно страшен для притеснителей, надо было, чтобы голос докладчика во всякую данную минуту находил себе десятки тысяч внимательных слушателей. Чтобы вызвать к жизни общественное мнение и чтобы постоянно поддерживать его деятельность там, где оно еще не привыкло вмешиваться постоянно в общественные дела и где весь строй существующих учреждений враждебен такому вмешательству,—необходима необыкновенная сила таланта и непоколебимая твердость убеждений со стороны того человека, который, при таких невыгодных условиях, осмеливается принять на себя великие обязанности публициста. Сосредоточивши на себе внимание всей Европы, Вольтер сделал возможным существование общественного мнения, затем он сам сделался руководителем этого вновь созданного общественного мнения и показал, что общество может и обязано контролировать и судить своих опекунов. А что такое общество? Вы, я, наши братья и сестры, дяди и тетки, отцы и матери, родственники и знакомые, родственники родственников и знакомые знакомых и так далее — вот вам и общество. Каждый из нас порознь слабее первого встречного полисмена. Но все мы вместе непобедимы и неотразимы. Судите же теперь, какою глубокою благодарностью обязаны мы тем великим людям, которые соединяют нас между собою обаятельною силою живого

и горячего слова и которые, сплотивши нас в одну громадную и неотразимую лавину, ведут и направляют нас туда, где мы можем спасать наших братьев или увеличивать и упрочивать нашими приговорами наше собственное материальное и умственное благосостояние. Величайшим из этих великих людей надо признать Вольтера, потому что он первый соединил и повел за собою читающую Европу к светлому будущему, и еще потому, что после его смерти, в продолжение 88 лет, не появлялось ни одного человека, который был бы равен ему по глубине и обширности своего влияния.

Когда во время революции прах Вольтера был перенесен в Пантеон, тогда пьедестал его памятника получил следующую надпись: «Тени Вольтера. Поэт, историк, философ, он расширил пределы человеческого ума и научил его быть свободным. Он защитил Каласа, Сирвана, де ла Барра и Монбальи, он сражался с атеистами и с фанатиками; он внушал терпимость; он отстаивал права человека против феодального рабства». Защищение Каласа и других подсудимых поставлено наряду с самыми замечательными подвигами Вольтера. Так оно и должно быть. Роль Вольтера в этих четырех уголовных процессах имеет громадное общественное значение, не говоря уже о том, что она делает величайшую честь человеколюбию и великодушию Вольтера. Вмешательство Вольтера в первый раз показало всей Европе, что над высшими трибуналами есть еще одна инстанция, которая может пересматривать и кассировать приговоры, судить и осуждать недобросовестных или тупоумных судей, оправдывать и реабилитировать невинных, пострадавших от судейской оплошности или злонамеренности. В Тулузе сын Жана Каласа, Марк Антон, повесился в доме своего отца. Жан Калас был протестант, а Тулуза — населена самыми ревностными католиками. Наперекор всякому здравому смыслу и правдоподобию, какой-то негодяй распустил в городе слух, что Марк Антон повешен своими родителями за намерение перейти в католицизм. Самоубийцу превратили в мученика. Труп его, выставленный в церкви, стал творить чудеса. Семейство Каласов попало в тюрьму, было заковано в цепи и отдано под суд. Не имея никаких доказательств, кроме народного говора и чудес святого самоубийцы, тулузский парламент приговорил Жана Каласа,

72-летнего старика, к колесованию. Приговор был приведен в исполнение. Дети Каласа разосланы по монастырям и обращены силою в католицизм. Имение казненного конфисковано, и вдова его осталась одна, без земли и без средств к существованию. Значит, правосудие удовлетворено, и дело кончено. Некому поднимать его и некуда его вести дальше. Тулузский парламент — верховное судебное место, и приговоры его, не нуждаясь ни в чьей конфирмации, не могут быть оспариваемы правильным апелляционным порядком. Но Вольтер впутывается в этот, благополучно оконченный, процесс. Вольтеру нет дела до юридической правильности и до канцелярского порядка. Вольтер раскапывает всю историю с самого начала, печатает свое знаменитое сочинение о терпимости[29], излагает в нем процесс Каласа как возмутительный пример католического фанатизма, доведенного до людоедства, пишет письма к знаменитым адвокатам, к министрам, к государям, словом, работает за Каласов неутомимо и бескорыстно целые три года, и все это делает Вольтер, кумир всей мыслящей Европы, слабый и больной семидесятилетний старик. А ему-то что за дело? Что он за обер-прокурор? По какому праву мешает он тулузскому парламенту колесовать, с соблюдением всех законных формальностей, тех французов, которые, живя в Тулузе, имеют безрассудство не нравиться ему, всесильному тулузскому парламенту? Такие вопросы предлагались, конечно, многими непоколебимыми приверженцами спасительной юридической правильности, и на такие вопросы пылкие обожатели фернейского философа отвечали, по всей вероятности, что Вольтер, по праву мыслящего человека и честного гражданина, обращается к верховному суду общественного мнения и требует от французской нации, чтобы она защищала своих детей от произвола парламентских советников, ослепленных религиозною ненавистью или запуганных криками фанатической уличной толпы. Подобные разговоры велись везде, где люди умели читать и понимать французские книги, а в Париже эти разговоры велись так громко, что государственный совет предписал тулузскому парламенту выслать документы по делу Каласа. Весь процесс был пересмотрен, и приговор тулузского парламента объявлен несправедливым. Почти в одно время с Каласом попал под суд протестант Сирван, которого,

также без малейшего основания, подозревали в том, что он утопил в колодце свою дочь, насильно обращенную в католицизм местным епархиальным начальством. Сирван имел довольно верное понятие о французском правосудии и постарался убежать. Его заочно приговорили к смерти. Имение его конфисковали. «Вольтер,— говорит Геттнер,— и здесь явился защитником и мстителем. Правительства бернское и женевское, русская императрица, короли польский, прусский и датский, ландграф гессенский, герцоги саксонские по вызову Вольтера прислали несчастному семейству богатую помощь. Вольтер обратился прямо к тулузскому парламенту, который опять по закону был высшей судебной инстанцией в деле Сирвана; исход процесса Каласа дал перевес свободномыслящей партии, и Сирван был оправдан». Семнадцатилетнего мальчика де ла Барра обвинили в том, что он будто бы вместе со своим товарищем д'Эталлондом изломал и опрокинул деревянное распятие, стоявшее на мосту в городе Аббевиле. Прямых улик не оказалось; но зато нашлись добрые и благочестивые люди, которые припомнили с сокрушением сердца, что однажды де ла Барр и д'Эталлонд, встретившись с процессиею, не сняли перед нею шляп и что, кроме того, де ла Барр как-то раз у себя на квартире пел легкомысленные куплеты, направленные против чести святой Марии Магдалины. Показания добрых и благочестивых людей решили участь безрассудных молокососов. Считая их преступление вполне доказанным, суд приговорил де ла Барра к колесованию, что и было исполнено в 1765 году. Д'Эталлонду же было оказано некоторое снисхождение. Суд приказал вырезать у него язык и отрубить ему руки. Д'Эталлонд не пожелал воспользоваться этими милостями и ухитрился бежать. Прибежал он прямо к Вольтеру, к общепризнанному и возлюбленному патриарху всех европейских вольнодумцев. Тут он с откровенностью ребенка рассказал все подробности дела. Вольтер препроводил д'Эталлонда в Пруссию и рекомендовал его Фридриху II, который принял его к себе на службу и дал ему офицерский чин. Вольтер, с своей стороны, в превосходном мемуаре раскрыл перед читающею Европою все закулисные пружины той грязной интриги, которая погубила де ла Барра. Эти пружины состояли в том, что один влиятельный господин, Белле-

валь, начал строить куры тетке де ла Барра, настоятельнице женского монастыря. Получивши на свои авансы презрительный отказ, Беллеваль решился мстить и направил на молодого ветреника де ла Барра всех клерикалов и тартюфов города Аббевиля и его окрестностей. В результате получилось колесование. Старуха Монбальи выпила не в меру и умерла от апоплексического удара. Зеваки и сплетники города Сент-Омера увидали в этой скоропостижной смерти следы насилия и взвели подозрение на сына покойницы и на его жену. Подозрительные личности были арестованы и отданы под суд. Доказательств не нашлось никаких, но судьи, стремясь к исправлению общественной нравственности, не пожелали останавливаться на разных мелочных соображениях и смело приговорили обоих обвиненных к мучительной казни. Монбальи колесовали и сожгли, но казнь его жены была отложена по случаю ее беременности. В это время Вольтер послал мемуар об этом деле в министерство. Процесс пересмотрели, казненного Монбальи объявили невинным. Жену его, приговоренную к смерти, освободили.

Эти четыре процесса следовали один за другим, с очень короткими промежутками времени. Самый ранний из них, процесс Каласа, был решен в 1762 году и перерешен в 1765 году. Самый поздний, процесс Монбальи, разыгрался в 1770 году. Едва успевало утихнуть волнение, возбужденное в обществе одним вопиющим насилием, как начинались немедленно толки о новой, такой же очевидной и возмутительной несправедливости. В течение восьми лет раскрылось четыре юридические убийства, и высшие государственные власти заодно с общественным мнением страны, официально признали их убийствами. Два из этих убийств были совершены на юге Франции и два на севере. Значит, суды были одинаково ревностны, проницательны и справедливы на всем пространстве французской территории. Четыре гадости были открыты по инициативе частного человека, дряхлого и больного старика. Но сколько же гадостей оставалось в неизвестности? Сколько их совершилось в последние десятилетия? Сколько еще совершится в ближайшие двадцать или тридцать лет? И кто может сказать наверное, что эти будущие гадости не обрушатся ни на него, ни на его ближайших родственников и друзей? Ведь нельзя же в самом

деле тащить все решенные процессы Вольтеру, да и сам Вольтер все-таки не способен воскрешать своими защитительными мемуарами колесованных и сожженных людей. Питая свой дух такими мрачными и неуспокоительными размышлениями, каждый француз, способный подмечать и обобщать явления общественной жизни, должен был прийти к тому результату, что суды его родины, как две капли воды, похожи на аулы предприимчивых горцев, которые, без малейшей опасности для самих себя, распространяют ужас и опустошение по всем окружающим местностям. После этого нетрудно было добраться и до того практического заключения, что общество, уже возвысившееся до самосознания, обязано из чувства самосохранения сосредоточить все свои силы против этих воинственных аулов и против всего того, что поддерживает и упрочивает их существование.

Вступаясь за мучеников французского правосудия, Вольтер не развивал никаких отвлеченно широких теорий. Он просто и спокойно проводил самые широкие теории в действительную жизнь. Он не рассуждал о souveraineté du peuple[30] Он прямо и решительно прикладывал ее к делу. Он не проповедовал против старого зла, а фактически уничтожал его. Процессы Каласа и всех других вольтеровских protégés нанесли старому порядку более жестокие удары, чем могли бы то сделать десятки томов самой тонкой, остроумной и разрушительной теоретической критики. Защитительные мемуары Вольтера были уже не словами, а делами. Это уже не подготовление переворота, а настоящее его начало. Здесь живая сила общественного мнения, живая воля мыслящего и энергического народа действительно, на самом деле, стала выше всех существующих законов. С этой минуты эти старые, средневековые законы могут уже считаться отмененными. Затем остается только облечь совершившийся факт в юридическую форму. Об этом уже позаботились деятели Учредительного собрания, открывшего свои заседания через одиннадцать лет после смерти Вольтера. Блестящую кампанию, открытую Вольтером против старых французских судов, тесно связанных со всею совокупностью старых общественных учреждений, — закончил достойным образом Бомарше, знаменитый автор «Севиль-

ского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро». Бомарше находился в гораздо менее выгодном положении, чем Вольтер. Во-первых, Вольтер был знаменитейшим человеком во всей Европе, а Бомарше, вступая в борьбу с парижским парламентом, был еще совершенно неизвестен. Во-вторых, Вольтер вступался за других, а Бомарше за самого себя. В-третьих, вольтеровские процессы были процессами уголовными: тут шло дело о человеческой жизни и о чести целых семейств; тут являлись в виде декораций и атрибутов цепи, застенки, орудия пытки, костры и виселицы; тут было чем расшевелить в читающей публике любопытство, сочувствие и негодование. Процесс Бомарше, напротив того, был простым тяжебным делом, возникшим из-за незначительной денежной суммы и запутанным происками и интригами обеих состязавшихся сторон. Бомарше по-настоящему, при обыкновенных условиях, не мог бы даже рассчитывать на сочувствие публики, потому что он сам был далеко не прав, хотя, разумеется, противники его были еще более виноваты. Но ненависть общества ко всем частям старого государственного порядка была так беспредельна, что общество все простило смелому Бомарше и тотчас превратило его в героя и в великого деятеля, как только оно увидело в нем человека, способного наносить господствующей системе сильные и меткие удары. Дело было вот как. Финансист Дюверне, находившийся в постоянных деловых сношениях с ловким и предприимчивым Бомарше, умирая, признал в своих бумагах, что он остался должен Бомарше пятнадцать тысяч ливров. Наследник Дюверне, граф Лаблаш, вздумал оспаривать этот долг. Бомарше, никогда не отличавшийся уступчивостью, начал процесс в конце 1771 года. В 1772 году дело, решенное первою инстанциею в пользу Бомарше, перешло в парламент, известный в истории под именем парламента Мопу. Это было собрание, произвольно созданное королем Людовиком XV и его министром Мопу; оно заменяло собою парижский парламент, который за свою непокорность королевской власти был уничтожен и отправлен в изгнание[31] Бомарше отправился к докладчику этого парламента, Гезману, но не успел повидаться с ним и окольными путями получил тот благой совет, что для умилостивления докладчика следует поднести подарок его жене. Бомарше с благодарностью при-

нял этот совет и представил госпоже Гезман сто луидоров, золотые часы с алмазами и пятнадцать луидоров для передачи какому-то секретарю. Бомарше, как непобедимый кремень и кулак, вел все это дело с такой циническою откровенностью, что обязал госпожу Гезман отдать назад все сокровища, если процесс будет проигран. Госпожа Гезман, которой подобные объяснения и сделки были нипочем, совершенно согласилась на эти условия. Процесс проигрался, потому что Лаблаш, с своей стороны, порадовал докладчика более убедительным приношением. Бомарше потребовал назад свои дары. Madame Гезман отдала ему часы и сто луидоров, но с пятнадцатью луидорами она почему-то ни под каким видом не хотела расстаться. Бомарше, взбешенный донельзя проигрышем процесса, тотчас же так громко разблаговестил скандальную историю о луидорах, что сам Гезман очутился в очень неудобном и опасном положении. Гезман решился на отчаянный маневр. Решительно отрицая всю историю о часах и о деньгах, он подал в парламент форменную жалобу на Бомарше как на клеветника. Теперь Бомарше очутился в тисках: если с его стороны не было клеветы, то, значит, была попытка подкупить членов суда. Альтернатива была печальная. Дело, как видите, пакостное во всех своих подробностях. Бомарше вышел из этого дела победителем, героем, мучеником, любимцем всей Европы, добродетельным Цицероном и чуть-чуть не отцом отечества. «Бомарше,— говорит Геттнер,— обратился к публике с четырьмя мемуарами. Неумолимо и с непреклонным мужеством, гневом и одушевлением преследуя врага во всех его убежищах и укреплениях, остроумный до наглости и шутовства и в то же время доходящий в нравственном раздражении до истинно поразительной возвышенности, он приводит целое общественное мнение в самое живое движение, делает свой интерес интересом всех, становится мстителем нарушенной справедливости и с проницательностью злобы выставляет все те страшные интриги и преступления, от которых страдало тогда французское правосудие. Впечатление, произведенное этими мемуарами, прошло все слои населения, даже всю Европу. Первый мемуар в первые же два дня продан был в числе десяти тысяч экземпляров; со второго мемуара его процесс сделался, как тогда выражались, la cause

de la nation[32], можно даже сказать, процессом всего образованного мира». В своем четвертом мемуаре Бомарше высказал уже самым категорическим образом, как общепризнанную истину, мысль о верховном господстве нации. «La nation,— говорит он,— n'est pas assise sur les bancs de ceux qui prononcent; mais son oeil majestueux plane sur l'assemblée. Si elle n'est jamais le juge des particuliers, elle est en tout temps le juge des juges» («Нация не сидит на скамьях тех людей, которые произносят приговоры; но ее величественный взор носится над собранием. Если она никогда не бывает судьею частных лиц, то она всегда бывает судьею судей»). Кажется, ясно и выразительно. Слышатся даже ноты той вкрадчивой лести державному народу, без которой впоследствии не могла обойтись ни одна речь революционных ораторов. А между тем, когда Бомарше писал свой четвертый мемуар, тогда еще жили на свете старики, помнившие век того короля, который считал себя государством. К числу этих стариков принадлежал и сам Вольтер. Все расстояние от чисто турецкого деспотизма до самодержавия народа было пройдено двумя поколениями. Крупные то были люди! Умели они и веселиться, и работать. Парламент Мопу в начале 1774 года приговорил к ошельмованию (blâme) как госпожу Гезман, так и ее противника Бомарше. Ошельмование это влекло за собою потерю всех гражданских прав и состояло в том, что осужденного ставили на колени, а президент произносил во всеуслышание установленную формулу: «la cour te blâme et te déclare infâme» («суд шельмует тебя и объявляет тебя бесчестным»). Собственно говоря, решение парламента было совершенно справедливо; он ошельмовал одну сторону за то, что она брала взятки, а другую за то, что она их предлагала. Мудрее этого и Соломон ничего бы не придумал. Но французской нации было в то время не до мудрости парламентских советников и не до справедливости отдельных приговоров. Нация стремилась в то время всею силою своих мыслей и желаний к полному обновлению всех своих учреждений и к неограниченному господству над всеми отправлениями своей жизни. Когда, находясь в таком напряженном ожидании грядущих событий, нация слышала сильную и верную музыку, тогда нация называла музыканта героем и великим деятелем, нисколько не осведомляясь о том,

ведет ли этот драгоценный музыкант трезвую и целомудренную жизнь. Нация была права в своем инстинкте. Когда целое общество переживает тяжелый и мучительный кризис, тогда тихие добродетели частной жизни отступают на самый задний план, оставляя поле действий совершенно открытым для тех могучих и блестящих дарований, от которых зависит решение великой общественной задачи, поставленной на очередь медленным и грозным течением исторических событий. Поэтому немудрено, что нация совершенно забыла проступок Бомарше и запомнила только его великолепные мемуары. «Бомарше,— говорит Геттнер,— явился перед судом; но общественное мнение сделало из осуждения Бомарше осуждение парламента. Бомарше получил бесчисленное множество визитов. На другой же день после осуждения принц Конти пригласил заклейменного на блистательный пир. «Nous sommes,— говорил принц в своем письме,— d'assez bonne maison pour donner l'exemple à la France de la manière dont on doit traiter un grand citoyen tel que vous» («Мы из достаточно хорошего дому, чтобы подать Франции пример, каким образом следует обращаться с великим гражданином, подобным вам»). Везде, куда ни показывался Бомарше, он принимаем был с восторженными криками. Парламент Мопу не мог долго сопротивляться этому удару. Нападения в стихах и прозе становились все многочисленнее и сильнее. Он влачил свое существование еще несколько месяцев, презираемый и гонимый всеми».

Принц королевской крови Конти не умел составить себе даже и приблизительного понятия о том результате, к которому ведет блистательная деятельность великих граждан, подобных Бомарше. В простоте своей доброй души принц Конти во всем этом деле не видел ничего, кроме чувствительного поражения, нанесенного парламенту Мопу. Принц решительно не понимал того, что общество, узнавшее свою собственную силу и сломившее этою силою одно из важнейших государственных учреждений, войдет во вкус и будет подавлять своим могуществом все то, что не соответствует его потребностям. Райское простодушие высшей французской знати, простодушие, до которого наш испорченный век уже не может возвыситься, выразилось еще рельефнее по поводу того

же великого гражданина в деле о его знаменитой комедии «Свадьба Фигаро». Комедия эта была окончена в 1781 году. Слухи и толки о ней ходили по всему Парижу. Бомарше читал ее во многих аристократических отелях. Слушатели были в восторге. Но Людовик XVI решительно не позволял этой комедии появиться на сцене. Бомарше три года интриговал против этого запрещения и, наконец, победил сопротивление короля, и, разумеется, победил только потому, что короля осадили со всех сторон просьбами и воплями — королева, принцы и принцессы, которым чрезвычайно желательно было посмотреть, каким образом Фигаро, при всей парижской публике высших и низших сортов, будет отделывать своими убийственными насмешками привилегию дворянства и все закоренелые несообразности старого феодального порядка. Геттнер замечает очень основательно, что «теперь никакая театральная цензура не потерпела бы подобной пьесы». Комедия была дана в первый раз 27 апреля 1784 года. И затем театральная дирекция в продолжение десяти недель каждый день просвещала добрых парижан «Свадьбою Фигаро». Примеру Парижа последовали театры всех больших и маленьких провинциальных городов. Словом, по милости принцев и принцесс критика старых учреждений сделалась доступною всем французам, имевшим возможность заплатить какой-нибудь четвертак за место в театральном райке. Все эти французы увидели ясно, до какой степени все они единодушны в своей ненависти к старому злу. Все они почувствовали и поняли, что учреждения, осужденные и осмеянные целою нациею, не могут существовать. А между тем принцы и принцессы продолжали простодушничать. 19 августа 1785 года они сами разыграли «Свадьбу Фигаро» в Малом Трианоне. Королева Мария-Антуанетта исполнила роль Розины; а граф д'Артуа, будущий король Карл X, изобразил Фигаро и очень мило осмеял все то, на чем основывалось его собственное величие и благосостояние. Эти люди утешались такими забавами за *четыре года* до того переворота, который одних повел на эшафот, а другим приготовил разорение и двадцатилетнее изгнание.

VII

В течение всей второй половины XVIII века внимание французского общества сосредоточивается почти исключительно на литературе, и притом преимущественно на серьезных ее отраслях. Героями дня и властителями дум являются писатели. У французов в это время нет ни великих полководцев, ни смелых преобразователей, ни даже благоразумных правителей. Франция Людовика XV гордится только своими книгами. Книг у нее действительно очень много; они быстро и безостановочно появляются одна за другою; они покупаются и читаются нарасхват; они обсуживают с самых различных сторон самые важные и интересные вопросы; они говорят о религии и о нравственности, о природе и о человеке, о государстве и обществе, о правах и обязанностях, о душе и об умственных способностях, об английской конституции и о республиканских добродетелях, о земледелии и промышленности, о собственности и о распределении богатств. По всем этим вопросам книги поражают своих читателей смелостью и неслыханностью суждений, которые, при всем своем разнообразии, оказываются все до одного совершенно непримиримыми с общеобязательным кодексом традиционных доктрин и с укоренившимися формами государственной и общественной жизни. Удар следует за ударом. Под этими ударами падают одно за другим, в самых различных областях знания, коренные заблуждения, на которых выросли и сложились любимые привычки, условные идеалы, игрушечные радости и копеечные огорчения читающего общества. Каждый удар вызывает бурю разнородных страстей то в обществе, то в правительственных сферах; и без какого-нибудь удара не проходит почти ни одного года, так что умы читателей находятся в постоянном напряжении и в безвыходной тревоге. Чтобы составить себе некоторое понятие о том обилии сильных умственных впечатлений, которое переживала тогдашняя публика, и о той быстроте, с которою самые разнообразные впечатления сменяли и теснили друг друга,— надо посмотреть, в каком хронологическом порядке появлялись на свет самые замечательные произведения отрицательной философии. Я буду называть только те сочинения, которые вошли в историю литерату-

ры, и вошли не столько за свое абсолютное достоинство, сколько за свое историческое значение. Стало быть, мы здесь будем иметь дело только с такими книгами, которые в свое время произвели на читателей сильное и глубокое впечатление.

В 1748 году Монтескье издает «L'esprit des lois» («Дух законов»), в котором превозносит до небес английскую конституцию, совершенно непохожую на учреждения старой французской монархии и составляющую для Франции самую недостижимую из всех возможных утопий. Книга в полтора года выдерживает *двадцать два* издания.

В том же году Дидро издает свои «Pensées philosophiques» («Философские размышления»). Парламент сжигает эту книгу. Ее тотчас же издают вновь и распространяют тайно.

Вдохновившись *размышлениями* Дидро, Ламетри, около этого же времени, издает в Голландии две книги, проникнутые таким яростным материализмом, которого не может выдержать даже голландское общество и изгоняет Ламетри из своей среды. Непозволительные его книги называются: «Histoire naturelle de l'âme» («Естественная история души») и «L'homme machine» («Человек-машина»).

В 1749 году Дидро издает «Письмо о слепых» («Lettre sur les aveugles») и попадает за него на три месяца в Венсенскую крепость.

В 1749 году Руссо издает «Discours sur les sciences et les arts»[33], в котором он доказывает, что цивилизация развратила человека. Руссо получает премию от Дижонской академии и сразу становится европейскою знаменитостью.

В 1751 году выходит первый том «Энциклопедии»[34].

В 1752 году — второй том «Энциклопедии». Поднимается жестокая буря. Сорбонна осуждает книгу. Парижский архиепископ издает против нее (то есть против книги) пастырское послание. На оба тома накладывают запрещение. Вследствие всего этого «Энциклопедию» покупают и читают, по словам современника и очевидца Барбье, все парижские лавочники и тряпичники.

В 1753 году Дидро издает «Interprétation de la nature» («Истолкование природы»), а Руссо издает «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes» («Рассуждение о причинах и основаниях неравенства между людьми»).

В том же 1753 году выходит третий том «Энциклопедии». Поссорившись с духовенством, правительство стало относиться к этому изданию довольно благосклонно.

В 1754 году Кондильяк издает «Traité des sensations» («Трактат об ощущениях»). Все отправления психической деятельности выводятся из чувственных ощущений. Психология сводится на физиологию нервной системы.

В 1755 году Морелли издает «Code de la nature» («Кодекс природы»). Проект нового общественного устройства. Все люди уравниваются в правах. Детям дается общественное воспитание. Земля и рабочие инструменты составляют общую собственность. Денег нет и быть не должно. Труд обязателен для всех. Труд соразмеряется с силами, а вознаграждение продуктами с потребностями каждого человека по известной формуле: à chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins[35]. Любопытно заметить, что министр Войе д'Аржансон, которому в 1755 году было больше шестидесяти лет, прочитавши «Code de la nature», назвал его *книгою книг* и поставил автора этой книги гораздо выше Монтескье. Это тот самый д'Аржансон, который принес в заседание Королевского совета мужицкий хлеб, испеченный из мякины и коры, и сказал Людовику XV: «Вот, государь, какой хлеб едят ваши подданные!» Король отвечал с большою находчивостью: «Будь я на их месте, я бы давно взбунтовался». — Если книга Морелли подействовала на шестидесятилетнего министра, то нетрудно себе представить, как сильно должна была она поразить более молодых и впечатлительных читателей.

В 1757 году Вольтер издает «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations», книгу, за которую Бокль не совсем основательно называет Вольтера величайшим из всех европейских историков. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что эта книга составляет первый опыт бытовой истории и кладет основание всей новейшей историографии. При этом Вольтер, конечно, не упускает из виду своей любимой идеи, так что всю его книгу можно назвать огромным и убийственно-остроумным памфлетом против суеверия, фанатизма, клерикализма и туманных отвлеченностей.

С 1754 по 1756 год выходят четвертый, пятый и шестой томы «Энциклопедии». Главные редакторы ее, Дид-

ро и д'Аламбер, стараются, не изменяя основной идее, вести дело немного осторожнее.

В 1757 году выходит седьмой том «Энциклопедии», в котором редакторы, ободренные затишьем, действуют смелее. Д'Аламбер пишет к Вольтеру, что седьмой том будет сильнее всех предыдущих. Вольтер кланяется и благодарит, но клерикалы бьют тревогу во всех своих журналах, и правительство принимает их сторону.

В 1758 году Гельвеций издает книгу «De l'esprit» («О разуме»). Из ощущений физической боли и физического удовольствия выводятся все человеческие страсти, чувства и поступки. Эгоизм признается единственным двигателем всякой человеческой деятельности, как самой преступной, так и самой возвышенно-честной и героической. Добром называется то, что согласно с общим интересом, а злом то, что вредит этому интересу и подрывает существование общества. Человек делает добро и зло вследствие одинаковых побуждений, то есть вследствие того удовольствия, которое доставляет или обещает ему данный поступок.— Против этой книги поднимается жестокая буря; иезуиты и янсенисты[36] преследуют ее общими силами; парижский архиепископ совершенно справедливо видит в ней отрицание свободной воли и нравственного закона; Сорбонна повторяет и усиливает эти обвинения; государственный прокурор усматривает в книге Гельвеция собрание самых опасных учений, пущенных в ход «Энциклопедией». Книгою недовольны даже и сами философы; Вольтер, Дидро, Бюффон и Гримм осуждают ее как собрание парадоксов или отзываются о ней насмешливо.

В 1759 году книгу Гельвеция публично сжигают по определению парламента; цензора Терсье, дозволившего ее печатание, отставляют от службы. Между тем книга раскупается; в самое короткое время она выдерживает *пятьдесят* изданий; ее переводят почти на все живые языки Европы. Гельвеций становится европейскою знаменитостью.

В том же 1759 году, через месяц после сожжения книги Гельвеция, следственная комиссия, наряженная по делу об «Энциклопедии», приводит свои работы к благополучному окончанию. Привилегия, выданная от правительства в 1746 году на издание «Энциклопедии», уничтожает-

ся; продажа вышедших и следующих томов запрещается «во внимание того, что польза, приносимая искусству и науке, совершенно не соответствует вреду, приносимому религии и нравственности».

В том же 1759 году Кенэ издал книгу «Essai sur l'administration des terres»[37], которая, вместе с книгою «Tableau économique»[38], изданною в 1758 году, составляет основание теории физиократов, то есть экономистов, старавшихся обратить внимание правительства на земледелие как на единственный источник народного богатства. Этих экономистов можно назвать продолжателями Вобана и Буагильбера. Подобно этим двум писателям, они нисколько не восстают против деспотизма, не требуют никаких конституционных гарантий и желают только, чтобы правительство сделалось хорошим хозяином, понимающим свои собственные интересы. Направление всей школы характеризуется следующими словами, составляющими эпиграф к главному сочинению Кенэ «Tableau économique»: «Pauvres paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi» («Когда бедны мужики, тогда бедно государство; когда бедно государство, тогда беден король»). Средства, предлагавшиеся физиократами для устранения бедности, признаны теперь односторонними и неудовлетворительными; но важное значение этих писателей обусловливается не положительными их проектами, а отрицательною стороною их деятельности; все они твердят обществу постоянно, что Франция бедна и быстрыми шагами идет к окончательному разорению. Эти слова, подкрепленные множеством прилежно собранных фактов, действуют на общество, и действуют так сильно, что уже в 1759 году Вольтер в своих письмах жалуется на охлаждение общества к изящной словесности. «Грация и вкус,— говорит он,— кажется, изгнаны из Франции и уступили место запутанной метафизике, политике мечтателей, громадным рассуждениям о финансах, о торговле, о народонаселении, которые не прибавят государству ни одного экю, ни одного лишнего человека». Надо полагать, что *грация и вкус* прибавляют государству и то и другое!

В 1761 году Руссо издает свой роман «La nouvelle Héloïse»[39] *Грация и вкус* торжествуют, несмотря на успехи экономистов. Роман распродается с беспримерною и не-

вероятною быстротою. Основные мотивы «Новой Элоизы» — любовь, добродетель и сельская природа. Знатные дамы проводят над этим романом целые ночи напролет, забывая о бале, который ожидает их, и о запряженной карете, которая стоит у подъезда. В библиотеке для чтения является такое множество читателей, требующих себе «Новую Элоизу», что плата назначается за чтение этой книги не по дням, а по часам, за час платится по 12 су.

В 1762 году Руссо издает книгу «Emile ou de l'éducation» («Эмиль, или о воспитании»). В этой книге находится знаменитое «Profession de foi du vicaire savoyard» («Исповедание веры савойского викария»), в котором Руссо опровергает клерикалов, с одной стороны, и материалистов, с другой стороны. Блистательный успех, и вместе с тем буря в клерикальных и правительственных сферах. В парламенте начинают говорить, что вместе с книгами следует сжигать и авторов. Книгу сжигают; автора посылают арестовать, но он бежит за границу. Женева, в которой Руссо ищет себе пристанища, гонит его вон. Берн поступает точно так же. Наконец Руссо находит себе приют в княжестве Нёфшательском, которое в то время принадлежало Пруссии. Между тем от всех этих преследований цена «Эмиля» быстро растет. Книга, стоившая сначала восьмнадцать ливров, продается за два луидора. Ее перепечатывают в Голландии и распространяют в бесчисленном множестве экземпляров. Один офицер, увлеченный идеями «Эмиля», стремится бросить службу и учиться столярному ремеслу. Сам Руссо отклоняет его от этого намерения. Начитавшись «Эмиля», знатные барыни начинают сами кормить своих детей. Это кормление входит в моду и производится в гостиных собственно для того, чтобы посторонние мужчины видели, во-первых, сокровища материнской нежности, а во-вторых, красоту обнаженной груди. В том же 1762 году Руссо издает книгу «Du contrat social ou principes du droit politique» («Об общественном договоре, или принципы государственного права»). Этою книгою Руссо кладет основание республиканской школе, так точно как Монтескье своим «Духом законов» положил основание конституционной школе. «Contrat social» сделался впоследствии настольною книгою Робеспьера и был положен в основание той конституции, которую выработал Конвент в 1793 году. «Эмиль» и «Обществен-

ный договор» доставили своему автору громадную популярность. «Трудно выразить,— писал Юм из Парижа в 1765 году,— даже вообразить народный энтузиазм к нему. Никто никогда не обращал на себя в такой степени народное внимание. Вольтер и все другие совершенно затемнены им». В том же 1762 году Вольтер написал свое сочинение о *терпимости* в защиту казненного Каласа. О впечатлении, произведенном этою книгою на весь образованный мир, уже было говорено выше.

В 1764 году правительство запрещает издание каких бы то ни было сочинений по вопросам, касающимся государственного управления.

В 1766 году выходят последние десять томов «Энциклопедии». Клерикалы плачут и шумят. Правительство сажает книгопродавцев на неделю в Бастилью. Продажа книги продолжается. Министр Шуазель и директор книжной торговли Малерб тянут руку энциклопедистов и успевают разными придворными хитростями склонить короля к снисходительности. Правительство решается смотреть сквозь пальцы на продажу «Энциклопедии», которая расходится великолепно. Уже в 1769 году было распродано *тридцать тысяч* экземпляров, и чистый барыш книгопродавцев-издателей дошел до 2 630 393 ливров, несмотря на то, что печатание стоило 1 158 958 ливров.

В том же 1766 году Гурнэ издал книгу «Essai sur l'esprit de la législation favorable à l'agriculture» («Опыт о духе законодательства, благоприятного для земледелия»). Гурнэ принадлежит к одному лагерю с Кенэ. Это опять рассуждения о финансах, о бедности и о народном хозяйстве, рассуждения, совершенно враждебные *грациям и вкусу.* Это — протесты против барщины, против обременительных налогов, против цеховых стеснений, против внутренних таможен, против мелочной и произвольной правительственной регламентации.

В 1767 году правительство угрожает смертною казнью каждому писателю, которого сочинения клонятся к волнованию умов. В то же время писателям запрещается, под страхом смертной казни, рассуждать о финансах.

В том же 1767 году Мерсье де ла Ривьер издает книгу «L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques» («Естественный и необходимый порядок гражданских обществ»). Автор обсуживает, с точки зрения физиократов, всевоз-

можные вопросы государственного управления и народного хозяйства. Правительственные запрещения и угрозы остаются мертвою буквою.

В 1768 году Кенэ издает книгу «Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain» («Физиократия, или естественное устройство правления, самого выгодного для человеческого рода»). Задача поставлена широко, и на запрещения правительства обращается мало внимания.

В том же 1768 году Гольбах издает книгу «Lettres à Eugenie ou préservatif contre les préjugés» («Письма к Евгении, или предохранительное средство против предрассудков»). Эта книга, подобно всем остальным сочинениям Гольбаха, выходит в свет без имени автора, потому что все произведения этого писателя проповедуют такой необузданный материализм, который приводит в ужас даже многих философов вольтеровской школы.

В 1770 году Галиани издает «Dialogues sur le commerce des blés» («Диалоги о хлебной торговле»). Здесь начинается полемика с физиократами, которые сосредоточивали все свое внимание на земледелии. Галиани выдвигает вперед вопрос о промышленном труде и о фабричном работнике. В книге Галиани заключаются уже, по мнению Геттнера, зародыши новейшей социальной науки.

В 1770 году Гольбах издает книгу «Système de la nature» («Система природы»). Бокль считает появление этого сочинения важною эпохою в истории Франции. Об этой книге принято говорить не иначе, как с добродетельным ужасом и негодованием. Даже Гете, который никогда не был ни клерикалом, ни даже деистом, говорит, что он едва мог выносить присутствие этой книги и содрогался перед нею, как перед привидением. Вольтер, Фридрих Великий и д'Аламбер были глубоко возмущены «Системою природы». Вольтер старался уничтожить ее серьезными аргументами и легкими сарказмами. Однако же книга устояла, и сам Вольтер был принужден признаться печатно, что она распространена во всех классах общества и что ее читают ученые, невежды и женщины. Из всех первоклассных деятелей французской литературы только один Дидро совершенно одобрил книгу Гольбаха.

В 1773 году Бомарше печатает свои защитительные мемуары. Их сжигает палач, и, разумеется, они вследствие этого раскупаются с удвоенною быстротою.

В 1774 году Тюрго, самый замечательный из физиократов, издает свои «Recherches sur la nature et l'origine des richesses» («Исследование о природе и происхождении богатств»).

В 1775 году Бомарше ставит на сцену «Севильского цирюльника», в котором плебей Фигаро дурачит и осмеивает знатных господ.

В 1776 году Мабли издает книгу «De la législation ou principes des lois» («О законодательстве, или принципы законов»). Все люди, по мнению Мабли, имеют одинаковое право развивать свои способности и наслаждаться своим существованием. Кто удерживает для самого себя излишек, необходимый для жизни его ближнего, тот, по мнению Мабли, вносит в общество понятие войны, извращает божественный порядок мира и оказывается безбожником.

В 1778 году старик Вольтер приезжает в Париж. Его встречают так, как не встречали никогда владетельных особ. Демонстрации парижан до такой степени замечательны и так ярко характеризуют тогдашнее настроение умов, что я считаю необходимым привести здесь слова очевидца Гримма, внесенные Геттнером в его «Историю литературы XVIII века».

Сегодня, 31 марта, знаменитый старик в первый раз был в академии и в театре. Огромная толпа людей следовала за его экипажем даже во дворы Лувра, желая его видеть. Все двери, все входы академии были заняты; поток раскрылся только, чтобы дать ему место, и потом быстро сомкнулся снова и с громкой радостью приветствовал его. Вся академия вышла ему навстречу в первую залу — честь, которой не получал еще никто из ее членов, даже никто из иностранных государей. Ему назначили место директора и выбрали его единогласно директором... Когда он ехал от Лувра к театру, это было совершенно похоже на триумф. Все было переполнено людьми обоего пола, всякого возраста и звания. Едва только показывалась вдали карета, раздавался всеобщий радостный клич; с приближением его восклицания, аплодисменты и восторг удвоивались. Наконец, когда толпа видела уже почтенного старика, отягощенного столькими годами, столькой славой, видела, как он, поддерживаемый с обеих сторон, выходил из экипажа, умиление и удивление достигали высшей степени. Все улицы, все балюстрады домов, лестницы, окна были усыпаны зрителями, и едва останавливалась карета, как все лезло на колеса и на экипаж, чтобы посмотреть вблизи на знаменитого человека. В самом театре, где Вольтер вошел в камергерскую ложу, суматоха радости, казалось, стала еще больше. Он сидел между г-жой Дени и г-жой

де Виллет. Знаменитейший из актеров, Бризар, подал дамам лавровый венок с просьбой увенчать им старика. Но Вольтер тотчас положил венок в сторону, хотя публика громкими криками и рукоплесканиями заставляла его оставить венок на голове. Все дамы стояли. Вся зала наполнилась пылью от передвижения человеческой массы. Только с трудом можно было начать пьесу... Когда занавес упал, шум поднялся снова. Старик встал с своего места, чтобы благодарить, и тогда посреди сцены явился на высоком пьедестале бюст великого человека; его окружили все актеры и актрисы с венками и гирляндами из цветов; на заднем плане стали воины, выходившие в пьесе. Имя Вольтера раздавалось из всех уст; это было восклицание радости, благодарности и удивления; зависть <и> ненависть, фанатизм и нетерпимость должны были скрыть свою злобу, и общественное мнение в первый раз, быть может, высказалось свободно и в полном блеске. Бризар положил на бюст первый венок, за ним следовали другие актеры, наконец г-жа Вестрис обратила к виновнику торжества несколько стихов, написанных маркизом Сен-Марком, которые торжественно высказывали, что лавровый венок дает ему сама Франция. Минута, когда Вольтер оставлял театр, была, если можно, еще трогательнее, чем его вступление. Казалось, он изнемогал под тяжестью лет и лавров. Кучера просили ехать потише, чтобы можно было идти за ним: большая часть народа провожала его с криками: «Да здравствует Вольтер!»

После этого торжества, разумеется, не осталось во всем Париже ни одного блузника, которому было бы неизвестно имя Вольтера и который не имел бы по крайней мере самого общего и неопределенного понятия о его заслугах. Каждый блузник знал по меньшей мере то, что Вольтер — писатель и что писатель своими трудами может сделаться идолом и гордостью целого народа. Это уже очень важно и многознаменательно, когда одно имя повторяется с благоговением во всех слоях общества.

Через два месяца после своего триумфального шествия Вольтер умирает. Во избежание всяких выразительных демонстраций правительство на несколько времени запрещает актерам играть драмы Вольтера и не позволяет журналистам упоминать о его смерти.

Между тем события идут своим чередом, и положение с каждым годом становится более напряженным. Я закончу мой хронологический перечень следующими тремя фактами.

В 1781 году министр Неккер печатает свой «Compte rendu» («Отчет») о состоянии французских финансов. Отчет этот клонился к тому, чтобы сломить сопротивление привилегированных классов и самого короля давлением общественного мнения. Поэтому этот отчет имеет чисто

обличительное направление и производит на общество потрясающее впечатление. Более 6000 экземпляров раскупается в первый же день; а потом постоянная работа в двух типографиях не успевает удовлетворять всех требований из столицы, из провинций и из-за границы. Отчет Неккера лежит в кармане у каждого аббата и на туалете у каждой дамы. Другое сочинение Неккера «Administration des finances»[40] расходится в 80 000 экземпляров.

27 апреля 1784 года была дана в первый раз комедия Бомарше «Свадьба Фигаро». «С раннего утра,— говорит Геттнер,— Théâtre Français был осаждаем массами. Знатные дамы обедали в актерских ложах, чтобы обеспечить себе хорошие места; в толпе, как рассказывают достоверные известия, три человека были задавлены. Впечатление было неслыханное в истории сцены. Шестьдесят восемь представлений даны были без перерыва одно за другим».— Гримм определяет следующим образом значение комедий Бомарше: «Много и верно говорено было о великом влиянии Вольтера, Руссо и энциклопедистов, самый народ мало, однако, читал этих писателей. Но представление «Свадьбы Фигаро» и «Цирюльника» безвозвратно предало правительство, суд, дворянство и финансовый мир на осуждение всего населения, всех больших и маленьких городов».

В 1787 году архиепископ тулузский Ломени де Бриеннь, бывший в то время первым министром, представил парижскому парламенту королевский эдикт, предоставлявший протестантам все те гражданские права, которыми до того времени пользовались только одни католики. Парламент, несмотря на свое тогдашнее оппозиционное настроение, беспрекословно внес эдикт в протокол и придал ему таким образом силу закона. Итак, король, парламент и церковь, в лице архиепископа тулузского, признали необходимость полной веротерпимости. Таким неслыханным чудом Франция была обязана исключительно своей литературе, которая тихо и незаметно переработала все понятия не только в обществе, но даже и в высших правительственных сферах. Людовик XVI был также сыном своего века, и роль Людовика XIV была ему не только не по силам, но и не по убеждениям. Старый порядок опротивел даже и самому королю.

VIII

Сухая и сжатая хроника, наполняющая предыдущую главу, необходима читателю для того, чтобы он мог бросить общий взгляд на всю совокупность разнообразных умственных впечатлений, пережитых читающею Франциею, а вслед за нею и всею мыслящею Европою, во второй половине прошлого столетия. Рассматривая внимательно эту хронику, читатель увидит три различные течения идей — три течения, действовавшие на умы с одинаковою силою и в одно время.

Во-первых, работы экономистов Кенэ, Гурнэ, Мерсье де ла Ривьера и многих других. Эти люди критикуют терпеливо, внимательно и добросовестно те части и отрасли феодального порядка, которые соприкасаются с народным хозяйством и действуют на производительные силы Франции. Этим людям часто недостает ширины взглядов, но зато они всегда превосходно знают те факты, о которых они говорят. Их можно упрекнуть в односторонности, но никогда нельзя заподозрить в поверхностном дилетантизме.

Во-вторых, труды энциклопедистов, продолжающих дело Вольтера и уничтожающих последние основания клерикализма и пиетизма.

В-третьих, деятельность писателей, рисующих яркие картины того всеобщего благополучия, к которому должно стремиться человечество и которое не может быть достигнуто при существовании старых учреждений. Самым сильным представителем этого последнего направления является Жан-Жак Руссо.

Об экономистах я распространяться не буду, во-первых, потому, что для этого пришлось бы вдаваться в очень подробные исследования о хозяйственных нелепостях старой французской монархии, а во-вторых, потому, что уже в 1776 году идеи французских физиократов были совершенно опрокинуты знаменитою книгою Адама Смита о народном богатстве. Так как главное сочинение Кенэ «Tableau économique» вышло в 1758 году, то, стало быть, могущество физиократов продолжалось всего восемнадцать лет. Главная же их ошибка состояла в том, что они видели в земле единственный источник народного богатства и труд земледельца считали единственным произ-

водительным трудом, имеющим право на исключительное поощрение со стороны государства. Слово *физиократия* значит *господство природы.* Французские экономисты прошлого столетия придали своему учению это название потому, что они старались доставить решительное преобладание тем интересам, которые опираются на землю, на почву, на производительные силы самой природы.

Гораздо обширнее было влияние представителей общественных теорий и энциклопедистов. Их идеи глубоко волновали всю Европу и, облекаясь постоянно в новые формы, продолжают действовать и развиваться до нашего времени. Поэтому я считаю необходимым остановиться здесь сначала на деятельности Руссо, а потом на миросозерцании энциклопедистов.

В настоящее время все или почти все мыслящие люди убеждены в том, что человечество постоянно идет вперед, совершенствуется и развивается. Кто признает теорию прогресса, тот знает также, что этот прогресс совершается не по произволу отдельных личностей, а по общим и неизменным законам природы. Но в понимании обеих великих идей — прогресса и законности, надо тщательно избегать двух нелепых крайностей, ведущих за собою самый бессмысленный оптимизм. Человечество подвигается вперед — это верно; но никак не следует думать, что каждый шаг человечества есть непременно шаг вперед и каждое движение — движение к лучшему. Напротив того, человечество подвигается вперед не по прямой линии, а зигзагами; каждый успех покупается ценою многих ошибочных попыток. Правда, что ошибки эти не пропадают совершенно даром; они увеличивают запас опытности; они до некоторой степени предохраняют от ошибок в будущем; но ошибки все-таки остаются ошибками; и в ту минуту, когда нация гонится за призраком или отворачивается от своей существенной выгоды, — никак не возможно утверждать, что нация поступает очень благоразумно и что ее дела улучшаются.

То же самое надо сказать и об идее законности. Никак не следует утверждать, что отдельные личности своими поступками, своими личными качествами, складом ума и особенностями характера не могут подействовать ни в дурную, ни в хорошую сторону на общее течение событий. Напротив того, отдельные личности постоянно

действуют то в дурную, то в хорошую сторону, но их влияния взаимно уравновешиваются и становятся незаметными, если мы берем для рассмотрения достаточно большие периоды времени, например целые тысячелетия. Если бы мы могли, например, взглянуть на положение Европы в 2866 году, то мы, разумеется, никак не могли бы определить, в каком направлении подействовали на европейскую цивилизацию личный характер и военные таланты Наполеона I. Оказалось бы, что все следы его влияния совершенно изглажены, и Европа прошла в тысячелетие как раз тот путь, который она должна была пройти по вечным и незыблемым законам природы. Но если вы теперь, в 1866 году, вздумаете утверждать, что ум и характер Наполеона I не имели никакого влияния на ход событий, то вам скажут, что будь, например, у Наполеона I поменьше военных талантов и тщеславия да побольше благоразумия, тогда бы вся Европа с 1807 года наслаждалась бы глубоким миром и тогда не было бы той бешеной католической реакции, которая могла развернуться в полном блеске только под покровительством торжествующего легитимизма. У Наполеона была своя историческая задача, не особенно завидная и блестящая, но все-таки такая, которую можно было выполнить хорошо и выполнить дурно. После того как революция была остановлена на всем ходу, военная диктатура сделалась сначала возможною, а потом неизбежною; но можно было воспользоваться ею благоразумно и воспользоваться нелепо; то или другое употребление доктрины зависело уже вовсе не от великих и общих причин, а просто от личных особенностей диктатора. Наполеон выполнил свою задачу отвратительно дурно, и те люди, которым приходится жить в ближайшие десятилетия, чувствуют на себе дурные последствия его ошибок. То же самое можно сказать и обо всякой другой исторической задаче, достающейся на долю отдельной личности; каждая задача может быть решена и очень хорошо, и очень дурно, и с грехом пополам. В половине XVIII века стояла на очереди важная задача. Надо было повернуть против феодального государства то отрицание, которое в первой половине столетия действовало исключительно против клерикальной партии. Надо было громко объявить людям, что пора перейти от смелых мыслей к смелым делам. Эту задачу ре-

шил Руссо. Слово его было достаточно громко и увлекательно. Люди встрепенулись, и перед ними открылась перспектива новой жизни. А между тем нельзя не пожалеть о том, что решение этой капитальной задачи досталось именно Жан-Жаку Руссо. Нельзя не сказать, что Европа осталась бы в больших барышах, если бы Руссо умер в цвете лет, не напечатавши ни одной строки. Руссо решил задачу, но на свое решение он положил грязные следы своей бабьей, плаксивой, взбалмошной, расплывающейся, мелочной и в то же время фальшивой, двоедушной и фарисейской личности. У Руссо был тот талант, был тот ум, были те страсти, которые были необходимы для решения задачи. Но, кроме того, у Руссо было многое множество болезней, слабостей, пошлостей и гнусностей, без которых основатель французской социальной науки мог бы обойтись с величайшим удобством для самого себя и с огромною пользою для своего дела. Так, например, Руссо не было ни малейшей необходимости страдать расстройством мочевого пузыря и хроническою бессонницею. Дело всеобщей перестройки, очевидно, выиграло бы, если бы ее первым мастером был человек совершенно здоровый, крепкий, веселый, деятельный и неутомимый.

Читатели мои ужасаются или смеются. Можно ли в самом деле толковать о мочевом пузыре, когда рассматривается решение великой исторической задачи? Что общего имеет мочевой пузырь Руссо с идеями «Эмиля» и «Общественного договора»? — К сожалению, эти вещи имеют между собою гораздо больше точек соприкосновения, чем вы предполагаете, господа идеалисты. Я докажу вам это словами самого Руссо. В 1752 году была дана с большим успехом на придворном театре комическая опера Руссо «Деревенский гадатель». Король, которому очень понравилась музыка, выразил желание, чтобы Руссо был ему представлен. Теперь выступает на сцену мочевой пузырь. «Вслед за мыслью о представлении,— говорит Руссо в своих «Признаниях» (которые г. Устрялов[41] напрасно назвал в русском переводе «Исповедью»),— я задумался над необходимостью часто выходить из комнаты вследствие моей болезни, что заставило меня много страдать в вечер, проведенный в театре, и что могло мучить меня и на следующий день, когда мне предстояло быть в гале-

рее или в комнатах короля, среди всех вельмож, ожидающих появления его величества. *Эта болезнь была главной причиной,* по которой я держал себя в стороне от собраний и которая не позволяла мне ходить в гости к женщинам. Одна мысль о том положении, в которое могла поставить меня эта потребность, была способна усилить ее до такой степени, что мне сделалось бы дурно или дело не обошлось бы без скандала, которому я предпочел бы смерть. Только люди, знакомые с таким состоянием, могут понять, как страшно подвергать себя такой опасности». Сам Руссо, как видите, признается, что *болезнь была главною причиною,* удалявшею его от людей. Надо заметить, что эта болезнь была у него врожденною. Значит, он с самого детства чувствовал в обществе постоянное беспокойство. Эта совершенно определенная боязнь должна была, наконец, породить в нем общую неразвязность и застенчивость; эти особенности вызывали шутки и насмешки товарищей; от этих шуток и насмешек робость должна была увеличиваться, и к ней должна была присоединяться злобная недоверчивость к людям и, как подкладка этой недоверчивости, тоскливо-сентиментальное стремление к каким-то лучшим людям, сладким, чувствительным, нежным и слезливым. Все «Признания» Руссо составляют одну длиннейшую и скучнейшую жалобу на то, что люди не умеют его понимать, не умеют любить, стараются всячески изобидеть, составляют против него заговоры и причиняют его прекрасной душе такие страдания, которые им, простым и грубым людям, даже совершенно недоступны. И Руссо напрягает все свои силы, чтобы наплевать на людей и удалиться в пустыню, на лоно природы, которая никому не мешает *часто выходить из комнаты.* Но Руссо так мелочен, что он никак не может действительно наплевать на людей; его тревожит каждая светская сплетня, как бы она ни была невинна или глупа; в каждом слове и в каждом взгляде он отыскивает себе оскорбление; на каждом шагу он, отшельник и мудрец, вламывается в амбицию, лезет объясняться, выказывает свое достоинство, визжит, плачет, кидается в объятия и вообще надоедает всем своим знакомым до такой степени, что все действительно начинают тяготиться его присутствием. Руссо ненавидит то общество, в котором он живет, но в этой ненависти нет ничего высокого и прекрасного. Он

ненавидит в нем не те крупные препятствия, которые парализуют полезную деятельность; он ненавидит только какие-то мелкие несовершенства отдельных личностей: бесчувственность злодея Дидро, суровость негодяя Гольбаха, высокомерие изверга Гримма, неискренность мерзавки д'Эпине. В «Признаниях» радикала Руссо вы не найдете ни одной сильной и глубоко прочувствованной политической ноты, но зато найдете груды замысловатых соображений о коварных происках Дидро и Гольбаха против репутации кроткого и добродетельного Жан-Жака.

Политическая дряблость радикала Руссо была так велика, что он по какому-то ничтожному личному поводу напал печатно на Дидро и объявил публике о своем разрыве с ним в то самое время, когда Дидро, как редактор «Энциклопедии», нес на себе всю тяжесть правительственных и клерикальных преследований. Сен-Ламбер[42], которому Руссо, по старой дружбе, послал свою ядовитую брошюру, отвечал ему убийственным письмом, которого не дай бог никому получить от старого друга. «Поистине, милостивый государь,— пишет Сен-Ламбер,— я не могу принять вашего подарка. При чтении того места вашего предисловия, где вы, по поводу Дидро, приводите выписку из «Екклезиаста», книга выпала у меня из рук... Вам небезызвестны преследования, которые он терпит, а вы примешиваете голос старого друга к крикам зависти. Не могу скрыть от вас, милостивый государь, как возмущает меня подобная жестокость... Милостивый государь, мы слишком расходимся в наших принципах, чтоб иметь возможность сойтись когда-нибудь. Забудьте мое существование; это не должно быть для вас трудно... Я же, милостивый государь, обещаю вам забыть вашу особу и помнить только ваши таланты». И Руссо самодовольно выписывает это письмо в своих «Признаниях», считая себя и в этом случае жертвою человеческой испорченности.

Болезнь Руссо развивала в нем любовь к уединению, а уединение развивало мечтательность. Руссо сам рассказывает, каким образом он в лесах Монморанси окружал себя идеальными существами и проливал сладостные слезы над великими добродетелями Юлии и Сен-Пре, героев «Новой Элоизы». Болезнь внушала Руссо отвращение к деятельной и тревожной жизни: в то время, когда все кругом Руссо кипело ожесточенною борьбою, сам Руссо

мечтал только о том, как бы найти себе где-нибудь спокойный уголок и устроить вокруг себя любезную идиллию. Так как борьба, требующая постоянных и разнообразных столкновений с людьми, была решительно не по силам больному мечтателю, то он и не мог никогда пристраститься к такой цели, которая может быть достигнута только путем упорной и продолжительной борьбы. У Руссо, у этого кумира якобинцев, не было в жизни никакой определенной цели. Он вовсе не желал ввести в сознание общества те или другие идеи. Если бы у него было это желание, то он, подобно Вольтеру, писал бы до последнего издыхания и устроивал бы всю свою жизнь так, как того требовали удобства писания и печатания. Но этого не было. Он бросил литературную деятельность, как только получил возможность жить потихоньку на заработанные деньги. Выбирая себе место жительства, он обращает внимание только на красоту окружающей природы, а совсем не на ту степень свободы, которою пользуется в данной стране печатное слово. Не угодно ли вам полюбоваться на идеал счастливой жизни, нарисованной рукою самого Руссо. «Лета романических планов прошли,— говорит он в «Признаниях»,— дым пустого тщеславия скорее отуманивал меня, чем льстил мне, мне оставалась одна последняя надежда — жить без принуждения, в вечной праздности. Это жизнь блаженных на том свете, и я отныне полагал в ней мое высочайшее счастье в этом мире»... «Праздность, которую я люблю,— поясняет он далее,— не есть праздность ленивца, который, сложа руки, остается в совершенном бездействии, ни о чем не думая, ничего не делая. Это — праздность ребенка, находящегося беспрестанно в движении и все-таки ничего не делающего, и праздность болтуна, который мелет всякий вздор, между тем как руки его остаются в покое. Я люблю заниматься пустяками, начинать сто вещей и не кончать ни одной, ходить куда вздумается, каждую минуту переменять планы, следить за мухою во всех ее приемах, желать сдвинуть скалу, чтобы посмотреть, что под нею, с жаром принять работу, которой хватит на десять лет, и бросить ее через десять минут, целый день предаваться безделью без порядка и без последовательности и во всем подчиняться только минутному капризу».

Вряд ли можно найти другого знаменитого человека, который с таким искренним самодовольством любовался бы публично своею собственною дрянностью и тряпичностью. Вы видите из его слов, что когда он писал «Эмиля» и «Общественный договор», тогда он только *отуманивал себя дымом пустого тщеславия.* Теперь дым рассеялся, и Руссо понял, что *вечная праздность ребенка* составляет его настоящее призвание. Не умея быть героем и бойцом, Руссо не умеет также ценить и понимать бойцов и героев. Сила, энергия, смелость, настойчивость, эластичность, изворотливость, неутомимость — все эти качества, драгоценные с точки зрения бойца, в глазах Руссо не имеют никакого значения. Он дорожит только красивыми чувствами, трогательными излияниями, чистотою целомудренного сердца, кротостью голубиного нрава, способностью созерцать, благоговеть, ныть и обливаться теплыми слезами восторга. Он влюблен в какую-то добродетель и желает, чтобы все люди были по возможности добродетельны. Но при этом он самого себя считает за очень добродетельного человека и даже умиляется до слез над красотами своей души. Это обстоятельство ясно показывает читателю, что возлюбленная добродетель Руссо заключается именно *только* в тонкости прекрасных чувств, потому что эта добродетель не помешала ему отдать пять человек своих собственных детей в воспитательный дом и вообще не заставила его сделать ни одного сколько-нибудь замечательного поступка, ничего такого, что можно было бы хоть издали сравнить с великими подвигами человеколюбия, сделанными злым насмешником Вольтером, который никогда не толковал печатно о добродетели.

Итак, идеал Руссо был совершенно ложен; та мерка, которою он измерял достоинства людей, никуда не годится. Этот ложный идеал и эта негодная мерка, обязанные своим происхождением болезненному состоянию автора, бросают совершенно фальшивый колорит на самые замечательные произведения Руссо, на «Эмиля» и на «Общественный договор». В лице своего идеального воспитанника, Эмиля, Руссо формирует не гражданина, не мыслителя, не героя той великой борьбы, которая должна перестроить и обновить общество, а только здорового и невинного ребенка, который сумеет до конца своей жизни уберечь от козней общества свою невинность и свое здоровье. Рус-

со боится до крайности, чтобы его Эмиль не провел ночи в объятиях камелии; но он нисколько не боится того, что вся жизнь Эмиля может пройти бесследно, в сонной идиллической беспечности, которая к тридцатилетнему возрасту превратит Эмиля в Афанасия Иваныча.

В своем «Общественном договоре» Руссо считает необходимым, чтобы законодатель и правительство делали граждан добродетельными. Это стремление кладет в идеальное государство Руссо зерно злейшего клерикального деспотизма. Руссо думает, что людей надо искусственным образом приучать к добродетели. Это — огромная ошибка. Каждый здоровый человек добр и честен до тех пор, пока все его естественные потребности удовлетворяются достаточным образом. Когда же органические потребности остаются неудовлетворенными, тогда в человеке пробуждается животный инстинкт самосохранения, который всегда бывает и всегда должен быть сильнее всех привитых нравственных соображений. Против этого инстинкта не устоят никакие добродетельные внушения. Поэтому государству незачем и тратить силы и время на подобные внушения, которые в одних случаях не нужны, а в других бессильны. Государство исполняет свою задачу совершенно удовлетворительно, когда оно заботится только о том, чтобы граждане были здоровы, сыты и свободны, то есть чтобы они на всем протяжении страны дышали чистым воздухом, чтобы они раньше времени не вступали в брак, чтобы все они имели полную возможность работать и потреблять в достаточном количестве продукты своего труда и чтобы, наконец, все они могли приобретать положительные знания, которые избавляли бы их от разорительных мистификаций всевозможных шарлатанов и кудесников. Если же государство не ограничивается этими заботами, если оно врывается в область убеждений и нравственных понятий, если оно старается навязать гражданам возвышенные чувства и похвальные стремления, то оно притупляет граждан, превращая их или в послушных ребят, или в бессовестных лицемеров. Официальные хлопоты о добродетелях открывают широкую дорогу религиозным преследованиям. Это мы видим уже в теоретическом трактате Руссо. Четвертая книга «Общественного договора» говорит, что в государстве должна существовать религия, обязательная для всех граждан. Кто не признает госу-

дарственной религии, того следует выгонять из государства, не как безбожника, а как нарушителя закона. Кто признал эту религию и, однако же, действует против нее, тот подвергается смертной казни, как человек, солгавший перед законом. Этими двумя принципами можно оправдать и узаконить все, что угодно: и драгоннады, и инквизицию, и изгнание мавров из Испании, и вообще всевозможные формы религиозных преследований. И герцог Альба, и Торквемада, иLetellье могут прикрыть все свои подвиги тем аргументом, что они наказывают не еретиков, а государственных преступников. Именно этим аргументом и оправдывались в Англии при Елисавете преследования, направленные против католиков. Руководствуясь принципами Руссо, Робеспьер погубил на эшафоте много таких людей, которые были очень полезны Франции, например, Дантона, Демулена, Шометта, Анахарсиса Клоца. Он обвинял их, правда, в различных заговорах и сношениях с Питтом, но вряд ли даже он сам верил в существование этих заговоров[43]. Настоящею причиною его ненависти к этим людям было то обстоятельство, что все они были скептиками и что вследствие этого Робеспьер, как послушный ученик Руссо, признавал их недостойными жить в добродетельной французской республике.

IX

Из энциклопедистов я возьму только Дидро и Гольбаха. Оба они — здоровые, веселые, трудолюбивые люди, безгранично преданные своим идеям. Оба они гораздо моложе Вольтера, Дидро — на девятнадцать, а Гольбах — на двадцать девять лет. Дидро воспитывался в коллегии иезуитов и хотел сначала поступить в духовное звание, но потом, когда способности его развернулись, он совершенно отказался от этого намерения, стал заниматься с особенным жаром математикой, древними и новыми языками и, наконец, решительно объявил своему отцу, что никогда не выберет себе определенной профессии. Отец его, богатый и солидный буржуа, рассердился и вздумал запугать его лишениями. Дидро остался в Париже без копейки денег и начал заниматься литературными работами по заказу книгопродавцев. Потом женился по любви на бедной девушке и окончательно рассорился

с отцом. Наконец, в 1746 году Дидро сошелся с книгопродавцем Лебретоном, у которого была в руках привилегия на издание английской «Энциклопедии» Чамберса во французском переводе, но не было под руками людей, способных взяться за перевод этой книги. Дидро, которому было в это время 33 года и который уже давно чувствовал в себе силы взяться за большой и важный труд, посоветовал Лебретону издать оригинальную французскую энциклопедию и составил для этого издания самый широкий план. Он задумал дать французскому обществу не какую-нибудь простую справочную книгу, не какое-нибудь мертвое собрание технических терминов и отрывочных фактов, а такое произведение, которое вместило бы в себе всю философию века и показало бы ясно жизненное значение нового миросозерцания, смело объявляющего войну клерикальному деспотизму. Работа началась с 1749 года и продолжалась по 1766 год. В продолжение первых восьми лет Дидро разделял труды редакции с д'Аламбером, но в 1757 году, когда седьмой том «Энциклопедии» вызвал против себя жестокую бурю, д'Аламбер счел благоразумным удалиться от такого опасного предприятия, и вся тяжесть редакционной работы и ответственности упала на одного Дидро. Сотрудники чувствовали ежеминутно припадки трусости, Лебретон позволял себе, во избежание столкновений с властями, смягчать в статьях слишком резкие выражения, и Дидро все это должен был улаживать и устраивать, ободрять сотрудников, обуздывать книгопродавца, хлопотавшего только о барышах, вести дружбу и тонкую политику с властями, хитрить и уступать в одних статьях и потом наверстывать сделанные уступки под другими рубриками. Все это он выполнил с блестящим успехом. При этом он относился так добросовестно к мельчайшим подробностям своего дела, что для удовлетворительного описания различных ремесл и промыслов он проводил целые дни в мастерских, рассматривал с величайшим вниманием различные машины и усвоивал себе все технические приемы работников. Книгопродавцы, как мы видели выше, выручили за «Энциклопедию» больше двух с половиною миллионов ливров чистого барыша, а Дидро за всю свою семнадцатилетнюю работу получил 20000 ливров единовременно, да по 2500 ливров за каждый том. Впрочем, Дидро был не-

корыстолюбив; он с беспредельною щедростью помогал своим друзьям деньгами и пером; он охотно поправлял и переделывал чужие рукописи, приставлял к ним предисловия и вообще разбросал множество блестящих мыслей по разным книгам своих единомышленников. Дело не в том, говорил он часто, кем сделана вещь, мною или другим; надо только, чтобы она была сделана, и сделана хорошо. Философские убеждения Дидро дались ему не сразу. Он купил их ценою тяжелых сомнений и продолжительной умственной борьбы. Его сочинения указывают на три фазы в его развитии. В 1745 году в сочинении «Essai sur le mérite et sur la vertu» («Опыт о заслугах и о добродетели») он является философствующим католиком и доказывает, что добродетель может основываться только на религии. В 1747 году в «Прогулке скептика» он, по словам Геттнера, *«бросается в пропасть большого сомнения»* и утверждает, что нет в человеческой жизни другой цели, кроме чувственных наслаждений. Затем начинаются попытки спасти что-нибудь из прежних верований, и Дидро на несколько времени становится деистом; но эти попытки не удовлетворяют его, и с 1749 года он уже на всю жизнь остается крайним материалистом. Этими последними убеждениями проникнуты все его работы, помещенные в «Энциклопедии». Умирая в 1784 году, он сказал, что *сомнение есть начало философии.* Это были его последние слова.

Барон Гольбах, богатый человек, получивший в Париже очень основательное образование, занимался естественными науками, в особенности химией, кормил философов великолепными обедами и часто помогал им своими обширными знаниями. Он писал для «Энциклопедии» химические статьи и печатал материалистические книги, никогда не выставляя на них своего имени. Знаменитая его «Système de la nature» вышла в свет тогда, когда Гольбаху было уже сорок семь лет. В некоторых частях этого сочинения Гольбаху помогал Дидро. Принимая в соображение тот ужас, которым эта книга поразила всю философствующую Европу, мы можем утверждать положительно, что «Système de la nature» составляет последнюю, крайнюю вершину в развитии отрицательных доктрин XVIII века.

Гольбах думает, что все совершается в природе по вечным и неизменным законам. Эта идея служит фундамен-

том для всех его остальных построений. Человек, по его мнению, не может освободиться от законов природы даже в своей мысли. Как для чувствования, так и для мышления необходима, по мнению Гольбаха, нервная система, соприкасающаяся с внешним миром посредством органов и аппаратов зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Без органов и нервной системы нет ни мышления, ни чувствования, так точно, как без музыкального инструмента нет музыкального звука и, следовательно, нет также и отдельных качеств звука — нежности или пронзительности, певучести или пискливости, протяжности или отрывистости. Представить себе мысль, отрешенную от необходимых условий ее проявления, то есть от нервной системы, это, по мнению Гольбаха, все равно, что представить себе звук, существующий независимо от инструмента. Это значит — вообразить себе действие без причины... Материя, по мнению Гольбаха, неистребима; ни одна частица ее не может исчезнуть; но частицы эти беспрестанно передвигаются, и, вследствие этого передвижения, формы и комбинации беспрестанно разрушаются и возникают. Передвижения частиц совершаются по тем же вечным и неизменным законам, которыми обусловливается течение великих небесных светил. Это значит, что если частица материи сто миллионов раз будет поставлена в одинаковое положение, то она сто миллионов раз пойдет по одному и тому же пути и вступит в одни и те же комбинации. Те частицы материи, которые входят в состав человеческого тела, подчиняются, по мнению Гольбаха, в своих движениях таким же точно вечным и неизменным законам. Из этого правила нет исключения. Как частицы желудочного сока вступают в химические соединения с частицами пищи *по необходимости,* как кровяные шарики поглощают кислород *по необходимости,* так точно и частицы мозга передвигаются и претерпевают химические изменения *по необходимости.* Результатом этих передвижений и химических изменений оказывается процесс мышления, который, следовательно, также, по мнению Гольбаха, отличается всегда характером непреклонной *необходимости.* Человек поступает так или иначе, потому что желает так или иначе; желание обусловливается предварительным размышлением, а размышление есть неизбежный результат данных внешних впечатлений и данных особенностей

мозга. Значит, что же такое преступление и что такое наказание? Природа, по мнению Гольбаха, не знает ни того, ни другого; в природе нет ничего, кроме бесконечной цепи причин и следствий, такой цепи, из которой невозможно выкинуть ни одного звена.

По-видимому, Гольбах должен быть самым ужасным и отвратительным человеком. Иначе каким образом мог бы он быть и материалистом? Однако же, к удивлению всех любителей доброй нравственности, Гольбах оказывается человеком хорошим. «Я,— говорит Гримм,— редко встречал таких ученых и разносторонне образованных людей, как Гольбах; я никогда не встречал людей, у которых было бы так мало тщеславия и самолюбия. Без живой ревности к успеху всех наук, без стремления, ставшего у него второй природой, сообщать другим все, что казалось ему важно и полезно, он бы никогда не выказал своей беспримерной начитанности. С его ученостью было бы то же, что с его богатством. Его никогда бы не угадали, если бы он мог его скрыть, не вредя своему собственному наслаждению и особенно наслаждению своих друзей. Человеку таких взглядов не должно было стоить бóльшого труда — верить в господство разума; потому что его страсти и удовольствия были именно таковы, каковы они должны быть, чтобы дать перевес хорошим правилам. Он любил женщин, любил удовольствия стола, был любопытен; но ни одна из этих склонностей не овладевала им вполне. Он не мог ненавидеть никого; только тогда, когда он говорил о распространителях угнетения и суеверия, его врожденная кротость превращалась в ожесточение и жажду борьбы».

Оканчивая эту статью, я советую читателям, заинтересовавшимся умственною жизнью прошлого столетия, прочитать книгу Геттнера «История всеобщей литературы XVIII века». В этой книге читатели найдут толковое, беспристрастное и занимательное изложение биографических фактов и философских доктрин, в связи с общею картиною времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

Еще при жизни Писарева Ф. Ф. Павленковым было предпринято первое издание его сочинений в десяти частях (СПб., 1866—1869; далее: *первое издание*). Начатое в 1870-х гг. переиздание этих сочинений полностью осуществить не удалось ввиду цензурных преследований. В 1894 г. Павленков выпустил шеститомное собрание сочинений Писарева (далее: *ПСС*). Оно отличалось от первого большей полнотой (отсюда и его название: «Полное собрание», хотя в действительности оно было далеко не полным) и вместе с тем — серьезными цензурными изъятиями и искажениями в тексте некоторых статей, а также в ряде случаев произвольной правкой. *ПСС* вышло в пяти изданиях, а некоторые тома — и шестым изданием. Лишь в пятом издании *ПСС* (1909—1913) удалось устранить часть цензурных искажений текста. В качестве приложения к *ПСС* с 1907 по 1913 г. трижды издавался Дополнительный выпуск. В советское время произведения Писарева не раз выходили различными по составу и объему сборниками, однако полное издание его сочинений и писем остается еще не осуществленным.

Наиболее авторитетным изданием писаревских работ является четырехтомник, подготовленный на основе *первого издания* Ю. С. Сорокиным (М., 1955—1956; далее: *Соч.*). По этому изданию и с частичным использованием его справочного аппарата в данном сборнике воспроизводится статья «Бедная русская мысль», а также «Очерки по истории труда» (по *Соч.,* т. 2) и «Популяризаторы отрицательных доктрин» (*Соч.,* т. 4). Статья «Исторические эскизы» печатается по книге: Д. И. Писарев. Избранные произведения. Л., 1968 (составление, подготовка текста и примечания Ю. С. Сорокина). Работа Писарева «Исторические идеи Огюста Конта», ни разу за годы Советской власти не переиздававшаяся, публикуется нами по *первому изданию* (ч. X, СПб., 1869).

При отборе произведений для настоящего сборника мы руководствовались стремлением представить в первую очередь те из них, в которых наиболее ярко отразились раздумья Писарева над коренными проблемами общественного развития, познания и истолкования исторического процесса.

Эти проблемы постоянно находились в фокусе размышлений Писарева, начиная с его студенческой статьи «Вильгельм Гумбольдт»; они нашли отражение во многих — и подчас очень больших по объему — его работах на исторические темы. Помимо включенных в данный сборник, укажем на статьи «Аполлоний Тианский. Агония древнего римского общества, в его политическом, нравственном и религиозном состоянии»,

«Меттерних», «Очерки по истории печати во Франции», «Историческое развитие европейской мысли», «Перелом в умственной жизни средневековой Европы», «Очерки из истории европейских народов», «Дени Дидро и его время». «Школа истории», детальный анализ различных ее эпизодов, особенно тщательное исследование опыта революций — как «снизу» (тут Писарева более всего занимала Великая французская революция, но не оставил он без внимания и Реформацию, и английскую революцию XVII в., и американскую войну за независимость), так и «сверху» (здесь вполне понятен интерес Писарева к эпохе Петра I) — это тот точильный камень, на котором происходила обработка исследовательской методологии Писарева, но вместе с тем — это та область, где происходило испытание его философско-гносеологических принципов.

С другой стороны, изучение Писаревым многообразной исторической литературы (а тут нелегко назвать историков Запада и России, с трудами которых Писарев не был бы знаком) наводило его на размышления о том, какой должна быть историческая наука. И в этой сфере, точно так же, как и в философии, Писареву не довелось найти единомышленника: ни один из историков не отвечал его идеалу — тому, с которым Писарев связывал понятие «мыслящий историк». По Писареву, мыслящий историк — это такой исследователь жизни общества, который за пышными «декорациями», закрывающими сцену всемирной драмы, может разглядеть действительный смысл, то есть основные законы истории — законы жизни народов, жизни трудящихся. Экономические и социальные законы мыслящий историк обязательно отличит от событий политической жизни, которою только и занято большинство историков. Писарев не приемлет методологии историков-эмпириков, ясно сознавая, что не может быть «не осмысляющей» исторической науки, а раз так, то она всегда так или иначе связана с теми или иными социально-нравственными идеалами и партийными позициями. Вместе с тем в работах Писарева мы обнаруживаем и резкую критику «лиризма» и «философствования» в истории, то есть вольного или невольного приспособления исторического материала либо к личным вкусам и нравственным убеждениям исследователя, либо к разного рода априорным конструкциям. Те страницы, на которых Писарев рассуждает о том, что теперь мы называем методологией исторического исследования, будут прочитаны, думается, с особым интересом.

Не в последнюю очередь эти соображения обусловили состав данного сборника, чем и объясняется существенное отличие его от «Избранных философских и общественно-политических статей» Писарева (1944 и 1949 гг.).

Ввиду ограниченного объема примечаний в них дается комментарий главным образом к тем реалиям (именам, событиям и т. д.), без определения, раскрытия или объяснения которых понимание отдельных мест текста было бы затруднительным; даются также переводы иностранных выражений и названий литературных произведений. Все подстрочные примечания к текстам принадлежат Писареву.

БЕДНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ

Впервые — «Русское слово», 1862, кн. 4 и 5. Первая часть статьи была включена в ч. 2 *первого издания* (1866), но карательная цензура эту часть задержала, возбудив судебное преследование против издателя. В конце концов Сенат дал разрешение на выпуск книги, однако «Бедная русская мысль» была из нее вырезана. Вновь статья увидела свет в 1907 г. в Дополнительном выпуске к *ПСС.* (См. там же материалы судебного процесса 1868 г. по ч. 2 *первого издания.)* В *Соч.* (т. 2. М., 1955) текст воспроизведен по «Русскому слову» с дополнениями и отдельными исправлениями по сохранившейся рукописи второй части статьи. (Варианты рукописи введены в основной текст в квадратных скобках.)

В обвинительном акте на процессе 1868 г. отмечалось «вредное направление» статьи, поскольку она заключает в себе «иносказательное порицание существующей у нас формы правления, делая вообще враждебное сопоставление монархической власти с народом и стараясь представить первую началом бесполезным и даже вредным в народной жизни».

Автор статьи обвинялся в пропаганде «крайних политических мыслей, враждебных не только существующей у нас форме правления, но и вообще спокойному и нормальному состоянию общества. По изложению автора, политические властители представляются только как сила реакционная, угнетательная и стесняющая естественное развитие народной жизни, или, по крайней мере, как начало, несмысленно мудрящее над народною жизнию, вертящее ею по-своему и навязывающее народу свою непрошеную опеку; народ же или общество выставляется как элемент гонимый, протестующий, борющийся с гонителями и наконец побораюший их личную волю... Автор самыми черными красками, хотя и иносказательно, рисует характер неограниченного правления и многознаменательным тоном напоминает читателю примеры Карла I и Иакова II английских и Карла X и Людовика Филиппа французских; не видит в России ни прежде, ни после Петра Великого никакого исторического движения жизни (исключая реформы 19 февраля 1861 г.); о личности же и деяниях Петра Великого относится в самом презрительном тоне; издевается над патриотизмом и консервативными чувствами прежних наших писателей, восхваляет насмешку, презрение и желчь, которыми проникнута нынешняя литература наша, и только в этих ее качествах видит надежду будущего» *(ПСС.* Доп. выпуск. СПб., 1907, стлб. 134—136). «Читая обвинительный акт, — заметил Писарев в письме к Павленкову от 28 апреля 1868 г., — я убедился в том, что в нем нет клеветы и что Цензурный комитет и прокурор увидели в моих статьях то, что я хотел в них выразить» («Красный архив», 1928, т. 28, с. 211).

Статья написана по поводу выхода т. 1 книги П. П. Пекарского (1828—1872), названной в подзаголовке; т. 2 вышел в том же 1862 г.

«Свежее предание» — роман в стихах Я. П. Полонского, печатавшийся в журнале «Время» (1861, №№ 6 и 10, 1862, № 1, не закончен). Вызвал резкие отклики в демократических журналах, в частности, Д. Д. Минаева в «Дневнике Темного человека» («Русское слово», 1861, кн. 7).

[3] Флигель-адъютант князь *Э. К. А. Витгенштейн* (1824—1878) в «Кавалерийских очерках» («Военный сборник», 1862, март) писал о необходимости телесных наказаний солдат, что вызвало протест ста шести офицеров, опубликованный в печати. С защитой применения розог выступал в 1860 г. и профессор Киевской духовной академии *П. Д. Юркевич* (1827—1874), утверждавший, что жизнь «нуждается в основах и мотивах более энергических, нежели отвлеченные понятия науки».

[4] *Черниговская гривна* — одна из разновидностей древнерусской гривны, слитка серебра, служившего денежной и весовой единицей. Вероятно, Писарев иронизирует по поводу трудов его учителя по Петербургскому университету И. И. Срезневского (1812—1880), посвященных древнерусским деньгам. В статье «Наша университетская наука» Писарев вывел его под именем Сварожича.

[5] *Эккартсгаузен К.* (1752—1803) — немецкий философ-мистик.

[6] Писарев имеет в виду статью Н. Г. Чернышевского «Полемические красоты. Коллекция вторая» (1861), где, в частности, иронизируя в главе III над филологом Ф. Н. Буслаевым, автор высмеивал его «простодушие», плохую «сообразительность», поступки «невпопад», отсутствие «умственной самостоятельности» в трудах.

[7] Вероятно, имеются в виду статьи П. Пекарского в «Современнике» «Журналистика во Франции до первой революции» (1861, № № 3 и 5) и «Журналистика во Франции во время консульства и империи» (1862, № 3).

[8] Явный намек на публицистику журнала «Время».

[9] Король Испании *Филипп II* (1527—1598), отличавшийся крайней религиозной нетерпимостью, жестоко подавлял освободительное движение в Нидерландах, находившихся тогда под владычеством Испании. В 1581 г. Генеральные штаты Нидерландов объявили о низложении Филиппа II и провозгласили Голландскую республику.

[10] *Фердинанд II* (1578—1637) — император (с 1619) так называемой «Священной Римской империи» жестоко преследовал протестантов, что привело, в частности, к Тридцатилетней войне (1618—1648).

[11] *Вестфальский мир* положил конец Тридцатилетней войне, одним из событий которой явилась *битва при Белой горе,* под Прагой (8 ноября 1620 г.) между чешскими патриотами и войсками католической лиги.

[12] Так Писарев называет государство, созданное африканскими племенами ашанти на Золотом берегу (Западная Африка) в конце XVII— начале XVIII в. В течение почти всего XIX в. ашанти успешно отстаивали свою независимость, оказывая упорное сопротивление английским колонизаторам.

[13] Речь идет о революциях: английской 1640—1660 гг., в ходе которой был свергнут с престола и казнен (в 1649 г.) король Карл I; англий-

ской 1688 г., низложившей последнего короля из династии Стюартов Якова II; Июльской 1830 г. во Франции, свергнувшей последнего короля из династии Бурбонов — Карла X, и Февральской 1848 г., покончившей с Июльской монархией во Франции: король Луи-Филипп был вынужден бежать за границу.

[14] *Паншин* — персонаж романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо».

[15] Имеется в виду статья В. Г. Белинского, написанная по поводу книг «Деяния Петра Великого» И. Голикова, «История Петра Великого» В. Бергмана и «О России в царствование Алексея Михайловича» Г. Котошихина.

[16] На одном из диспутов в зале Пассажа в Петербурге экономист *Е. И. Ламанский* заявил: «Мы еще не созрели для обсуждения общественных вопросов». В пику ему на диспуте с Н. И. Костомаровым *М. П. Погодин* сказал: «Мы созрели для рассуждения, для участия в вопросах для нас важных и нужных, теоретических и практических». Оба эпизода неоднократно подвергались осмеянию в демократической журналистике.

Базаров — герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», разбору которого Писарев посвятил статью «Базаров», опубликованную в «Русском слове», 1862, № 3.

[18] На процессе 1868 г. по поводу этого места прокурор Н. О. Тизенгаузен сказал, что оправдание Писаревым «столь гнусного» дела, как «преступное покушение Шакловитого, если бы оно удалось», оскорбляет «нравственное и гражданское чувство каждого из верноподданных» (см. *ПСС.* Доп. выпуск, стлб. 139).

[19] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России». С учетом отрицательного высказывания Писарева об этом стихотворении (см. начало гл. III), введение пушкинских слов в статью там, где говорится, будто после манифеста 1861 г. о крестьянской реформе русские мужики «повеселели», может быть расценено как намек на вынужденность и ироничность этих слов. Ср. также фразу о «повеселении» крестьян с рассуждениями о «сне» народа в следующем абзаце и с утверждением о «нелепом решении» крестьянского вопроса в 1861 г. из прокламации «<О брошюре Шедо-Ферроти>» (См. *Соч.,* т. 2, с. 123).

[20] Владелец типографии в Амстердаме *Ян Тессинг* печатал книги по заказу Петра I.

[21] Статья *К. С. Аксакова* «Богатыри времени Великого князя Владимира по русским песням» была напечатана в журнале «Русская беседа», 1856, кн. 4.

[22] То есть в первой половине данной статьи (гл. I—III), напечатанной в кн. 4 «Русского слова» за 1862 г.

[23] Американский плантатор *Дж. Фиц-Гуг* накануне гражданской войны 1860-х годов утверждал, что негры — «счастливейшие и в некоторых отношениях свободнейшие люди в мире»; он предлагал обращать

в рабство не только негров, но и бедных иммигрантов ирландского и германского происхождения.

[24] О демиурге — творце мира — в трактовке Платона см. в статье Писарева «Идеализм Платона» *(Соч.,* т. 1).

[25] *И. К. Кайданов* (1782—1843) и *С. Н. Смарагдов* (1805—1871) — авторы учебников по истории, написанных в духе официальной идеологии.

[26] В связи с помешательством английского короля (с 1760) *Георга III* (1738—1820) в 1811 г. при нем было назначено регентство.

[27] Государство — это я *(фр.)* — выражение, приписываемое французскому королю (с 1643 г.) Людовику XIV (1638—1715).

[28] *Драгонады* (драгоннады) — постои драгун в домах гугенотов (французских протестантов, последователей Кальвина), практиковавшиеся в царствование Людовика XIV, особенно после 1685 г. Во время этих постоев с целью принудить гугенотов отказаться от их веры и перейти в католичество творились всякие бесчинства.

[29] Буквально: запечатанные письма *(фр.)* — распространенные при Людовике XIV тайные записки короля, заключавшие приказания о ссылке и заключении без суда. Эти бланки за подписью короля иногда раздавались его приближенным незаполненными, что давало им возможность по своему произволу отправлять под арест неугодных лиц.

[30] То есть отдельному человеку, как частичке массы (*греч.* átomos). В этом смысле устаревшее слово «неделимое» употреблялось Писаревым и в статье «Идеализм Платона» (см. *Соч.,* т. 1, с. 86). Ср. в статье «Базаров»: неделимые «никогда в жизни не пользовались своим головным мозгом как орудием самостоятельного мышления» *(Соч.,* т. 2, с. 15).

[31] В тексте «Русского слова» вместо заключенных в квадратные скобки слов было: «было плодом его личных соображений».

[32] В «Русском слове» пункт 3 вовсе отсутствовал, а содержание пункта 4 было сформулировано так: «Деятельность великих людей не достигала своей цели».

[33] Несколько измененный стих из державинского «Памятника».

Литератор *Р. М. Зотов* (1795—1871) выступал и в жанре исторической романистики. Писарев считал его одним из «достойных представителей русской вицмундирной мысли». *(Соч.,* т. 2, с. 124). Здесь Писарев называет его имя, чтоб отличить от его сына — журналиста В. Р. Зотова, а также от упоминаемого в этой же статье одного из приближенных Петра I Никиты Зотова (ок. 1644—1781).

[35] «Исследования о животных» *(лат.).*

[36] «Понятие о природе» *(лат.).*

«Животное» *(лат.).*

[38] В статье «Черты из народной жизни в XVIII веке» («Отечественные записки». 1861, кн. 10) историк П. К. Щебальский (1810—1886) писал: «Страсть или привычка к доносам есть одна из самых выдающихся сторон характера наших предков. Донос существует в народных нравах и в законодательстве». Эти утверждения носили столь скандальный характер, что даже сама редакция «Отечественных записок» (в лице

С. С. Дудышкина) в следующем номере журнала поспешила отмежеваться от них.

[39] Ранее упоминавшийся Писаревым *Филипп II,* подавлявший революционное движение в Неаполе король Обеих Сицилий *Фердинанд II* (1810—1859) и английский король *Генрих VIII* (1491—1547) отличались крайней жестокостью в своей политике.

[40] «Север» *(фр.)* — газета на французском языке, издававшаяся с 1857 г. в Брюсселе на субсидии русского правительства.

В тексте «Русского слова» — «дисциплине».

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА

Написаны в Петропавловской крепости. Опубликованы в «Русском слове» в 1863 г., кн. 9 и кн. 11—12 (где датированы соответственно «1863 года 23 августа» и «1863. 17 сентября»), затем вошли в ч. 7 *первого издания* (1866) с общей датой под статьей: «1863 г. Сентябрь». Между журнальным текстом и *первым изданием* имеются некоторые расхождения (см. ниже в примечаниях). Рукопись неизвестна.

В заключении цензора, рассматривавшего статью в 1866 г., после выхода ч. 7 *первого издания,* говорилось: «...Статья написана весьма умеренным тоном, но в ней нельзя не заметить социалистических тенденций. Автор постоянно проводит ту мысль, что в основе всего человеческого общества, как древнего, так и нового, легло присвоение чужого труда, угнетение или эксплуатация слабых и бедных сильными и богатыми и что улучшения можно ждать не от улучшения религиозных или нравственных понятий, а от лучшего понятия людьми их собственных выгод» (цит. по: В. Евгеньев-Максимов. «Д. И. Писарев и охранители» // «Голос минувшего», 1919, № 1—4, с. 152). В последующих перепечатках в *ПСС* наиболее острые места статьи, печатавшейся здесь под заглавием «Зарождение культуры», были исключены либо искажены (особенно в изданиях 1894 и 1897 гг.); эти искажения были устранены лишь в пятом издании *ПСС.*

В 1873 г. «Очерки из истории труда» были изданы в Польше (Pisarem szkice z dziejow pracy. Warszawa, 1873. Przelozyl z rosyiskiego A. Rubinski) (см. Я. Симкин. Жизнь Дмитрия Писарева. Ростов-на-Дону, 1969, с. 234—235).

Характеризуемый здесь метод весьма схож с тем, который Н. Г. Чернышевский в примечаниях к «Основаниям политической экономии» Д.-С. Милля назвал «гипотетическим методом исследования»: «Этот метод состоит в том, что когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаружил бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего состава. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами до этой поры»

(Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1949, с. 59). Во всяком случае, несомненна генетическая связь «Очерков по истории труда» с некоторыми идеями цитированного произведения Чернышевского.

[2] Эта ссылка на Кэри не должна вводить в заблуждение, тем более, что в статье «Схоластика XIX века» Писарев отнес Кэри к тем ученым, идеи которых активно используются либерально-буржуазными «Отечественными записками» для систематической борьбы «с утопистами и с экономическими статьями г. Чернышевского» *(Соч.,* т. 1, с. 155), то есть с социалистическим направлением общественной мысли. Представитель так называемой вульгарной политэкономии *Г.-Ч. Кэри* (1793—1879) действительно был популярен в среде российских либеральных экономистов (см., напр., Н. Бунге. Гармония хозяйственных отношений. // Отечественные записки, 1859, №№ 11 и 12). Впрочем, привлекал он внимание и радикальных публицистов. Так, Герцен в статье «Америка и Сибирь» рекомендовал книгу Кэри «Принципы социальной науки» («Principles of social science», 1858—1859) как пример свежести и простоты, «которую вносит в схоластический хлам политических вопросов американский ум» (Собр. соч., т. XIII, с. 400). С рецензией на русский перевод работы Кэри «Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов» выступил в 1861 г. («Современник», № 1) Н. Г. Чернышевский, в целом отрицательно относившийся к Кэри. Хотя некоторые стороны работ Кэри и могли привлекать Писарева, все же главная его идея — «гармония интересов» в буржуазном обществе — безусловно не приемлется автором «Очерков...». Характерно, что Писарев не указывает названия работ Кэри, далее в статье его не упоминает.

[3] Ср. в стихотворной повести В. А. Жуковского «Пери и ангел»:

Однажды Пери молодая
У врат потерянного рая
Стояла в грустной тишине.

И тихо плакала она
О том, что рая лишена.

Наименования штатов на юге США. *Элебама,* в принятом теперь написании и произношении — Алабама.

[5] *А. В. Тенгоборский* (1793—1857) — русский экономист и статистик, автор книги «О производительных силах России», первоначально вышедшей в Париже на французском языке (1852—1855), член Государственного Совета (с 1848).

[6] *Самнитские холмы* — Самниум, гористая область в Италии, в древности населенная сабинско-оскскими племенами. *Вейи* — город этрусков севернее Рима, *Альба-Лонга* — древнелатинский город юго-восточнее Рима.

[7] Часть древней Галлии, охватывающая территорию Северной Италии.

[8] Область в средней Греции, по теперешнему произношению — Беотия.

Неожиданное событие, эффект *(фр.).*

[10] Наедине, вдвоем *(фр.).*

Букв.: смертельный прыжок *(итал.)* — рискованное предприятие, ухищрение.

[12] Имеются в виду примечания и дополнения Чернышевского к переводу кн. 1 «Оснований политической экономии» Милля («Современник», 1860, кн. 2—12) и его «Очерки из политической экономии (по Миллю)» («Современник», 1861).

[13] «Растение» *(нем.)* — книга немецкого ботаника М. Я. Шлейдена (1804—1881), одного из основоположников теории клеточного строения организмов. Позже в статье «Посмотрим!» Писарев определил философскую позицию Шлейдена как деизм *(Соч.* т. 3, с. 467).

[14] Ничегонеделанье *(итал.).*

Монастырь св. Бернарда (построен в 1680 г.) расположен высоко в Швейцарских Альпах. *Туаз* (фр.: toise) — единица длины, принятая во Франции и Швейцарии.

[16] *Десть* — мера писчей бумаги, 24 листа.

Английский квакер *У. Пенн* (1644—1718) приобрел во второй половине XVII в. землю в Северной Америке и основал там колонию Пенсильванию. *Герцог Йоркский,* брат английского короля Карла II, будущий король (1685—1688) Яков II, получил в подарок от Карла II часть территории на побережье Северной Америки, вскоре продал часть этой территории другим лицам.— Американский финансист и политический деятель *Р. Моррис* (1743—1806) после окончания войны за независимость принялся за спекуляцию землями на западе США, закончившуюся банкротством и долговой тюрьмой.— Голландская Вест-Индская компания, основанная в 1621 г. и производившая свои операции на берегах Америки, вскоре вошла в долги и прекратила существование.

[18] Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Ермак».

[19] Третье сословие *(фр.).*

[20] Эта терминология — «обмен услуг к обоюдной выгоде» — свидетельствует о знакомстве Писарева с идеями Прудона об «эквивалентном обмене» как основе справедливого общественного устройства.

[21] Здесь в тексте «Русского слова» следовали слова: «тем беспрерывнее и быстрее может совершаться обмен услуг», опущенные в *первом издании.*

[22] Цитата из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (разговор Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым из гл. X).

[23] *Конунг* — вождь племени, военный предводитель у древних скандинавов. *Шейк* (правильнее: шейх) — глава племени, рода у арабов.

[24] Имеется в виду полулегендарный эпизод правления римского императора *Нерона:* чтобы вдохновиться для написания картины о раз-

рушении Трои, он организовал в Риме пожар, которым любовался из своего дворца, декламируя стихи и играя на кифаре.

[25] *Ариман* — греческое наименование древнеперсидского бога Ангро-Майнью (Анхра-Манью), носителя сил зла, тьмы и смерти.

[26] Любопытно сопоставить эти слова о «нашем национальном «авось» с записью в дневнике (2 января 1841 г.) юного П. Л. Лаврова: «Всякий народ имеет свою философию, которая вся выразилась в одном слове, в одном произведении какого-нибудь великого писателя <...> В России не было философов, еще эта часть размышлений совершенно не развилась в ней, но в ней есть все-таки своя врожденная, природная философия, это смесь восточного с европейским, она вся заключилась в слове *авось...*» (ЦГАОР, фонд 1762, оп. 2, ед. хр. 341, тетр. 1, лл. 38—38 об.).

[27] *Фонтанель* — искусственный нарыв для оттягивания вредных соков из организма.

[28] *Оберон* — по скандинавской мифологии — царь эльфов, муж *Титании.* Миф об Обероне и Титании неоднократно использовался в западноевропейском искусстве, в частности в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

[29] Гражданская война в США в 1861—1865 гг.

[30] *Оптиматы* в Древнем Риме — аристократия, знать; здесь это слово употреблено в расширительном смысле.

[31] Гражданская война в США вызвала кризис в хлопчатобумажной промышленности Англии из-за сокращения ввоза американского хлопка.

[32] В *первом издании* слово «все» заменено на «многие».

В *первом издании* слово «всех» заменено на «близоруких».

Мак-Куллох. Начала политической экономии, с. 166 *(англ.).* Книга английского вульгарного экономиста Дж. Р. Мак-Куллоха (1789—1864) вышла впервые в Эдинбурге в 1825 г. (2-е изд. — Лондон, 1830).

[35] Пушечное мясо *(фр.).*

Несколько позже этот круг мыслей был развит П. Л. Лавровым, называвшим трудовые массы «пасынками цивилизации».

[37] *Гвоздеобразные* (обычно: клинообразные) *надписи* — клинопись, характерная в древности для Ближнего Востока (в Месопотамии, Персии).

[38] Музей скульптуры в Мюнхене.

Английские конструкторы *Армстронг* и *Уайтворт* — изобретатели различных систем нарезных пушек, заряжаемых с казенной части.

[40] Броненосные суда, действовавшие в Америке во время гражданской войны 1861—1865 гг.; первый принадлежал южанам, второй — северянам.

[41] Система воинской повинности, допускавшая выкуп и заместительство. Введена во Франции в 1798 г. и затем постоянно применялась Наполеоном.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

Статья написана в Петропавловской крепости, впервые опубликована в «Русском слове» в 1864 г. (кн. 1 и 2), вошла в ч. VIII *первого издания* (1867) с незначительными пропусками (см. ниже в примечаниях). Рукопись неизвестна. Цензура, обратившая внимание на статью при выходе *первого издания,* в дальнейшем, при переиздании в т. III *ПСС,* подвергла ее значительным искажениям, особенно существенным в главах XVI и XVII. Полный текст *первого издания* был восстановлен в 1912 г. в пятом издании *ПСС.*

Писарев намеревался изложить события Французской революции вплоть до 1795 г., однако остановился лишь на осени 1791 г. О намерениях вновь обратиться к проблемам, рассматривавшимся в «Исторических эскизах», говорит письмо Писарева Г. Е. Благосветлову от 8 февраля 1865 г., где он утверждает, что к рассмотрению событий революции целесообразно вернуться лишь после внимательного анализа ее предыстории. Закончив в декабре 1864 г. большую статью «Историческое развитие европейской мысли» (см. *ПСС,* т. III) и работая над статьей «Перелом в умственной жизни средневековой Европы» (см. *ПСС,* т. IV), Писарев в это время еще намерен основательно, пользуясь фактами из сочинений Лорана и Шлоссера, заняться вопросом о «вымирании и перерождении средневековых идей» и лишь потом, осенью 1865 г. вновь обратиться к истории Французской революции: она «будет гораздо понятнее, когда старый режим будет освещен со всех сторон. ...Я буду писать дальше тот ряд исторических статей, которые я начал в прошлом году. Жиронду и Гору я не могу начать раньше, чем окончу этот ряд статей, а то выйдет чепуха» (Цит. по: Ю. Коротков. Писарев. М., 1976, с. 284—285). Однако закончить очерк о революции Писареву так и не удалось.

Статья написана по поводу и «по канве» сочинения немецкого историка Г. фон Зибеля (1817—1895) «Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795» («История революционного времени с 1789 до 1795 г.»), начавшего выходить в 1853 г. и в 1857 г. привлекшего внимание А. И. Герцена (Собр. соч., т. XIII, с. 25—27; т. XXVI, с. 215). В 60-х годах был осуществлен русский перевод этой книги: Г. Зибель. История Французской революции и ее времени (1789—1795), ч. I—III. СПб., 1863—1867. В заключительной книжке «Русского слова» за 1863 г. (№№ 11—12, «Библиографический листок») в связи с появлением перевода 1-го тома зибелевской истории говорилось, что эту книгу «нельзя никоим образом считать авторитетом, потому что автор имел более в виду интересы прусской либерально-консервативной партии, чем интересы науки и исторической правды». Тем не менее, в той же заметке было сказано, что Писарев «скоро познакомит в более обширной статье читателей «Русского слова» с этим сочинением».

Как и в ряде других подобных случаев, статья Писарева «по поводу» книги Г. Зибеля явилась по существу отнюдь не пересказом и разбором ее, а изложением собственной концепции революции и в этой свя-

зи — размышлением о смысле, содержании, движущих силах исторического процесса и средствах его познания.

Писарев в ряде работ высказал отрицательное отношение к тенденциозности английского историка *Т. Б. Маколея* (1800—1859), полагая, что в его работах слишком много «лиризма», то есть предвзятого морализаторства. Впрочем, в статье «Идеализм Платона», заявляя: «Трудно быть субъективнее Маколея...», Писарев тем не менее отказывался упрекать его в пристрастии и узкой односторонности. «Личности оживают под его пером и отдают полный отчет в своих поступках, в своих мыслях и побуждениях <...> Кроме описываемой и разбираемой исторической личности, читатель видит перед собой образ критика, видит, как меняется выражение этого умного и подвижного лица, слышит в его дикции то сочувствие, то негодование, то иронию, то одушевление» (*Соч.*, т. 1, с. 77).

[2] В тексте «Русского слова» за этим следовало: «исторического деятеля; я честнее такого-то».

[3] Хотя своей «Историей...» Зибель преследовал цель «развенчать» Французскую революцию, показать ее необязательность и неизбежность ее поражения ввиду «несовершеннолетия масс», его книга пронизана тем не менее тенденцией к выявлению «реальных сил» в истории, «нравственных и материальных условий жизни», что, естественно, не могло не импонировать Писареву. Потому-то он и говорит о «серьезности» Зибеля. Что ни в какой степени не устраивало Писарева в Зибеле, так это дух пруссачества, отмеченный уже в предисловии и в примечаниях переводчика его «Истории...». Один из рецензентов ее писал: «Зибель не всегда беспристрастен,— просим читателя помнить, что он *заклятый пруссак* и потому его взгляд на свою родину и на близко соприкасавшиеся с ней государства не может быть принят беспристрастным читателем» («Книжный вестник», 1863, № 22, с. 387). Редактируемый П. Л. Лавровым «Заграничный вестник», печатая статью Зибеля «Развитие монархизма в Пруссии», подчеркивал, что ее автор «не может отказать в поклонении тем личностям, которые употребили все свои способности на то, чтобы сделать Пруссию» («Заграничный вестник», 1864, № 6, с. 474). Здесь же, кстати, подвергалось критике неприемлемое и для Писарева поклонение Зибеля «государственному началу» в истории: «Всякий раз, когда государство считалось *высшим* благом, личности приносились в жертву идолу и *общество* страдало» (там же, с. 478). «Добродетельное отвращение» Зибеля к революции, его «стремление к приговорам» слишком заметны, чтобы всерьез принимать слова Писарева о нем как его «руководителе».

[4] Отрицательную оценку «объективизма» И. А. Гончарова Писарев дал в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (см. *Соч.*, т. 1, с. 197 и след.). Выпады Писарева против Гончарова объясняются в определенной степени тем, что в 60-е годы Гончаров был одним из цензоров, предметом преследования которого явились и статьи Писарева.

[5] В 1119 г. был основан рыцарский орден *тамплиеров* (храмовников). Боясь усиления ордена и желая завладеть его богатствами, фран-

цузский король (с 1285 г.) Филипп IV Красивый (1286—1314) конфисковал имущество ордена, предав его членов пыткам и сожжению (1310). В 1312 г. орден был окончательно упразднен.

[6] *Собрание государственных чинов* (Etats gènèraux), иначе — Генеральные штаты — сословно-представительное учреждение в феодальной Франции, имевшее лишь совещательные функции. Возникли в XIV в. С 1614 г. до мая 1789 г. не созывались.

Карл VII (1403—1461) — французский король (с 1422 г.) из династии Валуа.

[8] *Франциск I* (1494—1547) — французский король из династии Валуа, правил с 1515 г.

[9] *Лига* — организация католиков Северной Франции, возникшая в 70-х гг. XVI в. под руководством Г. Гиза; имела сильное влияние на короля Генриха III (1551—1589), правившего с 1574 г. *Фронда* — социально-политическое движение во Франции 1648—1653 гг., направленное против укрепившегося в середине XVII в. абсолютизма.

[10] *Генрих IV* (1553—1610) — французский король (с 1594), основатель династии Бурбонов. *Джулио Мазарини* (1602—1661), бывший первым министром Франции с 1643 г., проводил политику укрепления абсолютизма.

[11] *Президиальными судами* (существовали с 1551 по 1789 г.) назывались во Франции суды второй инстанции, судившие ряд дел безапелляционно.

[12] *Парламентами* во время сословной монархии во Франции назывались верховные суды, действовавшие в Париже и в 14 провинциях. Парижский парламент, наблюдавший за правильностью законодательства, неоднократно вступал в оппозицию к королевской власти.

[13] *Людовик XV* (1710—1774) — французский король (с 1715 г.), правнук Людовика XIV, наследовавший ему. Регентом Франции во время его несовершеннолетия был (с 1715 по 1723 г.) герцог Филипп Орлеанский (1674—1723).

«После меня — хоть потоп» *(фр.)*.

«История революционного времени», т. I, стр. 21 *(нем.)*. Эта ссылка свидетельствует, что Писарев читал работу Г. Зибеля по-немецки.

[16] *Работник Семен* — персонаж очерков А. А. Фета «Из деревни» («Русский вестник», 1863, кн. 1 и 3), изображаемый автором как образец нерадивости. В очерке «Гуси с гусенятами» Фет рассказывал, как он поймал на своем поле крестьянских гусей и оштрафовал их хозяина.

[17] См. примечание 30 к статье «Очерки из истории труда».

[18] Собирательное название местных народных диалектов во Франции в противоположность французскому литературному языку.

[19] *Друидизм* — верование древних кельтов (галлов, бриттов), связанное с поклонением дубу (конец I тысячелетия до н. э.). Друиды составляли межплеменную корпорацию с пожизненным главой. Захватив в I в. до н. э. кельтские области, римляне запретили организацию друидов; тем не менее они существовали еще несколько веков.

[20] Французский финансист, шотландец по происхождению, *Джон Ло* (Лоу) (1671—1729) основал в 1716 г. во Франции банк. Разработанная им кредитная система вызвала невиданный ажиотаж и спекуляцию, в итоге Лоу потерпел полное банкротство.

[21] Будучи с 1774 г. генеральным контролером финансов во Франции, *А. Р. Ж. Тюрго* (1727—1781) пытался провести ряд реформ, направленных на устранение некоторых феодальных порядков. Смещен с должности в 1776 г.

[22] *Ж. Б. Кольбер* (1619—1683), в бытность министром при Людовике XIV, проводил политику меркантилизма, поощрял развитие промышленности с целью увеличения вывоза товаров за границу.

[23] *Людовик-Филипп* — Луи Филипп (1773—1850) — французский король в 1830—1848 гг.

Июльская монархия существовала во Франции в 1815—1830-х гг.

[25] *Граф Карл д'Артуа* (1757—1836) — младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII, в период Французской революции XVIII в. — один из вождей реакции. Занял престол в период реставрации под именем короля Карла X в 1824 г. Свергнут Июльской революцией 1830 г.

[26] *Жак Неккер* (1732—1804) был министром финансов при Людовике XVI, стремясь провести ряд реформ с целью сохранения феодального режима.

[27] *Ш. А. де Калонн* (1734—1802) был в 1783—1787 гг. генеральным контролером финансов во Франции.

[28] *Нотабли* — представители высшего духовенства, придворного дворянства и городских верхов, время от времени созывавшиеся французскими королями в XIII—XVIII вв. в совещательных целях.

[29] *Граф О. Г. Р. Мирабо* (1749—1791) — впоследствии лидер тех буржуазных сил, которые стремились затормозить развитие революции; на начальных ее этапах выступал резким противником абсолютизма; блестящий оратор.

[30] Аббат *Э. Ж. Сийес* (1748—1836) — автор брошюры «Что такое третье сословие?» (1789), был инициатором провозглашения Генеральных Штатов Национальным собранием.

[31] «Интересы народа» *(фр.)*.

[32] Созданная в июле 1789 г. под командованием генерала *М. Ж. Лафайета* (1757—1834) преимущественно из зажиточных граждан *национальная гвардия*, впоследствии использовалась как орудие подавления демократических выступлений. Конвент позднее предпринял ряд мер по демократизации национальной гвардии.

[33] Всеобщее избирательное право *(фр.)*.

Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», принятая Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

[35] Немецкий историк *Ф. К. Шлоссер* (1776—1861), автор многотомной «Истории восемнадцатого и девятнадцатого столетия до падения Французской империи», пользовался известностью у русских демократических публицистов. Его труды еще в 40-х годах штудировал А. И. Герцен. Перевод его «Истории...», которым занимался высоко ценивший Шлоссера Н. Г. Чернышевский, начал издаваться в России с 1858 г.

и составил восемь томов «Исторической библиотеки», выходившей при журнале «Современник» (см. о ней: М. Е. Козлова, Е. Г. Плимак. «Явление чрезвычайно важное и любопытное». «История СССР», 1978, № 5). В 1861 г. Чернышевский и его соратники приступили к переводу и изданию восемнадцатитомной «Всемирной истории» Шлоссера. Приветствуя это издание, журнал «Русское слово» писал: «До сих пор на русском языке не было ничего подобного «Всемирной истории» Шлоссера и мы не знаем другого чтения, которое было бы так полезно» («Русское слово», 1862, кн. 3, отд. Русская литература, с. 78).

[36] Ср. выражение из «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова: «вещественные знаки невещественных отношений».

[37] От франц. complications — осложнения.

[38] Выходец из крестьян, священник *Анри Грегуар,* добившийся в Генеральных штатах присоединения представителей низшего духовенства к третьему сословию, выступил в Конвенте с требованием уничтожения королевской власти.

[39] *Григорий VII* (Гильдебрандт) (1020—1085) — папа римский (с 1073 г.); *Иннокентий III* (1160—1216) — папа римский (с 1198); *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов; все эти три имени соединяются Писаревым в один ряд как символы религиозной нетерпимости.

[40] Во время Французской революции XVIII в. *парижская коммуна* — наименование общины граждан Парижа, муниципального самоуправления.

[41] Зибель. История революционного времени, т. I, стр. 140 *(нем.).*

[42] От франц. placards — плакаты, прокламации.

[43] Представляется, что это место статьи перекликается со словами Н. Г. Чернышевского из романа «Что делать?» о трагичности судьбы революционных вождей — Рахметовых: те же самые люди, что еще недавно взывали к ним «спасите нас!», «станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканные, страмимые <...> И под шумом шиканья, под громом проклятий, они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XI, с. 145).

[44] В тексте «Русского слова» затем следовало: «своих предшественников и в особенности счастливее».

[45] «Великие принципы 1789 [года]» *(фр.).*

[46] «Эксцессы 1793 [года]» *(фр.).* Писарев здесь, по существу, показывает закономерность революционного террора 1793 г.

[47] Здесь *капитул* — совет при епископе, состоящий из лиц духовного звания, участвующих в управлении епархией.

[48] *Диспенсации* (dispensatio — лат.) — отпущение грехов; в церковном праве также изменение силы закона в каждом отдельном случае.

[49] Приверженцы религиозной секты, образовавшейся в начале XVII в. Один из основателей — голландец Янсений (1585—1638). Являлись сторонниками реформации католической церкви, подвергались в XVII—XVIII вв. преследованиям со стороны католической иерархии.

[50] *Галликанство* (от лат. назв. Франции — Галлия) — движение среди французских католиков за автономию французской церкви от папы римского.

[51] *Ультрамонтаны* (от франц. ultramontain; букв.: находящийся за горами, то есть за Альпами) — возникшее в XV в. течение в католичестве, отстаивавшее идею неограниченного расширения власти римских пап и в духовных и в светских делах стран с католическим населением. Виднейший представитель в XIX в. — Ж. де Местр.

[52] Ср.: «Есть в истории такие положения, из которых нет хорошего выхода — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его» (см. Н. Г. Чернышевский. Сочинения в двух томах, т. I, М., 1986, с. 550).

[53] См. обращение Гамлета к Горацию в трагедии Шекспира «Гамлет».

[54] В «Русском слове» далее следовало: «в которых люди живут тесными и грязными кучками».

[55] Старый порядок *(фр.)*.

[56] «Друг народа» *(фр.)*.

Ормузд и *Ариман* (Ориман) — божества в мифологии древних иранцев, первое — носитель добра, второе — зла. Их борьба, согласно этим верованиям, должна завершиться в конце концов победой доброго начала.

[58] В «Русском слове» далее следовало: «Собрания городских кварталов, или секций, должны были собираться только на время выборов, чтобы назначить мэра и членов обоих советов».

[59] Клуб *кордельеров* (общество друзей прав человека и гражданина) был образован в 1790 году. Получил название от монастыря, принадлежавшего монашескому ордену кордельеров, где происходили собрания. Активную роль в клубе играл Марат. Члены клуба выступали за ликвидацию монархии и установление республики. Затем клуб стал оплотом левых якобинцев, выступавших против Робеспьера. В марте 1794 г. прекратил свое существование.

[60] Букв.: артиста по части волос, то есть парикмахера *(фр.)*.

От англ.: independent — независимый. В данном случае речь идет о работниках, не входивших в рабочие общества, независимых от них.

[62] Речь идет о почтмейстере из гоголевского «Ревизора».

[63] Следующие ниже рассуждения о «честности, мягкости и добродушии» Людовика XVI, о его действиях «спустя рукава», его равнодушии и недоверчивости по отношению к опыту, который он осуществляет, «не надеясь на успех и не заботясь о последствиях» и т. п. нацелены, как представляется, на осмысление и оценку реформаторской деятельности Александра II: «Человек колеблется, а нам кажется, что он хитрит <...> Мы начинаем бояться и ненавидеть такого человека, которого даже не за что презирать».

[64] Близкий советник Людовика XVI барон *Л. О. Л. Брейтель* (1733—1807) вел в 1790 г. переговоры с иностранными дворами о восстановлении королевского престижа во Франции. Не раз упоминаемый

в статье маркиз *Ф. К. А. де Булье (Буйэ)* (1739—1800) непосредственно подготовлял бегство короля из Франции.

[65] Переход *А. П. Ж. М. Барнава* (1761—1793), *А. Т. В. де Ламета* (1760—1829), *А. Ж. Ф. Дюпора* (1759—1798) и их единомышленников — «предводителей левой стороны» — «от защищения свободы к отстаиванию порядка» Писарев объясняет превращением оппозиционной партии в господствующую.

[66] Ср. слова Фамусова («Горе от ума» А. С. Грибоедова), обращенные к Чацкому: «Просил я помолчать, не велика услуга» (д. II, явл. 5).

[67] Имеется в виду, вероятно, трактат Демулена «La France Libre» («Свободная Франция», 1789), где выдвигалось требование провозглашения республики.

[68] Так в тексте; подразумевается революция.

«Республиканец» *(фр.)* — газета, основанная Ж. П. Бриссо (1754—1793) в июле 1791 г.; вышло 4 номера. В Законодательном собрании Бриссо был лидером жирондистов.

[70] Памфлет *М. Ж. А. Н. Кондорсе* (1743—1794), опубликованный в вышеупомянутой газете Бриссо, был написан в форме письма некоего механика, который предлагал изготовить в двухнедельный срок по сходной цене послушного «конституционного» короля со всей его семьей и двором.

[71] Клуб получил название по месту собраний — в монастыре ордена *фельянов.* Образован в 1791 г. руководителями умеренно-либеральной партии, защищавшей конституционную монархию. Перестал существовать в августе 1792 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИДЕИ ОГЮСТА КОНТА

Статья написана в Петропавловской крепости. Опубликована в журнале «Русское слово» в 1865 г. (кн. 9, 10 и 11; в кн. 11 на обложке подзаголовок: Окончание) и 1866 г. (№ 1; здесь под названием «Времена метафизической аргументации» и с особой нумерацией глав). Рукопись неизвестна. Воспроизведена в ч. 10 *первого издания,* где имеются отдельные разночтения с текстом журнала (указаны ниже в примечаниях) и где общее количество глав — двадцать три — указано неверно, поскольку, как и в «Русском слове», номером XVI обозначены две главы. В *ПСС* (т. V) перепечатывалась с некоторыми искажениями (см. в примечаниях). В советское время статья ни разу полностью не печаталась. Мы публикуем статью по тексту *первого издания,* сверенному с текстом «Русского слова» и *ПСС.* Статья печатается по современной орфографии и принятым сегодня правилам пунктуации с сохранением некоторых особенностей литературного письма Писарева.

Статья посвящена преимущественно проблемам, рассматриваемым О. Контом в V томе его шеститомного «Курса положительной философии», вышедшего к тому времени на языке оригинала вторым изданием, но почти неизвестного в России, хотя первые отзывы о философии Конта появились уже в 40-е годы (со взглядами Конта были знакомы

Н. П. Огарев, В. Г. Белинский, В. А. Милютин и др.). Поэтому данная статья представляет собою по существу одну из первых более или менее развернутых характеристик воззрений Конта в отечественной журналистике. Почти одновременно с ней в «Современнике» была напечатана статья Э. К. Ватсона «Огюст Конт и позитивная философия» (1865, №№ 8 и 11—12).

В целом положительно оценивая теоретическую деятельность Конта, воспринимая и воспроизводя ряд его идей, в особенности — идею о закономерном характере исторического процесса, положение о трехэтапности в духовном развитии человечества (от мифологии и религии — через ступень «метафизического», то есть философско-умозрительного мышления — к науке, позитивному знанию), испытывая некоторое, впрочем, не очень сильное влияние позитивистских установок Конта, Писарев — об этом свидетельствуют и статья в целом, и некоторые направленные против Конта полемические пассажи — развивает собственную концепцию истории человеческой культуры. Он стремится показать сложное взаимодействие религии, философии и науки, политики и нравственности, экономического и политического процессов, массового и личностного начал и т. д. в истории. И хотя запечатленная в статье позиция Писарева не отличается последовательной выдержанностью в общефилософском плане, в ней нельзя не увидеть сильной тенденции к материалистическому пониманию истории, примеры тонкого анализа некоторых сторон общественного процесса; глубоко раскрывается, к примеру, диалектика взаимопроникновения и взаимоотталкивания знания и верований на начальных этапах человеческой культуры, неоднозначность взаимосвязи политики и церкви и т. д.

Своеобразна данная Писаревым характеристика самого феномена Просвещения как закономерного духовного подготовления радикальных социальных преобразований; анализ его был продолжен в статье «Популяризаторы отрицательных доктрин», являющейся, в сущности, продолжением «Исторических идей...». Незадолго до гибели Писарев работал над статьей «Дени Дидро и его время», оставшейся незавершенной (сохранившееся начало статьи опубликовано впервые Е. Казанович в 1936 г. — см. сб. «Звенья», т. VI).

Заглавие перекликается с названием статьи Г. Е. Благосветлова «Историческая школа Бокля», напечатанной двумя годами раньше в том же «Русском слове» (1863, №№ 1—3).

Цензура обратила внимание на статью уже при ее первой публикации в «Русском слове». Познакомившись с ноябрьской книжкой журнала за 1865 г., где была напечатана ее третья часть, цензор Скуратов доложил на заседании Петербургского цензурного комитета (5 января 1866 г.), что в «Исторических идеях Огюста Конта» «...под именем средневековой доктрины отрицается божественное происхождение христианской религии, и она представляется лишь результатом борьбы воображения с рассудком». Цензор указывал, что автор старается доказать «бессилие христианского учения, проповедующего сильным и богатым милосердие и щедрость к слабым и неимущим, считая единственным надежным основанием благоустроенного общества развитие всеобщего

эгоизма в личностях». Особое подозрение вызвала мысль о том, что слабые должны научиться «защищать себя коллективною силою масс». Вывод цензора — о том, что эта статья, «как имеющая мыслью развращение нравов и явно противная нравственности», подлежит судебному преследованию — был поддержан цензурным комитетом (цит. по: Ю. Коротков. Писарев.— М., 1976, с. 321). Свое заключение комитет представил Главному управлению по делам печати, обратив внимание и на другие статьи номера — «Рабочие ассоциации» Н. В. Шелгунова и «Библиографический листок». Одновременно, цензурируя этот номер «Русского слова» в качестве члена совета Главного управления по делам печати, И. А. Гончаров отметил содержащееся в статье Писарева «явное отрицание святости происхождения и значения христианской религии», что «подвергает автора и редакторов журнала прямо ответственности по суду...» (см. там же). На основании заключения цензурного комитета и доклада Гончарова «Русскому слову» было объявлено второе предостережение (первое было получено после выхода десятого номера).

Это лексическое образование — *«образованная толпа»* — некоторое время спустя Писарев использует как название статьи, посвященной сочинениям Ф. М. Толстого (1809—1881) (напечатана в журнале «Дело», 1867, кн. 3 и 4).

[2] Начиная с 1818 г. Конт непродолжительное время был секретарем А. де Сен-Симона, у которого он, по словам Энгельса, заимствовал «все свои гениальные идеи (...) но, группируя их по своему собственному разумению, он изуродовал их...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 327). Характерно, что Писарев связывает внимание Конта к «общественным задачам текущего времени» именно с влиянием Сен-Симона.

[3] Писарев различает «мыслящих историков», занятых «терпеливым изучением» фактов и не озабоченных тем, чтоб «приклеить тот или другой ярлык к тому или другому историческому имени» (*Соч.,* т. 2, с. 372—373; см. также *Соч.,* т. 4, с. 239), и историков «философствующих», которые подгоняют изучаемые ими факты к «своим личным размышлениям». К числу последних Писарев относит не только Ф. П. Гизо и весьма популярного у русских читателей 60-х гг. Г. Г. Гервинуса (1805—1871), автора многотомной «Истории XIX века со времени Венского конгресса» (Лейпциг, 1855—1866; рус. пер. СПб, тт. 1—6, 1863—1888), но также и куда менее известных Г. Галлама и Ф. Лорана. Весьма плодовитый бельгийский историк Ф. Лоран (1810—1887) (его работы Писарев изучал в Петропавловской крепости, используя их фактическую основу) отличался приверженностью к идее провиденциализма, за что и был подвергнут критике в статьях П. Л. Лаврова «Философский смысл истории» («Отечественные записки», 1870, № 11) и «Научные основы истории цивилизации» («Знание», 1871, № 2; обе статьи перепечатаны в Собр. соч. П. Л. Лаврова, IV серия, вып. I, Пг., 1918). Английскому историку вигского направления Генри Галламу (1777—1859) принадлежал труд «Конституционная история Англии от Генриха VII до Георга II (1485—1760)» (тт. I—III, Лондон, 1827).

Этот же миф о Хризесе Писарев использовал при характеристике свойственного древним грекам антропоморфизма в статье «Аполлоний Тианский» (см. *ПСС,* т. II, стлб. 67).

[5] «Курс позитивной философии» Конт впервые издал в Париже в 1830—1842 гг. Затем I том был переиздан в 1852 г. Полностью второе издание вышло в 1864 г. с предисловием Э. Литтре. В России издание русского перевода было начато лишь в 1899—1900 гг.; вышли только т. 1 (отд. 1—2) и т. 2 (СПб) под названием «Курс положительной философии».

[6] Имеется в виду работа Конта «Sistème de politique positive... 1—4 («Система позитивной политики», тт. 1—4, 1851—1854).

[7] *И. А. Тэн* (1828—1893) — французский историк, эстетик и философ-позитивист. Еще в студенческие годы Писарев познакомился с его книгой «Исторические и критические опыты», которую определил как «хорошую» (см. *Соч.,* т. 2, с. 146). В России было переведено сочинение И. Тэна «Об уме и познании» (СПб., т. 2, 1872). Из философских работ *Э. Вашро* (1809—1897) укажем на привлекшую внимание А. И. Герцена (см. Собр. соч., т. XXX, с. 107) статью «Наука и сознание» из «Revue des Deux Mondes» от 1 мая 1869 г. Хотя Писарев и относил Тэна и Вашро, наряду с *Г. Спенсером,* к числу «самых крупных мыслителей Франции и Англии», в его работах им уделено чрезвычайно незначительное место.

[8] Главный труд *Г. М. Бокля* (1821—1862) «История цивилизации в Англии» пользовался большой популярностью в России 60-х гг. В статье «Наша университетская наука» Писарев называл «знаменитой» идею Бокля «о том, что человечество подвигается вперед при помощи знаний и открытий и что нравственные истины не имеют почти никакого влияния на быстроту и успешность исторического развития» *(Соч.,* т. 2, с. 192). Впрочем, более всего Писарев ценил Бокля за саму постановку вопроса: «какая сила или какой элемент служит основанием и важнейшим двигателем человеческого прогресса?» *(Соч.,* т. 2, с. 373 — статья «Цветы невинного юмора). Сближая Бокля с Контом, Писарев в статье «Генрих Гейне» высказывал сочувствие их «основной мысли» — «той мысли, что вся история есть борьба рассудка с воображением и что сильнейшим двигателем прогресса оказывается накопление и распространение знаний» *(Соч.,* т. 4, с. 198—199). Теории *Дарвина* Писарев посвятил статью «Прогресс в мире животных и растений» («Русское слово», 1864, кн. 4—9; см. *ПСС,* т. III, а также Д. И. Писарев. Избр. философские и общественно-политические статьи. М., 1949).

[9] Наряду с К. Фохтом и Я. Молешоттом Писарев относил *Л. Бюхнера* к числу «последовательных материалистов» (см. *Соч.,* т. 2, с. 27). Как популяризатора Писарев ставил Бюхнера выше Фохта (см. *Соч.,* т. 3, с. 130), его «Физиологическим картинам» (т. 1, 1861) он посвятил одноименную статью («Русское слово», 1862, кн. 2 — см. *ПСС,* т. II). Сближая идеи Бюхнера и Л. Фейербаха, Писарев вместе с тем писал: «Но совсем не в этих идеях и заключается сила современного естествознания. Если до сих пор мы относимся к этим идеям с особенною нежностью и накидываемся на них с особенною жадностью, то это доказы-

вает только, что мы стоим еще на самом пороге настоящей науки и что мы до сих пор никак не можем отказаться от ребяческой замашки строить системы мира из двух десятков собранных кирпичей» (*Соч.,* т. 3, с. 34, статья «Реалисты»).

[10] *Констан-Ребек,* точнее — Констан де Ребек Б. (1767—1830) — это известный нам более как писатель Бенжамен Констан, автор высоко ценимого А. С. Пушкиным романа «Адольф». О какой именно его книге идет речь в статье Писарева, мы не знаем. Возможно, что «О религии, рассматриваемой в ее происхождении, формах и развитии» (т. 1—5, 1824—1831).

До крайних пределов *(лат.)* — наивысший, непревзойденный.

«Огюст Конт и позитивная философия» *(фр.).* На эту работу не раз ссылался и П. Л. Лавров в статье «Задачи позитивизма и их решение» («Современное обозрение», 1868, № 5.— См. П. Л. Лавров. Философия и социология, т. I, М., 1965). Эта книга Литтре третьим изданием вышла в Париже в 1877 г.

[13] Эти статьи Милля нам неизвестны, но, вероятно, они вошли в его книгу «Auguste Comte and positivism» 2ed., L, 1866. См. также в русском издании: Г. Г. Льюис и Д. С. Милль. Огюст Конт и положительная философия. СПб, 1867.

[14] *Дюпон-Вайт* (Уайт) *Шарль* (1807—1878) — французский экономист и социолог.

[15] *Сенегамбией* в прошлом веке называли территорию в Африке, ограниченную с севера рекой Сенегал, а с юга — рекой Гамбией и населенную различными племенами и этническими группами.

[16] Вайц. Антропология первобытных народов. Том II. С. 178—179 *(нем.).*

[17] *Сабеизм* — древняя (доисламская) религия в Месопотамии, Аравии, Сирии и Малой Азии, отличавшаяся культом небесных светил; название — от аравийского племени сабеев, у которых впервые зародился этот культ.

[18] «Фил<ософия> поз<итивная>». Т. V. С. 63 *(фр.).* — Здесь и далее, приводя высказывания Конта, Писарев ссылается на т. V его «Курса позитивной философии».

[19] Так Писарев переводит понятие Дарвина «естественный отбор».

[20] В «Русском слове» было: «аристократы и демагоги».

«Аппетит приходит во время еды» *(фр.).*

«Антропология первобытных народов» *(нем.).*

В *ПСС* слово «католической» заменено на «западной» (см. V, 1894, стлб. 346).

В *ПСС* часть предложения после «грубым политеизмом» не напечатана (см. там же).

[25] Лоран. Греция, с. 124 *(фр.).* — Эта книга гентского профессора Ф. Лорана составляла 2-ю часть его 18-томного сочинения «Histoire du droit des gens et des relations internationales. Etudes sur l'histoire de l'humanite».

[26] В Вандее (департамент Франции) во время Французской революции XVIII в. находился очаг контрреволюционных выступлений. *Шу-*

аны — участники восстаний в защиту королевской власти и католической церкви во французских провинциях Мен, Бретань и Нормандия в 1792—1803 гг.

[27] «Принципы политической власти, то есть светской или практической, или даже духовной или теоретической» *(фр.)*.

[28] Писарев цитирует «Анналы» Тацита (ок. 55 — ок. 120), посвященные событиям времен ранней Империи.

[29] Писарев цитирует XII таблиц (середина V в.) по первой части «Римской истории» Жюля Мишле (1798—1874), имевшей подзаголовок «Республика» (Paris, 1833).

[30] *Фециалы* — жрецы у древних римлян, освящавшие соответственными религиозными обрядами и церемониями начало военных действий и заключение мира.

[31] Эти слова Тиберия Гракха, трибуна (133 г. до н. э.), дошли до нас в передаче Плутарха.

[32] Речь Цицерона «О манилиевом законе» (66 г. до н. э.) произнесена им в поддержку предложения народного трибуна Гая Манилия предоставить Помпею особые полномочия для борьбы против Митридата.

[33] Имеется в виду война с Митридатом (74—64 гг.).

Речь идет о Фридрихе II (1712—1786) — прусском короле с 1740 г.

«Знаменитый де Местр», «великий Боссюэ» *(фр.)*. Жозеф *де Местр* (1753—1821) — и *Ж. Б. Боссюэ* (1627—1704) были для Писарева олицетворением крайней реакции в сфере социально-философской мысли.

[36] *Пий IX* (1792—1878) — римский папа с 1846 г.

В тексте «Русского слова» вслед за тем шли слова, пропущенные в *первом издании* и отсутствующие также в *ПСС:* «то в Италии».

[38] Так в тексте; здесь слово «империалисты» означает сторонников возвышения власти императоров, противников клерикальной партии.

[39] Имена древнегреческого политического деятеля и полководца *Аристида* (ок. 540—467 до н. э.), получившего эпитет «Справедливый», и римского политика *Катона* Марка Порция Старшего (234—149 до н. э.), введшего суровые законы против роскоши, используются здесь как нарицательные, с целью показать отсутствие нравственного начала в буржуазной политике политической администрации.

[40] В *ПСС* слова «наши косматые предки, близкие родственники могучего гориллы» заменены на «зоологические предки».

[41] В *ПСС* вместо «горилловской» напечатано «зоологической».

[42] Правильнее *Бернар Клервоский* (1090—1153) — теолог, настоятель (с 1115) основанного им монастыря в Клерво.

[43] *Ферула* (от лат. ferula — хлыст, розга) — линейка, которой в старину били провинившихся школьников.

[44] Разумное основание *(фр.)*.

Лоран. «Варвары и католицизм», с. 36 *(фр.)*. — Писарев ссылается на 5-ю книгу названного выше 18-томного труда бельгийского историка. *Салический закон* — запись обычного права салических франков (древнегреческих племен), осуществленная в начале VI в. по распоряжению короля Хлодвига.

Здесь слово *«раса»* в смысле «народность», «национальность», «племя».

В *ПСС* это предложение заменено другим: «Настоящее зло именно и состоит в тяжелом положении масс».

[48] В *ПСС* окончание предложения изменено: «когда та или другая реформа нанесет решительный удар сложному механизму, парализующему производительность народного труда».

[49] У античных писателей *сарацинами* называли племена, населяющие северо-западную Аравию; в средневековой Европе название сарацины распространилось на всех арабов и некоторые другие народы Ближнего Востока.

[50] *Гвельфы и гибеллины* — борющиеся политические группировки в Италии XII—XV вв.; поддерживавшие римских пап гвельфы выступали против попыток германских императоров и их сторонников — гибеллинов утвердить господство на Апеннинском полуострове.

[51] Выше Писарев так перевел это выражение Конта: «оораздовое произведение политической мудрости».

[52] В *ПСС* цензурное смягчение: «то есть ее должны решать сами работники». Следующая фраза опущена вовсе.

[53] Неизбежное неудобство социального устройства *(фр.)*.

В «Русском слове» и в *первом издании* эта глава, являющаяся по счету семнадцатой, ошибочно была обозначена как XVI. Мы исправляем эту ошибку, вследствие чего меняется нумерация последующих глав.

[55] Римский писатель и историк Плиний Младший (ок. 62—ок. 114), автор «Писем» — важного источника для характеристики Империи времен Траяна.

[56] В тексте «Русского слова» напечатано «последнего», то же и в *первом издании,* что является явной опечаткой. Исправляем ее по *ПСС.*

[57] Лоран. «Феодализм и церковь», с. 599 *(фр.)*. — один из томов (седьмой) названного выше труда Ф. Лорана.

[58] В *первом издании* (в «Русском слове» дата отсутствовала), как и в *ПСС,* была опечатка: 1173.

[59] В «Русском слове» следующий абзац начинался по-иному, словами, опущенными в *первом издании:* «Этим небольшим рассказом я заканчиваю ту часть моей работы, которая относится к самому цветущему периоду средневековых идей и учреждений».

[60] Цензор Скуратов расценил данное здесь описание восстания крестьян «вследствие пропаганды плотника Дюрана» как пример доказательства Писаревым идеи о необходимости для масс «защищать себя коллективною силою» (см.: С. С. Конкин. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годах. — Ученые записки Стерлитамакского педагогического института, вып. VIII, 1962).

[61] Нижеследующий текст был впервые напечатан в кн. 1 «Русского слова» за 1866 г. под заголовком «Времена метафизической аргументации» с разбивкой на семь главок. В *первом издании* он включен (точно неизвестно, самим ли Писаревым или Павленковым) в статью «Историче-

ские идеи Огюста Конта» как главы XVII—XXIII. Фактически, по общей нумерации, это главы XVIII—XXIV, как мы их и печатаем.

[62] Право на сопротивление, право на восстание *(фр.)*.

«Рогатый силлогизм» — встречающееся в литературе название дилеммы, оба члена дилеммы представляют как бы рога, направленные с двух сторон против оппонента; и одно и другое положение дилеммы одинаково неприятны.

[64] В «Русском слове» «несомненную и непоколебимую».

[65] В «Русском слове» окончание этого предложения иное: «в прошлогодней сентябрьской книжке «Русского слова».

[66] Идеолог чешской Реформации *Ян Гус* (1371—1415) в конце 1414 г. был осужден как еретик Констанцским церковным собором и сожжен. Этот собор принял декреты о реформе церкви, согласно которым вселенские соборы превращались в постоянный институт, контролирующий действия папской власти.

[67] *Легисты* — средневековые западноевропейские юристы, разрабатывавшие и внедрявшие в практику римское право в противовес церковному (каноническому) праву. Особое значение приобрели во Франции в XIII в., где поддерживали королевскую власть в ее борьбе с крупными феодалами.

[68] «Генеральные штаты» *(фр.)* (см. примечание 6 к статье «Исторические эскизы»).

[69] Это ссылка на русский перевод книги Бокля «История цивилизации в Англии», вышедший в 1863—1864 гг. первым изданием, а ко времени написания «Исторических идей...» переизданный. Перевод был осуществлен Н. Тибленом и К. Бестужевым-Рюминым.

[70] *Ахилл Фульд* (1800—1867) — один из заправил парижской биржи, трижды занимавший (в 1849, 1852, 1861) пост министра финансов Франции.

[71] От англ. intimidation — запугивание, устрашение; здесь в смысле: цензурные предупреждения.

[72] Так в тексте и в «Русском слове», и в *первом издании*, и в *ПСС*.

[73] Намек на Великую французскую революцию.

«Ах, если бы знал король!» *(фр.)*.

[75] «Ах, если бы знал Комитет!», «Ах, если бы знал консул!», «Ах, если бы знал император!», «Ах, если бы знал король!», «Ах, если бы знал президент!», «Ах, если бы знал император!» *(фр.)*.

[76] Вторая империя во Франции — 1852—1870 гг., после контрреволюционного переворота, осуществленного Луи Наполеоном Бонапартом, провозгласившим себя императором Наполеоном III.

[77] В *первом издании* и в *ПСС* «не» было пропущено, что принципиально меняло смысл предложения. Исправляем по тексту «Русского слова».

[78] *Лелий* (Лелио) *Социн* (1525—1562) и его племянник *Фауст Социн* (1539—1604) — основатели развившегося в XVI в. в Швейцарии и Польше движения социниан, представлявшего собою антитринитарное направление в протестантизме. Антитринитарии (от греч. anti — против и лат. trinitas — троица) — сторонники христианских сект,

отвергавших догмат о триединстве бога. Учение это возникло еще в конце II — начале III в., но вновь возродилось в эпоху Реформации. Антитринитарии находились в оппозиции к католицизму, лютеранству, кальвинизму, допускали свободное толкование библии, отрицали первородный грех, искупительную жертву Христа, выступали против церковной иерархии, монашества, икон, святых, доходили до требования имущественного равенства, отмены частной собственности, крепостного права, а иногда и до отрицания государственной власти. Унитарии (унитариане) (от лат. unita — единство) были близки к ним по взглядам; они также отвергали догмат о троице и вместе с тем выступали за веротерпимость. Представляя собою одно из течений в протестантизме, унитарии жестоко преследовались в XVI—XVIII вв. католической церковью и ортодоксальными протестантами.

79 В *ПСС* слово «монархическую» было заменено на «автократическую».

80 Предостережения *(фр.)*.

Будучи сторонниками решительного осуществления в Англии идей Реформации, пуритане сыграли весьма заметную роль в подготовке и осуществлении революции 1640—1660 гг., выступая с требованиями упразднения церковной иерархии, отделения церкви от государства и т.д.

82 «Государство — это я!» *(фр.)*.

83 Здесь в смысле «враждующим».

«Опыты» *(фр.)*. — главное произведение М. Монтеня.

«О мудрости» *(фр.)*. Это сочинение П. Шаррона вызвало яростные нападки клерикалов.

86 «Рассуждение о методе» *(фр.)*. — одно из главных произведений Р. Декарта.

87 «Знаменитый Гоббс» *(фр.)*.

«Назад к природе» *(фр.)*.

89 В *ПСС* смягчено: «которые доказывали, что правительство своим вмешательством» (далее по тексту).

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН

Статья впервые опубликована под псевдонимом «Д. Рагодин» в сборнике «Луч», т. 1 (СПб., 1866), выпущенном Г. Е. Благосветловым вместо закрытого по распоряжению правительства журнала «Русское слово». Вошла в ч. 10 *первого издания* (1869). По своему содержанию является как бы продолжением и развитием последних разделов статьи «Исторические идеи Огюста Конта».

И. А. Гончаров, давший в качестве цензора отзыв о сборнике «Луч», обвинил автора статьи в «недостатке исторического беспристрастия и в озлоблении, с которым он относится к роялизму» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов. «И. А. Гончаров, как член Совета главного управления по

делам печати»//«Голос минувшего», 1916, № 11—12). Однако цензурному преследованию статья подвергнута не была.

Так называлась статья Писарева в кн. 1 «Русского слова» за 1866 г., а фактически — продолжение статьи «Исторические идеи Огюста Конта» (главы XVIII—XXIV).

[2] Имеется в виду приписываемое Людовику XIV высказывание «Государство — это я!».

[3] См. примечание 50 к статье «Исторические эскизы».

Должностные лица, стоявшие во главе провинции и ведавшие финансами, судом и полицией.

Крупные финансисты, которые покупали право получать государственные подати.

[6] См. примечание 28 к статье «Бедная русская мысль».

Здесь и далее Писарев цитирует русский перевод книги Бокля «История цивилизации в Англии» (2-е изд. СПб, 1864).

[8] *Пресвитерианцы* (пресвитериане), представлявшие протестантскую (кальвинистскую) церковь в Шотландии и Англии и игравшие активную роль в революции 1649 г., после реставрации Стюартов, при Карле II, подвергались преследованиям. Особенно сильными эти преследования были в Шотландии, где с 1681 г. наместником был будущий король Яков II Стюарт.

[9] В 1685 г. Людовик XIV отменил так называемый Нантский эдикт — постановление французского короля Генриха IV (изданное в Нанте в 1598 г.), согласно которому гугенотам предоставлялась свобода вероисповедания и отправления службы, а также различные политические права.

[10] «Знаменитый Боссюэ» *(фр.)* — так называл этого ультрамонтана Конт (см. главу XII статьи «Исторические идеи Огюста Конта»).

[11] «Новости республики наук» *(фр.)*.

Г. Геттнер (1821—1882) — немецкий историк литературы, испытавший значительное влияние идей Л. Фейербаха. Его книга «История всеобщей литературы XVIII в.» привлекла внимание русских читателей. В 1863—1875 гг. был осуществлен ее русский перевод. Здесь и далее Писарев цитирует т. II этой книги (перевод А.Н.Пыпина. СПб, 1865).

[13] *Rome* — Рим, центр католицизма, *Genève* — Женева, центр кальвинизма, одного из течений протестантизма.

[14] Оскорбленный де Роганом и избитый его слугами Вольтер вызвал обидчика на дуэль. Избегая дуэли, де Роган интригами добился приказа о заключении Вольтера в тюрьму. Вслед за тем Вольтер был выслан из Франции.

[15] Писарев приводит французское наименование одной из должностей при королевском дворе. Обладание этим титулом было связано с рядом привилегий.

[16] См. примечание 29 к статье «Бедная русская мысль».

Буквально: развлекающий публику *(фр.)*.

[18] Система тюремного заключения в буржуазных государствах, со-

стоящая в полной изоляции заключенного от внешнего мира; трактовалась как средство «перевоспитания» преступника.

[19] Французский лейтенант *Ж. А. Латюд* (1725—1805) по приказу маркизы де Помпадур за интриги против нее был посажен в Бастилию; пробыл в заключении с 1749 по 1784 г.

[20] *Морис Саксонский* (1696—1750) — французский маршал.

Маркиз Поза — действующее лицо трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос».

[22] «Девственница» (фр.) — поэма Вольтера «Орлеанская девственница».

[23] См. примечание 39 к статье «Исторические идеи Огюста Конта».

Супранатурализм — вера в сверхъестественное, то есть религиозная вера.

[25] *К. А. Фарнгаген фон Энзе* (1785—1858) — немецкий писатель и критик.

[26] «Опыт о нравах и духе народа» *(фр.)* — сочинение Вольтера.

Высмеивания (от франц. persifler — высмеивать).

[28] «Верую, потому что нелепо» *(лат.)* — фраза, принадлежащая одному из «отцов церкви» — Тертуллиану (ок. 150—222).

[29] Отрывки из этого трактата и материалы упоминаемых процессов см. в кн.: Вольтер. Избранные произведения по уголовному праву и процессу. М., 1956.

[30] Суверенитет народа *(фр.)*.

Канцлер при Людовике XV, *Мопу* в 1771 г. за оппозицию королевской власти подверг аресту всех членов Парижского парламента и произвел его реорганизацию. В 1774 г., вступив на престол, Людовик XVI уволил Мопу в отставку и отменил принятые им меры.

[32] Процесс нации (фр.).

«Рассуждение о науках и искусствах» *(фр.)*.

Сокращенное наименование «Энциклопедии, или систематического словаря наук, искусств и ремесел» — многотомного издания, выходившего в 1751—1780 гг. в Париже и Амстердаме под руководством Дидро и Д'Аламбера.

[35] Каждому по его силам, каждому по его потребностям *(фр.)*.

[36] См. примечание 49 к статье «Исторические эскизы».

«Опыт об управлении землями» *(фр.)*.

[38] «Экономическая таблица» *(фр.)*.

«Новая Элоиза» *(фр.)*.

[40] «Управление финансами» *(фр.)*.

Речь идет о переводчике «Исповеди» Руссо (рус. изд. 1865), журналисте и драматурге *Ф. Н. Устрялове* (1836—1885).

[42] *Сен-Ламбер Ш. Ф. де* (1728—1803) — французский поэт и философ-просветитель.

[43] *Питт Уильям Младший* был в 1781—1783 гг. и в 1804—1806 гг. премьер-министром Англии. Обвинение в «сношениях с Питтом» было одним из наиболее распространенных при расправе Робеспьера с «подозрительными».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Аверроэс (Ибн-Рошд) —495
Аксаков Константин Сергеевич —34, *578*
Александр Великий — см. Александр Македонский
Александр Македонский —22, 59, 60, 71, 378, 383, 406
Алексей Михайлович, русский царь —29, 46, *578*
Алексей Петрович, царевич —65, 66—67
Альба Фернандо Альварес де Толедо —569
Альберт Великий (Альберт фон Больштедт) —466, 468, 530
Альфонс X, король Леона и Кастилии —59—60
Аполлон *(мифол.)* —342—343
Аржансон Войе, д —551
Ариман *(мифол.)* —297, *583, 589*
Аристид —426, 526, *595*
Аристотель —38, 59—60, 448—449, 466
Армстронг Уильям Джордж— 189—190, *583*
Архимед —38, 467
Асклепий (Эскулап) *(мифол.)* —371
Атилла —94
Ахиллес *(мифол.)* —359

Бальи Жан Сильвен — 236, 238—239, 248—250, 257—258, 296, 305, 339
Барантен Шарль Луи Франсуа, де — 230
Барбье Эдмонд Жан Франсуа — 550
Барнав Антуан Пьер Жозеф Мари — 236, 320, 322, 324—325, 333, 337, 590
Бастиа Фредерик — 480
Батый — 117

*Указатель включает исторические и мифологические имена, содержащиеся в статьях Д. И. Писарева и «Примечаниях».

Бах Александр — 426
Бейль (Бэль, Бэйль) Пьер — 502, 514, 520
Беккариа Чезаре — 504
Белинский Виссарион Григорьевич — 31, *578, 591*
Беллеваль (Бельваль) — 541—542
Бергавен Герман — 51
Беркли (Берклей) Джордж — 208, 501
Бернар Клервоский (Клервальский) — 430, *595*
Берцеллиус Иенс Якоб — 105
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич — 475, *597*
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен — 426
Блументрост Лаврентий Лаврентьевич — 59—60
Бокль Генри Томас — 347—348, 473—475, 499—501, 503, 511, 516, 519, 521—523, 556, *591, 593, 597, 599*
Болинброк Генри Сент-Джон — 534
Бомарше (Пьер Огюстен Карон) — 520, 543—548, 557, 559
Бонапарте — см. Наполеон I
Бональд Луи Габриэль Амбруаз — 484
Бонифаций VIII, папа — 472
Боссюэ Жан Бенинь — 419, 505, 513, *595, 599*
Брама *(мифол.)* — 389
Бретейль Луи Огюст Летонелье — 319, *589*
Бренн — 405
Бриенн (Ломени де Бриенн) Этьен Шарль — 227, 559
Бризар (Жан Батист Бритар) —558
Бриссо Жан Пьер — 246, 305, 337, 339, *590*
Брольи Виктор Франсуа, де —237
Бруно Джордано (Джиордано) —22—23, 515

Брут Марк Юний — 402
Буагильбер Пьер — 506, 508—509, 553
Буало Николя — 520
Булье Франсуа Клод Амур — 274, 319, 335, *590*
Бурбоны — 225, 510
Бурцев Василий Федорович — 15—16
Бэкон Роджер (Рожер) — 530
Бэкон Френсис — 178
Бюзо Франсуа Леонар Никола — 321
Бюффон Жорж Луи — 552
Бюхнер Людвиг — 348, 462, *593*

Вайц (Waitz) Теодор — 356, 373—374, *594*
Валленштейн Альбрехт — 494
Вашро Этьен — 347, *593*
Венера *(мифол.)* — 375
Верньо Пьер Виктюрньен — 324
Вестрис Мари Роза Дюгазон — 558
Вивиани Винцентий — 59—60
Виллет Рен Филиберт Руф де Варикур — 558
Вильгельм I Завоеватель, английский король — 479
Вильгельм III Оранский, английский король — 494
Витгенштейн Эмилий Карл Людвигович — 17, *577*
Владимир, великий князь киевский — 34, *578*
Вобан Себастьян ле Претр — 506—509, 553
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) — 559—560, 566—567, 569, *599, 600*
Вольф Христиан — 59—60
Вулкан *(мифол.)* — 342

Газан — 59—60
Гайнау Юлиус — 426
Галиани Фернандо — 556
Галилей Галилео — 178, 494, 510
Галлам Генри — 341, *592*
Гарвей Уильям — 448
Гезман Луи Валентин — 544—545
Гезман Габриэль Луиза Жамар — 544—546
Гелиогабал (Варий Авит Вассиан) — 29
Гельвеций Клод Адриан — 468, 503, 520, 526, 536, 552
Генрих VIII, английский король — 62, 484, 486, *580, 592*
Генрих IV, германский император — 432, 434
Генрих II, французский король — 485
Генрих III, французский король — 216
Генрих IV, французский король — 202, 335, 486, 499, *586, 599*
Георг III, английский король — 44, *579*
Гервинус Георг Готфрид — 341, *592*
Геркулес *(мифол.)* — 375, 378
Герострат (Эрострат) — 22
Герцог Бургонский — 507
Герцог Иоркский — см. Яков II
Герцог Орлеанский — см. Луи Филипп Жозеф Орлеанский
Гете Иоганн Вольфганг — 358, 556
Геттнер Герман — 514, 516, 526, 528—529, 538, 545, 547—548, 557, 559, 571, 573, *599*
Гизо Франсуа Пьер Гийом — 340—341, 348, 475, *592*
Гиппократ — 371
Гоббс (Гоббес) Томас — 501—502, *598*
Гоголь Николай Васильевич — 30
Гольбах Поль Анри — 503—504, 536, 556, 565, 569, 571—573
Гомер — 359
Гончаров Иван Александрович — 200, *585, 588, 592, 598*
Горса Антуан Жозеф — 246
Гракх Тиберий — 409, *595*
Граф Прованский — см. Людовик XVIII
Грегуар Анри — 257, 321, *588*
Григорий VII, папа — 257, 425, 484, *588*
Григорий IX, папа — 423, 432
Гримм Мельхиор — 552, 557, 559, 565, 573
Гуго Капет — 201
Гурнэ Жан Клод Мари Винсент, де — 555, 560
Гус Ян (Гусс Иоанн) — 23, 470, 527, *597*
Гюаде Маргерит Эли — 324
Гюйссен Генрих — 62—65

Д'Аламбер Жан Лерон — 503, 552, 556, 570, *600*

Дамилавилль — 503
Данверз — 519
Дантон Жорж Жак — 245, 305, 329—330, 333, 339, 569
Дарвин Чарльз — 347, *593*
Декарт Рене — 500, 515, 530, *598*
Делейр — 503
Демулен Камиль — 236, 245—246, 262, 325, 329—330, 339, 569, *590*
Дени Луиза Миньо — 557
Державин Гавриил Романович — 55
Дефорж — 523
Дидро Дени — 256, 503, 509, 520, 536, 550—552, 556, 565, 569, 570—571, *575, 591, 600*
Домициан — 43, 44, 411, 412
Дэви Гемфри — 105
Дюверне Жозеф Парис — 544
Дюплесси-Морне Филипп — 498
Дюпон-Вайт (Уайт) Шарль (Dupont-White) — 350, *594*
Дюпор Адриан Жан Франсуа — 320—322, 324—325, 337, *590*
Дюран — 458—459, *596*

Ева *(библ.)* — 436
Екатерина (Катерина) Арагонская — 484
Екатерина I, русская императрица — 29
Елизавета, английская королева — 92, 486, 569

Загоскин Михаил Николаевич — 30
Зевс (Зевес) *(мифол.)* — 342—343
Зибель Генрих (Sybel) — 200, 202, 211, 213, 221, 223, 242, 244—245, 257, 260, *584, 585, 588*
Зотов Никита Моисеевич — 62, *579*
Зотов Рафаил Михайлович — 55, *579*

Иисус Христос — 432
Илья Муромец — 34—36
Инар Максим — 324
Иннокентий III, папа — 257, 423, 425, 432—433, 484, *588*
Иоанн Дунс Скот (Скотт) — 497

Казалес Жан Антуан Мари — 267
Кайданов Иван Козьмич — 44, *579*
Калас Жан — 539—540, 542—543, 555
Калас Марк Антон (Антуан) — 539
Каласы — 539—540
Калигула Гай (Кай) Цезарь — 29, 44—45, 411—412
Калонн Шарль Александр — 226—227, *587*
Кальвин Жан — 483, 498, *579*
Кант Иммануил — 208
Капетинги — 93
Карамзин Николай Михайлович — 55
Карл Артуа (д'Артуа) — см. Карл X, французский король
Карл Великий — 452—453
Карл I, английский король — 29, 316, 486, 487, *576, 577*
Карл II, английский король — 501, *582, 599*
Карл I Анжуйский, король сицилийский и неаполитанский — 433
Карл V, испанский король — 484, 486
Карл VII, французский король — 201, *586*
Карл X, французский король — 225, 235, 239, 316, 333, 548, *576, 578, 587*
Карл XII, шведский король — 493
Карра Жан Луи — 246
Катон Марк Порций Старший — 402, 426, *595*
Кенэ Франсуа — 212, 553, 556, 560
Кеплер Иоганн — 340, 494, 510
Кирхен — 63—64
Климент V, папа — 472—473
Клоотс (Клоц) Анахарсис — 271, 569
Клоц Анахарсис — см. Клоотс
Колумб Христофор — 24, 448
Кольбер Жан Батист — 218—219, *587*
Коммод — 29
Конде Луи Жозеф, принц — 239
Кондильяк Этьен Бонно, де — 551
Кондорсе Жан Антуан, де — 337, 503, 537—538, *590*
Конрад, сын Фридриха II Штауфена — 432—433
Конрадин, герцог Швабский — 433
Констан-Ребек — 348, *594*
Конт Огюст — 340—504, *574, 590—598, 599, 600*

Конти Луи Франсуа, принц — 547
Конфуций — 279
Коперник Николай — 178, 340, 510, 515
Копиевский (Копиевич) Илья Федорович — 54—56
Корнелий Непот — 330—331
Корнель Пьер — 330, 520
Красс — 386
Кромвель Оливер — 502
Кузен Виктор — 480
Кэри (Carey) Генри Чарльз — 73, *581*

Ла Барр, де — 539, 541—542
Лаблаш — 544—545
Лавуазье Антуан Лоран — 105, 340
Лаланд Жозеф Жером Франсуа — 503
Ламанский Евгений Иванович — 31, *578*
Ламарк (Аренберг Огюст Мари Раймон) — 254, 255
Ламет Александр Теодор Виктор, де — см. Ламеты, братья
Ламет Шарль Мало Франциск, де — см. Ламеты, братья
Ламеты, братья — 271, 272, 320, 321, 324, 325, 337, *590*
Ламетри Жюльен Офре — 550
Ланге — 63—64
Ланжюине Жан Дени — 321
Лаплас Пьер Симон — 503
Латюд Жан Анри — 523, *600*
Лафайет Мари Жозеф — 238, 244—246, 249—250, 256, 271—272, 296, 305, 321, 330, 333, 339, *587*
Лебретон Андре Франсуа — 570
Лейбниц Готфрид Вильгельм — 37, 56—60, 530
Леопольд II, австрийский император — 319, 328
Летеллье Мишель — 569
Либих Юстус — 105
Ликург — 26, 294
Линней Карл — 75
Литтре Эмиль — 347, 349, 350, *593, 594*
Ло Джон — 215, *587*
Лойола Игнатий — 257, *588*
Ломоносов Михаил Васильевич — 59, 62
Лоран Франсуа (Laurent) — 341, 377, 457, *584, 592, 594, 596*
Лудвиг — 63—64
Лукулл — 383, 410
Луи Филипп, французский король — 29, 222, 340, 426, *576, 578, 587*
Луи Филипп Жозеф Орлеанский — 250, 333
Лустало Элизе — 246
Людовик Великий — см. Людовик XIV
Людовик IX «Святой», французский король — 93, 432
Людовик XI, французский король — 50
Людовик XIII, французский король — 490
Людовик XIV (Великий), французский король — 37, 49, 53, 59—60, 202, 204—206, 209, 228, 290, 335, 487, 489, 491, 494, 501, 505—511, 514—516, 520, 532—533, 559, *579, 586, 587, 599*
Людовик XV, французский король — 206, 208—209, 228, 279, 290, 491, 509, 544, 549, 551, *586, 600*
Людовик XVI, французский король — 218, 221, 225—226, 228, 231, 235, 251, 279, 315—320, 326—328, 330, 332—334, 336, 338, 548, *587, 589, 600*
Людовик XVIII, французский король — 333, *587*
Людовик Филипп — см. Луи Филипп, французский король
Лютер Мартин — 465, 481—483, 497—498

Мабли Габриель Бонно, де — 557
Магеллан Фердинанд — 510
Магомед — см. Мухаммед
Мазарини Джулио — 202, *586*
Макиавелли Николло (Николай) — 432
Мак-Куллох Джон Рамсей — 170, *583*
Маколей Томас Бабингтон — 198, 348, 475, *585*
Малерб Кретьен Гийон — 519, 555
Мальтус Томас Роберт — 99—101, 106, 156
Мансфельд Эрнст — 494
Мантейфель — 426
Марат Жан-Поль — 246, 262, 273, 296—297, 305, 310, 313, 329, 337, 339, *589*

Марешаль Пьер Сильвен — 503
Мария-Антуанетта, французская королева — 328, 548
Мария Стюарт — 92
Мартин V, папа — 473
Матвеев Андрей Артамонович — 68—69
Меншиков Александр Данилович — 62—66
Местр Жозеф Мари, де — 419, 422—423, 484, *589, 595*
Мерсье де ла Ривьер Поль Пьер — 555, 560
Меттерних Клеменс — 50, 426, 492, *575*
Милль Джон Стюарт — 101, 107, 120, 347, 349—350, 460, *580, 582, 594*
Мильтон Джон — 115
Минерва *(мифол.)* — 365
Мирабо Оноре Габриель Рикетти — 231—232, 235—236, 252—256, 263, 265—266, 272—274, 296, 314—315, 319—320, 330, 333, 503, *587*
Мишле Жюль — 348, 402, *595*
Молешотт Якоб — 462
Молох *(мифол.)* — 534
Мольер (Поклен) Жан Батист — 520
Монбальи — 539, 542
Монтень Мишель — 499, *598*
Монтескье Шарль Луи — 475, 509, 520, 550—551, 554
Мопу Рене Николя — 544, *600*
Морелли — 551
Морис Саксонский — 523, *600*
Морни Шарль Огюст — 426
Моррис Роберт — 117, *582*
Мухаммед (Магомет, Махомет) — 55, 469, 495, 532

Наполеон I (Бонапарте) — 22, 77, 137, 194, 219, 236, 245, 426, 493, 562, *583*
Наполеон III — 426, *597*
Нежон Жак Андре — 503
Нейгебауэр Мартин — 62—65
Неккер Жак — 226—227, 230—231, 234, 237—238, 247, 250, 256—258, 274, 558, 559, *587*
Нерон — 44, 137, 411, *582*
Ньютон Исаак — 75, 340, 448

Ормузд *(мифол.)* — 297, *589*

Пальмерстон Генри Джон Темпл — 426
Папенгейм — 494
Пекарский Петр Петрович — 13—17, 19—20, 31, 33, 51—52, 55, 62, 65, *576, 577*
Пенн Уильям — 117, *582*
Перикл — 400
Петион Жером — 321, 337
Петр I, русский император — 13, 20, 29—38, 45, 49—54, 56—67, 69, 509, *576, 578, 579*
Пий IX, папа — 422, 595
Пирр, царь Эпира — 404
Писистрат (Пизистрат) — 400
Питт Уильям младший — 569, *600*
Пифагор — 425
Плантагенеты — 92
Платон — 38, 120, 425, *579, 585*
Плиний Младший — 454, *596*
Плутарх — 330, 331, *595*
Погодин Михаил Петрович — 31, *578*
Полевой Николай Алексеевич — 30
Поллион Веллий (Ведий) — 410
Полонский Яков Петрович — 14, *577*
Помпадур де (Жанна Антуанетта Пуассон) — 523, *600*
Помпей Гней — 383, 386, *595*
Понтий Гай (Понций Кай) — 403
Поп Александр — 534
Постумий Альбин Спурий — 404
Принц Генрих (Генрих V, германский император) — 432
Пристли Джозеф — 340
Прудон Пьер Жозеф — 422, 480
Пушкин Александр Сергеевич — 30, *578, 594*

Радецкий Йозеф — 426
Расин Жан — 330, 520
Ригер Иоанн Христофор — 60
Рикардо Давид — 99—100, 106, 156
Рио — 511
Ришелье Арман Жан дю Плесси — 50, 202, 490—491, 499, 501
Робеспьер Максимилиан — 257, 267, 270, 274, 295—297, 305, 321—325, 329—330, 337, 339, 554, 569, *589*
Роган, де — 516, *599*
Ромодановский Федор Юрьевич — 62

Руссо Жан Жак — 212, 504, 509, 520, 550, 553—554, 559—561, 563—569
Рюйш (Рейш, Рёйс) Фредерик — 60

Савонарола Джироламо — 23
Сампсон (Самсон) *(библ.)* — 33
Светоний Гай Транквилл — 411
Сен-Ламбер Шарль Франсуа, де — 503, 565, *600*
Сен-Марк Жан Поль Андре, де — 558
Сен-Симон Анри Клод — 341, *592*
Сен-Фаржо (Лепелетье де Сен-Фаржо) Луи Мишель — 271
Сервет Мигель (Михаил) — 483
Сизиф *(мифол.)* — 177
Сикст V, папа — 425
Сирван Пьер Поль — 539—541
Смарагдов Семен Николаевич — 44, *579*
Смит Адам — 560
Соломон *(библ.)* — 546
Солон — 26, 279
Социны, Лелий (Лелио) и Фауст — 483, *597*
Спенсер Герберт — 347, *593*
Спиноза Бенедикт — 358, 502
Стюарты — 488, 501, *599*
Сципион Публий Корнелий Старший — 383
Сьейес Эммануэль Жозеф (Сийес) — 232—233, 257, *587*

Талейран Шарль Морис — 252, 257, 492
Тамберлик Энрико — 119
Тацит Публий Корнелий — 402, 411, *595*
Тенгоборский Людвиг Валерианович — 94, *581*
Терсье — 552
Тессинг Ян — 33, 53—54, *578*
Тиберий (Тиверий) — 411
Тиблен Н. — 475, *597*
Тилли Иоганн Церкласс — 494
Тит Флавий Веспасиан — 43
Токвиль Алексис — 266
Толстой Петр Андреевич — 67
Торквемада Томас — 569
Туссен — 503
Тьер Адольф — 340
Тэн (Тен) Ипполит — 347, 593
Тюрго Анн Робер Жак — 218, 225—226, 333, 557, 587

Уайтворт Джозеф — 189, *583,*
Уатт Джемс — 87
Урбан II, папа — 432
Устрялов Николай Герасимович — 33, 55
Устрялов Федор Николаевич — 563, *600*

Фавар Шарль Симон — 523
Фарнгаген фон Энзе Карл Август — 528, *600*
Феб *(мифол.) — 343*
Фейербах Людвиг — 422, 462, 468, *599*
Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мотт — 506—507, 513
Фердинанд II, германский император — 24, *577, 580*
Фердинанд II, король Обеих Сицилий — 62
Фердинанд Неаполитанский — см. Фердинанд II, король Обеих Сицилий
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич — 211, *586*
Филипп II Август, французский король — 93
Филипп II, испанский король — 22—23, 49—50, 62, 486, 492, *577, 580*
Филипп Красивый IV, французский король — 201, 472, *586*
Филипп Орлеанский — 206, 215, 509, *586*
Фиц-Гуг Джордж — 38, *578*
Флуранс Жан Пьер — 134
Фома Аквинский — 466, 468—469, 497, 530
Фонтенель Бернар Лебовье — 514, 515, 516, 520
Форбус — 63—64
Франциск I, французский король — 202, 290, 335, 484, *586*
Фрерон Луи Мари Станислас — 246, 339
Фридрих II Штауфен, германский король и император сицилийский — 432
Фридрих II Гогенцоллерн, прусский король — 416, 509, 516, 541, 556, *595*
Фридрих III Мудрый, курфюрст саксонский — 482

Фридрих Великий — см. Фридрих II Гогенцоллерн, прусский король
Фульд Ахилл — 476, 480, *597*
Фурье Шарль — 422, 480

Хеопс — 71
Хрис (Хризес) *(мифол.)* — 342, *593*

Цезарь — см. Юлий Цезарь
Церера *(мифол.)* — 375
Цицерон Марк Туллий — 410, 545, *595*

Чамберс (Чемберс) Эфраим — 570
Чаннинг — 483
Чернышевский Николай Гаврилович — 18, 100, *577, 580, 581, 582, 588, 589*

Шакловитый Федор Леонтьевич — 33, *578*
Шантильи (Фавар) Мари Жюстина Бенуа Дюронсере — 523
Шаррон Пьер — 499—500, *598*
Шатобриан Франсуа Рене, де — 484
Шекспир Вильям — 86, 115, 210, 448
Шива *(мифол.)* — 534
Шлейден Матиас Якоб — 104, *582*
Шлоссер Фридрих Христофор — 244—245, 260, 348, *584, 587, 588*
Шмерлинг Антон — 426
Шометт Пьер Гаспар — 569
Штрасберг — 63—64
Шуазель Этьен Франсуа — 555
Шумахер Иоганн Даниил — 60, 62
Шэфтсбери Антони Ашли Купер — 534

Щебальский Петр Карлович — 61, *579*

Эвклид — 38
Эгильон Арман Виньерод Дюплесси Ришелье — 271
Эккартсгаузен Карл — 18, *577*
Эос *(мифол.)* — 342
Эпине (Луиза Флоранс Петрониль де ла Лив), д' — 565
Эразм Роттердамский — 497
Эталлонд, д' — 541

Юлий Цезарь — 77, 93, 383, 402
Юм Давид — 208, 503, 555
Юпитер *(мифол.)* — 44, 365, 413
Юпитер Капитолийский — см. Юпитер
Юпитер Олимпийский — см. Юпитер
Юркевич Памфил Данилович — 17, *577*

Яков II (Иаков), английский король — 29, 117, 511, *576, 578, 582, 599*
Януарий *(мифол.)* — 375
Янус *(мифол.)* — 375

СОДЕРЖАНИЕ

А. И. Володин. «И это называется нигилизмом?» 3

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ
Избранные статьи

Бедная русская мысль 13
Очерки из истории труда 70
Исторические эскизы 196
Исторические идеи Огюста Конта 340
Популяризаторы отрицательных доктрин 505

Примечания *(А. И. Володин)* 574
Указатель имен 601

Писарев Дмитрий Иванович

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

Избранные статьи

Редактор Н. В. Россина

Оформление художника С. Н. Оксмана

Художественный редактор В. В. Масленников

Технический редактор К. И. Заботина

Сдано в набор 30.11.88. Подписано к печати 21.02.89.
Формат 84×108[1]/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,03. Усл. кр.-отт. 32,08. Уч.-изд. л. 35,77.
Тираж 35 000 экз. Заказ 232. Цена 2 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства ЦК КП Белоруссии,
г. Минск, 220041, Ленинский проспект, 79.